

Владислав

КРАПИВИН

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО
НА ГРАНИЦЕ
ТЪМЫ

ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ :

РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЭКСМО



Владислав
КРАПІВИН

Владислав
КРАПИВИН

ЛЕТЧИК ДЛЯ ОСОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ
ДЫРЧАТАЯ ЛУНА
ЛУЖАЙКИ, ГДЕ ПЛЯШУТ СКВОРЕЧНИКИ
ПОРТФЕЛЬ КАПИТАНА РУМВА
ГОЛУВЯТНЯ НА ЖЕЛТОЙ ПОЛЯНЕ
В НОЧЬ БОЛЬШОГО ПРИЛИВА
СКАЗКИ О РЫБАКАХ И РЫБКАХ
СИНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ
ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ОСАДА...
ЗВЕЗДЫ ПОД ДОЖДЕМ
МУШКЕТЕР И ФЕЯ
ОРАНЖЕВЫЙ ПОРТРЕТ С КРАПИНКАМИ
СТРАЖА ЛОПУХАСТЫХ ОСТРОВОВ
РЫЖЕЕ ЗНАМЯ УПРЯМСТВА
ОСТРОВА И КАПИТАНЫ
ТОПОТ ШАХМАТНЫХ ЛОШАДОК
ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ
СИНИЙ ГОРОД НА САДОВОЙ
ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО НА ГРАНИЦЕ ТЬМЫ

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ: РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ: РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Владислав
КРАПИВИН

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО
НА ГРАНИЦЕ ТЬМЫ

Москва

ЭКСМО

2006

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
К 78

Оформление серии *А. Саукова*

Серия основана в 2005 году

ШЕСТАЯ БАСТИОННАЯ

Рассказы и повести

Крапивин В. П.
К 78 Золотое колечко на границе тьмы: Повести и рассказы /
В. П. Крапивин. — М.: Эксмо, 2006. — 704 с. — (Отцы-ос-
нователи: Русское пространство).

ISBN 5-699-17370-6

Этот сборник объединяет в себе произведения, созданные автором на протяжении нескольких десятилетий. В него вошли художественные и документальные повести-воспоминания, в которых переплелись эпизоды послевоенного детства автора и события взрослой жизни, истории создания книг и встреч с прототипами их героев на улицах разных городов...

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-17370-6

© Крапивин В. П., 2006
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2006

СЕНТЯБРЬСКОЕ УТРО

Даже не знаю, как называется такой материал. Бетон? Или что-то другое? Смесь цемента с морской галькой, крупным песком и ракушками. Словно искусственный камень-ракушечник. Из него сложены ступени многих севавтопольских лестниц. Старожилы называют эти лестницы по-морскому: трапы.

Я поднимаюсь по трапам от Большой Морской к Владимирскому собору, где похоронены севавтопольские адмиралы: Лазарев, Корнилов, Истомин, Нахимов. В тени дворов и переулков, среди кустов и под каштанами еще сумерки раннего утра. Но небо уже светлое. Прохладно, пахнет сыростью от короткого ночного дождика. Пахнет морем — с рейда тянет ветерок. А еще пахнет теплой травой — у нее мелкие листики, крошечные стручки и цветы, похожие на лютики. Ею поросли пустыри, бастионы, развалины Херсонеса и старые переулки.

Щелк-шелк-шелк! — стучат позади легонькие сандалеты. Меня обгоняют с двух сторон девочка и мальчик. Видимо, первоклассники. У них на спинах подпрыгивают твердые ранцы. Мальчик оглядывается:

— Дядя, который час?

— Без двадцати восемь... Вы куда так рано топаете?

— А! Дела всякие... — Взял девочку за руку, что-то прошептал, и — та-та-та-та-та! — зашелкали по ступеням их подошвы. Умчались деловые люди, только белые носочки замелькали высоко на лестнице, будто запрыгали вверх по ступеням шарики от пинг-понга.

Я поднимаюсь к собору... и в глаза бьет алый луч. Над мачтами и сигнальными вышками Южной бухты, над крышами Корабельной стороны появилось солнце. Еще приплюснутое, неяркое, но чистое, будто умытое.

Выхожу на высокий берег бухты. На военных кораблях начинают играть горнисты. Негромко, но отчетливо и очень красиво. Это сигнал построения. Через несколько минут под переливчатую мелодию трубачей будут подняты флаги. И начнется севастопольский день...

Солнце поднимается очень быстро, нарастает его блеск. Оглядываюсь. Над куполом собора, в золотом яблоке, сверкает огненная точка...

Я помню время, когда вместо купола был ржавый каркас, а в стенах темнели щели и выбоины от снарядов. Но и тогда сверкающее яблоко на вершине собора отражало солнечные лучи, блестело над бухтами, как маяк...

Неподалеку три школы. Одна совсем рядом, другая внизу, на улице Очаковцев, третья в конце улицы Советской. Я выхожу на Советскую и шагаю вниз, к школе номер три. Скоро мне придется уезжать, и хочется перед отъездом повидаться со знакомыми ребятами.

На улице все больше и больше школьников. Вздогают с откоса по трапам, выскакивают из подъездов и переулков. Это, конечно, те, кто поменьше. А старшие шагают солидно. Два десятиклассника в светлых офицерских рубашках бьют:

— Она и говорит: «Тогда будете сдавать отдельный зачет...»

— У нее сдвиг по фазе на этих зачетах...

— Я говорю: «Я уже приходил, а вас не было. А мне, между прочим, не только английский учить надо». А она опять: «Если вы собираетесь в училище...»

Впереди топают толстая, солидная девочка лет восьми. Рядом — энергичная бабушка. Девочка рассказывает:

— А на другой день, когда папа попросил мальчика, чтобы...

— Неправильно! — восклицает бабушка. — Ты не так выучила! Хорошие мальчики не ждут, когда их попросит папа, они сами...

— Нет, я правильно. Там так написано.

— Ничего там не написано! Ты слушай, что бабушка говорит, а то я тебе... послушаю!

Бабушки всегда всё знают. Лучше всех.

Трое мальчишек, видимо класса из шестого, шагают мне навстречу и на ходу заглядывают в книгу. Ее листает тот, что посредине. Книга явно не «Математика» и не «География».

Судя по толщине, это или бессмертные «Мушкетеры», или «Дети капитана Гранта». Ребята сдвинулись над книгой разлохмаченными головами, но идут четко, в ногу... В ногу-то в ногу, но вперед не смотрят и налетают на молодого черноусого мичмана.

— Ой, простите...

Мичман смеется как-то очень по-штатски, треплет самого маленького по макушке и, словно сам мальчишка, заглядывает в книгу. Говорит понимающе:

— А-а...

На белых домах еще синяя тень, однако по верхним этажам все чаще пролетают желтые бабочки солнца: лучи пробивались сквозь ветки, а ветки качаются под ветерком. Я думаю, что день будет ясный и теплый — такой, какими обычно бывают здесь сентябрьские дни. Такой, как в далеком шестидесятом году, когда я впервые шел по этим улицам и увидел Ленку.

Рассказ о Ленке — один из первых моих рассказов о Севастополе. Я написал его давно, и он был напечатан под названием «Флаг отхода». Но сейчас мне очень хочется его повторить. Потому что в нем для меня — радость открытия и радость встречи с городом, о котором я мечтал с детства.

Попал я в Севастополь гораздо позже, чем хотел: когда стал уже взрослым и вполне серьезным (по крайней мере, так считали мои взрослые знакомые). Я поехал туда в конце сентября. На Урале, в Поволжье и в Подмоскovie начиналась слякотная осень. Вагонные окна были в бисере дождя. Над разноцветными подмосковными дачами висели такие низкие облака, что, казалось, щетина телевизионных антенн вырывает из них ключья.

Поэтому следующее утро обрадовало меня, как неожиданный праздник. За окнами пронесли блестящие от солнца воды Сиваша, мелькнул обрыв с громадными буквами «КРЫМ», и поплыла, кружась, желтоватая знойная степь с белыми кубиками хаток и свечками пирамидальных тополей. Не было и намека на осень.

За Симферополем с его нарядным вокзалом потянулись

плоские предгорья хребта, а потом открылись Инкерманские высоты с меловыми обрывами разработок. Одна гора была срезана наполовину — от вершины до подошвы, словно ударом гигантского ножа. Вверху, у края обрыва, уцелел домик. Я вспомнил, что почти весь Севастополь сложен из белого инкерманского камня.

Здесь же, у Инкермана, я впервые увидел Северный рейд. Выход из бухты терялся за желтыми крутыми берегами, и открытого моря еще не было заметно. Может быть, поэтому обилие судов на рейде особенно бросалось в глаза. В блеске синей воды я увидел красные от ржавчины и сурика разоруженные линкоры, белые катера, шаланды, закопченные буксиры, высокие сухогрузы с черными бортами и сидящие по палубу в воде танкеры... В этой пестрой толчее, трепете разноцветных флагов и блеске белоснежных надстроек только серые узкие эсминцы казались неподвижными. Они стояли шеренгой и были похожи на зубья громадного гребня.

А у края воды пролетали за окнами заросли кустов с желтой цветочной россыпью, изгороди, лодки, причалы, бакены, вышки и пакгаузы. Бухта открывалась то с одной, то с другой стороны. Поезд с грохотом буравил короткие туннели и опять выскакивал под жаркий солнечный свет, мчался у желтых откосов с крепостными башнями, с лестницами, храмами и бойницами, вырезанными в скалах. Потом побежали каменные белые заборы, оранжевые черепичные крыши, а над ними неожиданно возник колоссальный форштевень и борт с надписью «Советская Украина». Это стояла у берега знаменитая китобойная база.

Поезд сбавил ход...

На вокзале меня сразу же ухватила загорелая сухошавая старушка, пожелавшая сдать комнату. Слегка обалдев от ее напора, я покорно втиснулся в крошечный автобус довоенного вида. Он, завывая, потащил нас куда-то наверх.

Через несколько минут мы оказались на улочке, состоящей из побеленных каменных изгородей и глубоко врезанных в них калиток. Вслед за старушкой я нырнул в такую калитку. Двор был закутан в виноградную зелень.

В густой тени у забора послышалась тяжелая возня, и я увидел какого-то зверя. Сначала показалось, что это рыжий

коровий подросток, но зверь поднял голову, и выяснилось, что это пес. У него были синие младенческие глаза и виновато-добродушная морда. Но грандиозные размеры пса наводили оторопь.

— Не бойтесь, ради бога, — заторопилась старушка. — Он мухи за всю жизнь не обидел. Он боится даже божьих коровок. За что кормим, сама не знаю.

Пес вздохнул шумно, как холмогорская корова, и опустил морду на лапы.

Комната моя была пустой и пахла известкой. Я бросил в угол чумодан, проскочил виноградную тень двора и снова нырнул под белое севастиопольское солнце.

Запутанными тропинками, мимо непролазных кустов и бетонных решетчатых изгородей я начал спускаться к площадке извилистой лестницы. Лестница убежала в темную зелень. Узор изгородей был похож на поставленные в ряд штурвалы. За листьями блеснули стекла и белые стены большого дома. Потом я услышал стоголосый ребячий гомон и на школьном дворе, окруженном той же штурвальной изгородью, увидел севастиопольских ребят.

Мне снова почудилось, что я попал на праздник. Наверно, с непривычки. Странно было видеть у школы ребяташек, одетых так легко и разноцветно. Они казались совсем непохожими на уральских школьников, которые почему-то при любой погоде упакованы в серую униформу из сукна, толстого и жесткого, как казенное одеяло.

Была середина дня; первая смена спешила по домам, вторая — на уроки, и на дворе крутилась яркая карусель красных испанок, матросских воротников, белых, синих и пестрых рубашек, черных морских пилотов и пунцовых галстуков.

Чуть ниже школы, на широких перилах лестницы, сидел темноволосый мальчик в рубашке очень звонкого голубого цвета. Он поставил на парапет коричневую, в белых косых царапинах ногу и рассматривал брезентовый полуботинок с оторванной подошвой.

«Четвероклассник, — мельком отметил я. — Или нет, скорее, из пятого». На рукаве у мальчишки алела звездочка октябрятского вожатого. Четвероклассников по молодости лет обычно не назначают на такие посты.

А подошву бедняга оторвал здорово, до каблука...

Неловко проходить мимо, если у человека беда. Я остановился и сказал полувопросительно:

— Авария...

Он поднял голову. Я ожидал, что под низко подстриженным чубчиком блеснут глаза сердитые и темные, как смородина. А у него были серые улыбчивые глаза. И улыбка была славная — чуть виноватая и в то же время немного озорная.

— Вот, смотрите, — сказал он мне, как знакомому. — Что теперь с ней делать? — и покачал ногой. Подошва зашлепала по башмаку, и это было похоже на злорадные аплодисменты.

— Здорово ты ее рванул. Где это так?

Он сказал с веселой досадой:

— Да... с мальчиками банку гонял.

— Что же эти мальчики тебя бросили? Банку гоняли вместе, а теперь...

Он проговорил с неохотой:

— Ну что они могут... Маленькие еще.

— А-а, — сказал я, снова взглянув на звездочку.

Мальчик еще раз тряхнул пострадавшим башмаком и весело сказал:

— Ладно, как-нибудь дохромаю до дома...

Я вспомнил, как дождливым осенним днем в сорок шестом году отодрал на улице подошву старого кирзового сапога и сказал почти такие слова. А Лешка Шалимов — мой сосед и старший приятель — умело обмотал сапог куском провода.

Сейчас провода под рукой не было, но в кармане у меня лежал моток лейкопластыря (перед отъездом я заклеивал им пакет с фотокассетами).

— Ну-ка, сними ботинок.

Он послушно сдернул башмак, не развязав шнурка. Я сел и начал прибинтовывать подошву.

Мальчик сидел рядом и немного смущенно вздыхал.

Двое ребят остановились над нами.

— Ой, Ленка на приколе! — весело заметил один. — Ремонтируетесь?

Ленка еще раз вздохнул.

— А где твои мальки? — не отставал товарищ.

— Ну, тебе-то что?.. Прогнал уроки учить.

— Зря вы ему чините, — заметил второй. — Все равно его салажата ему опять подошвы оторвут. Вместе с пятками.

— Шагайте вы... — сдержанно попросил Ленка.

Они засмеялись и запрыгали по ступенькам.

Я протянул ботинок.

— Спасибо, — заулыбался Ленка. — У, крепко держится...

— Теперь за труды скажи мне, как добраться до Херсонеса.

— Да это же просто! На пятом автобусе от Графской пристани.

— Дорогой мой Леня, — проникновенно сказал я. — Представь себе, я пока еще не знаю, где Графская пристань. Это во-первых. А во-вторых, я люблю ходить пешком.

— Пешком? — немного удивился он. — Ну тогда... тогда так... — Он встал на парапет, поджав босую ногу, и зажатой в руке ботинком указал куда-то за деревья. — Вы увидите: разбитая церковь на берегу. Разными улицами можно идти, а потом направо по шоссе...

Мы вместе спустились по лестнице и неторопливо свернули в боковую улочку. Ленка брел чуть в стороне, поддавая коленками свой заслуженный портфель.

— Капитан... — окликнул я. — А большая у тебя команда?

— Семь, — сказал он, не поднимая головы.

— Хороший народ?

Он пожал плечами, но вдруг весело глянул на меня и признался:

— Да, хорошие...

Он остановился у калитки в белой нише каменной стены.

— Я здесь живу...

Я кивнул ему и двинулся дальше. Прошел еще несколько улиц. Мимо вокзала, вдоль бухты, похожей на реку, забитую судами всех размеров. Через площадь, над которой белела башня с квадратными часами. По белым лестницам и плитам. Потом за стадионом свернул наугад и остановился, словно от толчка холодной ладонью в лоб.

Над белыми террасами улиц, над черепицей крыш, над пыльно-зелеными пустырями, маячными вышками и желтыми развалинами храма стояла туманная и мерцающая стена густой синевы. Лишь через несколько секунд я понял, что это и есть море. И показалось, что поют камни.

...Вечером, просоленный морем и прожаренный солнцем, я возвращался из Херсонеса. Мои карманы неприлично оттопыривались из-за того, что в них лежало множество интересных вещей. Там были пестрые и черные камни, осколки мраморных колонн, черепки древних амфор, ржавые гильзы, большая крабья клешня, наконечник маленького гарпуна, обточенные морем бутылочные стекла и плоские перламутровые раковины мидий.

Я не старался идти прежней дорогой, просто хотел выбраться на лестницу, ведущую к моей улице на Зеленой горке. Но так или иначе оказался на Ленкиной улице. Я узнал ее по двум заметным тополям. Потом я увидел и самого Ленку. Он прислонил к тополю велосипед и звякал ключом по передней оси.

— Опять авария? — спросил я.

Он глянул через плечо и улыбнулся, будто ждал меня.

— Да нет, конуса подтягивал.

Ленка опустил в сумку ключ и мельком, но с любопытством взглянул на мои разбухшие карманы. Я испытывал к этому человеку полное доверие и, не боясь насмешки, протянул на ладони несколько своих трофеев.

— У, какой был зверюга, — с уважением заметил Ленка, увидев клешню. Оценил он и патронные гильзы: — Наши, от старого автомата. Знаете, были такие с круглыми магазинами. — К черепкам он отнесся без интереса, а про самый большой, с загадочными буквами МАК, сказал: — Это не очень старинный, он от черепицы. Есть такая, на старых домах.

Кажется, мои уши приобрели цвет этой самой черепицы. Ведь я до сих пор был уверен, что отыскал обломок древнего изделия времен римского владычества. «Изделие» полетело в траву. Ленка понял мое смущение и торопливо предложил:

— А хотите рапану?

Я не понял. Я решил, что он хочет чем-то угостить меня. Но Ленка из кармана (тоже изрядно оттопыренного) извлек раковину. Она была круглая, завитая, размером с мой кулак. Серая, бородавчатая. Но внутри она блестела чистым, розовато-оранжевым лаком с перламутровыми разводами.

Конечно, я очень хотел такую раковину. Так хотел, что даже из вежливости не стал отказываться.

— Она шумит, — ласково сказал Ленка. — Вы послушайте...

Я поднес раковину к уху. Из глубины ее наплывал тихий звенящий шум. Ленка ревниво следил: слышу ли?

— Шумит, — сказал я.

— Это не море, — объяснил он с легким вздохом. — Это кровь в ушах звенит. Но все равно похоже, верно?

— Еще бы, — сказал я, разглядывая рапану. В глубине ее от вечернего солнца загорался желтый огонек. — Я и не знал, что есть такие...

— Говорят, они после войны развелись, — откликнулся Ленка. — Немецкие подводные лодки занесли их в Черное море... А может быть, какие-нибудь другие корабли.

Раковина была тяжелая и теплая. Я рассматривал ее, покачивая на ладони. И не знаю, почему так получилось: подвел какой-то мускул или нерв — ладонь вздрогнула слишком сильно, и раковина соскользнула.

Прежде чем рапана долетела до земли, я представил, как на плитах тротуара она рассыплется на осколки. И погаснет ее желтый огонек, и оборвется шум. Так бы и случилось, но Ленка успел подставить ногу. Раковина мягко ударилась о коричневые ремешки сандалии и, невредимая, откатилась по твердому песчанику.

Мы тихонько вздохнули и посмотрели друг на друга. Потом я поднял рапану. На ней не было даже трещинки.

— Не ушиб ногу?

— Не-ет, — небрежно ответил Ленка и покачал ступней.

Только сейчас я понял, что он в новой обуви — в кожаных плетеных босоножках.

— В таких уж не погоняешь банку, — сказал я просто так, чтобы не угас разговор.

Ленка чуть улыбнулся, глядя в сторону, потом коротко и серьезно взглянул на меня:

— Да я не гонял... Я так сказал, просто... Ну, понимаете, не всегда ведь будешь все объяснять.

— Конечно, — вздохнул я с легкой обидой на его недоверие.

Но у Ленки не было недоверия. По крайней мере теперь. Он объяснил со скрытой улыбкой:

— Это они оторвали, когда искали один тайный документ.

Это игра такая. Я спрятал, а они угадывали, где спрятано. Я думал, не угадают, прибил вчера под подошву, а они догадались, ну и пришлось отрывать...

— «Они» — это кто? Твои октябрята?

— Ну да...

Я засмеялся:

— Слушай, а не оторвут они тебе когда-нибудь голову?

Видно, люди это скорые и решительные.

— Нет, — уверенно ответил он. — Не оторвут, если я не разрешу... А сегодня игра такая, — повторил он. — Они искали документ, чтобы знать, что будем делать в воскресенье.

— Узнали?

— Конечно, раз нашли.

— А ты бы его зашифровал еще для интереса.

— А там нечего зашифровывать. Вот... — Он вытащил из кармана мятый бумажный прямоугольничек, широко закрасенный по краям синими чернилами.

— И это все? — удивился я.

— Да...

— Какой-то тайный знак?

Тогда слегка удивился Ленька:

— Это же флаг отхода. Разве вы не знаете? Это значит, что пора собираться в дорогу. У нас будет поход.

Я тогда еще не командовал морским отрядом «Каравелла», не разбирался во флотских сигналах и не знал, что такое флаг отхода.

— Это буква «П» в Международном своде сигналов, — объяснил Ленька. — Такой флаг поднимают на кораблях, когда они собираются уходить в море. Разве вы не видели?

— Нет... Я еще очень многого не видел. Я первый день у моря. Так уж получилось...

— Ну, вы еще увидите! — весело пообещал Ленька.

...Он оказался прав. Эти флаги я увидел на следующее утро над большими теплоходами на Северном рейде. Синие флаги с белыми прямоугольниками в центре. Они рвались по ветру отчаянно и весело, и сразу становилось ясно, что у моря не кончаются, а только начинаются дороги.

Ленькину раковину я не сохранил. Она перепуталась с другими, которые в те дни выловил в Артиллерийской бухте (то-

гда там, на месте нынешних пассажирских причалов, еще торчали деревянные зеленые сваи, а на высоком берегу не было ни похожего на корабль Института биологии южных морей, ни белого громадного обелиска). Потом я все эти раковины раздарил дома знакомым мальчишкам. И не жаль было. У меня сохранилось более ценное — память о первом дне в Севастополе и о двух встречах с Ленькой.

Он был первым человеком, с которым я познакомился в этом городе. Впрочем, была еще старушка, хозяйка комнаты, но она думала о квартирной плате, а Ленька был бескорыстен в стремлении разделить со мной свои радости.

Больше встретиться с Ленькой мне не пришлось. Но сейчас кажется, что я виделся с ним еще много-много раз. Потому что потом я встречал множество мальчишек, чем-то похожих на Леньку. Чем? Пожалуй, вот этой готовностью обрадовать другого человека. И еще — умением дружить. И любить свое море. И свой город...

Я их всегда считал своими товарищами, этих севастопольских мальчишек. Не только тех, с кем знаком давно и прочно. Даже тех, кто меня не знает.

Например, как эти двое...

Я уже не раз видел их здесь, на утренней улице. И хорошо запомнил. Один всегда спускается с крыльца двухэтажного дома, второй выходит из-под арки рядом с крыльцом.

Они, скорее всего, четвероклассники. Один — коренастый, невысокий, неторопливый. С короткой белобрысой челкой, пухлыми губами в трещинках и с носом-сапожком. На нем довольно мятые серые брюки с вытертыми добела коленями и оттопыренными карманами, а поверх пионерской рубашки — вязаная синяя безрукавка. У желтой сумки длинный ремень, но мальчик не надевает его на плечо, а держит ремень в руке, и сумка почти волочится по тротуару.

Я про себя называю этого мальчишку веселым именем Антошка. Мне кажется, его любят и ребята, и учителя, хотя он далеко не отличник и часто опаздывает на уроки.

А второго я мысленно зову «Меркуренок». Маленький

Меркурий. В каком-то музее давным-давно я видел бронзовую статуэтку быстроногого бога-мальчишки с крылышками на сандалиях и шлеме. Этот Меркуренок такой же худенький, гибкий, с бронзовым отливом загара на длинных ногах и тонкой шее. И вообще весь он шоколадно-бронзовый. Коричневый пиджачок от школьного костюма свободно болтается на узеньких плечах, он великоват для мальчишки и почти полностью прячет под собой легонькую пионерскую форму. А на бегу пиджачок взлетает, как коротенький плащ.

Крылатого шлема, конечно, нет, но жесткие, с медным отблеском волосы на темени топорщатся двумя параллельными гребешками — как прорастающие крылышки. А когда Меркуренок легко и широко шагает по ракушечным плитам, кажется, что и на его плетеных сандалях появляются маленькие крылья. Оттопыренная крышка большого портфеля тоже похожа на крыло.

Иногда Меркуренок быстро, как-то по-птичьи, оглядывается по сторонам. Но глаза у него не птичьи, не испуганные. Это темные продолговатые глаза, строгие и серьезные. А губы мальчишки будто спорят с глазами — у него широкий улыбчивый рот. Этот рот кажется особенно добродушным на тонком и загорелом лице Меркуренка...

Мальчишки обычно выходили на улицу одновременно. И каждый раз я испытывал толчок досады и тревоги. Я знал, что снова буду свидетелем короткой, незаметной для прохожих драмы.

Ребята быстро взглядывали друг на друга и расходились — видимо, они учились в разных школах. Но не в том беда, конечно, что они расходились, а в том, как это делалось. Их взгляд был короткий, сбивчивый какой-то. И нерешительный, и насупленный. И все это в полсекунды. Посмотрят, будто хотят шагнуть друг к другу, обрадоваться, сказать что-то, и тут же — раз! — будто стенка между ними. И повернулись, пошли в разные концы. Мечется коричневый плащик за Меркуренком, цепляется за камни и траву Антошкина сумка.

Я был уверен, что это два давних друга, которых развела большая ссора и обида. Такие друзья если уж ссорятся, то по очень важной причине. Они не выясняют отношений в обычной мальчишечьей драке или скандальном споре. Они стра-

дают молча, и каждого гложет тоска по прежней дружбе. И подойти друг к другу не могут: мешает не стыдливость и не мелкое самолюбие, а что-то очень серьезное. Такое, что не можешь пересилить и простить.

Да, но как жить без друга? Без Вовки, без Андрюшки, без Владика — без того, кто вчера был тебе как брат (а может, и лучше брата, потому что братьев мы не выбираем, а друга находим сами). И вот ночью мычишь в подушку, как от зубной боли, а на уроках не слышишь ни ребят, ни учителя и даже не читаешь в дневнике размашистые записи классной руководительницы.

...Сегодня Меркуренок вышел раньше Антошки. Сбежал с крыльца, порывисто оглянулся, чуть ссутулился и легкой своей походкой двинулся вдоль кромки тротуара.

Он был почти в полуквартале от своего дома, когда из-под арки появился Антошка. Меркуренка он увидел сразу. Несколькими секундами он стоял с опущенными руками (сумка валялась у ног). Потом Антошка негромко, но с отчаянной решимостью (и с резкой жалобой!) сказал вслед Меркуренку:

— Сережа...

Между ними была чуть не сотня их мальчишечьих шагов, но тот услышал. И сразу встал, как по команде «замри!». И толчком повернулся.

Антошка медленно, боязливо поднял над плечом ладонь, будто хотел помахать, и не решился.

Я был на другой стороне улицы, на одинаковом расстоянии от того и от другого. И все же я разглядел издали (а может, просто угадал), как широкий рот Меркуренка дрогнул и растянулся в улыбку. Гибкий коричнево-бронзовый мальчишка выдернул из-под накинутого пиджачка тонкую руку и замотал растопыренной ладонью над головой с гребешками-крылышками.

— Се-ре-жа-а!! — ликующе завопил Антошка. И замаха двумя руками.

Тогда Меркуренок сдернул пиджачок-плащик и закрутил им в воздухе, будто подавал веселый сигнал с берега далекому кораблю.

— Вовка! — крикнул он.

— Ты ко мне приходи-и!! — счастливым криком отозвался Антошка-Вовка.

— Ладно-о!!

Они, улыбаясь и радуясь вновь обретенному счастью, стали пятиться и все махали друг другу, пока Вовка не врезался спиной в грузную тетеньку, которая дала ему шутивого шлепка. Тогда мальчишки громко засмеялись и бегом бросились каждый в свою сторону.

...Я иду по солнечной стороне, и мне так хорошо, будто я сам стал десятилетним пацаненком и снова встретил давнего друга детства.

Я радуюсь за Вовку и Сережу — цепь их дружбы спаялась накрепко. Да здравствует город, где утро начинается с такой справедливости судьбы!

Да здравствует улица, где пробегающий навстречу мальчишка вдруг заглянул мне в лицо радостно и открыто — как четвероклассник Алька, с которым мы когда-то сидели на соседних партах и мечтали откопать клад на обрывистом берегу сибирской реки Туры!

Да здравствует море, которое искрится и синее в конце белых улиц и несет на себе далекие паруса яхт, похожие на летучие семена!

Да здравствует день, который начинается с такого хорошего утра!

Этот день, этот город распахнуты передо мной, время сделало мне щедрый подарок, судьба опять привела меня сюда.

Я знаю, что у меня сегодня будет много хороших встреч. Сперва я повидаюсь с восьмиклассниками во дворе старинной, похожей на замок школы номер три — эти ребята, сами того не ведая, помогли мне написать книгу о море и крепкой дружбе. Девочки будут вежливо улыбаться и задавать серьезные вопросы о литературе, а мальчишки толкаться и наперебой шелкать моим «Зенитом». Затем они утыкают мою рубашку новой порцией севастопольских значков...

Потом я загляну в яхт-клуб, где мой друг Олег Вихрев недавно стал капитаном новой яхты и готовит ее к дальнему плаванию.

Может быть, я поеду в Херсонес, где в солнечной тишине и стрекоте кузнечиков греются среди желтых камней и зарос-

лей дрока тысячелетние мраморные колонны, а в сухой траве хрустят под ногами черепки древних ваз и кувшинов.

Надо еще потолкаться на рынке, заваленном разноцветными горами фруктов, потом пройти к школе на Одесской улице, повстречать там знакомого пятиклассника Владика Глушенко и наконец подарить ему давно обещанную книгу (я прихватил ее с собой). Владик тихонько обрадуется, будет посылывать остреньким, чуть веснушчатым носом и опять станет смущенно приглашать в гости, на улицу Очаковцев, чтобы познакомить с очень хорошим человеком — годовалым племянником Санькой...

Я люблю этот город. Разные у меня были в нем дни: были суровые, связанные с памятью о войне, с бедами и потерями; были пасмурные — с серыми дождями и неудачами. Но солнечных — больше.

А этот день — я знаю — будет долгим и беззаботным. И половину его я проведу в неторопливом бродяжничестве по тихим улицам Артиллерийской слободки и по Шестой Бастионной.

Шестую Бастионную я несколько раз пройду из конца в конец.

Ничего особенного нет в этой улице. Но для меня она удивительным образом переплелась с улицами детства. То пересекается с ними, то продолжает их, убегая к морским обрывам...

АЛЬКА

В Севастополе у меня есть «свое» место для отдыха. Скамейка перед школой номер сорок четыре. Это в самом центре. Рядом гостиница «Севастополь», рынок, на котором можно купить гроздь винограда, сушеного краба или яркую корзину для фруктов; универмаг, куда то и дело забегаешь за фото пленкой; Артиллерийская бухта с причалами пассажирских катеров и паромов, а за ней, у подножия Хрустального мыса, — городской пляж. В общем, приезшему человеку трудно миновать улицу Одесскую. Ходишь, ходишь; ноги загудят, а тут, пожалуйста, скамейка.

Я привык отдыхать здесь давным-давно, когда еще был в Севастополе новичком.

Говорят, раньше, года до пятидесятого, здесь тянулся Городской овраг. Сейчас на месте оврага детский парк с каруселями, фонтаном и крошечным кинотеатром в раскрашенном кузове старого автобуса. Когда в автобусе крутят мультфильмы, веселая ребятня снаружи приклеивается к щелястым стенам — как пчелы к сладкой арбузной корке...

Одесская улица, которая раньше проходила по правому берегу оврага, теперь — сплошная каштановая аллея. В сентябре разлапистые листья на старых деревьях подсыхают по краям и шелестят по-особому: будто шепотом слова выговаривают. Южное небо в разрывах среди листьев кажется еще более густым и синим. Сквозь листву солнце бьет лучами, похожими на стеклянные спицы. Оно рассыпает по песку и асфальту, по скамейкам и стенам киосков круглые светлые пятнышки. Они дрожат и скачут друг через друга. Когда раздается звонок и со школьного крыльца начинают разбегаться ребята, солнечные кружочки вспархивают, словно поднятые ветром. И прыгают по разноцветным лакированным ранцам, по смуглым ногам и голубым рубашкам, запутываются в волосах мальчишек и девчонок, вспыхивают в них белыми искрами...

Это похоже на маленький солнечный праздник. Я смотрю на него много лет подряд, каждый сентябрь, и никогда не надоедает.

Мне все здесь знакомо: и серая школа за рядами каштановых стволов, и ее высокое крыльцо с бетонными ступеньками и парапетами, и дверь с шелушащейся коричневой краской, и даже голос этой двери.

Вот она приоткрывается и начинает негромко визжать: з-з-зы-ы-ы. Видимо, кто-то не очень сильный налег на нее плечом и отодвигает. Визг усиливается: з-з-зи-и-и-и! Сопротивление двери сломлено, она распахивается. Победитель — щуплый, похожий на Буратино первоклассник — выскакивает на крыльцо и щурится от уличной яркости. А дверь за спиной — бух! Захлопнулась. Но ненадолго. Тут же опять: ззи-и... Бух! И снова з-зи-и-трах!

И все чаще: з-з-бух, з-з-бух! Бух-бух-бух!

Уроки кончились. Школьный народ спешит по домам.

А впереди еще почти целый день — безоблачный, летний, с теплым морем, с играми, с рыбалкой, с друзьями... Дверь пушечно салютует этому дню...

Ближе к вечеру здесь поспокойнее. По одному расходятся ребята с продленки. Около пяти часов появляются на крыльце третьеклассники — они учатся во вторую смену. Эти люди не так спешат. Может быть, действует вечернее настроение?

В такой вот спокойный час я познакомился с третьеклассником Вихревым.

...Дверь бухнула, и третьеклассник появился на крыльце.

Я опишу его подробно. Не потому, что он показался особенным, а наоборот. Это был «типичный представитель»севастопольской школьной братии младшего возраста. Загорелый, с выбеленными солнцем волосами (когда их подстригут, на висках и шее остаются участки светлой кожи), с царапинами и ссадинами на коленях и локтях. Ссадины разной давности: и совсем свежие, и покрытые коричневой корочкой, и очень давние — корочка отвалилась, и на ее месте розовые пятнышки кожи, окруженные несмываемыми колечками ввешней зелени и пыли... Костюм тоже самый обычный: голубая рубашка с латунными пуговками (застегнутыми у ворота, но расстегнувшимися на животе), синие пионерские шорты, которые, сколько ни утюжь утром, к вечеру все равно мятые, как гармошка; сандалеты — их застегнутые ремешки торчат в стороны, будто петушиные шпоры... Октябрятская звездочка рубиново блестит на рубашке, белеют широкие ремни ранца...

В общем, совершенно обыкновенный третьеклассник, и я обратил на него внимание лишь из-за одной особенности — из-за широкого бинта на голове. Повязка косо шла через лоб и прихватывала правое ухо.

Мальчишка снял ранец с алым фрегатом на белой крышке. Открыл, вытянул тетрадку. Не спеша, но без тени колебаний выдрал из нее двойной лист. Оторвал половинку и деловито смастерил бумажного голубя. Послал его к верхушкам каштанов. Голубь, однако, туда не полетел, а сделал круг над асфальтом и лег у ступеней. Мальчишка подобрал его, запус-

тил еще раз. И еще... Он делал это неулыбчиво и, кажется, без особой охоты,

Наконец голубь сел недалеко от моей скамейки. Мальчишка подошел, и мы встретились глазами.

— Покажи, — попросил я.

...Когда-то я хорошо делал бумажных летунов... Вырезать из тетрадных обложек планеры меня научил брат Сергей. Как мастерить из тонких листов самолеты с хвостовым оперением, мне показал Лешка Шалимов. Сворачивать из бумаги голубков и узкокрылых ласточек обучил дядя Боря. А потом я сам полюбил изобретать новые конструкции. Брат и сестра уходили ранним утром на оборонный завод, мама спешила на работу в военкомат, а я, дошкольная личность пяти с половиной лет, оставался один — после строгих наказов не съедать сразу утром свой скромный обед и не отпираться незнакомым людям.

Я запираю дверь на крючок и устраивался на кровати. Прихватив старые тетради сестры и ножницы... И потом весь день реяли в комнате голуби и ястребки, садились на печку, на подоконники, атаковали лампочку, повисшую на пыльном крученном проводе... Эти птицы и самолетик были друзьями моего детства.

Нынешние ребята не знают очень многих игр, с которыми росли мы. И я рад, что с ними осталась хотя бы эта давняя игра — бумажные голуби...

— Покажи, — попросил я.

Мальчишка без улыбки протянул голубка. Это была незнакомая мне конструкция. И я счел, что она не очень удачная.

— А ласточек делать умеешь?

Он мотнул головой: не умею.

— Листок есть?

— Там, — он кивнул в сторону крыльца.

Мы поднялись по ступеням. Половинка тетрадного листа была прижата ранцем к бетонному парапету.

Я смастерил тонкую ласточку. Но, видимо, мастерство побавилось за долгие годы: ласточка полетела тяжело и клюнула на асфальте кожуру лопнувшего каштана.

— Да-да... — неловко сказал я. — В молодости бывало не так.

— Попробуйте еще раз, — деликатно предложил мальчишка и принес ласточку.

Я поправил ей хвост и крылья. Пустил аккуратнее. И она вдруг пошла, пошла, взмыла в струе прилетевшего от Артбухты ветерка...

— Во! Теперь как надо, — обрадовался мальчик. За меня обрадовался.

— Тебя как зовут?

— Алька.

Я даже засмеялся. Это было здорово! Алька — счастливое для меня имя.

Алькой звали мою соседку по парте в первом классе. Она спокойно и молчаливо заботилась обо мне, оборачивала газетой мои потрепанные учебники, подкармливала своими завтраками, делилась промокашками и карандашами...

Алькой звали моего товарища в четвертом классе. С ним бегали мы в пригородный лес и мастерили из фанеры и жести рыцарское вооружение. Жаль, что я скоро уехал с той улицы...

Алька — это было имя соседки-семиклассницы на улице Герцена. Мы собирались у нее по вечерам и читали книги про Тома Сойера, Робинзона и человека-невидимку. Я, второклассник, был в эту Альку немного влюблен и однажды признался ей в этом. Она отнеслась к признанию без насмешки.

Алькой звали храброго малыша в моей самой любимой гайдаровской книжке...

Алькой я назвал семилетнего героя своей первой в жизни повести. А когда эту повесть напечатали, ко мне явился вдруг восьмилетний читатель, из соседнего переулка, и сердито потребовал ответа: почему я в книжке про него многое перепутал, а кое-что просто-напросто сочинил? Этот Алька (которого до той поры я в глаза не видел) стал моим верным адъютантом и другом. В шестьдесят пятом году мы вместе приехали в Севастополь и бродили по старым улицам Корабельной стороны, по заросшим бастионам и по развалинам Херсонеса... Алька полюбил Севастополь так же, как я. Потом он стал взрослым, очень серьезным. Женится. И сразу после свадьбы повез в Севастополь жену — показывать самые любимые места...

И вот опять Алька...

Алькой может быть кто угодно: Алевтина и Александр, Алена и Алексей, Алла и Альберт... Этот оказался Олегом. Олег Вихрев, ученик третьего «А», школа номер сорок четыре, вторая смена.

— Смена-то кончилась. Что же ты, Алька, домой не идешь?

— Да... так просто. Маму жду...

— А она где?

— Да... так просто. Там... С учительницей разговаривает.

— А о чем?

— Да... так просто, — вздохнул он.

— А с головой-то у тебя что? — спросил я, дипломатично меняя тему. — Почему забинтована?

— Это не голова, а ухо, — сумрачно сказал он. — Оторвал...

— Как? Совсем?!

— Не... Висело чуть-чуть. Пришили.

— Бедняга. Как же это ты?

— Да просто. С дерева полетел, ухо зацепилось...

Я понимающе кивнул. Характер собеседника начал прописываться.

И тут появилась Алькина мама. Красивая, молодежавая, строгая. Глянула на Альку и меня сквозь большие дымчатые очки. Я торопливо представился и сообщил, что собираюсь написать для «Пионера» очерк о севастопольских школьниках и вот, оказавшись у этой школы, познакомился с ее сыном.

Мама Вихрева вдруг возликовала:

— Отлично! Превосходно! Напишите про него, обязательно напишите! Пусть все узнают, что это за человек!

Оказалось, что третьеклассник Олег Вихрев — человек беспутный и безответственный. Думаете, он только здесь, на крыльце, занимается голубями? Нет, он пускает их на уроках! Именно поэтому и пригласила учительница маму Вихреву для подробной беседы. Кроме того, учительница говорит, что...

Через две минуты было ясно: если Олег Вихрев и может быть упомянут в очерке, то с единственной целью: «Дети, не будьте такими».

Однако Алька не сник под множеством обвинений. Факта с голубями он не отрицал («Я один, что ли?»), но другие упреки отмел, а в адрес учительницы выдвинул ряд своих претен-

зий. Честно говоря, кое-какие из них показались мне справедливыми. Я тут же непедагогично сообщил об этом маме — Любовь Васильевна.

— Спелись уже... — печально сказала она. — Но вы еще не знаете всего! Пусть он расскажет, как его силой приходится гонять в музыкальную школу, в которую он сам (*сам!*) просил его записать в прошлом году. А парусная секция? Из-за собственного разгильдяйства перевернулся на «оптимисте»! В феврале!

При упоминании о музыкальной школе по лицу третьеклассника Вихрева прошла легкая судорога. А насчет яхт он решительно сказал:

— Ну их, «оптимисты» и «кадеты», мелочь эту. Я лучше с папой.

Оказалось, что папа — военный музыкант по профессии и старпом на большой крейсерской яхте «Таврида». Я обрадованно признался, что тоже имею отношение к парусным делам.

— Ну, все, — скорбно сказала Любовь Васильевна. — Значит, как сойдется с мужем, будет все тот же разговор: тросы, стакселя, оверштаги, талрепы и курсы-галсы. А я-то думала, что познакомилась с нормальным человеком... Но все равно заходите в гости. В воскресенье пойдем на «Тавриде».

Но ни о каком воскресенье не могло быть речи: в кармане лежал билет до Москвы. На завтрашний поезд. Единственное, что я успел на следующий день, это забежать к Вихревым, на улицу Бакинскую, принести Альке свои книги и сфотографировать его в ближнем скверике. С бумажной птичкой в руках и ранцем за плечами (а на ранце фрегат со всеми парусами — Алька специально повернулся так, чтобы его было видно).

Потом пошли мы к лестнице, к спуску, что тянется вдоль стены старинного укрепления и называется Крепостной переулком. Он ведет почти прямо к Алькиной школе. Я хотел проводить Альку, а у рынка сесть на троллейбус, чтобы ехать в гостиницу «Крым»: собирать чемодан.

— А зачем? — удивился Алька. — Вы же пешком быстрее дойдете. Прямо по Шестой Бастионной.

Он помахал рукой и побежал вниз по кремнистой тропинке, вдоль лестницы и полуразрушенной желтой стены с бой-

ницами. И ранец с алым фрегатом прыгал у него на спине. А я вышел на улицу, которая начиналась тут же, рядом.

И открыл для себя Шестую Бастионную.

БАСТИОНЫ И ФОРТЫ

Когда поезд проскочил уже все туннели и, замедляя ход, катит по берегу Южной бухты к вокзалу, сердце у меня начинает «выбиваться из ритма». С волнением и даже с тревогой какой-то колотится, хотя причин для тревоги нет, а есть только радость. Так бывало в детстве перед началом праздника, которого долго-долго ждешь...

Я знаю во всех подробностях, что будет дальше. Вагон остановится, я шагну на горячий от сентябрьского солнца перрон и по мосту над путями пройду к троллейбусной остановке напротив заросшего дроком обрыва с каменной лестницей. Троллейбус, подвывая на подъемах, привезет меня к площади Ушакова, над которой вознеслась башня Матросского клуба с золоченым шпилем и квадратными курантами. Куранты ударят один раз и сыграют «Легендарный Севастополь». Час дня.

Через площадь я дошагаю до гостиницы «Украина», где заботливые работники детской библиотеки заказали мне номер. Конечно, сначала администратор скажет, что номеров нет и ни про какую заявку она не слышала. И конечно, потом заявка найдется и номер тоже. Из него я позвоню домой, в Свердловск, и узнаю, что дома все в порядке. После этого исчезнут последние беспокойные мысли и останется в душе ощущение спокойного и беззаботного праздника.

Я понимаю, что в этом большом городе сейчас не у всех хорошее настроение. Люди живут в заботах, живут в трудной работе. У кого-то, наверно, сегодня несчастливый день. Кого-то грызет тревога. Я понимаю этих людей, потому что сам жил так целый год. Но именно поэтому я могу позволить себе праздник на несколько дней. Весь год я ждал этого праздника — свидания с городом, который люблю больше всех городов на Земле. Свидания с друзьями.

Сейчас я выйду из гостиницы, неторопливо двинусь по Большой Морской, потом по улице Адмирала Октябрьского

поднимусь до площади Восставших. Здесь вздымается стекляннo-высотная гостиница «Крым», от которой убегает вправо, к морским обрывам, Шестая Бастионная.

Впрочем, для меня начинается она не от этого ультрасовременного отеля, а от домика с зеленой калиткой. В каменный столб у калитки вделано чугунное ядро времен Первой обороны.

...Я знаю, что многих удивит моя привязанность к этой улице. Самая обыкновенная улица. В меру зеленая, в меру шумная — часто проскакивают по неширокому асфальту автомобили. Здесь одноэтажные и двухэтажные белые домики, каменные заборы, не очень ухоженные газоны, в которых ребяташки по вечерам жгут иногда безобидные костерки. Не центральная и не окраинная, она как бы служит границей между главными городскими кварталами и Артиллерийской слободкой (это название осталось со времен парусных линейных кораблей и бронзовых карронад). И очень она похожа на другие соседние улицы.

Похожа, и все-таки есть в ней что-то неповторимое. Для меня. Она мне кажется особенно севастопольской. Во всем — начиная от названия и кончая мелочами: кольцом якорной цепи, что ржавеет в пыльной траве у забора; треском деревянной вертушки, которую крутит над калиткой прилетевший с моря ветер; сухими раковинами улиток на шероховатых камнях маленькой оборонительной башни Шестого бастиона...

Но, наверно, дело не только в этих черточках и не в названии. И славных названий, и признаков приморской жизни в городе сколько угодно. Дело в том, что Шестую Бастионную мне показал хороший человек Алька Вихрев. И она всегда приводит меня к друзьям...

Всю улицу можно прошагать за пятнадцать минут. Но мне торопиться некуда. Я бреду по Бастионной, то и дело сворачивая в улочки Артиллерийской слободки. Это старый город с домиками под черепицей. Четыре десятка лет назад огонь и снаряды разгромили и опалили эти кварталы, но люди отстроили свои дома заново — на тех же фундаментах, в том же виде, какими были они в прежние времена. Стены домиков

сливаются с белыми заборами, над которыми висят на жердях плети винограда. Здесь много крутых, извилистых спусков, кремнистых тропинок, каменных лесенок-трапов и заросших жесткой травой тупичков. В траве рассыпаны мелкие желтые цветы.

Я очень люблю эти места. Если бы не антенны над оранжевой, похожей на корытца черепицей, могло бы показаться, что ты попал в эпоху Первой обороны...

А еще эти улочки мне напоминают детство. Даже не знаю почему. Они совсем не похожи на деревянные улицы старой Тюмени с ее дощатыми тротуарами и заборами, с мохнатыми, совсем не такими, как на Юге, тополями и пыльной желтой акацией. Но что-то неуловимо сближает их. Может быть, тишина? Или эта россыпь мелких цветов без названия? Или дело в том, что в детстве я мечтал как раз о таких вот лестницах со стертymi ступенями, о заборах с черными вмурованными ядрами, об узких проходах среди ракушечных стен? Много раз виделось, как босой, веселый, свободный выбегаю из такой каменной прохладной улочки-щели на солнце — и синевой бьет в глаза близкое море!

И может быть, из моего детства прибежала сюда эта коричневая от загара, коротко стриженная девчушка в цветастом сарафанчике?

Девочка — этакое серьезное большеглазое существо лет шести — топает через маленькую площадь (к этой площади с сухим деревом посередине сбегаются сразу пять похожих на декорации улочек). Девочка несет совсем не девчоночью вещь — громадный, с нее ростом воздушный змей. Мочальный хвост змея тащится по кремнистой, сверкающей блестящими землей. Его хватает зубами и лапами пузатый шенок песочного цвета. Девочка не оглядывается; наверно, считает непедагогичным обращать внимание на хулиганские выходки шенка.

В двух шагах от меня девочка останавливается и поднимает коричневые глазищи. Слово уверена, что я обязательно заговорю с ней.

— Какой громадный, — говорю я, глядя на змея. — Летает?

— Летает, — произносит она неожиданно низким, сипловатым голосом. — Когда ветер есть. А сейчас нету.

— А куда ты его несешь?

Она кивает в сторону:

— На спуск. Там легче запускать.

— Но ветра-то нет!

— Дениска придет из школы, и будет ветер, — сообщает она.

Мне совершенно нечего возразить против столь решительной метеосводки.

— Ну, счастливо, — говорю я.

Девочка кивает и топает дальше. Шенок, приветливо обнюхав мои сандалеты, догоняет мочальный хвост. А я сквозь солнечное тепло и безлюдье белых переулков не спеша выхожу на Катерную, потом опять на Шестую Бастионную. И теперь уже не сворачивая, иду в ее конец — туда, где сходятся улицы Адмирала Владимирского, Бакинская, Крепостной переулок...

На поросшем сурепкой бугре стоит желтый двухэтажный дом. Его угол похож на корабельный нос. В этом доме живет Алька Вихрев, с которым я познакомился пару лет назад. Живет с мамой — учительницей музыки, папой — военным музыкантом и семилетним братом Роськой.

Роську я вижу на откосе, он с двумя приятелями колотит кирпичом по колесу самоката — видать, заело. Роська поднимает голову и замечает меня. Через секунду он мчится, летит над верхушками травы мне навстречу. Я скидываю его над головой...

Потом я несу Роську на плечах к дому, и он с высоты сообщает новости. У папы выходной, он дома. Мама тоже пришла с работы, и всем попало: Роське просто так, Альке за двойку в «музыкалке», папе за то, что опять собирается на яхту, где и так «торчит всю свою жизнь». Но папа все равно собирается, потому что надо чинить порванный стаксель.

Папу Вихрева я нахожу во дворе, у сарайчика с дровами и верстаком: Олег-большой (именуемый так в отличие от Альки) занят непонятным делом — гнет в широкий обруч длинную диоралевую трубку. Он объясняет, что это для штурвала. На «Тавриде» вместо румпеля поставили большое рулевое колесо — с медным кольцом, точеными рукоятками, в точности как на старом паруснике. Сплошная романтика. Но романтика эта может выйти боком: во время шторма, когда яхту швы-

рвет вверх-вниз, можно запросто напороться на рукоятку грудью или пузом, и белый свет покажется с овчинку. Чтобы он, белый свет, сохранял нормальные масштабы, надо поверх штурвальных рукояток укрепить этот обруч...

Но, конечно, разговор о штурвале начинается не сразу. Сначала старший Вихрев снимает очки и — громадный, лохматый, в лопнувшей на плече тельняшке — обхватывает меня лапами, которые больше похожи на клешни боцмана, чем на изящные руки музыканта. Минут десять мы выкладываем друг другу самые срочные новости, потом Олег предлагает:

— Если не очень голодный, давай пока смогаемся на яхту. А то Люба загонит нас за стол и в клуб сегодня не пустит.

Я понимаю серьезность опасений и говорю, что совсем не голодный. Роське дается наказ:

— Маме пока ни гугу, что дядя Слава приехал. Понял?

— Так точно, товарищ старпом!

— Бежим! — командует папа Вихрев.

Яхт-клуб в двух кварталах. Он расположен на месте старой Александровской батареи. В конце Первой осады батарея была взорвана, потом ее отстроили, поставили новые орудия, но после Отечественной войны уже не восстанавливали — устарела. Теперь в сводчатых погребах и бетонных капонирах — кладовки, где хранится имущество яхтенных экипажей. Здесь, среди развешанных по стенам тросов и корабельных фонарей, среди компасов, карт, лощей и спасательных кругов, можно было бы снимать какой-нибудь фильм о пиратах и кладах. Одни двери чего стоят! То из сплошного железа с пудовыми петлями и засовами, то из могучих решеток...

На скользком пластмассовом ялике мы переправляемся на «Тавриду» — стальную крейсерскую яхту с десятиметровым корпусом и шестнадцатиметровой мачтой. «Таврида» ошвартована у плавучей бочки. Пока плывем, я вбираю в себя морской воздух так, что легкие скрипят и трещат по швам.

На палубе двое молодых и незнакомых мне матросов, студентов по виду, взяты с порванным стакселем. Олег отдает им дюралевое колесо и распоряжения. Мы спускаемся в рубку. Здесь пахнет вперемешку машинным маслом, морской водой, деревянным лаком, пеньковым тросом — неистребимый и волнующий запах корабельного помещения. На кожу-

хе мотора лежит широкая доска, заменяет стол. На столе — пачка стенгазет. Олег объясняет, что эти газеты экипаж выпускал во время июльского похода в Батуми.

Я начинаю листать. Газеты что надо, особенно карикатуры. Как говорится, с морским рассолом. Олег рассказывает о плавании. Сверху нас окликают, мы поднимаемся на палубу, чтобы помочь привинтить к штурвалу обруч. То есть Олег помогает, а я любуюсь морем и берегами. В море нет-нет да и проблеснут пенные гребешки (видимо, вернулся из школы Денис, братишка той девочки со змеем, и позаботился о ветре). Сигнальные флаги над вышками клуба трепещут. Вблизи от нас, между ошвартованных у бочек парусных крейсеров, как пестрые бабочки, носятся ребячьи яточки — «оптимисты». В глубине бухты синеют громады военных кораблей. Чайки перелетают с буйка на буюк и качаются на них, как ребятишки...

Покончив со штурвалом, Олег опять зовет меня в рубку. Показывает новую книгу о парусниках. И мы снова ведем неторопливую беседу о всяких корабельных делах...

Яхту тихо подымает и опускает на ровной зыби, и я наконец чувствую, что от такого монотонного качания (да еще на пустой желудок!) мне не по себе. Мы опять выбираемся на бак.

Ого! Поговорили! Солнце уже на самом краю неба. Оно медно-красное, продолговатое. Горизонт дымчатый. Барашки исчезли, зыбь стала пологой. Вода как бы составлена из разноцветных зигзагов — пунцовых, сизых, розовых, фиолетовых. Дальше к горизонту она сливается в общую поверхность лилового тона, и солнечный шар там уже не дает отражений...

Солнце утонуло, зигзаги на воде погасли, а с берега доносится крик:

— Папа! Дядя Слава-а!

— Алька!

Мы подгребаем к пирсу.

Алька стоит под яркой лампочкой и машет рукой.

Вид у Альки крайне живописный. Ярочно-синяя рубаха пестрит рисунком из желтых разлапистых якорей; мятые брезентовые штаны обрезаны у колен крупными, разлохмаченными зубцами; у старых незашнурованных полуботинок вывалились наружу «языки», и Алькина обувь похожа на пиратские

башмаки времен Моргана и Флинта. Опоясан Алька, естественно, флотским ремнем; ремень обшарпанный, но надраенная бляха сияет под лампочкой... Уже потом я узнаю, что Алька соорудил этот флибустьерский наряд специально для выходов в море: нынешним летом отец зачислил его юнгой на «Тавриду».

Алька все машет рукой, а я приглядываюсь к нему — какому-то незнакомому, не прежнему. Дело, конечно, не в костюме. Я знаком с Алькой два года, виделся с ним последний раз прошлой осенью, и тогда он был коренастым, крепеньким пацаненком, а сейчас — тонкий и гибкий, как смычок от его скрипки. Вытянулся, а в плечах не раздался. И лицо худое. Выгоревшие космы торчат вразлет.

Но улыбается Алька знакомо-знакомо.

— Здравсте!.. Мама велела сказать, что, если сейчас же не придете, ужинать не даст. И бутылку «Кальвадоса», которую припасла, тоже не даст.

— Жуткая угроза, — говорю я. — Привет, Алька... Значит, этот обормот Роська все же проболтался...

— Трепло, — сокрушенно подводит итог папа Вихрев.

Но Алька бесстрашно признается:

— Это я проболтался. Роська мне, а я маме... Потому что вас нет и нет...

Он с хохотом увертывается от папашиного подзатыльника, подходит ко мне с безопасной стороны и берет за руку. Твердыми, намозоленными ладошками юнги.

Мы топаем вверх по хрустящей каменистой дороге. Алька слегка хромает, из-под зубчатой штанины у него выглядывает бинт.

Дома у Вихревых меня ждут бурные приветствия и тут же головомойка. Потому что «такое свинство и нарочно не придумаешь». Приехать и сразу бежать на это ржавое корыто! Даже на минуту не заглянуть в дом! Пускай не для того, чтобы поздороваться с хозяйкой (на такое джентльменство не способны даже обычные нынешние мужчины, не говоря уж о парусных фанатиках), а хотя бы затем, чтобы поинтересоваться, как у ненаглядного дружка (кивок в сторону лохматого Аль-

ки) идут дела в школе! И в обычной, и в музыкальной. Может быть, дорогому гостю любопытно будет узнать, что это чадо, проучившись в пятом классе всего две недели, успело...

— Ябедничать нехорошо, — подает голос Алька и укрывается за книжным стеллажом, стоящим поперек комнаты.

— Ах, нехорошо... — произносит нараспев Любовь Васильевна, и ее очки загораются проблесками красного маяка. — Тогда иди и расскажи дяде Славе сам, как ты...

Там-м!! — раздается за стенкой железный удар и звон. У Роськи и Альки отношения довольно сложные, но в трудные минуты братья приходят друг другу на выручку. И сейчас Роська отвлекает «огонь на себя»: роняет не то поднос, не то крышку от кастрюли.

— О, погибель моя! — Мама Вихрева летит на кухню.

Потом в уютной кухне мы ужинаем и пьем чай. Олег рассказывает о недавнем шторме, когда «полетел» стаксель, а я о плаваниях нашей ребячьей флотилии по Верх-Исетскому озеру. У нас на уральских озерах морские волны не бушуют, но, когда засвистит крепкий ветер, приключений тоже хватает. И разговор наш с Олегом затягивается.

— Штаги, оверштаги, ванты, курсы, галсы, — говорит Люба. — Как вы мне надоели!.. Роська, марш спать, носом в стакане булькаешь...

Роська неожиданно слушается, но требует, чтобы я рассказал ему на сон грядущий «приключенческую интересину». Я иду в «кубрик», где у Роськи и Альки двухъярусная корабельная койка, сколоченная отцом. Присев на край нижней постели, я придумываю историю про корабельного гнома-пенсионера. У меня и в мыслях нет, что через два года я напишу про этого гнома повесть...

Наконец я прощаюсь. Алька заявляет, что пойдет меня провожать. Люба пугается. Я шепотом ее успокаиваю: говорю, что мы погуляем, а потом я в свою очередь провожу Альку до дома, ничего с ним не случится. Люба разъясняет, что боится не «случаев». Просто она уверена, что Алька проспит завтра школу. А главное, она убеждена, что он мне уже надоел до чертиков.

Но ни Алька мне, ни я ему не надоели. Мы даже и поговорить-то не успели как следует. И теперь мы отправляемся провозжать друг друга. По Шестой Бастионной.

Я говорю:

— Давай попетляем.

Алька соглашается. Мы углубляемся в переулки Артиллерийской слободки. Длинно и рассыпчато звенят цикады. В окошках уютный желтый полусвет или синеватое мерцание телевизоров. Издалека, со стадиона «Авангард», долетает шум болельщиков, приглушенный и ровный, — видимо, там сева-стопольская команда заканчивает удачный матч с гостями. А здесь тихо. Только шастают в траве у каменистых изгородей кошки да изредка промчится стайка смеющихся ребятишек: наверно, играют в разведчиков. На маленькой площади — оранжевый костерчик. Похоже, что здесь у мальчишек нынче главный штаб.

Потом опять узкий переулок: ракушечные ступени, каменные стены у плеч, вверху — несколько ярких звезд. Мы шепотом переговариваемся. Алька не лишен воображения и соглашается, что здесь подходящее место для всяких приключений и сказок. Но скоро Алька наносит крепкий удар по моему поэтическому настроению. Я спрашиваю, как называется похожее на пальму растение, которое раскидало у забора перистые листья, и Алька пренебрежительно отвечает:

— А, это вонючка.

Я озадаченно кашляю, потом возражаю, что это название, во-первых, не научное, а во-вторых, обидное для такого красивого куста.

Алька заявляет, что научного названия не знает, а «вонючкой» эти кусты названы за дело.

— Вы потрите листок между пальцами и понюхайте.

Я так и делаю. Да, запах не очень приятный. Но и не такой уж противный. Скорее просто странный. Я это говорю Альке, он пожимает плечами. Но скоро выясняется, что у Альки с этим растением личные счеты. Именно с «вонючки», разросшейся в большое дерево, слетел Алька два года назад — в тот раз, когда оторвал себе ухо. (Кстати, эта история имела печальное продолжение: когда уже была снята повязка и Алька с приятелями прыгал по гаражам, играл в десантников, его

ухватил за ухо местный пенсионер, один из тех, кто считает себя прирожденными воспитателями юношества. Ухо пришивали вторично.)

Должен заметить, что здешние мальчишки вообще лихой народ. Это особенно заметно, когда в какой-нибудь школе кончаются уроки и веселая толпа выхлестывается из дверей. Бинты на локтях и коленках мелькают, будто кто-то мелко разорвал чистую тетрадку и пустил по ветру клочки. Иногда среди этого мелькания неторопливо проплывает гипсовый лубок...

Но Алька даже на фоне здешних боевых компаний может считаться чемпионом по синякам и травмам. В позапрошлом году — ухо, в прошлом (когда я опять приехал в сентябре) — рубец на лбу и вывихнутый мизинец на ноге, сейчас Алька тоже «раненый». Правда, на сей раз дело было самое обычное — ободрал колено о школьное крыльцо. Промыть бы да замотать — и никаких проблем. Но Алька, чтобы не расстраивать пришедшую на обед маму, торопливо натянул на открытую ссадину пыльные, старые джинсы. И, конечно, засорил ее. Обнаружилось все вчера вечером. Расстройство и нахлобучка получились двойные: во-первых, из-за распухшего колена, во-вторых, из-за того, что Алька в этих жеваных и залатанных штанах, оказывается, ходил в музыкальную школу. В храм искусства!

Сейчас Алька слегка хромает, поэтому шагаем мы неторопливо. И разговор наш неторопливый и спокойный.

Но, когда разговор этот касается «храма искусства», Алька мрачнеет:

— Неохота мне туда ходить...

— Ты же любишь музыку!

— Ну и что? Я и читать люблю. Значит, мне и книжки самому надо писать, да?

Аргумент неожиданный и потому неотразимый. Я решаю больше не касаться музыкальной темы.

Но когда мы опять выходим на Шестую Бастионную, я вспоминаю:

— К слову сказать, Шестой бастион, который был здесь в Первую оборону, называли музыкальным.

— Почему? — досадливо изумляется Алька.

— Там среди защитников было много любителей музыки. В одном из офицерских блиндажей даже стояло фортепьяно.

— И его не раздолбали ядрами?

— По-моему, нет. Видишь ли, этот бастион был самый крепкий в линии обороны...

Алька оживляется. Оборона, крепости, штурмы — это разговор интересный.

Шестая Бастионная идет почти точно по старой оборонительной линии — между Седьмым и Пятым бастионами. Я рассказываю Альке про укрепления, которые стояли здесь в середине прошлого столетия: батареи Шемякина и Бутакова, люнет Белкина, Ростиславский редут. И про людей, которые здесь воевали...

— А откуда вы все это знаете?

Я объясняю, что многое знаю еще с детства, из книжек. Кое-что мне рассказывал мой отчим.

Это был человек, немало хлебнувший в жизни, с характером тяжелым и неровным, но когда он говорил о временах Нахимова, то делался совсем другим. Однажды, кажется, в третьем классе, я заболел, и отчим, присев рядом со мной, начал пересказывать «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. Почти наизусть. Как-то удивительно тепло, по-доброму. Эти рассказы да еще «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского были его любимыми книгами.

Тогда же, посмеиваясь, отчим поведал мне, как из-за любви к севастопольской истории получил в гимназии переэкзаменовку. Учитель — старорежимный сухарь — наставил ему двоек, а в последний день учебного года вызвал, чтобы дать возможность спасти положение.

— Спросил не о чем-нибудь, а о Севастопольской обороне! Представляешь? Я подумал: вот счастье-то! И давай расписывать все в деталях: позиции, имена командиров, названия кораблей, Инкерманское сражение, Балаклавское сражение... Несет меня на волнах вдохновения, а он не перебивает. И вдруг звонок! И слышу я такие слова: «Вы не закончили ответ, я не могу поставить вам оценку. Придете осенью». Вот так...

Отчима уже давно нет на свете. Оставшуюся от него книгу «Севастопольская страда» я берег долгие годы, а когда она потерялась, купил другую — в таком же издании...

И сейчас я по-прежнему люблю читать все о Первой обороне Севастополя. Конечно, я не считаю себя знатоком того времени, просто мне нравится делать в ту эпоху «глубокие рейды».

Один из таких «рейдов» я совершил два года назад, когда Алька показал мне Шестую Бастионную. Уж раз моя судьба пересеклась с этой улицей, мне захотелось подробнее узнать, чем был знаменит Шестой бастион. В истории Крымской кампании он не так известен, как, скажем, соседний Пятый или центральные — Четвертый, Третий, Корниловский... Я помнил только, что именно с Шестого бастиона в день Инкерманского сражения Минский полк атаковал французские укрепления между Карантинной бухтой и кладбищем. Командовал вылазкой артиллерийский генерал Тимофеев. Это было славное дело: минцы сквозь огонь французских штурмовых прорвались на неприятельские батареи и заклепали большие осадные гаубицы. Потом полк отошел к батарее Шемякина, и та встретила огнем французскую бригаду генерала Лурмеля, которая попыталась преследовать русских. Многие французы, в том числе и сам генерал, были сражены картечью насмерть, остатки бригады в расстройстве отступили...

Чтобы узнать о Шестом бастионе подробнее, я опять «закопался» в старые карты и схемы, в воспоминания ветеранов из трехтомного «Севастопольского сборника», который вышел в свет больше ста лет назад, и в другие старинные книги — в те, что были у меня раньше, и в те, что сумел разыскать вновь, обходя московские букинистические магазины. Из двухтомной «Обороны Севастополя» Тотлебена, из «Восточной войны» Богдановича, из старого романа забытого писателя Лавинцева «Под щитом Севастополя» я узнал, что Шестой бастион был самым сильным сухопутным укреплением, когда высадились на здешнем берегу французы и англичане. Другие бастионы еще только строились или были едва намечены, а Шестой, хотя и тоже не законченный, представлял собой крепость с облицованными камнем насыпями и рвом, с оборонительными башнями. С тыла его замыкала каменная казарма. На поворотных платформах наготове стояли пятна-

дцать крепостных орудий. Прочность бастиона, видимо, и была причиной того, что интервенты ни разу не пытались его штурмовать.

Оборонительная линия, которая в Крымскую кампанию защищала от врагов Севастополь, на картах похожа на шипастую подкову. Концы «подковы» примыкают к берегу большой Северной бухты. А шипы — это бастионы. Линия была разбита на несколько дистанций. Шестой бастион стоял в центре первой дистанции, на правом фланге обороны.

Весной и летом 1855 года артиллерией первой дистанции командовал капитан-лейтенант Стеценко. Он сменил на этой должности убитых и раненых товарищей — тоже флотских офицеров.

До начала Севастопольской обороны Стеценко служил на флагманском корабле адмирала Корнилова «Великий князь Константин» и в то же время заведовал флотскими юнкерами. В первые дни боев юнкера вместе со взрослыми моряками ушли на бастионы, и это доставило Стеценко массу хлопот. Пятого октября, когда началась первая бомбардировка Севастополя, Стеценко среди свиста ядер, дыма и грохота разрывов метался по бастионам, разыскивая начальство, которое отдало бы приказ убрать юнкеров с передовых укреплений. Как всякий нормальный человек, Стеценко понимал, что война — не детское дело, а среди его воспитанников были совсем мальчишки... Начальства он не нашел и ребят из-под огня убрал своей властью. Позже он встретил Корнилова и доложил о своих действиях; адмирал распоряжения Стеценко вполне одобрил и приказал отправить юнкеров в Николаев.

Тогда Стеценко еще не знал, что оборона продлится почти год и что, несмотря на все разумные распоряжения, много севастопольских мальчишек сложат головы вместе со взрослыми защитниками... А Корнилов этого не узнал никогда: в тот же день вражеское ядро смертельно ранило его на Малаховом кургане...

Стеценко — человек невидной наружности, спокойной отваги и большого опыта — был истинно черноморским офицером, влюбленным в Севастополь и в свои корабли. Кстати, именно по нему и по сопровождавшим его казакам были сделаны первые выстрелы той давней Крымской войны. Во гла-

ве группы разведчиков, на виду у противника и вблизи от него, Стеценко наблюдал за высадкой вражеского десанта недалеко от Евпатории. И хладнокровно рассылал с казаками донесения начальству в Евпаторию и Севастополь.

Главкомандующий Меншиков сделал опытного офицера своим адъютантом, и в этой должности Стеценко оставался до отставки князя, а потом перешел на бастионы.

В своих воспоминаниях Стеценко замечает, что большая часть первой дистанции была наименее опасным участком в обороне города. Видимо, это в самом деле так. Только безопасность здесь была очень относительная.

Осколки, ядра и штычные пули косили матросов, солдат и офицеров ежедневно. У Стеценко есть такие строчки: «За мое трехмесячное пребывание на бастионах многие командиры были убиты или ранены, некоторые выбыли по болезни, некоторые, возвратясь на свои места с худо зажившими ранами, почти все переконтужены или оглушены, и, сколько я помню, только один Белкин на своем опасном месте с начала до конца осады вышел невредим».

Разумеется, и сам Стеценко каждый день был на волосок от смерти, но об этом не вспоминает. Однажды на Ростиславском редуте рядом с ним свистнуло ядро, подбило ближнее орудие и ранило комендора. Стеценко описывает этот случай лишь для того, чтобы лишний раз показать спокойную храбрость и умение черноморских матросов: «Ходивший постоянно за мной ординарец бросился немедленно распоряжаться за комендора, и вместо подбитого новое орудие было поставлено и открыло огонь так же быстро, как на самом взыскательном смотре; подобных примеров было множество».

Стеценко отличался смелостью не только под огнем врага, но и в отношениях с начальством. Не так-то легко было спорить с генералами, но он решился на это, когда командование разработало план устроить передовые укрепления на кладбищенской высоте, впереди Шестого бастиона. Он доказывал, что удержать слабо укрепленные позиции, которые выдвинуты далеко вперед и оторваны от основной линии, не удастся. Доводы капитан-лейтенанта не убедили старших командиров. Четыре тысячи наших солдат полегли во время безуспешных попыток закрепиться на старом севастополь-

ском кладбище. Уцелевшие вернулись на батареи первой дистанции, на Шестой бастион.

Траншеи англичан и французов неумолимо приближались к нашим позициям. Люди гибли и гибли. Орудия выходили из строя. А те, что оставались, требовали пороха и снарядов. Особенно прожорливы были глотки тяжелых бомбических пушек. Стеценко писал, что для батареи его дистанции тяжелые 68-фунтовые снаряды совсем перестали отпускать. Вместо них приходилось использовать пудовые гранаты, а под них подкладывать деревянные поддоны нужного калибра...

Все это я рассказываю Альке, пока мы бредем мимо неярких окошек Артиллерийской слободки, под цвирканье цикад и вечерние шорохи. Рассказываю о Стеценко не потому, что он какой-то особый герой, а потому, что совсем недавно прочитал его «Воспоминания и рассуждения» о Крымской кампании. Те, что Стеценко написал уже после, когда стал контр-адмиралом...

Алька слушает с интересом. Иногда переспрашивает. Требуется разъяснения:

— Что такое поддоны?

— Это деревянные пыжи. Сперва в пушку клали пороховой заряд, на него такой пыж — по калибру ствола, а потом уж ядро или бомбу. Пудовые гранаты из больших пушек без этого и не полетели бы: они же были почти вдвое меньше, чем полагалось для таких орудий...

— Все равно большие... Целый пуд... И как их бросали, такие тяжеленные?

— Это же не ручные гранаты. Так назывались разрывные снаряды...

— А у меня ручная есть. Только не старинная, а лимонка. Я задерживаю шаг.

— Да пустая, — снисходительно говорит Алька. — Одна оболочка. Знаете, такая вся из квадратиков...

— Знаю, — сумрачно говорю я. Но Алька моей сумрачности не замечает. «Оружейная» тема подтолкнула его к воспоминаниям. Он рассказывает, что недалеко от яхт-клуба, на маленьком пляжике, волны вымыли из песка ящик с артил-

лерийским порохом. Конечно, тоже не старинным, а, наверно, от последней войны. Порох в пакетах разный — «лапша» и «семидырки». В воде он раскис, но, когда высыхает, очень хорошо — с шипением и треском — горит в костре.

Тут я совсем останавливаюсь.

— Алька...

Алька неторопливо объясняет, что это случилось не сейчас, а давным-давно, когда он был «совсем дурак, во втором классе». А теперь того ящика и в помине нет и самого пляжика нет, а главное, Алька и его приятели поумнели и прекрасно знают, что это — не игрушки.

Я верю Альке. Но полного покоя уже нет. Я вспоминаю, как год назад видел на Шестой Бастионной короткую, почти незаметную сценку: горит в газоне у тротуара игрушечный костерчик, сидят у него на корточках двое мальчишек лет девяти и смущенно, потерянно как-то смотрят в спину пожилому седоусому мичману. А мичман идет от них ровным шагом и несет перед собой ржавую керосиновую лампу.

Это я так подумал: лампа.

Помню, что такая лампа — плоская, круглая, с головкой для стекла — была во время войны у наших соседей Шалимовых в Тюмени. Лешка Шалимов говорил, что она похожа на противопехотную мину...

А может, ничего не случилось? Может, правда лампа или другая безобидная железяка, нужная мичману для хозяйства? А мальчишки были не такие уж насупленные?

Может быть, на этот раз и так... И все же до скольких мальчишек война дотянулась своей ржавой лапой через долгие мирные годы. Дотянулась и вырвала из жизни...

Прошуршал зябкий ветерок, и разом замолчали цикады. Я подумал, что завтра, наверно, будет дождь.

— Пойдем домой, Алька...

Назавтра дождя не было, и мы опять гуляли вечером с Алькой. Вышли на высокий берег между Хрустальным мысом и яхт-клубом. Было тепло и безветренно, закат уже почти догорел, в море мигали огоньки. На Константиновском мысу, над старинным фортом тоже мигал красный огонь маяка. Его отражение вспыхивало в воде рубиновой стрункой.

— Ты там бывал? — спросил я Альку, показав на форт.

— Не, — вздохнул он. — Там же моряки хозяйничают, они всяких любопытных не любят.

— Может, и не любят, но иногда пускают. Если очень попросить... Хочешь туда завтра со мной?

— Ой-й, — сказал Алька. — Правда?.. Ой, а если мама не пустит? Она и так недовольна, что я много хожу. Говорит: «Ты хромой, тебе вредно...»

— Я проведу беседу... А ты старайся не хромать.

Назавтра Алька постарался не хромать и даже размотал бинт, уверяя, что все прошло. Кроме того, он ухитрился получить пятерку на уроке сольфеджио. Это настолько ошарашило его маму, что она и не подумала возражать против поездки.

Экскурсию эту устроили для меня работники Центральной детской библиотеки Севастополя. И сами тоже поехали. Маленький библиотечный автобус обвез нас вокруг Северной бухты, через Инкерман и доставил к Константиновскому равелину.

Строгие знатоки фортификации постоянно напоминают, что называть этот форт равелином неправильно. Однако севастопольцы называют, и я буду поступать так же. У придирических читателей заранее прошу прощения. Еще в детстве я читал очерк Леонида Соболева «В старом равелине» о том, как семьдесят четыре краснофлотца с капитаном третьего ранга Евсевьевым и батальонным комиссаром Кулиничем удерживали эту старинную крепость. У них была важнейшая задача: обеспечить выход всех наших судов из Северной бухты, не дать немцам прорваться к берегу.

Очерк был написан в сорок втором году, почти сразу после окончания героической обороны Севастополя в Великой Отечественной войне. Соболев не знал тогда многих подробностей, многих имен. Он даже неточно назвал фамилию командира — Евсеев вместо Евсевьев. Но в самом главном Соболев был, конечно, абсолютно точен — в описании человеческого мужества. И когда я читал простые и твердые, как осколки крепостных стен, слова, у меня, у мальчишки, перехватывало горло. Так же, как в те часы, когда я смотрел кино «Малахов курган». И даже сейчас мне кажется, что писатель Соболев —

этот мужественный человек, отдавший всю свою жизнь флоту и литературе, — стискивал зубы, когда писал о защитниках рavelина...

Краснофлотцы и командиры сделали все, что должны были сделать. Четыре дня — до назначенного приказом срока — отбивали фашистскую пехоту и танки. Потом те, кто уцелел, вплавь переправились на Южную сторону, в район Херсонеса. Мертвые навсегда остались в рavelине. Они слились с кремнистой землей, с обугленными камнями форта, с морем. В полукруглом дворе рavelина, среди высоких пирамидальных тополей, им поставлен памятник...

...Во дворе, замкнутом каменной подковой укрепления, был отчетливо слышен каждый шум, каждый шаг по каменной крошке. И каждое слово отдавалось в вогнутых стенах. Про последнюю оборону рассказывал капитан второго ранга, который встретил нас у входа в рavelин. Он интересно рассказывал. Может быть, слегка заученно (видно было, что не первый раз ведет экскурсию), но все равно интересно. Небольшая наша группа окружила капитана кольцом. Ребятишек — детей, приехавших с библиотекарями, и Альку — пропустили вперед. Ребята слушали, задрав подбородки и округлив рты. Когда капитан сказал, что уцелевшие защитники рavelина почти все благополучно добрались до своих, Алька шумно и облегченно вздохнул.

Потом наш хозяин стал говорить о давней истории форта, о прошлом веке. Здесь рассказ получился чуть сбивчивее, а кое-что капитан даже напутал. Я это не в упрек ему замечаю, ни в коем случае! В деталях путаются и маститые историки, и даже автор знаменитой «Обороны Севастополя» генерал-адъютант Тотлебен. Просто я объясняю, почему отвлекся от рассказа и стал смотреть по сторонам.

Был уже вечер, неожиданно зябкий и ветреный. По стенам, балкончикам и галереям крались сумерки. Ветер, плотный и ровный, шел с моря. Сюда, в каменный двор, он не залетал, но монотонно шумел над рavelином и стигал в одну сторону острые верхушки тополей. Над тополями в синеватосером небе быстро двигались подкрашенные заходящим солнцем небольшие облака. Покачиваясь из стороны в сторону, реяли несколько чаек.

Хотя внизу ветра не было, неприятные сквознячки все же ползали над камнями. Алька поежился. Он был в легонькой пионерской форме, в той, что прибежал из школы днем. Я накинул на него свой пиджак. Алька улыбнулся, но продолжал зябко перебирать ногами.

— Мерзнешь? — прошептал я.

— Да не... — тихонько отозвался Алька.

Капитан повел нас вдоль внешней стороны форта по узкой полоске суши. Два яруса широких амбразур сумрачно темнели в сложенных из каменных глыб стенах. Кое-где края амбразур казались обглоданными. Серовато-желтый камень там и тут был изрыт ударами снарядов и осколков. У берега плескалась небольшая зыбь: начавшийся недавно ветер не успел раскачать волну. Когда волны вырастут, пена примется хлестать по обветренным и обожженным войной стенам рavelина...

Впрочем, не везде стены были такими. Кое-где мы увидели плиты ярко-белого инкерманского камня.

— Зачем это? — спросил я капитана.

Он разъяснил, что начинается ремонт и скоро весь форт покроют новенькой облицовкой. А в амбразурах поставят, как прежде, старинные пушки. Правда, это будут бетонные макеты, но издали совсем как настоящие.

— Зачем? — это спросили уже и я, и Алька, и еще несколько человек. Даже очень скромный шестиклассник Алеша, который до сей поры не сказал ни слова, только смущенно мигал и улыбался.

В самом деле, зачем? Разве пережившей две страшные осады крепости нужна декоративная подмалевка? Разве следы от снарядов портят вид цитадели? И какой смысл закрывать крепчайший крымский известняк (его, говорят, теперь уже и не осталось в разработках) нынешним мягким строительным камнем? Для красоты? Но это все равно что старый, поставленный на вечный якорь броненосец стали бы покрывать белой кафельной плиткой.

Моряк пожимал плечами. Он был согласен с нами, но говорил, что ничего не поделаешь: деньги отпущены, планы составлены, работы начаты. И скоро Константиновский форт примет «обновленный» облик.

Так оно и вышло. Сейчас рavelин уже не тот. Он стал аккуратнее, сменил свой древний песочный цвет на белый, исчезли следы развалин. Торчащие из амбразур орудия, может быть, и придают ему вид настоящей крепости, но это всего-навсего вид. Он производит впечатление лишь на приезжих экскурсантов. А один мой знакомый журналист, коренной севастополец, сказал, глядя на белые гладкие стены:

— Больничный корпус какой-то...

Но это было позже, года через два. А в тот раз мы шли вдоль еще настоящих стен Константиновского рavelина, и я трогал его настоящий камень — шероховатый и почему-то очень теплый.

Когда проходили мимо тыльной части форта, где еще сохранились развалины, Алька отстал (это деликатно не заметили). Скоро он бегом (и все еще прихрамывая) догнал нас. Мой пиджак летел за ним, словно казачья бурка.

Под конец экскурсии капитан предложил прогуляться по стене волнолома, которая тянулась от форта поперек бухты. Дамбу эту только что закончили строить. Она должна была защищать внутренний рейд от сильных волн, когда их гнали с открытого моря штормовые западные ветры.

По верху дамбы шла выложенная плитами дорога. Обращенная к морю сторона шетинилась бетонными ежами. В них все сильнее плескалось море. Поверхность воды была перламутрово-стальная. На горизонте лежало сизое облако, и темное большое солнце быстро погружалось в него.

Мы дошли до конца мола. Там, двигая заградительные бонны, пыхтел буксир под флагом вспомогательного флота. На нем уютно светились иллюминаторы. Мы двинулись обратно. Алька опять захромал, и мы с ним отстали. Он виновато глянул на меня, сказал «я сейчас» и заковылял вниз, хватаясь за бетонные зубья.

— Да что с тобой, живот, что ли, болит? — обеспокоенно спросил я. Подождал Альку с полминуты, потом глянул вниз.

Алька занимался не тем, чем я думал. Отворачиваясь от брызг, он окунал в море руку. Повернулся ко мне и показал раскрытую ладонь. На ней лежал камешек размером с грецкий орех.

— Я его намочил, чтобы морем пропитался, — сиплова-

тым полусшепотом сказал Алька. И стал карабкаться ко мне. Я помог ему и спросил:

— Зачем тебе камень?

— Я его там, среди обломков, подобрал.

— Значит, на память?

— Ага. Я подумал, что скоро таких настоящих-то не найдешь. Стены замуруют, а осколки выметут.

«Да, он прав», — подумал я и пожалел, что не догадался тоже подобрать камешек.

— А в море зачем макал?

— Но у вас же дома нету моря.

— Значит, ты это мне?

— Ага... Надо?

— Еще бы!

Я зажал камешек в левой руке, а правой взял Альку за мокрые пальцы, и мы пошли к берегу.

Было еще довольно светло, но форт казался темным. На его вышке вдруг часто замигала белая звезда прожектора.

— Как броненосец, — вдруг сказал Алька. В самом деле, приземистое здание с двумя рядами амбразур, с маячной башенкой и корабельной мачтой было похоже на выдвинувшийся от берега в море старинный броненосный корабль.

...По сути дела, севастопольские форты и были береговыми броненосцами, призванными защищать город с моря. Эту задачу они всегда выполняли гордо и до конца.

К началу первой осады, в 1854 году, Севастополь оказался почти не защищенным с суши, но его береговая оборона была сильна. Вход в Северную бухту охраняли два форта — Константиновский и Александровский. За ними стояли по берегам бухты еще несколько каменных батарей (Михайловский рavelин сохранился до сих пор).

Свою готовность к бою морские крепости Севастополя показали 5 октября, когда французы, англичане и турки начали первую отчаянную бомбардировку города. Наши наспех воздвигнутые батареи вели кровавую дуэль с сухопутными батареями врага, а к фортам придвинулся могучий иностранный флот. Корабли и крепости окутались дымом.

Результатом боя было то, что вражеские суда больше ни разу не отважились приблизиться к нашим береговым крепостям.

В прошлом веке в Британии жил-был контр-адмирал Колл. Он написал известную в то время научную книгу «Морская война». В 1894 году она вышла в России. Тогдашний наследник престола Георгий Александрович, который ведал военным флотом, всячески рекомендовал ее для изучения морским офицерам, а один экземпляр с собственноручной надписью даже преподнес выпускникам- гардемаринам Морского корпуса. Неведомыми путями эта книга через много лет попала в московский магазин «Книжная находка», а оттуда перекочевала в мою библиотеку. Меня, разумеется, привлек не автограф монаршего наследника, а описания морских баталий и осад береговых крепостей. Тем более что пишет Колл и о Севастополе.

Впрочем, тот день, 5 октября (17-го по новому стилю), этот британский флотоводец вспоминает неохотно и высказывается туманно:

«Нет необходимости сделать больше, как отметить тот факт, что наши суда в Черном море, — главным образом парусные линейные корабли, — действовали против могучих русских фортов в Севастополе 17 октября 1854 года, как довершение в помощь бомбардированию с суши и одновременно с ним. Это была превосходная выставка или зрелище доблести, но русские форты были не алжирские и не египетские; и затем к ним нельзя было подойти ближе 750 ярдов со стороны, избранной английским флагманским кораблем, так что результаты в пользу этого особенного метода атаки были на этот раз не более ободрительны, чем до тех пор».

«До тех пор» автор описывал бомбардирование нашей крепости Свеаборг на Балтике, хотя оно произошло позже севастопольского. Этот бой тоже не принес славы флоту ее величества.

Автор «Морской войны» не совсем точен в своих описаниях. Английские корабли подходили к нашим батареям и ближе 750 ярдов (ярд — чуть меньше метра). Например, так поступил их пятидесятипушечный корабль «Аретуза», который вел перестрелку с батареей Карташевского (недалеко от Кон-

стантиновского форта). Впрочем, это и привело к тому, что после боя он отправился на ремонт в Константинополь.

Что касается «выставки или зрелища доблести», то, очевидно, контр-адмирал Коломб имеет в виду такой эпизод. Четыре английских военных корабля — «Родней», «Агамемнон», «Сан-Парейль» и «Лондон» — втерлись в сектор к северо-западу от Константиновской батареи, который почти не накрывался выстрелами русских орудий. Там эти корабли с дистанции в 450 сажен громили верхнюю открытую площадку форта из ста пятидесяти девяти пушек. Форт мог отвечать лишь из двух орудий...

Константиновская батарея пострадала в тот день больше всех береговых укреплений. Из четырехсот семидесяти человек там оказалось пятьдесят контуженых и раненых, шестеро были убиты. Верхняя площадка была разрушена, двадцать два орудия из двадцати семи, стоявших на ней, разбиты. Но большая часть пушек стояла в казематах, и там ни одна не пострадала. Форт продолжал громить врага. Вступившие с ним в бой корабли были изрядно потрепаны. На «Лондоне», «Кине» и «Агамемноне» полыхали пожары...

Нет, не принес успеха союзной эскадре англичан, французов и турок бой с русскими фортами, хотя с кораблей действовало в восемь раз больше орудий, чем с наших береговых батарей. Вражеские суда загорались. Теряли рангоут. Получали десятки пробоин. Французский адмиральский корабль был продырявлен пятьдесят раз, причем трижды в подводной части. Бомба снесла у него кормовую палубу, ранены были многие офицеры из штаба адмирала Гамелена, корабль горел. Британский «Альбион» получил девяносто три пробоины, у него были сбиты мачты.

В тот полный орудийного грохота и смертей день русские береговые батареи потеряли ранеными и убитыми сто тридцать восемь человек, эскадра противника — пятьсот двадцать. Причем только англичан и французов. Потерь турок мы не знаем.

...В августе 1855 года, когда французам удалось захватить Малахов курган, защитники бастионов взорвали укрепления на Корабельной и Городской сторонах и по наплавному мос-

ту в полном порядке отошли на северный берег бухты. Враг занял горящие развалины южной части Севастополя.

И что же?

Перед ним лежала водная полоса рейда, а на другом его берегу был все тот же Севастополь. Валы бастионов и несокрушимые каменные крепости. Чтобы взять эту часть города, нужно было форсировать бухту или обойти ее и снова начинать осаду — такую же, как на Южной стороне. Измотанная армия интервентов была совершенно не способна к таким действиям. Это понимали обе воюющие стороны. Война перестала быть войной пушек и сделалась войной дипломатов, которые спорили об условиях мира.

На совести этих дипломатов — итог всей Крымской кампании. А Северная сторона с ее укреплениями осталась непобежденной частью Севастополя.

Обратно ехали в сумерках. В автобусе горела желтая лампочка. Все устало молчали, только мы с Алькой переговаривались вполголоса.

— Жаль, что в казематах не успели побывать, — вздохнул Алька. — Интересно, как там...

— Да ничего особенного, — утешил я. — Пушек там сейчас все равно нет.

— Ну и без пушек интересно.

Тогда я стал рассказывать Альке, что казематы — это просторные помещения с амбразурами в стене двухметровой толщины. Каждый каземат был разделен поперечной стенкой с проходом. В передней части стояло орудие, а в задней жили комендоры. Большинство пушек стреляло ядрами весом в двадцать четыре фунта, то есть примерно в десять килограммов. Деревянные парусники и пароходы тех времен легко загорались от каленых ядер. Чтобы раскалить ядра, в Константиновском форте были устроены шесть специальных печей...

— А пианино?

— Что «пианино»? — изумился я.

— Там его не было? — хитровато спросил Алька. — Ну, как на Шестом бастионе?

— Н-не знаю... По-моему, нет.

— И ничего, жили люди, — сказал Алька.

Автобус довез нас до причала на Северной стороне, оттуда мы на катере переправились к Графской пристани, прямо в центр города. Здесь было тепло, и Алька отдал мне пиджак. Я перекинул его через локоть. В кулаке я все еще держал Алькин камешек. Он уже высох, но когда лизнул его, оказалось, что на крошечном кусочке Константиновского равелина сохранилась морская соль. Алька заметил, что я коснулся камня губами, и сказал чуть снисходительно:

— Он долго соленый будет... если часто не лизать.

— Часто не буду, — пообещал я.

Алька коротко улыбнулся, но вдруг спросил очень серьезно:

— А вы знаете песню «Севастопольский камень»?

— Еще бы. С детства помню...

— Я тоже. И папа. Он ее на трубе играет.

— Песню?

— Ну, это не совсем песня. Это целая такая пьеса музыкальная. Фантазия на темы песен о Севастополе. Хотите послушать?

— Хочу, конечно...

— Тогда пошли! Еще успеет!

— Куда?

— Папин оркестр сегодня на Приморском бульваре выступает. Тут, совсем рядышком... Слышите?

Я и в самом деле услышал в отдалении упругие голоса труб.

...Все скамейки перед эстрадой были заняты, нам пришлось встать у края площадки. Но так было даже удобнее — лучше видно.

Над головами у нас, в гуще деревьев, качались цветные лампы, а белая раковина эстрады сияла ярким светом. И трубы сияли. И форменные пряжки, и якоря на фуражках и ленточках. Я впервые увидел Алькиного отца в морской форме — в рубашке с погонями главстаршины и фуражке с «крабом».

Оркестр играл долго — марши, вальсы и, кажется, что-то из «Кармен-сюиты». Я уже занервничал: вернемся поздно — влетит нам от Алькиной мамы. Но Алька мой осторожный шепот не слушал и прирос к месту.

Наконец объявили «Голоса Севастополя». Олег Вихрев поднялся и встал впереди оркестра.

Трубы сначала зазвучали глухо, медленно, и я узнал суровую мелодию «Севастопольского камня». Она была похожа на тяжелый накат усталых волн. Потому что печальная песня... Но Олег вскинул трубу, подхватил мелодию, как бы поднял ее, и она зазвучала по-иному — непобедимо и дерзко. А потом смешалась с другой музыкой, с мотивами иных песен — с «Легендарным Севастополем», «Севастопольским вальсом», с «Вечером на рейде»... Голоса этих песен переплетались, рождали новую музыку, в которой был и грохот прибоя, и звон корабельных колоколов, и блеск приморского праздника...

Затем, как напоминание издаেকে, снова пришла песня о легендарном камне. И Олег Вихрев опять подхватил ее голосом своей трубы, заставил звучать тревожно и высоко, а потом перевел на новый мотив и закончил музыку ясной, слегка печальной мелодией, похожей на ту, что играют на палубах горнисты во время вечернего спуска флага.

Секунды три люди сидели тихо, словно еще ждали чего-то. Наконец захлопали — громче, громче. Я тоже. Алька хлопать не стал. Решил, наверно, что неловко: получится, будто хвастается отцом. Но лицо у него было счастливое. Когда шум утих, Алька спросил:

— Хорошо, да?

— Да...

— Я больше всего люблю, когда папа это играет.

— А сам не хочешь стать музыкантом, — не удержался я.

Алька сразу набычился:

— Потому что ему нравится играть, а мне нет. Я слушать люблю, а играю плохо.

— Вовсе не плохо...

— Ну, все равно. Мне не нравится.

— А что нравится?

Алька вроде бы не расслышал. Через полминуты он сказал:

— А мы с папой модель строим. Трехмачтовый фрегат. С альми парусами.

...Теперь этот фрегат стоит в комнате Вихревых, на широкой застекленной полке, перед книгами. Замечательный корабль, как настоящий...

Алька так и не стал скрипачом. После восьми классов он

поступил в училище, чтобы сделаться корабельным плотником. Огорченной маме он сказал, что это одна из самых древних профессий. И самых почетных. Между прочим, Петр Первый тоже был корабельный плотник. Мама ответила, что Петр Первый был не только корабельным плотником, но и (между прочим!) императором России.

Алька заявил, что императором быть не согласен. Эта профессия нравится ему еще меньше, чем скрипач. Папа добавил, что, если бы Петр Первый не был корабельным плотником, он не построил бы российский флот и не стал бы Петром Великим. Этим папа отвлек мамино внимание на себя. Мама повернулась к нему, чтобы изложить свою точку зрения на Петра, на историю российского флота, на профессию плотника и на него, на папу.

Но тут отвлек на себя внимание Роська. В кухне он уронил на пол алюминиевую кастрюлю, в которую мама сложила помытые ложки и вилки...

СТРЕЛА ОТ ДЕТСКОГО АРВАЛЕТА

Шестая Бастионная начинается у площади Восставших. Здесь многие названия напоминают о мятежном крейсере «Очаков», поднявшем красный флаг в ноябре 1905 года. Недалеко улица Очаковцев, улица Шмидта, улица Частника. Рядом кладбище Коммунаров, где похоронены руководители восстания — Шмидт, Частник, Антоненко и Гладков.

...На кладбище безлюдно. Тихо-тихо. Желтоватое сентябрьское солнце нагрело цоколь памятника. Он из красноватого камня и сложен в виде пятиконечной звезды. На цоколе дремлет худой серый котенок. Он иногда вздрагивает и трогает лапой полусохшие цветы, которые лежат рядом. Их шевелит еле заметный ветерок.

Над цоколем серая скала с металлическим флагом и настоящим якорем — то, о чем просил перед смертью Шмидт. Есть, пожалуй, что-то трогательно-детское в том, как он описывал памятник, который поставят на его могиле севастопольские рабочие. Он был их пожизненным делегатом. Он требовал, чтобы тело его после казни было отдано рабочим и они сами похоронили его.

...Первый раз я прочитал о Петре Петровиче Шмидте еще в давнем детстве. Среди старых книг в шкафу Лешки Шалимова я наткнулся на тонкую книжечку Б. Звонарева «Лейтенант Шмидт». Она была издана в 1939 году в серии «Библиотека красноармейца». Потом я читал о Шмидте все, что мог найти. Найти удалось не так уж много, но даже из скурых и часто сухих рассказов выростал образ человека с удивительной душой. Если бы Шмидта не было на самом деле, если бы его придумал какой-нибудь писатель, автора обвинили бы в неправдоподобии. В стремлении создать образ героя без страха и упрека, уместный в старых романах и легендах, а не в реальности начала двадцатого века. Но Шмидт был.

В его ясной душе сочетались нежность и стальное мужество. Он боялся причинить людям зло и в то же время был абсолютно бесстрашен, готов пожертвовать для людей жизнью. В нем кипела неудержимая, доходящая до яростных вспышек ненависть к злым солдафонам в офицерских и адмиральских погонах, к царю, к жестокости, ко всему, что угнетало и оскорбляло Россию. А рядом с этой ненавистью — удивительная ласковость и любовь к товарищам, к морю, к детям...

Иногда он был даже наивен. Но это — наивность человека с благородным, открытым сердцем.

Он с самого начала понимал, что неподготовленное восстание окончится разгромом. Но матросы видели в нем командира, они позвали его, и он без колебаний пошел с ними. Чтобы не оставить их одних. Чтобы стать щитом и многих спасти от смертного приговора. И сам пример его жизни и смерти стоит многих выигранных сражений...

Шмидт напрасно надеялся, что власти разрешат рабочим похоронить его. Царь боялся очаковцев и живых, и мертвых. Расстрелянных зарыли на месте казни, на острове Березань, и разровняли землю.

Только в мае семнадцатого года прах героев привезли в Севастополь. Здесь они были похоронены в склепе Покровского собора на Большой Морской. В двадцать третьем году их торжественно перенесли на кладбище Коммунаров, а в тридцать пятом встала над могилой скала с якорем и флагом...

На улице Частника, что проходит в квартале от Шестой Бастионной, я встречался с писателем Геннадием Черкаши-

ным. В домике его бабушки. Это была удивительно добрая, ласковая старушка, одна из тех, кто хранил и хранит память о старине своего города.

Мы приходили в белый домик с зеленой калиткой, врезанной в каменный забор, с двориком, укрытым виноградными зарослями. Бабушка угощала нас инжиром, чебуреками с вишней и домашним вином. Геннадий утверждал, что вино в точности такое же, какое делали в этих местах древние греки — жители Гераклеяского полуострова.

В прохладных, побеленных комнатах висели поблекшие фотопортреты усатых матросов — предков Геннадия. На ленточках бескозырок были различимы «яти» и твердые знаки...

Геннадий Черкашин пишет о Севастополе и Черноморском флоте. Есть у него книга и о Шмидте. Хорошая, большая книга. Черкашин много работал над ней и, конечно, знал о жизни Шмидта не в пример больше меня. Ему было что рассказать, а мне послушать. Но оказалось, что и у меня есть кое-что интересное для Геннадия. Например, история о материалах судебного дела Шмидта, которые хранятся в Вильнюсе.

Вильнюс — город, где прошло детство моего отца. Летом шестьдесят третьего года мы с отцом приехали в этот город. Вильнюс показался мне сказкой Андерсена. Путаница старинных улочек, зеленые откосы и мостики, крепостные башни, арки, флюгера. Готика и барокко соборов, которые поднимаются вокруг тебя прямо к зениту. Средневековые глобусы в полутемном читальном зале университета. Лавки с антикварными книгами. Смех ребятишек, играющих в узких вымощенных дворах среди плюща, каменных лесенок и галерей. Чешуя солнца на отполированной брусчатке мостовых.

Я влюбился в город с первого взгляда, и отец был счастлив. Он повел меня на обширный пустырь за вокзалом, и мы остановились у плоского бугра. Бугор зарос высокой травой и колючками. Кое-где среди травы виднелась кирпичная кладка.

— Вот здесь был наш дом... То есть не наш, конечно... — Отец тихо улыбнулся. — Мы с мамой снимали две комнатки...

Я молчал, взяв отца за локоть.

Свою бабушку, мать отца, я не знал. Она умерла задолго

до моего рождения. Говорят, в молодости эта панна, из какого-то местечка под Варшавой, была ослепительно красива. И чудовишно бедна. Она служила кассиршей в захудалом вилленском магазинчике. Но, несмотря на бедность, гордости моей бабке было не занимать. Если верить семейным легендам, она утверждала, что род ее восходит к каким-то древним графам Королевства Польского. Возможно, из-за этой истинно шляхетской гордости она трудно уживалась с людьми. Подробностей ее жизни я уже никогда не узнаю, известно только, что она рано овдовела — и сына Петеньку, моего будущего отца, с малолетства воспитывала одна.

Мне рассказывали, что до старости бабушка оставалась человеком сурового нрава, с характером неприступным и капризным... Но для отца она была просто мама, которая по-русски, по-польски и по-литовски пела ему колыбельные песенки и мазала бальзамом своего изготовления царапины, когда восьмилетний Петенька с луком и стрелами являлся домой с «охоты» из ближних зарослей...

...Из зарослей вылетела и упала рядом с нами желтая оструганная стрела. С голубиным сизым пером и жестяным наконечником. Потом появились двое мальчишек лет десяти и девочка. Они шли к нам через бугор. Один из мальчиков тащил за собой через траву сделанный из досок самокат. Другой нес маленький арбалет с резиновой тетивой. Они остановились в трех шагах и нерешительно смотрели, как отец вертит в пальцах поднятую стрелу.

Мальчик с арбалетом — белоголовый, со светлыми царапинами на загорелых плечах и ногах, с репьями, прилипшими к майке, — сказал с легким прибалтийским акцентом:

— Извините, мы не знали, что здесь кто-то ходит.

— Здесь никого не бывает, — строго заметила смуглая девочка.

А похожий на нее мальчик с самокатом — наверно, брат — так же строго спросил:

— Вы уже посмотрели? Можно взять?

Отец подал стрелу белоголовому мальчику с арбалетом.

— Спасибо, — тихо сказал мальчик.

Брат и сестра заулыбались, тоже сказали «спасибо» и вдво-

ем развернули тяжелый самокат. Вопрос для них был решен. Стрелок пошел за ними, но вдруг обернулся и спросил:

— А она в вас не попала? — Он качнул стрелой.

— Все в порядке. Мы целы и невредимы, — отозвался я.

— Хорошо, — сказал мальчик опять без улыбки.

И они ушли. Трава качалась, над ней летали пушистые семена.

— По-моему, ты в детстве был такой же белобрысый и серьезный, — заметил отец.

— Гм... — сказал я, имея в виду серьезность. Отец многого не знал, после войны мы жили порознь. У меня был отчим.

Мы обошли заросший фундамент. У каменного забора, спрятавшись в кустах, стояла маленькая почерневшая статуя не то святого, не то рыцаря в высоком шлеме и плаще.

— Рядом с ним я играл когда-то... — улыбнулся отец. — Таких памятников еще много в старых дворах, они все на учете. Но про этот, по-моему, не знают даже в Литовской академии наук.

— Что же ты не расскажешь им? Ты же часто там бываешь...

Отец не ответил, только опять улыбнулся. Я его, кажется, понял: не всегда хочется пускать в свое детство посторонних.

В середине дня отец повел меня в Академию наук показать кое-какие издания в отделе редких книг. Это была его ошибка, потому что на том и закончились наши прогулки по Вильнюсу. В библиотеке мне рассказали, что ее основателем был видный общественный деятель, юрист Фаддей Евстахиевич Врублевский. Один из тех, кто защищал на суде Шмидта.

Врублевский и Шмидт подружились в те трагические дни.

В архиве Врублевского осталось много бумаг, связанных с процессом. Сейчас они хранились здесь, в библиотеке.

Через пятнадцать минут я зарылся в письма, черновики и отписки судебных речей, газетные вырезки, записки. Кое-что было написано рукой Шмидта.

Я увидел листок со строчками:

«Caesar morituri Te salutant!

Слова многоуважаемого защитника моего Ф. Е. Врублевского въ его защитительной речи по моему делу.

П. Шмидт 16 февраля 1906 г.».

Шмидт оставил эту записку на память Врублевскому, когда все шло к концу. Не помню, в какой связи использовал Врублевский древнее приветствие гладиаторов. Но у Шмидта оно звучало как прощание: «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» Он приветствовал так своего беззаветного и смелого защитника, потому что знал: усилия Врублевского и других адвокатов оказались бесполезными. А защищать себя сам он не собирался.

Назавтра ему предстояло сказать свое последнее слово.

И Шмидт сказал это слово. Речь его и сейчас читаешь с нервным холодком и с гордостью за человеческое мужество. Она потрясла всех: и слушателей в зале, и судей, и охрану. Есть много свидетельств, что, если бы Шмидт в тот момент захотел уйти на свободу, ни один конвойный не встал бы на пути и не сделал бы попытки выстрелить вслед. Да и в крепости охрана предлагала Шмидту бежать.

Он не ушел. Для этого пришлось бы оставить товарищей. Это дало бы повод врагам обвинить его в малодушии.

И что он стал бы делать потом? Скрываться? Или жить за границей, вдали от России, без которой он не мог? Это было не для него. Он был человек-факел, и судьба ему предназначила сгореть яростно, светло и открыто...

И все-таки, читая о Шмидте, я каждый раз жалел, что он не ушел. Я представлял, как он мог это сделать. Закончил говорить, медленно оглядел поникших судей, притихший зал, пожал плечами и пошел к двери. Локтем отодвинул растерянного конвойного офицера. И зашагал, постукивая каблуками по каменным плиткам коридора, прямой, легкий, в черном своем плаще, застегнутом на груди медной пряжкой в виде львиных голов. К узкому, как щель, выходу, за которым светился солнечный день...

Но не было этого. И день в Очакове стоял сырой и промозглый...

Я читал, а отец томился рядом. Он-то надеялся еще походить со мной по Вильнюсу и показать массу интересных мест. По-моему, он даже обиделся. И наконец спросил:

— Неужели это для тебя так важно?

— Важно, — сказал я. — Очень... Ты уж поверь и не сердись.

Отец понял. И ушел раскапывать материалы для своей диссертации по славянским языкам...

Я просидел над бумагами до вечера.

Осенью того же года я написал не то очерк, не то рассказ «Тень Каравеллы». Там говорилось о Вильнюсе и Севастополе, о книгах про Шмидта и о маленькой каравелле, которую давным-давно, в сороковых годах, построил Володя Шалимов, старший брат моего соседа и приятеля Лешки. Каравелла называлась «Лейтенант Шмидт». Очерк напечатали в журнале «Урал» и даже похвалили. Я был счастлив. И тогда я еще не знал, что это лишь начало. Что я напишу потом повесть с таким же названием и что компания моих друзей-мальчишек на окраине Свердловска превратится в отряд «Каравелла», которым мне предстоит командовать больше двух десятков лет.

Но повесть была написана. Отряд вырастал, делался крепким. В поселке Уктус, у самого леса, недалеко от знаменитого свердловского трамплина, разносились хрипловатые сигналы горнистов и треск барабанов, выводя из себя владельцев местных огородов, угрюмых пенсионеров и всех, кто считает шумных самостоятельных ребят помехою для своего устоявшегося куркульского бытия. Мы ходили в походы, пели песни на костровой площадке в ближнем лесу, устраивали фехтовальные турниры, снимали маленькой кинокамерой приключенческие фильмы. Шили паруса для будущих яхт. Наступил шестьдесят восьмой год.

В июле, когда я вернулся с ребятами из палаточного лагеря, пришло письмо из Минска, где жил отец. В письме сообщалось, что отец смертельно болен. Я вылетел в Белоруссию.

Отец сильно похудел, все время кашлял, часто лежал. С вежливой улыбкой выслушивал объяснения врача о затяжной пневмонии. Про незаконченную докторскую диссертацию он уже не говорил, часто вспоминал детство и Вильнюс. Меня он спросил:

— А как твоя книга о Шмидте? Ты ведь собирался писать.

Я сказал, что все равно не сумею написать так же хорошо, как Паустовский в повести «Черное море». Эту повесть я всегда возил с собой и дал отцу. Он полистал, обещал прочитать.

— А как твои ребята?

Я показал ему фотографии мальчишек с рюкзаками, отчаянных фехтовальщиков, устроивших бой на заросшей поляне, и горнистов, играющих сбор на вершине скалы.

— Ты не боишься? — спросил отец.

— Чего? Что свалятся?

— Нет, — сказал он. — Будущего. Ты, кажется, выбрал нестандартный образ жизни. А образ жизни выбирают навсегда. Или, по крайней мере, на долгие годы.

— Ну и... что? — осторожно спросил я. — Это плохо? — Спорить сейчас с отцом мне не хотелось.

— Нет... — улыбнулся он и закашлялся. — Но... трудно.

Я хотел напомнить отцу, что и сам он не был баловнем судьбы, но он все кашлял, кашлял. Ему принесли таблетки...

А через полчаса затрезвонил телефон. Должно и тревожно. Я знал эти звонки: междугородная связь. И понял: меня...

Звонили ребята. Они не могли не звонить: отряд был в беде. Его просто-напросто громили. Местная «общественность» активизировалась. В «Каравеллу» являлась комиссия за комиссией. Ребятам вспоминали всё: колючие заметки в школьной стенгазете, «неуважительное» отношение к жильцам соседнего дома, сломанный (якобы ими, ребятами) стул в красном уголке домоуправления, громкие сигналы горна и споры с учителем труда в школе (который раздавал ученикам тычки и затрещины).

Оставшиеся за командиров семиклассники и восьмиклассники отбивались как могли. Они даже пошли к очень высокому начальству с вопросом: почему пионерский отряд преследуют, будто хулиганскую компанию? Бескомпромиссная ребячья логика подсказывала им предельно ясную мысль: справедливость за нами, значит, нас должны выслушать, понять и защитить. В принципе эта схема безупречна. Однако в жизни она требует поправок на многие конкретные условия и характеры. По молодости лет и недостатку житейского опыта ребята об этом не знали. Увы, сам факт, что «мелочь», пацанята в пионерских галстуках, задают взрослому начальству вопросы, был воспринят как величайшая крамола.

(Эти ребята сейчас — журналисты, врачи, офицеры, геологи. У них растут дети-школьники. Но мне лишь недавно

перестали напоминать, как «эти ваши мушкетеры» своим визитом потревожили «высшие педагогические и административные сферы». Напоминания имели цель доказать, что ребят я воспитываю неправильно.)

Положение накалилось до предела. У четырнадцатилетних капитанов не было выхода. По междугородному телефону они дали «SOS».

— Поезжай, — сказал отец.

Я понимал, что едва ли еще увижу его живым. Он тоже это понимал. Мы обнялись. Щека у отца была теплая и немного колючая. На ней резко толкалась жилка.

— Я напишу, — выдохнул я.

— Хорошо, — серьезно сказал он с какой-то странно знакомой интонацией. И я вдруг вспомнил Вильнюс, траву на фундаменте разрушенного дома и упавшую к ногам стрелу. И мне показалось, что не я, а отец в детстве был очень похож на того белоголового мальчика с арбалетом...

Я улетел, но не домой, а в Москву. В Свердловске рассчитывать на помощь не приходилось.

В Москве была жара. Пыльные листья уныло висели над горячим асфальтом. Я пришел в редакцию «Пионера». Рассказал, в чем дело. В конце концов, «Каравелла» — корреспондентский отряд журнала. Пусть помогают. Тогдашний редактор «Пионера» Наталья Владимировна Ильина успокоила меня:

— Отряду мы, конечно, поможем. Я созвонюсь со школьным отделом «Правды», попрошу их вмешаться. Это будет вернее всего... Завтра после обеда всем этим и займемся.

— Почему же не с утра? — нетерпеливо спросил я.

— А вы утром не пойдете в Дом литераторов?

— Зачем?

— Разве вы не слышали? Умер Паустовский.

Утром я поехал на улицу Герцена, в Центральный Дом литераторов. Люди шли и шли к его распахнутым дверям.

Зал был полон и тих. Мне показалось, что это не просто похоронная тишина. В ней было какое-то печально-тревожное ожидание. Паустовский лежал ногами к залу. Гроб был

поставлен слегка наклонно. Казалось, Константин Георгиевич приподнялся, вслушиваясь в непрочную тишину.

Смерть разгладила морщины, и лицо Паустовского было молодым. Гораздо моложе, чем на снимке, который я как-то сделал с экрана телевизора. Эта фотография висела у меня над столом. Константин Георгиевич смотрел с нее насупленно и требовательно, надвинувшись на зрителя большим лбом с ломаными линиями морщин...

Я никогда не видел Паустовского при жизни. Конечно, хотелось увидеть. Несколько раз думал набраться смелости и поехать в Тарусу. Или хотя бы послать свои книги. Но оставалась трезвая мысль: сколько молодых литераторов, сколько влюбленных в его книги читателей мечтают о такой встрече, сколько авторов шлют свои книжки и рукописи. Ему, человеку, который всю жизнь так ценил уединение и покой — не ради покоя, а ради возможности много и без суеты работать. Писать, писать, писать, чтобы успеть как можно больше рассказать людям о земле и о море, о страданиях и благородстве, о мужестве и нелегком умении быть счастливым.

Я утешал себя, что короткая встреча все равно ничего не изменит в жизни. Паустовский и без нее сделал для меня все, что мог. Он сделал меня писателем.

В пятом классе я прочитал его «Далекие годы». Прочитал взахлеб. С благодарностью и с тоской, что у меня нет такого друга, как тот мальчишка, живший в заросшем каштанами Киеве в начале нашего века. Мы бы поняли друг друга. Он, как и я, мечтал получить в подарок осколок окаменевшей ржавчины от старого якоря. Он так же, как и я, берег свои придуманные корабли от насмешек сытых, самоуверенных людей... Так же, как я, жил врозь с отцом...

С того дня я читал у Паустовского все, что мог разыскать в библиотеках и у знакомых...

Осенью пятьдесят шестого года мы, студенты-первокурсники, убирали картошку на раскисших от дождей полях под Красноуфимском. Сапог у меня не было. Брезентовые ботинки развалились. Я заходился кашлем. Бывший с нами заместитель декана отправил меня и одного моего сокурсника с поля дежурить в большой избе, которая служила нам общежитием. Мы вымыли полы, перетряхнули соломенные тюфя-

ки, накололи дров и уселись у разгоревшейся печки. Было тихо, шуршал за окном мелкий дождь, трещала горящая береста. Однокурсник — человек с «жизненным опытом», из вечных студентов — дал мне для согрева что-то хлебнуть из фляжки. Потом стал читать свой рассказ. То ли под влиянием глотка, то ли потому, что рассказ был очень скверный, я придрался к одному пышному сравнению и ударился в критику. Мой коллега был оскорблен. Он прекратил чтение, обозвал меня сосунком и сказал, что я сам бездарь со своими потугами на романтические новеллы.

— Будущее покажет, что из кого получится, — уверенно произнес он.

— Покажет, — заносчиво согласился я и улегся на тюфяк.

На низком подоконнике вразброс лежали старые журналы. Я взял прошлогодний номер «Октября» и открыл наугад. И увидел имя Паустовского. Это была первая публикация «Золотой розы», о которой я раньше только слышал.

Я читал до позднего вечера эту повесть о красоте земли и человеческих душ. О тяжелой, порою непосильной писательской работе и о счастье, которое эта работа дает. О том, что писательство — не только труд, не только долг, но и потребность души. Это когда человек *не может не писать*.

Я радовался повести и мучился. Мучился потому, что не мог не писать, но знал, что писать не умею. Не в силах. Нет терпения довести до конца даже коротенький рассказ. Слова лепятся в беспомощные фразы, и никогда мне не рассказать людям то, что задумано.

Я стонал от бессилия. И от стыда. Мое недавнее согласие, что «будущее покажет», было хвастливым выкриком сопляка, бездарного и нахального, — теперь я это понимал отчетливо.

Ночью я включил под одеялом фонарик и, сцепив зубы, начал писать новый рассказ. Он опять не получился. Тогда я еще не знал простой истины: если сам видишь, что не получается, значит, не все потеряно. Значит, есть хоть какая-то надежда, что когда-нибудь что-нибудь получится. Я не знал этого, но все же надеялся. И мучился снова. Потому что иначе не мог.

С этой поры осталась привычка писать карандашом в об-

щей тетради. И мучиться приходится, пожалуй, не меньше, чем тогда. И радоваться, несмотря на мучения. В этом и есть то непростое счастье, о котором писал Паустовский.

...Из зала я поднялся в комнату, где готовили смены почетного караула. Было много людей, но из знакомых я увидел только Агнию Львовну Барто. Мы молча кивнули друг другу. Желаящих встать в караул было много, и я долго не решался подойти к распорядителю. Потом подошел. Спросили, кто и откуда. Я назвал себя, сказал, что из Свердловской писательской организации. Мне дали широкую черно-красную повязку.

В карауле я стоял в ногах у Паустовского и видел его легкие коричневые полуботинки. Новые, с нетронутой кожей на подошвах. Видимо, специально купили для похорон. Почему-то не оставляла мысль об этих полуботинках. О том, что Паустовский никуда и никогда в них не пойдет. Эти подошвы не оставят следа ни на траве, ни на асфальте, ни на прибрежном песке, ни на камнях в Херсонесе...

Говорят, Паустовский мечтал поселиться в Херсонесе, на краю Севастополя, рядом с развалинами древних башен, рядом с сигнальным колоколом над высоким обрывом — в этом старинном колоколе отдается эхо штормов.

Среди камней, поросших травой с мелкими желтыми цветами. Теплым запахом этой травы пропитаны старые переулки, прибрежные камни и бастионы...

У края сцены стоял рояль. Седая пианистка в черном бархатном платье негромко играла «Смерть Озе» Грига.

О Григе я тоже узнал в детстве от Паустовского. Он много писал о «снежной» музыке Грига в разных книгах. В том числе и в повести «Далекие годы».

Мне вспомнилась опять эта повесть. Начинается она главой «Смерть отца». Я не мог не думать о своем отце, две смерти — уже наступившая и та, которая неизбежно придет, — давали ощущение одной большой утраты. И безнадежности.

Но сквозь безнадежность пробивалась тревога. За ребята, за отряд. Будто где-то далеко трубил в помятый горн дежурный горнист Валерка. Трубил неумело, отрывисто и сердито.

Это звучал сигнал опасности. Но безнадежности в нем не было. Это была тревога жизни...

Когда караул сменили, я опять прошел в зал. Начиналась гражданская панихида. Сердитый, взлохмаченный Виктор Шкловский вскинул голову и резко сказал:

— Не надо плакать! Река закончила свой путь. Она слилась с морем...

Конечно, он говорил о море вечной жизни, литературы, борьбы за истину и радость. Но мне тут же вспомнилась опять синяя искрящаяся ширь и всплески прибоя у скал Херсонеса...

«Черное море»... Повесть о Севастополе, о революции, о Шмидте. Сколько бы ни говорили о любви Паустовского к средней России, к рязанским проселкам и омутам близ Оки, Черное море он любил не меньше. Любил преданно и постоянно. Это же видно на каждой его странице, написанной про моряков, про Севастополь, про любой клочок древних крымских берегов.

Мне кажется, когда-нибудь благодарные севастопольцы поставят памятник Паустовскому. Он был певцом этого города.

Было бы хорошо, если бы памятник стоял где-нибудь на скалистом мысу и постаментом ему служили бы источенные морем и ветрами камни этой скалы. Крепкий ветер с моря прижимал бы к камням жесткую траву все с теми же мелкими желтыми цветами. И было бы тихо, только вскрикивал в отдалении бакен-ревун, который раскачивают волны недалеко от Константиновского равелина...

После панихиды я вышел на улицу. Всю ширину улицы Герцена занимала плотная молчаливая толпа. В окнах арабского посольства напротив ЦДЛ были видны прижатые к стеклам коричневые лица. Протискиваясь от дверей, я увидел Олега Тихомирова, молодого писателя, автора хороших детских книжек. Тогда он работал в «Пионере». Мы встали рядом.

— Выносят... — сказал кто-то. Толпа разом качнулась. Мы с Олегом взялись за руки, чтобы держаться вместе. В мегафон громко объявили, что желающие ехать на кладбище в Тарусу могут занять места в автобусах.

Я не мог поехать. В три часа меня ждали в редакции «Правды»...

Идти в газету со мной должен был знакомый журналист. Мы договорились встретиться в «Пионере». Когда я пришел туда, он ждал меня. Я сказал, что был на похоронах Паустовского.

Мы помолчали.

Стало темно.

Стало удивительно темно. Это неожиданно собралась над Москвой черная июльская гроза. Из окна одиннадцатого этажа стало видно, что зажглись окна в домах и фары автомобилей.

Никогда я не видел такой грозы — ни раньше, ни потом. Это не риторический прием, в самом деле не видел. Было гораздо темнее, чем обычной летней ночью. Словно все грозы, о которых писал Паустовский, — с их чернильной тьмой, седыми шипучими ливнями и обжигающими глаза вспышками, — сошлись над печальной вереницей автобусов, чтобы отдать последний громовой салют...

После грозы стало прохладно. Москва была умытая, асфальт блестел, как синие реки.

Встреча в «Правде» прошла хорошо. Столько лет минуло, а я до сих пор помню ощущение прочности и успокоенности, которое принес мне тот разговор. У журналистов «Правды» прекрасное умение проникать сразу в суть событий и принимать четкие решения.

— Мы ребят в обиду не дадим, — сказали мне. — Сегодня же позвоним в Свердловск. А потом придем туда корреспондента. Вот вы... — это уже моему спутнику, — вы и поедете. Согласны?

Тот радостно сказал, что согласен.

После редакции мы вдвоем зашли на междугородный телефонный пункт и поехали на ВДНХ. Просто так, в парк. Ходили по аллеям. Вечерело, мокрые листья мягко поблескивали под желтым солнцем. Я думал, что сейчас в Свердловске тоже прошел теплый дождь. И, может быть, мои штурманы-пятиклассники Игорек и Валерка бегают по заросшей улице от дома к дому, путаясь ногами в мокрой высокой траве, среди которой почти не видно тропинок. Они, эти мальчишки, разносят весть, что отряду больше ничего не грозит («Откуда ты знаешь?» — «Слава только что звонил из Москвы». Они во все времена называли меня просто по имени)...

В Свердловске было не так уж спокойно. Правда, звонок из редакции подействовал, комиссии на время прекратились. Но местная «общественность» (особенно дамы из «домового комитета») не сдавалась.

В союзниках у нее была окрестная шпана, не терпевшая «пионерчиков» в форменных рубашках с красными галстуками и морскими нашивками.

Знакомый журналист из Москвы не приехал: его неожиданно послали в командировку за границу.

Ребят надо было держать вместе, готовыми к «обороне». Я собрал отряд по тревоге. Но, собрав, нужно было начинать какое-то дело. И мы, назло недругам, сняли в ближнем лесу наш самый лучший и веселый фильм той поры: «Вождь краснокожих».

Лихого Джонни играл Игорек — тонкий, быстроногий насмешливый мальчишка в матроске. Совсем непохожий на американца и похожий на веселых загорелых севастиопольских мальчишек.

Отец умер в середине ноября. Пришла телеграмма.

Гроб закопали в закаменевшую от ранних морозов землю. Это был черный гроб с орнаментом из картонных серебристых листьев. Листья были похожи на картонные игрушки, которыми в детстве я украшал небогатые новогодние елки военных лет.

В тот же вечер я уехал, забрав с отцовского стола его медаль «За победу над Германией» и старинный фотоснимок — на нем отец снят годовалым мальчиком с родителями. Это было мое единственное наследство...

Я мало знал отца. После войны мы виделись редко. Но я все чаще вспоминаю то, что сохранилось от довоенного детства. Как мы лежим на кровати и отец читает «Сказку о рыбке и рыбке» — сказку, где есть синее море. Или как мы стоим на высоком крыльце городского музея, а перед нами весенний разлив реки Туры — до самого горизонта сизая, пасмурная вода.

— Папа, это море?

Не помню, что он сказал.

А так хочется вспомнить. Многое. Чем дальше, тем все до-

роже для нас крошечные искорки памяти, самые маленькие вестники из далекого детства.

Даже если это бумажный голубь или стрела, пущенная из травы белоголовым мальчиком.

ОСТРОВ ПРИВИДЕНИЯ

Опять весна...

Кто-то говорил мне, что ранняя весна пахнет свежим разрезанным арбузом. А еще я слышал где-то красивые слова, что «весной оживают запахи проснувшихся ветров и веселого солнца». Не знаю. Может быть... Мне всегда казалось, что ранняя весна пахнет просто весной... Впрочем, сейчас я понимаю, что и это не «просто». В воздухе смешиваются запахи талого снега, сырых деревянных заборов, черных проталин, где проклюнулись храбрые травинки. А еще запахи тополиной коры, под которой толкнулись в жилках соки, и железных крыш, которые сбросили снеговые пласты и греют под солнцем свои поржавевшие спины...

А над крышами в ясном высоком небе идут пушистые, желтые от солнца облака.

Когда я был маленький, мне казалось, что весна пахнет этими облаками. Если оттолкнуться новыми, скрипучими ботинками от упругих досок деревянного тротуара, подпрыгнуть высоко-высоко, ухватить кусок похожего на легкую вату облака и уткнуться в него лицом — вот тогда-то и можно полностью насыщаться влажным радостным запахом весны...

Сейчас мой дом в центре большого города, и весенние запахи пробиваются сюда еле-еле. Но я часто езжу к маме. Она живет на окраине, почти у самого леса, в деревянном двухэтажном доме. На старой тихой улице. Эта улица очень похожа на ту, где прошло мое детство. Даже высокий тополь недалеко от крыльца совсем такой же, как тот, что качал надо мной свои ветки в давние-давние годы.

И синие лужи такие же.

И пушистые облака отражаются в них так же, как в далеком сорок шестом году. Только сам я... Когда я шагаю к маминому дому через лужи по обломкам кирпичей, снизу, из синего зеркала, на меня смотрит не восьмилетний пацаненок

в мятой ушанке, телогрейке до колен и с потертой полевой сумкой через плечо. Смотрит здоровенный гражданин в драповом пальто и модной шапке — такой солидный, что глядеть тошно...

Ну ладно, в конце концов, не в этом дело. Все равно, как и раньше, скачет по берегам луж самый главный и вечный на Земле народ — мальчишки с легкими сосновыми корабликами. У мальчишек сейчас каникулы.

Я до сих пор люблю весенние каникулы, хотя они давно уже приносят не отдых, а массу хлопот. Это хорошие, веселые хлопоты. Начинается Неделя детской книги, и дома у меня то и дело трезвонит осипший телефон:

— Вы не забыли, что сегодня читательская конференция в районной библиотеке?

— Вы обещали прийти к нам в школу на утренник...

— Завтра у нас пионерский сбор, посвященный героям ваших книг...

По мартовским улицам я топаю к школе, библиотеке, Дому пионеров, клубу... Шагаю, попутно думая о делах и заботах. Щурясь от солнца, поглядываю по сторонам. И вдруг ахаю про себя: «Неужели это я иду на встречу с читателями? С моими читателями? Неужели там, на библиотечных полках и стендах, выставлены мои книжки? Я их написал?» Столько лет прошло, а привыкнуть все еще не могу.

«Неужели и вправду случилось в жизни такое, о чем я думал в тот февральский вечер сорок шестого года?»

Черт возьми, значит, в самом деле случилось.

...Сейчас я шагну в зал или класс, к тем, кто читал мои рассказы и повести. Ребята будут напряженно смотреть на меня и ждать: что хорошего скажет им этот пожилой, грузный дядька, которого библиотекарьша и учителя усаживают за столик с приготовленным заранее букетиком и почтительно именуют «нашим дорогим земляком-писателем».

Мальчики и девочки ждут чего-то интересного. Они имеют на это право. Зря, что ли, они бросили игры среди теплых весенних дворов, не стали смотреть по телевизору «Приключения Электроника», не пошли в кино, отложили книжку Жюль Верна? Не так уж хочется посреди каникул идти в шко-

лу и сидеть на запланированном мероприятии. «А уж если пришли и сидим, — думают они, — то давайте...»

И каждый раз я чувствую себя немного виноватым. Тем более что начинать выступления до сих пор не научился.

Я говорю:

— Вот что, товарищи... Длинную речь мне заводить не хочется. Я ведь, по правде говоря, не знаю, что именно вы хотели бы услышать... Может быть, начнем с вопросов? Пусть каждый спрашивает о том, что ему интересно. Кто первый? Главное — начать...

Повисает растерянное молчание. Классные руководительницы укоризненно смотрят на меня и переглядываются: кажется, в ходе событий произошел непредвиденный сбой.

«Ой-ёй...» — говорю я про себя и приподнимаюсь за шатким столиком (букетик падает).

— Ну что же вы, ребята? — страдальчески произносит де-вушка-библиотекарь и глазами беспомощного гипнотизера смотрит на оробелых читателей. — Вы же так готовились, так ждали...

Я, потупясь, разглядываю на столике рисунки и отзывы ребят. Иногда под отзывами поставлены красными чернилами оценки: пятерки и (гораздо реже) четверки. Отзывы с тройками писателям, естественно, не показывают. А жаль. Там, несмотря на пропущенные буквы и запятые, наверно, немало интересного...

Наконец при легком вздохе всеобщего облегчения поднимается первая рука. И слышен первый вопрос. Иногда он звучит весело и даже озорно. Иногда — робко, после торопливого перешептывания с соседом. Порой — сбивчиво читается по бумажке, и автор его зябко шевелит плечами, ощущая неотрывный взор классного руководителя.

Ничего, на первый раз годится и так. Сейчас я отвечу, потом сам спрошу о чем-нибудь, и разговор закрутится, как в веселом механизме, где одна шестеренка цепляется за другую. Руки начнут подниматься бойко и часто, вопросы пойдут — успевай только отвечать.

И наконец кто-нибудь обязательно скажет:

— Расскажите, как вы написали свою первую книгу!

Когда-то я ждал этого вопроса с удовольствием. Потом настороженно. Приходилось каждый раз говорить: «Вы уж не обижайтесь, если слышали про это раньше. Возможно, кое с кем из вас мы встречаемся не впервые, а вопрос такой задают обязательно — вот и приходится рассказывать одну и ту же историю».

Наконец я стал бояться этого вопроса: ужасно неловко чувствовать себя гастролером, который выступает с одним и тем же номером. Я пробовал что-то мямлить в ответ, отделяться короткими фразами, но слушатели требовали подробностей. Я опять извинялся и запускал старую пластинку.

Но однажды далеко-далеко от моего дома, в Гурзуфе, молоденькая учительница с улыбкой призналась, что слышит мое повествование четвертый раз. Сначала она выслушала его, когда еще была школьницей и жила на Урале, затем когда училась в пединституте (я выступал там перед студентами), потом когда в одной из сельских школ заменяла на практике учительницу... Мне захотелось немедленно скрыться в глубинах ласкового Черного моря и не всплывать до тех пор, пока нынешнее молодое поколение не уйдет на пенсию. Но это было невозможно. И тогда я решил, что пора кончать.

Выход был один: поскорее написать про свою первую книжку рассказ и напечатать в газете или журнале. Тогда пускай спрашивают! Я буду говорить: «Про это уже напечатано. Прочитайте, если интересно, там все-все рассказано».

Я так обрадовался этой мысли, что хотел сесть за работу в тот же день. Однако всякие срочные дела мешали... Но вот опять весна, близятся каникулы, и времени уже почти не осталось. Я берусь за карандаш. Пишу название...

Но даже сейчас у меня ощущение, будто я не сижу один за столом, а стою в классе и на меня выжидательно смотрят сорок девчонок и мальчишек. Рыжий пятиклассник, весело морща конопатую переносицу, спрашивает:

— А как вы написали свою первую книгу?

... — Как я ее написал... Видишь ли, это длинная история.

— Вот и хорошо! Расскажите! — слышатся голоса.

— Разве вы еще не устали?

— Не-е-ет!!!

«Вот черти...»

— Ну ладно... Прежде всего надо сказать, что в то время мне было чуть больше семи лет...

— У-у-у...

— Да. Именно так. Это случилось в феврале сорок шестого года.

...Хороший был год — первый мирный год после войны. Больше не надо было со страхом ждать: вдруг придет извещение, что кто-то из родных убит, ранен или пропал без вести. Но жизнь еще была нелегкая. Хлеб давали по карточкам, одежды не хватало, с дровами тоже случались перебои...

Мама, я и старшая сестра Людмила жили тогда в Тюмени, на заваленной сугробами улице Герцена, такой тихой, что по вечерам на много кварталов разносился скрип снега под полозьями саней и валенками редких прохожих...

Вечера случались хорошие и плохие. Хорошие, когда горят в печке дрова, на столе каша или макароны, посыпанные сахарным песком; мама вовремя пришла с работы и сегодня больше никуда не уйдет; в тетрадках нет ни двоек, ни грозных записей Прасковьи Ивановны; уроки вроде бы сделаны (а еще лучше, если завтра воскресенье). Но самое главное — у меня есть хорошая книжка!

Если книжки не было, никакой вечер не мог считаться полностью хорошим. Я в то время читал, как говорится, напропалую. Добывал книжки где только можно: брал в детской библиотеке на углу улиц Ленина и Челюскинцев, выпрашивал у знакомых, выменивал «на срок» у ребят («Я тебе насовсем пистолет с резинкой, а ты мне на три дня эту книжечку. Идет?»). Больше всего мне нравились потрепанные томики детиздатовской «Библиотеки приключений» — маленькие, пухлые, в потертых коленкорových переплетах, которые украшала узорчатая рамка со следами облесшей позолоты.

Какие это были книги! «Таинственный остров», «Аэлита», «Плутония», «Белый клык», «Всадник без головы»...

На первой странице каждой книжки я всегда видел маленький значок со словом «Детиздат» — сидящего мальчика,

который положил на поднятые коленки книгу и, видимо, с головой ушел в мир бурь и приключений. Мне казалось, что этот мальчик похож на меня. По крайней мере, мы были друзьями...

Не всегда мне везло. Случалось, что я оставался совсем без книг: прежние прочитал и отдал, новых раздобыть не удалось. И вот однажды...

Вечер без книжки был унылым. Тем более что мама все не возвращалась. Людмила за что-то на меня ворчала, электричество не горело, а желтый свет керосиновой лампы делал комнату тесной и печальной.

Дрова в печке, однако, горели. Я сидел у приоткрытой дверцы и почти сердито думал о писателях. Что они за люди? Откуда у них такая сила, что могут они заставить человека забыть про все на свете? Про то, что хочется есть, про уроки, про боль в распухших от холода пятках. Даже про то, что мамы все еще нет дома, а на улицах, говорят, хозяйничает по вечерам банда «Черная кошка» (эти бандиты не только грабят, но еще страшно мяукают и царапают людей громадными железными когтями)...

«Как человек придумывает книгу, от которой не оторвешься?» — это была, кажется, первая четкая мысль в цепочке моих рассуждений.

А вторая:

«Наверно, писать такую книгу еще интереснее, чем читать...»

И третья:

«А если так, не попробовать ли самому?»

Я даже задержал дыхание — такой неожиданной и блестящей была идея.

Но почти сразу я спросил себя:

«Разве ты писатель?»

А может быть, это спросил не я, а тот мальчик с детиздатовского значка? Он вспомнился — будто поднял от книжки голову и взглянул внимательными темными глазами. Без насмешки, но недоверчиво.

Я немного смутился, но сказал:

«А что? Сперва никто не писатель, пока не написал книж-

ку. А если написал, тогда уж... вот... Вдруг я когда-нибудь тоже?..»

«Ты же маленький».

«Но я только попробую... маленькую... Ладно?»

Он улыбнулся и сказал мне:

«Ладно. Давай».

Когда человеку семь лет, у него решительный характер. Я вскочил и сразу взялся за дело...

Обычно здесь я прерываю рассказ и спрашиваю ребят:

— Как по-вашему, что надо, чтобы написать книгу?

Нынешние школьники не лыком шиты! Аккуратная строящая девочка в белом переднике поднимает руку и говорит:

— Надо знать жизнь.

Мальчик с первой парты что-то шепчет соседу и потом общается:

— Надо заранее изучить материалы и составить план...

Подробный.

Даже конопатый мальчишка — тот, что задал коварный вопрос о первой книге, — произносит с ужасно серьезным видом:

— Надо получше выучить русский язык. — Он хитро косится в сторону учительницы, а та одобрительно кивает.

Я вздыхаю.

— Правильно, — говорю я. — Вы молодцы. И мне сейчас неловко за себя. Потому что в тот далекий зимний вечер я не смотрел на дело так серьезно и глубоко. Мне казалось, что для работы над книгой нужны две вещи: бумага и карандаш. (Чернила не годились: они напоминали об уроках и гасили вдохновение.)

Карандаш у меня был. Даже карандаши. Цветные. Шесть штук в коробке с надписью «Спартак». Мама положила их под елку в новогоднюю ночь. Где мама взяла такую редкость, я так и не узнал. Она утверждала, что это подарок Деда Мороза. Но я на восьмом году жизни верил в Деда Мороза не больше, чем в то, что когда-нибудь стану отличником.

Я заново отточил кухонным ножом красный и черный карандаши. Красным я выведу название и первую заглавную

букву — как в старинных книгах. А черным стану писать весь роман. Я сразу решил, что это будет роман — с морскими приключениями, пиратами и сокровищами.

Итак, у меня было *чем* писать. А *на чем*?

С бумагой было туго. Чистые тетрадки выдавали нам в школе по строгому счету. Их не хватало. Часто приходилось писать на всяких случайных листках, на обороте старых документов, а задачки мы иногда решали даже на газетах.

Я подумал, что если газеты годятся для школьных занятий, то сойдут и здесь. Тем более что другого выхода не было.

Старые газеты мы припасали для растопки и хранили в углу за этажеркой. Я их вытащил оттуда под негодующие крики старшей сестрицы. Скобками из медной проволоки я сшил тетрадку размером в одну восьмую газетной страницы — так, чтобы писать поперек печатных строчек.

Потом встал коленями на стул, подвинул тетрадку к лампе, сердито оглянулся на Людмилу — чтобы не подглядывала — и вывел название: **ОСТРОВ ПРИВИДЕНИЯ.**

С чего начинаются главные события во всех классических романах с морскими приключениями? Конечно, с бури. Вспомните «Робинзона», «Пятнадцатилетнего капитана», «Гулливера»... Я не хотел отступить от правил. Я написал:

БУРЯ БЫЛА УЖАСТНАЯ...

Отчетливо помню большую красную букву Б в начале строки. И эту черную неровную строку с первыми словами моего «романа» (она дерзко пересекла цепочки мелкого газетного шрифта). И разлапистое Т, совершенно ненужное в слове «ужасная» (про это мне потом сказала мама).

Вторая строчка рассказывала, что «волны были как десятиэтажный дом».

В ту пору я ни разу не видел десятиэтажных домов. Самые большие здания в Тюмени тогда были высотой в четыре этажа. Но эта высота казалась мне совершенно недостаточной, чтобы изобразить гороподобные волны «ужасной» бури.

«Ветер выл, как тысяча змеев горынычей, и дул сразу со всех сторон...»

Поразив будущих читателей картиной небывалого урагана, я приступил к изложению событий.

События заключались вот в чем.

Среди бушующих десятиэтажных волн беспомощно болталось судно с поломанными мачтами, изодранными парусами и разбитым рулем. Это была пиратская шхуна «Черная макарона» (до сих пор горжусь так славно придуманным названием). Почти всю команду смыли ревушие гребни, и осталось там лишь три человека: матрос Боб Рыбка, боцман Пушкадёр и капитан Джон Кривая Нога. Они то плакали, то молились, то ругали бурю страшными «пиратскими» словами. В трюме открылась течь, и надежды на спасение не было.

Однако я понимал, что, если пираты потонут, роман придется кончать в самом начале. И поскольку в своей книжке я был хозяин, то с помощью громадной волны швырнул несчастную «Макарону» на скалы у небольшого острова.

Шхуна булькнула и пошла на дно, а пиратов море мило-стиво выбросило на берег.

Буря сразу выключилась, так как больше была не нужна. Небо очистилось. Море стало гладким. Засияло солнышко. Пираты пришли в себя на белом песчаном пляже...

Скоро Джон Кривая Нога, Пушкадёр и Боб Рыбка разобрались в обстановке. Они поняли, что судьба (то есть автор) забросила их на необитаемый остров. Сначала они крепко изругали судьбу (про автора им ничего не было известно), а потом сообразили, что дело не так уж плохо: лучше сидеть здесь, чем кормить рыб на дне океана.

— Ничего, — сказал капитан Джон. — Клянусь моей кривой ногой, мы еще поживем. Отдохнем здесь от приключений, а потом нас увидят с какого-нибудь корабля. Скажем, что мы (ха-ха-ха!) честные матросы с разбившегося судна, и нас отвезут на Большую землю. А там мы начнем все снова.

— Да здравствует капитан! — крикнул Пушкадёр.

А Боб Рыбка тихонько проговорил:

— Только очень хочется кушать...

Пиратам повезло. Конечно, необитаемый остров — не дом отдыха, но жить здесь было можно. Росли кокосы, водились на берегу вкусные крабы и черепахи. Если не лениться, с голуду не помрешь.

Из пальмовых листьев пираты построили шалаш, из крабов сварили похлебку (в большой раковине). В другой раковине, плоской, как сковородка, приготовили омлет из черепаховых яиц. После сытной еды они сидели у маленького костра и лениво разговаривали. Тут наступил вечер, а за ним красивая тропическая ночь...

Не помню, как я описывал эту ночь, но представлял я ее очень ясно. И сейчас представляю.

Над морем и островом висело темно-зеленое небо с громадной луной. Луна была похожа на медный начищенный таз. Пальмы казались черными. И кусты, обступившие поляну с шалашом и костром, были черные. Над кустами летали светлячки. Пламя костра освещало довольные пиратские лица.

— Клянусь моей кривой ногой, здесь не так уж плохо, — проворчал капитан Джон.

— Вы абсолютно правы, капитан! — с энтузиазмом воскликнул боцман Пушкадёр.

— Довольно уютно... — согласился Боб Рыбка и почему-то вздохнул.

Они еще ничего не знали...

Они не знали ужасного сюрприза, который подготовил им автор.

Дело в том, что остров был не совсем необитаемый. С давних-давних пор здесь

ЖЫЛО-БЫЛО ПРИВИДЕНИЕ...

Откуда оно тут появилось, Привидение и само не помнило. Скорее всего, какой-то сильный ураган подцепил его на дворе старинного рыцарского замка и ради шутки занес на этот остров.

Привидение очень тосковало в одиночестве. Всем известно, какая задача у привидений, — кого-нибудь пугать. А кого можно пугать на необитаемом острове? Крабов? Черепах? Птичек? Но эти существа, в отличие от людей, совершенно не боются нечистой силы.

Привидение по своей натуре было трудолюбивым и общительным. Оно томилось без работы и боялось потерять квалификацию. И вот впервые за много столетий наступил для не-

го радостный день. Вернее, ночь, потому что все привидения трудятся в ночную смену.

После захода солнца Привидение почистило обветшалый саван, немножко порепетировало в своей пещере полузабытые «пугательные» приемы, потом определило по звездам, что уже полночь, и вышло на работу.

...Боб Рыбка первый увидел, как над черными кустами тихо всплыл кто-то непонятный, с большущими горящими глазами и в длинном светлом балахоне.

— Я... ик... ик, — сказал Боб. — Мама... Я больше не буду.

Здесь я всегда делаю отступление и говорю:

— Вы должны понять Боба, Джона и Пушкадёра. Они были необразованные, верили во всяких там чертей, ведьм и привидения... Конечно, вы люди современные и на их месте ничуть не испугались бы, потому что привидений нет и быть не может, но эти несчастные пираты...

Среди слушателей раздаётся нервное хихиканье, а иногда и открытый смех. И я начинаю догадываться, что даже среди образованных и смелых пятиклассников есть люди, которые почувствовали бы себя немного неуютно там, на ночной поляне...

...Тем более что Привидение старалось вовсю! Оно как сумасшедшее носилось вокруг поляны и выло, будто стая пикирующих бомбардировщиков. Потом оно останавливалось, печально подымало к луне прозрачные руки и унылым басом говорило непонятные заклинания.

Пираты лежали, уткнувшись носом в песок, и наперебой каялись в грехах. Они думали, что Привидение собирается взять их за шиворот и утащить прямехонько в ад.

— Клянусь кривой ногой, я брошу пиратское ремесло! — восклицал капитан Джон и посыпал песком голову.

— Совершенно верно, капитан! — вторил Пушкадёр. — Я тоже клянусь! — И он стучался лбом о пустой черепаховый панцирь.

— А я вообще! — жалобно причитал Боб Рыбка. — Я давно

собирался!.. Я хотел поступить в садовники и выращивать анютины глазки! Это мой любимый цветок!

— Уавы-ахшм-бамухших-х-х-х, — отвечало Привидение и, нечеловечески усмехаясь, опять начинало облет поляны...

Так продолжалось, пока звезды не показали четыре часа пополуночи. Тогда Привидение, довольное проделанной работой, отправилось на отдых, а обалделые от ужаса пираты до восточда лежали на песке и тихонько стонали.

При свете дня они слегка пришли в себя и, вздрагивая, стали обсуждать ночное происшествие. Капитан Джон еще раз поклялся своей ногой, что бросит пиратское ремесло и начнет честную жизнь. Пушкадёр и Рыбка его, разумеется, поддержали. Боязливо оглядываясь, бывшие пираты сделали зарядку и занялись дневными трудами.

День прошел без всяких страхов, но к вечеру Джон, Пушкадёр и Рыбка опасно съежились у костра. И не зря. Изголодавшееся по работе Привидение не собиралось так легко оставлять несчастных робинзонов. Вторая ночь оказалась для них полна тех же ужасов...

И третья ночь...

И четвертая...

И пятая...

Но у человеческого характера есть неплохое свойство: постепенно он привыкает к самым большим страхам. Особенно если страхи эти одни и те же, однообразные. И на шестую ночь бывшие пираты уже не вздрагивали, не причитали и даже с любопытством смотрели, как Привидение старается нагнать на них прежний трепет...

Тут, посередине длинного рассказа, я обычно останавливаюсь, чтобы глотнуть водички и прочистить горло. И несколько голосов обычно говорят:

— А дальше?

— Дальше... Привидение тоже чувствовало, что прежней радости уже нет. Люди почти перестали бояться. Теперь пугай не пугай, а толку не будет. А что еще может сделать Привидение? Оно состоит вроде бы как из тумана и серьезного вреда причинить человеку не в состоянии... Кстати, если встре-

титесь с привидениями, имейте это в виду... Ну, конечно, не бывает, это я так, на всякий случай...

Ну а дальше было вот что...

Днем Джон Кривая Нога посоветовался с товарищами, а ночью (это была уже седьмая ночь) он дождался, когда Привидение всплыло над кустами, и сказал:

— Слушай, парень... Ты какой-то странный, ей-богу. Все ходишь в сторонке, разговариваешь не по-нашему... Ты подходи, не стесняйся. У нас вот похлебка еще осталась. На одном острове живем, пора уж познакомиться.

Привидение неподвижно повисло в воздухе и задумалось. С одной стороны, вроде не полагается привидениям заводить близкое знакомство с людьми... а с другой стороны, что еще делать-то?

Оно влетело в круг света и тихо присело на большую шляпу капитана Джона, которая лежала недалеко от костра. Смущенно покашляло и сказала:

— Вообще-то вы правы... Да... Здравствуйте.

Они познакомились и разговорились. Рассказали друг другу про свое житье-бытье. Привидение стало почти каждый вечер прилетать к новым знакомым на огонек, а иногда заглядывало и днем. Бывшие пираты всегда ему радовались. Привидение оказалось разговорчивым (намолчалось за века). Оно знало множество старинных легенд и охотно их рассказывало. А Джон, Пушкадёр и Рыбка иногда пели Привидению морские песни (Пушкадёр басом, Джон средним голосом, а Боб Рыбка тонко и нежно).

В общем, заброшенные на остров люди и одинокий призрак все больше нравились друг другу. Однажды Привидение сказала:

— Вот что, ребята... Я смотрю, люди вы неплохие. Сами говорите, что в пираты пошли не по злобе, а от скудной жизни. Бедняков не обижали, а если когда приходилось палить из пушек и махать кортиками, так что поделаешь — такая ва-ша была пиратская профессия...

Джон и Пушкадёр завздыхали и закивали, а Боб Рыбка напомним:

— К тому же мы теперь совсем перевоспитались...

— Вот и хорошо, — сказала Привидение. — Поэтому я хочу открыть вам одну тайну... Видите ту кривую пальму?

— Видим, — взволнованно выдохнули бывшие пираты.

— Если там, куда в полдень упадет тень от верхушки, вы станете копать яму, найдете сокровище.

Услышав такие слова, капитан Джон, боцман Пушкадёр и матрос Боб Рыбка кинулись к пальме, потому что солнце стояло в зените — был как раз полдень. Ржавыми абордажными саблями, которые они не потеряли даже при крушении, бывшие пираты начали рыллить и разгребать землю.

И они нашли сокровище!

Это был полусгнивший сундук, полный золотых монет, всяких драгоценностей и старинного оружия. Когда сундук вытащили, он тут же рассыпался на досочки.

В капитане, боцмане и матросе проснулись прежние пиратские привычки. Пушкадёр упал на кучу золота и стал загребать сокровище к себе.

— Прочь руки! — заорал Джон Кривая Нога. — По закону половина добычи принадлежит капитану! — Он схватил старинный пистолет и щелкнул курком. — Всех перестреляю!

Пистолет был, конечно, незаряженный, и капитан стукнул Пушкадёра по шее рукояткой. Начался шумный дележ, который очень был похож на обыкновенную драку.

Наконец Боб Рыбка (которому в этом дележе досталось всего несколько монеток) воскликнул:

— Как же нам не стыдно! Так ведем себя при посторонних! А ведь мы говорили, что перевоспитались!

И всем стало стыдно, потому что Привидение маячило неподалеку и укоризненно поглядывало на драчунов.

Капитан Джон поднялся с груды сокровищ, выплюнул четыре золотых дублона, вытряхнул из уха крупный алмаз и сказал:

— Мы это... просто так. Поиграли. Клянусь моей кривой ногой, это была просто шутка.

— Совершенно верно, капитан, — сказал Пушкадёр. Сел на травку и высыпал из широкого сапога с отворотами драго-

ценные камни. — Давайте все в общую кучу... У вас, капитан, вон в том кармане, кажется, случайно еще с десяток монет...

— Будем делить честно, — предложил Боб Рыбка. — На четыре части.

— Почему на четыре? — удивились капитан и боцман. — Нас трое!

— А ему... — Боб украдкой кивнул в сторону Привидения. Джон и Пушкадёр засмутились и согласились.

Но когда разделили сокровище, Привидение расхохоталось. Оно сказала, что золото и алмазы ценятся только у людей, а для привидений они — тьфу! Все равно что песок. Так что пускай трое друзей всё забирают себе. Бывшие пираты, конечно, не спорили — поделили на три части и долю Привидения.

Потом, тяжело дыша, каждый сел рядом со своим богатством. И Боб Рыбка печально сказал:

— Ну и что дальше? Зачем нам эти сокровища? Здесь не купишь на них даже пирожок с морковкой.

— Да! Пора решаться! — воскликнул капитан Джон (и, конечно, поклонился ногой).

— Правильно, капитан! — гаркнул боцман.

А Боб Рыбка тихонько вздохнул.

И они решились на то, на что раньше решиться никак не могли: из пальмовых стволов соорудили плот с мачтой, из рубашек и штанов сшили парус и с попутным ветром поплыли через океан.

А Привидение, чтобы не скучало, они взяли с собой...

Я был полным хозяином в своем романе и сделал так, что плавание протекало вполне благополучно, при тихой и теплой погоде. Тяжело нагруженный золотом плот приплыл прямо в тот город, где Джон, Пушкадёр и Боб когда-то были маленькими и ходили в школу.

Теперь бывшим пиратам больше не надо было заниматься разбоем. На свои сокровища каждый купил себе корабль и сделался настоящим капитаном. Стал возить грузы и пассажиров.

А Привидение поселилось на берегу, в развалинах старого маяка. Всем известно, что развалины для привидений — все равно что для человека дом со всеми удобствами. Скоро в го-

роде стало известно, что в башне разрушенного маяка завелась нечистая сила. На маяк потянулись толпы туристов. Стали приезжать из других городов и даже из других стран. Привидение работало изо всех сил: летало по темным коридорам, сверкало глазами и выло на разные голоса. Губернатор потирал руки: деньги от туристов текли в городскую казну рекой... Правда, в конце концов Привидение переутомилось и потребовало у губернатора два выходных в неделю. Тот, конечно, согласился...

Когда капитаны Джон Кривая Нога, Пушкадёр и Боб Рыбка приплывали в родной город, Привидение являлось к ним в гости. Они вчетвером сидели в кают-компании и вспоминали свои приключения на необитаемом острове.

Так заканчивалась моя первая в жизни книжка.

Получилась она довольно тонкая: семь или восемь страничек. И, скорее всего, события, которые я только что изложил, были описаны в ней не так подробно. Ведь потом я эту историю рассказывал множество раз, она обрастала деталями и, наверно, даже кое в чем изменялась. Но думаю, что я все же довольно точно передаю содержание того давнего «романа».

Писал я его пять вечеров подряд. И никому не объяснял, чем занят. Ложился грудью на тетрадку, если кто-то пытался заглянуть мне через плечо. Маме неловко говорил:

— Ну потом... Потом покажу.

А старшей сестрице предлагал идти подальше и заняться своими делами.

— Учил бы лучше уроки, — говорила Людмила.

На эти глупые слова я не реагировал и снова окунался в таинственные события на острове.

Наконец «Остров Привидения» был закончен. Я поставил красивую большую точку, облегченно вздохнул и сел перечитывать свое творение.

И оказалось, что читать мне совсем неинтересно. Не потому, что плохо написано. Просто мне все уже было известно. Тогда я понял еще одну простую вещь: писатель пишет книги не для себя. Ему нужны читатели!

Ни мамы, ни даже Людмилы дома не было. Дядя Боря,

живший рядом, в проходной комнате, уехал в командировку. Самый близкий читатель находился за шаткой дощатой стенкой, которая отделяла нашу квартиру от соседской. Там жил со своей матерью и старшим братом четвероклассник Лешка Шалимов.

В то время это был тощий, стриженный под машинку парнишка в обвисшем свитере, латаных штанах и подшитых, огромных, как ведра, валенках.

Впрочем, такие признаки годились почти для всякого мальчишки тех лет. Упитанностью никто не страдал, заплаты и подшитые валенки были тоже обычным явлением, а стригли под машинку всех поголовно. Даже еле заметная челочка, жалко торчащая над лбом, вызвала праведный гнев учителей и завучей... С той поры школьники многого добились: теперь их нелегко заставить остричь локоны, висящие ниже ушей. Но педагоги не поднимают белый флаг и продолжают упорную борьбу за «короткие прически». Видно, им снятся давние сороковые годы и ровные ряды голых макушек. Судя по всему, они (педагоги, а не макушки) уверены, что в одинаково стриженных головах никогда не возникнет разнообразных и опасных идей, грозящих срывами уроков и падением графика успеваемости.

Увы, по собственному опыту знаю, что это не так. В наших «черепушках», украшенных строгими прическами «под ноль», мысли бродили всякие. Очень разные. Лешке, например, за день до описываемых событий пришла мысль притащить в класс будильник и включить под партой посреди урока звонок. Стриженные полчища с радостным воем кинулись в коридор: думали, что уже перемена. Вечером я слышал через стенку, как Лешкина мать громко причитала и обещала разбить ни в чем не виноватый будильник о башку беспутного сына. А брат-студент непедagogично хохотал...

Лешка был по натуре скептиком. Он смотрел на окружающее с иронической ухмылкой. Ко всему хорошему он относился с недоверием. Я знал это, но выхода у меня не было. Я для храбрости набрал в себя воздуха, зажмурился и крепко забарабанил в стенку. Она затряслась и загудела. Послышались Лешкины крики — сердитые и жалобные.

А через полминуты на пороге возник сам Лешка. Его макушку украшало круглое чернильное пятно.

...Здесь все слушатели почему-то смеются. Они думают, что, колотя в перегородку, я с какой-то полки опрокинул на Лешкину башку чернильницу. Ничего подобного. Кто будет приколачивать полку на такую шаткую стенку да еще ставить туда посуду с чернилами? Дело было в другом. Лешка не умел решать задачки. Он их ненавидел. Особенно те, где говорилось про бассейн с трубами. Вода то наливалась в этот бассейн, то вытекала из него, и надо было решить, когда он в конце концов наполнится. Лешка негодовал: «Неужели не могут сделать для трубы затычку, чтобы ничего не выливалось? Набралось бы до краев — и крышка!» Вот и сейчас он пришел злющий, потому что не получалась такая задача.

Писали тогда деревянными ручками-вставочками со стальными перьями (сейчас их можно увидеть, пожалуй, только на почтах и в сберкассах). Перья макали в чернильницы-непроливашки или аптечные пузырьки, где разводили купленный на толкучке чернильный порошок. У Лешки был пузырек. Лешка заполнял его по самое горлышко, чтобы не возиться лишний раз. Когда он злился на задачку, то забывал про все и опускал ручку в чернила «по самый корешок». Пальцы поэтому были перемазаны. А что делает четвероклассник, если не получается задачка? Бросает ручку и скребет перемазанными пальцами затылок. Оттого и пятно. Чем оно больше, тем, значит, сложнее попалась задача.

Сейчас пятно на Лешкином темени было размером с тибетейку. Лешка сказал свистящим от злости голосом:

— Не можешь, балда, позвать по-человечески? Обязательно стенку ломать? Тут и так ни фига не решается, а он...

Я скромно переждал эту вспышку негодования и примирительно произнес:

— Ладно, Лешка. Завтра спишешь задачку у Эльки Матюхиной. (Это была Лешкина соседка по парте.) А я вот... — Здесь я засмутился и потупил глаза. Потом сипловато выговорил: — Я тут книжку написал...

Надо было видеть Лешкино лицо. Он посмотрел на меня

перва с изумлением, а потом как на курицу, которая грозит-ся облететь вокруг света.

— Ты?.. — сказал он.

Однако отступить мне было некуда. Я вздохнул и протянул ему газетную тетрадку.

Лешка усмехнулся так, что у меня под майкой разбежались колючие шарики. Но тетрадку он взял. Прислонился к дверному косяку, отставил правую ногу в необъятном своем валенке, помусолил палец, откинул обложку и зашевелил губами.

У меня выключилось дыхание...

Однако чем дальше Лешка читал, тем серьезнее делалось у него лицо. Он уже не слюнявил палец и страницы перелистывал аккуратно.

Так, не отходя от косяка, он проглотил мой роман «Остров Привидения». А проглотив, сделался опять насмешливым и недоверчивым:

— Ну и что? Ты это где-то списал.

Я очень обиделся, но обиду скрыл. Только сказал, что никогда не имел привычки что-нибудь списывать. Это *некоторые* то и дело списывают у соседки по парте задачки и упражнения... И, кроме того, где я мог это списать? Может быть, Лешка читал раньше книгу про остров с Привидением? Или хотя бы слышал про такую?

Лешка поскреб чернильную макушку и вынужден был признать, что не читал и не слышал.

— Ну ладно, не заводись на простокваше, — снисходительно произнес он. — Если сам, то ничего... Давай я завтра к нам в класс унесу. Почитаем, а потом скажу, понравилась нашим или нет...

Я заволновался. Я просто заметался в душе. Конечно, какой писатель не мечтает, чтобы читателей было как можно больше? Но страшно же: одно дело — знакомый (хотя и вредный) Лешка, другое — сорок почти незнакомых людей...

— Ну... ладно, — решил я. — Только вы не очень... Если там какие недостатки, не ругайте изо всех сил. Все же это у меня первая книжка.

— Ничего, — отозвался Лешка. — Там свои люди, не вздрагивай...

Но я «вздрагивал». И в этот вечер, и потом еще целый день. Лешка учился во вторую смену, и я с трепетом ждал, когда он явится из школы.

Явился он, конечно, поздно. Встал на пороге, вынул из облезлого портфеля мою газетную тетрадь — порядком измочаленную — и протянул ее таким жестом, каким во времена Кутузова и Наполеона протягивали маршалам пакеты с важными донесениями.

— Забирай, — сказал он. — Мы читали вслух. Даже Анна Яковлевна подходила и слушала. Все говорят, что ты пишешь, как Жюль Верн. Валяй дальше!

Надо ли говорить, как я возликовал!

Вдохновленный массовым признанием, я склепал новую тетрадку и сел писать свой второй роман.

Однако дело двигалось хуже. Помню, что я пытался сочинить историю про старого капитана, который попал в плен к индейцам и подружился с мальчишкой — сыном индейского вождя (здесь было что-то от «Кавказского пленника» Льва Толстого, которого мы как раз читали в классе). У меня не получалось описание американского берега, к которому капитан приплыл на своем корабле. Я мучился. Тетрадка была исчеркана, я сделал другую, но это не помогло. Самое скверное, что целыми днями я думал только о своей новой книжке. Ни о чем другом! Это, конечно, сказалось на отметках. В табеле запахло двойкой по арифметике, а дома — крупным скандалом. Тогда я впервые понял, что писательская работа — совсем не мед.

Спасла меня весна. Началась она неожиданно, резко, буд-то кто-то щелчком выключателя повысил в солнце накал. И однажды, прыгая в своих валенках по кирпичикам, брошенным в лужи, я понял, что не хочу писать книги, а хочу, как все нормальные люди, кидаться комками из тающего снега, носиться по двору и делать из сосновой коры парусные кораблики.

Со всеми этими делами, однако, произошла задержка. Валенки не годились для весенней погоды, а ботинок еще не было. Маме со дня на день обещали на работе выдать их по

какому-то ордеру, но не выдавали: то ордер не подписан, то кладовщик уехал, то нет нужного размера. И поэтому я сидел дома.

То, что не надо ходить в школу, я пережил без особой горечи. Но под нашими окнами растекалась прекрасная мартовская лужа — целый океан. И по этому океану ходили эскадры с бумажными парусами. Лешка, очевидно, был адмиралом. Он командовал, когда устраивали гонки и морские сражения. А я сидел на подоконнике и с тоскливой завистью смотрел на это парусное празднество.

Наконец я не выдержал. Забарабанил по стеклу, обратился на себя внимание адмирала Шалимова и умоляющими знаками просигнализировал, чтобы он принес мне кусок сосновой коры. После чтения моего «романа» Лешка относился ко мне с некоторым уважением. Он снизошел к моей просьбе. И через несколько минут я кухонным ножом (тем же, которым чинил карандаши для «Острова Привидения») обрабатывал мягкую коричневую кору, стараясь заострить нос будущего брига «Робинзон».

Потом я вколотил в корабельный остов две лучинки-мачты и воткнул в корму руль из толстого бритвенного лезвия «Стандарт».

В этот момент пришла на обеденный перерыв мама. Ботинок она так и не получила, но купила на толкучке резиновые сапоги. Почти новые, только с двумя аккуратными заплатками. Они пришлись мне в самую пору (правда, пришлось надеть еще толстые носки и отогнуть голенища).

Скорее на улицу! Туда, где сияют просторы весенних морей! Но сначала надо было оснастить «Робинзон» парусами. Подходящей бумаги под руками не оказалось, и я без всякого сострадания пустил на марсели и брамсели тетрадку с «Островом Привидения»...

Как ни странно, мой кораблик оказался быстроходнее других. Он лихо резал носом воду и прекрасно держался на курсе. Может быть, это действовал бритвенный руль. Но, скорее всего, причина в том, что паруса моего брига были особенные. Видимо, они сохраняли в себе силу моего вдохновения, силу тех морских ветров, которые шумели на страницах моей первой книжки...

Даже Лешка снисходительно признал первенство моего брига «Робинзон» (напомнив, что именно он, Лешка, добыл для него кору на соседской поленнице). Счастливый, забывший о времени, я до вечера метался по берегам огромной синей лужи. Я радовался морской жизни: сверканию солнца, теплomu ветру, парусам и крикам веселых капитанов... Я ничуть не жалел о порванном романе и был уверен, что напишу еще много книг. А пока я отправлял свое удачливое суденышко все в новые и новые рейсы... За этим делом и застала меня мама, когда вернулась с работы.

— Ой-ей-ей! — сказала она. — Да ты же сырой насквозь!

Насквозь не насквозь, а в сапогах громко хлюпало (одна заплатка отлетела в первые полчаса).

— Домой, — сказала мама. — Домой, домой, домой...

— Подожди! — взмолился я. — Последний разик!

...Помню очень ясно, как я стою коленками на шатких досках деревянного тротуарчика, а по воде, отразившей чистое небо, убегает к далекому берегу бриг «Робинзон».

Мама терпеливо ждет. Она понимает...

Она всегда понимала меня. Мои игры, мои стихи, мои тайны и мою странную привязанность к парусам. Именно ей посвятил я книжку о первых кораблях своего детства.

И этот рассказ я тоже посвящаю маме... Только подожди, мама, не торопи меня с улицы домой, пока мой кораблик не приткнулся к дальнему берегу. Пока впереди есть еще пространство синей чистой воды...

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРЫМ ТЕТРАДЯМ

1

Всегда я завидовал людям, которым хватает умения вести дневники. Особенно своему другу художнику Евгению Пинаеву. В его тетрадках, блокнотах и толстых конторских книгах — и военное детство, и полная дорог и приключений юность, и рейсы на траулерах и парусниках по разным морям и океанам...

А меня лишь однажды хватило на несколько месяцев — с февраля по апрель пятьдесят второго года, — когда был семи-

классником. И сколько же радостей и горестей в этих трех месяцах! Намек на первую влюбленность (записанный хитрым «двойным» шифром). Печальный рассказ об измене друга. Гнев на несправедливость взрослых. Радость новой дружбы. Планы на будущее (еще такое далекое!), записи о только что прочитанных книгах, о трофейном фильме «Тарзан», о солнечном затмении 25 февраля, о героической драке на деревянных мечах... И первые стихи:

Шуршит по гравию волна...

Стихи, конечно, о море. Я его тогда еще не видел. И вообще не видел никаких мест, кроме родного города Тюмени и нескольких окрестных деревень.

Потом пришлось поехать немало, но уже никогда не хватало времени и терпения для подробных записей. Только на Кубе в течение месяца делал наброски в тетради почти каждый день. Но это исключение.

И тем не менее накопилась в шкафу чуть не сотня общих тетрадей. Черновики рассказов, которые я сочинял студентом на лекциях. Незаконченная фантастическая повесть — я писал ее на целине в Хакасии в пятьдесят шестом году (на нарах при фонарике, на гудах зерна в минуты коротких перерывов обмолота, в хибарке полевого стана Карасук во время редких дождливых выходных и даже в тряском кузове грузовика). Тетради с планами походов и списками ребячьей флотилии «Каравелла». И опять черновики, планы, наброски, адреса, чертежи парусов, сценарии любительских фильмов...

И все же там и тут, среди перепутанных страниц недописанных рассказов, среди перечней дел, которые необходимо проверить в ближайшие дни (теперь уже давно минувшие), попадаются торопливые карандашные строки путевых записей и беглых заметок о встречах.

Например, такие:

«Дорога на Дмитров. Яхрома. Бронзовые каравеллы на башнях шлюза... Может быть, отправиться в дальнейшее путешествие прямо из Дмитрова? И каравеллы, застывшие в неподвижной стремительности, проводят в путь...»

«Подмосковье. Густые плакучие березы стоят без листьев и похожи на частое темное кружево. Из длинных щелей меж-

ду темными серо-лиловыми облаками сочится огонь заката, растекается. Пробивается сквозь сетку берез. Щель в облаках такая же яркая, как в приоткрытой печной дверце, когда в комнате погашен свет».

«Красные кленовые листья — как озябшие ладони. Погреть бы у печки...»

«Москва — Ростов.

Кругловатая и болтливая девочка лет десяти шумно сочиняет стихи в вагонном коридоре у окна: «В небе желтым пятном солнце желтеет, а на льду на реке рыбаки синеют...»

«У Таганрога застывшее Азовское море. Заструги снега вдали блестят, как волны. А дальше непонятно — есть или нет, там синий туман. А так хотелось увидеть укрытое море...»

Мальчик лет четырех, черноглазый и бойкий. Подружился с моряком-сверхсрочником, тот дарит ему фуражку с золотым «крабом». Малыш громко ревет, когда мать хочет вернуть фуражку старшине. Фуражка остается у малыша. Проводник Сергей учит его играть в нарды. Сергей называет эту игру «шешу-беш»...

Фаянсовые изоляторы на перекладинах телеграфных столбов похожи на белых нахолившихся пичуг, сидящих парами. Сон-сказка: поздно ночью изоляторы вдруг привстают на тонких ножках, раскрывают крылышки и разом — фр-р-р! — снимаются с надоевших перекладин-насетов... Это сон для малыша в морской фуражке».

Или вот снова запись о далеком от моря подмосковном Дмитрове, где я часто гостил у приятеля:

«Май. Березы, нависшие над улицей. Они плывут в небе, слегка освещенные дымчатым послезакатным светом. В это время на улицах громче голоса ребятишек. Костры на огородах. Только Жильцов поджиг на грядах мусорную кучу...»

Третьеклассник Толик Жильцов неравнодушен к рослой пятикласснице Малышкиной. Про него рассказывают, что в минуту откровенности он признался: «Буду летчиком и буду катать Малышку на самолете».

Леня Леваков — беленький и сероглазый — самый незаметный из всех. Хорошо улыбается.

...Овраг в Дмитрове. Мы с мальчишками стреляем из моего спортивного лука. Стрелы втыкаются в откос. Издалека от-

кос ровного зелено-бурого цвета, а когда подходишь вытаскивать стрелу — он в молодой траве, мелких камнях, глинистых проплешинах. Моросит дождик, пахнет мокрой травой.

Разговор. Солидный Вова Игнатьев убеждает Леню Левакова:

— Этот дождь не кончится до ночи.

— Кончится, — тихо говорит Леня. — Видишь, просвет?

Скоро будет солнце и даже радуга будет.

— Никакой радуги...

— Ну, ладно, — сказал он. — Ну, пусть. Хорошо... А если кончится дождь, и засветит солнце, и будет радуга, тогда пойдем в лес?

Он отчаянно надеется, верит, что ни дождь, ни солнце не обманут его и радуга встанет. Она вырастет на востоке, как громадные ворота, и тогда мы отправимся в лесной поход...

...Мы приходим в сумрачный еловый лес. Только поджигает на стволе подтеки смолы. У нее запах ладана. Смола стекает в подставленные осколки бутылочного стекла и застывает удивительными фигурками; петух, кикимора, морская звезда...»

И так далее... Простите меня за сумбур этих строчек. Для себя я здесь вижу все-таки некоторую закономерность. Больше всего записей о ребятах. Такая уж профессия: ловить черты быстрой ребячьей жизни, мелькание мальчишечьих и девчачьих характеров, их слова, поступки, неожиданные мысли... Что-то войдет в будущие книжки. Что-то навсегда останется в торопливых строчках полустершегося карандаша.

И среди этих строчек то и дело мысли о море... Тянет оно к себе.

Каравеллы у Дмитрова — как упрек: «Что-то долго ты не был в Севастополе...»

И застывшая смола в подмосковном лесу — как морская звезда...

Это я наугад перелистал две голубые тетради шестьдесят третьего — шестьдесят четвертого годов (их липкие клеенчатые обложки с треском отклеились друг от друга).

Каждая запись — как первое колечко в тонкой цепи. Потянул — и пошли воспоминания. О разных людях и городах. И все-таки больше всего о Севастополе.

«5 ноября 63 г.

Улица Сергеева-Ценского — просто лестница. Двое мальчишек лет семи козыряют морякам и просят «звездочку, конфетку или яблоко». В их представлении это вполне порядочное дело, все закономерно: моряки — большие, добрые люди, просто полубоги, они все понимают и все могут...»

Я отчетливо помню этот солнечный, тихий день больше двадцати лет назад — он пришел ясный, почти летний, после холодных дождей. Я жил тогда недалеко от Севастопольской ГРЭС, у приятеля, в тихой улочке на высоком берегу Северной бухты. Несколько суток я провалялся с непонятной какой-то лихорадкой и теперь впервые после болезни приехал в город.

Солнечное тепло было как подарок. И как подарок — эта забавная сценка с мальчишками. Один — в матросской курточке, большущих не по росту брюках и детской бескозырке, круглощекий и большеухий. Второй — в рыжем лыжном костюме, худенький, веснушчатый и сдержанно-решительный.

Они совсем не походили на хитрых попрошаек. Их, по моему, не так уж привлекала сама «добыча». Главное было убедиться в доброте самых лучших людей на свете — моряков (на штатских прохожих мальчишки не обращали внимания).

Ладони вскинута к бескозырке и курчавой голове.

— Здравствуйте! Дядя, у вас есть конфетка?

— Или звездочка?

У матросов растерянные лица. Потом кто-то смеется, дарит значок, огрызок карандаша. Малыши сияют. Молоденький мичман с блестящим кортиком неожиданно достал из кармана шоколадную конфету. Они солидно поблагодарили. Конфету разломали, а фантик разыграли: веснушчатый спрятал его в кулаке и протянул обе руки товарищу. Тот хлопнул по кулаку и угадал...

Оттуда, с улицы Сергеева-Ценского, я поехал в Херсонес. Он был тогда тих и пустынен.

«В сухой траве у древней колонны затрещал поздний, осенний кузнечик... Под ногами хрустят ракушки и черепки. На-

сухленый, сердитый мальчик ходит и что-то подбирает с земли. На нем спортивные штаны, надетые наоборот — задний карман спереди, чтобы удобнее складывать находки. Подобрал какую-то вещицу, повертел, отбросил. Я подождал и поднял ее. Цоколь большой лампы. Черная надпись: «600 Вт. Цоколем вниз». Наверно, от фонаря решетчатого створного маяка, что на обрыве...

Ветер от берега, и волны пологие, без гребней. В Карантинной бухте плеск волн похож на шум беспрерывно льющейся звонкой воды...

Волны обтачивают камни и придают им удивительные формы. Изъеденный морем белый камень похож на выбеленный солнцем лошадиный череп.

Развалины и скалы. Часто непонятно, где кончается каменная кладка древних стен и начинается дикая порода ракушечника и песчаника. Блестят перламутровые осколки мидий, мелкие обломки костей, обточенные, как голыши...

Круглые впадины на каменных площадках похожи на следы громадных зверей. Скалы желтые и серовато-белые, а во впадинах сочная трава — маленькие оазисы. Трава в каждой впадине разная; в одной на длинных стеблях мелкие, частые листики, сложенные в звездочки; в другой — травка обыкновенная, как в старом городском дворе (та, которую козы щиплют). А на склонах холмов, под которыми скрыты древние дома и храмы, — солнечная россыпь сурепки и поздних одуванчиков...

И еще удивительная трава: мясистые листики с шипами, словно крошечные кактусы. Маленькая Мексика на черноморских скалах. Эти листики с шипами осторожно выкапывает и кладет в передник загорелая старушка...

У каменного забора, на лужайке, окруженной зарослями дрока, сошлись рыжий теленок и огненно-оранжевый петух. Нос к носу. Внимательно и удивленно разглядывают друг друга...

Внизу, недалеко от каменистого пляжа под колоколом, рыбаки ставят сети на кефаль. У берега мотобот со шлюпкой на буксире... Девочка в синей шерстяной кофте до колен принесла обед отцу. Здесь работает рыбацкая артель...

Мотобот стрекочет очень звонко, будто большой кузнец. При таком звуке мне почему-то вспоминаются сухие стрекозинные крылья, которые блестят на солнце...»

Такой вот был этот день. Ничего тогда не случилось, но сейчас он вспоминается, как тихий праздник.

А потом — отрывистая запись о вечере:

«Черная вода Севастопольского рейда. Катер проходил почти под самыми нависшими носами кораблей. На них — редкие огоньки...

Мальчик и кот. Окошко в домике над обрывом.

Среди множества ярких огней — скромные синие огоньки. Удивительное дело: когда смотришь прищурившись на синие огни, они выбрасывают не четыре луча, а пять — звездочкой...

Причал ГРЭС. Рыбак таскает рыбу за рыбой...

Отражения огней полощутся в воде, как развернутые из рулонов полосы материи...»

3

Отражения огней в самом деле были похожи на желтый шелк. Узкие полотнища вертикально уходили на глубину и полоскались в черной воде. От них отрывались яркие лоскутки и прыгали по волнам. От веселых этих отражений делалось теплее. А вообще-то вечер был зябкий... После тихого, солнечного дня, когда закат над морем и Константиновским равелином растаял и небо почернело, потянул с Северной стороны прохватывающий ветерок. Чтобы опять не схватить какую-нибудь лихорадку, я ушел с открытой кормы в железную внутренность катера.

Пассажиров было мало. Суетливо стучал двигатель, горела неяркая лампочка, подрагивала железная палуба. Нить лампочки искрами отражалась в бугорках палубных заклепок, отполированных многими подошвами. К сырому железу прилипли брошенные билетки с бледно-голубыми якорями.

Я прошел в нос, где слабее был звук движка. Сел на пустую скамейку и опять увидел мальчика и кота.

«Опять» потому, что первый раз я заметил их при посадке. Мальчик лет одиннадцати, в куцем пальтишке и синем беретике от школьной формы, шел впереди меня. Кота он нес под мышкой. Кот был большой, серо-полосатый. Он не сопротивлялся, лапы и голова его размягченно висели. Только прямой гладкий хвост неторопливо описывал круги. Это означало сдержанное раздражение и протест.

Теперь мальчик сидел наискосок от меня, а кот в проходе между скамьями. Кот делал вид, что с мальчиком незнаком и едет по своим делам.

Мальчик сердито двинул потертым резиновым сапожком и проговорил громким шепотом:

— У, паразит. Попрошай усатый...

Кот сидел неподвижно, и усатая морда его выражала полную отрешенность. Он явно давал понять, что слова мальчика не о нем.

— Обормот, — вполголоса сказал мальчик. Потом встретился со мной глазами и смутился. Повозил сапожком по заклепкам палубы. Снова быстро поднял глаза. Хорошие были у него глаза, теплые такие. Они смотрели из-под аккуратной светлой челки, и я вспомнил дмитровского Леню Левакова.

Мальчик шевельнул уголками губ, но сразу погасил эту нерешительную полуулыбку. Опять вернулся к коту:

— У, швабра...

Кот снова не отреагировал. Тем более что на швабру, гладкий и упитанный, совсем не походил.

— За что ты его так? — спросил я.

Мальчик коротко шмыгнул носом и сказал:

— Да ну его... Он бродяга.

— В каком смысле? Из дома бегаешь?

— Ну да! — Мальчик опять бросил на кота неласковый взгляд, а мне улыбнулся. — Он такой... Вот как выйдет из дома да увидит катер — сразу шаст на него. И едет на Графскую. Он умный, всегда знает, какой катер на Графскую... А там трется у рыбаков и попрошайничает. Ждет, когда рыбу дадут.

— Ясно, — сказал я.

Мне была известна эта порода здешних котов. Я не раз ви-

дел их на севастопольских пристанях. Они сидели рядом с удильщиками и ждали долю добычи. Но мальчик напрасно сказал о попросайничестве. Коты держали себя очень достойно. Даже величественно. Они были неподвижны, и на мордах их отражалось полное спокойствие. Коты были уверены, что получают свое. И правда, рыбаки — мальчишки и взрослые — обязательно давали такому хвостатому сторожу по рыбке. Может, это был обычай, а может, примета: если не дашь, то и клева не будет.

Я заступился за кота:

— Что такого? У него к этому делу свой интерес. Угостится рыбкой и придет домой.

Мальчик озабоченно сдвинул светлые бровки.

— Ага, а если не придет? Если на катер не пустят? Один раз совсем мокрый вернулся, среди ночи. Наверно, кто-то с трапа спихнул... — Он повернулся к коту, сказал с досадой: — Не можешь, что ли, на своей пристани сидеть? Обязательно на Графскую надо...

Кот независимо дернул кончиком хвоста.

— Самостоятельный он у тебя...

— Да... — охотно отозвался мальчик. — Бродячий он. У него, наверно, с детства такой характер. Я его, беспризорного, нашел в колючках, когда он вот такой был...

Маленький хозяин кота нешироко развел ладони, и тоненькие руки его далеко высунулись из обтрепанных рукавов пальтишка. На запястьях я заметил подсохшие царапины. Уж не от кота ли?

— Значит, он удирает, а ты за ним ездешь? — спросил я.

Мальчик шевельнул плечом: что, мол, поделаешь? Потом вздохнул:

— Жалко ведь, если пропадет. Я ведь его... ну, привык уже. И мама тоже...

— Мама за тебя, наверно, больше волнуется, когда ты по вечерам уезжаешь...

Он улыбнулся:

— А ее сейчас дома нет, она во вторую смену работает на ГРЭСе. — Потом повернулся к коту: — Скажи спасибо, что на работе. А то бы она тебя вздрючила.

Кот демонстративно зевнул розовой пастью.

Двигатель застучал реже: катер подходил к причалу «Голландия». Кот поднялся и, не оглядываясь, пошел к выходу. Мальчик — за ним. У выхода он оглянулся на меня. Словно хотел сказать «до свиданья» и не решился. Наше коротенькое знакомство было не таким, чтобы прощаться по всем правилам. И все же мальчик попросался со мной теплыми своими глазами и короткой улыбкой.

Я вышел к трапу. Неподалеку светились ряды окошек морского училища. А справа, на скалистом мысу, при свете редких фонарей лепились к скалам, громоздились друг над другом белые домики. К ним вела среди камней и кустов крутая тропинка. Мальчик поднимался по тропинке. Кота я не разглядел, но мальчик двигался спокойно, значит, кот благополучно шел впереди...

Катер стоял долго. Через несколько минут я заметил, как в одном из домиков, за черными плетями винограда, засветилось уютное окошко. Я был уверен, что это мальчик с котом пришли домой.

Они съедят оставленный мамой ужин, после этого мальчик возьмет книгу (обязательно интересную и толстую), заберется с ней в постель, а накормленный и прощенный кот устроится у него в ногах и замурлыкает от лени и спокойной радости. За стенами домика будут вскрикивать сирены катеров, изредка греметь корабельные цепи и шуршать в подсохших виноградных листьях ветер...

Катер отвалил от пирса. Я опять вышел на палубу. Высокие берега и корпуса громадных кораблей сдерживали ветер, стало теплее. Высоко над нами нависали изогнутые форштевни с сигнальными огоньками на носовых флагштоках. А по всему простору черной воды опять полоскались отражения больших огней — береговых и корабельных. Желтых и разноцветных.

Тут-то я впервые и заметил, что синие огоньки на судах и рельсовых стрелках, если сощуришься, выбрасывают не четыре луча, а пять...

Через полчаса катер ткнулся бортом в причал ГРЭС. Над причалом горела очень яркая лампочка. В разных концах пристанской площадки торчали из-за поручней длинные удилища. Между ними метался мужичок в брезентовом плаще и по-

линялой торгфлотовской фуражке. Он вскидывал то одну, то другую удочку, и ярко вспыхивали чешуйки добычи.

Мужичок казался веселым. На его подбородке горели искорки седой щетины.

Сильно пахло йодистой водой и деревом обросших свай. Домой мне совсем не хотелось, и я завязал с удачливым рыбаком беседу.

— Хорошо берет... — заметил я, когда он, грохоча сапогами, проскочил мимо.

— Берет! Я ее на соленую кефаль ловлю! — тонким обрадованным голосом откликнулся мужичок. Видать, он был не суеверный и не боялся хвастовством спугнуть везенье. — Ишь, дергать не успеваю! Чуть не голый крючок хватает!

— А что за рыба-то?

— Да пикша! — крикнул он и дернул удилище. Взметнулась леска с бусинами грузил и крючками. Блестящее зеркальце дугой пронеслось в черном небе. Рыбак отцепил и бросил его в фанерный садок. Садок был наполовину наполнен рыбками длиной от перочинного ножика до ладони.

— Всякая попадается, — охотно разъяснил веселый мужичок. Он возился с наживкой. — Есть и крупная, а есть, конечно, мелочь. Кошачья еда...

Я усмехнулся про себя и спросил наугад:

— Кот сюда случайно не приходил?

Мужичок не удивился:

— Был! Целый вечер сидел, глядел, как я дергаю...

— Угощали рыбкой?

— А как же! Ему же хочется. Существо ведь, не как-нибудь...

— А куда он подевался? Унес кто-то?

Мне почему-то хотелось, чтобы и этого кота забрал какой-нибудь мальчишка. Но рыбак сказал:

— Сам ушел! Как наелся, так и двинулся до хаты. Самостоятельный...

Я кивнул удачливому рыбаку и стал подниматься по тропинкам и каменным трапам к улице, где жил мой приятель.

С высоты, сквозь сухие листья и скрученные стручки акаций, я еще раз взглянул на рейд и берега. Мыс, где стоял до-

мик мальчика, был отсюда не виден. А если и увидишь, разве отыщешь неяркое далекое окошко среди множества огней?

Неподалеку сдержанно гудела и светилась громадными окнами электростанция, где работала мама незнакомого мальчишки.

...Мама вернется с работы среди ночи, вздохнет, поднимет с половика книгу уснувшего мальчика, поправит на сыне одеяло. Подумает, не турнуть ли с кровати дрыхнувшего кота, улыбнется и махнет рукой. И скоро окошко за черными плетями винограда погаснет. А в Северной бухте будут по-прежнему погромыхивать якорные цепи, сдержанно урчать под стальными палубами двигателя, перемигиваться прожектора. Будут замирать и вспыхивать у черного горизонта маячные огоньки.

А над высокими рубками, над темными береговыми скалами, вдали от огней, невидимо и неустанно будут вертеться решетчатые локаторы. У мерцающих пультов, на вахте — молчаливые люди в черных морских пилотках. У них ясная и четкая задача: охранять уснувшего мальчика.

Мальчик будет во сне то хмуриться, то улыбаться: мальчишечьи сны полны приключений, в которых перемешаны сказки, школьные заботы и только что прочитанная книжка...

А коту, конечно, приснится рыба. И завтра он опять проникнет на рейсовый катер и удерет в город, на Графскую пристань. Он мог бы дежурить с рыбаками здесь, недалеко от дома, но что поделаешь, если в детстве он был беспризорником и сохранил бродячий характер...

Я прочитал эти записки, и стало немного грустно. Никогда я больше не встречу этого мальчика с котом под мышкой. Четверть века прошла, мальчик давно вырос. Одно радует: я знаю, что он вырос хорошим человеком. Из мальчишек с такими теплыми глазами всегда вырастают добрые и храбрые мужчины.

А кота, конечно, нет уже на свете. Кошачий век по сравнению с людским короток. Но по-прежнему шастают в береговых зарослях, греются на ступенях каменных трапов и дежурят рядом с рыбаками независимые приморские коты. И среди них, я уверен, внуки того полосатого кота.

Они полны солидности и достоинства. Если им скажешь

«кис-кис», они или не обращают внимания, или подходят лениво и безбоязненно. И снисходительно дают пощекотать себя за ухом...

4

Это все записи первой недели ноября шестьдесят третьего года. Среди них попала такая:

«Школа на улице Очаковцев. Сухой шелест на асфальте. Мальчик с листом каштана. Солнце...»

Потом, через несколько лет, об этом мальчишке и об этом солнце я написал маленький рассказ. Он был напечатан среди других рассказов и путевых зарисовок, но сейчас мне хочется вставить его сюда. Он тут очень к месту: как вежа, как точка на карте путешествия по старым тетрадам...

У теплого моря осень наступает гораздо позже, чем под Москвой или на Урале. Но все-таки пришла она и сюда — в белый город над синими бухтами. И зеленые склоны, по которым вьются улицы и лестницы, покрылись желтыми и светло-коричневыми пятнами.

...Акации облетали. По серым плитам школьного двора бегали стайки рыжеватых высохших листьев. Их гонял зябкий ветерок, и они сильно шуршали.

Было сухо, но пасмурно. Лишь кое-где голубели клочки неба. Совсем небольшие клочки.

В школе приглушенно протарахтел звонок. Во двор и на улицу стали выбегать ребята — все уже одетые по-осеннему, кое-кто даже в пальто. Только один мальчик словно попал сюда прямо из сентября, когда над городом еще стоит прочное сухое тепло. Он был в зеленой с белыми клетками рубашке и светло-серых шортиках с черным лаковым ремешком. В плетеных сандалетах и аккуратных желтых носочках, которые ярко мелькали над серыми плитами, когда мальчик шел по двору.

Было ему лет десять. Худенький такой, но круглолицый мальчишка с веснушками, похожими на новые копейки, с медным ежиком волос.

В школьных воротах он на миг остановился, весело глянул на хмурые клочкастые облака и легко затопал по улице мимо деревянных прилавок, за которыми женщины продавали осенние цветы. Цветы были яркие. Мальчик тоже был яркий. Женщины смотрели на него то с улыбкой, то с тревогой: не озяб ли? Но ему, видно, совсем не было холодно в почти невестомой летней одежде. Он словно дразнил осень. Легко и независимо шагал среди плотно одетых, застегнутых на все пуговицы прохожих. Казалось, что солнечный зайчик скользит по улице.

Что-то радовало мальчика. Может быть, пятерка, может быть, близкий праздник и каникулы. Или он знал что-то хорошее, чего пока не знали другие... Он вышел на улицу Восставших и запрыгал вниз по каменным ступеням. В твердом полупустом ранце у него что-то застучало.

На углу Большой Морской он поднял с асфальта сухой пятипалый лист каштана. Очень большой, размером с бескозырку. Красивый был лист — такой же рыжевато-золотистый, как мальчик. Они понравились друг другу.

Легонько трогая листом колени, мальчик зашагал по Большой Морской и перешел площадь Ушакова. Стоя у парапета над Южной бухтой, послушал, как часы на башне Матросского клуба отбивают склянки и вызывают песню «Легендарный Севастополь».

Потом он стал смотреть на небо сквозь лист каштана.

В сухих листьях бывают крошечные отверстия, они похожи на проколы граненых булавок. Когда смотришь сквозь такой прокол на свет, в отверстие пробиваются искристые лучи, а в них зажигаются крошечные радуги... Но сейчас было пасмурно.

Мальчик смотрел сквозь лист и ждал чего-то. Ветер шевелил у него на рубашке растрепанные концы старенького, но очень красного галстука.

У серого облака начал золотиться край. Сперва чуть заметно, потом все горячее. И вдруг ударили лучи! И бухты опять стали удивительно синими, а дома и теплоходы очень белыми.

Мальчик дождался солнца. Оно не могло не показаться! Оно узнало своего братишку — увидело на земле веселого, солнечного человека.

Мальчик огляделся. Словно хотел сказать: «Ну что? Видели?» И, размахивая рыжим листом, побежал вниз по лестнице — она петляла по заросшему береговому откосу.

А солнце не ушло. Оно сияло все уверенней, а облака раздвигались и редели. Горьковато и тепло запахло травами. Похожий на медвежонка первоклассник остановился, уронил на асфальт портфель и стянул через голову пушистый коричневый свитер.

Я подставил солнцу ладонь и ощутил ласковый нажим его лучей.

...Следующий день был теплым и ясным. Над бухтами и внешним рейдом стояли белые круглые облака. На улицах опять мелькали яркие платья и рубашки... И мне до сих пор кажется, что веселый рыжий мальчишка подарил к празднику всему городу кусочек лета.

5

Через два дня пришел праздник. Был парад моряков, толпы на тротуарах. Мальчишки гроздьями висели на облетающих акациях и каштанах — с высоты лучше видно. Их никто не прогонял. Среди мальчишек устроился взрослый фотокорреспондент. Он был увешан аппаратами, как новогодняя елка игрушками! Об этом я тоже нашел несколько строчек. А потом — вечер.

«Отдаленная музыка. Запах осени: сухие листья, увядающая трава. Но тепло еще, совсем тепло...

Иллюминация с холма кажется неяркой. А первый залп салюта ошарашивает своим огненным торжеством!

Салют над Историческим бульваром, над площадью Ушакова. Сверху сыплются крошки от сгоревших ракет. Эти кусочки шлака медленно остывают на асфальте. Сначала они светятся, как угольки, потом гаснут. Мальчишки подхватывают их: или для того, чтобы похвастаться друг перед другом, или на память о празднике...

Я тоже хотел подобрать кусочек белого шлака. Он был похож на веточку коралла. Мы нагнулись над ним одновременно — я и мальчик в натянутой на уши морской пилотке.

Мальчик сел на корточки, ловко накрыл находку ладонью

и глянул на меня снизу вверх. Новый залп салюта вспыхнул в его глазах разноцветными букетиками.

Мальчик улыбнулся и предложил:

— Попролам.

— Давай, — согласился я.

Он быстро надавил шлаковую веточку мизинцем. Она распалась на половинки. Мальчик схватил свою и убежал, подбрасывая крошку салюта на ладони.

Я взял свою. Шлак был еще горячий, и я понес его, перебрасывая из руки в руку.

Снова разгорелись гроздья салюта. Мальчишечья стайка обогнала меня, и за ними по асфальту мчались разноцветные тени...»

ДАЛЕКО-ДАЛЕКО ОТ МОРЯ...

Когда спрашивают, почему я, человек вполне сухопутный, так привязан к Севастополю, к морякам и кораблям, я говорю:

— Потому что в детстве мне очень не хватало моря.

Детство я провел в Тюмени. Тюмень тогда еще не славилась как столица нефтеносного края. Это был город с деревянными тротуарами на центральных улицах, довольно зеленый летом и тонувший в грязи осенью.

Наш дом номер пятьдесят девять стоял в самой середине улицы Герцена. Одноэтажная и немощеная, эта улица по тогдашним масштабам считалась очень длинной. Начиналась она у старого Текутьевского кладбища, которое синело вдали, как неведомый лес, а кончалась у Земляного моста через лог, недалеко от района Большое Городище.

По вечерам над крышами Городища и дальними тополями горели очень яркие закаты. Со стороны заката брели с пастбища коровы. Я каждый раз поражался, из какой дальней дали шагают эти невозмутимые Милки, Машки и Зорьки. Ведь за Земляным мостом, за Городищем, за таинственными башнями старинного монастыря были, говорят, еще кварталы, дороги, военный городок со стрельбищами, а уж потом начинались дуга и рощицы. Сам я до семи лет не бывал ни в том, ни в другом конце улицы. Порой мне казалось, что на востоке, за страшновато-загадочным кладбищем, и на западе, за

чернеющими на закате тополями, сразу начинаются неизданные края. С заповедными лесами и непохожими на Тюмень городами. И с морем...

Осенью сорок шестого года, когда мне было восемь лет, мы с мамой переехали с милой сердцу улицы. Недалеко переехали, за пять кварталов, на Смоленскую. И хорошо хоть, что недалеко...

Смоленская на первый взгляд ничем не отличалась от улицы Герцена. Те же домики, ворота и хлипкие деревянные тротуары. Но была она гораздо короче, несолидно виляла, и в концах ее никогда не светились ни восходы, ни закаты. И я ни разу не мог представить, что за дальним краем этой улицы есть что-то необыкновенное.

И я то и дело убежал туда, где провел свое дошкольное детство. Там была родина. Там были друзья-приятели. Были и недруги, но даже они казались симпатичнее недругов на Смоленской. И там, в нашем длинном одноэтажном флигеле, по-прежнему жил холостяком дядя Боря.

Дядя Боря — это мамин брат. Уже тогда он был немолод и болен. Во время войны он перенес жесточайшую дистрофию, считался среди соседей полным неудачником, но душа и характер у него были неунывающие. Он учил меня делать луки и деревянные мечи, бумажные кораблики и самолеты, рассказывал о своем детстве на берегах Вятки, о шумных и дымных химических опытах, которыми увлекался в школьные годы. И при случае довольно безжалостно высмеивал меня, если узнавал, что я опять спасовал в стычке с вечным соперником Толькой Петровым.

Обитал дядя Боря в проходной комнатке между общей кухней и комнатами, где после нас поселилось большое семейство моего приятеля Вовки Покрасова. Имущество дяди Бори состояло из двух табуретов, трехногого кухонного стола (четвертый угол был прибит прямо к стене), ходиков с картонным циферблатом и тяжелыми плоскогубцами вместо гири и оклеенного драной клеенкой чемодана, где лежала кое-какая одежда, бритва и потрепанная книжка «Евгений Онегин». Эта книжка была чем-то дорога дяде Боре, он ни разу не дал мне ее полистать.

Спал дядя Боря на железной койке с досками вместо сет-

ки. Но, когда мы уезжали из этого дома, мама оставила дядюшке широкую кровать с узорчатыми спинками из железных завитушек и медными шишками в виде крошечных самоваров.

Да! Еще был самовар! Правда, подставка у него отвалилась и нижней частью он был засунут в старую, обгорелую кастрюлю. В другой такой же кастрюле дядя Боря варил картошку. Она вместе с хлебным пайком была в те годы почти единственной дяди-Бориной едой. Но варил он картошку здорово! Славровым листом, с укропом, в каком-то особом душистом пару. Клубни получались покрытыми мягкой розоватой корочкой и пахли, как райские плоды. Подуешь на картофелину, макнешь в крупную серую соль и, слегка обжигаясь, начинаешь жевать ее вместе с тонким пластиком хлеба...

Варили мы картошку на таганке. Дядя Боря ставил таганок на плиту, в зев большущей русской печи, сложенной в общей кухне. Зажигал под кастрюлей костерок из трескучих щепок. Отблески разлетались по стенам. Искрился в углу пузатый самовар (не дяди-Борин, а Шалимовых, соседей), в погашенной лампочке дрожала оранжевая искра. Посидеть у огонька приходили с вечерней улицы ребята. Они вспоминали недавний футбольный матч с пацанами с улицы Челюскинцев или спорили, кто победит завтра в цирковой встрече по французской борьбе.

Дядя Боря включался в спор. Он любил азарт спортивных матчей и часто ходил смотреть борцовские соревнования на арене. Тем более что это было недалеко: деревянный, пестреющий фанерными афишами цирк стоял в квартале от нас, на углу Первомайской. Вечерами было слышно, как перед началом представления оркестр играет марш Дунаевского...

От цирковой темы разговор переходил на другое. Иногда дядю Борю просили рассказать какую-нибудь историю. И он, посмеиваясь, рассказывал о том, как в детстве с друзьями напугал вредную соседку: они выдолбили тыкву, намалевали на ней рожу, прорезали глаза и зубастую пасть, вставили внутрь свечку и поднесли такого «гостя» к соседкиному окну. Или о том, как он катался в тележке, запряженной громадным воздушным змеем. Или как ехидная коза съела его папку с доку-

ментами, когда он служил в страховой конторе и ходил по дворам, переписывая хозяйственные строения...

Но иногда дядя Боря говорил о серьезных вещах. Например, каким городом станет Тюмень в будущем. Он работал в плановом отделе какой-то строительной организации, и через него проходили многие чертежи и проекты.

Проекты были фантастичны. Оказывается, на нашей улице уже запрещено строить дома ниже двух этажей. В центре города будет возведено множество кирпичных зданий. А за рекой скоро построят — невозможно поверить! — шестизэтажную больницу. В городе, где верхом монументальности было несколько четырехэтажных домов, это казалось непостижимым. И мы притихали, пораженные грядущим размахом цивилизации... А дядя Боря шепал смолистую лучину и подбрасывал под кастрюлю. Кастрюля начинала булькать, крышка на ней подпрыгивала...

Но еще больше я любил зимние вечера, когда мы топили голландку.

Круглая, обитая черным железом печка стояла посреди флигеля и выходила на четыре стороны: половиной — в две комнаты Покрасовых, четвертушкой — к Шалимовым и еще четвертушкой — в дяди-Борину каморку. Дверца находилась здесь, у нас с дядей Борей. Тяжелая, с выпуклым узорным литьем. Чтобы открыть ее, нужно было открутить могучий винт и убрать чугунный засов. За тяжелой дверцей была еще одна — тонкая, с овальным отверстием — поддувалом.

Дрова в голландке разгорались стремительно. Печка начинала празднично гудеть, как топка на веселом пароходе (так мне казалось). Прижимаясь лицом к изогнутым прутьям кроватной спинки, я смотрел, как мечется в глазке поддувала желто-белое пламя. Тонкая дверца мелко дрожала. Не выдержав вибрации, круглый лепесток заслонки срывался и закрывал поддувало. Тогда дядя Боря слегка отодвигал дверцу. Гул огня переходил в мурлыканье, оранжевый свет вырывался из печки и плясал на цирковой афише, где фокусник Мартин Марчес выкидывал из рукавов цветные ленты. Ленты выплывали в воздухе две буквы М...

Мурлыканье печки убаюкивало, и я не сопротивлялся дреме. Спешить было некуда, я ночевал у дяди Бори. Но тут с

шумом являлся Володя Шалимов — студент лесного техникума — со своими приятелями. Приносили заиндевшую на морозе гитару.

Меня деликатно выпроваживали с кровати, на ней рассаживались гости. Вваливался Вовка Покрасов с охапкой дров: его семейство посылало свою долю для печки.

Мы с Вовкой устраивались у трехногого стола и лениво расставляли на картонной доске шашки. У потолка повисали слои табачного дыма. Начиная рокотать гитара.

Или мне сейчас так помнится, или в самом деле все песни были о море и дальних краях...

«Прощайте, скалистые горы...»

«На рейде ночном легла тишина...»

«Ой вы, ночи, матросские ночи...»

«Плещут холодные волны...»

А потом разухабистая:

«В кейптаунском порту с какао на борту «Жанетта» набивала такелаж...»

Может быть, Володя глушил тоску по океанам: из-за сломанной и плохо сросшейся руки он не попал в морское училище. Гитара начинала рокотать тише и печальнее. Это наступало время песни о Диего Вальдесе, которого не пощадила судьба — сделала из вольного бродяги верховного адмирала. Потом на одних басовых струнах звучал тревожный киплинговский марш:

Осторожно, друг: бьют туземцев барабаны —
Они нас ищут на тропе войны...

Дядя Боря иногда подпевал, а чаще молча слушал да подбрасывал в печку дрова. (Вот и Лешка Шалимов, Володин брат-пятиклассник, принес полешки.) Дядя Боря прикуривал, ухватив желтыми пальцами выпавший на железный лист уголек. Лицо его было не улыбочивым.

Он был в душе поэтом и путешественником, но жизнь получилась не такая. Надо было помогать матери и родственникам, пришлось работать поближе к дому на конторских должностях. Да к тому же не пойдешь в матросы с больным позвоночником. Но дядя Боря никогда не жаловался на судьбу и печальным бывал редко. Пожалуй, только во время песен. Наверно, они напоминали, что он до сих пор не видел моря...

Я ловлю себя на том, что далеко ушел от разговора о Севастополе. Но мне хочется вспомнить подробности тех дней, когда я впервые ощутил тоску по этому городу. Все это неразрывно: комнатка с одним окном, старые ходики, гитара, афиша на стене, хорошие люди, которые грустили о море. И книга, которую я стащил у Лешки Шалимова.

Это случилось в начале июня. Дяди Бори не было дома, и я от нечего делать зашел к Шалимовым. Лешка сердито мастерил из загнутой медной трубки и гвоздя пугач-хлопушку. На меня он глянул с хмурым равнодушием. Вообще-то мы были хорошими знакомыми, почти приятелями, потому что несколько лет жили рядом. Но иногда Лешкин возраст брал свое, и тогда я чувствовал себя малявкой. Случалось, что Лешка с друзьями-ровесниками хихикал над моими большими ушами и пугал мохнатыми гусеницами, которых я жутко боялся. В те дни, о которых я рассказываю, он дразнил меня непонятным прозвищем Кнабель. Дразнил за голубой нарядный костюмчик — мне прислал его в посылке отец (он еще не демобилизовался и служил в Германии). Прозвище было обидным и несправедливым, потому что я обновкой нисколько не хвастался. Просто больше не в чем было ходить, все прежние штаны и рубашки поистрепались.

Впрочем, Лешкины дразнилки были беззлобные. А по-настоящему злился он, если к нему лезли под руку во время важной работы. Поэтому я не стал соваться и разглядывать пугач, а смиренно присел на укрытую суконным одеялом койку.

На коричневом сукне лежала книга. На книге были разлапистые якоря и парусные корабли. И слова: «С. Григорьев. Малахов курган».

«Тюх... Тюх-тюх-тюх...» — затолкалось у меня сердце. Все, что было связано с морем и парусами, приводило меня в волнение. Книгу я тихо открыл и стал читать, как десятилетний мальчик Венька стоит на крыше своего дома и смотрит на входящую в бухту эскадру.

Страница за страницей... Я листал их неслышно и сидел не шевелясь, хотя ныла спина, а колючее одеяло кусало ноги. Я боялся лишним движением напомнить про себя Лешке. Если с пугачом не заладится, Лешка книгу отберет, а самого меня выставит.

Видимо, с пугачом ладилось. Лешка, не сказав ни слова, ушел, а через минуту на дворе грохнуло и перепуганно завопили куры. Выстрел встряхнул меня. Надо было принимать решение. Сказать Лешке «дай почитать»? Он может ответить «бери», а может и буркнуть «сам читаю», или «не моя», или «иди ты на фиг, Кнабель»...

Я непослушными пальцами расстегнул на животе перламутровые пуговицы, запихал книгу под куцую заграничную рубашечку и боком скользнул на кухню, а потом в комнату дяди Бори. Щелкнул на двери крючком и замер с книжкой у стола...

Через какое-то время (кто его знает, через какое!) Лешка задергал дверь:

— Кнабель! Это ты стырил книгу?

— Сам «Кнабель», — дерзко отозвался я, уповая на прочность крючка.

— Ну ладно, Славка. Давай сюда... — сказал Лешка довольно миролюбиво.

— Я только маленько почитаю.

Дверь задергалась изо всех сил.

— Давай сюда, кому говорят!

— Жила! Все равно не дам, пока не дочитаю! — отчаянно сказал я, потому что расстаться с повестью о Севастополе было выше сил.

— Ну, только выйди, — нехорошим голосом предупредил Лешка.

В окно я увидел, как он присел на крылечко и стал скоблить спички для пугача.

Выходить я не собирался. Но в любую минуту мог явиться кто-нибудь из Некрасовых, и пришлось бы отпереть дверь.

Я тихо откинул крючок. Потом проник в незапертую квартиру к Некрасовым, а оттуда через окно выбрался на улицу.

Домой я не пошел. Чего доброго, Лешка явится за книгой и туда. Я забрался в гущу желтой акации в сквере у цирка и просидел там с «Малаховым курганом» до вечера. Потом читал дома допоздна, а кончил к середине следующего дня, когда за окном плескался и лопотал теплый июньский дождик, перебиваемый солнечными вспышками.

Виноватый, готовый к заслуженной каре, но все равно счастливый, понес я книгу Лешке. По лужам. Лешка встретил меня миролюбиво. Даже не сказал «Кнабель». Может, потому, что я был босой, с ногами, заляпанными до колен грязью, а голубой костюмчик, истерзанный и перемазанный в пыльных кустах акации, потерял свой заграничный блеск. А может, Лешку подкупила моя виноватость. Или он что-то понял... В общем, он улыбнулся распухшими после недавней драки губами и самокритично произнес:

— Ловко ты вчера меня обкрутил... — Потом вытащил из кармана пугач и великодушно предложил: — Айда, жажнем...

Я побаивался жажать. Но признаться в этом Лешке... К тому же десятилетний Венька из повести «Малахов курган» не боялся палить из настоящей mortarы и даже медаль за свою стрельбу получил.

И мы за помойкой по очереди грохнули зарядами из пяти спичек (и я даже почти не жмурился). А про книгу Лешка сказал:

— Да ладно, у меня сейчас «Восемьдесят дней вокруг света» есть. А эту читай еще, если охота...

И я читал еще. На второй раз и на третий. Не спеша. Про Веньку и про Нахимова, про гибель кораблей, затопленных у входа в бухту, и про матросов на бастионах. В книге было много печального, но сильнее печали была гордость. Спокойная такая гордость людей, которые дрались до конца и сделали все, что могли. Тогда я впервые, смутно еще, почувствовал, что в самые тяжкие дни гордость для человека может быть утешением... Если он держался до последнего, если не сдался...

А еще в книге был сам город. Севастополь. Я читал о жутких бомбардировках, о развалинах и пожарах, но сквозь дым военного разрушения продолжал видеть мирный и солнечный город у необозримого моря — тот, который видел Венька с крыши в начале повести. Тот, который нужен был мне. Уже тогда я представлял его совершенно отчетливо. Синие-синие бухты, желтые слоистые обрывы, оранжевую ребристую черепицу на белых домиках, каменные лестницы в запутанных переулках, полукруглые рavelины с амбразурами, маяки и бастионы...

Я рассматривал рисунки. Они были сделаны тонкими штрихами, очень понятно и удивительно похоже на то, что написано. Портреты севастопольцев, корабли, орудия. Может быть, сейчас эрудированные критики-искусствоведы нашли бы эти картинки излишне реалистичными и несовременными, не знаю. Мне они нравились. Не меньше, чем сама книга.

Потом, уже взрослым, я узнал, что рисунки для книги делал художник Павел Иванович Кузьмичев, который много лет работал в журнале «Пионер».

Однажды в редакции «Пионера» сильно затянулось какое-то совещание, и я провожал Павла Ивановича домой. Мы ехали в такси по вечерней Москве. По дороге я рассказал, как читал в детстве «Малахов курган» и как мне нравились иллюстрации.

Павел Иванович расчувствовался. И стал вспоминать, с какой радостью работал над рисунками.

— Сергею Тимофеевичу они тоже нравились... Мы с ним хорошо знакомы были. Знаете, я ведь помню, как он работал над своим «Курганом». С любовью работал, переживал. Однажды встречаю, а он говорит просто со слезами: «Похоронил я сегодня свою Хонюшку...»

Хоня — это старшая сестра Веньки, она умерла во время обороны города. Я помню в книге ее маленький портрет — на фоне покосившихся, торопливо сколоченных кладбищенских крестов...

Мы с Павлом Ивановичем поднялись к нему в мастерскую и засиделись до полуночи. Он подарил мне свою гравюру «1942 год». Одноногий солдат на костылях движется куда-то по размытой дороге, а на горизонте разрушенный город.

Войны не щадили ни людей, ни города...

После Первой обороны от Севастополя остались груды обгорелых камней. А в те дни, когда я впервые прочитал об этом лучшем на свете городе, он опять лежал в развалинах. Я это знал, и от такого горького знания у меня временами появлялась тяжкая, совсем не мальчишеская тоска. Все равно как если бы у меня на глазах разграбили, расстреляли, разбомбили

мою улицу Герцена. Мне даже снился тогда пустой черный сон: будто я и мама идем откуда-то осенним вечером, сворачиваем с улицы Дзержинского к нашему дому — а дома нет. Угольные, мокрые от дождя развалины, обгорелый, обломанный тополь, желтая лампочка на кривом столбе, а вокруг нее летящий бисер дождя. И глухо, мертво вокруг. Я поворачиваюсь к маме, но и мамы уже нет. И некуда бежать, бесполезно звать, потому что пусто и темно — везде... И я стою без слез. И не страшно даже, а только чудовишно одиноко и беспросветно.

Избави нас судьба от таких снов...

Дядя Боря говорил, что Севастополь уже восстанавливают и через несколько лет он будет лучше прежнего. Это меня утешало (хотя не надо, чтобы «лучше», пускай станет такой, как прежде!). А еще утешало, что враги заплатили за севастопольские развалины ой-ей-ей какой ценой! Это была та самая гордость, которую я впервые почувствовал в книге «Малахов курган». Даже больше — это была гордость победителя. На капельку такой гордости я имел право: мой отец тоже был на этой войне. Ну, пускай не в Севастополе, но война-то была общая для всех солдат и для всех городов. Папа кончил войну в Берлине и расписался на рейхстаге, и есть у него медаль «За победу над Германией» и орден Красной Звезды...

Только что-то все не едет и не едет домой он...

Как-то в конце августа тетя Лена, Лешкина мама, спросила: — Эй, бывший соседка, хочешь в кино?

Она работала администратором в кинотеатре имени Двадцатилетия ВЛКСМ. В просторечии этот кинотеатр назывался «Детский». Тетя Лена иногда брала компанию ребят со двора и проводила в зал по знакомству, без билетов. Контролерши ставили нам несколько стульев в углу у высокой печки, а кое-кто из нас усаживался на половицы. Экран был невысоко от пола, сидели мы совсем близко от него, и мерцающее чудо черно-белого кино буквально обнимало нас.

Новых фильмов было немного. Но и старые для нас, мальчишек, были открытием. Сопя от волнения, мы смотрели «Шорса» и «Чапаева», «Пархоменко» и «Котовского», «Мы из Кронштадта» и «Юность Максима»...

В этот раз с тетей Леной пошла привычная наша компания. Я теперь вспоминаю ее и вижу четко, как на фотографии. Рыжий недруг Толька в пыльных оранжевых трусах до колен, прожженной на пузе полинялой майке и громадной кепке — он воображал себя знаменитым вратарем из одноименной картины. Толькина длинная и прыщеватая сестра Галька в кокетливом венке из поздних одуванчиков и выгоревшем до белизны платьице. Вовка Покрасов — стриженный под машинку, с распухшим носом (треснулся о стропилину, когда мы лазили по чердаку), в обвисшей безрукавке и гремучих брезентовых штанах до пят. Лешка в мятых, но почищенных брюках и новенькой ковбойке — поскольку на глазах у матери. И я в своем «трофейном» костюме, потерявшем уже небесный цвет и перламутровые пуговицы — вместо них пришиты были честные латунные пуговицы со звездочками, а одна даже с якорем... И все мы, кроме Гальки и Лешки, босиком, исцарапанные в бурных дворовых играх и футбольных схватках... Только не помню, какой же это год: сорок шестой или сорок седьмой?..

— А какое кино? — спросил я у Вовки.

— Вот балда, не слыхал, что ли? «Малахов курган»!

Что? Нет, правда? Вот чудо-то... Неужели я увижу то, про что читал в Лешкиной книжке?

Нет, было не «про то». Было про войну с немцами. Совсем недавнюю. Про гибель нашего эсминца, про немецкие танки, про пятерых моряков, которые не пустили эти танки в Севастополь. Очень просто не пустили — пошли под гусеницы с гранатами.

Просто?..

Попрошались, отложили ненужные тяжелые пистолеты, взяли по связке гранат и пошли, один за другим. Навстречу лязгающим машинам. Зная, что через несколько секунд вспышка и потом — ничего...

Ни-че-го.

...В то лето меня часто мучила мысль, которая когда-нибудь приходит к каждому человеку: зачем я живу, если все равно будет конец? Если все равно наступит момент, когда меня не станет? Понимаете, *меня!* Совсем не станет. Тогда зачем все на свете? Зачем что-то делать, ходить в школу, куда-

то спешить, с кем-то дружить, читать книги? Ведь *все равно...* Эта мысль хватала за сердце неожиданно, во время игры, купанья в реке, запуска змея. И тускнел яркий день. Страх было, но становилось необъяснимо и безнадежно: *зачем?*.. Потом эта мысль милостиво отступала, давая место радостям жизни. Но я знал, что она, эта оглушающая, как удар, тоска может упасть на меня снова, и боялся заранее. Потому что понимал: ответа я не найду.

И вот — это кино. Про жестокий, про смертный бой, когда спасенья нет. Как пять человек зло и спокойно сами идут навстречу смерти.

Почему *спокойно*?

«Потому, что за ними Севастополь», — подумал я.

Сейчас эта мысль может показаться неправдоподобной для мальчишки. Звучит как лозунг какой-то. Но тогда это были не слова, а скорее ощущение. Я почувствовал, что люди с гранатами любили Севастополь сильнее себя. Конечно, не только Севастополь, а многое: всю нашу землю, своих родных, свои корабли, своих товарищей. Но в тот момент для меня это соединилось в слове «Севастополь». Самом лучшим для меня слове.

Они любили его так, что это было самым главным. И поэтому не боялись умереть. Мало того — они *не боялись жить*. Они знали *зачем*. Жизнь и смерть имели для них четкий смысл. И тогда, по дороге из кино, я своим колотящимся ребячьим сердцем впервые смутно ощутил этот смысл человеческого бытия. Очень неясно, по-детски, без слов, но ощутил. Живешь по-настоящему, если что-то любишь. Что-то или кого-то. Если ты не один. Если вокруг тебя есть то, что дорого. Если ты — сам частичка этого. Тогда — не страшно...

Я не смог бы про это сказать, да и не собирался. Но я ощущал радостное спокойствие. И чтобы другим стало так же хо-рошо, сказал:

— Все равно его скоро опять построят.

— Кого? — не понял Толька. Он, если что-нибудь не понимал, всегда говорил «кого».

— Севастополь, — сдержанно ответил я.

— А тебе-то чё? — сказал Толька. — У тебя там невеста, чё ли?

И он хихикнул.

Я понимал, что он не против Севастополя, а против меня. Из-за рыжей своей вредности. Но все же я очень разозлился и сказал Тольке, что он конопатая коза и унтер-фон-сопель-фюрер. На последнее Толька жутко обиделся, и через пять минут мы подрались на нашем дворе за поленицами. При секундантах Вовке Покрасове и Амуре Рашидове, который всегда был тут как тут при таких случаях. Драка получилась жидкая и кончилась вничью, потому что у Тольки лопнула резинка в трусах, и секунданты нас развели. Мы помирились.

А что нам оставалось делать? Мы и раньше с ним дрались и мирились множество раз. И чувствовали, что так будет впредь. Но драки были все же лишь мимолетными эпизодами в нашей жизни, а сама жизнь — удивительно длинной. Каждый летний день был бесконечным и солнечным. Мы понимали, что жить надо по-хорошему. И когда дядя Боря дал мне три рубля на маленькую порцию мороженого, я разрешил Тольке лизнуть у этой порции краешек...

ВЕЧЕРНИЕ ИГРЫ

Улица Генерала Петрова пересекает Шестую Бастионную как раз посередине, на горе, в Артиллерийской слободке. Перекресток здесь широкий. Это маленькая площадь. Каменистая, с небольшими островками зелени. С будкой, на которой ржавеет вывеска «Керосин». С магазинчиком на углу. Здесь я покупаю на ужин маринованные оливки и очень мягкий хлеб.

Я часто брожу по слободке. Эти места у меня самые любимые.

Лучше всего здесь бродить вечером, когда солнце уже нырнуло в море, а в травяных зарослях пробуют свою музыку цикады (или ночные кузнечики, или сверчки — их по-всякому называют). Они дают пока не сильные и не длинные трели. Словно сказочные стеклянные самолетики в траве начинают прокручивать перед взлетом крошечные моторы...

Почти всегда улочки выводят меня на ту маленькую площадь. С одного края у нее — лестничная площадка. По лестнице улица Генерала Петрова спускается к шоссе, бегущему в Херсонес, к древним развалинам и раскопкам. А Шестая Бас-

тионная тянется вдоль пологого верха горы дальше, к Катерной, где на углу до сих пор стоит оборонительная башня бастиона...

Если встать на парапет лестницы, увидишь берег Херсонеса с разрушенным храмом, а дальше — небоскребы нового района у Камышовой бухты. А над берегами, над развалинами и небоскребами — громадное светлое море. И закат.

Закат бросает бронзовые отсветы на Городской холм — на белые дома, на зелень, на купол Владимирского собора. Яблоко и крест над куполом загораются золотым огнем. Этот огонь виден в море издалека. Недаром собор отмечен в лоциях и на морских картах как знак для судоводителей...

Все мне здесь знакомо-знакомо. И эти улицы вдали на холме, и эта кремнистая площадь, и эта лестница, и дворик рядом с ней — там, на плоском сарайчике, всегда лежит перевернутый корпус маленькой яхты. И запахи ласкового южного сентября, и стеклянные трели цикад, и голоса мальчишек — здесь, на площади, и в ближних переулках.

Мальчишки играют. Недавно прошел на телеэкранах трехсерийный фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», и сейчас во дворах, на пустырях и перекрестках стучат деревянные шпаги. Их частый, неравномерный стук перемешивается с веселой переключкой и боевыми командами, горячим дыханием бойцов и цоканьем подошв по камням. Это тоже очень знакомо. Это было всегда.

Мимо промчался пацаненок лет девяти. Смугло-золотой от загара и заката. Распахнутая голубая рубашка летела у него за спиной, как мушкетерский плащ, не хватало только вышитых серебряными нитками крестов и лилий. В каждой руке мальчишка держал по деревянному мечу. Один — за рукоять, второй — за середину клинка. Наверно, этот второй меч он спешил отнести товарищу.

Мальчик проскочил так близко, что мне приподняло ветром волосы. И я на миг ощутил запах свежеструганной древесины. И даже успел разглядеть оружие: янтарные сосновые волокна вдоль клинков, прибитую гвоздем перекладину у рукоятки, грубовато выструганный эфес... И сразу память толчком подбросила давнее-давнее ощущение — как прикасается ладонь к деревянной рукояти, которую только что обработал

кухонным ножом. Как сжимают эту рукоять пальцы. Как переносится на мышцы предплечья увесистость вытесанного из доски клинка. Ж-жих! — и валится у забора срезанный под корень куст чертополоха. А в дальнем конце двора, у сараев и похожих на крепости поленниц, уже нетерпеливо окликают меня мальчишки — мои приятели с улицы Герцена...

Я вглядываюсь в память, как в глубокое темноватое зеркало, и вижу себя — четвероклассника послевоенных сороковых годов из городка Тюмени, что стоит на полынных и глинистых берегах Туры. Отчетливо вижу, от макушки до пяток.

На макушке — сатиновая тубетейка. Когда-то она была бордовая, а сейчас от солнца и дождей стала светло-рыжая. Жиденький вышитый узор на ней совершенно поблек, из него торчат нитки. Тубетейка закрывает лишь темя. Отросшая челка (к августу — выгоревшая до полной белизны) лежит на расцарапанном лбу. Кожа на оттопыренных ушах много раз облезала от солнечного ожога и теперь покрывает их прочным слоем, напоминающим тонкую древесную кору. Похожая на коричневую резиновую трубку шея торчит из ворота ковбойки — рубашки в мелкую красно-желтую клетку.

Сейчас многие думают, что ковбойка — это просто клетчатая рубашка. Но в те времена у настоящих ковбоек обязательно были большие накладные карманы с клапанами и — главное — особый воротник. Его уголки пристегивались пуговками. И не только спереди. Сзади тоже был острый уголок и тоже пристегивался. Это было красиво и удобно во всех случаях, кроме одного — когда надо идти в школу и надевать галстук. Сквозь него воротник сзади не пристегнешь. Правда, мой одноклассник Мишка Маслов однажды сделал в галстуке прорез: для пуговки. Но это новшество заметила вожатая Рита и устроила Мишке вполне справедливый нагоняй...

Я свою ковбойку очень любил. После нескольких дней уличных походов она становилась мятой и перемазанной, и я нетерпеливо танцевал рядом с мамой во время стирки. И потом натягивал ковбойку снова — прямо на голое тело, — удивительно свежую, еще горячую от утюга...

Я продолжал любить ее даже тогда, когда мой дядюшка —

дядя Боря, живший на улице Герцена, в проходной комнатке флигеля, — разочаровал меня. Он объяснил, что надо писать не «кавбойка», а «ковбойка». Я сперва заспорил, я был уверен, что это название происходит от слова «кавбой» — то есть «кавалерийский боец». Мне почему-то казалось, что так назывались конники во время Гражданской войны в Соединенных Штатах, когда северяне дрались за свободу негров. Но дядя Боря разъяснил, что «ковбой» по-нашему значит «коровий парень», то есть пастух коровьих стад в широкой прерии американского Дикого Запада.

Ну, пастух так пастух. И я энергично зачихал подол ковбойки под брезентовый солдатский ремешок, которым подпоясывал штаны из рыжего потертого вельвета.

Штаны подобной конструкции тогда носил чуть ли не каждый второй мальчишка. Просторные, с глубокими карманами, не длинные и не короткие, а такие, что полагалось застегивать под коленками. Обычно никто их не застегивал, и манжеты с нитками на месте оторванных пуговиц болтались на искусанных комарами и расчесанных икрах, над сандалиями с пятью дырочками и тонким поперечным ремешком. Эти сандалии с протертыми насквозь подошвами — стоптанные, пыльно-бесцветные и невесомые — были всегдашними спутниками нашей летней жизни. Впрочем, иногда мы сбрасывали их, чтобы побегать босиком. И от поперечных ремешков оставались полоски светлой кожи, они почему-то долго не загорали...

Я подумал, что если бы я сейчас появился на Шестой Бастионной в своем тогдашнем виде — в тюбетейке на стриженной макушке, в ковбойке и растрепанных вельветовых штанах устаревшего образца, — то, пожалуй, очень выделялся бы среди теперешних ребят. Но одно у нас было абсолютно одинаковым — деревянное оружие.

В те давние годы тоже шли фильмы про мушкетеров. Трофейные. Сняты они были в разных странах, а взяты во время войны на немецких складах. Многие мальчишки, да и взрослые тоже, напевали тогда и насвистывали песенку д'Артаньяна:

О, Вар-вар-вар-вар-вара,
Приехал я в Париж,
Поэтами воспетый
От погребов до крыш!

Или что-то в этом роде.

Нас немного смущало, что мушкетерами в этой кинокомедии оказались переодетые повара и что в конце картины они бесславно улизнули из мушкетерского строя. Но д'Артаньян был настоящий, и его подвиги тоже были настоящие. А что касается настоящих Атоса, Портоса и Арамиса, то мы знали: про них есть толстая книга. Правда, книгу эту никто из нас не видел. Она была легендой. Вроде легенд о подземном ходе на берегу Туры или о предстоящей отмене переводных экзаменов в четвертых и пятых классах. По крайней мере, мы верили и в то, и в другое, и в третье. Изредка возникали слухи, что пухлый том «Мушкетеров» сейчас есть у некоего Витьки Лопухина по прозвищу Буся или у Вовки Шинкарева — одноклассника Вовчика Сизова (у которого велосипед «Диамант»). Но даже «сильные мира сего», такие, как девятиклассник Валька Сидор или мой бывший сосед Лешка Шалимов, не могли добыть эту книгу хотя бы на день.

Однако мушкетерские легенды жили. И очередной фильм из времен Людовиков Тринадцатого и Четырнадцатого заставлял их разгораться новым пламенем. И во дворах снова начинали стучать деревянные шпаги.

Были у нас и другие военные игры: в партизан, в разведчиков, в «штурм горы». Игры с самодельными автоматами, гранатами и деревянными пистолетами «ТТ». Но я вспоминаю сейчас бои и приключения, овеванные сенью летящих мушкетерских плащей. В них была особая романтика рыцарства и привкус постоянной тайны.

По какому-то не изученному еще закону природы такие игры начинаются всегда под вечер. Может быть, потому, что вечером исчезает дневная откровенность красок и в приглушенном свете старые сказки делаются ближе и реальнее.

Мы собирались в просторном дворе на улице Герцена, где прошло мое раннее детство. Теперь я жил не здесь, но прибегал сюда каждый день к дяде Боре и к старым приятелям: Вовке Покрасову, Тольке Петрову, Амиру Рашидову. Двор был

просторный, с травой и могучим тополем, с зарослями репейника и крапивы у заборов. Длинные поленницы в дальнем конце двора пахли лесом: грибной сыростью и смолой. К локтям и ладоням прилипала золотистая сосновая чешуя. Пергаментные полосы тонкой бересты шевелились под ветерком. От березовых поленьев на штанах оставались пятна, как от покрашенной мелом стенки.

Приходило время, когда покрасневшее солнце повисало в конце улицы, пыль делалась рыжей и по этой пыли совсем по-деревенски брело с выпасов коровье стадо. Тоже в основном рыжее. Коровы тыкались мордами в старые калитки с железными кольцами. Потом из открытых сараев слышался звон молочных струек о подойники. (Сейчас мне напоминают этот звон крепнущие трели цикад.) Во взрослой жизни наступал вечерний покой. А мушкетерская жизнь только начиналась.

Приходили знакомые мальчишки со всего квартала: из угловых домов, из «большой ограды» — громадного двора с двухэтажными деревянными домищами. Делились на мушкетеров и гвардейцев, будто на две команды для футбола: «Матки, матки, чей допрос: «Кинжал» или «Шпага»?» Потом договаривались, какая сегодня игра.

Мушкетерская жизнь полна разнообразных приключений, поэтому игры были тоже разные: то открытые схватки — шеренга на шеренгу, то взятие бастиона (все той же поленницы), то хитрые засады и погони, а в конце — опять лихая стычка...

Не помню, чтобы мы выбирали себе точные имена: кто Атос, кто Портос и так далее. Мало того, в горячке боя гвардейцы часто забывали, что они не мушкетеры, и самозабвенно орали: «Долой кардинашку!» Такое нарушение правил прощалось. Но были и незыблемые правила. Нельзя было нападать со спины. С боков можно, а со спины — ни в коем случае. Нельзя бить по ногам и по голове. Нарочно по рукам тоже нельзя. И когда попадало по пальцам, каждый знал: это случайность, обижаться не надо. Подуешь на пальцы, оближешь ссадины на костяшках, иногда слезы слотнешь — и снова в бой! До победы или пока не ткнут в грудь три раза. В этом случае спорить не полагалось: попало три раза — зна-

чит, убит. Иначе будет не игра, а сплошной крик и ругачка. Вообще-то, конечно, спорили, но не часто. Если уж казалось, что очень несправедливо тебя записали в убитые...

Играли мы и в «алмазные подвески». Что это такое и как они выглядят, никто не знал. Мы их делали из граненых стеклянных пробок от графинов. Но пробок часто не хватало, и в ход шла всякая мелочь: костяшки от канцелярских счетов, гайки, большие пуговицы. Подвески разбирали себе гвардейцы. Каждый брал одну. Он подвешивал ее на тесемке к поясу, а то и просто совал в карман. Потом гвардейцы разбежались и прятались, а мушкетеры начинали поиски и погони.

Не было среди нас ни королевы Анны Австрийской, ни коварной миледи, ни зловещего Рошфора. Но король был. Он сидел на обручке дерева у сарая, и ему приносили мушкетеры отбитые у гвардейцев подвески. Если подвесков набиралось больше половины, мушкетеры считались победителями. Если мушкетерское войско гибло в стычках и поединках, не набрав нужной добычи, победу торжествовали сторонники Ришелье.

Погони были длинные и хитрые — по всем окрестным улицам и закоулкам. Схватки — веселые и храбрые. Лишь король скучал на своем березовом троне. И чтобы не закиснуть со всем, он иногда по совместительству становился мушкетером.

...В тот вечер королем был Витька Пятигарев из «большой ограды». Он сразу объявил, что не будет сидеть на пне и уходит с мушкетерами. А подвески пусть складывают в лунку перед «троном». Этот-то Витька и настиг меня в тупичке между бревенчатой стеной сарая и забором.

— Сдавайся сразу, — предложил белобрысый Витька. Он был грузный парень, шире меня и сильнее в два раза. Однако я нахально показал ему язык. Я был гвардейцем по выпавшему жребью, но, естественно, мушкетером в душе. И вступил в бой. Витька был не очень-то поворотлив, я рассчитывал если не на победу, то хотя бы на то, что прорвусь к своим. Однако Витька первым же крепким ударом перешиб мою шпагу (а точнее, длинный сосновый меч). Клинок отлетел, и в ладони осталась только рукоять с перекладиной.

Я помню это жутковатое ощущение незащитности перед противником. Пальцы по-прежнему сжимают рукоять, но ла-

донь уже не чувствует привычной тяжести клинка. Его нет! И я — открытый, беспомощный, прижатый к стенке...

Витька снисходительно поспеел и сказал:

— Ну давай, гони сразу подвесок. Все равно я король.

И тут меня осенило.

— Ура, наши! — заорал я так искренне, что Витька попался на этот дешевый крючок. Он вздрогнул и обернулся. Я подхватил с земли клинок, выбил им у обалдевшего Витьки шпагу и взлетел на забор, как петух, который спасается от супа. А с забора — на улицу.

Тут на меня сразу кинулись Амир и ловкий, вертлявый Вовка Третьяков. Сломанным мечом много не навоюешь, поэтому я ударился в бега, снова примчался во двор, а оттуда заскокчил во флигель, к дяде Боре.

Вообще-то дома прятаться не полагалось. Но я успокоил себя тем, что здесь не живу и только прихожу к дяде Боре в гости.

Часто дыша, я влетел в узкую комнатку. Здесь горело электричество, хотя на подоконнике еще лежали пятна черного солнца. Дяди Бори не было. То, что включен свет, ничего не значило. Комнатка была проходная, и лампочку в темноватой каморке зажигали все, кому не лень. Просто так, походя, и вечером, и днем, и даже когда дядя Боря спал.

А сейчас дядя Боря, скорее всего, был на вечернем представлении в цирке. Он очень любил цирк, особенно соревнования по французской борьбе. В те дни в цирке шли постоянные состязания борцов — такие же в точности, о каких писал в своих воспоминаниях Валентин Катаев и в книжке «Артемка в цирке» писатель Василенко. В комнатке дяди Бори висели цирковые афиши с громкими именами борцовских знаменитостей: Карелин, Хаджи-Мурат, Назарьян, Франк Гуд, Цепник... Мы все болели за мулата франка Гуда и за поджарого вежливого Назарьяна...

Но я отвлекся... В тот миг мне было не до цирка. Я с размаха влетел под кровать, вдохнул мелкую пыль и запах ржавой панцирной сетки и треснулся лбом об угол фанерного чемодана, в котором лежало почти все дяди-Борино имущество.

За дверью слышались шаги и голоса. В любой миг мои

противники могли ворваться сюда и вытянуть меня за ноги на свет божий. Что делать? Сам погибай, а подвесок спасай. Елозя животом на половицах, я отвязал от ремешка черную пешку на тесемке. Правила разрешали спрятать подвесок, если опасность близко. Только прятать можно было недалеко, рядом с собой, так, чтобы у противника все же была надежда отыскать его.

Перед моим носом темнела стенка чемодана. Совесть на миг кольнула меня: едва ли мушкетеры посмеют лезть в чемодан дяди Бори, если даже догадаются о тайнике. И получится, что я сжульничал. А за это по головке не гладят. Но руки уже сами приоткрыли крышку и опустили пешку в фанерный уголок.

И пальцы нашупали твердый край какой-то плоской книги.

Я с самых ранних лет был равнодушен к книгам. Ко всяким. К тому же я знал, что дядя Боря плохих книг не читает, у нас с ним были примерно одинаковые вкусы. Что же такое у него в чемодане? И почему он не показывал мне?

Любопытство толкало меня под локоть. Я прислушался. Голосов и шагов уже не было слышно. Я вздохнул и совершил еще один нехороший поступок: выволок книгу из чемодана.

«Только одним глазочком гляну, вот и все...»

Я бесшумно придвинул книгу к пробившейся под кровать полоске света — смеси оранжевого солнца и желтого электричества.

Увы, это была не книга. Вернее, книга, но не для чтения, а для записей — «Конторская». Так и было напечатано на ее обложке. Я с разочарованием полистал ее. Там, на разграфленных страницах, синели какие-то беспорядочные чернильные записи, похожие на куплеты песен. Совсем неинтересно. Я хотел уже захлопнуть переплет, когда глаза вдруг уцепились за слово «шпаги».

Я пригляделся и разобрал строчки:

И, вытащив шпаги свои деревянные
И выйдя на двор, как на палубу брига,
Дик Сэнды, Том Сойеры и д'Артаньяны
Опять начинают вечерние игры,
И мне вспоминается детства пора
Под стук деревянных клинков во дворах...

Это было так в точности про нас, что в первый миг я даже не удивился. А во второй миг удивляться стало некогда, потому что раздались в коридоре знакомые шаги и голос дяди Бори, который что-то весело говорил матери Вовки Покрасова. Ох, черт, значит, дядюшка не в цирке! И когда дядя Боря шагнул в комнату, я уже выползал «кормой вперед» из-под кровати.

— Ты чего это там делал? — поинтересовался дядя Боря. Без всякой, впрочем, подозрительности.

— Стырился, чтобы мушкетеры не попутали, — ответил я на тогдашнем диалекте уличной вольницы. — Наши паны есть в огаде?

— Они доблестно бьются за свои идеалы, — сообщил дядя Боря, — пока кое-кто «тырится» под кроватью...

Я обиженно разъяснил, что это была военная хитрость. Тем более что меч сломался.

— Что-то много у тебя хитростей, — заметил дядя Боря. — Вчера смотрел, как вы с Толиком Петровым сражались. Он стоит крепко, только саблей помахивает, а ты туда-сюда мечаешься, извиваешься да прыгаешь вокруг...

— Это же приемы такие! — воскликнул я уязвленно. И даже решил прервать с дядюшкой дипломатические отношения. Не меньше чем на три дня. Но он усмехнулся и сказал:

— Дай-ка сюда свой обломок.

Я дал.

— Ну, конечно, опять у перекладки треснул... Говоришь вам, говоришь, что нельзя перекладину гвоздем прибивать. И надрез делать здесь нельзя...

Он столовым ножом вытесал из верхней части клинка новую рукоятку. На кухне, среди растопки для таганка, отыскал сосновую плашку для перекладки. Потом чертыхнулся, что нет никакой веревки, вытащил из-под кровати два старых ботинка, выдернул из них шнурки, связал их и этой бечевкой примотал защитную перекладину к рукояти.

— На, воюй. И больше не «тырся».

Меч стал покороче, зато рукоятка удобнее. Я простил дяде Боре язвительность его высказываний и, вооруженный, ринулся на двор. Там после короткой и бурной схватки меня «прикололи» к забору Амир Рашидов и Витька Пятигарев.

И потребовали подвесок. Пешка оставалась в чемодане. Я соврал, что потерял ее, и отдал взамен латунную гильзу от пистолета «ТТ». Потом игра пошла по новому кругу, и я был уже мушкетером, и мы носились по дворам, по заросшему желтыми акациями скверу, по зарослям полыни на склонах ближнего лога. И над нами висела громадная, похожая на розовый воздушный шар луна.

И в ритме ударов шпаги о шпагу, в стуке сандалий по дощатым тротуарам во мне повторялись и повторялись те строчки:

...Дик Сэнды, Том Соьеры и д'Артаньяны
Опять начинают вечерние игры.

От этих строчек вечер был еще счастливее, игра еще радостнее.

...На следующий день я опять забрался под кровать и запустил руку в чемодан. Пешка была на месте, а конторской книги не оказалось. Спросить о ней дядю Борю я не решился.

Через много лет я рассказал дяде Боре про этот случай. Спросил про стихи. Но дядя Боря улыбнулся и сказал, что не помнит ни этих строчек, ни даже конторской книги. Однако я догадывался, что он писал стихи, только не хотел говорить о них.

Впрочем, сейчас он уже не скрывает своей любви к стихам. Он пишет их до сих пор — славные, добрые стихотворения о детстве, о Тюмени, о путешествиях и о загадках Вселенной. Он никогда не посылал их в редакции, но мне посылает в каждом письме. Письма очень подробные. Дядя Боря теперь плохо слышит, поэтому разговаривает неохотно, зато в письмах он рассказывает о своей жизни обстоятельно и с удовольствием. Он по-прежнему ездит по разным городам, отчаянно «болеет» на хоккейных и футбольных матчах, в курсе всех городских новостей и любит, когда к нему в гости приходят студенты. Он никогда ни на что не жалуется. Слово «жаль» я прочитал в его письме только раз:

«Жаль, что я еще не побывал в Севастополе, о котором ты так много рассказываешь и пишешь...»

Действительно, жаль. Я уверен, что дядя Боря сразу полюбил бы этот город, эти улицы и бухты с толчеей кораблей и

блеском вечерних огней... И Шестую Бастионную, и эти переулки, где так же, как в его и в моем детстве, стучат деревянные клинки. И так же повисает над крышами розовая луна, а от калиток уже раздаются такие привычные, такие знакомые оклики:

- Вася! Пора домой!
- Женя-а-а! Юрик, ты не видел Женю?
- Игорь! Где тебя носит? Будешь бегать до ночи?

Солнце уже ушло, горнисты на крейсерах и эсминцах отыграли «спуск флага», но на улице еще не очень темно. Время коротких южных сумерек.

Цикады набирают силу. И набирают силу крики от калиток и подъездов:

- Петька! Ну, подожди, негодник!
- Мама, я щас! — доносится издалека.
- Я тебе покажу такое «щас», что...
- Олежка, ты где?
- Андрей, Саша!..

Вечерний воздух лежит над улицей теплыми пластами. Пахнет нагретым ракушечником, разросшейся вдоль заборов сурепкой, пахнет морем. Где-то гремит якорная цепь. Опять зовут мальчишек. И я вспоминаю такой же теплый вечер, очень похожий на этот, хотя и далеко-далеко отсюда.

- Энрике!
- Мануэль!
- Алехандро!

Топот ног по камням. Стук деревянных шпаг. Чуть не написал «сосновых», но кто знает, из какого дерева они сделаны здесь. Гавана. Ноябрь семьдесят второго года.

...Мне пришлось жить в Гаване почти месяц, и я очень полюбил ее за красоту, веселье, дружелюбие. За гордую историю, за легенды и тайны. За то, что она мне постоянно напоминала о Севастополе. Чем? Желтыми старинными крепостями у моря и бастионами, где солнце накаляет тела чугунных орудий. Синевой громадной воды, белизной улиц и корабельных рубок. Смуглыми мальчишками с такими же веселыми, как у

маленьких севастопольцев, глазами (и даже в таких же голубых школьных рубашках). И тем, что жизнь в обоих этих городах неотделима от жизни моря...

Как-то вечером я бродил по улочкам портового района и наконец вышел на главную площадь Старой Гаваны.

Было уже совсем темно. Тонкий месяц с задранными вверх рогами затерялся где-то за крышами. Полукруглые окна старинных домов мягко светились над арками, но площадь почти не освещали. Только в нескольких местах на плиты падали полосы желтого света.

Окна казались мне очень дружелюбными. Я знал, что до революции в окружавших площадь домах жили богачи, а теперь здесь были квартиры рабочих. За открытой дверью балкона мягко пела пластинка. Это была старая, известная всем «Голубка». Когда я был маленький, ее любил напевать дядя Боря.

В небе смутно вырисовывались две башни древнего Кафедрального собора, в котором, по преданию, был похоронен Колумб.

В такую пору на такой площади должна стоять торжественная и немного таинственная тишина. Но тишины не было. Кроме мотива «Голубки», ее нарушали — как бы вспарывали и пробивали ее — звуки веселого мушкетерского боя. Мальчишечья компания носилась по площади, изредка проскакивая через полосы света. В этом свете мелькали свежеструганные клинки. А из окон и с балконов время от времени доносились материнские возгласы:

- Педро!
- Антонио!

А затем и целые фразы, в которых я улавливал слова «папа» и «эскуэла». И можно было догадаться, что если вышеупомянутые гаванские Петька и Антошка сию минуту не явятся ужинать, «папа» вплотную займется их воспитанием. Носят допоздна, а утром не добудишься, чтобы отправить в «эскуэлу».

И, естественно, мальчишки отвечали словами, которые на русский язык переводятся очень коротко: «Щас!»

Ноги у меня гудели от долгой ходьбы. Я присел на теплый цоколь колонны у одного из домов. Пригляделся. Полной

темноты на площади все же не было. Я разглядел, что сражавшихся пятеро или шестеро. А еще между ними будто носилась громадная белая бабочка. Я сперва никак не мог понять, что это. Флажок какой-то, что ли? И лишь когда мальчишки проскочили рядом, в свете ближнего окна, я понял, что это совершенно черный папаненок в белых шортиках и белой развевающейся рубашонке. На миг блеснули его веселые глаза и сахарные зубы.

Вчера на этой площади и на улицах было тихо. Вчера вечером по кубинскому телевидению шла последняя серия длинной постановки «Двадцать лет спустя». Я видел в открытых дверях домов, как ребята стайками сидят на полу перед большими экранами телевизоров «Электрон». Мелькали страховые плюмажи над широкополыми шляпами, и говоривший по-испански д'Артаньян ловко раскидывал шпагой прихвостней коварного Мазарини.

А сейчас множество юных д'артаньянов повторяли эти приключения в переулках и на площадях Гаваны. Среди могучих стен, арок, памятников и бастионов, которые в старину видели немало настоящих приключений и слышали звон настоящих шпаг. Здорово играть в таком месте, верно?

— Хорхе! — услышал я сипловатый и громкий голос. — Хорхе!

На освещенном балконе стоял старый седой негр.

— Хорхе!

Черный мальчишка остановился недалеко от балкона, задрал курчавую голову, что-то заговорил, отчаянно рассыпая звуки «л» и «р». Но дед сказал какую-то длинную фразу и погрозил пальцем. Хорхе сердито махнул клинком и побежал в дом.

Мне стало обидно. Даже не столько за Хорхе, сколько за его деда. На вид такой симпатичный старик, похож на дядюшку Римуса из сказок про братца Кролика, а внука не понимает. Разве можно перебивать игру в самом разгаре!

Мальчишки умчались на другой конец площади. Все, кроме одного. Один подошел и тихо сел рядом. Ну, не совсем рядом, а в метре от меня. Он поставил между колен клинок, вытер о мятую брючину вспотевшие ладони, досадливо ударил по дребезжащей рукояти. Рукоять шпаги дребезжала потому,

что щиток ее был сделан из консервной банки и узорчато переплетенной проволоки. Сейчас эта сложная конструкция разболталась. Верхний конец дужки, защищавшей пальцы, отскочил от головки рукояти. Мальчишка мельком глянул на меня и шмыгнул носом (должен заметить, что по-испански и по-русски такое шмыганье звучит совершенно одинаково).

— Твоя... шпага... сломалась? — спросил я, медленно подбирая испанские слова. Вернее, слово «сломалась» я не вспомнил и сказал «заболела». Наверно, это звучало странно и даже глуповато. Но мальчик придвинулся и тихо сказал:

— Си, компаньеро.

И протянул свое оружие.

А что я мог сделать? Тут нужны были плоскогубцы и молоток да еще гвоздики или проволока. Сказать мальчику, чтобы принес это все из дома? Моих познаний в испанском языке не хватит. Да и кончится такая попытка наверняка печально: «Опять на улицу? Хватит бегать, ночь на дворе!» В этом смысле все родители одинаковы: и в Тюмени, и в Севастополе, и в Гаване, и на всем белом свете.

Но не мог же я отпустить человека без помощи! Тем более что он сказал «компаньеро». А это значит — товарищ. Он и в самом деле был моим товарищем — соратником по громадной мальчишечьей Армии Деревянных Мечей. Одним из миллионов дик-сэндгов, том-сойеров и д'артаньянов, о которых писал дядя Боря. И, вспомнив о дяде Боре, я вытянул из полуботинок шнурки.

Я отогнул на проволочной дужке усики и примотал их к головке рукояти.

Мальчик молча следил за моей работой. Он не шевелился, только босые ступни его нетерпеливо постукивали по камню. Рассеянные лучи отражались от колонны, от плит и падали на мальчика. Он был похож на Сerezку Фоменцова — барабанщика из моего пионерского отряда «Каравелла» в Свердловске. Конечно, этот маленький д'артаньян уже догадывался, что рядом с ним сидит «советико». Но не пытался завести разговор, не просил значок на память, не спрашивал, как зовут. Главным для него сейчас было оружие. Потому что на другом краю площадки шла битва. Даже в густой теплоте воздуха чувствовалось, каким боевым жаром горит худенькое тело

мальчишки. Он дышал тихо и часто. Я затянул шнурок морским прямым узлом и протянул шпагу хозяину.

— Грасиас... — выдохнул он и умчался туда, где звенели голоса друзей. А следом за ним выпорхнула из-под сводов аркады и унеслась туда же большая белая бабочка. Значит, Хорхе уговорил дедушку и опять вырвался на волю!

Я, радуясь, будто побывал среди друзей детства, зашлепал незашнурованными полуботинками — по переулкам, по набережной Малекон, где под парапетом, среди камней, горели рыбацьи костры, — к гостинице «Абана либре»... А утром выяснилось, что у меня совершенно неприличный вид: не мог же я идти на прием в редакцию журнала «Пионеро» в башмаках без шнурков! Похожая на завуча дама — переводчица нашей делегации — принялась отчитывать меня за легкомыслие. Но я рассказал о вчерашнем случае двум кубинским поэтам. Они обрадованно смеялись и скоро принесли мне столько шнурков, что я мог бы отремонтировать шпаги целой мушкетерской роты...

Дома у Камышовой бухты начинают сиять многоярусными огнями, но закат над ними пока не погас. На улицах пока не очень темно, и различимы лица мальчишек и редких прохожих.

От лестницы я шагаю по Бастионной и скоро выхожу еще на одну маленькую площадь. На ней сбегаются сразу несколько улиц. В том числе и переулок с желтой крепостной стеной — остатками еще одного бастиона — Седьмого.

Вдоль стены, перекликаясь по-птичьи, пробегают четверо мальчишек с палками. В ближних дворах, на заросшем косогоре у двухэтажного дома, на крышах гаражей тоже слышны голоса и отзвуки мушкетерских схваток.

Чей-то голос требовательно орет:

— Эй ты, бросай оружие!

Я замираю, будто всерьез. Но тут же слышу тонкоголосый и боевой ответ:

— Фиг вам! — И разгорается шум схватки, слышны прыжки в ломкие кусты, топот и победный смех.

Я облегченно вздыхаю и сажусь на теплый камень, торча-

щий среди стеблей сурепки. Но давняя досада оживает во мне, и снова беспокойно на душе. Потому что сам я однажды бросил оружие.

Это было не тем летом, когда искали подвески, и не в том дворе с поленищами. Позднее это было. Наверно, через год.

Стоял конец октября. Снег еще не выпал, но земля застыла, и мерзлые комья стучали под ботинками, когда мы устраивали сражения на большом пустыре и на склонах глубокого лога. Сухо трещал серый бурьян, в брюки и ватники впились похожие на дохлых двухвосток колючки.

Игра была все та же, мушкетерская. Потому что в клубе железнодорожников шел новый фильм «Железная маска». Не тот, который знают нынешние зрители, а односерийный, черно-белый. Трофейный. Это была суровая кинокартина — с жестокими схватками, жгучими тайнами и страшными приключениями. Оттого, что она такая зловещая, ее, наверно, и не стали показывать в главном кинотеатре, а пустили в стареньком деревянном клубе рядом с вокзалом. Мы клянчили дома грешки, по нескольку раз выстаивали фантастические очереди за билетами и наконец замирали в душном кинозале под стрекочущим пыльным лучом...

В этой картине мушкетеры были настоящие. И по-настоящему гибли в конце фильма. И то, что их приемный сын становился королем Франции, нас мало утешало. Утешения мы искали в собственной игре, на ходу переделывая судьбу героев. Сначала игра была как игра.

С мальчишками на той улице, куда мне пришлось перебраться, я не очень дружил, но на этот раз все шло хорошо. Пока не присоединилась к нам компания с улицы Зеленая Площадка, из-за лога. Этой компании не нужны были выдумки и тайны. И дуэльных правил они не признавали. Вместо улыбок — ухмылки, вместо честной боевой атаки — тупой и злобный напор. Все чаще бой на мечах и шпагах грозил перейти в драку. Предводитель по кличке Пупырь искал причины, вспоминал давние уличные и школьные споры.

И вот однажды этот Пупырь прижал меня к стылому глинистому обрыву, когда обе воюющие армии скатились из переулка в лог. Пупырь крутил над головой ветвистую корягу и орал:

— Разойдись, гады! Черепушки снесу!

И все разбежались. А я застрял в сухом репейнике под обрывом. Пупырь занес корягу и гаркнул:

— А ну, бросай свою саблю, гнида!

Он был крепче меня, а главное — нахальнее и неизмеримо злее. Это была какая-то безоглядная, необъяснимая злость. Я оказался беспомощным перед его остервенением. В стеклянно-прозрачных глазах Пупыря не было ничего, кроме готовности махать и бить. И на пухло-гладком, как громадный рыбий пузырь, лице ни намека на улыбку.

— Ну!! — снова надрывно заорал Пупырь. Мой сосновый клинок ничего не смог бы поделывать с его сучковатой корягой.

— На, подавись, — всхлипнул я и бросил шпагу к разлапистым кирзовым сапогам Пупыря. Он довольно ухмыльнулся. И велел:

— А теперь уматывай отсюда!

Я, глотая слезы, пошел через бурьян и репейники мимо шеренги врагов. И мимо «своих» — тех, кто должен был меня защитить. Они не защитили, они стояли и тоже усмехались. Правда, кисло как-то усмехались и поглядывали кто по сторонам, а кто в землю. Они тоже боялись Пупыря и были рады, что он их не тронул, унизил только меня. В ухмылках они прятали страх и стыд за это неожиданное перемирие. Они делали вид, что не опасаются Пупыря, а просто уважают его: как он здорово расколошматил своего противника!

В конце концов, Пупырь был «ихний», с соседней улицы, а я чужак, недавно появившийся в этих местах. Да к тому же «книжный мальчик» со всякими «загибами в черепушке»...

Целую неделю я мучился от того, что бросил шпагу. Пытался оправдаться, доказывал себе, что была уже не игра и что Пупырь с друзьями просто излупил бы меня, если бы я не сдался. И дело тут не в страхе. Просто я был не готов к такой войне. «Вот если ты играешь в солдатиков, — говорил я себе, — и вдруг на тебя из-за угла выезжает настоящий танк, тогда что? Бах-бах в него из бумажной пушки?»

Такие рассуждения слегка успокаивали меня. Но ненадолго. Во-первых, Пупырь был не танк, а просто мелкая шпана. Во-вторых, когда я вспоминал желтый новенький клинок у его заскорузлых сапожищ, меня мutilо от стыда.

И я даже обрадовался, когда через неделю Пупырь повстречал меня у продуктового магазинчика на углу Ямской. Он повстречал и, конечно, «прискребся»:

— Ну чё, «дыртанян»? Еще будешь воевать с нашими? Как дам сейчас — были шарики на лбу, станут знаешь где?

Я сказал ему, кто он есть и куда должен идти. Причем сказал не на языке «книжного мальчика». Пупырь обрадованно засопел и пнул по моей сумке, где лежала буханка и пакет с маргарином. Я, заолодев от ненависти, поставил сумку и с размаху ударил головой в ненавистную Пупырью рожу. Пупырь увернулся. Я врезался головой в толстенный тополь. Шапка смягчила удар, но последние ниточки страха от этого удара во мне лопнули. Я вцепился в Пупыря, и мы скатились в канаву у деревянного тротуара.

Что ни говорите, а справедливая ярость придает сил! Скоро я сидел на Пупыре. Даже и тогда я помнил, что лежачего бить нельзя, зато, всхлипывая от счастья, кормил этого гада, кормил, кормил мерзлой травой и твердыми земляными комками. Пока он не завыл...

О славной для меня битве скоро узнали все пацаны из окрестных дворов. И я чувствовал большое облегчение. Но не полное. Конечно, я этой дракой кое-что изменил в своей жизни, кое-как искупил тот позорный случай в логу. Но в глубине души я понимал, что мне просто повезло. Не каждый раз и не всякому человеку, если он струсил и бросил оружие, удастся исправить это. Может просто не хватить времени. Особенно если это не игра...

А с теми ребятами я больше не имел никакого дела. Я снова стал уходить на улицу Герцена, в старый двор, где жили друзья детства. Здесь тоже бывало по-всякому: случались драки, обиды и затяжные ссоры. Но были здесь и незыблемые правила мальчишечьей жизни: игра — это игра; а если драка, то голыми руками и один на один. И главное — не без причины, а если уж очень накопело. Здесь могли отобрать или даже стащить самодельный пистолет или рогатку, но никому бы в голову не пришло отнимать копейки или купленную игрушку. Здесь твердо знали, что нельзя нападать сзади, бить лежачего, жадничать, хвастаться обновками и бросать человека в

трудную минуту. Знали все, в том числе и такие люди, которых сейчас наделенные педагогическим опытом взрослые называли бы «трудными подростками».

Несколько человек сражались на лужайке шагах в двадцати от меня. Потом шум битвы приутих. Бойцы разбрелись. Один оказался почти рядом со мной. Тоже присел на камень, положил на колени меч, подпер ладошками кудлатую голову.

— Роська!.. — окликнул я.

Он вскочил, подбежал. Заулыбался:

— Здравствуй... Гуляешь?

Я кивнул, подвинулся на камне. Четвероклассник Роська Вихрев, горячий от недавнего боя, сел рядышком, сунул голову мне под локоть. Потерся ухом о мои ребра.

Роська — человек удивительно ласковый и абсолютно бесстрашный. Мы познакомились с ним пять лет назад и часто разговаривали о жизни. Иногда Роська устраивался рядом, как мурлыкающий котенок, и рассказывал свои детсадовские тайны. А потом срывался с места и заставлял меня обмирать от страха: он так скакал и носился по кручам над морем, что у меня звенело в голове. А он хохотал... Он и теперь такой же, только подрос.

Я улыбаюсь про себя: «Роська под-рос...»

Настоящее имя у него Юрий, Юрик. А Роська — это от прозвища Юрос. Юрос-матрос. Прозвище появилось как раз в те дни, когда мы познакомились. Отец — в то время старпом большой крейсерской яхты — взял Юрку в небольшое воскресное плавание. Было солнечно и ветрено, яхту хорошо покачивало. Кое-кто из гостей скоро полег по бортам и свесил головы к воде. А шестилетний Юрка носился по яхте, как мартышка, — по палубе, по рубке, по релингам, вантам и гикку. Отец несколько раз гаркал на него: успокойся, мол. Наконец Юрка притих. Вернее, его вообще не стало. Нигде. Неожиданная тишина встревожила экипаж. Несколько человек быстро осмотрели помещения. Не было Юрика. Отец побледнел.

Яхту круто положили на обратный курс, по волнам зашарили бинокли. Отец кинулся еще раз обыскивать кубрики и

рубку — на всякий случай. И вот в носовом кубрике он услышал сдавленный писк.

Юрка застрял наверху двустворчатого шкафчика-рундука. Он заклинил между верхней крышкой и палубной балкой — бимсом. Звать на помощь он не хотел, чтобы не уронить авторитет.

Папа Вихрев выволок непутевого мореплавателя из щели, медленно и глубоко вздохнул и дал ему увесистого леща по тому месту, которое на корабельном языке именуется «транец».

Юрка потер пострадавшую часть тела и ушел на нос палубы. Там он с полчаса сидел, зыркая негодующими очами. Бордатый шкипер дядя Гриша сказал ему:

— Что, Юрос-матрос? Поимел от старпома педагогический момент?

Юрка демонстративно отвернулся. Но прозвище к нему прилипло сразу и намертво...

Внешне Роська — чертенок, состоящий из косматой головы, острых локтей и коленок и нескольких десятков синяков и ссадин. У него во дворе есть сосед — Андрюшка Сажин. На Роську он совершенно не похож — кругловатый, медлительный, тихий и на первый взгляд даже трусоватый. Казалось бы, чего общего? Но с самого начала школьной жизни они друзья-приятели, хотя и ссорятся иногда.

А если не ссорятся, то всегда вместе.

— Что Андрюшки не видать? — спрашиваю я. — Опять чего-то не поделили?

— Его из дому не выпускают, — вздыхает Роська. — Нам теперь втроем приходится воевать против четверых... Сейчас у нас перерыв...

Трое против четверых — это вам не шуточки. Я спрашиваю с сочувствием:

— Почему не пускают? Двойку схлопотал?

— Синяк он схлопотал под глаз, — объясняет Роська. — А бабушка его ни в чем не разобралась и сразу: «Больше на улицу никогда не пойдешь!»

Для Роськи синяк — дело обычное. Но для Андрюшки...

— Как он ухитрился?

— Да вот так... Подрался с писателями...

— Что-о-о?!

— Ох... — До Роськи доходит, что я тоже имею отношение к писательской профессии. Он виновато ежится у меня под боком и торопливо объясняет: — Это не такие писатели. Это те, кто всякую ерунду на стенках пишет, мы их так зовем. Ты не обижайся...

Я все-таки слегка обижаюсь и говорю, что можно было бы придумать другое название. Роська обещает подумать.

— А что за драка была? — интересуюсь я, потому что знаю: Андрей не из тех людей, которые прут на рожон.

И слышу такую историю.

В квартале отсюда есть памятник артиллеристам береговой обороны. Это оставшийся от военных времен бетонный капонир и два корабельных орудия. Вчера три каких-то балбеса (класса из шестого!) полезли к орудиям и начали писать на щитах названия джинсовых фирм и всякую другую ерунду. Андрюшка Сажин и еще двое ребят как раз играли там и увидели такое дело. Андрюшка первый увидел. И кинулся первый...

Он не стал вести разговоров про то, что надо уважать памятники, историю города и тех, кто здесь воевал. Не было на это у Андрюшки ни умения, ни времени. Он просто заорал:

— А ну пошли отсюда, гады! Это наши пушки!

И он был абсолютно прав. Пушки в самом деле его. И всех ребят, которые там играют и которые знают про то, как громили фашистов защитники города. Для того пушки и поставлены, чтобы ребята играли и помнили. И балбесы с мелом кинулись прочь, хотя один и успел вляпать Андрюшке по глазу.

Мне в голову приходит наконец простая догадка: Роська знает эти подробности явно не понаслышке. Эту догадку я высказываю вслух, и Роська со вздохом соглашается:

— Ага... Рубашка немного порвалась тогда...

— А мама как отнеслась к этой истории?

— С пониманием, — скромно говорит Роська. — Она ведь у меня справедливая... Ой, вон она идет!

В сумерках уже трудно разглядеть прохожих, но кто же не узнает свою маму!

Роська срывается маме навстречу. Я тут же убеждаюсь, что

она действительно относится к сыну с пониманием, но понимает кое-что по-своему.

— Ты что, еще дома не был после школы? — спрашивает она, уклоняясь от излишне горячих объятий.

— Нет, я был... маленько.

— Так «маленько», что не было времени переодеться? Так и носишься с часу дня до вечера?

Роська в самом деле «носит» в школьной рубашке, даже галстук не снял. Он озабоченно переступает тощими ногами в съехавших светлых гольфах. Потом быстро оглядывается на меня. Но я отодвигаюсь в полный мрак — под ветки акации с громадными высохшими стручками (они тихонько скрежещут, как жестяные). Роськина мама — человек настроения, под горячую руку может попасть и мне. А потом нас обоих с Роськой загонят домой. Его — готовиться к школе, меня — пить чай.

— Ты хотя бы пообедал? — спрашивает мама Роську строго, но без особой надежды.

— Ага. В школе...

— А уроки?

— Я сделал. Тоже еще в школе.

— Все?

— Ага. Почти...

— Ах «почти»! Кстати, почему Клавдия Ивановна опять зовет меня завтра в школу? Мне звонили...

— Ой, это не из-за меня! Это в родительский комитет насчет ремонта...

— Знаю я этот ремонт. Ну-ка марш домой.

— Мам...

— Что «мам»? «Мам» за тебя будет делать домашние задания?

— Ну, я же скоро! Мы сейчас додеремся!.. А то нас и так трое! Ну, ма-ма... Ты у меня хорошая... — Он умеет мурлыкать и подлизываться.

— Нечего тут ворковать. «Хорошая»...

— Мамочка, ну всего пять минут...

Роська знает, что где пять, там и пятнадцать. А там и полчаса. Мама это знает не хуже его. Она из тех мам, которые в свое время вместе с мальчишками рублились на деревянных

мечех. Но, с другой стороны, уроки. Это дело первостатейной важности. Сначала уроки, потом уж забавы, кто этого не знает? Кто с этим спорит?

Но для Роськи и для других мушкетеров предстоящий бой — не забава. Это очень важное дело, это их сегодняшняя боевая жизнь. И не может он уйти, бросить друзей. Тем более что их тогда останется двое против четверых!

— Учти! Через пятнадцать минут быть дома, — говорит мама, зная, что через полчаса придется выходить на балкон и включаться в переключку:

— Роська! Сколько можно звать!

— Шурик, домой!

— Алексей! Тебя на аркане тащить?

— Дима! Я сейчас пошлю за тобой папу!

(А цикады — все громче, а луна — все выше и ярче...)

Но это будет еще через целую вечность — через полчаса, а то и больше. А пока с дальнего края площадки несутся боевые кличи: кончились перемирие между гвардейцами кардинала и мушкетерами де Тревиля. Роська сует под мышку зазубренный клинок, поддерживает гольфы — тем же движением, каким д'Артаньян поддегивал перед схваткой ботфорты, — распрямляется и... гибкой пружиной срывается с места.

И... нет, я не ошибся! Вдоль каменного белого забора туда же мчится еще один боец — толстоватый, запыхавшийся, но полный боевого рвения. Андрюшка вырвался на волю!

Он спешит и с размаху натывается на прохожего. Точнее — на прохожую. Я слышу раздраженный и какой-то жирный голос:

— Что вы тут носитесь! Некуда ступить, только и мельтешат под ногами!

Хозяйки голоса почти не видно, однако я представляю крашеную даму с кошелкой и тяжелыми серьгами. Такая ни в каком детстве не сражалась на мечех.

— Играть, что ли, нельзя? — огрызается Андрюшка.

— Нашли где играть! На улицах! Я вот скажу родителям, я их знаю!

— А это не ваши улицы! — отвечает Андрюшка, рискуя заработать новые неприятности.

— А чьи? Твои? Собственник какой! — возмущается дама.

— Наши! — отвечает Андрюшка, убегая.

И он опять прав. Их эти улицы — его, Роськины, их друзей. Всех хороших людей. За этих людей дрались здесь в давние времена защитники Шестого и Седьмого бастионов. За них сражались артиллеристы береговой обороны — те, кому стоит неподалеку памятник. За них воевала армия генерала, чье имя носит ближняя улица. Для того, чтобы нынешние диксэндны, том-сойеры и д'артаньяны могли по вечерам сражаться на улицах деревянными мечами. Деревянными — пусть.

И как было бы хорошо, если бы на всем белом свете осталось только такое оружие. И одна только армия — вечная мальчишечья Армия Деревянных Мечей.

МОКРЫЕ ЦВЕТЫ

Этот рассказ я начинаю писать неожиданно для себя. Сейчас 9 мая 1984 года, около четырех часов дня. За окном такое весеннее сверкание, такой солнечный праздник, что я говорю:

— Женя, дай листок и карандаш.

Хочется остановить и навсегда запомнить эти минуты.

Мы с женой и младшим сыном Лешкой в гостях у моего друга Евгения Пинаева — моряка, художника и писателя. Пока женщины звенят в большой комнате посудой, пока Лешка разглядывает африканские раковины, чучело акулы и метровую недостроенную модель фрегата, Женя на расхлябанной своей машинке торопливо достукивает рассказ «Голубой омар». На него накатило вдохновение, как накачивает иногда на любого автора, и он знает, что эти счастливые моменты упускать грешно.

Женя не глядя протягивает мне лист и кивает в сторону громадного, перемазанного красками письменного стола: карандаши там, не знаешь, что ли?

Я подхожу к столу. Большое окно теперь совсем близко, весна как бы обнимает меня. День Победы пришел в торжественном блеске солнца. День Победы и День освобождения Севастополя. Сорок лет назад, ровно за год до окончания войны, словно предсказывая этот неизбежный день, моряки в освобожденном Севастополе подняли над обугленной Граф-

ской пристанью наш военно-морской флаг. Сегодня у севастопольцев и у тех, кто как-то связан с этим городом, двойной праздник. Вечером над улицами и бухтами загремит и расцветет особенно яркий, ликующий салют.

Я столько раз видел севастопольские салюты, что сейчас все представляю до мелочей. Представляю последнюю минуту ожидания праздника. Вот-вот раздастся первый залп, и небо немислимо расцветится, и вода отразит это буйное огненное торжество. Боевые корабли, что вытянулись в линию на рейде, зажгут иллюминацию и как бы нарисуются желтым пунктиром лампочек. И восторженные крики тысяч севастопольских мальчишек взлетят над всеми кварталами. А пока тихо-тихо. Примолкли люди, стоят толпами на крутых берегах и склонах холмов, на причалах и на парапетах Приморского бульвара. Неярко мерцают огоньки Северной стороны.

Деловито мигает красный маяк на равелине у выхода из бухты. А луна, большая и яркая, ярче всех огней, раскидывает желтые зигзаги на черной воде.

Совсем как на Жениной картине, что висит слева от окна.

Картина эта называется «Севастопольский вальс». На ней — ночь, огоньки на берегу бухты. Громадный силуэт крейсера или авианосца с очень выгнутым и срезанным сверху форштевнем. Над тупым срезом форштевня и над крыльями боевой рубки — неяркие сигнальные лампочки. И вообще все огоньки на картине скромные, неяркие. Спокойные. Зато луна — сильная, сияющая. Она прорвалась сквозь темные клочкастые облака и разбросала по зыби отражения-молнии. По этим отражениям скользят еле заметные в сумраке яхты с узкими, склонившимися в плавном крене парусами. Яхты по дуге обходят нависший над ними форштевень боевого корабля...

Это картина-легенда, картина-сказка. То, что написано на ней, на самом деле не бывает. Никто не даст яхтам ходить ночью по рейду, да еще в такой близости от военных судов. Да и нет, пожалуй, таких исполинских крейсеров и авианосцев. Но взглянешь на полотно — и сразу видишь: это Севастополь. Севастополь в самой своей сути. Вся его стальная мощь и южная ласковость, вся суровость крепости и радость моря с его тайнами, парусами и зовом в дальние плаванья, который хоть раз в жизни касается каждого из нас...

Лунные зигзаги мечутся по воде, и словно слышишь звонкое эхо от зыби под деревянным настилом Графской пристани. И стрекот цикад на берегу. И ощущаешь запах водорослей и мокрых камней, легкое касание ночного ветра и тепло, тепло этого моря, этого берега и даже броневого листов, нагретых за день южным солнцем...

И толчком приходит снова тоска по этому городу. И зависть к тем, кто сейчас там, на его теплых праздничных улицах.

...Впрочем, сейчас у нас теплее, чем на Юге. Двадцать пять градусов! А у заборов да кое-где и просто на асфальте еще тянутся валы рыхлого снега.

Утром снега было еще больше. Он лежал даже между прилавками на рынке, где я покупал для мамы цветы. Цветов было — просто завал. Я выбрал две охапки привезенной с Юга сирени — простой и белой. Сирень была мокрая, словно обрызганная крупным дождем. Я ехал на край города в такси, машину встряхивало, и я утыкался лицом в пахучие влажные гроздьи.

Среди сосен снегу было по колено, все тропинки завалены. Я с трудом пробрался к низкой решетке. Ладонью сдвинул рыхлый тяжелый пласт. Под ним сквозь ржавую прошлогоднюю хвою, рядом с гранитной облицовкой, проклюнулись стрелки-травинки. Я положил пахнувшие неудержимой весной цветы на эту хвою с травинками и прямо на снег. «Вот, мама, я пришел... Девятое мая, мама...»

Мама не была на фронте, но свою капельку в дело Победы внесла и она. Как миллионы наших матерей.

«Весна, мама... А снег — это так, случайность. На Урале бывает всякое...»

Неделю назад, на второй день майского праздника, ударила великолепная вьюга и сугробы намела такие, каких не было за всю зиму. Улицы сплошь укрылись полуметровым белым слоем — свежим и сияющим. Синоптики, естественно, объявили, что такого явления не было сто лет. Они заявляют это после каждого большого весеннего снегопада (а последний перед этим был в мае восемьдесят первого).

Под невыносимым снежным грузом трещали и падали клены и старые липы. Стояли троллейбусы, вереницами бредли по узким протоптанным тропинкам пешеходы... А через три дня опять началась весна. Стремительная весна, какая бывает лишь в кино и сказках. Ударило солнце, ослепительные, не успевшие закоптиться сугробы осели. Прогрели ручьи, бурно ринулась из влажной земли трава, полопались почки. Пришли дни сверкающие, безоблачные, с запахом весенней влаги и зелени.

Эта весна — как в песне из любимого моего рассказа «Вокруг света» Александра Грина. Когда-то в юности я даже придумал мотив к этой песне.

В Зурбагане, в горной, дикой, удивительной стране,
Я и ты, обнявшись крепко, рады бешеной весне.
Там весна приходит сразу, не томя озябших душ,
В два-три дня устанавливая благодать, тепло и сушь.
Там, в реках и водопадах, словно взрывом, сносит лед,
Синим пламенем разлива в реки дышавшие бьет.
Там ручьи несутся шумно, ошалев от пестроты,
Почки лопаются звонко, загораются цветы.

Я вспоминаю Грина и мысленно возвращаюсь в Севастополь.

Грин любил этот город. Кто знает книги Грина, тот помнит и его слова, что «некоторые оттенки Севастополя вошли в мои города». Паустовский же уверял, что дело не в «оттенках», что гриновский волшебный Зурбаган почти целиком списан с Севастополя. И я уверен, что Паустовский прав. По крайней мере, мне казалось не раз, что я в Зурбагане, когда бродил по запутанным улочкам и трапам Аполлоновки и Артиллерийской слободки. Я ходил здесь вместе со старым, ворчливым капитаном Дюком, лоцманом Битт-Боем, доверчивой девочкой Ассоль и маленьким сыном капитана Томом Берингом, который так ждал отца...

Да, Грин любил этот город. Любил, несмотря на то, что именно здесь, на Графской пристани, его арестовали за революционную пропаганду среди солдат. Арестовали обидно, предательски, из-за измены тех, кому он доверял.

На площади Восставших, недалеко от начала Шестой Бастионной, стоит серо-кирпичное здание с высокими железны-

ми воротами. Бывшая тюрьма. Здесь Грин провел почти два года.

Грин страдал. Не столько от жестокостей тюремного режима, сколько от самого ощущения неволи. Не раз он думал о побеге. Еще в самом начале заключения друзья готовили ему спасение: купили шхуну, чтобы Грин уплыл на ней в Болгарию, наняли извозчика, который должен был ждать недалеко от тюрьмы. Шхуна стояла в одной из окраинных бухт.

Грину не повезло. Когда он пытался перебраться через стену по веревке с узлами, тюремщики его заметили. Чтобы спастись от смертельного выстрела, Грин разжал руки и упал на каменные плиты. И опять неволя. До того осеннего дня в 1905 году, когда перепуганный демонстрациями и волнениями адмирал Чухнин выпустил политических заключенных.

...Когда мы с Пинаевым последний раз были в Севастополе, Женя попросил меня сфотографировать на бывшей тюрьме мемориальную доску с надписью о Грине. Это было перед самым отъездом. Я шелкнул «Зенитом», а потом мы пошли по Шестой Бастионной, чтобы попрощаться с Любой, с Олегом, с Алькой и Роськой.

Я шел и думал, что, если бы побег удался, Грин, скорее всего, кинулся бы на извозчике от тюрьмы по этой улице, которая тогда называлась еще Степной, потом свернул бы налево, в переулки, затем — дорога вниз, к морю. Жаль, что не удалось ему бежать. Всего-то нескольких секунд не хватило, полуметра до гребня стены...

Я медленно, квартал за кварталом, прохожу в своей памяти Шестую Бастионную, и где-то на полпути она приводит меня (в мыслях все возможно) на улицу Герцена в Тюмени. Я вспоминаю тот день, когда познакомился с Грином.

Было лето пятьдесят шестого года. Мы с друзьями закончили десятый класс и готовились поступать кто куда. Но готовились, по правде говоря, не очень старательно. Выпускные экзамены (а их было много тогда) порядком измотали нас. Снова сидеть за учебниками не хотелось, и порой мы целыми днями бездельничали. Был июль — месяц какого-то странного безвременья между нашим прошлым и будущим.

Порой накатывала звенящая тревога: а что впереди? А иногда приходило ощущение радостной беспечности. Мы носились на велосипедах, купались до одури в желтой, мутной Туре и до полуночи бродили по теплым улицам, под светлым неугасающим небом... Это, видимо, было окончательное прощание с детством, хотя в то время мы считали, что детство давным-давно позади.

В один из этих июльских дней я купил в киоске у вокзала темно-синюю книжку с корабликом. У кораблика были ярко-красные паруса. Из-за парусов я и взял книгу, имя автора мне, как ни странно, тогда ничего не говорило. Какой-то А. Грин. Я подумал, что это один из парусных капитанов, рассказывающий о дальних плаваниях. Такой же, как Лухманов, капитан «Товарища».

В книге оказались рассказы и роман «Бегущая по волнам». Я начал читать рассказ «Комендант порта»...

Что сейчас говорить о первом впечатлении! Кто любит Грина, тот меня и так поймет. Кто к нему равнодушен, что ж... Его рассказы не для них, и этот рассказ, честно говоря, тоже...

Вечером, когда я сидел ошарашенный «Кораблями в Лиссе», приехали на велосипеде мои друзья — Валерий и Юрка. Те, с кем я в старших классах делил все радости, мечты и неудачи. С ними прикатил наш приятель из параллельного класса — Лев Кошелев. Он был планерист, парашютист и, кажется, даже имел права пилота.

— Покатаемся? — предложила эта троица.

Я встряхнулся. Надо было немного прийти в себя, иначе можно совсем свихнуться от сумбура мыслей и чувств, вызванных этой книжкой: от восторга и ясной печали после гриновских рассказов; от горького сожаления, что медики не разрешили поступать в мореходку; от зависти и грустного сознания, что, если когда-нибудь научусь писать рассказы и даже (вдруг и правда?!) напечатают мою книжку, все равно с такой силой мастерства писать я никогда не сумею...

Я вывел из дровяника свой легонький вишневый «Прогресс» (самую звонкую радость моей школьной юности), и мы помчались по пыльной улице Грибоедова. Был душный, безветренный вечер...

Левка Кошелев катил впереди. Не знаю, случайно ли так вышло или он с самого начала знал, куда мы едем, но приехали мы к стадиону, чей серый, покосившийся забор выходил на улицу Герцена.

Над забором возвышалась ажурная серебристая вышка. У ее верхушки, на тонкой решетчатой «стреле», неподвижно обмяк парашютный купол.

— Прыгнем? — предложил Левка.

Я обмер. Я с малых лет ощутил побаивался высоты. Даже когда запускал змея с нашего двухэтажного дома, старался держаться подальше от края. А здесь наших домов можно было поставить друг на друга — сколько? Да штук восемь! Полсотни метров!

Но еще больше я боялся, что меня заподозрят в страхе. Поэтому отозвался лениво и небрежно:

— Вообще-то можно... Только взбираться на эту верхотуру...

Я очень надеялся, что Валерий и Юрка не захотят взбираться. Валерий был нескладен, длинен и достаточно ленив в развлечениях. За свой рост и обстоятельность он получил прозвище Папа Карло. Юрка — безнадежно близорукий рафинированный интеллигент — тоже не отличался особой спортивностью. Я надеялся, они скажут: «Да ну ее, поехали, лучше искупнемся». Но они потащили велосипеды в щель между досками. Вслед за вероломным Левкой. А я вслед за ними. (Потом, через много лет, друзья признались, что в душе кляли Левку так же, как и я.)

Кроме нас, желающих прыгать не оказалось. Да, скорее всего, для посетителей вышка уже не работала — время вечернее. Но на площадке (под желтым от неяркого солнца парашютным куполом, у самого неба — пыльно-серого от духоты) еще дежурил инструктор.

Внизу нас встретили еще двое — молодые ребята, чуть старше нас. Хорошие Левкины знакомые. Они молча пожали руки сначала Левке, а потом и нам (мол, твои, Лева, друзья — наши друзья). Соблюдая этикет и демонстрируя солидную сдержанность, мы присели на густую жесткую траву, что росла рядом с вышкой. Поговорили о новом приключенческом кино с подводными съемками и электронной музыкой, похи-

хикали над неизвестным мне инструктором-планеристом Прокопычем, который вчера не дотянул до посадочного знака и сел на своем «Приморце» в капустные гряды... Поговорили о конкурсе в разных техникумах и вузах и пришли к выводу, что «если не поступим, то и фиг с ним, жизнь впереди».

Я, где полагалось по разговору, вставлял слова, но думал о другом. О том, что парашют с высоты кажется маленьким, как одуванчик, а земля такая прочная, такая надежная и так на ней хорошо. В животе было замирание, словно перед дверью зубоврачебного кабинета...

Раздался ребячий смех, и через забор переметнулись двое смуглых мальчишек. Один лет двенадцати, другой чуть поменьше. Видимо, братья-погодки. Очень похожие друг на друга и одетые одинаково: в красных широких рубашках, в подвернутых до шиколоток мятых штанах, босые. В полинялых до бесцветности вельветовых тюбетейках.

Они подбежали к нам, остановились — улыбочивые, решительные, независимые. Сказали разом:

— Привет!

— Явились, — заметил чернявый инструктор Жора. — Чего скажем?

— Скакнем? — спросил старший мальчишка и глянул на парашют.

— Зависнете. Опять вас багром цеплять.

— Мы веревку скинем. Стащите, — будто о решенном деле сообщил младший. Выволок из кармана моток бельевого шнура и покрутил привязанной к концу гайкой.

— Нет, вы посмотрите на этих конструкторов, — сказал Жора с «одесской» интонацией. Потом задрал голову: — Степа! Скинь, пожалуйста, по одному братьев-разбойников, а то все равно не отлипнут!

— С парашютом или как? — донеслось сверху.

— Как удобнее, — ответил Жора.

Мальчишки уже взбегали по железным гулким ступенькам. Я заметил, что все смотрят на них с удовольствием. Я тоже. Но я еще и с завистью смотрел. В детстве мне очень хотелось быть таким независимым и бесстрашным пацаном. И никогда не получалось. Почему-то я все время чего-нибудь или кого-нибудь боялся: сначала — темных комнат, мохна-

тых гусениц и придуманного чудовища по кличке Тихо; потом — вредной девчонки Галки из соседнего дома, уколов и того, что мама вдруг забудет прийти за мной в детский сад; затем — окрестной шпаны, смерти и экзаменов по математике. И так далее. Боялся лазить по высоким крышам, прыгать на лыжах с трамплина и нырять в воду с вышки. Правда, лазил, прыгал и нырял, но просто потому, что деваться было некуда! Во-первых, жизнь такая, а во-вторых, помогала мне еще одна, более сильная боязнь — страх перед насмешками.

А эти пацаны, судя по всему, ничего не боялись. Они жили смело и весело. Что им давало такую уверенность? «Наверно, то, что их двое», — подумал я. И тогда, кажется, впервые в жизни у меня появилась четкая, оформившаяся мысль: «Как хорошо жить на свете, если рядом всегда смелый и любимый брат...»

А мальчишки, словно совсем невесомые, без усталости взбегали по звонким зигзагам лестницы. Неожиданно качнулся воздух, ветерок шевельнул траву — раз, другой. Сразу стало прохладнее. У мальчишек округло надулись выбившиеся из штанов рубашки. И, разумеется, эта вспученная ветром красная материя тут же напомнила мне прочитанные лишь сегодня «Алые паруса». И каждый из босоногих братьев показался мне маленьким Греем, который «родился капитаном, хотел быть им и стал им».

И ясное ощущение, что нельзя быть трусом, когда есть такие книги, такие люди, как Грин, такие мальчишки, сняло с меня липкую боязнь, как неожиданный взмах ветра снял духоту.

Нет, я боялся, конечно, только уже не очень. И с любопытством следил, как наверху инструктор опутывает ремнями тощего мальчугана. Тот скакнул вниз, едва дождавшись последнего щелчка пряжки. Сорвалась и темным летящим блюдцем косо понеслась к земле его тюбетейка. Мальчик стремительно полетел вниз — красным трепещущим огоньком. Потом рванулись натянутые стропы, негромко лязгнув в середине вышки противовеса, вздулся купол. Мальчик стал спускаться сперва довольно быстро, потом тише-тише... И наконец совсем повис. И смешно закачал ногами, вылезшими из широких штанин.

— Вот и висит так, — с ненастоящим злорадством сказал ему Жора. А нам объяснил с усмешкой: — Весу-то в них — что в котях, а с земли восходящий поток. Почти каждый раз так зависают. А все равно просеются, повадятся сюда. Лихие парни...

«Лихой парень» кинул сверху шнур с гайкой. Гайка закачалась в двух метрах от земли. Жора схватил, потянул. Опять заскрежетал противовес, парашютист медленно поехал вниз.

Внизу его, серьезного и довольного, Левка и Жора освободили от ремней. Парашют с лямками и привязанным к ним шнуром пополз вверх. А мальчик (это оказался младший из братьев) присел с нами на траву, задрал голову и сообщил:

— Мишка с руками в карманах будет прыгать, смотрите.

— А ты так не можешь разве? — спросил Жора и нахлобучил на него подобранную тюбетейку.

— Не-а, я еще боюсь.

Мальчик сказал это спокойно и весело, уверенный, что никто не засмеется. Он был слишком смел, чтобы пугаться такого признания. И он знал, что этот его страх — временный и случайный, вроде пустяковой болезни, которая завтра пройдет.

Мишка действительно прыгнул с руками, засунутыми чуть не по локоть в большие карманы. И выдернул их лишь у самой земли, чтобы схватиться за лямки и спружинить при посадке. Его не пришлось тащить за веревку, он, хотя и медленно, опустился сам. Видимо, восходящие от земли потоки ослабли.

Жора и Левка опять отцепили ремни, Мишкин брат им ловко помогал. Мишка обвел нас веселыми глазами и сказал:

— Скоро гроза будет. Сверху видно...

— Ладно, успеем, — сказал Левка. — Пошли, ребята, прыгнем разок...

И мы пошли...

Ох, мы пошли... А лестница была такая шаткая и дребезжащая. А пустота под ней и вокруг была такая... такая пустая и громадная. И не было никакой опоры, кроме этих почти жестяных ступенек и шаткого уголкового железа перилец. И я всей душой стремился вверх: не из каких-то возвышен-

ных чувств, а потому, что дощатая площадка казалась мне гораздо надежнее лесенки.

Мы выбрались из люка. Я принял небрежную позу, левой рукой словно бы случайно взялся за какую-то железную стойку, и пальцы мои на ней окаменели (а в ладонь впаялась круглая заклепка).

Но страх страхом, а все-таки я огляделся. И... все во мне ахнуло от жутковатого восторга. От фантастического простора.

Мир, в котором я прожил свои семнадцать лет и который казался мне таким просторным, лежал теперь подо мной весь разом. Город, окруженный лугами и полями, желтовато-серебристые излучины Туры, заречные деревни с игрушечными татарскими мечетями, дальние синие леса.

То, что с земли виделось у отчаянно далекого горизонта, придвинулось совсем близко, стало трогательно маленьким и добрым. Даже густой бор за деревней Падерино казался ближней рощицей. А когда-то он был для нас как дальняя таинственная тайга.

А город! Кто-то превратил его кварталы в игрушки, в макетики и в нужном порядке расставил на широкой плоской тарелке.

Рядом — дотянуться можно — белая церковь, в которой сейчас библиотека (там я накануне в читальном зале, устроившись в глубокой нише сводчатого окна, сочинял стихи). Вот и дом на улице Грибоедова, где я сейчас живу. А вот другой, на улице Герцена, где прошли мои первые годы и где живет мой дядя Боря. Тополь во дворе кажется отсюда совсем небольшим (но все же видно, что он выше остальных).

И вся улица Герцена, оказывается, небольшая. Вот она, целиком на виду — тянется от недалекого старого кладбища до восточного края Городища...

А вот школа, в которую никогда я уже не буду спешить на уроки.

Кончилась она, школа. Целая жизнь кончилась, целый мир. Я прошу этому миру все слезы и обиды, все несправедливые двойки, томительные часы «после уроков», красные записи в дневниках, тяжелую одурь недосыпаний, когда надо вскаки-

вать ни свет ни заря и по морозным улицам топтать на первый урок.

Я оставляю в памяти только хорошее: друзей, музыку школьных вечеров, шелковую ласковость пионерского галстука, книги, победные пятерки своих сочинений по литературе, нашу замечательную «классную» Надежду Герасимовну и девочку Инку, к которой я так и не решился подойти...

И это хорошее унесу в другую жизнь. Скоро поезд увезет меня вон туда, за горизонт, в сторону, где садится солнце...

Солнце садилось в тучу. Она была темно-сизая, а края у нее золотились.

Туча не показалась мне плохой приметой. Я и без нее знал, что впереди будет много всякой непогоды. Но будет и много хорошего. Это я тоже знал. И не боялся.

...Единственно, чего я сейчас боялся, — это все-таки прыжка. Но я заставил себя подойти к перилам и с равнодушным лицом следил, как Левка разбирает брезентовую парашютную сбрую.

— Кто первый? — спросил он.

— Я! — сказал я с храбростью отчаяния.

Он опутал меня тяжелыми ремнями, пристегнул их лязгнувшими карабинами к стропам.

Откинул передо мной железную планку...

Я глянул вниз. Ух какая была подо мной глубина! Ой как далеко до земли... Оттуда смотрели на меня братья в красных рубашках. Они были совсем крошечные, будто я глядел на них в перевернутый бинокль. И все же мне показалось, что на лицах у них я вижу ехидную усмешку.

Да вы что? Я сейчас прыгну. Сию минуту... только... Я вцепился в лямки и зачем-то присел на корточки. Наверно, чтобы приблизить землю хотя бы на метр. И в эту секунду мягкий толчок Левкиного полуботинка отправил меня вниз.

Ух как рванулось навстречу пустое пространство! Ух как сжала меня жуть свободного падения! В точности как в детских снах про полеты и срывы с высоты, когда просыпаешься со стреляющим сердцем. И как долго я падал в те две или три секунды, пока не натянулись стропы!

А потом они натянулись, и я ощутил восторг от того, что

прыжок уже случился и что я так неторопливо и безопасно скользю к земле.

Впрочем, не так уж неторопливо! Земля крепко стукнула меня по подошвам, и я брякнулся на спину.

Подскочили мальчишки. Стали расцеплять пряжки. Мишка сказал слегка назидательно:

— Надо на стропах подтягиваться, чтоб не ковырнуться.

Брат его примирительно заметил:

— Первый раз все падают.

— Это точно, — согласился Мишка.

Я ничуть не обиделся, я был им благодарен. Отдав лямки, я опять сел на траву. Земля была такая теплая, такая прочная. А трава такая знакомая. Прохладные ладони подорожников, которые столько раз лечили наши ссадины, добытые в футбольных сражениях и в боях на деревянных шпагах; пуховые фонарики одуванчиков; жесткие, как проволока, стебли пастушьей сумки с семенами, похожими на продолговатые сердечки; пахнущая земляникой уличная ромашка с желтыми головками без лепестков; «калачики» с круглыми листьями и семенами, похожими на крошечные турецкие тюрбаны...

Своим чередом прыгнули Валерий и Юрка. Что они при этом чувствовали, не знаю, но смотрели после прыжка бодро. Валерий даже ухитрился удержаться на ногах. Последним приземлился Левка. Инструктор сверху крикнул:

— Еще пойдете или мне прыгать?

— Еще? — спросил Левка.

Я встал. Мне очень захотелось опять на высоту. Нет, страх не пропал, я боялся даже сильнее, потому что познал жуткое чувство падения и заранее переживал его вновь. И все же хотел. Чтобы снова увидеть с высоты разом все, что любил и с чем скоро должен был расстаться.

...Я понимал, что расставание это будет ненадолго и что я не раз вернусь в родной город. Но понимал и то, что в детство уже не вернусь...

Инструктор сверху поторопил:

— Давайте быстрее, скоро ветер начнется! Гроза!

В самом деле стало пасмурно. Все притихло, сильно запахло травами и теплым железом вышки.

— Пошли, — сказал я Левке. — Только не путай больше

мою задницу с футбольным мячом. — Я не обижался на него, но предупредить считал необходимым.

— А ты не сиди на краю полчаса, — хихикнул он.

— Нельзя пейзажем полюбоваться?

...Теперь вид с высоты был другим. Солнечный свет держался лишь на верхушках дальнего леса на востоке. Река потускнела. Край серо-синей тучи был уже почти у зенита. Он больше не светился. Над крышами Городища облачные провалы на миг загорелись неярким розовым огнем.

Пробегали ветерки и гасли, шелковый купол нервно вздрагивал.

Запах травы был здесь почему-то даже сильнее, чем на земле.

Инструктор Степа — высокий рыжий парень с веснушчатыми руками — слегка нервничал и поторапливал нас. Я прыгал после Валерия и Юрки. На этот раз я крепко сжал себя и заставил шагнуть с площадки без секундного промедления. И опять — одурь летящей пустоты, и опять — толчок и радостная прочность натянутых строп... И снова я на земле (на этот раз даже не упал!), и радуюсь ее надежности, ее теплу и ощущению покоя. А главное, тому, что оказался сильнее страха.

Левка остался у вышки помогать инструкторам сворачивать снятый парашют. Мальчишки умчались. Валерка торопливо укатил домой: спохватился, что перед дождем надо укрыть толем дырявую крышу пристройки.

Мне домой не хотелось. Я пошел провожать Юрку. Мы не поехали, а именно пошли, держа велосипеды за седла и толкая перед собой. Я старался подольше сохранить в себе радость от прыжков и от того, что увидел с высоты. У Юрки, наверно, было похожее настроение. Он сказал с легким, привычным своим заиканием:

— П-первый раз было с-страшновато. Я бы и не полез, если бы не те п-пацаны. Неловко было п-перед ними.

Мы с Юркой знали друг друга много лет и всегда понимали друг друга.

— Я тоже на них глядел. Мировые ребята...

— А ты п-почему в педагогический не пошел? — вдруг спросил Юрка. — Ты же хотел.

Он знал, что врачи дали мне «поворот» от мореходки и тогда я решил двинуть «по семейной линии», в учителя.

— Я разве не говорил? — удивился я. — В иняз в этом году набора нет.

— Т-ты говорил... А почему на ф-филологический не подал?

— Ну его... Нагляделся на свою сестрицу, как она с тетрадями мается...

Думая об учительском деле, я мечтал, что буду ходить с ребятами в походы, ставить спектакли, выпускать рукописные журналы, устраивать военные игры и так далее. Сами уроки меня привлекали гораздо меньше. А каторжной работы словесника и литератора я просто-напросто боялся. Чтобы «тянуть» такие предметы, надо было отчаянно их любить. Например, как моя старшая сестра или наша преподавательница Елизавета Александровна.

— Зато к писательской профессии ближе всего, — заметил Юрка. Он знал о моих честолюбивых замыслах.

— А она получится, эта профессия? — усмехнулся я. — Поэтом могу я не быть... и тогда что? Каждый год уныло внушать бедным детям, что Катерина — луч света в темном царстве? Она, кстати, никакой не луч...

— А в Свердловске на журналистику какой конкурс?

— Когда сдавал документы, было тринадцать с половиной...

— Ну, н-ничего... — сказал Юрка и деликатно отвел глаза.

— Ничего, — вздохнул я и тихо позавидовал Юрке и Валерию: у «технарей» в Тюмени конкурс был в два раза меньше.

— Г-готовишься?

— Книжку читаю. Купил сегодня и просто обалдел... Александр Грин.

— Дашь почитать?

— Само собой.

Я проводил Юрку до калитки. Его дом стоял на улице Герцена, как раз напротив моего старого родного двора с могучим тополем. Я перешел дорогу, чтобы навестить дядю Борю.

Дядя Боря жил теперь уже не так, как прежде. Он женился, стал солиднее. Проходную комнату его увеличили, сделали отдельную дверь и еще одно окно. На окнах теперь висели занавески. Пропахшие табаком обои были заклеены новыми.

Но синие, как у мамы, дяди-Борины глаза нет-нет да и вспыхивали прежними мальчишечьими искорками.

Когда я вошел во двор, дядя Боря сидел на крыльце и курил.

Я поздоровался, прислонил к столбику у крыльца велосипед и тоже сел на ступеньку. Несколько тяжелых капель упали перед крыльцом на мощенную кирпичами дорожку, но главный дождь проходил стороной. Громыхало тоже где-то поодаль. Пахло тополем, теплой пылью и досками недавно вымытого крыльца. И дымом от дяди-Бориного «Беломора». Воздух был неподвижным, и дым висел над словами слоистым облачком. Потом налетел капризный ветерок, облачко исчезло, тополь встряхнулся и торопливо зашумел.

Дядя Боря глянул вверх, погасил о крыльцо окуроч, со ступеньки не поднялся. Спросил:

— Ну как? Готовишься в студиозусы?

— Не-а. Надоело.

— Переучился, — понимающе сказал дядя Боря. — Знает, надо голову проветрить.

— Вот и проветриваю... — вздохнул я и хотел рассказать про вышку и прыжки. Но дядя Боря вдруг засмеялся:

— Вспомнил, как в сорок пятом осенью твой отец в отпуск приезжал — он еще в армии был тогда — и пошел в школу про твои дела узнать. А ты тогда только в первый класс начал ходить... Вернулся отец и рассказывает: учительница жалуется. «У вашего сына, — говорит, — ужасные разговоры. Он мне сказал недавно: что за жизнь! Уроки, уроки, уроки, и никакой радости...»

— Не помню такого...

— А я вот помню.

— Это же десять лет назад было!

— Десять лет — разве время...

Я встал:

— Пойду. Поучу немецкую грамматику на сон грядущий...

Уроки, уроки, и никакой радости в жизни... И главное — за чем? Все равно не поступлю.

— Поступишь, — сказал дядя Боря.

— Не... Я же все годы в школе троечником был.

— Ну и что?.. Это потом уж в жизни ясно, кто троечник, а кто нет. Не сейчас, не сразу...

Я помолчал, переваривая столь глубокую философскую мысль.

— А стихи у тебя хорошие в газете-то... — сказал дядя Боря.

Я покраснел, вспомнив свое стихотворение в «Тюменском комсомольце», которое кончалось бодрыми строчками:

А дни идут один другого краше,
И парта нам становится тесна,
Идет весна — весна всей жизни нашей
И школьных дней последняя весна.

Дядя Боря понял мои чувства.

— Да нет, правда ничего, — повторил он крайне убедительно. — Особенно вот это:

Потом темней и гуще станут тени,
Рассветы станут ярче и светлей,
Наступит май в цветении сирени,
Потом июнь — в цветеньи тополей.

Я мысленно простонал и, отчаянно боясь, что дядя Боря продолжит цитирование моего творчества, проговорил торопливо:

— А тополь наш в июне что-то слабовато цвел.

— Не каждый год пышно цвести. У них, у тополей, какие-то свои законы жизни есть.

Мы оба, запрокинув головы, посмотрели в гущу шумящей кроны. Гром над дальними кварталами опять прокатил по кровельным листам свои чугунные шары.

— А помнишь, ты мне стрелу для лука сделал, и я ее туда, в чащу, запустил, и она застряла? Ух, я ревел... Тоже в первом классе было.

— Я тебе тогда новую сделал.

— Да... — сказал я. И словно вдохнул горячий воздух — такое неожиданное чувство, смесь нежности, благодарности и непонятной печали, поднялось во мне. Разом, как от толчка. Потому что сейчас, уже в самом деле прощаясь с детством, я вдруг понял, как много значил в моей жизни дядя Боря.

В январе сорок пятого года, в трудные и горькие для нас дни, мы остались вдвоем. Он не бросил меня, не отдал чужим людям...

Тогда сильно болела мама. Перед Новым годом она сортировала на военкоматовском складе привезенный с фронта утиль (годные еще для ношения гимнастерки и шинели раздавали тогда нуждающимся). На этой работе мама подхватила какого-то микроба и слегла с высокой температурой. У нее достало сил уговорить дядю Борю купить на рынке и украсить для меня елочку. Дядя Боря ворчал, но сделал все как надо. И я тихо радовался этой елочке и подарку — тоненькой книжке «Три медведя». Радость вперемешку с тревогой. Чтобы прогнать тревогу, я разговаривал с мамой, и она через силу отвечала мне.

А ночью маме стало совсем плохо. Сильно распухло лицо.

Утром пришел врач.

Помню его седоватые виски, запах одеколona, негромкий, но уверенный голос. Очень сильно блестели маленькие очки.

Врач осмотрел маму, помолчал и сказал, что скрывать нет смысла: заражение крови.

Про пенициллин и другие могучие лекарства мы тогда еще не слышали, и даже я знал, что заражение крови — смертельно.

— Так это что же? Значит, всё? — тихо спросила мама.

Врач развел маленькими, очень чистыми руками и мягко сказал:

— Что же делать, голубушка. Все мы когда-нибудь всё...

Дальше я плохо помню. Совсем выпало из памяти, был ли кто еще в комнате, и как ушел врач, и что еще говорила мама. Я утонул в вязком ужасе, и все сделалось какое-то серое и ненастоящее.

А потом мое сердце, вся моя душа, каждый мой крошечный нерв отчаянно восстали против этого ужаса, этой безысходности. Потому что *такого* случиться с мамой не могло. Это противоречило бы всем законам природы, всей логике жизни. Как же это вдруг мамы не будет? Чуть ли какая!

И я бросился к ней и уже с полной верой в свои слова стал говорить, что врач ошибся, что он дурак, что он врет!

И мама улыбнулась почти незнакомым, распухшим лицом

и подтвердила, что, конечно, он ошибся (только нехорошо говорить «дурак»).

...Немного отвлекаясь от рассказа, хочу согласиться, что говорить «дурак» нехорошо. Особенно про пожилого, заслуженного человека.

Про того, кто, видимо, много лет успешно лечил тысячи людей. И так далее... Но я был тогда маленький — это во-первых. А во-вторых... как он мог все-таки сказать *такое*? Неужели глухота души — это болезнь, которая может с возрастом прийти к любому?

...Через час пришел другой врач — известный в городе доктор Виноградов. За ним сходил дядя Боря. Даже не сходил, а просто кинулся к этому человеку как к последней надежде. Словно с просьбой о чуде. И чудо произошло. Доктор сказал, что у мамы вовсе не заражение крови, а рожистое воспаление.

Еще через какое-то время маму закутали в пальто и одеяло и в пролетке увезли в больницу. Я смотрел в окно. Мама не могла махнуть рукой, но чуть наклонила замотанную шалью голову, когда увидела мой расплющенный о стекло нос.

Лошадь с заиндевелой мордой неторопливо пошла, и сквозь двойные стекла я услышал, как визжат на снегу полозья...

И мы остались с дядей Борей вдвоем.

Представляю, сколько он хлебнул со мной. Каково ему, привыкшему к аскетической холостяцкой жизни, было возиться с шестилетним пацаном, которого из-за жестокого ревматизма зимой даже в детский сад не отправишь.

А брат и сестра учились далеко от Тюмени, в Одессе.

Немудрено, что дядя Боря через несколько дней согласился поселить меня у нашей знакомой. Это была добродушная толстая эстонка, плохо говорившая по-русски. Из эвакуированных. Одно время она жила у нас на квартире и, как я теперь понимаю, привязалась ко мне. Так иногда привязываются к чужим ребятишкам бездетные женщины. Теперь эта тетя Эльза жила в нескольких кварталах от нас. Там у хозяйки был сынишка — мой ровесник. Хозяйка славная, мне у них будет хорошо...

Меня уговорили. Закутали, собрали узелок с одеждой и

игрушками и увели из родного дома. На другой край света, на соседнюю улицу Челюскинцев.

Хозяйка квартиры в самом деле была очень славная. Раздела меня, накормила, показала, где я буду спать: на уютном диванчике под картиной с лебедями. И мальчик мне понравился: спокойный, ласковый. Сразу подарил мне картонного зайца с жестяным ружьем через плечо.

Мы сели играть на мягком, связанном из лоскутков половике — строить дом из костяшек домино и катушек от ниток.

Построили. Потом разобрали и сделали другой. Поселили там зайца.

От высокой круглой печки несло теплом. Тикали часы с гириями. Мурлыкала кошка. И в этом уютном покое мне делалось все тоскливее. Окна стали темно-синими от сумерек. Я еще разговаривал нормально, даже смеялся, но слезы уже стояли у горла. Потому что тепло здесь и сыто, и мальчик Костя хороший, и тетя Эльза знакомая, почти своя, но они не родные. А единственный родной человек, который мог быть со мной — дядя Боря, — теперь далеко-далеко. А здесь все не мое. Не мамино...

Видимо, слезы мои были такими горькими, непохожими на обычный каприз, что тетя Эльза покачала головой и пошла за дядей Борей.

Он пришел сумрачный и не сказал мне ни слова. Молча заматал на мне шарф. Молча развел перед хозяйкой руками. Подтолкнул меня, зареванного, к двери. И, не говоря ни слова, повел к дому.

Но дома, раскутав меня, притихшего и пристыженного, вдруг сказал ворчливо:

— Ну и ладно... Мне и самому тут как-то одному-то...

Как мы с той поры жили? Честно говоря, я это помню урывками. Помню, как сидим за столом, едим обжигающую рот картошку и дядя Боря рассказывает, что сегодня опять был в больнице и маме гораздо лучше. Помню, как он моет меня в гулком жестяном корыте и я зажмуриваюсь, чтобы не попало под веки едкое жидкое мыло, когда на миг все же размыкаю глаза, вижу мелкие мыльные пузыри — они взлетают к потолку в горячем воздухе от печной плиты. Помню, как

вечером при желтой тоскливой лампочке жду дядю Борю с работы, и вот он приходит, и лампочка сразу становится ярче.

Сохранилось в памяти, что иногда дядя Боря целыми днями был дома: то ли отпуск выпросил, то ли болел. В то время он был еще очень слаб после недавней дистрофии. Тогда он возился с дровами, с посудой, неумело пришивал к моим рубашкам разнокалиберные пуговицы или в теплой воде отмачивал на моем пальце присохший бинт (пальцы распухали от ревматизма, на одном лопнула кожа, и он загноился).

Помню, что я любил трогать ладошкой щетинистую щеку, когда дядя Боря сажал меня на колени.

Один вечер запомнился особенно. Мы с дядей Борей за чем-то пошли к его знакомой. Она жила в трех кварталах от нас. Был ощутимый морозец, шли мы по дороге, снег отчетливо скрипел под валенками. В конце улицы догорал морковный закат. Уже светились окошки.

Знакомая дяди Бори, какая-то старушка, жила в покосившемся домике с большущим круглым (а вернее, овальным) окном. Какое дело было у дяди Бори к старушке и о чем они говорили, не помню. Мне дали стакан теплого чая с горькой желтого сахара-песка на блюдце, и я тихо радовался. И поглядывал по сторонам. Электричества не было, горела на столе керосиновая лампа с пузатым стеклом. От неяркого света на темной люстре под потолком загорались синие искорки.

Вечер за круглым окном совсем почернел. Лампа высвечивала на фоне темных стекол белые изогнутые линии переплета. Я слизывал с блюдечка сахар, болтал под столом валенками и все хотел спросить, почему такое окно, только не удавалось: дядя Боря и старушка о чем-то живо беседовали.

Я спросил про окно, когда мы шли домой (и вечер был теперь темно-зеленый, с белой луной). Дядя Боря сказал, что окно называется «венетское». Такие делают в городе Венеции, в Италии.

— Это ихний Муссолини, что ли, придумал? — сердито спросил я, потому что знал: в Италии фашисты, а Муссолини у них вместо Гитлера.

Дядя Боря ответил тоже слегка сердито:

— При чем тут Муссолини? Он дурак и мерзавец, а Италия — прекрасная страна... Город Венеция стоит на малень-

ких островах, и вместо улиц там каналы. Вроде рек. Люди там на лодках ездят.

— Как у нас по Туре?

— Почти...

— А почему там окна круглые?

— Н-ну... — сказал дядя Боря. — Обычай такой. Мода...

А может быть, потому, что все дома у моря стоят. У пароходов тоже окна круглые, называются «иллюминаторы».

Дядя Боря почему-то вздохнул. Тогда я не понял отчего. А сейчас думаю: наверно, оттого, что он никогда не видел моря и не знал, увидит ли...

Домик с венецианским окном стоит на улице Герцена до сих пор. По крайней мере, пока стоит. Покосившийся, обшитый досками, но все равно немного сказочный. Когда я подрос, то очень любил ходить мимо него. И мимо других интересных домов на моей улице и в ближних запутанных переулках. Это были домики с затейливыми крылечками, резными узорами на дверях, кружевными дымоходами на печных трубах, тяжелыми, изукрашенными карнизами над большими окнами. На покосившихся воротах с башенками ржавели таблички и овальные знаки старинных страховых обществ. На некоторых знаках был якорь. Это делало нависшие над полынными склонами лога переулки еще более загадочными. Похожими на закутки незнакомого приморского города.

Однажды дядя Боря добавил новую долю морского очарования нашей сухопутной Тюмени. Он рассказал, что на ее старинном городском гербе — парусный корабль. Да-да! Потому что в прежние времена именно отсюда начиналось плавание по всем сибирским рекам. По Туре, по Тоболу, по Иртышу, по Оби, а оттуда — в море. Случалось тюменским купцам хаживать и в Англию...

Вскоре я увидел герб своими глазами — в городском музее. Он был нарисован облупившейся масляной краской на жестяном щите с пятнышками ржавчины. Храбрый одномачтовый корабль плыл по синим волнам... Этот корабль я переписывал в тетрадку, в которой записывал свои первые стихи.

Потом дядя Боря преподнес мне еще одну истину. Вернее, помог сформулировать то, что я давно уже смутно чувствовал. Он сказал, что где-то в Мексике, в Австралии и Африке тоже

есть небольшие городки и там тоже живут мальчишки — такие же, как я, Толька Петров, Амир Рашидов и Вовка Покрасов. Ну, пусть не совсем такие, говорят на других языках, но похожие на нас характерами. Тоже играют по вечерам в сыщиков-разбойников, пряталки и разные другие игры. Носятся по улицам, под кактусами, бананами, пальмами и эвкалиптами. Для нас их городки, улицы, эти бананы и пальмы — заморская необыкновенность, а для них — самые обычные вещи. Зато наша Тюмень для тех ребят — с ее деревянной стариной, тополиным пухом в июне, заросшими остатками крепостных рвов и подземных ходов, с монастырем петровских времен и поlying у некрашенных заборов — дальний загадочный край. Все зависит от того, какими глазами смотреть.

Нет, я не стал после этого смотреть на знакомые с детства улицы глазами австралийского или мексиканского мальчишки. Я здесь родился, здесь все было мое. Но я научился находить необычное в заросшем лопухами уголке двора и различать налет тайны или сказки на поломанном узоре старинного балкона.

Это пристрастие (с точки зрения многих солидных людей, несерьезное, мальчишечье) я сохранил до сих пор и теперь уже не стесняюсь его. Без такого пристрастия не написал бы я ни одного самого чахлого рассказика.

А в семнадцать лет оно помогло мне открыть для себя Грина и полюбить его с первых строк.

Говорят, у Грина было могучее воображение и он мог, взглянув на камешек или травинку, представить нездешние горы и джунгли. Безусловно, это так. Но не только это. Видеть необычное в самом простом, разглядеть тайну в обыденной вещи — это не значит приукрасить вещь и превратить ее в игрушку. Наоборот, это значит проникнуть в ее глубину, открыть ее сущность. Именно этим талантом и обладал Грин.

О героизме Севастополя, о славе его флота пишут многие. И будут еще и еще писать — эта тема бессмертна. Но войны были только в немногие годы, а Севастополь живет двести лет. И есть у него еще одна тема — его сказочность, его поэзия, его волшебное умение привязывать к себе людей. Об этом написано гораздо меньше. Грин сумел проникнуть в самую

глубь севастопольской сказки, и так родились Зурбаган, Лисс и Сан-Риоль...

И, конечно, вовсе не случайно фильм о юности Грина — прекрасную киноленту «Рыцарь мечты» — снимали именно в Севастополе. Для этого туда пришел четырехмачтовый барк «Крузенштерн».

Тогда, в шестьдесят седьмом году, на «Крузенштерне» мы и увиделись впервые с Женей Пинаевым.

Это была добрая (хотя, возможно, и чуть насмешливая) прихоть судьбы: два уральца, много лет жившие бок о бок, познакомились вдаль от дома, на палубе гигантского парусника. Потому что оба были «помешаны на парусах». Женя до этого ходил в плавания на учебных баркентинах и немало побородил разных морей-океанов. А я, не получивши морской профессии, сколачивал в Свердловске мальчишечий флотский отряд.

В том году Пинаев числился на «Крузенштерне» матросом и художником, а я привез несколько своих мальчишек в Севастополь показать море и корабли. Мы увидели в бухте четырехмачтовое парусное судно — «живое», настоящее! — и, конечно, правдами и неправдами проникли на барк. И целую неделю отирались там среди матросов, курсантов и актеров. Там и свел меня один из штурманов с земляком — загорелым дядькой, у которого были колючие усы и крепкие пальцы корабельного плотника.

— Жень! — говорю я. — А помнишь тот вечер на «Крузенштерне», когда с берега опоздал катер? Луна как прожектор, небо зеленое, снасти черные, а по палубе шастают типы в пиратских костюмах... И песня из динамика:

Южный Крест там сияет вдаль,
С первым ветром проснется компас...

Пинаев топорщит усы и с удвоенной силой лупит заскозулыми пальцами по клавишам машинки. Моя «лирика» его отвлекает. Но я говорю снова:

— Жень! Давай плюнем на все дела и махнем в Севастополь! А? Хоть на пару дней?

— Сгинь, совратитель! — рычит он, и машинка ржavo стонет от перегрузки.

Ну, ладно... Я сажусь на диван, откидываюсь к спинке (с полки падает на меня сушеная морская звезда). Машинка входит в нормальный ритм. Женщины в соседней комнате перестали звякать посудой (вот-вот позовут). Лешка дерется с пинаевским черным котом по имени Лопес Квадрильо Мурильо. Весна расшвыривает по стенам быстрые блики. Они похожи на отражения беспокойной воды. Как в каюте... На стене напротив дивана висит спасательный круг с «Крузенштерна». За него засунута пожелтевшая ветвь акации с длинными коричневыми стручками (стручки ссохлись, сквозь их шкурку цепочками выступают горошины). Эту большую ветку нам в прошлом сентябре добыли на память Алька и Роська.

Мы шли по Шестой Бастионной, а мальчишки тащили эту ветвь нам навстречу. Сказали, что недалеко от яхт-клуба грузовик поломал акацию. Потом Алька вздохнул:

— Значит, уезжаете...

— Что поделаешь... — сказал я.

— А папа до вечера на репетиции. Не сможет проводить.

— Ничего, мы вчера попрощались.

— А мама сказала, что проводит, — сообщил Роська. — Она сегодня рано с работы придет... Ой, вот она идет! Мама!.. — Он подскочил и помчался навстречу смеющейся Любе. — Мы здесь, мама!

... — Мама! — закричал я и кинулся навстречу, когда она вернулась из больницы.

Была середина февраля, на мамином пальто таяли капельки снега.

— Мамочка... — Я прижался к холодному сукну, от которого пахло вьюжной улицей.

Мама смеялась и тоже прижимала меня и тут же отодвигала, чтобы не простудился.

Потом она размотала платок. Голова у нее была маленькая, стриженная, и я чуть не заплакал от резкой жалости. Но не заплакал. Потому что мама была веселая. Она сказала:

— Видишь, ты тогда сказал, что я обязательно поправ-

лось, я и поправилась. А врач действительно чепуху наговорил.

И я понял, что спас маму своим неверием в беспощадный приговор того сытого, спокойного врача. Спас уверенностью, что мама в этом мире должна быть всегда...

Потом пришел март — праздничная ранняя весна, звонкая, как миллионы стеклянных бусин. Той весной я впервые построил парусный кораблик. Вырезал из сосновой коры. Это стало моим любимым делом. И тогда, и через год, и через два я выпускал на синие разливы луж свои бриги и фрегаты с парусами из тетрадных листов. Мама тоже любила мою игру, только всегда боялась, что я вымокну и простыну.

Через много лет, ранней весной восемьдесят первого года, я написал об этом времени рассказ «Остров Привидения» и подарил его маме к Восьмому марта. Она обрадовалась. Читала, смеялась, потом заботливо спрятала папку с рассказом в тумбочку с самым ценным ей имуществом — дневниками и письмами. И спросила:

— А как дела с нынешними корабликами?

Она знала, что в отряде «Каравелла» мы должны строить новые яхты. Я сказал, что восемь парусников типа «Штурман» решили заложить осенью, а зимой уже начнем сборку.

Пришла зима.

В декабре мы начали собирать на стапеле первого «Штурмана». Дело не клеилось. Дерево килевого бруса оказалось плохим, рыхлым, упругая фанера днища вырывала из него шурупы. Был вечер, занятия по расписанию давно закончились, но мы с мальчишками все торчали у стапеля. Ругали строительные отходы, из которых приходится собирать свои корабли, и сокрушенно думали: как крепить обшивку?

...И вдруг все стало не важно. Не нужно.

В начале того дня мамин звонок застал меня уже на пороге.

— Ну, как там ваша стройка? — спросила она.

— Сегодня начинаем... Мам; я спешу. Вечером приеду и расскажу подробно!..

«Не расскажу, — отчетливо понял я вечером, когда узнал, что маму увезли на «Скорой» и она лежит в палате интенсивной терапии. — Поздно».

Я был слишком взрослый. Слишком хорошо понимал, что чудес не бывает. Второй инфаркт, да еще, как сказали, «обширный», при мамином-то здоровье, при ее годах...

Мне бы то детское, отчаянное неприятие смерти, ту юрстную уверенность, что с мамой никогда ничего не случится. Как в сорок пятом году... Может, и сейчас бы эта вера помогла?

Я понимаю, что с законами природы ничего не поделаешь, но ощущение вины не проходит до сих пор.

Мама всю жизнь работала с ребятами. До войны была воспитательницей и заведующей в детском саду. В тяжелые военные годы главной ее заботой стали эвакуированные семьи и дети фронтовиков. Потом она руководила тимуровскими отрядами и ребячьими клубами в Тюмени. А когда приехала в Свердловск, квартира ее стала вторым штабом нашей «Каравеллы».

Мама сочиняла с мальчишками пьесы для наших праздников, гладила измятые галстуки, зашивала продранные в лесу рубашки, помогала выпускать стенгазеты, кормила проголодавшихся, мазала йодом ссадины и порой укрывала от праведного командирского гнева провинившихся.

В горький час прощания три знамени склонились над мамой — избитые походными и штормовыми ветрами флаги ребячьей флотилии. Ветераны «Каравеллы» — теперь уже семейные люди — надели прежние значки и нашивки и по очереди вставляли в караул...

Приехал дядя Боря. Старый, печальный и спокойный. Он плохо слышал и обычно разговаривал очень громко, но сейчас, вспоминая про маму, как они росли вместе, как играли, говорил тихо. Будто сам себе...

...Через год холмик облицевали по краям плитками и поставили камень-гранит. Женя Пинаев сделал на ватмане рисунок, а мастер перенес штрихи на камень. На граните — сидят женщины. Она держит на ладони маленькую каравеллу. Склонилась над корабликом, прежде чем отпустить его в плавание.

Плыви, кораблик...

- Папа, ты чего? — Лешка бухнулся рядом на диван.
 — Ничего... Не трогай больше кота, замучил.
 — Он сам лезет.

Женя торжественно трахнул по клавише последний раз, выпрямил согбенную спину и выдернул из машинки лист. Бодро, хотя и не совсем к месту, загудел марш Мендельсона. Исполнив эту свадебную музыку, он повернулся ко мне:

- Что ты там насчет Севастополя?
 — Это я так... Все равно раньше осени не выбраться: у меня паруса, у тебя выставка.
 — Да... а хорошо бы... — Он, как и я, посмотрел на сухую ветку акации.

— Женя, а помнишь, как проводница рычала, когда мы этот сук втащили в вагон? «Вы бы еще целое дерево». Я говорю: «Отломим половину», а ты: «Зря, что ли, братцы Вихревы старались?»

- Помню... Только не братцы старались, а один Алька. Роськи не было, он потом с матерью на вокзал пришел.
 — Да нет, ты забыл, оба они...
 — Это ты забыл.

Но я же помню, как Роська стоит рядом с Алькой и вдруг отпускает ветку и мчится по Шестой Бастионной навстречу матери:

— Ма-ма-а!

...А может быть, это я бегу по улице Герцена, влажной и свежей после недавней грозы? Мама вернулась из пионерского лагеря для детей фронтовиков, где работала целых две смены. Она спешит мне навстречу. У нее в руках охапка мокрых васильков и ромашек. Я с разбега утыкаюсь в них лицом...

**САНДАЛИК,
ИЛИ ПУТЬ К ДЕВЯТОМУ БАСТИОНУ**

Повесть

Знакомство

От стен Херсонеса до проспекта Гагарина, где ходят троллейбусы, можно идти по улицам. А можно и напрямик дворами, площадками, на которых сохнет белье, сквериками и маленькими пустырями.

Я старался выбрать путь покороче. В городе меня ждали друзья: капитан яхты «Фиолент» Олег Вихрев и его сыновья — Алька и Роська. Был четвертый час. Воздух над подсыхающими травами тихонько звенел и струился от густого тепла: стоял конец сентября, но солнце палило по-летнему.

Где-то в квартале от кинотеатра «Мир» тропинка вывела меня на площадку, заросшую высокой травой. На ее пыльных стеблях висели высохшие улитки. В траве лежали серо-желтые глыбы песчаника, изрытого круглыми впадинами. На ближайшем камне сидел, согнувшись, мальчишка.

Уперся локтями в коленки, охватил пальцами виски и не двигался. Только выгоревшие добела волосы шевелились в струйках теплого воздуха.

Неподалеку валялся полуоткрытый ранец.

Сперва я на мальчишку глянул мельком. Мальчик как мальчик. Светло-голубая рубашка с короткими мятыми рукавчиками, старенькие шорты цвета пыльной плащ-палатки, потрескавшиеся сандаетки на босу ногу. Обыкновенный четвероклассник из ближней школы. Обыкновеннее некуда... Только вот поза невеселая (я чуть сбил шаг). Но и здесь, видно, дело обычное. Скорее всего, двойку схлопотал и не решается идти домой. (История хотя и грустная, но старая, как весь белый свет.) Чем тут поможешь?.. Я все же еще раз оглянулся на ходу. В этот миг из-под мальчишкиной руки упала капля-искорка. Чиркнула по колену и побежала вниз, оставляя на коричневой ноге темную полоску.

В десять или одиннадцать лет люди из-за двойки не плачут. То есть так открыто не плачут, на виду у прохожих.

«Но прохожих здесь и нет, — попытался успокоить я себя. — Я один тут иду, да и то случайно...»

«Ну иди, иди... случайный прохожий», — сказал ехидный собеседник, который сидит внутри каждого из нас. Я тихо чертыхнулся, медленно подошел и сел на другом краю камня.

Конечно, мальчик меня заметил. Ни движением, ни взглядом он этого не показал, только весь как-то напрягся. Я молчал.

Самое глупое в таких случаях спрашивать: «Что случилось?» В ответ будет или досадливое дерганье плечом, или сердитое сопенье. А на второй и третий вопрос короткое бормотанье: «Ничего...» Если даже мама или отец спрашивают, и

то... А если незнакомый дядька, которого черт принес не вовремя!

Мы посидели с минуту. Потом я сказал негромко:

— Ну?

Он чуть всхлипнул и (вот удача!) тихонько отозвался:

— Чего?

Я проговорил осторожно:

— Вот и я думаю — чего? Так просто люди не роняют слезы среди бела дня.

Он шевельнулся, но голову не поднял. Проговорил полупшепотом:

— Вам-то что...

Тут не было ни грубости, ни желания огрызнуться. Просто горькая досада: какой, мол, прок от ваших вопросов?

Я придвинулся к нему на два сантиметра.

— Как «что»? Просто увидел, когда мимо шел...

— Ну и шли бы... — опять всхлипнул он.

— Интересно ты рассуждаешь. У одного человека слезы, а другой, значит, топай мимо, как на прогулке...

Мальчик всхлипнул сердито и решительно. Нагнулся еще ниже, дернул к себе ранец. Потом быстро промокнул глаза растрепанным концом галстука. И тогда хмуро ответил:

— Ну и что? Ну и топают сколько угодно.

— Дело хозяйское. А я вот не могу, характер такой дурацкий, — с досадой сказал я (было ясно, что в клуб опоздаю).

Он сел прямо и наконец посмотрел на меня.

Галстук не помог, глаза все равно были мокрые. В них я не заметил ни капли неловкости за слезы. Эти серые мальчишкины глаза неприступно шетинились белыми ресницами, на которых блестели крошечные брызги.

Нет, не получилось разговора, не сумел я. Что-то не так сказал... Мальчик поднял ранец, застегнул, стал просовывать под ремешки руки. На меня опять не смотрел.

— Не уходи, — попросил я. — Может, я смогу тебе помочь.

Он равнодушно качнул головой:

— Никто не поможет.

— А все-таки, — сказал я с осторожной настойчивостью. — Сперва кажется, что никто, а потом находится выход... Ты ведь не знаешь, что я могу.

Мальчик опять взглянул мне в лицо. Мигнул. Чуть свел маленькие выгоревшие брови. Как-то иначе он сейчас глядел. Помягче. Даже чутьчку улыбнулся.

— Время-то вернуть все равно не можете.

«Время вернуть не могу», — подумал я. Но не признался в этом и спросил:

— А зачем?

Он как-то еще больше обмяк, бросил опять ранец и сказал с грустной доверчивостью:

— Потому что вот так получилось... Все пошли на экскурсию на крейсер, а меня — домой... Теперь все равно ничего не поделать, потому что давно ушли.

Вот оно что... Как же мальчишке хотелось на корабль, если дело дошло до слез!

Я мысленно прокрутил в голове список всех знакомых, которые имеют отношение к флоту. И тех, у кого родственники и знакомые имеют отношение.

— С этой экскурсией и впрямь дело безнадежное. Но я могу договориться! Чтобы тоже на крейсер или на какой-нибудь эсминец. Или хочешь на яхту? Большая яхта — это целый парусный корабль! И прокатиться сможешь!

Глаза у него быстро высохали. Но ответил он серьезно и грустно:

— Да нет... Не в этом же дело.

— А в чем? Обидно, да?

Он ничего не сказал, только бровями шевельнул: и обидно, мол, и еще есть причины, сразу не объяснишь. Потом улыбнулся:

— А я вас помню.

— Да ну? — обрадовался я. Но не удивился. Мне приходилось встречаться с ребятами в десятках здешних школ.

— Вы в нашем классе выступали. В прошлом году.

— А в какой школе?

— Да не в школе. Мы в библиотеку приходили.

В Центральной детской библиотеке я встречался со школьниками множество раз. И чаще всего с третьеклассниками. Почему-то именно этот народ любили водить туда учительницы и воспитательницы с проделки.

— Вы нам сказку про ржавых ведьм рассказывали... — напомнил мальчик.

— А-а! — сказал я. Про ведьм я рассказывал неоднократно. Но чтобы поддержать разговор, я «вспомнил»: — Ты, кажется, тогда еще вопрос задал: «Скоро ли эту сказку напечатают?»

— Нет... — Мальчик улыбнулся чуть снисходительно. — Я вопросов не задавал, я позади всех сидел... Да вы меня все равно не вспомните, нас вон сколько было. А меня даже на карточке нет.

— На какой карточке?

— Ну, мы тогда фотографировались вашим аппаратом, помните? Вы потом Тамаре Ивановне карточки для всего класса прислали.

Я вспомнил наконец! Вспомнил молодую и веселую Тамару Ивановну, ее шумный класс, толстую девочку Лену, которая сочиняет стихи, белобрых близнецов Женьку и Федю, высокого тоненького Кирилла, который читал свой смешной рассказ про непослушную кошку... Но всех разве упомянешь!

— А почему тебя нет на карточке?

— Да так... Я не люблю сниматься, всегда какой-то смешной получаюсь... Наши ребята на заборе расселись, я за акацию задвинулся. Только ноги получились, которые из-за веток свесились.

— Ну вот, посмотрю на снимок и буду теперь знать — это ты сидишь за акацией, твои башмаки торчат.

— Ага... У меня один сандаля расстегнулся и еле на ноге висел...

Мне что-то смутно вспомнилось... Стоп...

— Слушай-ка, а на других снимках тебя нет? Мы ведь тогда много щелкали.

— На одном есть, только вдалеке. Там, впереди, Ленка Ловицкая стоит, у которой стихи, помните? И еще девчонки. А я сзади, на турнике вниз головой. А Тамара Ивановна меня поймать хочет...

— Да! — сказал я. — Она боится и кричит: «Ну-ка, слазь! Шею свернешь, Сандалик!..» Это ты Сандалик?

Он шмыгнул носом, неловко заулыбался и кивнул.

Сейчас я уже хорошо помнил тот веселый час в просторном дворе библиотеки. Озорной стук подошв, смех, боевые кличи мальчишек, визг девчонок. И оклики наперебой: «Саньчик, Сандалик! Светку держи, она мою брызгалку стащила!.. Сандалик, иди к нам!.. Сандалик, тебя Тамара Ивановна зовет!»

Теперь мы были, можно сказать, давние знакомые.

— Сядем, Сандалик.

Он послушно сел рядом со мной на камень.

— Веселое у тебя прозвище. Ребята придумали?

Сандалик улыбнулся, кивнул. Но тут же насупился, сорвал сухой стебель, стегнул им по камню, сказал неохотно:

— Только это еще давно, в старой школе. А сейчас мы переехали, тут недалеко. И школа другая...

И сразу стало понятно, что не в радость Сандалику этот переезд и новая школа. И что хотя он отвлекся разговором, но обиду свою и слезы свои помнит.

Я спросил поспешно:

— Ну а как все-таки насчет яхты? Устроить?

— На яхту я и так могу. Меня папины знакомые обещали взять...

— Ну, тогда на крейсер. Я попробую договориться.

— Да не в этом же дело, — повторил Сандалик недавние слова. И добавил сумрачно: — А вы даже и не спросили.

— О чем?

— Ну... может, мне так и надо. Что не взяли на экскурсию...

— Нет, — сказал я, — что-то не верится. — И добавил осторожно: — Мне кажется, если бы все было справедливо, ты бы не плакал.

Сандалик подумал и вздохнул:

— Не знаю...

— А за что не взяли-то?

— Да... — начал он. Замолчал, дотянулся до ранца, выдернул из него и раскрыл дневник. Там было размашисто начертано:

«Накануне устроил безобразную драку, пытался избить товарища. Поведение 2».

Тихо свистнул я и отдал дневник. Отодвинулся, глянул на Сандалика со стороны. При коротком и непрочном знаком-

стве можно ошибиться в человеке, но я был уверен, что не ошибаюсь:

— Ты же никогда не лезешь первый. Как тебя довели до драки?

Сандалик затолкал дневник в ранец и устало объяснил:

— Да не было драки. Я его только пнуть хотел, да и то не дали... Ну, сил уже нет. Пристают, пристаёт...

Я не спросил, кто пристаёт, не это сейчас было главное.

— А с чего началось-то?

Сандалик нерешительно облизал губы, опять насупился:

— Может, я правда сам виноват...

— Не знаю. В чем виноват?

— Наверно, не надо было говорить, что Стрелецк — неправильное название. Получилось, что приехал откуда-то и сразу указываю... А я же просто объяснить хотел.

— Ты сначала мне объясни. При чем тут Стрелецк?

— Это весь здешний район так называется, потому что Стрелецкая бухта рядом.

— Я знаю. А почему неправильно?

— Потому что бухты перепутаны, — хмуро сказал Сандалик. — Я же не виноват... Раньше Стрелецкая бухта была Кача, а та наоборот...

— Стоп, стоп, стоп! А откуда ты это взял?

— С карты... Вот. — Он снова полез в свой потрепанный ранец. И на этот раз вытащил сложенный бумажный лист — желтый и сухо шелестящий. Развернул на камне.

— Ясно, — сказал я со смесью досады и удивления. — Будь она неладна...

Это была карта Гераклеийского полуострова времен Первой обороны — с Севастополем, с окрестными бухтами, с горами и балками. С русскими укреплениями, с французскими и английскими батареями и траншеями. С витиеватой надписью в верхнем углу: «Плань окрестностей городовъ Севастополя, Камыша и Балаклавъ въ 1854 и 55 годахъ. Составиль Кор. Воен. Топ. Штабсь-Капитань Мотковъ 2-й».

— Ясно, — опять сказал я. — «Севастопольский сборник», второй том... Оттуда выдрал?

— Она еле держалась... У вас тоже есть такая, да?

— Есть... А у тебя откуда «Сборник»?

— Ой, да еще от бабушки. То есть от прабабушки и прадедушки. Прадедушка много книг собирал про Севастополь.

— Моряк был?

Сандалик кивнул:

— Папа говорит, он был на миноносце командиром. Ну не самым главным, а каким-то помощником... А потом он курсантов учил. Только папа его не помнит, он еще до войны умер.

— Как же книги-то уцелели в войну? Тут такое было...

— Да, я знаю, — серьезно сказал Сандалик. — Одни развалины остались. Но книжки некоторые в погребке лежали, их бабушка туда вместе со всякими вещами спрятала... А дом разбомбили.

— И бабушка погибла? — нерешительно спросил я.

— Нет, ей повезло. Она тогда не дома была, а под старым мостом пряталась. Знаете, такой старинный мост от водопровода, на Аполлоновке?

— Знаю, конечно.

— Она вместе с папой пряталась, он тогда совсем годовалый был, у нее на руках. А потом их на эсминце в Новороссийск вывезли. Только папа этого не помнит, конечно.

Мы разговаривали, придерживая пальцами развернутую карту. И я чувствовал, что Сандалику хочется скорее сказать о главном: о путанице с бухтами и своей обиде. Но мне было все интересно, что он рассказывает. Это во-первых. А во-вторых, не хотелось его огорчать раньше времени.

— Значит, раскопали потом погреб? — спросил я.

— Раскопали... Бабушка вернулась, когда немцев прогнали. Дом был весь разбитый, а заваленный погреб — целый. Потому что он старинный был, каменный. В нем еще в ту войну, при Нахимове, от бомбежки прятались. Ну, то есть не от бомбежки, а от ядер...

— Дом на Корабелке стоял?

— Да, вот здесь. — Сандалик обрывком травяного стебля ткнул в карту. В сантиметре от голубого завитка Корабельной бухты темнела чернильная звездочка.

— Отметил? — улыбнулся я.

— Да. Там сейчас новые дома, но мне это место папа показывал. А ему бабушка... Она еще долго жила, наша бабушка,

даже я ее помню. А дедушка погиб в первые дни войны, ушел — и больше ничего не известно.

— Весь ты до десятого колена здешний, севастопольский, — проговорил я чуть ли не с завистью.

— Конечно, — просто сказал Сандалик. Видно, он был уверен, что иначе и быть не могло. Он нетерпеливо, но вежливо помолчал: нет ли у меня еще вопросов? И опять ткнул стельком в карту:

— Видите, эта бухта сейчас Стрелецкая. А здесь написано — Казачья.

— Вижу... — вздохнул я. — И на других планах видел. Только знаешь, Сандалик, наверно, это все-таки путаница.

— Почему? — Он глянул недоверчиво и требовательно.

— Ну, кто ее знает почему... Слушай, пойдем куда-нибудь в тень, а? Я сейчас расплавлюсь.

Сандалик посмотрел удивленно. Ему, до костей прожаренному черноморским солнцем, жара ничуть не досадила. Но тут же он согласился:

— Пойдемте... Ой, а вы куда не торопитесь?

— Уже не тороплюсь, — сокрушенно сказал я. И подумал, что капитан Вихрев и Алька меня, пожалуй, поймут, но Юрос будет долго дуться и непримиримо сверкать очами.

Мы сели на скамейку в тени двухэтажного дома, недалеко от песочницы с неутомимыми малышами. Сандалик расстелил карту на коленях. И опять спросил нетерпеливо:

— А почему путаница?

— Трудно сказать. Я сам столкнулся с этим случайно, когда писал один рассказ... Может быть, это пошло от генерала Тотлебена. Слышал про него? Он в Первой обороне командовал инженерными работами.

— Ну да, я знаю! Ему памятник на Историческом бульваре.

— Да. У него про Оборону большущий труд, толстенные книги... Кстати, у вас такие не сохранились от прадедушки?

Сандалик помотал головой:

— У нас мало осталось...

— Ну ладно... Так вот, в самом начале Тотлебен перечисляет бухты в том же порядке, что здесь.

— Вот, значит, и правильно! — обрадовался Сандалик. — Раньше же лучше знали! А потом перепутали...

Я подумал: для меня это случайный разговор, а у Сандалика из-за давней неточности названий всякие неприятности и обиды. Я сказал осторожно, боясь обидеть его еще больше:

— Видишь ли, у того же Тотлебена потом написано... Я не помню точно, а смысл такой: когда французы и англичане еще делали первые разведки, их четыре корабля встали у Стрелецкой бухты и вели огонь бомбами по Александровской батарее... Вот по этой, там сейчас яхт-клуб. Ну и по этим тоже — по Восьмой, по Десятой. Наши им отвечали и заставили отойти. На Десятой ранило двух человек и разбило один лафет. Это были тогда первые потери в Севастополе...

Сандалик смотрел непонимающими глазами: ну и что, мол, из этого?

— Ты взгляни, — я ногтем провел по карте. — Если эта дальняя от города бухта и в самом деле не Казачья, а Стрелецкая, значит, корабли должны были стоять где-то здесь. Расстояние до батарей километров двенадцать. А таких орудий, чтобы на эту дальность били, тогда и в помине не было. Самое большое — версты на три. Гладкоствольные же... Значит, корабли были все же вот здесь. Значит, вот эта бухта не Казачья, а Стрелецкая. Как сейчас...

Сандалик с минуту смотрел на карту, потом опять поднял на меня глаза: и недоверчивые, и в то же время виноватые. Мне стало неловко, будто это я причина всех его горестей.

— Кто-то в прошлом веке напутал, а при чем здесь ты?

— Им ведь это не объяснишь, — тихо сказал Сандалик. — Они и не слушают... Хохочут только да дразнятся.

— Кто?

— Ну... в классе.

«Пойдем в ваш класс, — чуть не сказал я. — Там я объясню вашим ребятам, в чем дело». Но тут же с досадой вспомнил, что сегодня суббота, а послезавтра я уезжаю.

Не зная, чем помочь Сандалику, я сказал:

— Ты все же, это... ты не унывай, держись. Ты все равно больше прав, чем они. Потому что ты хочешь разобраться, а им, видимо, все равно... Не ты же составлял карту, а штабс-капитан Мотков-второй... Ох и грамотей этот Второй! Смотри, даже название перевернул: написано не Стрелецкая, а *Стрелецкая*.

Сандалик пригляделся к мелким буквам и улыбнулся:

— Ой, верно...

Я сказал строго (чтобы побольше вины свалить на незадачливого штабс-капитана из корпуса военных топографов):

— К тому же по старым правилам здесь должна быть не буква «е», а буква «ять». Знаешь такую?

— Конечно. Я же «Севастопольский сборник» весь прочитал. И еще старую книжку про Синопский бой. Там тоже везде эти «яти» и твердые знаки... Из-за них мне и про драку написали...

Я ничего не понимал. Сандалик свернул карту и печально объяснил:

— Из-за памятника... Вы на Малаховом новый памятник Корнилову видели? Его недавно сделали вместо разрушенного.

— Знаю. Не видел еще, завтра собирался...

— Вы посмотрите внимательно, там сзади надпись есть. Про те битвы, где Корнилов сражался, и корабли, которыми командовал. Надпись такую надо ведь или всю по-старинному делать, как раньше писали, или всю по-нашему, верно? Нельзя же половину так, а половину так?

— А там?

— А там по-всякому. Например, слово «тендер» с твердым знаком на конце, а слово «бриг» — без. Название «Фемистокл» — с твердым, а «Двенадцать Апостолов» — опять без. Ну и еще... Я про это сказал, а они опять: «Ха-ха-ха, профессор...» — Глаза Сандалика снова намокли и ошетились ресницами. Он крепко хлопнул сложенной картой по скамейке. Вздрогнула и бросилась прочь серая кошка, которая нежилась на солнышке неподалеку.

— Слушай, а ты ничего не путаешь? Может, неправильно прочитал?

— Не путаю. Сами увидите... Они, наверно, думают, что я выхвалиться хочу. А я просто хочу, чтобы правильно... Обидно же за Корнилова.

— Нелегко тебе, — вздохнул я и подумал опять: «Чем же ему помочь?» А Сандалик глянул на меня сбоку и спросил совсем про другое:

— А тот рассказ уже напечатали?

— Какой?

— Вы же сказали, что рассказ сочинили, тоже про эти бухты.

— А! Нет, я его так и не закончил... Я хотел о фрегате «Везул» написать. Он погиб в начале прошлого века, еще задолго до Оборона. Во время шторма. Выбросило его на берег в Казачьей бухте, вот я и разбирался, где Казачья, а где Стрелецкая...

— А почему не написали?

— Трудно сказать... Наверно, потому, что не люблю печальных концов. Там люди погибли. Среди них один мальчик, юнга...

Сандалик посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Жалко.

— Да... В общем, не получилось у меня.

— А вы про этот фрегат где узнали? Тоже из какой-то старинной книжки?

— Тоже... Есть такая, с описанием всех крушений в русском флоте. От петровских времен до Крымской войны.

— Всех-всех?

— Да. Много там всяких историй...

Сандалик придвинулся ко мне и сел поудобнее, словно решил, что эти истории я стану ему пересказывать. Потом произнес полувопросительно:

— Интересно, наверно...

— Конечно. Хотя и грустного много.

Сандалик понимающе кивнул, затолкал карту в ранец, но не встал. Ему явно не хотелось домой. Он подтянул на скамейку ногу, уперся в колено подбородком, посидел так, глядя куда-то вдаль. Потом сказал:

— В позапрошлом году у волнолома буксир штормом разбило, тоже люди погибли. Слышали?

— Да, я знаю...

— Так обидно, — тихо проговорил Сандалик. — Совсем недалеко от берега.

— Крушения чаще всего и бывают у берега.

Сандалик задумчиво покивал, каждый раз тыкаясь подбородком в колено. И признался:

— Я тоже не люблю книжки с плохими концами.

— Наверно, никто не любит, — сказал я.

— Наверно... А все-таки интересно, — вздохнул он.

— Что? — не понял я.

— Ну, та книга. Про крушения кораблей.

Мне показалось, я уловил его тайное желание. А может быть, мне не хотелось вот так просто встать и распрощаться с Сандаликом. Я в самом деле не люблю печальных концов, а этот конец был бы вполне печальный. Останется мальчишка со своими обидами. Ничем я его не утешил, ничем не помог, никакой даже маленькой радости ему не сделал. Стоило тогда останавливаться и садиться рядом?

Я сказал, почти не размышляя:

— Хочешь, я дам тебе эту книгу? Только на денек, послезавтра я уезжаю.

Он глянул удивленно. Глянул недоверчиво. Глянул обрадованно.

— А... как? А... она где?

Нам повезло: на проспекте Гагарина я увидел свободное такси, и мы домчались до гостиницы буквально в пять минут. Я оставил Сандалика в машине, взлетел на лифте в свой номер, схватил книгу, вернулся и сказал шоферу:

— Обрато...

Надо было доставить Сандалика домой, а то получится, что похитил ребенка.

Он сидел в уголке кабины смущенный и слегка ошарашенный неожиданностью и быстротой всего, что случилось. Я сказал:

— У тебя сегодня вечер, завтра день и послезавтра почти день. Всю книгу, наверно, не прочитаешь, но кое-что успеешь.

— Ага... — тихонько выдохнул он. — А куда мне ее принести?

— Сможешь прийти прямо на вокзал?

— Конечно, — торопливо сказал он. — Я с первого класса один через весь город езжу.

— Поезд отходит в семь вечера. В полседьмого приходи к вагону номер шесть, я буду ждать.

— Ладно... — И дальше он всю дорогу молчал, только не-

далеко от кинотеатра «Мир» сказал: — Здесь остановите, я тут пешком доберусь, по дворам...

Еще когда я ехал с Сандаликом в гостиницу, во мне зашевелились осторожные взрослые мысли. Книга редкая. Охотился я за ней несколько лет и лишь недавно «изловил» в Москве, в антикварном отделе Дома книги. Что я знаю про мальчишку? Где живет — неясно. В какой школе учится — тоже (их несколько в том районе). Даже фамилию на дневнике не посмотрел. Как найдешь четвероклассника, про которого известно только, что зовут его Саша или Санька и прозвище Сандалик? К тому же это прозвище в новой школе, наверно, и не знают... А расспрашивать Сандалика я не решился. Подумает еще, что я ему не доверяю.

Конечно, ничего плохого о Сандалике я не думал. Но я боюсь разных случайностей. Вдруг не удержится и вытащит книгу на уроке, а тут эта самая учительница, которая наката-ла запись в дневнике! «Дай сюда! Где взял такую книгу? Не отдам, пока не придут родители!» Или потеряет где-нибудь. Или еще что-то...

Но, в конце концов, шут с ней, с книгой. Если мальчишка не придет к поезду, я не о книжке думать буду. Из-за него изведусь, из-за Сандалика. А он может не прийти: мало ли какие причины готов нам подsunуть подлый закон «всемирного невезения»! Сандалик может просто опоздать, может неожиданно заболеть ангиной, может ногу подвернуть. Это еще ладно. А если будет спешить и не там побежит через улицу?..

Он не придет, а я буду маяться в вагоне от неизвестности и всяких мыслей...

Страх за мальчишек, видимо, у меня в крови. Первый раз я ощутил его давно, лет двадцать пять назад, когда повел купаться на озеро ватагу соседской ребятни. Простая мысль, что безопасность каждого гвалтливового и беспокойного пацана из этой компании зависит сейчас только от меня, вызвала колючую дрожь и нехорошую слабость в ногах. Но дрожь дрожью, слабость слабостью, а вскоре ватага превратилась в отряд. Появились походные палатки, фехтовальные клинки, парусная эскадра. И все это, как взрывчатой начинкой, было наполнено риском: походы по лесам и скалам, плавания по штормовым озерам, мушкетерские турниры, киносъемки с

рыцарскими боями и абордажными схватками... И бояться приходилось каждый день. Даже в мелочах. Не пришел кто-то из мальчишек на вахту, и думаешь: не случилось ли что по дороге? Пошли ребята с занятий поздним зимним вечером — опять боишься за них. Ободрал кто-то колено или локоть — снова забота: хорошо ли промыли и забинтовали? Стоят ребята в ночном карауле — и сам спишь вполглаза...

Может быть, это и зря. Может быть, чересчур. Но никуда не денешься, такая тревога становится постоянной, как дыхание. И она уже не только о «своих». Она о любом, с кем ты хоть как-то знаком...

Такие мысли, уже не имеющие прямого отношения к Сандалику, крутились у меня, пока я мчался на такси к яхт-клубу.

Я почти не опоздал. А Юрос явился еще позже меня: он учился во вторую смену и к тому же его заставили переписывать задание по математике. Я его даже слегка подразнил за это.

Мы весь вечер готовили яхту к выходу, а следующий день провели в море. Ветерок был так себе, небольшой, но все же плавание оказалось интересным. Особенно для меня, для человека, который бывает у моря неделю в году. К вечеру около десятка крейсерских яхт оказались недалеко друг от друга, когда шли от Херсонесского маяка в порт. Ветер перешел к норд-весту, сделался покрепче, и парусники, обгоняя друг друга, полетели к гавани мимо всех бухт Гераклеийского полуострова: Казачьей и Камышовой, Круглой и Стрелецкой, Херсонесской и Карантинной... Море было очень синее, небо чистое, на волнах появились гребешки, чайки поворачивались клювами к ветру и останавливались в его потоках. А яхты набирали скорость. Рядом с нами мчался громадный двухмачтовый «Орион». Юрос, прочно расставив тощие ноги, стоял на носу и снисходительно махал «Ориону»...

Во время плавания тревожные мысли о Сандалике у меня рассеялись. На следующий день тоже некогда было беспокоиться, хватало других забот. И волноваться я начал уже на подходе к вокзалу. Опять стал думать: а вдруг не придет?

Конечно, так и получилось: была ровно половина седьмого, а Сандалика на платформе не оказалось. Закон «всемирного невезения» вступал в силу.

Люди шли от троллейбусной остановки на платформу через мост над рельсами. Несколько раз я обрадованно вздрагивал, когда между прутьями перил мелькали коричневые ноги, а над поручнями проносилась голубая рубашка и светлые растрепанные волосы. Но это были просто похожие на Сандалика мальчишки. Много их таких...

До отхода осталось десять минут. Потом восемь.

Семь... Тут я впервые чертыхнулся. Вполголоса, но от души. Иногда это действует на «всемирное невезение» как закливание.

...Сандалик появился не с моста, а откуда-то сзади. С частым топотом и сбитым дыханием. Встал передо мной встрепанный и виноватый, быстро проговорил:

— Здрасте... Извините, пожалуйста. Ой...

— Ох и мчался ты, — сказал я радостно. — Что-нибудь случилось?

— Да... Нет... Я из-за Люськи задержался, это сестра моя. Ух, я ей потом еще скажу...

— Не пускала? — посочувствовал я. А сам все радовался, что он прибежал.

— Я к ней на минутку зашел, — объяснил Сандалик, — она говорит: «Посиди с Тарасиком, я на пять минут в магазин сбегая». Я говорю: «Я опоздаю». А она: «Я мигом, честное слово...» Еще слово дает! Ушла в магазин, а там очередь. А Тараса ведь не бросишь, ему год всего...

— А что это за личность — Тарас?

— Люсин сын...

— Значит, ты дядюшка!

— Да... — Сандалик заулыбался... И снова стал серьезным: — Вот книга. Спасибо.

Сандалик протянул книгу двумя руками. Очевидно, ее возвращение было для него важным событием. Он к нему подготовился специально: потрепанную обложку обернул чистой газетой «Слава Севастополя» и сам выглядел понаряднее — рубашка поглажена, вместо растоптанных сандалет — новые кроссовки. Только вся эта нарядность скособочена и встрепана от спешки.

— Много успел прочитать?

— Почти всю. Только приложение не успел. Да там уже не

так интересно... — Сандалик помолчал и сказал потише: — Жалко того юнгу на «Везуле»...

— Да... — сказал я. И почему-то опять кольнула тревога за Сандалика.

А он отцепил от рубашки серебристый значок и протянул на ладони:

— Возьмите...

Это был значок из серии «Бастионы Севастополя» — «Четвертый бастион». Я взял, мельком пожалев, что не Шестой.

— А у меня и подарить тебе нечего.

— Да ну, дарить еще мне... — смутился он.

— Я тебе свою книжку пришлю. Скажи адрес. — Я вытащил блокнот и ручку.

— Давайте, я сам напишу.

Он принялся писать в блокноте и от усердия водил кончиком языка по пухлым губам. Я слегка нервничал: объявили, что до отхода поезда две минуты. Но сказал спокойно:

— А ты мне письмо пришли, ладно?

— Ладно. Только адрес тоже дайте...

У меня в кармане лежала визитная карточка, но я не решился дать ее Сандалику. Показалось, что она — гляцевая, солидная, «взрослая» такая — отгородит меня от мальчишки. И я торопливо начеркал адрес на листке.

— Не потеряй.

— Нет, что вы... — Он зажал бумажку в кулаке. И вдруг сказал: — А Казачья бухта в самом деле та, за Камышовой. Туда «Везул» и выбросило.

— Да. Зато насчет памятника ты прав.

Сандалик кивнул и потупился. Сказал шепотом:

— Только я не знаю, что делать.

— И я не знаю... В бронзе отлито, не исправишь так просто.

Сандалик свел выгоревшие брови и хотел что-то ответить, но радио громко заиграло «Прощание славянки». Под этот марш поезда уходят из Севастополя...

Мимо вагона проплывали белые дома на берегах бухт, корабли, маяки, портовые краны. Уходил назад Севастополь, и ничем нельзя было заглушить печаль расставания с этим городом.

Я смотрел на берега, на суда, на вечернюю воду, но до сих пор словно видел в то же время перрон и Сандалика. И думал, что вот прибавился еще один к сотням моих знакомых ребят — тем, кто подсказал мне многие повести и рассказы.

Впрочем, в тот момент я еще не знал, что буду писать о Сандалике. Казалось бы, что писать? Зачем? Никаких приключений с ним не случилось. Были огорчения и радости, но такие, как у любого четвероклассника.

Но пришло время, когда подумал: расскажу про обыкновенный год из жизни обыкновенного севастопольского мальчишки. Что получится, то получится. И сел писать. Тем более что теперь я знал про Сандалика гораздо больше, чем при первой встрече.

Сандалик и Одиссей

Про Одиссея знал в этом мире только один человек — Сандалик. То есть Санька.

Речь идет не о знаменитом аргонавте Одиссее, про которого древнегреческие мифы, длинные поэмы, разные книжки и даже кино, а о мальчишке с таким именем. Этот мальчик жил тоже в древние века, но все-таки позже того Одиссея. Вот его и назвали так в честь прославленного путешественника.

Познакомился с ним Санька не сразу. Сначала он просто так приходил на развалины Херсонеса. Неподалеку от новой квартиры, на берегу Песочной бухты, был пляж, и Санька повадился бегать туда каждое утро. А дорога вела мимо каменной стены, за которой лежал заповедник — руины и раскопки старинного города. Как-то от нечего делать Санька и забрел сюда (пятак на билет не было, и он в удобном месте перебрался через стену).

Санька бывал здесь и раньше — с Люсей, с отцом, несколько раз. Было интересно, конечно, только не так уж... Наверно, Саньке тогда по малолетству не хватало еще понимания. Он запомнил только развалины собора и сигнальный колокол над обрывом (в него кинешь камешком — он гудит). А в это летнее утро Санька взглянул на все по-другому. Может быть, потому, что был один и никуда не спешил?

Кругом пахло тайной.

Темнели зарешеченные входы в подземелья. Подымались разрушенные серые башни и стены — такие древние, что страшно вздохнуть. Стояли среди колючих кустов одинокие мраморные колонны. Ступенями уходили в глубину развалины театра. Среди фундаментов от домов пестрела сложенная из морских камешков мозаика...

И пустынно было, тихо, только под обрывами отдаленно вздыхало море да в теплой траве кто-то стрекотал и позванивал.

По камням бегали прыткие ящерики...

Саньке показалось, что под любым камнем здесь можно отыскать старинную монету, ржавый меч или еще какую-нибудь до жути любопытную вещь.

...Ни монет, ни оружия он не нашел, зато набрал черепков от старинных кувшинов и ваз. На черепках можно было разглядеть остатки ободков и узоров, следы отколотых ручек.

Особенно много интересного было на галечном пляже под обрывом, над которым висел колокол. Там, среди омытых морем камней, перемешались все времена. Древние осколки и пивные пробки, какие-то старинные ржавые пуговицы и обкатанные волнами обломки мрамора от колонн, крабьи клешни и кусочки чьих-то костей...

Однажды Санька погнался за юрким крабом, отвалил плоский камень и увидел, что в оранжевом черепке, как в ладошке, лежит черная гильза от старого автомата «ППШ». И сразу вспомнил, какие здесь были бои с фашистами...

А может, это дедушка стрелял здесь, отбиваясь от наседавших врагов? Может, это от его автомата гильза? Санька понимал, что такая вероятность очень маленькая. Но все-таки *может быть*...

Дома Санька завалил береговыми находками подоконник. Мама качала головой, но этот «музей» не трогала. А Санька приходил все с новой добычей: с пестрыми голышами и раковинами-рапанами, с черепками амфор и красными от морской ржавчины осколками снарядов, кусками пробки от спасательных кругов и черными пуговицами, на которых сквозь окалину проступали якоря.

Такое собрание на берегу Санька называл охотой, а себя

морским охотником. Не правда ли, здорово звучит: *морской охотник*...

Но через неделю охота Саньке наскучила. Подоконник был завален в три слоя, а весь берег домой все равно не унесешь. И Санька опять начал бродить среди теплых от солнца развалин. Среди тишины и дремлющих тайн.

Нельзя сказать, что Херсонес был безлюден. Кое-где работали на раскопках полуголые, черные от солнца студенты. Недалеко от берега ныряли у камней, несмотря на всякие запреты, аквалангисты. И туристы бродили — в одиночку и группами. Но люди как-то незаметны были среди руин, среди заросших пригорков и каменных глыб. Никто не мешал Саньке быть одному. И здесь он впервые в жизни понял, что одиночество — это иногда очень неплохо. Можно ходить не спеша, думать о всяких тайнах, о людях, которые жили раньше, живут сейчас и будут жить потом... И вообще о жизни...

Но иногда одиночество надоедало. От него начинало звенеть в ушах и даже страшновато делалось. Тогда Санька «приклеивался» к какой-нибудь экскурсии.

Экскурсанты пестрыми группами ходили по камням, а бодрые тетеньки-экскурсоводы рассказывали, где какие были дома две тысячи лет назад, как в них жили гончары, воины и торговцы, какие кругом стояли храмы и статуи и откуда приходили в Херсонесскую гавань похожие на раскрашенных морских чудовищ корабли — в ту бухту, которая сейчас называется как-то по-больничному: Карантинная.

Иногда экскурсоводы показывали туристам большие разноцветные картинки. И Саньке давали посмотреть. На картинках было очень синее небо, разноцветные паруса в гавани, воины в шлемах с гребешками, рынок с пестрой толпой. В толпе среди взрослых сновали смуглые ребятишки. И однажды Санька увидел мальчика, с которым они были похожи.

По крайней мере, Саньке показалось, что очень похожи. У мальчишки были светлые волосы, коричневые руки и ноги и такие же, как у Саньки, сандалии из ремешков. Ветер трепал на мальчишке просторную белую рубашку или накидку, похожую на короткое платьице; кажется, она называется «туника». Если Санька выдернет из-под ремешка свою рубашку, получится то же самое. И можно будет прыгнуть на две тыся-

чи лет в прошлое, побежать на Херсонесскую площадь и разыскать этого мальчика.

Санька теперь понимал, чего ему не хватает в Херсонесе, — такого вот товарища!

Но нет, просто так в древность не прыгнешь. Нужна была машина времени.

Санька сделал машину за два часа. Он взял сломанный будильник, нарисовал для него новый циферблат, где вместо чисел-часов были написаны тысячелетия, приспособил сюда же лампочку и батарейку, чтобы мигала, — вот и все!

Санька завел пружину, отвел стрелку на две тысячи лет против хода, нажал контакт и отнес механизм в тайник под камнем в непролазных зарослях дрока — для всех, кроме Саньки, непролазных. Потом он распустил по ветру рубашку и, хлопая растоптанными сандалиями по камням, помчался искать в шумном городе Одиссея.

Они сидели на узкой набережной, недалеко от храма со множеством колонн. Сзади шумела людная площадь, но здесь мальчишкам никто не мешал. Санька и Одиссей болтали ногами в теплой воде и разговаривали.

— Ты меня долго искал? — спросил Одиссей.

— Нет, я почти сразу угадал, где твой дом.

— А я тебя тоже сразу узнал.

— Как?

— Не знаю. Будто чувствовал.

— Я один раз все же спросил у каких-то ребят: «Не знаете, где живет Одиссей?» А они давай хохотать: «За золотым рубном уплыл!»

Одиссей улыбнулся:

— Меня так назвали, потому что мой отец тоже моряк.

— Капитан?

— Нет, что ты! Матрос на торговом судне.

— Он далеко плавает?

Одиссей перестал улыбаться и кивнул:

— Далеко... Мама иногда плачет, если долго нет корабля.

— Это я знаю, — вздохнул Санька. — Наша мама тоже беспокоилась, когда папа на промысел уходил... Хотя он и недалеко ходил, к Кавказскому берегу.

— Разве это недалеко? — удивился Одиссей. И спросил: — А твой отец тоже матрос?

— Нет, он третий механик был на рыболовной базе. А сейчас на судоремонтном заводе работает мастером. Потому что база была старая, ее на слом отправили, а папу врачебная комиссия на берегу засадила. У него с сердцем неважно.

— А механик — это кто такой?

— Ну... вроде помощника кормчего.

— Наверно, он тоскует по морю, — серьезно сказал Одиссей.

Санька бултыхнул ногой, отгоняя медузу, и вздохнул:

— Наверно... Только он виду не подает, он веселый. Говорит: хватит болтаться по волнам, теперь буду жить на берегу и вас всех воспитывать. Это меня, Люсю и Тарасика. Тарасик — ее сын маленький, значит, уже папин внук.

— Какая у тебя большая сестра. А у меня сестры и братья все маленькие.

— У меня большая. Она хорошая... И муж у нее хороший, Гришей зовут. Он военно-морское училище закончил, специалист по дизельным установкам.

— А это что такое?

— Ну... это чтобы корабли двигать. У вас паруса и весла на кораблях, а у нас машины.

— А, я знаю про машины! У нас тоже есть. Чтобы камни метать во врагов, когда война. И еще в театре для всяких фокусов... А на кораблях нет. У вас эти машины рабы двигают?

— Да что ты, у нас нет рабов! Горючее двигает. Ну нефть сгорает, а от огня сила такая.

Одиссей сказал с ноткой зависти:

— У нас еще такого не придумали. У нас нефть только для боевого огня, для войны...

— Ну ее, войну... — хмуро отозвался Санька.

Одиссей кивнул:

— Когда играешь — интересно, а если по правде, то плохо... Но если враги нападут, куда денешься? Мы все равно готовимся быть воинами.

— Если нападут — тогда конечно, — согласился Санька.

— На корабль, где плыл отец, один раз пираты напали, — сказал Одиссей. — Отец знаешь как здорово бился! И другие тоже... И потопили пиратов.

— Пускай не лезут, — сказал Санька.

— А один раз на корабле рабов везли на продажу, — намурившись, заговорил Одиссей. — Там хуже было. Рабы восстали, почти всех перебили, а отец прыгнул в море и два дня плавал, за пустой бочонок держался. Потом его дельфин спас.

— Да? Я про такие случаи тоже слышал...

— У нас дельфины многих спасают. Это запросто, — сказал Одиссей.

Но Саньке не давала покоя другая мысль.

— Все-таки это нехорошо — угнетать рабов, — осторожно заметил он.

Одиссей смущенно побулькал ногами и покосился на Саньку.

— Да... а что делать? У вас всякие машины придуманы с огнем, а у нас кто будет работать?

— А свободные люди, что ли, не могут работать?! — возмутился Санька. — У нас тоже никто не бездельничает! Не везде же машины... А твой отец — он ведь тоже работает, хотя и свободный.

— Но мы же бедные... У нас только два раба — одна старая женщина, она помогает маме с малышами возиться, да еще привратник. Он просто так называется «привратник», а вообще-то он за всем хозяйством смотрит... Да это только считается, что рабы, а на самом деле... ну будто свои. Они с нами всю жизнь живут, никто их не обижает. Наоборот... Никому бы и в голову не пришло, что их продать можно... А вот у богатей — там другое дело. И продают, и новых покупают, и убить даже могут.

— Свинство какое! — сказал Санька. — А вот если бы ты родился не свободным, а рабом, хорошо тебе было бы?

— Ой... — Одиссей передернул плечами от такой жуткой мысли.

— Вот видишь! По-моему, ты должен бороться с рабством...

— Ну... я попробую, — проговорил Одиссей. — Только сейчас-то меня никто не послушает. Надо сперва выучиться, присягу дать на площади, тогда человек уже взрослым считается. Тогда можно выступить и требовать...

— У нас так же, — признался Санька. — Маленьких не слушают... А в вашей школе трудно учиться?

— Еще бы! У наставника палка вот такая... — Одиссей развел ладони. — А толщиной как палец у взрослого дядьки.

Санька зябко пошевелил лопатками и торопливо сказал:

— Нет, у нас без палок. У нас учительница вообще очень хорошая, даже ругает редко... Только я у нее уже не буду теперь, она младших учит, а я третий класс кончил... И вообще я теперь в другую школу пойду. Потому что мы переехали.

— Купили новую усадьбу?

— Да при чем тут усадьба. Папа здесь недалеко квартиру получил двухкомнатную. А старую горсовет оставил Люсе, Грише и Тарасику. А то знаешь как маялись вшестером-то... Одиссей покивал, житейские заботы ему были знакомы.

— Пойдем, Александр, покажу в бухте отцовский корабль.

Они пошли по набережной, оставляя на камнях мокрые следы босых ног. Санька похлопал по колену снятой сандалией и попросил:

— Ты не называй меня Александром...

— Почему? — удивился Одиссей. — Очень хорошее имя. Означает «благородный».

— Я знаю. Но у нас так мальчиков не зовут, пока не выросли. Лучше — Санька.

— Сань-ка, — задумчиво повторил Одиссей. — Тоже неплохо... А у тебя есть какое-нибудь героическое прозвище? У наших мальчиков — у каждого. У меня — Аргонавт.

— У меня тоже есть. Только не героическое, — признался Санька. — Просто... Сандалик.

— А почему такое? Ты быстрый бегун?

— Вообще-то да, я быстрый...

После детского сада Шурик Дальченко решил, что пора кончать с младенчеством. Имя ему ужасно не нравилось: оно годилось только для дошколят. И с первого школьного дня он решил стать Санькой.

Когда Тамара Ивановна знакоилась со всеми по очереди, он встал за партией и быстро сказал:

— Саня Дальченко.

Тамара Ивановна переспросила:

— Как? Сандальченко?

— Дальченко Александр, — с досадой повторил Шурик, и почему-то все засмеялись. Пришлось Тамаре Ивановне успокаивать класс и объяснить про дисциплину.

А на перемене курчавый боевой мальчишка — Митя Данков — подскочил и крикнул:

— Сандальчик, пошли играть в брызгалки!

Шурик хотел рассердиться, но Митя смотрел очень уж весело. И к тому же он сказал:

— У тебя есть брызгалка? Тогда бери эту, у меня две! — И дал прекрасный водяной пистолет из мягкого баллончика.

Как тут было обижаться?

С того дня и пошло:

— Сандальченко, дай резинку!

— Сандальчик, пошли каштаны трясти!

— Тамара Ивановна, а Сандалик ревет, он коленку ободрал!

— Обожди, Сандаля, я скажу Тамаре Ивановне, что вы с Митькой девочек жуком пугали!

Через две недели в школе был кросс. Для всех — с первого по десятый класс. И Санька так припустил по аллее, что даже многих пятиклассников обогнал. И Тамара Ивановна при всех сказала:

— Вот какой у нас замечательный быстроногий Сандалик.

И с того дня он стал Сандаликом окончательно. Не геройское прозвище, но и не плохое. Ничуть не обидное.

В садике Шурика иногда дразнили девчонки: «Шу-уричек, он у нас хоро-оший...» Иногда, дурачась, гладили по головке, а иногда и шипали. Бывало, что до слез доходило, потому что наподдаст он какой-нибудь самой вредной (когда уж очень доведут) — и получается, что сам виноват. А в школе все пошло хорошо. За быстроту Сандалика уважали, слишком задиристых девчонок в классе не оказалось, и мальчишки тоже были хорошие. Случалось за три года, конечно, всякое: и слезы бывали, и подраться пару раз пришлось, но это были мелочи. А в общем-то жизнь катилась без особых огорчений. Славная такая жизнь — с веселыми приятелями, не очень трудными уроками и разными интересными делами. Санька полюбил свою школу, хотя не был ни отличником, ни активистом.

...А сейчас он думал: как будет в другой школе? Но он не очень тревожился. Школы, наверно, все похожие, а с новым классом он как-нибудь познакомится. Санька теперь не детсадовский Шурик.

«Профессор»

Долго не знали, в какую из ближних школ записать Саньку. В одной из них маме сказали, что здесь обязательная продленка, и Санька уперся. В другой обещали четвероклассников учить французскому языку, а будущему моряку нужен английский. И только в конце августа определили четвероклассника Дальченко в школу, что стояла как раз на полпути между новым Санькиным домом и Херсонесом.

Эту школу Санька отметил на старой карте, которую вытаскивал из «Севастопольского сборника» — старинной книжки с воспоминаниями участников Первой обороны.

Карта нравилась Саньке, он на ней отмечал все места, которые были для него важными: и Херсонес, и старый бабушкин дом, и прежнюю школу, и новый дом, где получили квартиру... Конечно, план города был старый, но все равно многое можно было узнать. А новые улицы и районы Санька дорисовывал. Это было нетрудно, потому что береговая линия хорошо узнавалась на карте, — она-то неизменная во все времена.

Только неясность с названиями бухт смущала Саньку. Карту Санька нашел весной, но обнаружил путаницу только в августе. До переезда в Стрелецк на имена дальних бухт он как-то не обращал внимания. А обратил — и озадаченно заморгал...

Гриша был на учениях. Санька сунулся к отцу, но тот лишь удивленно пожал плечами: «Чушь какая-то, опечатка, наверно». В цехе у него горел план, дома хватало забот с новой квартирой. И у мамы хватало. А у Люси тем более: и восьмимесячный Тарас на руках, и пятый курс института...

Санька не верил, что на карте опечатка, но и не очень волновался. Ему даже нравилось, что он один знает о такой географической ошибке. Придет время — он этим открытием кого-нибудь удивит. А пока подросли школьные дела, первое сентября...

Школа была как школа. Трехэтажная, похожая на ту, где Санька учился прежде. Только перед старой школой росли в несколько рядов большие каштаны, а эта стояла на голом каменистом дворе. Двор окружала бетонная решетчатая ограда. Она доверху заросла дроком, в котором атели бусины-ягоды...

Во дворе стоял, конечно, шум, смех, гвалт. Санька пошел разыскивать, где тут четвертый «А».

Не хотел Санька выглядеть новичком, поэтому старался держаться решительно. И ничего нового на нем не было, а были штаны и рубашка, в которых весной бегал в третий класс. Даже галстук надел он старенький — тот, что передала «по наследству» Люся, когда брата приняли в пионеры. Она в этом галстуке в «Орленок» ездила. На Саньку не обратили особого внимания. Высокая толстошекая девочка подвела его к учительнице и равнодушным, сипловатым голосом сообщила:

— Вот еще один новичок.

Новичков было двое. Вторым оказался Димка Турчаков — тоненький, темноволосый и очень ловкий с виду мальчишка повыше Саньки. Турчаков был в серой рубашечке с «молниями» и накладными кармашками, в желтых вельветовых брюках с иностранной кожаной нашивкой на зад. Учительница Александра Самойловна покосилась на него: всем велено было приходиться в школьной или пионерской форме. Но ничего не сказала. Наверно, потому, что у Турчакова было лицо прирожденного отличника — хоть сейчас на Доску почета.

Впрочем, держался Турчаков так самостоятельно, что даже чересчур. В классе он сел на парту у окна и сообщил:

— Вот что, парни, я сижу здесь. Кто хочет со мной — пожалуйста. Особ женского рода прошу место не занимать.

Девчонки возмущенно зафыркали, мальчишки заулыбались, и почему-то никто не заспорил. На парту к Турчакову сунулся было толстый Витька Боченин по прозвищу Боцман, но Александра Самойловна посадила туда Саньку.

— Так мне будет удобнее наблюдать за двумя новичками, — сообщила она.

Александра Самойловна и сама была в четвертом «А» новичком, но многих ребят она знала, потому что раньше не раз подменяла их учительницу. Еще перед уроками Санька узнал, что у Александры Самойловны прозвище Сан-Сама и что «у

нее много не потанцуешь, она и восьмиклассников во как держит».

Была Александра Самойловна высокая, черноволосая, довольно молодая и Саньке показалась даже симпатичной. Только ее большие серьги Саньке не понравились: цыганские какие-то. И горло было слишком толстое...

Александра Самойловна сразу взяла класс в руки. Продиктовала план пионерской работы, удивилась, что нет физорга, и посоветовала выбрать Васю Крутикова:

— Ты вон как скачешь на переменах. Введешь свою энергию в нужное русло.

А через несколько дней Сан-Сама сообщила, что классу нужна футбольная команда. Сначала будет игра с четвертым «Б», а победители встретятся с командой пятой школы. Пусть Крутиков составит список.

— Предварительный, — уточнила она. — Потом я еще посмотрю на ваши оценки.

Список Крутиков стал составлять в перемену. В команду хотели все мальчишки, двадцать два человека. Они навалились на бедного Крутикова, облепили его парту, повскакали на соседние. Дежурные девчонки напрасно голосили, чтобы все убрались из класса. Легонькие парты стонали и дребезжали. У них была странная, непривычная для Саньки конструкция на тоненьких ножках из уголкового железа. В первый же день Санька зацепился за железную стойку коленом и соскоблил кожу. Потом цеплялся еще несколько раз и стал осторожнее. Вот и теперь он выбрался из-за парты аккуратно. Просунул плечо и голову между ребятами. Сказал Крутикову:

— Меня тоже...

Крутиков первым записал Витьку Боцмана, потом себя, потом Турчакова, а дальше еще человек пять. На Саньку он глянул неуверенно:

— Мы же не знаем, как ты играешь.

— Ну и что? Его-то записал, — обиженно сказал Санька и ткнул в Димкину фамилию.

Димка сидел рядом с Крутиковым. Он непонятно посмотрел на Саньку и усмехнулся.

Крутиков уважительно сообщил:

— Турчаков в своей школе знаешь как играл!

— Я тоже играл, — сказал Санька.

Димка опять усмехнулся и снисходительно предложил:

— Да пиши всех. Сан-Сама разберется... А потом на тренировках поглядим, кто что может.

— У «бэшников»-то мы выиграем, — заявил Боцман. — Не привыкать. А вот как там с пятой...

— Пятая — это где? Тоже в Стрелецке? — спросил Турчаков.

— Конечно! Мимо нее ходишь. Неграмотный, что ли? — хмыкнул Боцман.

Турчаков сказал, что он грамотный. Только все вывески подряд не читает. И где тут Стрелецк, а где еще какой район, он пока не разобрался. Он раньше в Камышах жил и здешние улицы знать не обязан.

Санька решил поддержать Димку. Все-таки сосед по парте, и оба они новички. Может, тогда Димка поймет, что Санька кое-чего стоит. А то не обращает внимания, хотя и сидят они на уроках рядом...

Санька сказал:

— С вашим Стрелецком вообще неразбериха. Если хотите знать, он даже не имеет права так называться.

— Чего-о? — возмущенно протянул Крутиков.

— Да! Потому что эта бухта не Стрелецкая, а Казачья!

Кто-то засмеялся, кто-то бестолково заспорил, а Крутиков опять протянул свое «чего-о». Но все это покрыл отчаянный, какой-то клоунский хохот. Ужасно громкий. Непонятно было, кто смеется. Человек заходился этим смехом, изнемогал от него. И будто даже не человек, а робот: в хохоте звучали металлические нотки.

Это, наверно, целую минуту продолжалось. Сперва все обмерли. Потом кто-то неуверенно хихикнул. А когда непонятный хохот стал стихать, смеялись уже все, хотя и не понимали, что случилось. Будто заразились микробом смеха.

Только Турчаков даже не улынулся. В наступившей тишине он завозился и вытащил из своего заграничного вельветового кармана замшевый мешочек. На мешочке черной краской была напечатана клоунская рожица.

— Знакомьтесь, это Смехотунчик из Японии. — Димка помахал мешочком и вынул из него черную коробочку с крошечным динамиком. К ней потянулись руки. Димка нажал

кнопку, и опять раздался выворачивающий душу хохот. И вместе со Смехотунчиком хохотали все мальчишки.

Кроме Саньки.

Санька отошел и сел за парту. Подумаешь! Он и раньше слышал про такие игрушки. Обыкновенный маленький проигрыватель с батареей... Свинья этот Димка! Если хотел похвастаться дурацким Смехотунчиком, то зачем именно сейчас, когда Санька про такое важное дело говорил?

Или нарочно?

А все и рады! Наплевать им на бухты и на их названия. Облепили заграничную безделушку, как мухи гнилую сливу... И вообще только и знают, что вокруг этого Димочки вертеться. Пришел бы такой Димочка в прежний Санькин класс, ему бы показали Смехотунчика...

Ребята и на следующий день крутились возле Димки, наверно, он им еще какую-нибудь фокусную штуку из заграницы показывал. Ладно...

После первого урока Санька расстелил перед собой карту:

— Крутиков, иди сюда! Ну, иди, иди... И ты, Боцман! И все идите!

Подошли человек семь.

— Ну? — сказал Санька совершенно спокойно. Он был уверен в победе. — Смотрите. Видите, как называется эта бухта на старой карте?

— Где? — спросил Вадик Лебеденко, длинный мальчик в очках. Он был толковее и деловитее остальных. — Ну-ка... — Он по-птичьему нагнулся над картой... И тут опять резанул Саньку хохот. Это подошел незаметно Димка со своим Смехотунчиком.

И снова всех охватило сумасшедшее веселье! Правда, кто-то еще наклонялся над картой, кто-то тянул ее к себе (а Санька не давал), но все это чтобы подурачиться. Опять никто не хотел слушать.

— Ну чего ты лезешь, скотина! — отчаянно сказал Санька Турчакову. Но и эти слова заглушил Смехотунчик.

А вот голос Сан-Самы он заглушить не смог.

— Что такое?! Не слышали звонка?!

Мгновенно упала тишина (Димка нажал кнопку). Потом топот и стук, всех разнесло по местам.

— Что за дикое веселье? — поинтересовалась Александра Самойловна. Ее серьги покачивались над Санькой и Димкой. Димка не испугался. Он вежливо протянул Сан-Саме Смехотунчика:

— Это игрушка. Извините, мы не расслышали, что уже урок.

Гораздо мягче Сан-Сама произнесла:

— Садись... А игрушки носить в школу не следует.

— Она у меня случайно, — соврал Димка. — Мы ее включили, потому что очень уж смешно Дальченко всякую ерунду рассказывал...

— Ерунду?! — взвинулся Санька. — Посмотри сам!

— Что такое? — нахмурилась Сан-Сама. — Дальченко...

Санька, путаясь, объяснил. Сам не понял, почему исчезла уверенность. Александра Самойловна несколько секунд разглядывала карту. Потом отошла к своему столу:

— Повторяю: незачем носить на уроки ни игрушки, ни всякие старые карты. Тем более такие, которые рисовали какие-то царские чиновники.

— Они народ угнетали... — подал голос Крутиков.

«При чем здесь чиновники? Разве они защищали Севастополь? Моряки защищали, солдаты. Нахимов, Корнилов!» — так с возмущением подумал Санька. И Крутикову сказал:

— Дурак ты.

Александра Самойловна покраснела. Горло у нее стало разбухать. Но она не закричала, а сказала медленно и отчетливо:

— Вот что, Дальченко. Ты здесь новичок, так что веди себя поскромнее и к нашей школе относись с уважением. Дураков у нас нет. А Крутиков — член классного актива. Ясно? Встань и отвечай: ясно тебе?

Санька встал и при общем молчании пробормотал, что ясно. А что он еще мог сделать?

— Садись... Хотя нет, походи к доске и объясни, как выполнил домашнее задание. Напиши первое предложение...

Санька пошел, написал и стал объяснять. И сбился. Потому что першило в горле, а спиной он чувствовал взгляд Тур-

чакова. И помнил, какие у него желтые, ядовитые глаза и ехидные губы...

Александра Самойловна сказала:

— Покажи-ка тетрадь. Так... Вот и в тетради ошибка. А по черк-то... Вполне можно двойку поставить, да уж ладно, обойдемся без нее на первый раз, — добавила она уже добродушно. — Только не думай больше, что все дураки, а ты профессор...

— Кислых шей... — хихикнули на задней парте.

— Яскина! — прикрикнула Сан-Сама (правда, не очень сердито). — Ты тоже еще не докторша наук. Иди-ка к доске...

Но когда Санька сел на место, он услышал тихий шепот:

— Профессор кислых шей и уцененных вещей...

Это сказал одними губами Турчаков.

Так же неслышно Санька ответил:

— Смехотунчик буржуйский. На перемене получишь...

Но драться Санька не хотел и, по правде говоря, побаивался. Даже не потому, что Димка выше и сильнее, а потому, что чувствовал: весь класс опять будет за Турчакова. К концу урока Санька сделал вид, что забыл о своем обещании, и на перемене ушел во двор. Сел в тени, на выступ ограды.

Здесь к Саньке подошла длинная и толстощекая Эмка Ковальчук:

— Дальченко! Нам для выступления на сборе музыканты нужны. Ты в музыкальной школе не учишься?

— Больше мне делать нечего, — буркнул Санька.

Эмка подергала себя за конец косы на груди и вздохнула:

— Непонятно, почему ты такой ершистый?

— Я?! — изумился Санька. — А сами-то вы!..

Но Эмка опять покачала головой и отошла.

В списке футбольной команды, который Сан-Сама огласила на следующий день, Саньки, разумеется, не оказалось. Да он и не ждал этого. А всеми любимый Димочка оказался. Ну и ладно. Санька теперь жил сам по себе. Отсидел уроки — и домой. Димка к нему больше не приставал. Сидели они на парте рядом, но будто за перегородкой. Иногда Димка бросал быстрый взгляд на Саньку, но тот делал вид, что взглядов этих не замечает ничуть.

Дома было множество дел: с мамой и папой Санька клеил новые обои, красил заново батареи, а в свободное время ездил на старую квартиру, к Люсе. Помогал ей возиться с Тарасиком. Тарас уже стал совсем сообразительный: узнавал Саньку, улыбался, тянул к нему руки... Там же, в переулке недалеко от улицы Очаковцев или в сквере у школы, Санька иногда играл с прежними приятелями: с Митей Данковым, с близнецами Федей и Женькой. Ребята спрашивали, как там, в другой школе.

— Да ничего, — говорил Санька. — Не так хорошо, как у нас, но жить можно.

Он еще в детском саду понял: жалобы — дело бесполезное и противное. И посетовал лишь на парты с их коварными железными ножками.

— Привыкнешь, — утешил Митя.

— Привыкну, — вздохнул Санька.

...А вот Одиссею он рассказывал все. Но это другое дело. Одиссей был самый лучший друг. Точнее говоря, это был второй Санька. И скрывать им друг от друга было нечего.

Как только Санька появлялся у одинокой мраморной колонны, что подымалась из зарослей дрока, Одиссей был тут как тут. Мчался к Саньке, легко прыгая через камни и коллочки, и белая туника летела за ним по ветру... И не надо было заводить машину времени: видимо, она работала автоматически.

Да, с Одиссеем было хорошо.

Но ведь не убежишь навсегда в Древнюю Грецию. К тому же Одиссей был... нет, Санька не хотел этого обидного слова «придуманый», но все-таки...

Футбольную игру четвертый «А» продул «бэшникам» со счетом три — шесть. И Санька не мог удержаться от хмурой радости. Но, конечно, радовался он про себя, а по классу ходил с равнодушным лицом. Не взяли в команду — ну и ладно...

Радость, однако, была слабенькой, потому что Димка оказался героем. Несмотря на проигрыш. Он заколотил четвертому «Б» два гола из трех и всегда был в самой гуще отчаянной футбольной битвы. И не ушел с поля, хотя ему дважды

попало чужим ботинком по ноге. Все про это говорили. Под коленом и на щиколотке у Турчакова сияли синяки. Каждому нормальному человеку было ясно, что Димочка нарочно пришел в коротких штанах: пускай все видят его боевые отметины. Но четвертый «А» этого не понимал и смотрел на Турчакова с уважением.

Сам Димка вел себя скромно: чего, мол, хвастаться, если проиграли? Только на уроке иногда тихонько шипел сквозь зубы и потирал под партой синяк. Это было глупо: такие ссадины на следующий день уже не болят. И Санька сказал:

— Не страдай так. Всю парту расшатал.

Димка сузил глаза и ответил непонятно:

— Эх ты. Ну, смотри...

В классе началось увлечение маленькими моделями. Мальчишки приносили пластмассовые эсминцы, катера, подводные лодки и старинные броненосцы. Расставляли на партах, шумели, менялись и спорили (дежурные опять ругались, что на перемене никого не могут выгнать в коридор).

Санька тоже хотел принести свой сторожевик и броненосец «Потемкин». Но потом раздумал. Потому что веселый конопатый Эдька Рубцов после уроков крикнул ему:

— Профессор, а ты свои кораблики принесешь?

Его уже не первый раз называли этой дурацкой кличкой. Иногда без всякой насмешки, просто так. И Санька не стал огрызаться на безобидного Эдьку. Только отвернулся и пошел со школьного двора...

Но когда владельцы моделей собирались и устраивали «корабельные смотры», Санька не мог удержаться и тоже подходил. Заглядывал через головы. Один раз он, вытянув шею, смотрел, как выстраивают на парте свои кораблики Васька Крутиков, Боцман и Эдик Рубцов. Димка сидел рядом с ними и снисходительно трогал мизинцем тоненькие мачты. Про суденышко с пушкой на носу он спросил:

— Это торпедный катер?

«А еще сын капитана», — хмыкнул про себя Санька.

— Да нет, это КТЩ, — сказал Эдик.

— Что? — не понял Турчаков.

Тогда Санька не сдержался:

— Катерный тральщик. Знать бы надо.

— А-а... — сказал Димка и глянул на Саньку через плечо. — Я не понял. Я спутал с ПКЩ.

— А это что такое? — глупо соя, спросил Витька Ботман.

Димка всех обвел красивыми своими глазами и разъяснил:

— По-моему, это всем ясно: Профессор Кислых Щей...

Ну и, конечно, смех! Не такой отчаянный, как у Смехотунчика, но все равно... Как горячей теркой по щекам!

Санька не двинулся. Только мускулы напряжились. Сажное простое было дотянуться и вляпать Димке. Иногда Санька мог и такое. И сейчас он ни капельки не боялся! Но опять он почувствовал, что бесполезно. Все будут Димочку жалеть, если он пострадает. А если достанется Саньке — так этому Профессору и надо!

Санька помолчал и сказал со всевозможной язвительностью:

— Попроси папочку, чтобы научил хоть немножко разбираться в кораблях.

Димка откликнулся сразу и охотно:

— Папочка в военном флоте не специалист. В рыболовном — другое дело. Или вот в таком... — Он вытащил из модной своей сумки два звякнувших кораблика длиной с карандаш. Это были отлитые из металла модельки океанских лайнеров. Аккуратненькие, прямо ювелирные. Саньке так и захотелось потрогать. Он даже пальцами зашевелил в карманах. А другие ребята и в самом деле потрогали. Димка не жалел, пожалуйста. Он сказал: — «Куин Элизабет» и «Куин Мери». Английские. Папа из Саутгемптона привез.

— Редкая штука, — заметил кто-то в окружавшей толпе.

— Да ну, редкая... — снисходительно отозвался Димка. — У нас в Камышах у любого пацана такие есть.

— Откуда? — простодушно поинтересовался Эдик Рубцов.

— Ну, рыбаки же там, в загранке, все время бывают. Вот и привозят всякие интересные вещи.

— Барахло заграничное привозят, — сказал Санька. — Или валюту. А потом ковры в спецмагазине скупают.

Он слышал однажды такие слова от отца. Мама как-то пожаловалась, что с деньгами совсем туго, а вот их знакомые та-

кие-то купили то-то и то-то, когда муж вернулся из заграничного рейса. Тут отец и вспылал... А мама потом почему-то смеялась и говорила, что он как новогодняя хлопушка: только дерни за ниточку — треск и дым...

Конечно, Санька не был уверен, что Димкин отец, капитан Турчаков, гоняется за иностранными шмотками и скупает ковры. Просто злость взяла Саньку. И отчаянно захотелось, чтобы Димка наконец разозлился, взорвался! У Саньки даже щеки зашипало от предчувствия горячей и освобождающей душу драки.

Но Димка не полез в драку. Он спокойно ответил:

— Может, кто-то и скупает, а кто-то пальчики облизывает.

Санька обмяк. И облегченно посмотрел на ребят: ну, теперь-то видите, что за тип Турчаков?

Но они по-прежнему разглядывали модели.

В субботу четвертый «А» писал сочинение на вечную тему: «Как я провел лето». Сначала Александра Самойловна хотела задать его на дом, но передумала:

— Знаю я вас. Будете до ноября тянуть, а мне что делать? Или горло надрывать, упрашивать, или двойками вас заваливать? Пишите в классе.

Санька написал, что летом он никуда не ездил, потому что дома было много дел: в июле случилось новоселье, а с ним всегда полно хлопот. Еще написал, что купался на Солнечном пляже и полюбил гулять в Херсонесе. Конечно, про Одиссея он не упомянул ни словечком. Зато рассказал, что в развалинах и на берегу много находок. Перечисление находок заняло полстраницы, и когда Санька упомянул про автоматную гильзу, он решил, что можно кончать. Он только дописал: «Эта гильза осталась с войны, когда наши моряки и солдаты гнали из Севастополя фашистов. Будущей весной исполнится соток лет со дня освобождения нашего города». Сперва он хотел добавить: «Мой дедушка тоже воевал в Севастополе», но не стал. Во-первых, точно неизвестно, в каких местах дедушка воевал, а во-вторых, получится, будто Санька хвастается. Он вздохнул и поставил точку.

Оказывается, он кончил раньше всех. Четвертый «А» еще

корпел над тетрадками, слышался шорох ручек и тихое творческое сопенье.

Александра Самойловна, пользуясь тишиной, проверяла дневники. Изредка она обводила глазами класс.

Вот опять обвела, встретила взглядом с Санькой и спросила:

— А Дальченко почему не пишет?

— Я уже все...

— Да? Любопытно...

— Он же Профессор... — хихикнула на задней парте глупая Светка Яскина.

— Яскина!.. Кстати, Дальченко, что за нелепая надпись на дневнике?

— Где?

— Вот! — Сан-Сама поднесла дневник. — Вот, вот...

Дневник был обернут белой глянцевой бумагой, Сан-Сама требовала, чтобы все сделали дневникам дополнительные обложки. На бумаге чернели крупные буквы Санькиной фамилии, а под ними мелко синей пастой было добавлено: «Проф. К. Щей».

— Не знаю. Я это не видел, — тихо проговорил Санька и покраснел.

— Странно. Твой дневник, а ты не видел...

— Ну не я же это написал! — в сердцах сказал Санька. — Какой-то дурак накорябал, а я при чем?!

— Как ты разговариваешь!

— А как мне разговаривать! — крикнул Санька, глядя снизу вверх. — Опять я виноват, да?! — Он уже не мог и не хотел сдерживаться. Пускай хоть выгоняют из этой дурацкой школы!

И вдруг подал голос Димка. Он встал и очень вежливо сообщил:

— Дальченко не виноват, Александра Самойловна. Это я написал... Извините, пожалуйста.

Александра Самойловна помолчала. Потом сказала медленно:

— Очень нехорошо... А почему ты извиняешься передо мной? Ты должен извиниться перед Дальченко за свой... немудрый поступок.

Турчаков посмотрел в мокрые ненавидящие Санькины глаза и серьезно произнес:

— Извини меня, Дальченко. Я больше не буду писать на твоём дневнике «Проф Ка Щей».

— Кашей... — тут же хихикнули в классе.

Санька рванул из-под парты ранец и сам рванулся с места. И забыл опять про эту проклятую железную стойку. По колену шарахнула такая боль, что тут уж никакими силами не сдержишь слезы...

Всхлипывая и хромая, Санька ушел из класса, ушел из школы. В Херсонес ушел. Там он промыл ссадину соленой водой и этой же водой умылся. А потом рассказал Одиссею про все обиды.

Одиссей сидел рядышком и понимающе кивал. У него тоже были неприятности: опять долго не возвращался с моря отец, болела младшая сестренка, а в школе придирился учитель: «Ты должен быть достоин своего великого имени, а как ты себя ведешь! На письменной табличке семь ошибок! На перемене скачешь, словно кентавр, которому боги помutilи разум! Ты забыл, что моя новая палка еще незнакома с твоей спиной?»

— Тебе, наверно, тоже влетит, — вздохнул Одиссей.

— Ну и пусть... — сказал Санька.

— Сан-Сама домой к вам придет и расскажет, что из школы сбежал.

— Ну и пусть...

Санька сел на цоколь сломанной колонны и прислонился спиной к теплому мрамору. Под обрывом небольшие волны пошевеливали гальку. День был жаркий, но с ветерком. Над желтой сурепкой и лиловым цикорием махали крыльями поздние бабочки. Вдоль берега шел под громадными трехугольными парусами «Орион». За ним летели чайки.

Санька закрыл глаза. Никуда не хотелось идти. Ни о чем не хотелось думать. Одиссей постоял рядом и тихонько отошел...

Домой к Саньке Сан-Сама не пошла, и в понедельник ему почти не попало. Можно сказать, совсем не попало. Раздавая тетради, Александра Самойловна сообщила:

— Дальченко я поставила «четыре». Можно было бы и «пять», но в слове «квартира» ты пропустил букву «р»...

— Ква-тира... — хихикнула на задней парте Яскина.

Турчаков быстро посмотрел на Саньку и отвел насмешливые глаза.

— Ти-хо... — сказала Сан-Сама. — Но все равно ты молодец, Дальченко... Только бегать из класса больше не надо, за это по головке никого не гладят.

— Это Турчаков виноват, Кашеем дразнится, — вдруг сказала Эмка Ковальчук.

— Все хороши... А Турчакову я снизила поведение за неделю. Вместо примерного поставила удовлетворительное.

Димка шумно и сокрушенно вздохнул. Кругом засмеялись. А Санька смотрел мимо Димки в окно. На солнечном дворе было пусто, лишь по бетонной ограде прыгали воробьи. В щели между белых дальних домиков синел кусочек моря. Там опять медленно прошел треугольный парус...

Александра Самойловна сказала, что совет отряда бездельничает и все ей приходится решать самой. И она решила: в четверг класс поедет на Малахов курган, а в субботу, если все будут себя вести как нормальные люди и никто не нахватает двоек, они отправятся на экскурсию на один из заслуженных крейсеров Черноморского флота.

Все, конечно, заорали «ура!...». Санька, правда, не кричал, но он тоже обрадовался. Тем более что последние дни его никто не задевал и почти не называли Профессором и Кашеем. Даже Турчаков. Кстати, Александра Самойловна пересадила Саньку от Турчакова к Эмке Ковальчук. И это было совсем не плохо.

...На Малаховом кургане Санька бывал сто раз. И один, и с отцом, и с Люсей, и Гришей. И с отрядом ходили в прошлом году, когда вступали в пионеры. И каждый раз было интересно.

Если бы кто спросил, Санька мог бы тут рассказать про все не хуже экскурсовода. И про батареи, и про штурм, и про разные случаи во время давней осады. И про то, как в сорок втором году артиллеристы старшего лейтенанта Матюхина из

единственного уцелевшего орудия прямой наводкой громили подступающих фашистов.

И про последних защитников оборонительной башни, которые дрались тут во время Первой обороны, мог рассказать. И про памятник с высоким камнем и крестом... Когда французы заняли курган, они похоронили в одной могиле всех погибших солдат — и своих, и русских. С воинскими почестями. Французы были, конечно, враги, но все же не фашисты. Это были честные враги. И вообще война была тогда хотя и кровавая, но честная. Если уж перемирие, то никто не нарушит — можешь встречаться с противниками и беседовать, будто на прогулке. И над пленными никто не издевался, военных тайн у них не выпытывал. И вообще те, кто сражался, уважали друг друга. Санька читал в «Севастопольском сборнике», как французы везли к себе во Францию наших пленных офицеров на корабле «Шарлемань». Фашисты бы всех сразу в концлагерь или под расстрел, а французы поселили пленных в офицерских каютах...

И когда хоронили Нахимова, батареи противника не стреляли.

И пленные французские офицеры вместе с нашими гуляли в Севастополе, на Приморском бульваре, куда не залетали ядра. Только дадут слово не убежать, вот и все.

Да, другие были времена...

«Но умирать все равно никому не хотелось», — уже не первый раз подумал Санька. Потому что подходили к тому месту, где был смертельно ранен адмирал Корнилов.

Там была плита, а на плите крест из ядер.

Корнилов на этом месте упал, потом приподнялся и сказал: — Отстаивайте же Севастополь...

...У Саньки есть книга про Синопский бой, про адмиралов Нахимова, Новосильского, Истомина и Корнилова. Такая же старинная, как «Севастопольский сборник». В ней Санька прочитал, что Корнилов не сразу сделался героическим адмиралом. Когда он был молоденьким офицером, то думал не о службе, а о всяких балах да французских романах. Но однажды старый адмирал Лазарев вызвал Корнилова к себе в каюту и устроил ему крепкий воспитательный разговор (наверно, как однажды отец Саньке, когда тот в прошлом году начал ва-

лять дурака, до ночи бегал на улице, нахватал двоек и спрятал дневник). Разговор без крика и лишней ругани, но мужской и честный. И Корнилов после этого взялся за ум. Стал у Лазарева лучшим помощником. А потом адмиралом. А когда враги подошли к незащищенному Севастополю, Корнилов так быстро начал строить бастионы и батареи, что французы и англичане побоялись идти на штурм. Начали бомбардировку.

Тогда-то и ранило Корнилова. И он приподнялся и сказал свои слова.

Санька знал, что так и было. «Отстаивайте же Севастополь...» Корнилов произнес это сквозь стиснутые от боли зубы. (Санька сам пробовал говорить это сквозь зубы, и получалось.) Санька много раз представлял, как все было: И... даже мурашки по коже. Потому что он очень точно представлял. Как адмирал в луже крови приподнимается и говорит...

Боль, наверно, ужасная. Если коленкой трахнешься — и то слезы из глаз, а тут все бедро измолото ядром. И ясно уже, что никакой надежды на жизнь больше нету (а это любому жутко — хоть мальчишке, хоть адмиралу). Но он все равно: «Отстаивайте же Севастополь...»

Сквозь зубы...

До войны здесь стоял памятник, но фашисты его разрушили и переплавили, только груда каменных глыб осталась. Но Санька знал, что к двухсотлетию Севастополя памятник восстановили. Только еще не видел, не был здесь летом...

И вот он, памятник! Такой же, как макет в музее оборонительной башни, только громадный! Все как раньше. И Корнилов, и матрос Кошка сбоку от камня, с ядром в руках... Конечно, нет на каменной глыбе крови, и лицо у Корнилова слишком спокойное. Но слова на камне именно те, его...

Кто-то бегал вокруг, кто-то ушел посмотреть старинные пушки на батарее Жерве, а Санька все стоял, подняв голову. Над бронзовым адмиралом тихо двигались белые облака. «Будто фрегаты», — подумал Санька. И тихо обошел памятник.

На задней стороне каменной глыбы прикреплен был бронзовый щит, окруженный тяжелыми, тоже бронзовыми знаменами. А на щите — названия тех мест, где прославился в битвах Корнилов, и кораблей, которыми он командовал. И вот тут Санька заморгал.

Озадаченно.

Досадливо.

Возмущенно...

Потом помотал головой. Перечитал еще, еще...

И забыл, что дразнили Профессором, забыл, что лучше держать язык за зубами. Несколько ребят стояли рядом, и ближе всех Эмка. Ей Санька и сказал:

— Ну, неправильно же!

И начал объяснять. Эмка не перебивала, не спорила, старалась понять. Но не смогла. И наконец сказала:

— Да ну тебя. Значит, так надо, раз написано.

— Но почему? Надо же или все по-старинному, как на старом памятнике, или же все по-современному! Ну нельзя же так: половина слов по одним правилам, а половина по другим! «Синоп» без твердого знака, а «Орест» с твердым!

— Может, потому, что Синоп — это город, он и сейчас есть, а «Орест» — это старинный корабль, — заметил рассудительный Вадик Лебеденко. Он был из тех, кто никогда не смеялся над Санькой. И Санька разъяснил ему по-хорошему:

— Тогда почему «Двенадцать Апостолов» без твердого знака? А в «Фемистокле» совсем путаница. Знак стоит, это по старинному правилу, а буква «фэ» современная. Раньше «Фемистокл» через старинную «фэ» писался, у меня в книге про Корнилова есть. Та буква как звено от якорной цепи.

— Какое звено? — не понял Вадик.

— Ну, как «о» с палочкой поперек!

И опять поднялся смех, глупый такой, просто издевательский. И Турчаков, конечно, тут как тут. Хлопает себя по вельветовым коленям и даже повизгивает от хохота:

— Ой, а еще говорит, что не Профессор! «О» с палочкой!

— Я для себя, что ли, спорю?! — крикнул ему Санька. — Рожка ты издевательская, Турчаков!

И, конечно, тут же Александра Самойловна:

— Это что за слова? В таком месте! Турчаков, что опять случилось?

Димка встал прямо, руки опустил по швам и, вежливый, красивый, сказал невинным голосом:

— Мы ни при чем, Александра Самойловна. Это Профес-

сор Дальченко хочет написать на памятнике «о» с палочкой поперек.

И тогда Санька вскипел слезами, рванулся и пнул его. Вернее, хотел, но не успел. Сан-Сама схватила его за рубашку...

...Ну и не взяли его на крейсер.

Сам-Сама сказала, что вдруг ему и там что-нибудь не понравится. Вдруг Дальченко решит, что в названии крейсера тоже не хватает твердого знака (ох как возвеселился класс!), потому что Дальченко считает, что лучше умных и взрослых людей знает, где по каким правилам писать (хотя сам пишет «квартира»). И если ему что-то покажется не так, он, чего доброго, снова кинется ругаться и кого-то пинать...

— Командира крейсера, — гнусавым басом проговорил Витька Ботман.

— Нет, — вздохнула Александра Самойловна. — Дальченко хорошо понимает, на кого можно кидаться, а на кого нельзя.

Эмка Ковальчук вдруг сказала:

— А по-моему, Турчаков тоже виноват.

Класс зашумел: непонятно, кто за кого. И затих. Потому что Димка встал.

— Да, — сказал он и всех обвел глазами. — Я, наверно, тоже виноват. Потому что я обещал больше не дразнить Про... Дальченко, но не удержался. Меня тоже не надо брать на крейсер.

Четвертый «А» дружно вздохнул, потрясенный таким благородством. А Санька сощурился и отвернулся. Потому что Турчакову он не верил вот ни на столечко.

— Двуличник, — сказал Санька негромко, но отчетливо.

— Вот видишь, — обратилась Александра Самойловна к Турчакову. — Ты хотя и виноват, но все же вы разные люди. К тому же тебя выдвинули в редакторы, ты должен писать заметку про экскурсию... В общем, кто за то, чтобы Дима Турчаков пошел на крейсер?

И все проголосовали «за», даже Эмка. Только Санька отвернулся и голосовать не стал.

Из школы Санька пошел не домой, а в Херсонес. И там понемногу успокоился. Они с Одиссеем лежали в граве на обрыве у входа в гавань и смотрели, как с моря идет в бухту под веслами корабль. Разноцветный парус был подобран к рею, и корабль с высоким загнутым хвостом и рыбьей головой двигал двумя рядами весел, как щетинистыми плавниками. На палубе возвышались груды пестрых тюков и стояли оранжевые амфоры.

— А того корабля, где отец, все нет и нет, — вздохнул Одиссей.

— Вернется, — сказал Санька. — Ты надейся.

— Я надеюсь. И мама надеется.

— Сестренка поправилась?

Одиссей улыбнулся:

— Бегае уже.

— А наш Тарасик уже стоять научился. Держится за перила в кроватке и все встает. И скачет...

— Красивое имя Тарас, — похвалил Одиссей. — У нас такого нет.

— Это украинское имя. Был герой Тарас Бульба... А Фемистокл — это греческий герой?

— Да, эллинский. Но он давно жил. И не здесь, а в Афинах. Он афинским флотом командовал.

— У нас военное судно было с таким названием, — вздохнул Санька. — Бриг. Им тоже герой командовал, Корнилов. То есть он уже потом героем стал. Тоже давно. Сколько же это лет назад? Сто тридцать... А у меня из-за этого «Фемистокла» опять неприятности...

Одиссей глянул встревоженно: он всегда переживал за Саньку. И Санька про все рассказал.

— Почему столько несправедливостей! — сказал Одиссей и стукнул коричневым кулаком по пустой улиточной ракушке (она рассыпалась). — И в древние времена, и в наши, и в ваши... Объясняешь, объясняешь, а никто не слушает... Фемистокла тоже несправедливо обвинили, сказали, что он изменник. Ему пришлось бежать из Афин...

— Ну уж я-то не побегу, фиг им всем, — сказал Санька.

...Потом он пошел домой. В школе он не пообедал и теперь был ужасно голодный. Вспомнил, что в ранце есть ябло-

ко, сел на камень, откинул крышку. Яблоко было пыльное, и, чтобы вытереть его, Санька стал искать в дневнике промокашку. Открыл его и только тогда увидел запись Сан-Самы.

И заплакал.

Здесь я хочу сказать несколько слов о мальчишечьих слезах. Об этом говорят не очень охотно. Считается, что настоящие мальчишки плакать не должны. Никогда. Впрочем, по этому поводу иногда возникают сомнения, и тогда в «Пионерской правде» или в журнале «Пионер» появляется очередное письмо:

«Дорогая редакция! Ответьте, пожалуйста, можно ли мальчикам плакать? Мы у себя в классе об этом спорили, но ни до чего не договорились...»

Смешные вопросы. Слезы ведь не спрашивают. Если большое горе, или отчаянная боль, или нестерпимая обида, душа не выдерживает, и ничего тут не поделаешь. Иногда и взрослые люди плачут, а не то что мальчишки. И глупо им говорить: «Как тебе не стыдно...»

Стыдно реветь от трусости. Стыдно слезами выпрашивать модные штаны, мопеды или всякое другое барахло. Противно, когда люди пускают слезу от пустяковой царапины или от того, что им не дали денег на кино или мороженое...

Но яростные слезы из-за несправедливостей! Из-за тех горечей и обид, которые во все века терпели во всем мире мальчишки! Кто посмеет их осудить? И куда денешься, если слез этих было больше, чем воды в Черном море? А если составить список всех взрослых, которые виноваты в этих слезах... Да не составить, не хватит ни чернил, ни бумаги на всей планете.

...Все-таки хорошо, что я не прошел тогда мимо Сандалика.

Гибель «Везула»

В тот вечер, когда Санька отнес на вокзал книгу, погода стала меняться. Солнце село не за чистый морской горизонт, а потускнело и увязло в сумрачной пелене. Ночью разгулялся

ветер. Он летел с моря и тащил за собой низкие облака. Санька проснулся рано и увидел, что в косматых летящих клочьях ныряет челнок ущербной луны. Он распахнул окно. Занавеска вздулась, в комнате запахло водорослями и солью...

В классе тоже пахло штормовым морем. Соленый воздух сочился в щели закрытых окон. Тихо звякали стекла. Было пасмурно, только изредка пролетали по стенам светлые пятна: это на миг прорывалось сквозь многоярусные тучи солнце.

После уроков Санька пошел в Херсонес. Он шагал быстро и поеживался. Не от холода. Юго-западный ветер был плотным, но довольно теплым. К тому же на Саньке поверх рубашки была трикотажная безрукавка (мама заставила надеть). А зябкость Санька ощущал от йодистой влаги, которой пропитался воздух, и еще от тревоги. Шторм всегда приносит непонятную тревогу.

Еще вдаль от берега Санька услышал равномерный, рассыпчатый грохот. Это волны под обрывами переворачивали и таскали туда-сюда большие камни, перелопачивали тонны гальки.

Море было сумрачно-разноцветным: вдаль синевато-сизое, потом тянулись темно-зеленые полосы, а ближе к берегу зеленый цвет светлел и отдавал желтизной. И по всей громаде моря шли, медленно поворачиваясь, белые великанские гребни...

Санька не пошел сразу к обрыву. Царапая ноги в дроке и терновнике, он пробрался к одинокой колонне, тронул теплый, чуть шероховатый мрамор.

Он всегда был теплый, этот мрамор. Саньке даже казалось, что в круглом теле колонны, будто в какой-нибудь тысячетлетней секвойе, течет по незаметным сосудикам живой сок. Иногда чудилось даже, что в глубине ласкового камня толкается редкий, но ощутимый пульс. Конечно, это шевелилась жилка в ладони самого Саньки. Но все равно было приятно, и Санька чуточку волновался.

А еще он волновался оттого, что эту колонну тысячу лет назад (или две, или три тысячи — Санька точно не знал, древнюю историю он еще не учил) трогали такие же, как он, маль-

чишки. И настоящий, непридуманный Одиссей трогал. И словно тепло их ладоней так и осталось в камне.

И от Санькиной ладошки тепло останется.

И когда-нибудь через громадное тысячелетие к этой колонне тоже придет мальчик...

Такого Севастополя вокруг, конечно, не будет, а будет какой-нибудь фантастический город со стоэтажными сверкающими домами, с хрустальными мостами через бухты и с космодромом на мысе Херсонес. Но эта колонна останется. И другие колонны останутся, и памятники, и бастионы, и форты. Люди и сейчас берегут старину, а тогда будут беречь еще сильнее.

И вот мальчик так же проберется сквозь кустарник и тронет мрамор... Какой он будет, этот мальчишка? Ну, понятно, что не в белой Одиссеевой тунике и не в полосатой безрукавке, как у Саньки. Саньке представлялся этот мальчик в чем-то вроде серебристой накидки, словно сотканной из блестящих птичьих перьев. И в широком поясе с кнопками. Нажал одну кнопку — можешь лететь над Землей. Нажал другую — можешь разговаривать с другом, который где-нибудь в другой галактике...

Но из прошлого никого кнопкой не вызовешь. Можно только так: прodrаться сквозь колючки и тронуть камень.

Он тронет и будет стоять и ждать. Пускай в фантастической одежде и с чудесными кнопками, но все равно похожий на Саньку и на Одиссея. Такой же обжаренный солнцем. И наверхняка с такими же синяками и царапинами. И с такими же огорчениями... Может, не взяли на экскурсию на какой-нибудь межзвездный крейсер?

Или тогда уже ни у кого не будет огорчений?

Совсем?

Хорошо бы. Но что-то не верится...

...Я ловлю себя на том, что, кажется, начал сам рассуждать вместо Саньки. Едва ли он думал обо всем этом так четко и подробно. Однако что-то похожее думал и чувствовал (он сам потом, смущаясь, рассказал мне об этом). И о мальчике из булдушего думал не раз...

Скорее бы этот мальчик позвал Саньку и рассказал, как у них там...

Жаль только, что это все-таки не по правде. То есть по правде, но не совсем. Потому что, когда тот мальчишка появится на свет, Саньки уже давным-давно не будет...

Санька вздохнул. Такие мысли приходили ему не впервые. Наверно, они к каждому человеку приходят. Но Санька не чувствовал ни особой горечи, ни страха. Обидно, конечно, что он не увидит межзвездные корабли и хрустальные мосты над бухтами, но и сейчас жизнь неплохая (жаль только, что перешел в эту школу). К тому же Санька чувствовал, что ни один человек не умирает до конца, — все равно от каждого что-то остается для будущих времен. Хоть самая капелька. Хотя бы тепло от ладошки в старой мраморной колонне...

Конечно, люди живут по-разному и умирают по-разному. Хорошо бы, как Корнилов. И обидно, если как тот юнга с «Везула»...

Одиссей подошел незаметно и встал рядом. Санька молча улыбнулся ему.

Кругом по-прежнему были развалины, кусты и трава, которую прижимал к камням ветер. Белый город с храмами, лестницами и статуями так и не возник. Потому что сейчас не Санька был в гостях у Одиссея, а Одиссей у Саньки. Уже не первый раз.

...Сначала Санька не решался звать к себе Одиссея. Он боялся, что Одиссей расстроится, когда увидит, какие печальные руины остались от пышного Херсонеса. Но все-таки Одиссей однажды пришел. И не очень расстроился. Потому что рядом с остатками домов, крепостных башен и храмов шумел новый город. И в этом городе все для Одиссея казалось удивительным. Гораздо сказочнее и волшебнее, чем разные мифы про богов и титанов... С тех пор Санька и Одиссей ходили друг к другу по очереди...

...На Одиссее поверх коротенькой туники был серый дежурный плащ. Его рвал ветер.

— У нас тоже шторм, — сказал Одиссей. — Так и свищет.

— Пойдем на берег, — сказал Санька.

Одиссей кивнул. Он умел сразу угадывать Санькино на- строение.

Они спустились по широкой бетонной лестнице, прошли через развалины базилики по мозаичному полу из морской гальки. Шторм совсем рядом грохотал камнями. Холодные капли-картечины ударили по ногам и по лицу, мелкие клочья пены застревали в волосах. Санькина безрукавка была в бисере брызг.

Потом тропинка пошла вверх, и брызги перестали доле- тать. Только ветер упруго отжимал упрямых мальчишек от бе- рега. Санька и Одиссей поднялись на обрыв ближнего мыса. Внизу, у обломков скал и бетонных глыб взорванной батареи, равномерно вставали пенные столбы прибоя. Сизо-зеленое море и низкое косматое небо безостановочно катились на- встречу Саньке и Одиссею. Ветер стал еще сильнее. Санька снова поежился. Одиссей накинул на него край широкого пла- ща. Стало чуточку теплее. Санька улыбнулся и спросил:

— Вернулся отец?

— Вернулся. Вчера... Хорошо, что они успели до шторма. А то могло прижать корабль к скалам и разбить в щепочки.

Санька кивнул:

— Могло... Вон там, за тем мысом, разбился фрегат «Ве- зул». Я вчера прочитал про него в старинной книжке...

Одиссей повернулся к Саньке. На лице у Одиссея, как от слезинок, виднелись полоски от высохших соленых капель.

— Расскажи, — попросил он.

...Тридцатидвухпушечный фрегат «Везул» под командой капитана второго ранга Стожевского 2 октября 1817 года вы- шел из Севастопольской бухты, чтобы следовать к абхазским берегам. Командир несколько дней ожидал хорошей погоды и теперь с тихим ветром от зюйд-оста благополучно обогнул Херсонесский маяк.

Фрегат был в двадцати милях от маяка, когда ветер стре- мительно засвежел. Это случилось около пяти часов пополуд- ни. Развело огромную волну. От раскачки тяжелых мачт ос- лаб стоячий такелаж. Чтобы оказаться поближе к берегам, которые хоть как-то защищали от ветра, командир повернул с левого галса на правый, то есть фактически лег на обратный курс (на большом парусном судне во время шторма это край-

не тяжелый маневр). Но когда впереди показался маяк, Сто- жевский приказал опять лечь на левый галс.

Так «Везул» метался в штормовом море, а ветер делался все страшнее и менял направление. Даже в Севастопольской бухте и в самом городе этот шторм натворил немало бед.

...Мне трудно представить, как именно рассказывал Сань- ка Одиссею о «Везуле». Тем более что по правде-то он даже не рассказывал, а просто вспоминал. Вспоминал страницы из книги «История крушений и пожаровъ Русскаго флота». В кни- ге же написано вот что:

«Ветер... до того усилился, что принудил закрепить все марсели, и фрегат оставался под одними нижними парусами; а между тем, все переходя к SW, ветер сгонял с румба. В исхо- де 9-го изорвался грот, и при этом еще так сильно кренило, что вынуждены были закрепить фок, оставаясь под одними стакселями. В 2 ч. ночи ветер уже зашел от NW и был столько свеж, что, «прослужив 26 (с якорными) кампаний на разных морях, — говорит Стожевский, — я никогда не встречал по- добного», и фрегат все ближе прижимало к берегу... Шел дождь, и темень была такая, что со шханец не видели перед- них парусов. Чтобы отойти от маяка, стали поворачивать на правый галс; но при повороте изорвался фок-стаксель, и фрегат, оставленный почти без парусов, стало еще сильнее прижимать к берегу. Ветер заходил к N, и отойти не было воз- можности ни на тот, ни на другой галс. Были изготовлены два якоря. В начале 4-го показался бледный свет маячного огня, и, накинув глубину на 17 сажень, бросили один якорь; другой еще не совсем был готов. «Жестокий ветер, как будто под па- русами, нес фрегат к берегу», — говорит Стожевский. Через полчаса он ударился всем левым лагом о камни... В это время на эскадре, стоявшей на Севастопольском рейде, спускали стеньги и нижние реи. Удары были часты и сильны; ветер ре- вел, волны ходили через; ночь темная, гибель казалась несо- мненною».

Здесь я на минуту перебею автора старой книги, чтобы под- черкнуть одно выражение, которое часто встречается в дав- них описаниях морских трагедий: «Волны ходили через». Не «через палубу», «через корабль», «через корпус», а просто «че-

рез». Этот лаконизм кажется мне выразительнее многих подробностей.

«...Для облегчения фрегата срубили все три мачты, и он вскоре был выброшен совсем набок. На рассвете увидели, что находятся на западном мысу Казачьей бухты. «К счастью, — говорит командир, — спасен барказ; на нем при помощи офицеров и команды, присланной из Севастополя, все благополучно спаслись, кроме квартирмейстера Ивана Докунина и юнги Андрея Шуширина, бросившихся от страха преждевременно в море».

Когда Санька читал это и когда потом вспоминал, у него даже дыхание сбивалось от тоски и от жалости. И от какой-то обиды. Взрослого квартирмейстера ему, по правде говоря, было не очень жаль, но юнгу... Наверно, такой же мальчишка был, как Санька. Небось дома выпросился в первое плавание и вот не успел даже от берегов отплыть...

Какой же черный и безжалостный шторм был в ту октябрьскую ночь! И какой ужас был в душе у юнги Андрюшки, если кинуться в воду ему показалось не так страшно, как отаваться на палубе!

Он что, спасенья искал в этих жутких волнах? Или шторм уже казался страшнее смерти?

О чем он думал, Андрюшка?

Или уже ни о чем не думал?..

Разве бывает такой страх, когда человек уже не думает?

Санька не раз представлял себя на месте юнги Андрея Шуширина. Будто он сам на скользкой, вставшей вертикально палубе, а сверху рушатся громады воды с шипучими гребнями, трещит дерево, срываются и крушат фальшборт многопудовые каронады... И вода, вода, и мрак...

Но до конца представить это Санька не мог. Таких штормов он не видел. Даже с берега не видел...

Нет, Санька не осуждал юнгу с «Везула» за тот смертельный страх. Какое право он имел осуждать, если сам никогда ничего похожего не испытывал? Была только тоскливая обида: «Ну зачем он так? Почему не дождался помощи, почему не выдержал?»

И почему юнге Андрюшке взрослые люди дали кинуться в море? Неужели каждый думал только о себе?

Нет, наверно, просто не уследили...

— ...Просто у него не было друга, — внезапно сказал Одиссей.

— Что? — вздрогнул Санька.

— Не было у него друга. Если бы рядом был надежный друг, они бы обязательно удержались вдвоем... Хоть какой шторм, но удержались бы!

— Да... наверно... Конечно, — сказал Санька. И опять заколола беспомощная обида. Оттого, что он, Санька, не может стать другом этого Андрюшки и удержать его от смертельного броска.

...А сам-то Санька не струсил бы?

«Ну и струсил бы! Ну и пусть! — сердито подумал Санька. — А вдвоем все равно не так страшно!»

Видимо, Саньку все-таки просвистело на берегу. К вечеру он осип, а утром температура была тридцать восемь. А потом и еще больше.

Ничего! Санька даже радовался. Можно будет несколько дней не ходить в школу, не встречать Турчакова, не ждть со скрученным страхом каких-нибудь новых насмешек.

Но болезнь оказалась коварнее, чем ждал Санька. Тяжелее. Температура не падала. Стало колоть в боках. А особенно худо было по ночам, когда чудились черные, душные, как горячая вата, волны, которые накрывали Саньку с головой, и он не мог сквозь них протолкнуться к другому мальчишке — то ли Одиссею, то ли юнге с «Везула», который звал на помощь. А еще и Димка Турчаков тут появлялся, но совсем как-то непонятно... И падали на Саньку срубленные мачты, и бился он в запутанных шкотах и вантах...

— Доскакался раздетый, достукался до воспаления, — горько сказала мама.

Но оказалось, что это не воспаление, а жестокий бронхит.

...Мама работала диспетчером на автостанции, порой приходилось ей дежурить по ночам. Папа тоже иногда работал во вторую смену. Чтобы приглядывать за больным Санькой, к

ним переселилась Люся. Конечно, с Тарасиком (куда же его девать?).

Через неделю болезнь приутихла, оставила Саньке только слабость, не очень сильный кашель и какое-то беззаботное настроение.

Санька целыми днями читал толстую книгу «Мифы Древней Греции» или разговаривал с Люсей про всякую всячину. Они друг друга всегда понимали, хотя Люся и была старше на тринадцать лет. Санька рассказал ей даже про Одиссея. Люся и это поняла как надо. Она Саньку погладила по голове и ласково проговорила:

— Он там без тебя скучает, наверно. Ты давай поправляйся, Сандалик наш...

От этой ласки (и, наверно, от того, что Санька был совсем ослабевший) у него подкатила к горлу теплая волна. Санька уткнулся в подушку. Люся погладила его по спине, потом посадила на одеяло Тарасика:

— Иди к дяде Сане, скажи: «Давай поиграем».

Санька перевернулся на спину, посадил Тарасика себе на живот и улыбнулся ему сквозь слезы.

...В школу Санька вернулся перед осенними каникулами.

Вторая встреча

В новогодние каникулы я получил от Сандалика бандероль. В ней была книжечка «У карты Севастополя». Очень интересная книжка с описанием севастопольских улиц и окрестностей и с историей их названий.

По правде говоря, у меня было уже несколько экземпляров этой книжки — подарки друзей и знакомых. Но Санькиной бандероли я все равно обрадовался, тем более что в ней оказалось и письмо.

Почерк у Сандалика был корявый, но старательный, а письмо короткое. Санька поздравлял с Новым годом, сообщал, что читал мой рассказ в «Пионере», когда осенью болел бронхитом; что Тарасик научился ходить, стал очень серьезный и совсем неревучий. И что он, Санька, закончил вторую четверть с двумя тройками — по русскому и по математике, но во втором полугодии он подтянется...

Я в ответ послал Саньке свою книжку про ковер-самолет и про храброго мальчишку-летчика. Через месяц Санька написал, что книжка ему понравилась, а мама, папа, Люся, Гриша и Тарасик передают мне привет.

На этом наша переписка заглохла. Но я не обижался. Я сам не очень-то люблю писать письма, что же требовать от других...

В сентябре я снова приехал в Севастополь и через день отправился в школу, где учился Сандалик (теперь-то я знал ее номер).

Только что кончились занятия, ребята разбежались со школьного двора, и я спросил, нет ли здесь кого-нибудь, кто знает пятиклассника Дальченко.

Оказалось, что его знает высокая круглолицая девочка.

— Он со мной на одной парте сидел...

— А сейчас что? Сбежал от тебя? — улыбнулся я.

— Он от нас уехал, — объяснила девочка. И вздохнула.

— Куда уехал? — расстроился я.

— Говорят, в прежнюю свою школу вернулся.

Вот оно что! Это меняло дело. В той школе у меня было множество знакомых. В прошлом году там закончил восьмой класс Алька Вихрев, а сейчас учился в пятом его брат Юрос.

Юроса я отыскал на школьном дворе. Он был занят увлекательнейшим делом: вместе с другими мальчишками караулил девочек и обстреливал их кожурой от каштанов. Девочки визжали, но довольно бойко «отстреливались».

Увидев меня, Юрос радостно завопил и, не стесняясь, повис у меня на шее, хотя мы виделись совсем недавно, утром.

— Саня Дальченко в вашем классе учится? — остановил я его восторги.

— Кто? — Он заморгал. — А, Сандалик... Не! Он в пятом «Б». А что?

— Ты его знаешь?

— М-м... — Юрос вздернул острые плечи. — Вообще-то да. Маленько...

— Найди и приведи.

— Зачем? — ревниво спросил Юрос.

— Дело есть. Двигай.

Юрос опять пожал плечами, неторопливо отправился в

школу и буквально через две минуты молча доставил Сандалика.

Сандалик увидел меня, заморгал, потом улыбнулся. Пробормотал:

— Здравствуйте...

Он, кажется, ничуть не попрос и вообще был в точности такой же, как при прошлогодней встрече. Только загар стал, по-моему, еще сильнее, а волосы еще больше выгорели.

— Ну вот и опять встретились, — бодро проговорил я. — Как живешь, Сандалик?

— Хорошо... Все в порядке, — сказал он и опустил глаза. И закачал сумкой, которую держал за ремень (вот что, пожалуй, было у него нового: вместо прежнего ранца — синяя спортивная сумка с нашивкой в виде футбольного мяча; видимо, пятиклассникам носить ранец уже несолидно).

Я вдруг ощутил неловкость и понял, что не знаю, о чем говорить. А он тем более не знал.

Собственно, что у нас было за знакомство? Встреча, разговор о севастопольских бухтах да пара коротких писем. Наверно, Сандалик и не ждал, что я разыщу его...

Тогда я спросил наугад:

— А как поживает Тарасик?

Сандалик заулыбался, сразу по-другому глянул.

— Ой, он уже большущий! Все понимает. Даже букву «А» знает...

— Пойдем погуляем, — предложил я. — Уроки кончились? Вот и хорошо... Поговорим немножко.

Он кивнул и быстро надел на плечо ремень сумки. А я увидел лицо Юроса. Очень безразличное, очень равнодушное лицо. На нем так и читалось — будто крупными печатными буквами: «Ну и пожалуйста! Мне вот нисколько не интересны ваши дела...»

Я подмигнул ему: все, мол, в порядке. И Юрос не выдержал:

— А к нам вы сегодня зайдете?

— Зайду, — пообещал я. — Скажи маме и папе, что буду надоедать вам весь вечер. И расскажу тебе еще одну историю про черный клипер, когда тебя погонят спать...

— Меня уже давно не гоняют, — уязвленно сообщил Юрос нам вслед.

Мы с Сандаликом пошли через детский парк с его площадками и каруселями. Я сказал напрямик:

— Ты, может быть, удивляешься, что я разыскал тебя? А мне хотелось узнать, как у тебя сейчас дела.

Он помотал головой:

— Я не удивляюсь... Я вам два письма написал, да не отправил. Мама говорит: куда ты с таким почерком крючкова-тым! Перепиши. А переписывать уже... как-то неинтересно.

— Подумаешь, почерк! Жаль, что не отправил. Я даже не знал, что ты снова в этой школе. Как ты сюда попал?

— Очень просто! Мы поменялись: снова приехали в старую квартиру. А Люся, Гриша и Тарасик в нашу. Тарасику там лучше: вода горячая всегда и ясли есть рядом... Надо было сразу так сделать, да не догадались.

— Значит, сейчас все в порядке?

— Сейчас всем хорошо, — серьезно сказал Сандалик. — Всем на работу ближе ходить, а папе еще и в яхт-клуб... Он там зимой начал помогать своим знакомым, двигатель у них на яхте перебрал. А потом так и остался в экипаже. Матросом. Говорит: раз уж из рыбаков ушел, буду ходить под парусом. А то совсем высохну без моря.

— А почему его матросом взяли, а не механиком?

— Ну, и механиком... Но в гонки-то яхта не под мотором идет, двигатель под пломбой. А парусам всегда нужны матросы... Он уже в гонку на кубок Черного моря ходил.

— А мама, наверно, ворчит, что его теперь дома не дож-дешься...

Сандалик засмеялся:

— А вы откуда знаете?

— Это у всех одинаково.

— Она не сильно ворчит... Она только меня боялась первый раз отпускать с папой. А сейчас не боится, если даже сильный ветер.

— Если сильный, наверно, боится.

— Но отпускает... Ой, вон фруктовое мороженое! Вы любите? — Он так энергично зашарил в карманах, что мятые и перемазанные мелом шорты скособочились, а рубашка выби-лась из-под ремешка.

— Подожди, у меня полтинник есть.

— Нет, я сам! — Он умчался к тележке мороженщицы.

...Потом бродили мы по разным улицам, по Историческому бульвару, по Артиллерийской слободке. До вечера. Так, что даже ноги загудели. Наша общая неловкость растаяла с последними каплями фруктового мороженого, и мы болтали без стеснения. Вперемешку. Я рассказывал Сандалику о наших парусных гонках на таком далеком от Севастополя Верх-Исетском озере на Урале. И о съемках фильма «Хроника капитана Саньки», которые мы затеяли в Свердловске с ребятами из отряда «Каравелла». Санька говорил о своих делах.

Тогда-то я и узнал многое из того, что здесь написано...

Впрочем, написано, конечно, подробнее, чем Сандалик рассказывал. Кое о чем пришлось мне догадываться лишь по коротким Санькиным фразам. Поэтому пусть Санька не обижается, если на этих страницах я заставил его говорить и делать то, что говорил бы и делал сам, если бы превратился в севастопольского пятиклассника.

В конце концов, я пишу повесть и могу, как автор, пофантазировать. Кое-что добавить от себя. Думаю, что эти добавки не пойдут вразрез с характером Сандалика и он не станет придираться.

Ну а если захочет придраться кто-то другой, то предупреждаю сразу: в этой повести я изменил почти все имена, «сбил» расположение и номера школ и даже нарочно слегка перепутал даты. Потому что главное не в этом. Главное — Санька.

...Об одних случаях Санька рассказывал охотно, о других вообще молчал. Как он жил зимой, мне почти ничего не известно. Судя по всему, жил не очень весело, хотя и без больших неприятностей. С ребятами не ссорился, но и не дружил. С Димкой Турчаковым они как бы не замечали друг друга. По крайней мере, Санька его не замечал. Только где-то в феврале они сцепились в неожиданной и короткой драке.

Из-за чего? Толком не знаю, Санька неохотно сказал:

— Ну, он полез с каким-то разговором, а я говорю: отвяжись. Тогда он опять о Профессоре что-то сказал...

Их растащили тут же. Сан-Сама не стала писать в дневники и как-то тихо, утомленно сказала:

— Господи, вам-то что не живется? Что вас мир не берет?

Димка и Санька молча разошлись.

А через месяц Санька вернулся в старую школу, стал прежним Сандаликом, и веселые дни стремительно покатились к лету.

Лето было замечательным. Во-первых, Санька несколько раз ходил с отцом на яхте. Во-вторых, на неделю ездил с мамой в Москву. В-третьих, вообще было лето, было море, были бесконечные каникулы, игры со старыми друзьями-приятелями. Был обшарпанный, но легкий и быстрый велосипед...

И еще был Одиссей.

Когда Санька приезжал к Люсе, он обязательно заходил в Херсонес.

Приключения на берегу

Они с Одиссеем бродили по тесным переулкам и по площадям, лазили на верхние площадки крепостных башен, где добродушно ворчали на мальчишек старые воины. Они, эти воины, поворчат, а потом расскажут какую-нибудь историю про дальние походы, про осаду или про стычки с конными отрядами скифов...

Интересно и весело было на шумливом рынке, где в толпе хватало всякого народа: богачей в пестрых одеждах, и нищих в лохмотьях, и полуголых, костлявых рабов. Люди шумели, торговались, ругались, рассказывали новости. Звонко шелкали ногтями по бокам выставленных на продажу больших и маленьких амфор. Пахло рыбой и раздавленными фруктами...

В порту было тоже многолюдно. Рабы тащили на разукрашенные корабли тюки и громадные глиняные пифосы с зерном. Хриплые матросы шатались по пристани и рассказывали небылицы о заморских циклопах и сиренах...

Одиссей и Санька сновали между людьми, приглядывались ко всему и прислушивались. И никто не обращал внимания на Саньку, все думали, что он здешний.

Но однажды Одиссей сказал:

— Знаешь что... Ты только не обижайся... но лучше тебе пока не приходиться к нам.

— Почему? — огорчился Санька.

— Люди стали о чем-то догадываться. У нас есть кривой сосед по кличке Полифем, он пьяница и доносчик. Он меня

уже два раза спрашивал: «А что это за незнакомый мальчишка к тебе повадился?»

— Ну и что! Кому какое дело?

Одиссей помолчал и признался:

— Боюсь я... Если будут лишние подозрения, за мной станут следить и догадаются про мою тайну...

— Какую тайну? — удивился Санька. И даже обиделся. Оказывается, у Одиссея есть тайны, отдельные от него, от Саньки.

Одиссей виновато посопел и проговорил:

— Ты не думай, что я навсегда скрывал. Просто я хотел рассказать, когда все уже будет готово... Послушай, а твоя машина времени нормально работает?

— Конечно, нормально! Раз мы встречаемся... Ты про тайну давай.

— Сейчас... А в ней в любую сторону, то есть в любое время можно уехать?

— Не в любое, — вздохнул Санька. — Дальше нашего вперед не получается. А назад — пожалуйста.

— Далеко назад?

— Да сколько хочешь! Можно нарисовать на циферблате деления с миллионами лет, и пожалуйста — хоть к динозаврам.

— К кому?

— Да это я так... Потом объясню. А что за тайна?

Одиссей сел на камень и посадил рядом Саньку. К их ногам подкатилась шипучая волна. Одиссей подозрительно оглянулся. Но кругом было пустынно, они с Санькой встретились на этот раз не в городе, а за его стенами, на берегу скалистой бухточки.

Одиссей шепотом сказал:

— Я теперь нарушитель законов и заговорщик...

Оказалось, что Одиссей взялся помогать рабам (не проšli зря Санькины разговоры). У соседа, богатого винодела, есть среди рабов целая семья: отец, мать, двое дочерей и сын — ровесник Одиссея. Зовут его Филипп. Они с Одиссеем тайные приятели. Тайные, потому что свободному мальчику дружить с презренным рабом не полагается. Не то чтобы закон это специально запрещал, но все смотрят на такую дружбу косо, и дома за это может крепко влететь... Но Одиссею Фи-

липп всегда нравился, он веселый, добрый и сообразительный. Гораздо умнее многих ребят, с которыми Одиссей учился в школе. Одиссей часто играл с ним, когда поблизости не было непрощенных глаз и ушей. Он даже научил Филиппа грамоте...

До недавнего времени Филиппу и его родным жилось не так уж плохо. Они были у винодела, можно сказать, любимцами. Мать ведала в доме кухней, отец был старшим над другими рабами. Ребятишек непосильной работой не загружали и за мелкие шалости не наказывали.

Но недавно случилась беда. Из Греции (чуть ли не из самих Афин) прибыла в херсонесский театр актерская труппа. На гастроли. И ее хозяину приглянулся ловкий и грамотный Филипп. Хозяин решил, что такой мальчишка будет очень полезен для театра. Он предложил виноделу за Филиппа порядочную сумму.

Мать зарыдала, сестры тоже, отец кинулся умолять винодела. Тот любил иногда строить из себя добряка и сперва отказался продать Филиппа. Но хозяин театра добавил еще денег. И винодел сказал:

— Нечего лить слезы. Здесь мальчишка растет баловнем и бездельником, а там научится уму-разуму...

Больше никакие мольбы не помогли. Отца и мать Филиппа винодел отправил в загородную усадьбу. А его самого посадил под замок в сторожку, чтобы мальчишка не вздумал удрать куда-нибудь, пока не получены деньги и пока театр не покинул славный Херсонес Таврический.

Удрать из сторожки — дело нехитрое. Тут и сестры Филиппа помогут. Но куда потом деваться? Податься в степь и сделаться пленником у скифов? Или пробраться на корабль, плывущий в дальние страны? Там все равно продадут в рабство. И отца с матерью жалко, и девчонок...

Одиссей сказал Саньке:

— Вот я и подумал: давай твоей машиной отвезем их в самые старые времена, когда здесь еще не было греков, а жили одни свободные тавры...

— А тавры их не захватят в рабство?

Одиссей нерешительно сказал:

— Да нет... У них, по-моему, не было рабов, они же еще не

очень развитые... Отец Филиппа будет учить их всякому ремеслу. Потом всей семьей построят дом, заведут виноградники, станут жить свободно...

— Давай! — решительно сказал Санька.

Они с Одиссеем договорились встречаться только на берегу моря. Не в Одиссеевом времени, не в Санькином, а просто у Моря. Потому что Море — оно во все времена. Вечное.

Надо было подготовить побег. Одиссей сказал, что проберется в загородную усадьбу винодела и приведет оттуда отца и мать Филиппа. Затем освободит самого Филиппа и прихватит его сестренку. А потом на берегу они с Санькой включают машину. Примерно на пять тысяч лет назад...

Только надо все продумать. Выбрать подходящий день, приготовить в дорогу кое-какое имущество, еду, инструменты. А то в первые дни среди голой степи беглецам придется несладко.

— Давай встречаться в маленькой бухточке, где... ну, ты знаешь, — предложил Санька.

Бухточка была даже не бухточка, а закуток среди желтых скал. Недалеко от галечного пляжа и колокола. Это углубление в обрывистом, слоистом берегу выломали зимние штормы. Здесь тоже был пляжик — уютный, размером с комнату. Но люди сюда почти не заглядывали. Попасть в этот затененный, пахнущий йодистыми водорослями и сырым ракушечником уголок можно было только в обход отвесного мыса, по скользким, покрытым зеленью камням. Камни даже в тихую погоду заливало мелкой прозрачной зыбью. А если волна, лучше и не соваться.

С обрывистого берега не вело ни лесенки, ни тропинки, и на спуск могли решиться только отчаянные люди. А если и спустишься, как подняться?

К счастью, погода в начале августа стояла тихая. Санька пробирался по камням без больших трудов. С последнего плоского камня он прыгал на берег и шагал, увязая мокрыми ке-

дами в гудах бурых водорослей, которые накидало волнами. По водорослям сотнями скакали прозрачные морские блохи...

В желтой, источенной морем и ветрами глыбе на уровне поднятой руки у Саньки и Одиссея был «почтовый ящик». Аккуратное такое углубление, как потайная полочка. Одиссей на встрече теперь не приходил, но оставлял для Саньки письма. Вернее, не письма, а условные знаки — гладкие каменные голыши. Если темный голыш, значит: «Надо быть осторожными, за мной следят». Если белый, мраморный, значит: «Дело идет на лад».

Конечно, Санька сам подкладывал голыши, но потом, когда снова пробирался в бухточку, почти забывал об этом. Забывал, что игра. И сердце стучало, когда он запускал руку в тайник...

...Он, прижимаясь грудью к прохладному ракушечнику, встал на цыпочки и сунул в «почтовый ящик» пальцы. Сейчас они нащупают гладкий мраморный окатыш. Надо будет не глядя кинуть его в море, потому что считается, что этого камня с Санькиным письмом там уже нет, его взял Одиссей и прочитал нацарапанные грифелем строчки:

«Машина времени готова. Скоро вы соберетесь или нет? Положи столько черных камешков, сколько дней осталось до побега».

Три темные гальки лежали у Саньки в кармане. Сейчас он положит их в тайник, а завтра, волнуясь по-настоящему, найдет здесь этот ответ Одиссея.

Надо только выкинуть голыш с письмом... Где он?

Санька зашевелил пальцами в каменном углублении. Круглого большого голыша не было. Зато нащупал он два камешка.

Санька растерянно взял их на ладонь.

Это были гальки. Темно-серые, с белыми прожилками. Такие же, как в Санькином кармане.

Значит, Одиссей прочитал письмо и уже принес ответ? Сам?

Какой Одиссей? Опомнись, Санька...

С полминуты Санька озадаченно разглядывал камешки. Потом почему-то испугался. Завертел головой: кто здесь?

Никого не было ни на пляжике, ни на обрыве. Но ведь кто-то же выследил, разгадал Санькину тайну, влез в их с Одиссеем дела! Кто?

И зачем? Чтобы посмеяться?

«А может, он ничего плохого не хочет?» — подумал Санька.

Да, в самом деле. Не у всех же только дразнилки на уме. Может, кто-то случайно нашел Санькино письмо и тоже решил поиграть...

Санька нашарил в кармане карандашный грифель. Поднял гладкий черепок старинной посуды, вытер о рубашку. Почему-то застеснялся и почти через силу написал на черепке:

«Ты кто?»

Он оставил свой вопрос (и свое удивление, и непонятное смущение) в тайнике, выбрался из бухточки, а потом несколько раз в течение дня пробирался к ней поверху и следил: не появится ли таинственный человек?

Никого не было.

— Фаня, тавай кхатъ, — сказал Тарасик. Это означало: «Саня, давай играть». Санька послушно опустился на четвереньки. Тарасик признавал только такую игру, когда он — всадник, а Санька — конь. При небольшой скорости Тарасик сохранял важность, но начинал испуганно и радостно верещать, когда Санька переходил на рысь. Люся покрякивала на них по привычке и сама смеялась.

А Гриша снова был на учениях...

Наконец Санька ощутил спиной подозрительную влажность.

— Люся, у него опять штаны мокрые!

— Стыд какой! — Люся сдернула «всадника». — Большой парень уже... Как теперь Саня домой пойдет!

— Ладно, высохнет, — сказал Санька.

— А может, у нас переночуешь? — предложила Люся.

— Пойду, — вздохнул Санька.

— Послушай, а чего ты... какой-то не такой сегодня?

— Нет, я такой, — поспешно отозвался Санька. — Я в порядке.

А на самом деле в нем сидело ощущение тайны и тревож-

ного праздника. Ожидание необычного знакомства. Играл Санька с Тарасиком, разговаривал с Люсей, потом ехал домой в тесном троллейбусе, потом вечером книжку читал про полет на ужасно далекую звезду, а это ожидание не проходило. И неотступно вертелась мысль: «Кто он? Кто он?» Санька был уверен, что завтра получит ответ.

...И он ужасно огорчился и даже растерялся, когда пальцы его нащупали в тайнике глиняный черепок. Тот самый.

Санька несколько раз перечитал на черепке свой собственный вопрос: «Кто ты?» Потом поник плечами, потерянно сел на камень, а черепок отбросил. Тот перевернулся. И тогда-то Санька увидел на обратной стороне аккуратные черные буквы:

«Я твой друг. Приходи сюда завтра в полдень».

...И еще сутки звенело в Саньке радостное нетерпение.

Тайна звенела и ожидание праздника. «Я твой друг...» Может, и в самом деле друг? Не такой, как Одиссей, а... ну, в общем, нынешний, постоянный, не из древних времен.

Конечно, с одноклассниками и с приятелями из соседних домов Саньке хорошо. Но... если по правде говорить, не очень-то они горевали, когда Санька уехал в Стрелецк. Вернулся — обрадовались, а пока его не было, наверно, и не вспоминали. Или так вспоминали, между прочим. Даже Митька Данков ни разу не собрался заехать в гости, хотя и обещал осенью... Ребята, конечно, не виноваты, такая уж человеческая жизнь. Но насколько эта жизнь была бы лучше, если бы с кем-нибудь подружиться накрепко и на веки вечные...

Санька трогал в кармане выпуклый черепок, улыбался и тихонько говорил:

— Ладно, я приду...

Он пришел, а море закапризничало. Почему-то не хотело пустить Саньку на встречу с незнакомым другом. Может быть, приревновало к Одиссею?

Нет, оно не хмурилось, не штормило, день стоял безоблачный, синий. Но шла на берег ленивая волна, по пляжам вытягивались пенные языки, гальку слегка перемывало, зеленая вода перекатывалась через камни, и у них вскипали гре-

бешки. Этого было достаточно, чтобы сделать бухточку с тайником недоступной.

Но как это недоступной? Зря, что ли, Санька шел?

А если друг уже добрался туда и ждет?!

Санька промчался над обрывом и заглянул в бухточку сверху. Там было пусто. Но еще, наверно, рано. Он придет и увидит, что Саньки нет. Тогда что?

А может, в тайнике лежит для Саньки новое письмо?

Санька просто заметался. Ждать здесь? Но как они с незнакомцем друг друга узнают? Спуститься с обрыва? Ну... Санька же не альпинист. И хотя бы веревка была...

А может, все-таки пробраться по камням?

Санька по бетонной лесенке сбежал на пустой пляж под колоколом. Ярко-желтый от солнца мыс — неровный, с обглоданными горизонтальными пластами камня — закрывал от Саньки его бухточку. Камни тянулись вдоль этого скалистого выступа, и весь путь по ним был метров пятьдесят. Волны то откатывались, то накрывали камни будто полуметровым слоем стекла. И тогда у обрыва взлетали брызги.

Но были моменты, когда море делало передышку. Волны становились слабенькими и словно приглашали Саньку: «А ну, рискни. Видишь, мы совсем безобидные».

И, конечно, он рискнул. Просто ничего другого не оставалось. Переждал Санька очередной накат крупных волн и прыгнул на первый камень. На второй, на третий...

Залило кеды, но это ерунда. Наверно, он проскочит. Скользя, балансируя, хватаясь за ребра скалы, Санька шагал и прыгал по облепленным зеленью плитам и верхушкам камней. Над ним нависали козырьки обрыва. Берег был в тени, и от него больше, чем от моря, несло соленой сыростью.

Море перехитрило Саньку. Сперва оно только слегка пугало его, заливало ноги по шиколотку, но вдруг подкатило плоскую, без гребня, волну, и вода сразу оказалась выше колен. Она, эта упругая вода, толкнула Санькины ноги к берегу, потом отступила и сильно потянула их за собой. Хорошо, что Санька стоял на плоском шероховатом камне. Он замахал руками, вцепился в щель на скале и удержался. Но тут же поднялась другая волна — Саньке по пояс. Она мягко, но властно качнула Саньку к обрыву, и он трахнулся плечом и голо-

вой. Но снова успел вцепиться. Однако это не помогло. Уходя, волна рванула Санькины ноги за собой, он не удержался. Вода поволокла его от берега. Он упал на спину и застрял в камнях.

Волна откатилась. Тело сразу отяжелело и застонало от ссадин и ушибов. Но Санька вскочил и рванулся вперед. Сейчас уже было не до игрушек, речь шла о его, Санькином, спасении.

А море шутило с мальчишкой опасные шутки. Такое ласковое, синее вдаль, оно подогнало к берегу волну выше прежних. Волна эта играючи сняла Саньку с камня, приподняла и ударила о скалистую стенку со слепой, нерассчитанной силой. Рядом крыльями взметнулись брызги. А волна с насмешливой легкостью, даже с ласковостью, отнесла обалдевшего Саньку от скалы метров на пять. На глубину.

И он понял, что теперь надо только одно: подальше от берега! Если его еще раз так грохнет, руки-ноги переломает!

Санька замолотил руками, рванулся от обрыва, нырнул под новый накатившийся гребень. Этот водяной вал опять поднес его к обрыву, но Санька оттолкнулся от скалы ступнями и, забыв про боль от ушибов, поплыл вразмашку. Скорее, скорее!

Следующая волна то ли пожалела его, то ли была послабее. А может, он и правда успел отплыть далеко. В общем, о скалу его больше не било. Но Санька все махал и махал руками, пока не выдохся.

Наконец он остановился. Очередной гребень приподнял Саньку, он оглянулся. Можно было возвращаться. Надо взять чуть левее, и волны сами выкатят его на пляжик в их с Одиссеем бухточке. Санька отдышался, отплевываясь от горькой воды, и метров двадцать неторопливо плыл вдоль берега. Берег был совсем недалеко, но волны теперь не толкали к нему Саньку. Они лишь покачивали мальчишку, который перехитрил их, словно просили прощенья за слишком жестокую игру.

Санька повернул к бухточке. Он по-прежнему плыл не торопясь. Волны сами должны были помочь ему. Они сделались ласковыми и послушными, теплые такие, мягкие. Правда, в тихой мягкости и ласковости начали болеть отбитые

места и царапины. Однако Санька знал: это пройдет. Вот выберется он на берег, потрет синяки и шишки, разомнет стукнутое плечо... Сейчас...

Но берег не делался ближе.

Совсем недалеко был берег, но... он нисколько не приближался. А может быть, даже отодвигался потихоньку.

Когда Санька понял это, он сперва просто удивился. Но почти сразу чуть не захлебнулся от удара страхом. Он вспомнил разговоры о коварстве прибрежной волны, которая вроде бы толкает к земле, а на самом деле потихоньку относит пловца в море.

Санька не был умелым пловцом. Конечно, он еще в дошкольном давнем детстве научился не бояться воды, нырять с открытыми глазами, плавать вразмашку и брассом, качаться на волнах, но он никогда не заплывал далеко. Сколько он сейчас продержится? Сразу Санька почувствовал, какие тяжелые кеды, как мешает рубашка... Что же будет?

«Ну-ка, без паники!» — велел себе Санька. Перевернулся на спину, чтобы отдохнуть. Но тут же небольшой, почти шуточный гребешок плеснул ему в глаза и в рот. Санька закашлялся, ушел под волну. Его перепуганное сердце забухало с такой силой, что под водой он услышал будто гулкие удары молотка. Рванулся вверх.

Да что это?! Так глупо, ни за что потонуть рядом с берегом? В такой солнечный день, когда так все хорошо кругом? Вон яхта бежит под цветным пузатым спинакером, вон в ста метрах резвятся у камней аквалангисты, вон туристы и всякие купальщики-загоральщики на глыбах, рядом с колоннами базилики...

Крикнуть? Стыдно... Да и не услышат за волнами.

Тогда он пружиной распрямил тело, бросил его вперед, отчаянно заработал руками и ногами. Еще, еще, еще! Изо всех сил!

И волны словно поняли, что их коварство не удалось. А может, они просто шутили, и теперь им стало неловко. Они принялись помогать Саньке. И скоро шумливый гребень выкатил его, измученного и побитого, на мокрую гальку.

Санька прокатился подальше от воды, к самой скале, потом сел.

Ух как болели руки, плечи, лоб. И сердце все еще бухало. Но страха уже не было, осталась от него только противная слабость. Санька, постанывая, встал. Оглянулся. Он был здесь один. А ведь наверняка уже есть двенадцать часов.

Боль сразу притупилась, стала неглавной. Главной сделалась тревога: значит, он не пришел.

А может быть, есть письмо?

Санька дотянулся до тайника. Нашупал круглый камень размером со свою ладонь. Выхватил его.

Это был кусок сахарно-белого мрамора. Когда-то он откололся от статуи или колонны, а за тысячи лет волны превратили его в отполированный кругляш.

Тонким черным фломастером печатными буквами на кругляше было написано:

«Приходи ко мне! Мой адрес...»

Санька озадаченно смотрел на черные строчки. Улица в этом адресе была знакомая. Она лежала неподалеку, в двух кварталах от Люсиного дома. Номер квартиры большой. Значит, незнакомец живет в новых корпусах. Санька отчетливо представил многоэтажные громады, и эта привычная картина разбила тайну. Санька растерянно и устало опустил руки (они сразу заболели).

Нет, не такого события он ждал.

А чего он, собственно, ждал! Не Одиссея же, в конце концов! Да, но и не такой скучной записки... Он думал, что незнакомец придет сам. Конечно, это будет мальчишка, взрослые такими тайнами не занимаются. Мальчишка будет, наверно, молчаливый, серьезный. Санька, не промолвив ни слова, покажет ему черепок с прежним письмом: «Ты кто?» — «Я твой друг...» Тогда мальчишка чуть-чуть улыбнется, и Санька улыбнется. И это будет как пароль...

А вместо этого — адрес.

Не пойдет Санька. Если бы тот мальчишка хотел, он пришел бы сюда сам. Наверно, кто-то решил просто посмеяться, поводить Саньку за нос. Позвонит Санька перед незнакомой дверью, а там свирепая старуха: «Опять за макулатурой! Осторотели, окаянные!» Или какая-нибудь девчонка в бантиках: «Мальчик, вам кого?»

И все же Санька не бросил камень. Он сунул его в мокрый

карман. Поежился. Здесь была влажная тень, одежда зябко липла к коже. Волна пенистыми языками подползла к ногам и заставила отступить. Эта волна будто напоминала: «Если море раскачается посильнее, здесь будет опасно».

И только теперь Санька подумал: а как выбраться?

Плыть обратно он ни за что не решится. А наверх забраться можно только до середины. Дальше — ровный отвес и каменный козырек.

Санька обвел глазами этот козырек — устало, досадливо и беспомощно. Зубчатая кромка обрыва казалась черной на солнечном небе. Санька сощурился.

И тогда... из-за кромки выдвинулась голова в странной шляпе и узкие плечи.

Санькин ответ

Санька распахнул глаза. Силуэт шевельнулся.

— Эй! — долетел сверху мальчишечий голос. — Ты уже здесь?

— Да! — радостно сказал Санька. — Да, это я!

Он тут же забыл свою досаду. К нему вернулось ожидание праздника. Потому что незнакомый друг пришел!

Все будет как мечталось!

— Я сейчас брошу веревку с узлами! — крикнул мальчишка. — По ней легко забраться! Сможешь?

— Да! — опять сказал Санька с нетерпеливой радостью. — Да!

Белый капроновый трос упал к Саньке. Он был толщиной в палец, с частыми крупными узлами.

— Я его здесь крепко привязал, не бойся, — говорил наверху мальчишка в шляпе. — Он не сорвется.

Санька не боялся. Конечно, его новый друг привязал веревку намертво. Конечно, все будет отлично!

Хватаясь за узловатый трос, как за поручень трапа, Санька по каменным выступам за полминуты вскарабкался до половины высоты. Потом полез по самой веревке. Да чего тут лезть-то? Будто по лесенке! Узлы — как ступеньки... Ну крутнулся разок, ну стукнулся локтем о скалистую стенку. Подумаешь! Вот и верх... Мальчишка схватил Саньку за руку, за

рубашку, потянул... И вот они рядом! Сидят они в траве и смеются. Санька смеется, и...

И Димка Турчаков смеется.

У Саньки опять заболели все синяки и ссадины. И кости заломило. Как только он узнал Димку.

А узнал не сразу. Из-за шляпы. Это была шляпа, какие носят на Юге солдаты. От полей падала на загорелое лицо густая тень.

Из этой тени и глянули на Саньку Димкины глаза. Продолговатые, желтые, такие ненавидистые...

— Шпион, — сказал Санька. Это первое, что он сказал. И подумал: «Только бы не разреветься». Стало до жути обидно и как-то очень пусто. Словно украли у Саньки все, что было хорошего.

Морщась от боли, Санька встал. Димка тоже поднялся — неловко и торопливо. Он был в зеленой рубашке, в брюках защитного цвета. «Вырядился под пограничника, а на самом деле...» — подумал Санька. И опять сказал:

— Шпион...

— Почему? — тихо спросил Димка.

Надо же, он еще спрашивал! Выследил Саньку, влез в его тайну, подложил обманное письмо, а теперь...

— Потому что ты такой... — сказал Санька и глотком загнал злые слезы поглубже. — Потому что ты...

Димка сощурил глаза — то ли обиженно, то ли сердито, — но вдруг опустил голову и проговорил совсем шепотом:

— Какой?

Санька не стал объяснять. И ругаться не стал. Вынул из кармана мраморный голыш с размазанными от сырости буквами и презрительно спросил:

— Это ты писал?

Димка не заметил презрительности. Он, кажется, обрадовался:

— Да! Я подумал, что вдруг мы здесь не встретимся, тогда ты ко мне придешь.

«Чтобы ты опять поиздевался», — подумал Санька. Но отозвался почти спокойно:

— Зачем?

Димка глянул исподлобья. Сказал с запинкой:

— Ну, я думал... может, ты уже не злишься... на меня.

Санька помолчал. Димка был другой какой-то, не тот, что в классе. Но все равно он был враг Турчаков, и обида на его подлое шпионство у Саньки не прошла.

Медленно и обстоятельно Санька разъяснил:

— Я, Турчаков, и не злился на тебя после того, как из вашей школы ушел. Я тебя даже и не вспоминал... Я про хорошее вспоминать люблю, а про таких, как ты, зачем?

Димка пнул камешек и сказал вполголоса:

— Ну и ладно...

То, что он не злился в ответ, еще больше раздосадовало Саньку.

— Я бы тебя вообще никогда не вспомнил, — добавил Санька тихо и непримиримо, — если бы ты не занялся шпионством.

— Да это не шпионство! Просто я играл! Ты играл, и я тоже...

— А я тебя в свою игру звал?!

— Не звал... — вздохнул Димка. Сжал губы и стал смотреть в сторону. — Я думал, нам обоим интересно будет. Я же не для того следил за тобой, чтобы навредить. Я наоборот...

— Ага, — невесело усмехнулся Санька. — Ты всегда мне делал «наоборот».

— Я не виноват, что так получалось...

— А кто виноват? Я?

— Да нет... я, конечно, — выдавил Димка. — Только я не нарочно.

Санька молчал. Боль в руках и ногах опять приутихла, одежда стремительно высыхала под полуденным солнцем. Санька с каждой минутой делался уверенней и тверже. И спокойнее. Он был сейчас сильнее странного, смущенного Турчакова. В душе сильнее. Димка встретился с ним глазами, опять отвернулся и сбивчиво объяснил:

— У меня характер такой... Я в том году сперва даже обрадовался, когда нас за одну парту посадили, а потом как-то стало получаться, что тебе назло...

Санька презрительно сказал:

— Как в первом классе...

Димка вопросительно поднял глаза. Санька, усмехаясь, объяснил:

— Я в какой-то книжке читал, что у первоклассников, если девчонка мальчишке нравится, он ее толкает и за косы дергает... Только я же не девчонка, и мы не в первом классе... И вообще это вранье. Зачем человеку вредить, если ты к нему по-хорошему!

Но Димка упрямо сказал:

— Я не хотел ссориться. Это само...

— Это не само. Тебе хотелось перед ребятами похваляться. Показать, какой ловкий и остроумный. Других нельзя было задевать, они там все свои, а меня можно. Да?

Димка опустил голову:

— Я же потом не стал...

— Ага. После драки.

— Да не в драке дело. Если бы я хотел, я бы сразу тебя свалил. Ты же после болезни был...

— Ах какой благородный Дима Турчаков, — усмехнулся Санька почти без ехидства. Даже печально.

— Нет, я не благородный... А ты тоже...

— Что — я? — окрысился Санька. — Я кого-нибудь задевал?!

— Я же не про это говорю... Просто ты не понимаешь. Если бы ты не ушел из класса, все теперь было бы хорошо.

— А мне и так хорошо, — совершенно искренне сказал Санька. — Мне сейчас в сто раз лучше, чем тогда.

— Тебе-то конечно... А ребята жалели, что ты уехал. И даже Сан-Сама.

— Ну и врешь же ты, Турчаков! — изумился Санька.

— Не вру, — вздохнул он.

— Жалели, что дразнить некого.

— Да ты вспомни! Тебя потом никто уже и не дразнил!

— Но это было «потом», — грустно проговорил Санька. — И хорошо, что все кончилось. Я теперь мимо вашей школы и близко не хожу.

— Ну и не ходи, — покладисто сказал Димка.

— Ну и не хожу! У нас знаешь какой класс! Попал бы ты к нам...

— Это же все равно, — вполголоса произнес Димка. Он опять смотрел куда-то мимо Саньки, быстро облизывал губы, и лицо у него было непонятное. — Это же совсем все равно...

— Что все равно? — с сердитым непониманием сказал Санька.

— Ну... если люди подружатся, это же неважно, что они в разных школах.

— Так это же если подружатся, — тихо, но неумолимо сказал Санька.

И отвернулся. И пошел.

Обиднее всего было, что нахальный этот Димка пролез в их с Одиссеем тайные дела, узнал про «почтовый ящик» и теперь может хихикать и разбалтывать чужие секреты.

Нет, не будет он разбалтывать — Санька это понимал. Во-первых, Димка ничего, конечно, в Санькиных и Одиссеевых секретах не понял. Во-вторых... Санька чувствовал спиной Димкин взгляд, и во взгляде этом не было ни угрозы, ни вражды. Печаль только была. А может быть, и слезы были... Ну что же, поплачь, Димочка, твоя очередь.

Санька шел по краю обрыва все быстрее, словно старался оторваться от Димкиного взгляда. Потом рассердился: что он, убегает, что ли, от Турчакова? Остановился и вдруг заметил, что все еще сжимает в пальцах камень с Димкиным адресом. Санька покачал круглый камень в ладони, перечитал за чем-то полуразмытые строчки и швырнул мраморный окатыш в море.

После встречи с Димкой играть в Херсонесе Саньке уже не очень хотелось. Как-то потускнели тайны. Все казалось, что чужие глаза следят за ним. И хотя Димка больше не встречался, Саньке было не по себе.

Но свое дело с Одиссеем они довели до конца: быстро и без всяких затруднений отправили мальчика Филиппа и его семью в глубокое прошлое, к свободным таврам. А потом Одиссей ушел в далекое плавание с отцом: надо было привыкаться к будущей моряцкой работе.

А Санька понемногу начал готовиться к школе и привыкать к мысли, что каникулы кончаются.

...Но до школы случилось еще одно важное событие. В море.

Шквал

Санька уже несколько раз выходил с отцом в море. На яхте «Кодор». Конечно, не только с отцом, а с экипажем в пять-шесть человек. Яхта была большая — с кубриком, камбузом и машинным отделением. В слабый ветер она двигалась медленно, а когда закипали барашки, бежала резво, с лихим крепким и бурунами у форштевня.

В крепкий ветер Санька не попадал ни разу (это лишь мама любой ветерок считала сильным). В тот августовский выходной дуло тоже так себе. Правда, по клубному радио пообещали, что во второй половине дня ожидается усиление ветра, но «добро» на выход дали. Никто не тревожился и в усиление ветра особенно не верил. Такие предупреждения делались и раньше — видимо, на всякий случай.

Но когда возвращались от устья Качи и уже прошли Учкеевку, засвежело неожиданно и крепко. При ясном небе. Яхта сразу резко легла на левый борт, у носа вздулись пенные усы.

— Грот потравите, черти! — громко сказал капитан дядя Сережа. Тонко запели блоки гика-шкота.

Санька стоял на подветренном борту. Он вдруг увидел, что зеленая вода приблизилась вплотную и мчится у самых его ног. Потом яхту подняло на гребень и опустило снова. Санька вцепился в стальную трубку релинга.

— Петрович, обряди-ка юнгу в жилет, — вроде бы шутя сказал дядя Сережа. — Смоет самого главного человека — будет некомплект...

У Саньки заохлодело под желудком, и он без споров дал отцу застегнуть на себе надувной жилет (от которого неприятно и тревожно пахло резиной).

— Иди-ка на тот борт, — сказал папа.

Санька на четвереньках через рубку выбрался к противоположному борту. Яхта взлетела и пошла вниз опять. Ее и раньше качало, но не так, без угрозы. И не было тогда летучей пены, которая теперь шмякнула Саньке в лицо. Санька снова вцепился в поручень.

Ничего особо страшного не случилось. Никакое крушение, конечно, не грозило. Просто Санька впервые ощутил, какое оно всемогущее, море, и как шутя кидает яхту в ладо-

нях. Такую большую, тяжелую, которая совсем недавно казалась надежной, как линкор.

Ветер нарастал, негромко и басовито запели ванты и штаги. «А крен-то...» — подумал Санька.

В двух кабельтовых с таким же креном летел «Орион» с громадными треугольниками парусов...

Они были на траверзе Константиновского равелина, когда Санька услышал дяди-Серезину команду:

— К повороту фордевинд...

Один из матросов сказал что-то неразборчивое. Дядя Сереза ответил:

— Людей-то смешить... Повернем.

Рядом с Санькой остановились двое: отец и молодой студент Миша. Отец взял Саньку за жилет. Яхта вдруг круто пошла влево. Стальное бревно гика по размашистому полукругу пронеслось над головами и грянуло по вантам правого борта.

— Вы что спите! Почему не сдержали?! — отчаянно заорал дядя Сереза. — К медузам захотели?

Яхта вздрогнула и загудела, как громадная гитара, которую уронили на бетон.

Правый борт стремительно клонился к воде, и она залила палубу, Санькины ноги. И было ясно, что этот неудержимый крен будет нарастать и «Кодор» уйдет в воду совсем. Сейчас!

Санька вцепился в отца и завопил:

— Папа!!

— Ты что?! — крикнул отец.

Яхта медленно выпрямлялась.

Дядя Сереза сказал от штурвала:

— Петрович, наветренный стаксель-шкот потрави. Кроме тебя, тут все салаги.

«Салаги» нерешительно хихикали. Отец оттолкнул Саньку к Мише и шагнул к лебедке стаксель-шкота.

«Кодор» полным курсом мчался к проходу в портовых бонах. Он звенел от ветра. Но это был уже не опасный звон. Санька рванулся из Мишиных рук и, коченея от стыда, замер у релинга...

Потом, когда ошвартовались у бочки под защитой Александровского мыса, Санька помогал убирать паруса, сматывал шкоты, но никому в глаза не глядел. Только в палубу глядел.

Папа сказал:

— Ну, хватит уж переживать.

Дядя Сереза спросил:

— Что закручинился, гардемарин?

Санька краснел и сопел.

— Перепугался маленько, а теперь страдает, — сказал папа.

— Ну и что за беда? — усмехнулся дядя Сереза. — Я и сам перепугался. Думал, мачта полетит.

Со стыдом и беспощадностью к себе Санька проговорил:

— Вы думали — мачта, а я думал, что потонем.

— Вот беда-то! — опять возразил дядя Сереза. — Спроси отца, сколько раз каждый моряк думал, что потонет! Это с каждым случается.

— Но любой не орет, как я, — добивая себя за трусость, сказал Санька.

— А разве ты орал? — удивился дядя Сереза. — Петрович, он разве кричал что-то?

— Я не слышал, — сказал папа.

— Саня, это ты, наверно, мысленно крикнул. — Дядя Сереза похлопал его по плечу. — Это ничего, бывает...

Но Санька себя казнил до конца:

— «Мысленно»! На все Черное море...

— Ты вот что скажи... — Дядя Сереза стал серьезным. — Ты так испугался, что больше не пойдешь с нами? Или пойдешь?

Санька с надеждой глянул в бородатое коричневое лицо капитана.

— А возьмете?

Дядя Сереза и отец засмеялись.

Санька подумал, повздыхал и тоже улыбнулся.

Но вечером, уже в постели, он думал, засыпая: «Это даже и не шторм, а так, шквал небольшой... А как же было там, на «Везуле»?»

Девятый бастион

Ночью разгулялся ветер. Утро было без дождя, теплое, но облачное. Ветер градом сыпал на асфальт созревшие каштаны, срывал с акаций мелкую чешую листьев, а большие под-

сохшие листья платанов (похожие на игрушечные дельтаплатаны) кружил над мостовыми и чиркал ими по скользким крышам разноцветных машин. Облака были быстрые и неплотные, мелькало чистое небо.

С причала у Графской пристани я поехал на катере на Северную сторону. Там надо было встретиться с ребятами в одном школьном музее. Катер сильно болтало. А за грядой волнолома вздымались белые взрывы прибоя. К Константиновскому равелину неслись из открытого моря белогривые табуны громадных волн.

Я подумал, что, если шторм еще поднажмет, рейд, чего доброго, закроют. Добирайся тогда в центр города вокруг бухты, через Инкерман...

Эта беспокойная мысль царапала меня все время, пока шел разговор в музее. И к причалу на Северной я возвращался с тревогой. К счастью, катера ходили. Но болтало их так, что было даже удивительно: почему рейд все еще открыт? Палубу захлестывало, немногочисленные пассажиры укрывались в салоне...

В гостинице пожилая добродушная дежурная сказала мне:

— К вам тут мальчики приходили. Цветы принесли да еще что-то... Я вам в номер унесла.

— Что за мальчики?

— Двое, небольшие такие, с портфелями... Сказали, что еще, может быть, придут.

В номере в бутылке из-под кефира стояли три пунцовых георгина каждый размером чуть не с арбуз. А рядом лежали на столе несколько раковин-рапан. Одна очень большая, с кулак. Оранжевая внутренность рапан еще пахла морем, там был мокрый песок. На бугорчатых серых боках — зеленые нитки водорослей.

Раковины я вымыл под краном. В двух оказались глубоко спрятавшиеся моллюски. Я пожалел живых тварей и решил потом выкинуть эти две раковины в море.

В дверь постучали.

— Вот они, гости-то, опять припрыгали, — сказала дежурная.

Смущенно посапывая и улыбаясь, в дверь проникли Санька и Юрос. Разом сказали «здрассте».

Я обрадовался и удивился. Удивился, что они вместе. При первой встрече мне показалось, что Юрос глядел на Саньку с ревнивой подозрительностью. И я знал, что прежде они были едва-едва знакомы.

Может, и сейчас Юрос увязался за Сандаликом из ревности? Или из принципа: почему, мол, этот идет, а мне нельзя?

Но нет, они смотрели друг на друга по-хорошему. А на меня весело, но капельку виновато: все-таки непрошенные гости.

— По берегу шастали? — спросил я.

Мягкие длинные брючины Юроса снизу промокли, Санькины кеды и носки тоже сырые, а на поцарапанных ногах те же нитки водорослей, что на раковинах.

— Ага, — выдохнули Санька и Юрос вместе. Юрос полез в нагрудный кармашек и вытащил громадную крабью клешню. — Вот... Там, за Хрусталкой, много чего накидало волнами. И раковины, и это... Это тоже вам.

— Спасибо... Какая кусачая лапа!.. И за раковины спасибо, и за цветы... Где вы такие большущие георгины добыли? Их-то, наверно, не море выбросило?

— Не, — сказал Санька. — Это в школе...

— Сегодня сбор, ветераны придут, — разъяснил Юрос. — Там для них целые клумбы нанесли.

— Ничего себе, — хмыкнул я. — Значит, эти цветы... как бы это выразиться? Не совсем для меня были предназначены?

— Мы же не стащили! — сказали они разом и одинаково раскрыли честные глаза.

— Мы попросили, потому что там все равно целый воз! — объяснил Юрос.

— Да, нам дали, — подтвердил Санька.

А я вдруг заметил, что они похожи. Совершенно разные: темноволосый, с глазами-углями, весь какой-то колючий чертенок Роська и светлоголовый, сероглазый, всегда немного смущенный Сандалик. Чем все-таки похожи? Может, одинаковостью интонаций, когда начинают говорить разом? Или уверенностью и легкостью движений и смелостью глаз (у Саньки, несмотря на его стеснительность) — тем, чем отличаются многие севастопольские мальчишки? Или еще какой-то неуловимой пока общностью?

Я их усадил на кровать и попросил дежурную принести чаю.

— А чего это вас, голубчики, понесло на берег? Уроки ведь...

Они наперебой рассказали, что уроки сегодня наполовину отменили, потому что сбор. И они пошли посмотреть, какой прибой. А на берегу свист, брызги, шум. У клуба яхты пляшут у причальных бочек, как черти в аду (это Юрос, конечно, сказал), и одну чуть не сорвало...

Они набрали раковин, прибежали сюда, меня не было, они отнесли домой портфели — и снова сюда...

— Ой, а сколько времени? — подскочил Юрос.

Я показал часы.

— Через два часа сбор, — сказал Юрос. — Надо еще домой зайти, себя в парадный вид переделать, а то вот... — Он дрыгнул ногами в жеванных штанинах.

— Я вас провожу.

Времени было достаточно, и мы зашагали не торопясь. По улице Адмирала Октябрьского поднялись до площади Восставших и свернули на Шестую Бастионную. Но по ней напрямик не пошли, а начали петлять по старым переулкам.

Ветер трепал на мальчишках галстуки, ерошил и ставил торчком волосы. Это был озорной, не сердитый шторм. Проблески солнца летели по улицам, словно сорванные где-то желтые флаги.

В переулке Бутакова, что тянется между заборами из серого пористого камня, Санька поддал ногой обломок черепицы и задумчиво сказал:

— Тут все еще иногда ядра находят. И бомбы старинные...

— Не только старинные, — хмуро заметил Юрос. Он знал, что такие находки — не шуточки.

Санька тихо возразил:

— Не старинные — это понятно. А с Первой обороны сто тридцать лет прошло.

— Те старые бомбы тоже иногда взрываются, — заметил Юрос. — Если нечаянно уронить или стукнуть. А просто так не взрываются. У них взрывателей не было, а фитили...

— И пушки были гладкоствольные, — сказал Сандалик и быстро глянул на меня: помню ли прошлогодний разговор о Стрелецкой бухте, Тотлебене и залпах с французских судов?

Я улыбнулся ему.

— А я в Адрюшкином сарае старую самоварную трубу нашел, — сказал Юрос. — Теперь, когда крепость построим, можно из нее главный калибр сделать.

— Что за крепость? — спросил я.

— Да мы за гаражами ее делаем, вроде бастиона. Такая игра будет, штурм. Одни нападают с мечами и щитами, а другие отбиваются. И бомбы из песка. Если они наш флажок собьют, значит, их победа. Если мы их всех повышибаем, тогда наша...

— Надо каски сделать, — вдруг сказал Санька. — А то я вчера целый вечер песок из волос вытряхивал.

— У Альки есть одна железная! — вспомнил Юрос. — Наша, военная. А в кладовке где-то пластмассовая была папина, он в ней в порту работал... Тебе какую дать?

— Да хоть какую! — весело сказал Санька.

Они обменялись быстрым взглядом. И я снова подумал, что они похожи! У них одно на двоих дело, одинаковые мысли об этом деле, одинаковое понимание. Когда успели? Всего-то несколько дней назад завязался между ними первый узелок...

Может быть, случилось наконец то, о чем мечтал Сандалик? Может, встретился ему непридуманый Одиссей? А Юрос теперь меньше будет печалиться о давнем друге Андрюшке, который уехал с родителями в далекий Мурманск? Хотя нет, новый друг старого не заменит. Но ведь может стать таким же настоящим!

Все-таки хорошо, что так получилось и есть у Сандалика и Юроса теперь общий бастион.

— Значит, девятый бастион строите в этой линии... — сказал я.

Санька вскинул выгоревшие ресницы:

— Почему девятый? Их же здесь раньше семь было. Восьмая батарея не считается, она уже для морской обороны...

— Семь — это те, что с номерами. А еще Корниловский, на Малаховом. Забыл?

— Ой... — Санька даже остановился и крепко треснул себя ладонью по лбу. — Вот голова дырявая! Самое-то главное...

— Значит, все же наш — Девятый, — полувопросительно заметил Юрос. Он сказал это уже как название, с большой буквы.

— Вы его не забудьте на карте отметить, — напомнил я Саньке. — Цела у тебя карта штабс-капитана Моткова-второго?

— Да ну его, этого Второго, — хмуро сказал Санька. — Там одна путаница... Нарисовано, будто французские траншеи даже за Артбухту продвинулись. И будто Восьмую батарею и Седьмой бастион французы захватили. А их там сроду не было. Наши сами все там взорвали, когда отошли на Северную... Французы только Курган заняли.

Видимо, вспомнив о Малаховом кургане, Санька подумал и о памятнике Корнилову. И о злополучных твердых знаках, которых не хватало в надписях, и о той старинной букве, которая «о» с палочкой поперек. По крайней мере, я подумал именно об этом. И Санька мою мысль моментально учуял.

— Я уж про это скольким людям говорил, — тихо сказал он.

— Ну и что? — спросил я.

— Ну... по-всякому. Некоторые не понимают. Некоторые соглашаются. Один экскурсовод хотел даже в газету написать... А вы?

— Что я? — спросил я неловко.

— Говорили кому-нибудь?

— Да...

«Ну и что?» — глазами спросил Сандалик.

Я виновато вздохнул:

— Как-то странно. Вроде бы все считают, что старинная грамотность не так уж важна.

— А может, и правда? — глядя под ноги, спросил Сандалик.

— Н-не знаю, — сказал я.

— Нет, по-моему, надо, чтобы всегда было правильно, — вздохнул Сандалик. — Наверно, надо было, как я сперва хотел...

— А что ты хотел?

— Я думал, с кем-нибудь заберемся и краской исправим... Но я не знал с кем. А одному не забраться...

— Давай! — молниеносно зажегся Юрос.

— Такие дела уже случались, — сказал я. — Не так уж давно. С баркентиной.

— С какой? — разом спросили Сандалик и Юрос.

— Ну, с «Кропоткиным». Из которого ресторан у Артбухты сделали... Когда его только открыли, в Севастополь как раз приехал один молодой поэт. Димой его звали... Купил он банку масляной краски и ранним утром во-от такими буквами написал на борту: «Севастопольцы! Зачем превращать корабли в кабаки?» Или что-то в этом роде.

— А дальше? — сказали Сандалик и Юрос опять вместе.

— А дальше была милиция, скандал. Выставили из города. Потом грандиозный штраф... Но не в скандале дело.

— Дело в том, что ресторан там по-прежнему, шашлыками воняет, — с отвращением сказал Юрос. — Мы тогда хотели поиграть на палубе, а какой-то дядька как заорет...

— Самое обидное вот что, — сказал я и как бы увидел перед собой живого Диму — черного, худого, веселого, с неприемлемыми и бесстрашными глазами (в детстве он был, наверно, похож на Юроса). — Получилось, будто он сделал вред городу. А на самом деле он любил Севастополь отчаянно. Он про него даже повесть писал. Повесть-сказку про будущий Севастополь.

— Ее напечатали? — быстро спросил Санька.

— Не успел он дописать, умер. Совсем неожиданно... Будто сторел. Сердце большое...

Мы пошли медленнее. Мальчишки молчали. Я тоже. Я вспоминал, как летом семьдесят седьмого года здесь, в Севастополе, Дима выхаживал моего двенадцатилетнего сына Пашку, схватившего какую-то стремительную лихорадку. Дима перестал яростно спорить о стихах и международной жизни, сделался ласковым, рассказывал Пашке смешные истории, кормил таблетками и уверял, что уже завтра от болезни не останется и следа. То ли Димина уверенность помогла, то ли медицинские познания (у Димы за плечами было три курса мединститута), но Павлик действительно поднялся на

следующий день. Мы поехали в Херсонес, и Дима рассказывал об удивительных свойствах ящериц-гекконов, которые водятся в здешних развалинах.

Потом он сказал, что здесь, в Херсонесе, развернется начало его повести-сказки о мальчишках будущего, которые живут в замечательном городе у моря. Сейчас я вспомнил про это и подумал: об истории Севастополя написано много, о нынешних его днях тоже кое-что есть, а в будущее, кажется, никто еще не заглядывал. Только Дима попробовал, да еще Сандалик в те минуты, когда приходили мысли о мальчишке из нового тысячелетия...

По Катерной, где ветер толкал нас в спину, мы вышли опять на Шестую Бастионную и у маленькой оборонительной башни свернули налево, к лестнице Крепостного переулка.

— А все-таки правильно он написал, — вдруг сказал Санька.

Юрос встряхнул головой:

— Что?

— Там, на борту...

— А-а, — понимающе отозвался Юрос.

«Правильно, — подумал я, потому что в глубине души всегда верил в правоту таких яростных и бескорыстных поступков. — Но сам я не решился бы...»

Санька словно опять угадал мои мысли:

— Вы ведь сами про такую баркентину писали в своей книжке. Что нельзя так с кораблями поступать...

— Да. Но в книжке проще. Все можно свалить на ее героев: это, мол, не я, а они...

— А вы и про памятник напишите в книжке, — вроде бы шутя, но с настойчивой ноткой предложил Санька.

Я усмехнулся:

— Ладно. Вот буду про тебя писать, и тогда...

— А что про меня писать? — искренне испугался Сандалик.

— Что-нибудь. Рассказ или повесть.

— Зачем? Я же... обыкновенный.

— Я тоже обыкновенный, — сообщил Юрос. — А про меня есть рассказ. «Вечерние игры» называется, в «Пионере» печатали... Только там все перепутано.

— Во-первых, не все, — уязвленно произнес я. — Во-вторых, не перепутано, а творчески переработано. Рассказ — это тебе не заметка в стенгазете. В нем главное — художественный образ. А из тебя, если без переработки, какой образ? Одна дурь да царапины...

— А в рассказе что? — выдал критическую мысль Юрос. — То же самое. Мама говорит, что надо было еще про двойку по математике написать.

— Еще не поздно...

— Поздно уже, — проницательно заметил Юрос. — Теперь у Сандалика очередь в это самое... в образ влезать.

Я пообещал Юросу, что сейчас надеру ему уши. Он захихикал, обормот. А Сандалик по-прежнему был серьезный. Видимо, он оставался мыслями на бастионах, потому что вдруг сказал мне:

— А я раньше думал, что вы про старину пишете, про Нахимова и Корнилова... Это когда мы еще не совсем познакомились.

— Нет, — вздохнул я. — Пытался только про фрегат «Везул», да и то не вышло.

— А про войну вы тоже не пишете? Ну, не про старинную, а про последнюю?

— Нет... — снова сказал я. Долго было бы объяснять, что последнюю войну помнит множество людей, которые могут рассказать о ней лучше меня. Они сами тогда воевали, а я был мальчишкой — меньше Саньки и Юроса. Когда книга пишется о жизни и смерти, рассказывать надо о том, что испытал сам.

«К тому же, — вдруг подумал я, — все, что было, это уже было. А когда я пишу о вас, я пишу о будущем...» Но, конечно, ничего такого я им не сказал. Это прозвучало бы трескуче и явно не к месту. «Будущее» с растрепанными ветром волосами шлепало рядом со мной просохшими кедами и сандалями и хотело более простого разговора.

Я объяснил слегка насусленно:

— Что поделаешь, кто-то должен писать и про ваш Девятый бастион.

— Конечно, — сказал Юрос, будто все само собой разумелось.

В это время мы вышли к верхней площадке лестницы. Лестница убегает вниз вдоль желтой стены с бойницами, которая осталась от Седьмого бастиона.

Здесь я всегда останавливаюсь хоть на полминуты. Невозможно не остановиться. Видно отсюда полгорода, и красотища такая, что радость подкатывает и в то же время тоска: почему опять надо уезжать?

Облака с солнцем вперемешку неслись над большими домами и грудями деревьев, над мачтами судов и сигнальными вышками. И над куполом собора, где нашли последнюю гавань четыре знаменитых адмирала — те, кто до конца отдал себя флоту и этому городу. И может быть, не случайно собор казался похожим на вставший из-за края моря корабль...

Мальчишки смотрели туда же, куда и я. Сандалик почесал об острое плечо подбородок, быстро глянул на меня и спросил:

— А как вы думаете, если бы Корнилова и Нахимова не убили, наши отдали бы тогда Севастополь?

— Но его и не отдавали, — сказал я. Сказал то, что понял еще в детстве, когда читал книгу «Малахов курган».

Санька удивленно вскинул белые ресницы.

— Ну посуди сам, — начал я. — При последнем штурме наши отбили противника от всех укреплений, кроме Кургана... На Кургане уже ничего нельзя было сделать, брустверы начисто были скрыты огнем... А почти вся линия обороны оставалась в наших руках. Просто было решено, что нет смысла удерживать ее, там ежедневно гибло от обстрела больше тысячи человек. Вот Горчаков и приказал отойти через наплавной мост с Южной стороны на Северную.

— Кто приказал? — сунулся Юрос.

— Князь Горчаков. Главнокомандующий. Книжки надо читать, дорогой товарищ. И не только про шпионов и пиратов.

— Я просто не расслышал, — нахально заявил Юрос.

Я сказал:

— Северная сторона — это ведь тоже был город. А на Южной оставались одни развалины. Французы и англичане их и получили... Они считали, что взяли Севастополь! А о каком взятии города можно говорить, когда половина береговых фортов оставалась в наших руках? Враги не могли ввести в

бухты ни одного судна. С северного берега на них смотрел сплошной фронт батарей, семьсот орудий...

— Сколько? — переспросил Юрос.

— Больше семи сотен.

— Это хорошо, — сказал Юрос и задумался.

А Сандалик посопел и с сожалением уточнил:

— Но все же Южная часть была в городе главная. Там были самые важные улицы и дома.

— Главное в любом городе — это люди, — возразил я. — Не дома, не улицы, а те, кто там живет. Город не раз бомбили, сжигали, разрушали, а люди оставались, и город — опять вот он... Пока людей не победили, нельзя сказать, что город сдан...

По лестнице взбежала стайка веселых третьеклассников. Один из них — Владик Палочкин, сосед Вихревых, — помахал нам рукой и пульнул в Юроса из пластмассовой трубки сухой ягодой. Юрос обрадованно погнался за ним, но вдруг остановился и вернулся задумчивый.

— Надо идти, — сказал Сандалик. — Скоро сбор. Юрик, ты за мной зайдешь? Или я за тобой?

— Я за тобой, — быстро откликнулся Юрос. И глянул на меня: — А вы сейчас куда? К нам?

— Я здесь постою. Посмотрю... Вам-то хорошо, а мне скоро опять уезжать.

— Когда? — одинаково огорчились Юрос и Сандалик.

— Послезавтра.

Юрос подскочил:

— А завтра пойдем с нами на яхте? Мы на «Фиоленте» пойдем, папа обещал!

— Если будет так дуть, ни одну яхту не выпустят...

Сандалик посмотрел на небо.

— Не будет, — решил он.

И правда, ветер сделался послабее, а чистого неба становилось все больше.

— Стихает, — сказал Юрос. — А недавно еще так свистело. На берегу такой грохот...

Санька улыбнулся:

— Мы еле-еле пушку услышали, когда она в двенадцать часов на равелине бухнула.

Юрос поглядел на нас по очереди и довольно сказал:

— Понял! Меня Владька своей трубкой надоумил! Нужен пылесос!

— Зачем? — разом удивились мы с Сандаликом.

— Для пушки. Для нашей, на Девятом бастионе. Мы к саомарной трубе пылесосный шланг подсоединим, он как дунет! Будто воздушное орудие! То есть пневматическое.

— Бомбы не полетят, песок тяжелый, — деловито возразил Сандалик.

— А не надо бомбы. Мы победный салют устроим, когда бой кончится! Всяких разноцветных звездочек из бумаги нарежем и зарядим... Они как полетят! По всем дворам!

«По Шестой Бастионной и по всей округе», — обрадованно подумал я. Но Юросу на всякий случай пообещал:

— Мама вот покажет тебе за пылесос. Такой салют будет...

— А у нас есть специальный, чтобы играть. Андрюшка оставил старый, когда уезжали...

— Завтра будет настоящий салют, — вспомнил Сандалик. — День танкистов. Пойдете с нами смотреть?

— Конечно.

Они разбежались. Юрос к своему дому на пригорке, Сандалик — вниз, на улицу Очаковцев.

Я постоял еще с полминуты, потом догнал Сандалика:

— Нам по пути, я в библиотеку.

Сандалик серьезно кивнул и вдруг взял меня за руку. Как Юрос, когда мы гуляли вдвоем. И сказал чуточку смущенно:

— А вы хорошо придумали, что город — это люди...

— Здравствуй! Разве это я придумал? Я эту мысль еще в самые детские годы вычитал. Кстати, тоже в книжке про Севастополь...

— Ну все равно хорошо... Значит, каждый человек — это будто частичка города?

— Конечно.

— Все-все!

— Ну разумеется... А что здесь удивительного?

— Просто интересно... — Сандалик улыбнулся. — Значит, и Тарасик?

— Само собой.

Санька помолчал и вдруг спросил, глядя под ноги:

— И Димка?

— Какой Димка?

— Ну... Турчаков.

— Что поделаешь, — сказал я.

Санька пнул кожуру каштана и шепотом проговорил:

— Ну и ладно...

— Что «ладно»?

— Да так, ничего... А здорово Юрик про салют придумал! Да? — Он еще не решался называть нового друга боевым именем Юрос.

— Да, Сандалик, — сказал я. — Замечательно.

Пойти на яхте я не смог: в библиотеке меня уговорили поехать на встречу с ребятами в ближний совхоз. Встреча получилась интересная, но о том, что не пришлось выйти в море с Юросом, Алькой и Сандаликом, я все равно жалел. Главное, и погода была очень подходящая: солнце и ветер самый тот... Зато мы встретились вечером и пошли смотреть салют. Пошли на берег между Хрустальным мысом и яхт-клубом, в молодой, недавно посаженный парк.

Громадные букеты салюта вставали над берегами и опрокидывались в черной воде рейда. Делалось очень светло, и тогда было видно, как много на берегу людей.

Сандалик взял меня за рукав и шепотом сказал:

— А пойдете, я познакомлю...

Я увидел в нескольких шагах высокого флотского лейтенанта с малышом на руках и молодую женщину. Мы подошли.

— Вот... — засмущавшись, пробормотал Сандалик. — Это Люся, а это Гриша.

— А это Тарасик, — понял я. — Здравствуйте...

Тарасик тихо ликовал на руках у отца. Салют отражался в его глазах восторженными вспышками. При каждом залпе Тарасик молча взмахивал руками, словно хотел улететь вслед за ракетами.

Наконец салют кончился, и теплая ночь с неяркими огоньками мягко накрыла город.

— Пойдемте к нам пить чай, — сказала Люся. — То есть к нашим маме и папе...

— Нет, к нам! — заявил Юрос.

Я сказал, что провожу ребят и мы заглянем к тем и другим.

Так мы и сделали. Но сначала мы с Сандаликом долго ждали Юроса, который дурачился: спрятался под обрывом и мигал нам из темной травы фонариком.

Назавтра я уезжал из Севастополя. Сандалик и Юрос прибежали на вокзал, конечно, за пять минут до отхода поезда. Растрепанные и веселые. Сказали, что на Девятом бастионе только что закончились бои и был победный салют.

— А кто победил? — спросил я. — Вы или те, кто штурмовал?

— По очереди, — сказал Юрос.

— А салют был общий, — сказал Санька.

На прощание они подарили мне две звездочки от салюта. Одна — из алой глянцевой бумаги, другая — из фольги.

...Звездочки лежат сейчас между страницами общей тетради, в которой я пишу эту повесть.

Я хотел написать про год из жизни обыкновенного севастопольского мальчишки. И вот написал. Год прошел, историю тоже можно кончать. Но получилось, что в конце опять прощание, а я не люблю грустных концов.

И к тому же мне хочется рассказать еще про один день из жизни Сандалика. Про то, что случилось уже после моего отъезда.

...А в общем-то ничего и не случилось. Просто в конце октября ветренным и неласковым днем Саньку потянуло в Херсонес.

Он и сам не мог понять, почему потянуло. Такое случалось и раньше, но в хорошие летние дни, в ту пору, когда можно было встретиться с Одиссеем. А сейчас что? Одиссей в далеком плавании, под скалистыми обрывами наверняка грохочет тяжелый шторм. Вон какие низкие и беспросветные облака бегут с моря.

Но все равно хотелось оказаться на берегу. И Санька не стал спорить с собой. После уроков сел у рынка на шестой троллейбус и доехал до кинотеатра «Мир».

Самая короткая дорога вела к Херсонесу мимо школы.

Той самой, где Санька в прошлом году хлебнул немало обид. Летом Санька обходил школу стороной, но сейчас была такая хмурая погода, что не хотелось удлинять путь.

Нагибаясь навстречу ветру, Санька пошел вдоль школьной изгороди. У бетонных решеток стелились по ветру кусты.

Из боковой калитки вышла на тропинку высокая девчонка. На ней трепыхался короткий светлый плащ. Санька мельком подумал, что девчонка похожа на мачту, вокруг которой запутался парус. И тут же узнал ее.

Она остановилась и сказала чуть нараспев:

— Ой, Дальченко... Откуда ты?

Саньке не хотелось огрызаться. Все-таки с Эмкой он просидел за одной партой чуть не полгода, и она к нему относилась лучше других. Но и заводить долгий разговор не хотелось.

— Гуляю, — хмуро сказал он.

— В такую-то погоду!.. А я думала, ты нас навестить решил.

— Нет, просто мимо шел, — сдержанно проговорил Санька.

— А как ты сейчас живешь? — вежливо спросила Эмка. —

Как дела в той школе?

— Отлично! — искренне сказал Санька. — Не то что... — Он замолчал, но Эмка все поняла.

— Все-таки ты слишком обидчивый, — вздохнула она. — Просто еще совсем ребенок.

— А я и есть ребенок, — ядовито ответил Санька. — А ты, если длинная такая, значит, взрослая?

Эмка не рассердилась. Видимо, она и в самом деле была взрослее Саньки. Она сказала примирительно:

— Наверно, класс тоже в чем-то был не прав. Это и Александра Самойловна говорила. Она тебя хорошо вспоминала...

— Слышал уже, — усмехнулся Санька. — Пускай и дальше вспоминает. Передай привет.

— Да ее уже нет у нас... Ты разве не знал? Она в больнице с лета.

Санька пожал плечами: откуда он мог знать?

— А что с ней?

— Ну, ты разве не помнишь, какая у нее шея была? Это опухоль... Говорят, состояние очень неважное. — Эмка, совсем как взрослая тетушка, покачала головой.

А Санька ощутил, какой сейчас холодный ветер. Поежился.

«А я думал, это она для крика горло раздувает», — вспомнилось ему. И еще вспомнилось, как после его драки с Димкой она сказала: «Ну, вам-то чего не живется?»

Наверно, уже знала, что у нее такая болезнь. А надо было все равно вести уроки, проверять тетради и вообще жить... А каждый час думалось, думалось: сколько еще жить-то?..

Нельзя сказать, что Саньку стала мучить совесть. С Александрой Самойловой он почти не спорил, двоек у нее не получал и виноватым себя не чувствовал. Нельзя сказать и то, что ощущал сейчас какое-то горе. Хорошего от Сан-Самы он не видел, была она чужим человеком. Но все теперь иначе вспоминалось. Понятнее и печальнее...

— Она в какой больнице? — спросил Санька.

Эмка виновато заморгала:

— Понимаешь... Я еще точно не знаю.

«Свиньи вы все-таки, — подумал Санька. — Она вас и на экскурсии водила, и футбол организовывала, и билеты в театр, и праздники всякие...»

Ему не хотелось ссориться, как-то не к месту это было сейчас. И он промолчал. Промолчал, однако, выразительно. Эмка вздохнула:

— Да, нехорошо, конечно... Мы узнаем и сходим.

— Ладно, я пошел, — сказал Санька.

— Ну, что же... — сказала Эмка. — А ты сюда зачем приехал? К знакомым?

— По делу.

— Какой ты серьезный...

— А говорила «ребенок», — сердито отозвался Санька.

— Ну и что! Серьезный ребенок... А у нас в классе в этом году опять два новичка.

— Бедняги, — сказал Санька.

— Ничуть не бедняги. Они прекрасно вписались в коллектив.

— Ну, значит, такие же, как Турчаков...

— Турчаков? — переспросила Эмка тонко и пренебрежительно. — Вот уж!.. Если хочешь знать, у него теперь в классе никакого авторитета.

— Почему это? — удивился Санька. И теплым червяком шевельнулось в нем довольное чувство: так и надо Димочке.

Эмка сказала солидные и, видимо, чужие слова:

— Он оказался дутой величиной.

— Чего-чего?

— Мы это поняли еще весной. Он просто умел пускать пыль в глаза, вот и все... А в этом году Анна Антоновна, наша новая классная руководительница, его окончательно раскусила.

— Да? — усмехнулся Санька, понимая, что уже не радуется.

— Да... К тому же он оказался хвастуном. Отец у него все не капитан. То есть он раньше был капитаном, а потом его понизили до второго помощника.

Тогда Санька сказал вслух:

— Свиньи вы все-таки...

Обошел он Эмку и зашагал вдоль забора. Ветер сердито дергал на нем куртку.

А на берегу ветер совсем взбесился. Дул с такой силой, что тяжелый колокол на каменных столбах качался и под ним гудело медное эхо.

Черно-зеленое, исчерканное зигзагами пены море штурмовало обрывы, и волны гремели у скал, и холодные ключья влаги взлетали даже сюда, на высоту. Ветер отталкивал Саньку от кромки берега, словно ударами тугих кожаных мешков.

Санька прижался к каменной квадратной опоре колокола.

«Видит, на море черная буря, — подумал он. — Стал он кликать золотую рыбку...»

Но кликать было некого. Одиссей был в плавании. Берег пустой. Море пустое.

Нет, Санька не ощущал большой грусти. В эти дни, что бы ни случилось и какое бы ни было настроение, Саньку всегда грела мысль, что есть на свете веселый, неустрашимый Юрос и сегодня они обязательно увидятся снова.

Но сейчас у Саньки было чувство, будто он что-то потерял. Или, точнее, хотел встретить кого-то и не встретил...

Наконец Санька послушался ветра, отошел от обрыва и, цепляясь брюками за колючки, пробрался к своей колонне.

Тронул ее, привычно обрадовался теплу мрамора. Но по-

думал сейчас не об Одиссее и не о мальчике из будущего, а опять о Юросе.

Однако эта мысль была мимолетной.

Санька снова стал смотреть в изрисованное пенными полосами море. Облака над морем и над Санькой двигались беспроектными толпами.

«Ой-ей-ей, оказаться сейчас на яхте среди таких волн», — зябко подумал Санька. Шторм был совсем не похож на тот, в который Санька попал в августе.

Наверно, в такую погоду и погиб «Везул»...

В таких волнах погиб юнга Андрей Шуширин...

Да, в таком бешеном море можно потерять голову.

«Но если ты не один, если тебя не бросили, можно и выдержать, — успокоил себя Санька и опять вспомнил Юроса. — А у этого Андрюшки просто не было друга...»

Он отбросил эту мысль. Потому что она толкалась туда, куда Санька не хотел ее пускать. И он стал думать о другом. О том, кем бы стал юнга Андрюшка, если бы вырос. Может, офицером? Или матросом? Наверно, все равно он оказался бы на севастопольских бастионах в пятьдесят четвертом году прошлого века. Уже взрослый, усатый, крепкий. Как тот бронзовый матрос, что стоит с ядром в руках у памятника Корнилову.

«Отстаивайте же Севастополь...»

Ну пускай в названиях кораблей на оборотной стороне памятника не дописаны твердые знаки. Наверно, все-таки не в них главное. Главное — в этих словах, что впереди.

Санька сжал зубы.

Если надо, он будет отстаивать. Пускай он не самый смелый, пускай Эмка говорит, что ребенок. Но если надо, он защитит и бастионы, и город.

«Но ведь город — это люди...»

Санька мотнул головой, чтобы прогнать продолжение мысли, но она уже толкнулась:

«А Димка?»

Море тревожно гремело. И другие моря на Земле тревожно гремели. И на свете было неспокойно. Город знал это и жил в готовности, как живет в готовности военный флот. Но все же сейчас были здесь мирные дни, и никого пока не надо

было защищать и отстаивать. Среди тех, кого знал Санька, никого. Почти...

Кроме одного человека. Того, кто оказался будто на скользкой штормовой палубе один-одинешенек.

Если человек сорвется с палубы, его потом недосчитаются на каком-нибудь бастионе.

Может быть, на Девятом?

«Да выдумал ты все», — с жалобной досадой сказал себе Санька. Но другой Санька, более откровенный (или Одиссей, или тот мальчишка из будущих далеких лет, или просто-напросто храбрый и честный Юрос), хмуро ответил:

«Не ври ты...»

И Санька больше не стал врать себе, будто не помнит, как глядел тогда ему в спину Димка Турчаков. Не стал врать, что не помнит размытого адреса...

Санька еще раз погладил колонну и медленно пошел среди кустов и руин. Сначала медленно, потом торопливей и решительней.

А ветер толкал, толкал его в спину, будто лишь для этого и разгулялся над берегами, похожими на неприступные бастионы.

ЗАЯЦ МИТЬКА

*Сентиментальная повесть
обо всем понемногу¹*

1

Митька на меня обиделся. И вполне справедливо. Потому что я поступил по-свински, забыл про него, когда пришли гости.

¹Предупреждение. Автор считает необходимым сообщить уважаемым г.г. читателям, что данная повесть, несмотря на достоверность ряда излагаемых в ней эпизодов и реальность многих (но не всех) действующих там персонажей, является не документальным произведением, а всего лишь художественной (насколько это доступно автору) прозой с присущей этому жанру фантазией. Единственные стопроцентно реальные прототипы — сам заяц Митька и коты Макс и Тяпа, которые, впрочем, заранее обещали к неточностям не придирааться и жалоб на автора не писать.

Гостями были двое ребят из парусной флотилии «Кара-велла», командором которой судьба сподобила меня быть уже тридцать лет и три года. Впрочем, ребята пришли отметить не эту дату, а другую, отмеченную тоже двумя одинаковыми цифрами: в ту пору годы мои неумоимо катились к отметке 55. Возраст, прямо скажем, не юношеский, радоваться нечему, но все же я бодро выставил на середину своей «каюты» журнальный столик с нехитрым угощением.

А ребята выставили квадратную бутылочку с романтическим парусником на этикетке. Я для порядка покачал головой и поцокал языком: мол, *этому* я учил вас в нашем славном морском отряде?

Гости сдержанно погоготали. Потому что ребятами они оставались теперь лишь в моей памяти, а на самом деле были таковыми в конце шестидесятых. А сейчас — люди вполне солидные, обремененные собственными детьми, женами и семейными заботами...

До поздней поры сидели мы тут, среди стеллажей со старинными логиями, среди штурманских карт, морских пейзажей и парусных моделей. Тикал корабельный хронометр, позванивали вилки, и шла неторопливая беседа. Мы вспоминали...

Вспомнить было про что. И про первый наш парусник, сделанный из корпуса старой моторной лодки, и про наши фанерные яхты с гордыми именами: «Атос», «Портос», «Арамис» и «Д'Артаньян», и про шквалы на нашем беспокойном Верх-Исетском озере. И про всякие дальние путешествия. Например, про плавание на пароходе «Адмирал Нахимов» из Севастополя в Сухуми.

Пароход попал тогда в крепкий шторм. Ключья пены летели на палубу. От качки и ветра сам собой звонил на баке судовой колокол. Пассажиры полегли по каютам. А мальчишки и я торчали на верхней палубе, вдыхая и впитывая в себя этот разгул морской стихии. Было ничуть не страшно. Пароход был стар, но крепок. Он уверенно разрезал старомодным вертикальным форштевнем зеленые валы. Дым его двух громадных труб смешивался с низкими клочкастыми облаками. «Адмирал» верил в себя. Он, конечно, не ведал о своем будущем,

о страшном конце на дне Новороссийской бухты. Впереди у него было еще ровно двадцать лет...

Около полуночи я проводил своих капитанов до лифта и вернулся в каюту... И горестно охнул. Митька сиротливо сидел в уголке у электрического камина и с немим упреком, с тоскою даже смотрел на меня бело-черными пластмассовыми глазами.

— Ох я дубина! Прости меня, малыш...

Митька не должен был сидеть здесь, в одиночестве. По традиции полагалось ему, когда приходили гости, устраиваться рядом со мной на диване и слушать разговоры. А гостям следовало время от времени обращать на Митьку внимание и вспоминать интересные случаи, которые с ним, с Митькой, в разные годы имели, как говорится, место. Кроме того, этикет требовал, чтобы Митьке время от времени давали пригубить кофе, а иногда и кое-что другое. А сегодня... Ой-ёй-ёй! Как же это я? Видимо, в самом деле стар стал!

— Иди ко мне, мой хороший. Не сердись...

Я плюхнулся на диван, усадил Митьку верхом себе на колени. Подхалимски потрепал его по длинным, штопаным-перештопаным ушам.

Когда-то под материю были вставлены узкие петли из стальной проволоки, и Митькины уши торчали бодро и упрямо. Но теперь они превратились в два истрепанных лоскутка из серой диагоналевой ткани (такая лет тридцать назад шла на «стильные» пиджаки). Кстати, и весь Митька сшит из этого же материала. Ткань порядком замызганная, от упругости в ушах не осталось и следа. Как ее, упругость-то, сохранить, если за уши беднягу таскают по улицам и лесам-полям, вздергивают на мачту для просушки, привязывают ими к яхтенному штагу и к поручням... Что поделаешь, раз ты не простой заяц, а корабельный...

Спереди, под правым ухом, у Митьки легкомысленная (как у Шуры Балаганова) лоскутная оранжевая кепочка с зеленым козырьком, тоже порядком измочаленная. Ближе посаженные глаза — с молочными белками и угольными выпуклыми зрачками. Не косые, как у обычных зайцев, а, скорее, щенячьи. Очень осмысленные. Нос — черная пластмассовая кнопка. По бокам от носа — два суконных кружочка. Этакая

симпатичная мордашка. Между суконных щек торчит красный язычок, тоже суконный. Все сукно, конечно, давно потемнело и задубело от многочисленных угощений... А, вот еще что! Над левым глазом — матерчатая бровь. Неподвижная, но очень выразительная.

Сейчас бровь выражает горькое недоумение: как же ты мог про меня забыть?

— Ну, не сердись на старого растяпу, Мить. Не обижайся...

Митька не умеет сердиться и обижаться долго. Стоит его вспомнить, пожалуй, слегка подлизаться к нему, и вот пластмассовые глаза блестят совсем по-хорошему, ласково и слегка озорно. И в то же время на морде появляется вопрос: «А что интересного ты мне скажешь?»

Я ничего не успеваю сказать. Умело открыв растопыренной лапой дверь, появляется рыжий кот Макс. Издав ревнивое урчанье, прыгает на диван. «Почему это ты с ним занят, а не со мной?» Ладно, я пригреваю под боком и Макса. Но, машинально почесывая брюхо млеющего кота, я все внимание отдаю Митьке. Мысленно говорю ему:

— Давай, старик, повспоминаем, что было...

Митька излучает радостную готовность:

— Давай!

Видимо, для него вспоминать — это заново переживать прошлые события. Впрочем, и для меня тоже.

— А помнишь, Мить, как ты у меня появился?

— Нет, это ты у меня появился!

— Ну ладно. Как мы появились друг у друга...

2

Был июль семьдесят восьмого года. В ту пору я оказался в Подмоскowie, недалеко от города Солнечногорска, на берегу озера Сенеж. В пансионате Союза художников. Обитал я там в общежитии с операторами, режиссером и художником-постановщиком с Центрального телевидения. Вся эта многочисленная творческая группа была занята съемкой многосерийного спектакля по моей повести «Та сторона, где ветер».

Это было похоже на работу киношников, только снимали не на киноленту, а на магнитную пленку. Это очень удобно,

кстати. Отснятый киноматериал, прежде чем посмотреть, надо еще проявить, а тут после каждого эпизода — смотри сразу, пожалуйста. Крути туда-обратно в одном из автофургонов, где полным-полно всяких видеомониторов.

Кстати, фургонов этих — длинных, серебристых, с большими буквами TV на бортах — нагнали целый автопарк. В одном — энергоустановка, в другом — видеокамеры, в третьем — звукозапись, в четвертом — аппаратура для освещения, в пятом еще какая-то техника. А кроме того, фургон для костюмов, для реквизита и еще для всякого имущества. Однажды на съемочной площадке я насчитал аж восемь этих громадных машин с разными кабелями, прожекторами, динамиками и антеннами.

Порой даже страшновато делалось: какую массу техники запустили в дело, сколько народу включили в работу ради того, чтобы показать на экране историю из моей скромной книжицы в синей обложке. А иногда и гордость появлялась: значит, и впрямь неплохая книжка, если столько вокруг нее хлопот и шума. Может, и спектакль получится удачный. Недаром же опять гудят фургон за фургоном, отправляясь на съемки.

Увы, не всегда количество дает качество...

Впрочем, сперва все шло хорошо. Мальчишки — исполнители главных ролей — подобались замечательные. Ну, прямо живые герои повести. Сразу «врубались» в действие спектакля, словно не играли других ребят, а жили сами по себе. Особенно хорошо был восьмилетний Дениска, итравший второклассника Ильку...

И места для съемок выбрали прекрасные. Одно слово — Подмоскowie.

Озеро Сенеж по берегам заросло высокими травами, ивняком и старыми ветлами. За деревьями пестрели крыши дач и домов отдыха. Среди болотистого луга бежала к озеру речка, через которую перекинут был шаткий живописный мостик — ну, словно специально для нашей съемки построенный. Недалеко от речки тянулась по краю озера зеленая дамба, за которой начинались пруды рыбного хозяйства. По дамбе туда-сюда сновали желтые автобусы и разноцветные бликующие легковушки — они возили дачников из Солнечногорска и Москвы в ближние деревни и обратно.

Самой близкой от нас была деревня Загорье. Чудо что за деревня. На посторонний взгляд — просто былинный заповедник. Над огородами и единственной большой улицей раскидывали тень столетние дубы и липы. Лужайки у домов пестрели ромашками и клевером. Вдоль заборов стоял высоченный иван-чай. Сами заборы, казалось, еще помнили времена Ильи Муромца. И многие дома были им под стать. Почерневшие бревна и деревянное кружево наличников — словно прямо из сказок про Василис и Царевичей.

Жили в деревне почти что одни старики. Их взрослые столичные дети приезжали сюда на своих блестящих «Москвичах» и «Волгах» только отдохнуть на природе. И привозили на лето старикам их внуков. Почему-то это были главным образом мальчики лет семи-девяти. В большом количестве.

Удивительно яркие были пацанята.

Подмосковный июль в том году был с неровной погодой. Жаркие дни чередовались с весьма прохладными — без дождя, но с зябким ветром, дующим с широкого Сенежа. Московские мамы, боясь детских простуд, заставляли своих чад надевать поверх маек цветные свитера, пестрые курточки или синие шерстяные матроски, а под летние штанишки натягивать плотные колготки — тоже всяких цветов: красные, лимонные, зеленые, лиловые. В таких нарядах загорьевские внучата были похожи на маленьких персонажей из сказок братьев Гримм. Или — на юных обитателей Шервудского леса, мальчишек-стрелков Робин Гуда, о котором два года назад мы с ребятами из «Каравеллы» снимали кинофильм.

Фильм был хотя и любительский, но цветной и полнометражный. И в нем резвилась целая толпа таких вот красочных сорванцов с поцарапанными щеками и сухими сосновыми иглами в волосах. Как лихо эти разбойники махали деревянными мечами и прыгали с деревьев на неуклюжих стражниках шерифа!..

Жаль только, что там у нас не было громадного колодезного колеса — как здесь, в Загорье. Уж мы бы это колесо обыграли в фильме и так и сяк, отсняли бы его во всевозможных ракурсах.

Колесо это считалось главной загорьевской примечательностью. К нему ходили туристы, его рисовали заезжие худож-

ники. Старинное, темное, метра три в поперечнике, оно было сколочено из тонких бревен, брусьев и досок. Ржавыми гвоздями-костылями.

Вертикально возвышаясь над колодезным срубом, это сооружение наводило на мысли о древних мельницах, русалках и домовых.

Непонятно было, зачем к обычному колодцу понадобилось пристраивать такой исполинский ворот. Может быть, когда-то им поднимали из глубины какие-нибудь громадные бадьи с особой, чудодейственной водой? Не знаю. Теперь к цепи на бревенчатом валу было привязано обычное оцинкованное ведро. Чтобы вытянуть его из глубины, деды и бабки брались за деревянные ручки на громадном ободе, раскачивали древнеинженерную махину, а она нехотя, со скрипом, приходила в движение, словно ленивое колесо обозрения в городском парке...

Несмотря на все неудобства, старые жители Загорья колесом своим гордились. Любили его. А еще больше любили это устройство их внучата.

Когда бы я ни шел мимо, обязательно видел, как на колесе копошатся пестрые, похожие на цирковых акробатов фигурки. Одни раскачивали колесо, танцуя внутри обода, другие висели на спицах, болтая тонкими разноцветными ногами. А порой находился удалец, который, прыгая по рукоятям, как по ступенькам, заставлял делать колесо полный оборот.

Это похоже было на ярмарочный аттракцион прошлых веков. А издалека — на остроумную заводную игрушку, сделанную для витрины «Детского мира»...

Конечно, глядя на такую карусель, я жалел об оставленной дома любительской кинокамере. И уговаривал оператора снять колесо с мальчишками для спектакля — хотя бы просто как маленькую вставную сцену или деталь пейзажа. Операторы сперва проявляли энтузиазм. Но только на словах. Подвигнуть этих специалистов на лишнюю съемку было гораздо труднее, чем раскатать великанское колодезное колесо.

Взрослые не ругали мальчишек-акробатов, только иногда ворчливо напоминали:

— В колодец не угодите, бесенята...

Впрочем, колодец был с крышкой, а колесо к тому же отстояло довольно далеко от края сруба.

Старые жители были добродушны, приветливы, к работе «киношников» относились с пониманием. Охотно продавали нам парное молоко и пучки свежей моркови. Эту морковку любили грызть наши юные артисты. А потом швыряли в высоту хвостатые, с ботвой, огрызки — это называлось «салют».

Надо признаться, не всегда морковка добывалась праведным путем.

Со мной из Свердловска приехали на съемки двое ребят — мой сын Павлик и его сотоварищ по «Каравелле» Олег. Павлика режиссер уговорил сниматься в роли шестиклассника-вундеркинда Шурика. А Олега я прихватил с собой под тем предлогом, что нужны специалисты по оснастке и вождению парусной шлюпки. Четырнадцатилетний каравелловский капитан был большой дока в области курсов-галсов, рангоута и такелажа. Кстати, это был тот самый «талант», который два года назад лихо исполнил роль Робин Гуда в нашем фильме. Сейчас он в съемках не участвовал, а должность «парусного консультанта» отнюдь не требовала большой отдачи сил. Видимо, от избытка энергии неутомный наш Олежек и вспомнил робингудовские замашки. Подбил малолетних актеров провести в сумерках рейд по морковным грядкам загорьевских жителей.

Рейд прошел успешно и тихо, поэтому я узнал о нем не сразу. А узнавши, выругал, конечно, юных телезвезд и прежде всего — своего ненаглядного наследника. Пашка, однако, заявил, что на рискованное предприятие он ходил не корысти ради, а исключительно чтобы испытать острые ощущения. Ему, видите ли, перед ответственной съемкой необходима была нервная встряска.

Я пообещал Пашке встряску со своей стороны и показал увесистый отцовский кулак. Но втайне порадовался, что мое дитя наконец-то расстается с излишней стеснительностью и чрезмерной интеллигентностью. Вот недавно и купаться бегал без спросу. Взрослеет мальчик... А я старею, ровно четыре десятка стукнет осенью...

А что касается съемок, то они и впрямь часто были «ответственными». То есть сложными и утомительными. Порой

мальчишки так выматывались, что вечером уже не хватало сил гонять мячик и дурачиться.

Тогда ребята затевали тихую, не требующую больших сил игру. На плоском озерном берегу, у самой воды, строили песочные города и крепости. Все этим увлекались — и маленький Дениска, и самый взрослый — Олег...

Солнце пряталось за деревней, опускался прохладный полумрак, а вода отливала тусклым алюминием. В небо выкатывалась раздутая желтая луна. Она светила сквозь черные старые ветлы, которые обступали берег. Пахло влажным песком, листьями и остывающей луговой травой. Мальчишки не шумели, переговаривались вполголоса. Каждый строил свой причудливый дом или замок. Дениска — в стороне от всех. Он бдительно и капризно следил, чтобы кто-нибудь случайно не задел его сооружение.

Олег возводил полукруглый форт, похожий на Константиновский рavelин в Севастополе.

Павлик приносил в пригоршнях воду и лил на верхушки острых башен. Они становились похожими на торчащие каменные сосульки-сталактиты. Или на тонкие колокольни готического собора, который построил в Барселоне знаменитый архитектор Гауди.

Иногда выходил из кустов и молча наблюдал за «песочной» игрой худенький десятилетний пастушок Митя. Наблюдал без робости, но молчаливо и со стороны.

Митя был единственный мальчик среди постоянных жителей Загорья. От маленьких дачников он отличался и характером, и внешним видом. Всегда тихий, чуть улыбочивый, в побелевших от солнца и стирок спортивных штанах и такой же футболке, в стоптанных сандалиях на босу ногу.

В съемочной группе — и у взрослых, и у ребят — Митя пользовался симпатией за кротость нрава и за то, что он — трудящийся человек. По очереди с одним стариком он пас в окрестных лугах маленькое деревенское стадо. В стаде — четыре взрослых коровы, шесть коровьих подростков — бычков и телок — и «семь животных овечьей породы» (по выражению нашего Дениски).

Мне Митя казался похожим на Ваню Малявина и на других ребят из рассказов Константина Паустовского — белого-

ловых деревенских мальчиков, в чьих душах живет любопытство к разнообразному миру и данное природой понимание земной красоты.

Однажды проходя по Загорью, я увидел Митю с книжкой. Он читал, сидя на вросшей в землю дубовой колоде рядом с воротами у покосившейся избы.

— Здравствуй, Митя.

— Здравсте... — Он вскинул белые ресницы. И на потрескавшихся губах — вопросительная полуулыбка.

— Что читаешь?

Он протянул растрепанную книжку. Это было старое, довоенное еще издание «Острова сокровищ», в серии «Библиотека приключений». С давним детиздатовским значком — мальчиком, который сидит, подтянув коленки, и держит перед собой открытый томик.

В точности такой же «Остров» читал когда-то и я. В первом классе еще...

Я полистал и вернул книжку Мите.

— Интересная?

— Ага... Я уже который раз читаю... — И опять взмах ресниц. — А как по-вашему, это все придуманное? Или по правде было?

Я сказал, что многое из написанного здесь было по правде. По крайней мере, остров такой есть на самом деле, недалеко от Кубы. На нем и правда водились когда-то пираты: пели у костров хриплые флибустьерские песни, стреляли из мушкетов и зарывали в пещерах клады. И я на этом острове недавно был и своими глазами видел остатки пиратских укреплений.

Это я наврал. Будучи на Кубе, на остров Пинос (ныне остров Молодежи) я так и не выбрался. Но о флибустьерах Карибского моря и в самом деле слышал кое-какие легенды и видел в музеях их оружие. И старинных бастионов пиратской эпохи было в Гаване достаточно...

— А кино про Остров вы видели? Было недавно по телевизору...

Я сказал, что, конечно, видел. И по телевизору, и на большом экране. Мало того, несколько лет назад я с ребятами

приезжал в Севастополь, и мы подружились с экипажем шхуны «Испаньола», что стояла в конце Северной бухты, у Инкермана. Той самой шхуны, что снималась в фильме. Это было настоящее парусное судно — с капитаном и матросами, с судовым журналом и специальным документом, именуемым «судовая роль». Ее, эту шхуну, соорудили для съемок из старого черноморского дубка, который раньше назывался, кажется, «Клим Ворошилов».

— Очень красивый кораблик. Маленький, но вполне мореходный...

Я не стал рассказывать Мите про дальнейшую судьбу «Испаньолы». Про то, как потом ее отвели в Ялту, выволокли на берег и превратили в бар для туристов. Такое славное морское суденышко — в сухопутную забегаловку! Тьфу... Нет, не буду я расстраивать ни Митю, ни себя...

Я решил рассказать Мите о другом. Как мы в «Каравелле» снимали свои пиратские фильмы. Сперва тот же «Остров сокровищ», а потом лихую комедию «На абор-рдаж!».

В этой комедии участвовал парусник старинного образца, похожий на «Испаньолу», только поменьше. Мы его построили из морской шлюпки и назвали «Дик Сэнд» — в честь жюль-верновского пятнадцатилетнего капитана. А капитан этого «Дика» в фильме был десятилетним. Кстати, звали его Митька. И в кино, и в жизни. Митя Кононов. Этакий юный морской волк в ботфортах, треуголке и с кремневым пистолетом за кожаным кушаком.

В нашей комедии флибустьер-третъеклассник бесстрашно расправлялся с хулиганами, которые посмели обидеть его друзей и его самого.

Правда, решился на смелые поступки наш Митька не сразу. Потому что по натуре он был совсем не драчливый, смиренный — вроде здешнего Мити. Но однажды в фильме зазвучала дерзкая песня:

Когда тебя замучил враг
И с треском лопнуло терпенье,
Ты сделай самый первый шаг,
Ты сделай очень важный шаг —
Ты вспомни раковины пенье!

И Митька берет со стола морскую раковину, прикладывает к уху и слышит зовущий голос океана...

Раковину эту я привез с Кубы. Я ее там выменял у сморщенной коричневой старухи с сигарой в зубах на кусок туалетного мыла. Снаружи раковина была серо-полосатая, с шипами, а внутри — нежно-розовая, с перламутровым отливом. Она до сих пор лежит на моем письменном столе. И в ней попрежнему не стихает прибой Мексиканского залива...

Я не успел рассказать Мите про кубинскую раковину и наше кино.

— Митенька! — ласково окликнули его со двора. Мама или бабушка. Он улыбнулся чуть виновато, заложил страницу стеблем подорожника и оставил книжку на колоде: смотрите, мол, еще, если хотите. И пошел к калитке.

А я погладил книгу и тоже пошел. По своим съемочным делам. Пожалуй, это и хорошо, что не стал ничего рассказывать. Зачем душу бередить? Все равно «Каравеллы» уже нет, одряхлевший «Дик Сэнд» отдан во взрослый яхт-клуб на чужом озере, яхты-мушкетеры переданы во флотилию «Алый парус», в недалекий от Свердловска город Первоуральск. И впервые за много лет нет на нашем Верх-Исетском озере парусов отряда «Каравелла». Так уж получилось...

Да, но при чем здесь заяц Митька? Получается, что рассказ вовсе не о нем.

Пока да. Митьки там со мной еще не было. До той поры, пока наши съемочные дела на Сенеже шли нормально и душа моя пыталась отдохнуть на подмосковной природе. Но спокойная жизнь длилась недолго.

3

Яшка Воробьев — герой книжки и телеспектакля — удирал от мамы, которая взгрела его венником. Он миновал огородные гряды и сиганул на забор.

— Замечательно сиганул! — радовался режиссер. — Ну, прямо каскадер!

— Да, — согласился я, — лихо... А с забора на улицу он прыгнул еще лучше. Ты эти кадры видел?

— Нет... А что? — В ласковых восточных глазах режиссера

появилась озабоченность. Поскольку в голосе моем он чутко уловил нехорошее. Последнего эпизода он и правда не видел, потому что доверил его съемку помощникам.

— Да так... — вздохнул я. — Конечно, ты можешь сказать, что я опять придираюсь к мелочам. Но боюсь, что зрители не поймут, почему мальчик прыгает на забор в оранжевых шортах и клетчатой рубашке, а соскакивает с него в синем тренировочном костюме...

— О-о-о... — Режиссер взялся за щеку, словно при воспалении зубного корня.

— Только не устраивай скандал с мальчишкой. Было холодно, вот он и оделся поплотнее. Он вовсе не думал, что вечерняя съемка — продолжение сцены на огороде. Через заборы-то они прыгают то и дело... Громогласная Валентина и твои помощницы совсем заморочили ребят.

— А ты не мог проследить, да?!

— Чтобы мне опять сказали, будто лезу не в свое дело?

— Злорадствуешь, — скорбно сказал режиссер.

— Ничуть... Я бы проследил, но, к твоему сведению, ездил в Москву за белилами. Тоже не мое дело, конечно, однако лодку-то красить надо...

К съемкам эпизода, где ребята ремонтируют лодку, нельзя было приступить, потому что не было краски. «Исчерпан лимит», — непреклонно заявляли хозяйственники. А нужна-то была пара банок по три рубля штука. Я плюнул, ухватил на плотине такси и поехал в столичные «Хозтовары»...

— Так что вот, краска в наличии. Какую причину теперь отыщут твои операторы для саботажа?

С операторами у меня были постоянные стычки. Конечно, им нелегко приходилось со своими камерами-сундуками, вот они и старались побольше снимать с одной точки, не двигать лишней раз аппаратуру. И кадры поэтому, на мой взгляд, получались «фиговые». Это я, доведенный до ручки, и высказывал открыто. В ответ же слышал от столичных виртуозов телекамеры, что у них дипломы ВГИКа и в советах дилетантов они не нуждаются.

Я в самом деле был дилетантом. Мой режиссерско-операторский опыт сводился к работе с любительскими кинокамерами. Правда, с ребятами из «Каравеллы» сняли мы немало

фильмов: полнометражных и, по моему мнению, вполне художественных. Однако, с точки зрения большого искусства, это была, разумеется, самодеятельность.

— Но вы же снимаете по моему сценарию! Кому же, как не мне, знать, что должно быть в кадре?!

Мне мягко разъясняли, что дело сценариста сдать на студию текст и не мешать работать профессионалам.

— Черт знает что! — жаловался я режиссеру. — Они взгрозили камеру на сарай и снимают все сверху вниз. Ребята получают ползающими по земле, как тараканы!

— Но в таком ракурсе есть своя логика...

— Очень простая логика: им лень передвигать камеру!.. Это же картина о небе, о воздушных змеях, о мальчишках, мечтающих о высоте! В кадре должны быть облака, птицы, верхушки деревьев! А тут... При такой съемке и песня про август не пригодится!

Несколько песен для спектакля «Та сторона, где ветер» я сочинил сам. Некоторые теперь явно сюда «не вплетались». И особенно жаль мне было самую главную — песню друзей-мальчишек, которые при августовском ветре запускают с крыши воздушного змея.

Ночью опять провода засвистят
Песню позднего лета.
Свежие ветры августа
В город придут с рассветом.
Ты подружить со змеем сумеи
Звонкий тревожный ветер.
...Только учти: если поднял змей —
Ты за него в ответе.

Небо в натянутой нитке поет,
Словно в упругом нерве.
Я научился слушать его
Только с тобой — с первым.
Накрепко связаны мы с высотой
Тонкою ниткой змея.
...То, что связало меня с тобой, —
В тысячу раз прочнее.

Я этот миг сберегу навсегда —
Песню под облаками:
Как трепетала моя высота,
Взятая прямо руками.

Как мы стояли вдвоем на ветру —
Нам на двоих один ветер.
...Я тогда понял: раз рядом друг —
Я за него в ответе.

И потом еще припев — после каждого куплета:

Стартовые площадки —
Солнцем согретые крыши.
Ниткой змея измерена
Первая высота.
Это такое счастье —
В небо лететь все выше!
Пусть он летит уверенно
С ветрами августа!

— Скажи ты им, что в кадрах нужно больше неба! — убеждал я режиссера. — И ветер нужен! Разве не ясно?!

— Ай, зачем ты все время ругаешься, — печально отвечал режиссер. — Знаешь, в чем твоя беда? В том, что ты хочешь быть не только автором сценария, но и режиссером, и оператором...

— Да! И реквизитором, и завхозом, и костюмером, и гримером! Потому что вся ваша творческая братия бездельничает! До сих пор не можем снять сцену в саду, потому что не сделали кран для водометного ружья. А заказывали еще весной!.. А как быть, если Илья утром снимается со здоровенной царапиной на щеке, а днем, в той же сцене, царапина эта исчезает, будто ее корова слизнула. А ваша гримерша при этом только хлопает крашеными ресницами! Я вмешиваюсь — и опять я плохой! А ты боишься лишнее слово сказать!

— Что поделаешь, дорогой. Ты уедешь, а мне с ними работать дальше...

Режиссер был человек мягкий. Съемками он был увлечен. Но кроме вдохновения нужна была там еще и крепкая руководящая рука. Тем более что съемочной группы вдохновение не касалось. Для многочисленной бригады «тэвэшников» съемки были рутинной работой, связанной со множеством неудобств. Помню недовольные лица, когда выяснилось, что ночевать придется в общежитии, без всякого комфорта, а работать с утра до вечера.

Юная заведующая реквизитом пальчиками поправила на

себе лоскуточки, заменяющие купальник, изогнула плавную линию бедра и томно спросила:

— Это что же? Значит, никакой личной жизни?

Не знаю, состоялась ли у нее там личная жизнь, но на свои обязанности ей было явно наплевать. Пример тому — история с пером фламинго, из-за которой мои отношения со съёмочной бригадой лопнули окончательно.

Это алое с черной оторочкой перо было существенной деталью спектакля. Талисманом одного из героев. Яркое, красивое, оно должно было в кадре долго плыть по воздуху, навевая на зрителей соответствующее настроение. Добыть такое перо должна была все та же девица-реквизитор: в зоопарке, в зоологическом музее, где угодно. Или изготовить, в конце концов. Заявка была сделана (так же, как на кран для ружья) еще весной. Девица, естественно, «не почесалась».

О том, что пера нет, узнали только в день, когда оно понадобилось для съемки. Девица опять повела бедром и заявила, что «эта проблема за пределами моих обязанностей».

Кончилось тем, что после криков и выяснений решение задачи взял на себя наш седой и заслуженный художник-постановщик.

И вот представьте себе: старый, весьма обширной комплекции дядя под радостные крики разноцветных загорьевских внучат и негодующие вопли хозяек начал бегать по деревне за орущими от ужаса петухами.

Петухи были резвее художника. Лишь под вечер загнанное пернатое существо попало-таки в руки тяжело дышавшего служителя искусства и поплатилось длинным пером из своего крыла.

Перо было белое. И художник долго обрабатывал его акварелью и тушью.

Увы, акварель — не природная окраска огненной птицы. Сцена с пером получилась хиленькой. На мой взгляд — просто провальной. Это я откровенно и высказал режиссеру и художнику.

Художник — в общем-то человек славный и часто со мной соглашавшийся — на сей раз не поддержал меня. Его можно было понять: он ради этого пера потратил столько сил. Я же в запале заявил, что надо было не бегать по деревне, потешая

жителей, а потребовать перо с того, в чьи обязанности входит подготовка реквизита.

— А то эта ваша «красная розочка» только глазки строит всем мужикам подряд! Есть тут у вас хоть какая-то производственная дисциплина? У нас в «Каравелле» за такой провал задания выгнали бы даже третьеклассника!

Режиссер сказал, что, к счастью, мы не в «Каравелле».

— К счастью, да? Ну так вы дотанцуетесь в конце концов с таким счастьем! Когда пойдут съемки на шлюпке! У вас о технике безопасности — ноль понятия! Олег уже тыщу раз говорил, что паруса сшиты слабые, их оборвет к чертям при первом свежем ветре! И булькнете ребят! Ведь мальчишки-то должны сниматься даже без спасательных жилетов!

Опять вмешался художник. Он величественно разъярил, что паруса проверял сам и не нуждается в советах юного консультанта из пионерского отряда.

— У меня самого дома надувная лодка «Пеликан». И парус для нее я шил своими руками. Так что учить меня не надо.

Я, все еще сдерживаясь, объяснил разницу между надувной лодкой и шлюпкой, между неодинаковой площадью их парусов и различным давлением ветра.

— Смотрите сами! Здесь даже при трех баллах полетят кренгельсы и парус останется без шкота!

— Этот, как вы его назвали, «кренгельс» не порвет даже «КамАЗ» с буксирным тросом! — оскорбился художник.

Я взял парус, зацепил указательным пальцем тесемочную петлю и рванул. Петли не стало. Я бросил парус на общежитскую койку и ушел.

4

Я долго бродил по берегу Сенежа. Палец, которым я уничтожил кренгельс, побаливал. И настроение было так себе...

День стоял нежаркий, сероватый, но с частыми проблесками солнца. Оно рассыпалось по озерной ряби искрящейся чешуей. Берег порос кустарником с узкими листьями. Листья были темно-зеленые, словно лаковые, но с пушистой серебристой изнанкой. Сквозь траву проглядывало желтое мелкоцветье.

Я понемногу успокоился. Иногда присаживался на остатки плетня или на забытое кем-то ржавое ведро и доставал из пазухи небольшую книжку. Прочитывал страницу-две.

Это был сборник рассказов Паустовского. Я купил его в Москве, когда ездил за краской. В ту пору книжного дефицита покупку эту можно было считать удачей. Хотя издание, конечно, — так себе. Пособие для немцев, изучающих русский язык. Все слова были снабжены ударениями, а многие страницы густо оснащены комментариями и переводами на немецкий язык наиболее трудных для иностранного разума оборотов.

Эти разъяснения порой казались забавными, а иногда и злили. Бедный Константин Георгиевич... Вернее, бедные немецкие читатели...

Я прятал книжку, но продолжал думать о Паустовском. Он умер десять лет назад. Я был на его похоронах. Живым Константина Георгиевича я никогда не видел, хотя и считал его своим учителем. «И теперь уж никогда не увижу», — толкалась в тот похоронный день беспомощная мысль. К этой горечи добавлялась горечь собственных несчастий. Был безнадежно болен живший в Белоруссии отец, а в Свердловске под напором активных педагогических тетушек, местных партийных лидеров и неусыпно бдевшей «общественности» разваливалась и шла ко дну моя «Каравелла»...

Тогда удалось спасти отряд. С помощью друзей и журналистов, а главное — потому, что был я в ту пору, в шестьдесят восьмом, молодым (тридцать лет), неутомимым, а иногда и яростным.

Теперь, через десятилетие, все повторилось. Те же доносы, выбитые в отрядном штабе окна, придирки милиции, злорадная агрессивность шпаны и кулацкая ненависть «местного населения». Ненависть к мальчишкам и девчонкам в «нездешней» морской форме, вся вина которых в том, что хотели жить интересно и дружно...

Да, все повторялось, но я уже был не тот — сорок лет не тридцать. Накопилась вязкая безнадежная усталость. Такая, что я готов был к любой развязке, лишь бы скорее все кончилось. Именно это настроение, а не какая-то сверхсмелость, толкнуло меня на отчаянный шаг. По меркам того времени

это была или феноменальная наглость, или просто сумасшествие.

Я отправил в обком партии письмо, в котором (да простит меня читатель за красоту) звенело скрученное в пружину бешенство. Я требовал (о, господи, требовал у обкома!), чтобы партийные деятели определились в своем отношении к детскому морскому корреспондентскому отряду, который существует уже семнадцать лет и которым руководит не дядя Вася из котельной, а... Ну и так далее. Пусть обком выделит специального человека для защиты отряда от злопыхателей и провокаторов, если там, в обкоме, считают, что воспитательная работа с детьми необходима. А если не считают, то — пожалуйста! Мы успели сделать немало и готовы завтра же заявить о роспуске. Иначе говоря, громко хлопнуть дверью.

Меня вызвал к себе третий секретарь обкома. Он был уралец, наш земляк, но несколько лет проработал в Москве, а недавно вернулся в Свердловск на более высокую партийную должность — отвечать за идеологию в областном масштабе.

Он начал сразу, не предложив даже сесть:

— Ты кто? Камикадзе, что ли?

— То *есть*?

— У тебя голова-то варит? Такое письмо — нам! Здесь тебе не обком комсомола!

До отъезда в Москву он работал в комсомольских сферах, и нам случалось встречаться.

— Очень рад, — сказал я, — что наш разговор принимает неофициальный характер. Значит, будем по-прежнему на «ты»?

Он замигал. Он был уверен, что по хамской партийной традиции может говорить собеседнику «ты», но тот — исполненный священного трепета — не должен и помышлять, чтобы отступить от почтительнейшего «вы».

Помолчав, он выговорил:

— Н-ну что ж... М-можно и на «ты»...

— Тогда объясни, при чем тут «камикадзе»?

— Ты соображаешь, что делаешь? Ты предъявляешь партии уль-ти-ма-тум!

Я не сдержался, хихикнул. Вспомнил «Тимура и его команду». Там один пацан объясняет, что «ультиматум» — слово международное. Означает, что бить будут.

— Ну, обком — это еще не вся партия, а ее ма-аленькая частичка. И к тому же я сам — член КПСС. Выходит, тоже частичка партии. Получается, что я предъявляю ультиматум сам себе?

— Ты словами-то не играй. Я понимаю, ты писатель, языком владеешь...

— Я и не играю словами... — В меня налилась какая-то густая спокойная злость. — Это ты играешь. «Ультиматум»! Ультиматумы предъявляют, опираясь на силу и власть. А за мной какая сила? Сорок пацанов и девочек младшего и среднего школьного возраста...

— Не кокетничай, — поморщился «третий». — Ты опираешься на свой авторитет. На свое лауреатство, на должности в союзных писательских органах. И на все такое прочее...

Я сказал, что все это называется не «должности» и не «все такое прочее». Это просто литературное имя, которое я заработал своим горбом. Своими книжками. Хвастаться нехорошо, но все же можно сказать: здесь я кое-чего достиг. И *это* у меня не отобрать никакими постановлениями и резолюциями.

Он сообщил без всякой злости, скучновато так:

— Не зарывайся, голубчик. Ты же знаешь: и не таким знаменитостям шеи скручивали.

— Да, — покивал я. — Это вы можете...

— Что ты имеешь в виду?!

— А ты?

— Я... то, что за свое вызывающее поведение можешь и полететь... из славных рядов.

Мы были одни в большущем гулком кабинете. Я посмотрел в бледные «идеологические» глаза. Сказал вполголоса:

— Вот я испугался-то.

В самом деле, если нет отряда, на фиг мне членство в партии? Не станут печатать? Хрен с ними, переживу трудные времена, это «многих славных путь». Сторожем устроюсь куда-нибудь. А посадить не посадят, все же не та эпоха...

На лице «третьего» появилась задумчивость.

Может, он знал, как меня принимали в партию? Прямо сказать, за уши тащили. Особенно нажимал наш писатель-

ский парторг — отставник, фронтовик и хороший поэт. А на него нажимали в райкоме: творческой организации нужны молодые кадры. Единственным молодым был я.

Ссылаясь на то, что не подготовлен, недостаточно сознателен и недостойн такой чести, я упрямылся, сколько мог. Но заставили-таки написать заявление. Началась многозначительная волокита: анкеты, собеседования, комиссии. На одной из таких комиссий, где сидели твердокаменные бритоголовые ветераны во френчах времен Гражданской войны, случился скандал. Меня начали экзаменовывать по Уставу КПСС и уличили в том, что я перепутал местами два прилагательных.

Я сказал, что уже не мальчик и считаю странной ситуацией, когда меня гоняют, как пятиклассника по правилам грамматики. Наоборот, я привык сам принимать экзамены у детей: по навигации и парусному делу. А что касается двух вышеупомянутых слов, то, как литератор, я гарантирую: смысл фразы в Уставе от их перестановки никак не меняется.

Реакция была громкая. Разгневанная парттройка потребовала, чтобы пред их очи предстал наш парторг.

Он предстал (уже не при мне, конечно), а потом при встречах смотрел на меня с томительным укором. Чем больше было укора, тем сильнее крепла во мне надежда, что вопрос о приеме отпадет.

Черта с два! Все же приняли в кандидаты.

А через год процедура должна была повториться — при переходе из кандидатов в члены.

Наш писательский шеф — талантливый и милый человек (которому я, увы, доставлял немало хлопот и огорчений) — при встрече осторожно сказал:

— Звонили из райкома, говорят, что вам опять надо в комиссию на беседу.

— Это снова к тем гранитным старцам? — (Вообще-то я выразился немного не так, конкретнее). — Не пойду.

— Ну, Слава! Когда вы повзрослеете?

— Никогда, — злорадно сказал я.

— Вы же понимаете: комиссия — это неизбежный этап.

— Не пойду! К этим инквизиторам...

— Слава, вы же роете яму под собой... и подо мной.

— Вы-то при чем? Скажите им: он уперся как баран...

Шеф посмотрел на меня долгим взглядом и позвонил в райком:

— Извините, но... я не знаю, как быть. Наш кандидат категорически отказывается идти на собеседование. Говорит, что... Что? Хорошо... — Он посмотрел на меня с выражением человека, которому вскрыли нарыв. — Они сказали: черт с ним, пусть приходит прямо в райком.

Не идти в райком было нельзя. В этом случае виновником моего неприема в партию был бы я и только я. Без всяких уверток. «Он отказался самым вызывающим образом!»... Какие последовали бы меры, можно гадать. Но одно несомненно: на «Каравелле» был бы поставлен крест. Разве можно подпускать к детям человека, который нагло игнорирует «ум, честь и совесть нашей эпохи»!

«Каравелла» была смыслом моей жизни. Да если бы только моей! Многих ребят — тоже. И ради них, ради отряда я готов был идти на компромиссы «до упора».

...Но сейчас-то, при беседе с «третьим», когда уже стало ясно, что отряду больше не жить, что я терял?

«Третий» вдруг спросил вполне по-человечески:

— Ты, видать, чертовски устал?..

Я поддался на это сочувствие:

— Устал, чего там... Только не от ребят, а от войны со всякой сволочью.

— Ладно. Мы подумаем, как быть. Через неделю позвоню, мы обговорим детали...

Ни через неделю, ни через две он, конечно, не позвонил.

Ребята собрались в последний раз, и «Каравелла» официально объявила о своем роспуске — из-за непосильных условий существования.

Отправили об этом письма всем, с кем были связаны общей работой: в журналы «Пионер» и «Вожатый», в «Пионерскую правду», в ЦК комсомола. Там поохали, посочувствовали, на этом и кончилось.

Мне казалось, что ребята не очень огорчены таким концом. Видимо, они были измотаны не меньше меня.

Я испытывал и грусть, и облегчение. И чтобы задавить в себе печаль, с головой кинулся в хлопоты, связанные со съемками спектакля.

Как говорится, поменял шило на мыло. Знать бы заранее, как оно здесь все обернется!

Теперь можно было бы плюнуть и уехать домой. Но не хотелось срывать со съемок сына. И дело даже не в нем — Пашка не очень-то горел на этой актерской работе. Но наш отъезд сорвал бы вообще все съемки спектакля, а это обернулось бы немалой бедой для других ребят — тех, для кого съемочная жизнь оказалась радостью, праздником и «страницей биографии».

5

В таких вот грустных размышлениях и воспоминаниях бродил я по берегу, а потом вышел к деревне.

Там всю улицу загромождали серебристые фургоны и раздавались вопли звукооператорши — в одном из дворов снимали очередной эпизод. Про то, как ребята приходят к матери своего приятеля Яшки — он утонул весной, во время ледохода.

Яшкину мать играла Майя Булгакова. Я видел ее во время съемки накануне, когда она говорила о погибшем Яшке. Видел ее искренние слезы. Аж горло перехватило — будто все по правде.

...А в те дни, когда я уже писал эту повесть, в теленовостях сообщили, что Майя Булгакова погибла в автомобильной катастрофе. Отчего так не везет в жизни хорошим людям?

Вспомнилось, как в перерывах между съемками она жаловалась с каким-то деревенским простодушием (возможно, не совсем вышла из роли), что хороших фильмов ставят мало, сниматься негде.

— Написали бы вы для меня сценарий, а?

Это, конечно, полусушья.

Так же полусушья я обещал подумать об этом. И ничего, разумеется, не написал. Какой из меня киносценарист! С этой-то пьесой, по собственной книжке, намучился... Но теперь, через многие годы, нет-нет да и царапнет совесть...

...Я постоял у крайнего фургона, прислушиваясь к звуко-режиссерским воплям. Не исключено, что эта дама орала на

моего Пашку. У него был негромкий, «идуший в себя» голос, и мощности микрофона не хватало для полноценной записи.

Но парнишка-то чем виноват, если техника паршивая?

Нужно было уходить, чтобы не впутаться в новый скандал. Я обошел фургон и зашагал в другой конец улицы. Мимо громадного колодезного колеса. В колесе притулилась к бревенчатой спице девочка лет семи — в малиновом свитере и длинной, синей в белый горошек юбке. Грустная, как Аленушка. Держала на коленях и гладила тощего черного котенка, что-то говорила ему. Котенок беззвучно разевал крошечную розовую пасть.

Я вышел к плотине и с нее на попутном «Москвиче» уехал в Солнечногорск.

В городе я побродил по улицам, позаглядывал в магазины (без всякой цели) и наконец остановился у ларька, где торговали разной мелочью. В том числе игрушками. Перед застекленной стенкой с окошком была широкая доска — прилавок. На доске лежали пластмассовые куклы, деревянные клоуны, а среди них — тряпичный заяц в кепочке как у одесского пиджона и в оранжевом комбинезоне.

...Сейчас я опять спохватываюсь: назвал повесть «Заяц Митька», а до сих пор почти ничего не написал о нем. Только теперь, на тридцать третьей странице общей тетради, подступил к истории главного героя. Но так уж получилось...

Заяц смотрел на меня грустно и даже с болью. Возможно, он страдал от булавки, которой к животу его был приколот бумажный клочок с ценой: 3 р.

Сентиментальная память кольхнула мои детские воспоминания. Когда-то в давние дошкольные времена у меня был уже сшитый из лоскутков заяц. Не очень похожий на этого, но тех же размеров и тоже лупоглазый. Куда он потом девался, не знаю.

Что, если тот давний приятель вернулся сейчас ко мне в новом обличье?

Мне нужно было утешение в нынешних печалях. Нужен был друг и собеседник. Я с негодованием сорвал с зайца булавку-ценник. Выдернул из бедняги и воткнул в прилавок булавку. Молча протянул удивленной продавщице три рубля.

И понес зайца в ладонях, как потерявшегося и найденного котенка.

— Малыш... как же мне тебя назвать?

Заяц молчал, но в отдалении замычали коровы. Я вспомнил знакомого пастушка.

— Ты будешь Митька!

На плоской, сшитой из серой диагоналевой ткани мордашке проступило удовольствие. В пластмассовых зрачках зажглись солнечные искры.

— Мы будем друзьями, верно?

Митька помахиванием длинных ушей одобрил эту мысль.

Начало дружбы следовало отметить. В ближайшем продуктовом магазине я обзавелся бутылкой пятизвездного «Самтреста» и не спеша двинулся в наше общежитие на краю Загорья.

Комната, где я жил, была большая, на пять мест. Режиссер, его помощники и операторы — мои соседи — уже вернулись со съемок. Вели между собой профессиональный разговор. Меня, дилетанта, они игнорировали, тема была для посвященных.

Я выглянул в окно: далеко ли Пашка и Олег? Они с другими ребятами гоняли мяч на лужайке.

— Все в порядке, Митька. Больше нас никто не интересуется. Сейчас мы отпразднуем наше знакомство. А дипломированным жрецам телеискусства не дадим ни капли.

«Жрецы» напряженно примолкли, надеясь, что последние мои слова шутка.

Но мы с Митькой и вправду отпраздновали начало нашей дружбы вдвоем, устроившись на моей кровати. И завистливые вздохи соседей не тронули ни мое железное, ни Митькино ватное сердце. Вот так...

— Будь здоров, Митька. Я напишу про тебя книжку!

После этого я всюду ходил с Митькой. Мы гуляли по окрестностям. В съемки я больше не вмешивался. Мне стало ясно, что этот телесериал загублен на корню. Я просто ждал, когда освободится Павлик. Олег — тот давно был свободен, и ему, как и мне, хотелось домой.

Мы с Митькой болтали о том, о сем. А если и молчали, то понимающе. Случалось, я читал ему отрывки из книжки Паустовского, и мы посмеивались над неуклюжими немецкими комментариями. Павлик иногда принюхивался к Митькиной морде и строго смотрел на меня:

- Опять?
- Да ты что! Это с прошлого раза не выветрилось!
- Знаю я вас...

Однажды вновь случился пасмурный день. И холодный. Но дожда не было, и съемки решили не отменять — график поджимал. Мощница режиссера уговаривала Дениску надеть под шорты колготки, иначе продрогнет. Денис уперся:

- Не хочу я как девчонка!
- При чем тут девчонка! Сколько мальчиков так гуляет!
- А я не буду! Всё! Я сказал!
- Ну и ходи весь в пупырышках!.. Простудишься и помрешь.
- Ага.

Если я в пупырышках,
Значит, скоро мне крышка, —

сумрачно срифмовал талантливый ребенок, но решения своего не изменил. А меня спросил:

- Вы сегодня опять с Митькой гулять будете?
- Конечно. Ему-то простуда не грозит.
- Вам обоим не грозит, — вставил подошедший сын. — Вы умеете греться.
- Как ты разговариваешь с отцом!
- Проницательно, — сказала мое чадо.

Но чадо ошиблось. Мы с Митькой не собирались в злые места, а просто решили побродить вокруг Загорья. В подтверждение наших невинных намерений я даже кликнул с собой Олега, но он ушел рыбачить.

Мы с Митькой опять остались вдвоем.

Верьте не верьте, но я ощущал в Митьке живую душу. Можно счесть это непростительной сентиментальностью сорокалетнего мужика, можно — «сдвигом по фазе», результатом того, что долго работал в жанре фантастики. Но я пишу то, что было. И я был уверен, что Митьке, как и мне, по душе заросшие берега Сенежа.

Я позавтракал в столовой, а потом взял Митьку за уши (ему это нравилось), и мы двинулись по главной улице Загорья. Было вокруг зябко и серо, в могучих дубах вздыхал влажный ветер. Но вот пробился из-за пепельного облака тонкий луч. Ударил в замшелый забор. И в этом месте (вот колдовство-то!) возник яркий, как солнечный блик, мальчик. Словно вернулся один из сказочных королевичей, которые в начале дачного сезона любили вертеться на колодезном колесе (а потом, в жаркие дни, полиняли, пообтрепались). Он как бы съехал сюда из-за облака, по скользкому лучу.

Луч пропал, а мальчик остался — весь в желтом, от шеи до пяток. Лишь кроссовки коричневые, но и те с лимонными полосками. И волосы — как свежая стружка. И в глазах — золотые точки.

Мальчик глянул мне в лицо. Seriously так. Задумчиво почесал переносицу, на которой сидели три веснушки. Не отвел глаз, сказал негромко, но отчетливо:

- Здравствуйте.
- Привет.

Он перевел взгляд на Митьку:

- Это *ваш* заяц, да?
- Мой.
- Почти что живой, да? — Он опять поднял глаза.
- Почему «почти»? — слегка обиделся я.

— Ну да, — желтый мальчик кивнул. — Другие думают, что игрушка, а он... не игрушка, да?

— Конечно, — сказал я с благодарностью. От мальчишки исходило пушистое тепло, как от настоящего солнечного луча. И глаза у него были такие понимающие. И желтые огоньки в зрачках были не насмешливые, а добрые...

Тут завылли моторы — по улице шла вереница серебристых фургонов и автобусов с буквами TV. Я, мальчик и Митька проводили их глазами.

— Там есть одна женщина, — сказал мальчик. — Когда снимают кино, она почему-то все время кричит.

- Есть такая, — вздохнул я. — Она отвечает за звук.
- Поэтому и сама так *звучит*?

Да, умный мальчик.

- Наверно...
- Скажите, пожалуйста, это ведь про *вашу* книжку снимают кино?
- Не кино, телеспектакль... Ну да, по моей повести.
- Значит, вы тут главный? Почему тогда не велите ей, чтобы не кричала?
- К сожалению, я здесь не главный. Наоборот...
- Но ведь книжка-то — ваша?
- Книжка-то моя. А все остальное...
- Жалко... — вздохнул он. И вдруг сообщил: — У нас в школе есть учительница, которая тоже все время кричит.
- И ты боишься?
- Ну... нет. Она не в нашем классе. Но, когда ее услышишь, потом ничего не хочется. Ни играть, ни... вообще ничего... Как Генке в вашей книжке, когда он раздружился с Владиком.
- Значит, ты читал?
- Да. Только там непонятно в конце...
- Что непонятно?
- Владик... Он остался слепой или все-таки стал видеть?
- Ты, значит, лишь первую часть прочитал. А есть продолжение. Там всё...
- «Всё кончается хорошо», — чуть не сказал я, но подумал о погибшем Яшке.
- Там всё делается понятно. Да, он стал видеть...
- Мальчик опять кивнул. И сел на корточки. Перед Митькой.
- Можно подержать?
- Конечно!
- Митька охотно пошел в руки к мальчику. Тот, не вставая, покачал его в ладонях. И протянул мне и сказал снизу вверх:
- У меня тоже есть... зайчонок. Только пластмассовый...
- Вот славно...
- В этот момент в заборе открылась незаметная (из таких же замшелых досок) дверца. Вышла пожилая женщина в клетчатой шали — наверно, бабушка. Кивнула мне, как знакомому, а мальчику протянула вязаную шапку с помпоном:
- Ты что же ее не взял, Игорек? Ехать далеко... Идем, а то не успеем на автобус.

Шапка была тоже ярко-желтая, как пушистый цветок осота.

Бабушка и внук пошли вдоль забора. Мальчик, оглянувшись, помахал нам с Митькой. А я поднял Митьку и помахал в ответ — мягкой тряпичной лапой.

И пошел на берег.

Конечно, желтый Игорек был обыкновенным московским внуком, которого бабушка принарядила для какой-то поездки. Но, может, был здесь и кусочек чуда? Может, солнце в самом деле на миг превратило в мальчишку свой пробившийся сквозь пасмурность луч? Чтобы в душе лоскутного зайца навсегда поселился добрый ребячий огонек...

Я вышел к озеру. По серой воде бежали мелкие барашки. Но лучи теперь пробивались все чаще. И на озере загорались желтые звезды. Мгновенная тоска по парусам, по ребячьему смеху, по оранжевым флагам «Каравеллы» буквально обожгла меня. Но в тоске не было уже горечи. Была азартная злость и... радость.

— Митька, ничего еще не кончено... Ты будешь матросом, я обещаю.

6

Так и получилось. Отряд, разумеется, ожил. На этот раз его спасли барабанщики. Это были самые маленькие, но и самые преданные «Каравелле» мальчишки и девчонки. Те, кто на парадах всегда шагали впереди отряда с большими черными барабанами, которые мы склепали своими руками.

Барабанщики не захотели жить сами по себе. Собрались и заявили, что пусть земля перевернется вверх тормашками, а они все равно будут «Каравеллой».

— А ты все равно будешь нашим командором! — Это они мне.

Мы вместе с отрядом «Алый парус» провели корабельную летнюю практику на Волчихинском водохранилище (где граница Европы и Азии), а потом вернули яхты на наше родное Верх-Исетское озеро. Маленький отряд снова обрастал ребятами — прежними и новичками. Ветераны «Каравеллы» по-

сле великих трудов и хлопот «выбили» для нас новое помещение. Опять мы снимали фильмы, устраивали рыцарские турниры, ходили в парусные походы и сочиняли зубастые статьи для «Пионерской правды» и журнала «Пионер».

Потом построили новые парусники. Для этого разработали свой собственный яхтенный класс — «Штурман». Спустили на воду девять «Штурманов».

И заяц Митька всегда был вместе с нами.

Во время выхода на воду его привязывали на носу яхты — к передней оттяжке мачты, — и он мчался над гребнями волн, впитывая ватными внутренностями брызги. В брызгах часто зажигалась радуга. После такого веселого плавания Митьку вздергивали на верхушку мачты грота-фалом, за уши. Он болтался там, высыхал на ветру.

Сначала Митька ходил на разных парусниках, но потом «прикипел» к яхте «Румб». На «Румбе» с годами менялись капитаны, но Митька оставался там бессменным членом экипажа. Он и сегодня ходит на этом постаревшем, но еще крепком швертботе.

По Митькиному примеру на других яхтах стали тоже появляться тряпичные «впередсмотрящие» — медвежата, кролики, клоуны и коты. Но Митька — самый заслуженный и по праву считается среди них капитаном-наставником...

Конечно, Митька не раз попадал во всякие приключения. В том числе и в опасные.

Однажды «Штурман» отрабатывали на короткой треугольной дистанции гоночные старты и повороты у буйков. Дуло крепко, яхты порой ложились парусами на воду, но лихие экипажи тут же подымали и выпрямляли их. В стартовой зоне было тесновато. Я уже решил, что пора кончать эту потеху, и, стоя в моторке, поднял рупор для команды. И опоздал...

Две яхты шли наперерез друг другу. Одна правым, другая левым галсом. Та, что мчалась левым, должна была по правилам уступить дорогу. Но на руле сидела девочка-стажер, до той поры не ходившая в свежую погоду. Вместо того чтобы привести к ветру, девочка сказала «ой», выпустила румпель и взяла себя за щеки.

Удар, хруст, звон лопнувшей ванты. Нос яхты-наруши-

тельницы врезался в борт другого «Штурмана». Как раз туда, где сидел, откренивая свой кораблик, матрос Алешка — маленький барабанщик и общий любимец. Алешку ударило в бедро и, как соломинку, сдуло внутрь яхты.

Я решил, что слабенькая берцовая кость пацаненка — пополам. Аж в глазах потемнело.

Алешку спас Митька. То ли по случайности, то ли по велению доброй судьбы (скорее всего, что по велению) Митька в этот раз оказался привязанным не на носу, а к боковой оттяжке — ванте. Ватным своим тельцем он заслонил мальчика, принял удар на себя.

Митьке оторвало нижнюю и верхнюю лапы. Представьте, что был за удар, если деревянный, кругло обточенный брус форштевня обрубил тугие тряпичные колбаски Митькиных конечностей как топором! И при этом разнес в щепки крепкий речный буртик...

Девочку не ругали (кстати, из нее потом получился отличный яхтенный рулевой). Мы были счастливы, что все кончилось благополучно — если не считать могучего синяка на Алешкиной ноге и Митькиного инвалидства.

Синяк через несколько дней исчез. Митьку за геройство наградили значком, на котором был изображен четырехмачтовый барк «Крузенштерн». И стали думать, как беднягу лечить. Кто-то предложил сделать зайцу ногу-деревяшку — как Джону Сильверу — и протез передней лапы. Это, мол, придаст морскому зайцу лихой, подчеркнута пиратский вид.

Вид, возможно, и правда получился бы романтический, но я не хотел, чтобы мой Митька оставался калеккой. Он был для меня живой, и его страдания были моими.

Зайцу сшили новые тряпичные лапы. Немного не того цвета, что прежние, ну да ладно. Главное, что не протезы.

Отказался я превращать Митьку в пирата и тогда, когда он потерял глаз. Конечно, черная повязка (словно у знаменитого Билли Бонса) придавала бы зайцу оригинальность. Но какое живое существо захочет глядеть на мир одним глазом, а не двумя?

Вначале Митька лишился глаза в Севастополе. О севастопольских приключениях Митьки — особый рассказ.

Первый раз мы вдвоем с Митькой приехали в славный черноморский город в сентябре того же семьдесят восьмого года. Вскоре после злополучных съемок телесериала.

Кстати, сериал получился слабенький.

Были там и хорошие моменты — благодаря отличной игре мальчишек, исполнивших главные роли. Но что могут сделать мальчишки, если режиссер «спускает на тормозах» основные, самые напряженные эпизоды? Если, например, страшную грозу, во время которой едва не гибнут двое ребят, операторы снимают не под тучами и молниями, а при светлом небе и жиденьком случайном дождичке? И так во всем...

Впрочем, некоторые зрители спектакль хвалили. В начале восьмидесятых он шел по телевидению довольно часто. И каждый раз я сажал Митьку перед экраном.

— Помнишь те места?... А ребят? Смотри, это Дениска, который забросил тебя однажды на березу, еле достали...

Но в тот раз, когда Митька впервые оказался в Севастополе, спектакль еще никто не видел, он был «в работе»...

Город и море понравились Митьке. А главное — он нашел здесь много новых друзей.

Сначала он познакомился с четвероклассниками школы номер три, где я выступал перед ребятами. Очень славные были ребята. И учительница их — тоже. Мы потом дружили все их школьные годы, вплоть до выпускного класса.

Особенно понравился Митька двум мальчишкам — Вадик и Артуру. И они Митьке понравились. Наверно, потому, что были похожи на барабанщиков «Каравеллы».

Я вспоминал этих ребят, когда той же осенью сел писать повесть «Трое с площади Карронад». Эта повесть о приморских мальчишках, об их крепкой дружбе и о страшном наследстве, которое на тех берегах оставила давняя война.

Был в этой книжке и тряпичный заяц — верный друг мальчика, похожего на Артура. Только в повести зайца звали Артёмкой, а не Митькой. Дело в том, что Артёмка погиб при взрыве найденного мальчишками снаряда. Я не хотел накликать такую же беду на Митьку. Я достаточно суеверный человек...

Было у Митьки немало знакомых и в других севастополь-

ских школах. Мы в эти школы приходили не по одному разу, и всегда ребята кричали:

— А Митьку принесли?

Я пускал его по рукам, и заяц возвращался ко мне весь в значках-сувенирах. Как в броне витязя. А кроме значков, Митьке дарили крабьи клешни и дырчатые камешки на веревочках, раковины-рапаны, якорьки с погон и прочую морскую мелочь.

А однажды оторвали ему глаз. Нечаянно, когда перебрасывали из рук в руки. Дело было на школьном дворе, глаз упал в колючую траву и затерялся. Я очень расстроился. Но через несколько дней ребята глаз отыскали и вернули при следующей встрече.

Ходил Митька и в море. Под парусами — такими громадными, каких на нашем Верх-Исетском озере не видали. Случилось так, что в том же семьдесят восьмом году я познакомился с севастопольским семейством Вихревых — с Олегом, Любой и двумя их сыновьями — Алькой и чертенком Юросом дошкольного возраста.

Олег был завзятым яхтсменом.

С тех пор я приезжал к Вихревым почти каждый год. Как правило, в сентябре. Годы шли, мальчишки росли, Олег из старпома на яхте сделался яхтенным капитаном...

О Вихревых я немало писал в других повестях. Но эта повесть главным образом о Митьке, а Митька — их друг. Прежде всего — друг Юроса. Поэтому здесь не обойтись без рассказа об их встрече в восемьдесят пятом году.

7

Я приехал в Севастополь в последних числах августа. И сразу пошел на Бакинскую.

Олег и Алька были в яхт-клубе. Юрос завопил и повис у меня на шее. А потом умчался. После этого он возникал каждые десять минут и снова убежал.

За окнами весело галдели его приятели. Тоже мои знакомые. Иногда они забегали, чтобы поздороваться. Люба готовила для Юроса «школьную амуницию». Белая рубашка и алый

галстук были уже отглажены и висели на спинке стула. Люба занималась старыми брюками (поскольку новых не было).

Подобно французам, утверждающим, что лучшее средство от перхоти — гильотина, мама Юроса решила: самое радикальное средство от пятен и дыр на штанах сына — портновские ножницы. Поэтому она без колебаний отстригла истрепанные штанины выше колен и села за швейную машинку.

Это происходило на кухне. Люба Вихрева строчила на машинке, угощала меня чаем и уговаривала не уходить, подождать еще. Супруг и старший сын скоро вернутся из яхт-клуба, где торчат с самого утра, вместо того чтобы готовиться к отъезду и паковать вещи...

Я, по правде говоря, и не собирался уходить. Знал, что Юрос уже слетал вниз по Капитанской, до яхт-клуба, и сообщил отцу и брату о моем приезде. И они, скорее всего, задерживаются потому, что в магазинчике, что рядом с яхт-клубовской проходной, перерыв, а для встречи совершенно же необходима бутылочка «Массандры».

Такую догадку я, однако, не высказывал, зная сдержанное отношение капитанской супруги к бутылочкам. Поглаживал сидящего на колене Митьку и вел светскую беседу, с легкостью перескакивая с темы на тему.

Наблюдая за Любиными портновскими усилиями, вспомнил кстати, что история повторяется. В одной моей давней повести такую же операцию со штанами проделала мама главного героя — девятилетнего капитана фантастической каравеллы. Юный мореход отнесся к этой процедуре крайне болезненно.

Люба и Юрос эту повесть читали. Но Юрос, в отличие от моего героя, ничуть не скорбел об урезанных брюках. Он был севастопольский пацан, привыкший к долгому крымскому лету и справедливо полагавший, что нет смысла таскаться в школу в длинных штанах, когда на улице тридцать градусов.

Поэтому Юрос энергично показал большой палец, когда Люба остановила машинку и явила нам свое произведение швейного искусства.

— Все о'кей!.. Мама, а обрезки я беру, ладно?

— Это еще зачем?

— Сделаем мешки, набьем ветошью, оплетем тросом. Будут кранцы для яхты.

— У вас с отцом одно на уме: кранцы, транцы, померанцы...

Юрос возразил, что померанцы тут ни при чем. Цапнул со стола обрезанные штанины и сиганул на двор, прихватив заодно и Митьку: чтобы он повидался со знакомыми ребятами.

Я видел в окно, как ребята поперебрасывали Митьку из рук в руки, потом усадили в развилку низкорослой акации. А сами принялись набивать бывшие штанины принесенным из сарая тряпьем. Набили, завязали с двух концов. Но оплести тросом не стали, а подвесили на перекладину качелей — превратили в боксерские «груши». И обрабатывали кулаками со всех сторон...

Люба между тем снова налила мне чаю, включила уют и тщательно отгладила новоиспеченные шортики.

— Совсем как только что из магазина, — сказал я слегка подхалимски, потому что чуял: Олег уже зашел в продуктовую лавку.

— Да какие там «из магазина»! — Люба разглядывала их на фоне окна. — Весь зад светится насквозь, как решетот...

— Ну, на две-то недели, может, хватит, — вздохнул я. Потому что именно такой срок оставался Вихревым для севастопольской жизни. Военный музыкант Олег Вихрев заключил контракт для службы на Камчатке, на несколько лет. Там условия повыгоднее, срок до пенсии пойдет быстрее... Ну, и Тихий океан, конечно, манил яхтенного капитана. Отъезд наметили на середину сентября. И сейчас жили уже «на чемоданах».

Но для Юроса, в его неполные двенадцать лет, две недели были немалым сроком. Отъезд на Дальний (ужасно дальний, пока еще просто нереальный) Восток был пока что за гранью многих дней. Между нынешним днем и прощанием с родным городом будут еще уроки в привычной школе, знакомая яхта «Фиолент», горячие от солнца галечные пляжи, зеленая глубина прогретой воды, распахнувшиеся в полнеба сентябрьские закаты над морем и вечерние игры со старыми друзьями. И девочка Настя — похожая на загорелого мальчишку, только с длинными, ниже плеч, льняными волосами.

Когда Юрос знакомил нас, он сказал с отважной простотой и ясностью:

— Вот, это Настя. Я ее лучший друг, а она моя лучшая подружка. Мы друг от друга ничего не скрываем. Верно, Нась?

Она кивнула — серьезная такая и тихая. Видимо, в отличие от Юроса, она чуткой своей девичьей душой уже ощущала печаль недалекой разлуки...

Впрочем, сейчас Настя вместе с мальчишками весело пританцовывала у подвешенных «груш» и по-боксерски обрабатывала их крепкими кулачками.

А Митька из развилки акации смотрел на ребят с задумчивым снисхождением. Он уже и тогда был мудр, он знал, как быстротечны дни, недели и годы...

Я тоже это знал. И поэтому смотрел на ребят и Митьку с такой же задумчивостью. Но недолго. В дверях возникли яхтенный капитан Олег Вихрев и его старший отпрыск. С Олегом мы обнялись, а с Алькой обменялись крепким рукопожатием. Алька был десятиклассником, в этом возрасте принято сдерживать эмоции.

Когда Олег обнимал меня, он не выпускал из рук холщовую сумку. Меня стукнуло по спине твердым. Потом Олег постарался незаметно поставить сумку в угол, за шкаф. В ней тихо звякнуло.

— Поставь, что принес, на стол, — велела Люба. — Гореконспиратор...

Олег поставил. И сообщил, что я приехал на редкость удачно:

— Завтра с утра пойдем в море.

— А я?! — взвыл Юрос, просочившийся на кухню за отцом.

— Завтра тридцать первое августа! — вознегодовала Любовь Васильевна. — У тебя собрание в школе! Зря я, что ли, тебя собираю, наглаживаю, чтобы ты хоть на первых порах был нормальным учеником, а не прогульщиком!

Юрос, покоровшись судьбе, засопел и протянул мне вернувшегося Митьку. У того выжидающе блестели глаза. Но Митьку тоже ждало разочарование: ему не дали массандровского портвейна. Здесь, в Севастополе, ему предстояло не раз

общаться со школьниками. Не хватало еще, чтобы дети учуяли подозрительный запах!

Чтобы утешить Митьку, Юрос прицепил к его оранжевому комбинезону севастопольский значок «Четвертый бастион». Потом крикнул в открытое окно:

— Нась, лови! — И выбросил Митьку со второго этажа. На дворе опять весело завопили. А Юрос тряхнул темными расстрепанными локонами и умчался.

На следующее утро, около восьми, я шагал от Центрального рынка к лестнице Крепостного переулка. Лестница эта (по-севастопольски — «трап») ведет вверх по скалистому склону вдоль желтой крепостной стены с бойницами. Это остатки Седьмого бастиона. От верхней площадки до дома Вихревых — рукой подать.

Я спешил к Олегу, чтобы вместе отправиться в яхт-клуб. На боку болталась спортивная сумка — в ней полотенце, аппарат «Зенит» и Митька. Ушастая голова Митьки торчала наружу.

Между лестницей и бастионной стеной среди сурепки и камней тянулась по уступам тропинка — путь для тех, кто не любит спокойные ступени и привык к рискованным восхождениям и спускам.

Юросу нравились именно такие пути. И я не удивился, когда увидел, как Юрос прыгает вниз с уступа на уступ.

Впрочем, прыгал он с некоторой осторожностью, потому что был «при полном параде». Но, увидев меня, Юрос забыл об осторожности — помчался навстречу, используя как тормозной парашют охапку георгин и хризантем, которую тащил в подарок любимым педагогам.

— Дядя Слава, ура!.. Митька, привет!

Я помог Юросу остановиться. Он был ослепителен с головы до ног. Отглаженный галстук полыхал шелковым пунцовым пламенем. Рубашка сияла такой белизной, что от нее, по-моему, пахло новым холодильником. Коричневые штаны после вчерашней операции, чистки и утюга выглядели как новенькие — топорщились острыми, будто носы эсминцев, складками. Кеды же и правда были новые — на них еще со-

хранился магазинный лоск. А пестрые гольфы (надетые явно по маминому настоянию) вплотную приближали этого отрока к лучшим европейским стандартам.

Локоны Юроса слегка растрепались на бегу, но это придавало ему еще большую живописность.

— Митька, смотри! — восхищенно выдохнул я. — Если бы мы не знали, кто скрывается за такой образцово-показательной внешностью, то решили бы наверняка: это самый примерный пионер-отличник славного города-героя... Надолго ли только хватит такой образцовости?

— Дня на три, я думаю, — здраво поразмыслив, сообщил Юрос.

— В таком случае я просто обязан запечатлеть для потомства столь редкое явление. Сядь... Стой, что ты делаешь, балда!

Юрос, желая сесть на парапет, собрался подмести его букетом.

— Чучело! Тебя и на день-то не хватит, не то что на три...

Я подмел бетонный уступ веником из сорванной полыни. Юрос уселся с букетом в обнимку.

— И Митьку дайте...

— С Митькой ты снимался тыщу раз. А сейчас он тебя, такого красивого, будет своим видом дискредитировать.

— Что будет? — подозрительно спросил Юрос.

— Сиди, не вертись... — Я щелкнул «Зенитом» раз, второй. — Все. Мчись в родную школу, ибо учење свет...

— Свет — это завтра, а сегодня собрание... Эй, Нась, Сандалик! Подождите! — Юрос увидел своих друзей — Настю и Саню Дальченко — и помчался за ними.

А мы с Митькой зашли за Олегом и отправились в яхт-клуб. Выход в море в тот день не состоялся. На яхте обнаружили кое-какие неполадки, пришлось заниматься всякими корабельными работами. Я не жалел. Мне нравилось в яхт-клубе, расположенном среди остатков старинной Александровской батареи. Тем более что под боком был маленький чистый пляж: поработал, потом окунулся в море, позагорал на песочке...

Домой к Вихревым вернулись мы к обеду. И сразу увидели Юроса. И разом горько охнули. Юрос был совсем не тот, что

утром. И дело не в том, что он сменил парадную школьную одежду на привычную — полинялую и мятую. Исчезли его локоны. Остатки крупных темных завитков торчали нелепыми рожками и запятыми.

— Что с тобой? — озадаченно выдохнул Олег.

Пришедший с нами бородастый старпом дядя Миша выразился определеннее:

— Кто тебя так обглодал, юнга?

И Юрос поведал горькую историю.

Оказалось, что ни пышный букет, ни нарядный облик не усыпили бдительности педагогов. Она, эта бдительность, служила тому, чтобы «внешность учащихся соответствовала установленным правилам». Внешность Юроса не соответствовала. Из-за волос. Их длина превышала отмеренные педагогическим руководством нормативы. И завуч предписала Юросу и еще целому ряду неудачников «завтра явиться в школу в том виде, в каком положено».

Что делать, повела мама беднягу в парикмахерскую. И от туда он вышел... вот таким, как сейчас.

Когда мы умывались и готовились перекусить, Олег ругал бестолковых педагогов, школьные правила, украинское и союзное министерства просвещения и заодно советскую власть в целом. Правда, делал он это вполголоса, чтобы Юрос не слышал.

Он и не слышал. Вернее, не слушал. Забрал Митьку и умчался на двор. Судя по всему, он был огорчен случившимся меньше, чем мы.

За обедом Олег продолжал критиковать существующие порядки и выражал надежду, что долго они не продержатся, наступят новые времена.

— Только будут ли они лучше старых, — пророчески вздохнула Люба.

Сидевший с нами Алька заметил, что до тех времен, какими бы они ни были, Юрос успеет обрасти. Это всех несколько утешило. Кроме того, мы с капитаном Вихревым и старпомом Мишей утешили себя еще и другим, испытанным способом. И расстались до завтрашнего утра.

А на завтра мы с Митькой опять повстречали Юроса. Почти там же, где накануне. Столь же нарядного. Только вместо букета был у него набитый учебниками портфель. И не было, конечно, прежних кудрей.

Сейчас было особенно заметно, как стрижка повредила Юросу. Голова выглядела слишком маленькой, шея тонкой, уши оттопыренными. Да и весь он казался угловатым, длинноруким и длинноногим. Этаким нескладный Пиноккио (только без длинного носа). Но все же это был прежний жизнерадостный Юрос. Он опять подлетел ко мне, тормознул на ракушечнике слегка поблекшими кедами. И я уверил его — не совсем искренне, — что он по-прежнему великолепен.

— Тогда снимите меня еще раз! На память о первом сентября! — И встал рядом с уличной скамейкой.

Я опять пощелкал «Зенитом».

— А теперь давайте вместе! С Митькой!

Я поставил «Зенит» на бетонное ограждение, завел пружину автоспуска. Юрос ухватил Митьку и поспешно встал перед объективом. В ту же секунду случилось совершенно неожиданное. Рядом с аппаратом уселся растрепанный воробей, а в следующий миг на воробья прыгнул из сурепки серый клочкастый кот!

Это был один из тех полубродячих котов, которых немало водится в Севастополе. Опытный охотник. Но и воробей был не промах. Он взлетел, потеряв одно перышко. А кот, промахнувшись, лапой вмазал по аппарату. «Зенит» застучал по ступеням. Я с негодующими воплями подхватил его. Кот, прижав уши, метнулся вверх по лестнице, но через десяток ступеней сбавил скорость, остановился и сел. И, нахально глядя на нас, принялся вылизывать заднюю растопыренную лапу.

— Пошел отсюда, Базилио драный! — Юрос бросил в коту пустой раковинной улитки. Промахнулся. Базилио всем своим видом показал, как он презирает нас.

Я стал проверять аппарат. Затвор исправно срабатывал от обычной кнопки, но рычажок автоспуска заело — ни туда, ни сюда.

— Видать, не судьба, — вздохнул я. — Ладно, почию, то-

гда снимемся. Торопись в любимую школу, а то опоздаешь к первому звонку.

И Юрос поскакал по спуску. А я двинулся к Олегу. И через час мы были уже на «Фиоленте», за бонами Северной бухты, на внешнем рейде.

8

Сперва казалось, что это будет спокойное прогулочное плавание: пройдемся в сторону Феодосии насколько хватит времени, покупаемся в открытом море, ухватившись за брошенный с кормы капроновый конец; порадуемся жаркому солнцу, умеренной волне и ровному теплему зюйд-весту...

Так сперва все и было. Мы взяли курс на север, оставили позади Константиновский мыс, миновали Укчувку и пошли вдоль обрывов Качи, с которых бабочками слетали разноцветные дельтапланы.

А после обеда сделали поворот и двинулись обратным курсом — бейдевинд правого галса.

Качать стало заметнее. Волна шла почти навстречу, да и гребни сделались повыше, замелькали барашки. Ветер между тем заходил к весту. Потравили грот и стаксель, побежали быстрее. Крен стал сильнее, с наветра несколько раз влетела на палубу пена.

— Эт-то уже интересно, — сказал капитан Вихрев. Сам встал к штурвалу, а матросам (и мне в том числе) велел быть внимательнее на шкотах и «не копошиться, ежели что...».

Я радовался. Напоследок, перед расставанием, Черное море подарило капитану «Фиолента», и мне заодно, славную погоду — ощутимую волну и «самый тот» ветер.

Митька, конечно, тоже радовался. Он был привязан ушами к бортовому релингу и весело тарашился на море, где белые гребешки бежали все гуще. Промок от брызг, но все равно был счастлив.

— Между прочим, синоптики обещали, что во второй половине дня может быть свистодуйчик, — напомнил бородастый дядя Миша.

— Оно и видно, вон уже курятники пошли.

У местных яхтсменов, кроме официальной шкалы волнения, применялась своя, упрощенная. Из тех волн, которые заслуживали внимания, самые небольшие назывались «курятниками». Далее шли «сарай», «дома» и наконец «горсоветы».

До «сараев» пока было далеко, но «курятники» обозначались уже явно. Ванты и бакштаги начали тихонько гудеть. Яхта теперь не «шла», а, можно сказать, летела среди позеленевших и ставших непрозрачными волн. Справа и слева от нас на расстоянии кабельтова мчались еще несколько крейсеровских яхт. Видимо, все спешили домой. Оно и понятно. Откуда-то возникли и стали наливать сизой сумрачностью круглые облака. Скоро они превратились в тучу — шириной в полнеба.

Между тем «Фиолент» миновал полукруглый Константиновский форт (его подножие лизали гребни), и перед нами открылся вход в Северную бухту. Еще немного — и мы дома, под защитой волнолома и Александровского мыса.

— К повороту фордевинд... — уже без прежней беззаботности отдал предварительную команду капитан Вихрев. Потому что поворот «фордак» при таком ветре дело довольно серьезное.

— Олег, не надо фордевинд! — умоляюще завопил я. — Давай приведемся, сходим до Херсонеса! Ну, вон хоть до того судна!

На траверзе Херсонесского маяка неясно синели корабельные очертания. Кажется, это была дежурная база севастопольской эскадры.

— Туда и обратно, а? Давай, Олег!

— Будут шквалы, — с сомнением отозвался капитан Вихрев.

— Ты же сам говорил: на этой яхте хоть вокруг света!

Конечно, что делается такой громадине! Стальной корпус, балластный фальшкиль весом в четыре тонны, никакой крен не страшен, никакие волны.

По правде говоря, рассуждения мои и мое поведение были в тот момент довольно шкурническими. Безответственными. Мне кружило голову этакое чувство безопасности.

Дело в том, что дома, на наших уральских озерах, я никогда не жил без страха, потому что командовал там флотилия-

ми самодельных легоньких швертботов. Матросами и рулевыми были там мальчишки и девчонки — вроде Юроса и его подружки Насти. И я за каждого отвечал головой. Они-то чаще всего презирали опасность и страх, а я дрожал за них за всех. Волны у нас не бывали выше «курятников», но ветры — ничуть не слабее черноморских. А много ли надо фанерным скорлупкам с пацанами, у которых отваги гораздо больше, чем веса для открена!

И когда на озере закипали барашки и яхты под веселые вопли экипажей устремлялись от берега, я вместе с удовольствием всегда ощущал в душе противный холодок.

А здесь-то за кого бояться? Экипаж — крепкие парни, прошедшие не одну морскую «заварушку». Да к тому же сейчас я не был командиром и отвечал лишь за себя.

У Олега были, конечно, иные чувства — на то он и капитан. Однако и ему хотелось, видимо, напоследок пройтись при хорошем ветре. Команда не возражала. Мы привелись до западного румба — сделать это было не трудно, потому что ветер уже зашел к норду. И «Фиолент» помчался в открытое море.

Море это было сизым вдаль и зеленым вблизи — с белыми кудрявыми гребнями. А небо стало лиловым. В нем проскакивали неяркие и пока бесшумные молнии. Яхта бежала отлично — сплошная радость на душе. Но похожая на синий островок плавбаза оставалась все такой же далекой. А ветер давил все крепче. И когда слева от нас на желтых обрывах возникли и ушли назад развалины древнего города Херсонеса, капитан Вихрев озабоченно сказал:

— Все, братцы, хватит. Оверштаг...

«Фиолент» пошел носом к ветру, перевалил на другой галс и столь же резво побежал к городу.

И вот тут «плюнуло» так, что всех нас обдало брызгами, а шестнадцатиметровая мачта с белым треугольником грота стремительно пошла к воде.

Потом крен уменьшился. Экипаж отплевывался и сдержанно чертыхался.

— А ну-ка, мальчишки, будем соблюдать инструкцию, — сказал Олег. — Наденем-ка спасательные жилеты.

Бородатый Миша выгреб жилеты из форпика. Один из них дали мне.

Жилет оказался старый. В одном месте от него был полуоторван оранжевый прорезиненный лоскут — и легкомысленно пристегнут булавкой. Когда я натягивал это «спасательное средство», булавка отскочила и воткнулась мне в палец.

Шипя от боли, я слизнул кровавую каплю и оглянулся — что делать? Я знал поганое свойство своего организма: от малейшей царапины — всякие распухания и воспаления. Но в такой обстановке спрашивать про аптечку было неудобно.

Я спустился (вернее, скатился) в кубрик. Там на койке валялась моя сумка, в ней был тройной одеколон.

Пропитав одеколоном палец, я сунул флакон в сумку, и... тут койка поехала вниз и встала ребром. Палуба под моими ногами сделалась вертикальной. Я пузом грянулся на ограждение койки. В углу сдержанно взвизгнул вихревский пудель Чапа. Вообще-то он был храбрый морской пес, но сейчас его отправили с верхней палубы вниз, от греха подальше, и он в одиночестве поддался недостойному моряка испугу.

И я поддался! Не за себя и, честно говоря, не за яхту и ее экипаж. За Митьку!

Он же там — все еще привязанный ушами к релингу!

Господи, да там ли?

Яхта между тем выпрямлялась, и я бросился по ступеням вверх.

Митька был на месте. Только сырой насквозь. Я буквально сорвал его с релинга. Сунул беднягу под жилет и кинулся помогать экипажу, который укрощал полуспущенный мокрый грот. Оказалось, что под ударом шквала «Фиолент» лег парусами на воду. Хорошо, что никого не смыло...

Скоро грот подняли опять, уже со взятыми рифами. То есть с уменьшенной площадью.

Мне было неловко, что в самый опасный момент я оказался не с экипажем, а мазал свой дурацкий палец. И теперь я исполнял матросские обязанности с удвоенным рвением. Никто меня не упрекнул, а один из матросов — студент Сережа — спросил:

— Что у вас с ногой-то?

Я был босиком, брюки подвернуты, и на левой ноге от рубца ниже колена тянулась вниз размытая кровавая лента. Это я от качки споткнулся на трапе, и в ногу врезался окованный латунью край ступеньки. Сгоряча я ничего не почувствовал, а теперь болело.

Но я отмахнулся: сколько можно заниматься медициной! К тому же ноги были мокрые, а в морской воде много йода.

Главное, что Митька со мной! Я вздрагивал, думая, что сейчас он мог бы беспомощно болтаться в глубине...

Мы благополучно вернулись на стоянку. Другие яхты пришли сюда раньше и теперь «зализывали раны». Дело в том, что недавний шквал задел нас лишь краем, а «главный спектакль» он устроил у входа в Северную бухту, куда как раз входили парусники. Теперь меня все хвалили за то, что я надоумил капитана не возвращаться сразу в гавань, а пойти к Херсонесу. Благодаря этому крупная трепка нас миновала...

Когда разбирали, сушили и укладывали в рундуки яхтенное имущество, я повесил для просушки и Митьку — привязал ушами к оттяжке сигнальной мачты на берегу.

Чапа сидел под Митькой и смотрел на него неотрывно. С Митькиных лап капало. Иногда капля падала Чапе на нос. Он фыркал, мотал головой, но не уходил. Возможно, он учуял в тряпичном зайце живую душу и хотел установить с этим загадочным существом телепатический контакт.

Может, и установил, кто знает...

На память об этом плавании Олег и команда «Фиолента» сделали мне очень дорогой подарок — вручили потрепанный во многих штормах флаг своей яхты. С надписью в верхнем углу, над звездой:

«Капитану «Каравеллы» от капитана и команды КГЯ «Фиолент», Севастополь, 1 сентября 1985 г.».

Для тех, кто не знает: КГЯ — это крейсерско-гоночная яхта.

Флаг до сих пор висит, растянутый на двери моей комнаты-каюты. Это военно-морской флаг старого образца, потому что яхт-клуб принадлежал Краснознаменному Черноморскому флоту. Теперь такие флаги, судя по всему, доживают на

море последние дни. Политики двух суверенных стран делят единый Черноморский флот на два. На военных парадах в Севастополе можно увидеть перед колоннами белые флаги с голубыми крестами. С косыми, андреевскими, — российские, с прямыми, георгиевскими, — украинские.

Что ж, красивые и достойные флаги. И, видимо, более уместные в наше время, чем прежние — с красной звездой, с серпом и молотом. Но старый флаг по-прежнему близок моему сердцу.

Никогда я не был военным человеком, однако знаю, сколько славных дел совершили под этим флагом наши моряки. И песня «Севастопольский камень» — с детства у меня любимая. К тому же именно под этим флагом ходил я по Черному морю с друзьями...

Много лет флаг «Фиолента» благополучно провисел в моей каюте, но недавно пострадал — сильнее, чем в морских переделках. Мой невоспитанный молодой кот — не Макс, а другой, Тяпа (точная копия того портрета, что на этикетках кошачьих консервов «Felix»), — в порыве юношеской резвости прыгнул с книжной полки на дверь. Сорвался, повис на флаге и разорвал его, балда такая, как раз на месте серпа и молота.

Я взял Тяпу за шиворот:

— Шпана! Скажи спасибо, что не прежние времена. Тебя могли бы обвинить в идеологической диверсии! А теперь что? Так, мелкое хулиганство... Пошел вон.

Тяпа раскаялся. Он подвывал за дверью, запускал в щель под нее лапы, царапал половицы, просился обратно и обещал, что больше не будет. Я, наверно, разжалобился бы. Но Митька из своего угла у электрокамина смотрел строго. Он считал, что я должен выдержать характер и не прощать беспотолкового кота, пока он не исправится окончательно.

Тяпа ночевал в коридоре, но, конечно, не исправился.

А я теперь гляжу на зашитый флаг и думаю про котов. Не только про своих — Тяпу и пожилого Макса, — но и про севастопольских. В том числе и про серого хулигана, который уронил мой аппарат. Из-за этого уличного обормота мы с Юросом и Митькой так и не снялись втроем. Поэтому фотография, где беспощадно остриженный угловатый мальчишка

со школьным портфелем стоит на ракушечных плитах, оказалась последней памятью о черноморском детстве Юроса Вихрева.

Но злополучная стрижка его оказалась не последней.

Когда мы с Олегом пришли из яхт-клуба к ним домой, то увидели такую картину.

Юрос сидел посреди комнаты, закутанный в полотенце, а его мама ходила вокруг с ножницами (теми самыми, которыми оперировала брюки). На лице мамы было холодное безешество. Однако причиной маминих эмоций был не притихший сын, а школьное начальство.

Оказалось, что на последнем уроке в класс Юроса опять явилась завуч и велела Юросу и еще нескольким мальчишкам «сегодня же привести свои волосы в порядок». Возмущенные объяснения Юроса, что он стригся накануне, твердокаменную педагогессу не поколебали.

— У тебя не голова, а клочкастая швабра!

— Почему в прошлом-то году вы ни к каким швабрам не придирались?

— Не придирались, вот и распустили вас! А в этом году у нас новый директор, и он требует, чтобы все ученики выглядели как полагается!

После необдуманного заявления, что пускай директор, если ему так приспичило, стрижется сам — хоть до полной лысости! — Юрос был отправлен с урока с записью в дневнике и приказом «в таком виде больше здесь не появляться».

— Завтра у дверей будут дежурные, имей в виду!

Как можно привести в порядок все эти рожки, сосульки и клочки, которые остались на месте обрезанных кудрей, было совершенно непонятно. Разве только стрижкой «под Котовского». Но Юрос и мама такой вариант отвергли единодушно. И теперь Любовь Васильевна пыталась портновскими ножницами убрать наиболее торчащие клочки, чтобы завтра педагогический гнев не обрушился на эту многострадальную голову.

— Завтра пойдем в школу вместе, — пообещал я. — И там поглядим...

Юрос и Люба повеселели.

На следующее утро я встретил Юроса недалеко от школы. Проводил до высокого крыльца, куда сбегался шумный пионерско-октябрьский народ. Юрос помахал мне рукой и мимо дежурных старшеклассников скользнул в школьные двери. Пронесло.

Я сел напротив крыльца, на скамью под густыми каштанами. Было много знакомых ребяташек. Подбегали, здоровались со мной и Митькой, которого тоже знали. Саня Дальченко подарил ему амулет из плоской ракушки на нитке, а два третьеклассника — Данилка и Кирилл — несколько лаковых коричневых каштанов и значок «Севастопольская панорама».

Юрос больше не появлялся, и я решил, что все в порядке. Лениво двинулся к ларькам у Центрального рынка, непедagogично помышляя о кружке холодного пива.

Мечте не суждено было сбыться — встрепанный Юрос догнал меня у самого ларька.

— Дядя Слава! Ну что это такое! Опять не пускают!

— Но ты же прошел!

— Прошел, положил портфель и опять вышел, чтобы с ребятами поиграть! А потом захотел обратно, а там у дверей химик!

— Кто?

— Директор новый! Он раньше простым учителем был, у старшеклассников, а теперь сделался директором! И командует...

Не хотелось мне в это хорошее утро скандалов и разборок. Хотелось пива. Но что делать-то? Юрос на меня смотрел как на всемогущее существо.

— Идем, горе мое...

Юрос на своих журавлиных ногах замаршировал впереди. Он заранее предвкушал посрамление химика-директора и торжество справедливости.

У школьного крыльца народу было больше прежнего и ребячий гомон стал громче. В нем сквозь веселье пробивались обиженные крики.

Вслед за Юросом я протиснулся к ступеням. Юрос оглянулся:

— Вон он, директор! У дверей!

У входа в школу командовал маленький, похожий на восьмиклассника, но со взрослым лицом мужичок. Он вскрикивал высоким боевым голосом и ловко действовал руками. Вот спрыгнул с крыльца (чтобы не упасть от толчка) лохматый рыжий парнишка. Вот врзался в толпу и затерялся в ней чем-то не угодивший новому директору мой знакомый второклассник Руслан...

— А это что за фокус! — Директор ухватил за локоть девушку в синем платье и белом форменном переднике. Большую — наверно, десятиклассницу (он сам был ей ростом до уха). — Почему с сережками! Это что за мода являться в школу украшенной, как новогодняя елка!

У девушки на мочках ушей и правда блестили бирюзовые шарики. Она хотела что-то ответить, но химик ухватил ее за локоть.

— Ну-ка, назад! — И развернул так, что бедная выпускница крутнулась вокруг оси, как манекен на вертящейся подставке.

Мне уже не хотелось пива. Мной теперь двигали отточенные рефлексy. Те, что крепили целых двадцать пять лет — все годы, когда я был командором «Каравеллы». Четверть века я активно внушал деятелям советской школы, что ученики — это люди. И что обращаться с ними надо как с людьми.

Я шагнул ближе.

— Прошу прощения. Не имею удовольствия знать, как вас зовут, но меня проинформировали, что вы возглавляете данное учебное заведение...

— Ну и что? — запальчиво сказал директор. Он часто дышал (хорошо поработал). Лицо его резиново морщилось.

— Мне показалось, что... н-не совсем так возглавляете. По крайней мере в данный момент. Я убежден, что нам есть смысл побеседовать на эту тему.

— Вы, собственно, кто такой?! Вы чей-то родитель?

Я заверил новоиспеченного директора, что действительно родитель, но, к счастью, дети мои совсем в другой школе.

А здесь я не в роли обиженного папы, а в роли корреспондента «Учительской газеты», в чем легко убедиться, взглянув вот на это удостоверение.

Лицо у директора изменилось. В глазах появилось тоскливое недоумение. Только что он был царь и бог, наверху педагогического олимпа, и вот на тебе...

Кругом стояли притихшие дети. Слушали. Почтительно и, по-моему, с удовлетворением. Только Юрос ускользнул в глубину школы (я мигнул ему, чтобы ловил удачную минуту). На выручку коллеге двинулась полная дама (наверняка завуч). Она была поопытнее директора-новичка и внушительно заявила, что беседе «товарища корреспондента» и главы школы следует протекать в кабинете, а не на глазах у девочек и мальчиков, которым пора на уроки.

Я не возражал. Заметил только, что уважаемым учителям тоже, наверно, пора на уроки. А мы с товарищем директором обсудим ряд школьных проблем один на один.

Директорский кабинет хранил запахи недавнего ремонта. На полированном столе дрожали солнечные зайчики. За этот стол директор и уселся. Здесь он ощутил прежнюю уверенность. Указал мне на стул и сообщил:

— Я готов выслушать ваши объяснения.

— М-м... это я рассчитывал на ваши объяснения. Для начала — о том, какими министерскими правилами руководствуется директор данной школы, применяя к неугодным ученикам столь радикальные меры: сталкивание с крыльца, толчки, хватания за руки...

— Ну что вы! Зачем вы так... преувеличиваете!

Оказалось, что мальчика-второклассника он просто дружески хлопнул по плечу, чтобы тот сбегал домой за забытой октябрятской звездочкой. Девушку с сережками слегка придержал за локоть, когда она бесцеремонно хотела мимо него протолкаться в школу... А что касается причесок...

— Ну, согласитесь, что у нас советская школа с едиными требованиями, а не ансамбль этих... битлов волосатых!

В чем-то убеждать его было бесполезно. И я сказал, что мне очень грустно. Грустно вставлять в репортаж о сентябрьских днях севастопольских школ эпизод о директоре, кото-

рый хочет видеть своих воспитанников остриженными под одну гребенку. И который в свои педагогические методы включает элементы рукоприкладства.

Я не врал. Действительно, у меня была мысль написать лирический репортаж о начале учебного года в Севастополе и отдать моему другу Володе Матвееву, который возглавлял тогда «Учительскую газету». Он был один из тех, кто в те годы активно двигал в жизнь передовые школьные идеи — Педагогику сотрудничества.

Никакого репортажа я тогда не написал — увяз в романе «Острова и капитаны» (в котором тоже очень много было о Севастополе и есть даже случай, когда мальчишку не пустили в школу из-за длинных волос). И мне до сих пор неловко перед Володей, которому я обещал такой материал. Неловко, хотя Володи уже несколько лет нет на свете, а «Учительская газета» теперь не та, что прежде.

Но в момент беседы с директором я искренне верил в свои планы, а директор верил мне. И все больше тосковал. Тоска эта проступала в его взоре. Только-только началась его начальственная карьера — и тут такая торпеда! В подводную часть. О, как он ненавидел меня!

Он улыбнулся, побарабанил пальцами и сказал, что зачем уж сразу так уж и в газету. Можно же разрешить конфликт, не вынося его на широкое обсуждение.

Я сказал, что можно разрешить, не вынося. Главное, чтобы ребята не страдали от чрезмерного административного вевения.

Директор заверил, что страдать они не будут.

— В конце концов, главное, чтобы детям всегда было хорошо. Эта наша общая задача, не правда ли? — попытался он подвести итог.

Я сказал, что разделяю директорскую точку зрения на такую общность задач. Он приободрился. Мы немного поговорили о трудностях педагогики. Под конец директор на всякий случай слегка запечалился опять:

— Ну и порой случаются, конечно, срывы. Вроде... тех, на крыльце. Все-таки, понимаете, дети, они, знаете ли... Порой лопаются что-то внутри. — В голосе директора прорезалась

доверительность. — Иногда руки так и чешутся. Взял бы негодника за шиворот да и врезал по загривку... Ну, вы же говорите, что сами работаете с детьми! Неужели у вас никогда не возникало такого желания?

Двадцать четыре года «Каравеллы» пролетели, как говорится, перед моим внутренним взором. И... нет, честное слово, не помнил я, чтобы хотелось дать кому-то пинка или подзатыльника. Несмотря на то, что пацаны были разные и происшествия с ними случались «всякие»... Но он же все равно не поверит!

— Мало ли какие желания, — сказал я, — возникают в глубине человеческой натуры. В такие моменты особенно важно следить за своими руками. Лучше всего их просто держать по швам.

Он покивал:

— Да-да, безусловно... Только... иногда так закипит в душе, что кажется: ты такой же, как эти... сорванцы. Этакая школьничья горячность. Так бы и сцепился с обидчиком, будто пятиклассник... Кто-то из знаменитых сказал, что детскость сидит в человеке до старости...

— Это сказал Александр Степанович Грин: «Детское живет в человеке до седых волос».

— Ну да, ну да... В каждом это бывает... — Он улыбнулся теперь с видом несмелого заговорщика. — Вот и вы, я вижу, отдаете, так сказать, дань... детскому увлечению. Когда носите с собой этого... — Директор смотрел на сумку, что стояла рядом с моим стулом.

О, черт! Я же совсем забыл про Митьку! Не подумал, что надо упрятать его! Митькина голова с истрепанными ушами торчала наружу. Митька смотрел на директора с дерзким и насмешливым любопытством. Я мигом сообразил: нельзя показать ни смущения, ни растерянности.

— Да! Это же герой книжки о вашем городе! «Трое с площади Карронад!» Она есть в вашей школьной библиотеке! Этого зайца тут знает множество ребят, я принес его повидаться со знакомыми. Не получилось...

Директор помигал. О книжке он, конечно, ничего не знал да и мою фамилию слышал, кажется, впервые.

Я поставил сумку на колени. Фамильярно нажал на пластмассовый Митькин нос:

— Нечего тут торчать, брысь внутрь, бродяга...

То ли от этого нажатия и толчка, то ли в силу странного совпадения в тот же миг в сумке ожил фотоаппарат. Точнее, заклинивший механизм автоспуска. Теперь он «расклинился» и несколько секунд жужжал в наступившей тишине.

Директор слушал жужжание с остановившимся лицом.

— Это... у вас что?

— Что?

— Ну... вы надавили, а он... включился... Или выключился?

Я вдруг понял: директору показалось, что от нажатия на нос внутри у Митьки сработал какой-то механизм.

— Так, бытовая техника, — небрежно бросил я.

— Звукозапись, что ли?

Он, видимо, решил, что в брюхе тряпичного зайца спрятан диктофон и теперь неосторожные директорские высказывания, как иногда «чешутся руки», зафиксированы на пленку.

Мне бы успокоить беднягу. Но... «детское живет в человеке до седых волос». Я погладил брезентовый бок сумки.

— Не волнуйтесь. Митька умеет хранить тайны. То, что у него внутри, останется там навеки... Ну, не смею больше отнимать у вас время...

Директор проводил меня по опустевшему школьному коридору (давно уже шли уроки). У выхода он со знакомой уже печальной доверительностью произнес:

— Думаете, нужно мне это директорство? Просто некому больше школу поднимать... до уровня... Говорят, нужна крепкая мужская рука. А по мне, простая учительская должность спокойнее во сто крат...

Я сделал вид, что поверил. И «посочувствовал»:

— Понимаю вас. Но что поделаешь. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов... — И протянул руку.

И поразился.

Лицо директора исказилось резиновыми складками. Глаза

метнули два пучка бессильной ненависти. Он отдернул свою руку и, горбясь, пошел, почти побежал к своему кабинету.

А что я такого сказал?

Я пожал плечами и вышел из школы. Спустился с крыльца в тень каштановой аллеи. Открыл сумку, опять высунул Митькину голову.

— Смотри на приморскую красоту. Скоро домой...

Плясали на асфальте солнечные пятна, падали сверху спелые каштаны. Один тюкнул меня по темени, другой упал прямо в сумку — подарок Митьке.

Мы поехали на Северную сторону, побродили по тенистому Братскому кладбищу среди заросших мраморных памятников и покрытых лишайниками плит на общих матросских могилах. Потом ходили над морем по обрывам и наконец спустились к Учкеевскому пляжу. Там я долго бултыхался и нырял среди гребней — шла довольно крупная волна. Митька смотрел с песка осуждающе и с опаской: «Хватит дурачиться, не маленький...» Но я все не выходил на берег. Когда еще снова попаду в этот город, к этому морю? Да и зачем, если здесь не будет друзей...

Вечером опять мы с Митькой пришли к Вихревым. Юрос и Алька на дворе выколачивали половики.

— Как дела? — спросил я у Юроса.

— Нормально! Никто больше не приставал! А Груздь вообще такой вежливый сделался...

— Кто?

— Ну, директор! Груздь!

— Его так десятиклассники прозвали, — объяснил Алька. — Еще когда он был не директор, а только в школе появился.

Вот это да! Понятно, почему он так вознегодовал в ответ на невинную поговорку! Но я же не хотел! Я не нарочно... А он небось решил, что я специально обхамил его. Прямо хоть иди завтра да извиняйся. Но что сказать? «Простите, я не знал, что вы Груздь?».. Тьфу...

Я досадливо зашагал к подъезду.

— Дядя Слава, а почему вы хромаете? — окликнул Алька.

— Разболелась нога, черт ее возьми...

Я поддернул штанину. Вчерашний рубец воспалился, вокруг появилась краснота и припухлость.

— Ох, да вы идите скорее в комнату! Чапа вас вылечит языком! Он всегда всем на «Фиоленте» раны вылизывает, у него слюна лечебная! — наперебой заговорили Юрос и Алька.

Я опасливо засомневался. Чапа, конечно, очень милый пес, но все-таки... а вдруг у него в слюне бактерии какие-нибудь?

Но появившийся в дверях Вихрев-старший подтвердил, что Чапа на «Фиоленте» — все равно что корабельный лекарь. Всем врачует ссадины и порезы.

Пока мы сидели на кухне за прощальным ужином, Чапа под столом лизал мою ногу. Долго, не менее получаса. А Митька сидел у ножки стола — надутый и обиженный: почему его не угостили. Наконец я обмакнул палец в стакан с портвейном и мазнул Митьке под носом. И почувал, что он доволен.

Чапа чихнул — тоже с удовольствием.

— Вы его с собой увезете? — спросил я с опаской: а вдруг решили оставить здесь, у кого-нибудь из знакомых? Путь к Тихому океану ох какой не близкий.

— Куда же мы без Чапы, — серьезно отозвался Вихрев-старший.

— Куда же мы без Чапоньки! — подхватил Юрос. И полез под стол — приласкать любимца. А заодно и Митьку...

Нога у меня зажила очень быстро.

Я думал о черном мохнатом Чапе с благодарностью. И с грустью. Его хозяева когда-нибудь вернутся на эти берега. А пожилому пуделю едва ли придется вновь увидеть родной дом и знакомый яхт-клуб. Собачий век не столь уж долгод.

Я ошибся. Чапа вместе с семейством Вихревых достойно «оттрубил» весь камчатский период их жизни и вернулся-таки под ласковое крымское солнце — почти через десять лет.

И здесь уже он скончался от старости. Надо сказать, не самая плохая судьба для пса: и пожил немало, и повидал разные земли, и побывал в океанских плаваниях, и даже получил почти официальный титул «корабельного доктора» (как зна-

менитый Лемюзель Гулливер). И был похоронен с печалью и почестями недалеко от дома, на пятачке родной кремнистой земли среди трех кипарисов...

Вихревы, когда жили на Камчатке, порой присылали письма. А глава семейства — пространные описания своих яхтенных плаваний — более дальних и драматических, чем на обжитом Черном море — все же Тихий океан. Даже в Америку, на Аляску, удалось сходить. Попадал в ураган, однако все обошлось...

Алька Вихрев не сделался корабельным плотником, как обещал в детстве перепуганной маме. Он закончил школу мичманов и стал служить на подводной лодке. Прислал однажды снимок, где он при полном параде, с кортиком.

— Смотри, Митька. Помнишь третьеклассника с перевязанным ухом, которое он чуть не оторвал, падая с дерева? В семьдесят восьмом году...

Юросу повезло с военной службой меньше. Вернее, не повезло нисколько. После школы забрали его в войска связи, в какую-то спрятанную в тайге часть, где, по его словам, и офицеров-то почти не было, одни сержанты. «Те» еще сержанты... И мальчик Юрос, юный музыкант и поэт, в полной мере хлебнул радость общения с «дедами» и «дембелями».

Он присылал мне иногда письма со своими стихами. В этих письмах не было жалоб, иногда лишь пробивалась грустная нотка, печаль о родном доме. И подробности я узнал позже, из писем его отца.

Юрос не был домашним ребенком и этакой утонченной беззащитной личностью. К восемнадцати годам он владел не только рифмами и гитарой, но и кое-какими приемами восточных единоборств. «Деда» в этом скоро убедились. Но что Юрос (все-таки еще мальчишка) мог сделать против тупых и безжалостных дембельских порядков? Так и тянул свою армейскую лямку — между казармами и госпиталями, куда попадал после разборок с «товарищами по оружию».

После очередного скандала перевели его в Петропавловск. Но и там все было так же. Не мог Юрос понять, почему он должен быть не солдатом, а «шестеркой» у тупоумного, воняющего водочным перегаром быдла...

От греха подальше отправили его дослуживать срок в «тихое место», в котельную. Но в котельной кучковалась своя компания. «Чурки», как объяснил мне потом Юрос. Не знаю, что он имел в виду — особый интеллект «котельщиков» или их принадлежность к какой-то шайке. Так или иначе, Юрос не вписался и в этот доблестный армейский коллектив. Настолько не вписался, что однажды чурки топором прорубили ему грудь.

Из армии Юрос вернулся с поперечным шрамом на своей впалой, еще совсем ребячьей груди. Вернулся в Севастополь. Семья снова жила там, в старом доме на Бакинской.

Дом был — родной. Море — родное. А город... непривычный, непонятно чей. С ошетиенными людьми, с митингами на площадях, с незнакомыми флагами на улицах...

Юрос начал работать с отцом на верфи, строить яхты по заказам новоявленных миллионеров. А еще ходил с местными ребятами в походы и продолжал сочинять песни.

Один раз он приехал к нам в гости. На Урал. Пел свои песни мне, моим сыновьям и ребятам из «Каравеллы». И Митьке.

Они с Митькой сразу узнали друг друга.

Митька с возрастом стал совсем обормотом. Свой оранжевый комбинезон он сменил на другой, из лилового вельвета, но и его со временем истрепал. И глаз он все-таки потерял (не так давно, когда эта повесть была уже дописана до середины). Потерял окончательно, утопил его в Верх-Исетском озере во время штормовой передраги. Но «повязку Билли Бонса» носил Митька недолго. Я нарисовал ему левый глаз черным фломастером — не такой красивый, как прежний, но все-таки живой.

Юрос тоже выглядел не так, как прежде. Но в этом худом темноглазом парне угадывался прежний юнга с «Фиолента» — курчавый длинноногий пацаненок со звонким голосом и характером мушкетера.

Юрос подарил нам свою картину. На ней — черным силуэтом — мальчишка у береговой черты. Стоит к нам спиной и смотрит на громадное заходящее солнце. Море перед ним — как безграничное оранжевое небо. А небо над ним — как по-

крытое черными штормовыми волнами с пенными гребнями море. Перевернутый мир, перевернутая жизнь...

Но мальчик спокоен, лишь слегка напрягнул разведенные локти. Может быть, он знает: это не закат, а восход? И может быть, в опрокинутой вселенной все встанет когда-нибудь на свои места?

Иногда я включаю магнитофон с песнями Юроса. Есть песни о любви. О несчастной (не обошла Юроса чаша сия). Есть о море и парусах. А есть такая:

Наверно, всем нам очень повезло —
Жить в эти дни великих потрясений.
Но как понять: откуда это зло?
Откуда черный снег в поре весенней?

Честно говоря, я излагаю песню Юроса своими словами. В своем ритме и со своими рифмами. Потому что она у него — вся на аккордах, рвущих струны и нервы. Порой — на яростном крике. И без нот, без мелодии это на бумаге не передать. Но мысли и боль, и это вот «мне не понять!» — всё его, Юроса.

Мне не понять, как быть самим собой,
Любить девчат, смеяться, песни слушать,
Когда друзей погнали на убой,
Когда калечат их тела и души.

Забрызган красным весь телеэкран,
И мой ровесник зажимает рану.
И кажется: откроешь в ванной кран —
И не вода, а кровь пойдет из крана.

Мне не понять, откуда этот свет —
Не солнечный, а муторный и ржавый.
И почему кораблик «Фиолент»
Между собою делят две державы...

Дело в том, что две державы пытаются поделить не только боевой Черноморский флот, но и все принадлежащие ему суда, в том числе и самые маленькие. И никто не знает, на чьей стороне окажется флотский яхт-клуб.

Вихревы пишут, что, кажется, клуб не нужен ни той, ни другой стороне. Ни у кого нет денег, чтобы содержать спортсменов. И яхтенные капитаны опасаются, что, когда хозяин

определится, он тут же сплавит спортивные суда в руки частных владельцев. За валюту.

С этой тревогой сейчас, весной девяносто шестого года, и живут мои друзья, моряки Вихревы, в старом доме, в Артиллерийской слободке, что недалеко от бухты с таким же названием. Их тревога — одна из тысяч тревог, с которыми живем мы все...

У Митьки тоже свои тревоги. Он сидит в углу у электрокамина и двумя глазами — пластмассовым и нарисованным — смотрит в окно. За окном конец апреля, но ничего похожего на весну. Косо летит серый снег.

«Будет ли когда-нибудь лето?» — думает Митька.

Я сажаю его на колено.

— Будет, Митька, лето. И опять спустят на воду твой «Румб» и привяжут тебя к штагу, над форштевнем, и ты помчишься над волнами...

— Правда?

— Абсолютная правда... У тебя впереди еще не одно лето. Много. И ты наверняка еще увидишь радостные времена. Тряпичные зайцы, они ведь надолго переживают своих владельцев.

Митька сердито ворочается, ему не по душе такие разговоры.

— Не всегда, — спорит он. — У тебя уже был один тряпичный заяц. Где он?

Я вздыхаю. Не знаю, где тот заяц, которого так и звали — Заяц.

— Я был тогда маленький, я не виноват...

— Ну и помалкивай... — Митька ошутимо сопит. Все-таки он на самом деле живой. Может, потому, что он частичка меня самого. В нем какая-то доля моей души. А еще в нем тепло тех людей, которые держали его в ладонях. Все это — хорошие люди, к плохим он на руки не идет...

За окнами — ребячьи голоса. Мальчишек не удержишь дома даже в такую погоду.

— Наверно, бабу лепят, — говорю я. — Запоздалую, весною.

— Или змея запускают...

— При таком-то снеге!

— Ну и что... А помнишь, ты еще в прошлом году обещал, что попросишь ребят сделать большого змея и привязать меня к хвосту, чтобы я увидел землю с высоты?

Митьке немало пришлось плавать и ездить, а летать — ни разу.

— Ладно, будет тебе змей. Дождемся лета...

В самом деле, надо, чтобы Митька глянул на землю с высоты птичьего полета. С такой высоты земля все еще кажется красивой. По крайней мере там, где нет ни пожаров, ни пушечной и ракетной стрельбы.

1972—1996 гг.

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО НА ГРАНИЦЕ ТЬМЫ

Повести

**«ПОШЕЛ ВСЕ НАВЕРХ!»,
ИЛИ ЖЕРТВА ЭРУДИЦИИ**

О пользе словарей

Когда-то я был маленьким и ходил в первый класс. В самом этом факте нет ничего особенного. Почти все взрослые люди были в свое время первоклассниками или первоклассницами. Но я оказался первоклассником нетипичным. Неудобным для школы и для себя самого. Беда в том, что я слишком много знал.

Обширные знания иногда называют красивым словом «эрудиция».

Это слово я впервые услышал еще до школы, летом сорок пятого года. От Володи Шалимова. Володя был старший брат моего соседа Лешки Шалимова, третьеклассника, который поддерживал со мной полуприятельские отношения. Володя учился в лесном техникуме. Он мечтал быть моряком, но в морское училище его не пустила медицинская комиссия, вот и пришлось выбрать сухопутную профессию. Видимо, на память о несбывшейся мечте Володя развесил у себя над кроватью синие географические карты и рисунки с кораблями, а по вечерам он со своим приятелем Витей Каблуковым строил модель парусника. Я часто сидел в его комнате и смотрел на эту работу. И порой встревал в разговор, потому что гордился знанием кое-каких корабельных частей. Однажды я, наверно, вмешивался чересчур настырно, потому что Витя предупредил:

— Всякие салаги тут пусть сидят и не пикают. Иначе — долой с палубы.

А Володя сказал ему:

— Пусть рассуждает. Видишь, какой эрудированный ребенок.

Я тут же оскорбился:

— Чё обзываешься!

Володя, поблескивая черными ироничными глазами, объяснил, что он вовсе не обзывает меня, а хвалит. И кратко рас-

толковал, что такое «эрудиция». Но предупредил, что излишняя эрудиция не доводит до добра.

К последней Володиной реплике я отнесся с пренебрежением, ибо много раз слышал, что знания приносят одну только пользу.

— Не веришь? — удивился Володя. — Зря. Про это везде написано.

— Где везде?!

— Возьми любой толковый словарь и прочитай, если умешь.

Конечно, Володя был уверен, что никакого словаря у меня нет. Но в этом случае он просчитался.

Мой отец до войны преподавал русский язык и литературу. От него осталось немало толстых серьезных книг, в том числе и старинных. Среди них растрепанный, небольшой, но очень толстый «Энциклопедический словарь» Ф. Павленкова. Я любил его разглядывать, потому что на каждой странице было много маленьких, но четких и занимательных картинок: портреты, здания, кораблики, животные, растения, всякие машины. Я читал объяснения к этим картинкам. Одни были понятные, другие не очень, тогда приходилось спрашивать маму, брата или сестру.

Читал я в ту пору уже вполне бегло. Причем всякие «дореволюционные» буквы меня не смущали. Мама объяснила мне, как обходиться со всеми этими ижицами, фитами и ятями, а также с твердыми знаками в конце слов, и скоро я просто уже не замечал их.

Именно этот папин словарь часто помогал мне расширять эрудицию, хотя до разговора с Володей я не знал, что это такое.

Особенно нравилась мне картинка, изображавшая центавра (или «кентавра», как было отмечено в скобках). Мускулистая лошадь, а вместо головы у нее — туловище бородатого человека. Человек натягивал маленький, круто изогнутый лук со стрелой.

Объяснение про центавра-кентавра было непонятным, и я обратился к маме. От нее-то и услышал тогда кое-что о греческих мифах, где немалую роль играли эти люди-лошади.

— А маленькие кентавры были? — спросил я, вспоминая тонконового гнедого жеребенка. Он всегда трусил рядом с кобылой, которая привозила повозку с хлебом к ближнему магазину.

— Конечно, были и маленькие, — понимающе сказала мама. — Такие же прыгучие, как ты... Ну, беги скакать на двор, слышишь, там ребята играют...

За окном и правда раздавались голоса. Это Сёмка Леви́тин, Амир Рашидов, рыжий Толька Петров и его сестра Галка смастерили бумажных змеев и с ликующими воплями запустили их, бегали от ворот до помойки. Змеи были небольшие, типа «монах», взлетали невысоко, но веселья было полным-полно.

Я выбежал и включился в эту летучую круговерть. Своего змея у меня не было, и я носился с приятелями просто так, за компанию. Перепрыгивал через лужицы, оставшиеся после ночной грозы.

Галкин «монах» не удержался в воздухе, сунулся бумажным клювом в траву. Галка остановилась, и я с размаху налетел на нее.

— Придурок, — сумрачно сказала Галка. — Скачет, как заводной козел...

Я не сразу выключил в себе солнечное настроение и радостно сообщил Галке, что «сама ты козел, а я — кентавренок».

— Кто-кто? — Она свесила на обшарпанное плечо коротенькую тощую косу.

— Кентавренок, балда ты, — разъярил я. — Маленький кентавр. Такие раньше были в старинной Греции. Наполовину кони, наполовину люди...

— Совсем псих, да? Никогда таких не было!

— Были!

— Щас как дам!

— Обрати отоваришься!

Мы стремительно подрались. Семка и Амир сохранили нейтралитет, а Толька пришел на помощь сестрице. Силы оказались явно неравные, и я пустился к своему крыльцу. Захлопнул перед Галкиным носом дверь. Потом размазал по

щекам слезы и стал из кухонного окна показывать недругам язык.

Галка плясала на одной ноге и противным голосом пела тут же сочиненную частушку:

Кентавреныш-кентаврет!
Потому что много врет!

При этом она противно картавила. Толька ей подпевал.

Самое поганое, что Семка и Амир в конце концов присоединились к сестре и брату Петровым. Пели уже в четыре голоса.

Очевидно, мое совсем не героическое бегство с поля битвы отвратило от меня бывших приятелей. По крайней мере, на ближайший час...

Уже в тот день мне следовало бы понять: выставление на показ лишних знаний чревато неприятностями. Но я не сделал нужного вывода...

Не поверил я и Володе Шалимову, когда он предупредил, что эрудиция в чрезмерных дозах сулит всякие осложнения.

Я взял словарь и открыл страницу со словами на букву «Э». И нашел, что хотел: «Эрудиция — глубокая и многосторонняя ученость».

Вот и все! Коротко и ясно. Никакого намека, что ученость эта приносит несчастья! Володька по своей привычке, видимо, просто поддразнил и попугал меня.

Я еще раз прочитал про «эрудицию» и вновь слегка возгордился. Что ни говорите, а я и правда в свои неполные семь лет знал немало.

Сейчас-то я понимаю, что мои тогдашние знания были не без пробелов. Причем пробелы могли быть самые неожиданные. Вот один пример. Я знал, что название «помидор» происходит от итальянских слов «помо де оро» и это означает «золотое яблоко», но в то же время я был уверен, что словом «томат» называют жестяные банки для рыбных консервов. Потому что все консервы были «в томате». Правда, сами консервы в то голодное время я пробовал редко, но у меня было много длинных бумажных наклеек для банок — со всякими рыбами, разноцветными буквами, синими волнами и кораб-

ликами. Эти наклейки дарил мне мамин знакомый Артур Сергеевич. Он работал тогда на рыбокомбинате, носил китель с серебряными морскими пуговицами и капитанскую фуражку с бело-зеленым флажком — выпелом промысловых судов...

Однако я отвлекся. Речь шла о неприятностях, связанных с моей эрудицией.

Мои познания распространялись и на такую важную сферу жизни, как школа. Правда, сам я туда еще не ходил, но сведений о школьных делах имел предостаточно. Кое-что от старшей сестры и брата, кое-что из книжек, но прежде всего — от Лешки Шалимова, который тянул ученическую лямку уже три года.

Из Лешкиных рассказов следовало, что в школе надо держать ухо востро и соблюдать массу правил. Не тех «Правил для учащихся», что висят в рамке на стене (они-то как раз «по фигу»), а таких, чтобы не оказаться в дурачках и не заработать лишних шишек.

Прежде всего запрещается быть нытиком. Если получил двойку (а без этого не проживешь), нельзя пускать слезы, а надо садиться на место с равнодушным зевком или насмешливой улыбкой. Мне, мол, на это начхать.

Когда на перемене достаешь свой хлеб, взятый из дома для завтрака, следует быстро сказать: «Двадцать один — ем один». Иначе кругом заголосят: «Сорок семь — делишь всем!» И тогда попробуй не поделиться! Станешь навеки жадиной, обжорой и буржуем.

Если будешь чересчур послушным, попадешь в подлизы. Станут дразнить: «Лиза-под, Лиза-под, понимай наоборот». Но это еще не самое страшное. Хуже всего сделаться «определителем». Тогда не говорили «жаловаться» или «ябедничать», говорили «определять»...

Вообще в школе многое именовалось не так, как в обычной жизни. Прямо хоть особый словарь составляй. Учительница называлась «чйкла», директорша — «дрйкла», арифметика — «арифа», физкультура — «физра», чернила — «синька», любой головной убор (кроме пилотки) — «кемель». Пинок под зад — «пендаль», штаны — «шкеры», голова — «кумпол», портфель — «чума» (сокращенно от чумадан).

— Крынка, то есть Люська Крылова, определила, подклю-

ка, что я ей из резинки по кумполу стрельнул, а чикла меня хватить за шкуры и в кабинет к дрыкле. А та как заорет: «Будешь после уроков два часа сидеть! А еще раз повторится — засажу аж до черного вечера!..» И чуму отобрала, чтобы не сбежал.

Таких вот ужасных наказаний я боялся заранее. Наслушавшись Лешкиных рассказов, я впал в тоскливые раздумья по поводу горькой судьбы учеников начальной школы. А потом начинал себя успокаивать.

Может, все не так уж страшно?

Двоек я не боялся. Надеялся, что эрудиция поможет мне стать если не отличником, то хотя бы ударником. Жадничать и определять я, конечно, не стану, подлизываться тоже. Не стану и стрелять из резинки ни по чьим кумполам. Следовательно, не за что будет оставлять меня после уроков на два часа. И тем более до черного вечера. Потому что этого я бы не вынес.

Дело в том, что всякий отрыв от дома был для меня мучением. Такой вот я уродился. В свое время дважды пытались устроить меня в детский сад, но оба раза я выдерживал там не больше месяца. Тосковал то тихо и безнадежно, то с ревом, скандалами и попытками бегства. Соглашался целыми днями сидеть дома в одиночестве, пока мама на работе, а брат и сестра в техникуме, лишь бы не отправляться в ужасную детсадовскую неволю.

Помимо тоски по дому, меня угнетала именно эта неволя. Необходимость идти туда, куда не хочется, делать то, к чему не лежит душа. Угнетала чужая власть, которая заставляет тебя спать, гулять, играть в соответствии с распорядком, а не с твоим желанием...

Я догадывался, что в школе буду подчинен той же власти. Только еще более суровой. Потому что детский сад — заведение все-таки не обязательное, а от школы никуда не денешься. И это ощущение обреченности поселилось во мне уже в середине лета, когда разговоры о школе стали частыми.

Однако я прятал свои чувства. Я понимал, что есть жизненные правила, которые следует неукоснительно выполнять. Известно, что все нормальные дети радуются поступлению в первый класс, и я делал вид, что радуюсь тоже. Обманывал не только взрослых, но в какой-то степени и самого

себя. Потому что порой появлялось нервное возбуждение, которое в самом деле напоминало радость. Возможно, это похоже на чувство молодого бойца перед первой битвой. Мама, сестра и брат были уверены, что я о ч е н ь хочу в школу.

— Ты станешь необыкновенным первоклассником! — радостно пообещала мне сестра, которая все школьные годы была отличницей.

Последние глотки свободы

Увы, необыкновенность моя началась с того, что первого сентября в школу я не пошел. Оказалось, что я совершенно разут.

В последнюю неделю августа окончательно развалились мои заслуженные друзья — сандалии. Несколько дней я бегал босиком. А к учебному году припасены были скрипучие желтые ботинки. Заграничные. Отец прислал их из Германии, он дослуживал там свой послевоенный офицерский срок. Прислал вместе с пачкой лощеных немецких тетрадок, тремя пестрыми вязаными шапочками и какими-то вещами для мамы. Мама ботинки сразу спрятала — для школы.

А вечером тридцать первого августа оказалось, что ботинки мне безнадежно малы.

— Когда твои лапы успели так вырасти! — в отчаянии сказала мама. — Что же теперь делать?

Я переступил босыми ногами и с деланой горечью потушился.

Осторожно, боясь, что я не вынесу огорчения, мама проговорила:

— Ты уж потерпи еще денек, посиди завтра дома. А я попрошу Ивана Григорьевича заменить мой юбочный ордер на обувной. Может, завтра же и получу на тебя ботинки.

Тогда одежду и обувь часто получали по ордерам на складах, такое правило осталось от военной поры.

Я, сохраняя траурное выражение лица, кивнул. А в груди моей теплело от благодарности судьбе, которая прибавила еще один день к моему беззаботному дошкольному детству...

Этот день был солнечный, вполне летний, но без жары. С ласковым пушистым теплом. Помню, что ощущение пушистости возникало у меня от невесомых, с длинными белыми волосками, семян, которые плавали в тихом воздухе. Иногда они касались моих щек.

Эти семена — от высоких городских сорняков, которые растут вдоль заборов. Не знаю, как эти растения называются. Про себя я всегда называл их белоцветом. В августе головки белоцвета лопаются, пухнут, семена расправляют волоски-лапки и отправляются в неспешный полет. Они — признак присмирившего, уходящего лета... Белоцвет и сейчас растет у забора, окружающего заброшенную стройку рядом с многоэтажным домом, где я нынче живу. Белые семена-паучки залетают на балкон и напоминают про тот день — первое сентября сорок пятого года.

Тогда эти семена висели в воздухе неподвижно. Медленно-медленно садились они на поверхность лужи, которая голубела у щелястого забора — он отгораживал от нашего двора кирпичный магазинчик («хлебный распределитель»). Лужа эта была почти постоянная. Высыхала она лишь в самые знойные июльские дни.

В тенистом углу позади дровяника я набрал влажной глины, слепил из нее остроносый линкор с орудийными башнями и с пушками из обломков прутика. Затем отыскал у поленницы широкую щепку. Поставил на нее линкор и пустил в лужу. Плоская темная щепка оказалась на одном уровне с водой и сделалась почти незаметна. Полное впечатление, что линкор плывет сам по себе. И я начал отправлять его в рейсы от одного края лужи к другому.

Глиняный корабль выглядел вполне по-военному, однако настроение мое было мирным. Я то шлепал по луже следом за линкором, то сидел на корточках у края воды и смотрел, как от плывущего корабля разбегаются солнечные зигзаги. Или следил за семенами белоцвета. Было мне на просторном безлюдном дворе хорошо и спокойно. Я чувствовал себя даже счастливым. Но таилась в моем настроении и печаль. Я понимал, что счастье мое недолговечно и призрачно. И утешал себя тем, что этот ласковый и вольный день кончится еще не скоро.

Над забором, на невысоком телеграфном проводе, обессиленно и неподвижно повис змей-«монах» с тощим мочальным хвостиком. Он был как символ прошедшего лета и как напоминание, что бесполезно бороться с судьбой. Я поглядывал на него по-дружески, понимающе.

Здесь, у лужи, меня увидели Семка Левитин и Галка Петрова, которые вернулись из школы. (Галкиного брата, рыжего Тольку, в первый класс не взяли, не хватило возраста.)

— Чё не был в классе? Про тебя чикла спрашивала, — сообщил Семка с небрежностью школьного ветерана. Этот его тон никак не вязался с внешностью новичка-первоклассника: Семка был в жестком, со складками, матросском костюмчике и с блестящим остроугольным портфелем (чумой!). Галка тоже выглядела необычно нарядной: в синем с белыми горошинами платье и с голубыми ленточками в жиденьких косичках. У нее были значительно поджаты губы.

Я принял вид человека, умудренного жизненными трудностями. Подбородком показал на Семкины новые полуботинки.

— Тебе хорошо, успели обувку достать. А я без ничего. Вот обменяет мама ордер, тогда уж...

Семка сочувственно кивнул:

— Ну, не беда. Мы еще не так уж много выучили, догонишь...

— А мы много чего выучили! — возразила Галка. — Песню про Сталина пели и рисовали елочки. А послезавтра будем уже букву «а» изучать.

— И мы тоже! — подскочил Семка.

— Вы разве не в одном классе?

Оказалось, что Семка в первом «А» — в том же, куда записан и я. А Галка — в первом «Б».

Я усмехнулся с превосходством эрудированного человека:

— Ты, Галка, наверно, свой класс и не найдешь. Ты же букву «а» не изучила и от «б» не отличишь...

Галка обиделась:

— Совсем тупой, да? Думаешь, я не запомнила, где у нашего класса дверь?

И она, фыркая, удалилась.

Самое забавное было то, что и Галка, и Семка знали все

буквы и даже могли читать по складам. Но одно дело знать просто так, а другое и з у ч а т ь. Я улавливал эту разницу и ощутил что-то вроде зависти.

Семка между тем обратил внимание на линкор.

— Это немецкий?

— Сам ты немецкий! Это «Марат». Линкор Советского Союза.

— Немецкий. У него башня кривая.

— Сам ты кривая!

— Шас мы его разбомбим... — Семка подхватил с земли осколок кирпича и пустил в линкор, который приткнулся к дальнему берегу лужи. Я оттолкнул Семку плечом и бросился спасать свой корабль. В обход водоема. Семка успел пустить еще два снаряда. Но ни разу не попал.

Я выхватил линкор из воды, прижал к груди.

— Чё раскидался! Ты его делал? Сделай, а потом бомби!

— А тебе жалко?

— Жалка у пчелки...

— Жадина-жила!

— Моряк — с печки бряк!

Семка ехидно скривил пухлую физиономию и пропел:

Жила, жила-крокодила,
Поменял г... на мыло!

— Значит, э т о м у вас сегодня учили? — язвительно спросил я.

Семка помолчал, подумал и зловеще пообещал:

— Только приди к нам в класс. Я ребятам скажу, все тебя лупить будут.

Ах ты, обезьяна толстая! Еле умеет отличать «а» от «б», а туда же: «Наш класс!»

Поддавшись мстительному вдохновению, я запустил в Семку щепкой с линкором. Щепка пролетела мимо. Линкор сорвался и угодил в лужу у Семкиных ног. Взметнулся язык мутной воды, грязные капли щедро окропили Семкину матроску.

Семка посмотрел на влажные пятна и кругло открыл рот. Я приготовился драпать. Семка значительно превосходил меня по весу, и к тому же я понимал, что обида за перепачкан-

ный костюм придаст ему дополнительные силы. Но Семка постоял и... заревел. Ровно и басовито. И пошел, оглядываясь и что-то непонятно выговаривая сквозь слезы. Я смог разобрать лишь слово «попадет». Неясно было: то ли ему попадет за перепачканную матроску, то ли мне — за мой подлый поступок.

— Так тебе и надо! — сказал я вслед.

Но никакого злорадства я не ощутил. Наоборот, был даже подавлен. Конечно, Семка сам виноват, нечего было бомбить чужой линкор, да еще и нахально обзывать его немецким. Но в глубине души мне Семку было жаль. Потому что вот если бы я сам пришел из школы такой, во всем новеньком, и меня бы грязью... Но больше жалел я не самого Семку, а его матроску. Матросский воротник и якоря всегда были для меня символом флота, кораблей и путешествий, и теперь я словно обдал мутной водой что-то свое, любимое...

Приунывший, вернулся я домой, забрался с перемазанными ногами на кровать и, чтобы утешиться, стал читать книжку «Побежденный Карабас» — продолжение «Золотого ключика» о приключениях Буратино в Ленинграде.

Затем я раскупорил закутанную в ватник кастрюлю с макаронами и пообедал.

После этого я на обороте длинных консервных этикеток рисовал кораблики на волнах, улицу сказочного города и лес, в котором прятались избушки на курьих ногах и лешие.

Пришла мама. Со вздохами сообщила, что неизвестный мне Иван Григорьевич обменять ордер категорически отказался.

— Завтра пойду на толкучку. Может быть, продам твои ботинки и куплю другие, побольше.

— Значит, это что же? — изобразил я крайнее огорчение, а душа моя радостно замерла. — Завтра опять в школу не пойду?

— Но ведь завтра воскресенье.

Вот как! А я про это совсем забыл! Какое счастье! Еще целые сутки свободы!

...Назавтра я помирился с Семкой. Он зла не помнил, про костюм небрежно сказал:

— Ништяк, все высохло и отчистилось...

Мы вместе играли в партизан среди длинных полениц на

нашем дворе и договорились, что в классе сядем за одну парту, «если только чикла не зашипит, а то она велит каждому папану сидеть с девкой».

И опять был длинный безмятежный день. Но к вечеру снова надвинулось на меня ощущение неизбежного. Так сильно, что я, спасаясь от этого чувства, раньше обычного улеялся спать. А у кровати стояли новые ботинки, которые мама принесла с толкучки. Они лишали меня всех надежд.

Утром я проснулся очень рано. И с возбуждением человека, который спешит навстречу неминуемой опасности, кинулся будить маму.

— Мы опоздаем в школу!

И тут опять случилось чудо. Сонно зевая, мама сказала, чтобы я не волновался. Вчера вечером передали по радио радостное сообщение: капитулировала Япония, с которой у нас в ту пору была война. Теперь война кончилась, и третье сентября будет нерабочим днем, потому что всенародный праздник.

Нет слов, чтобы описать мою благодарность Японии, которая столь вовремя сдалась на милость победителя!

Вообще-то японцы были, конечно, враги. Они еще до войны лезли на нас — на Халхин-Голе и на озере Хасан. То и дело насылали шпионов и диверсантов. Хорошо, что границу охранял храбрый пограничник Карацупа, а то бы совсем беда.

У Володи Шалимова была книжка «Морская тайна» — про то, как злодеи с японского подводного крейсера «Голубое солнце» захватили в плен наших моряков и чуть их не расстреляли. Но наши все равно победили и вырвались на свободу. Эту книжку читал мой старший брат Сережа и пересказывал мне.

Была про злых японцев и песня: «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки...» Правда, потом, через много лет, стали петь не «самураи», а «вражья стая». Тем более что и фильмы японские появились — «Знамена самураев», «Семь самураев» и другие — там эти воины были совсем положительные, храбрые, за бедных заступались...

Но и в сорок пятом году такого зла, как на немецких фашистов, на японцев я не помню. Взрослые в своих разговорах их даже жалели, когда американцы бросили две атомные бомбы. А в тот день, третьего сентября сорок пятого года, я испы-

тывал к Стране Восходящего Солнца просто нежные чувства. Мало того, новый подарок судьбы породил во мне надежду на дальнейшие удачи. Я был почти уверен, что вот-вот случится еще что-нибудь радостное и назавтра опять объявят праздник.

Почему-то больше всего я рассчитывал, что поймают и повесят Гитлера.

В то время многие не верили, что Гитлер покончил с собой в конце войны. Ходили слухи, что он где-то скрывается. Мне казалось, что скоро его обязательно изловят и тут же отправят на виселицу при всеобщем ликовании. И, безусловно, будет опять нерабочий день.

Однако к вечеру стало ясно, что бывший фюрер пока не дал себя поймать. Я расценил этот факт как еще одно его злодеяние, направленное теперь не только против человечества, но и против меня лично.

А затем неотвратимо пришло утро четвертого сентября. Серенькое, с моросящим дождиком, под стать моему настроению.

И я пришел с мамой в школу. В начальную, номер девятнадцать, что была в трех кварталах от моего дома, на улице Ленина, рядом с красивой церковью — на ее белую башню я любил смотреть со своего крыльца. Но сейчас меня и эта башня не радовала...

Четвертое сентября

Портфель или сумку для меня купить не сумели, я нес букварь и пенал в пакете от патефонной пластинки. В круглое отверстие выглядывало лицо веселого первоклассника, напечатанного на обложке букваря. Этот прилежный разноцветный мальчик своим видом словно старался восполнить недостаток моей собственной радости.

На мне была вязаная шапочка с помпоном — одна из тех, что прислал отец.

Школа была в полтора этажа, с полуподвалом. Кирпичная, побеленная, старинной постройки, с узкими высокими окнами. На просторной полутемной лестнице с точеными перилами толпилось множество ребят. Дежурные почему-то никого не пускали наверх. Это было первое нелепое школь-

ное правило, с которым я столкнулся. Почему люди не могут спокойно идти в свои классы, должны долго томиться на ступеньках, а потом с воплями толпой устремляться наверх?

Было тесно. Я вдохнул незнакомый, тоже «школьный» запах, и у меня заскребло в горле. Я покрепче ухватил маму за руку, хотя понимал: хватай не хватай, а все равно...

Но тут рядом оказался Лешка Шалимов, уже четвероклассник. Он иногда умел быть добрым и понимающим. Шелнул:

— Не бойся... — Вернее, он выразился покрепче, на знакомом мне уличном диалекте. От этой грубоватой ласки стало легче дышать...

В классе печаль моя совсем развеялась. Что ни говорите, а новизна обстановки всегда бодрит. К тому же облака разорвались, и в окно глянуло солнце, обещая еще один теплый день.

Многое оказалось для меня неожиданным. Например, печка-голландка в углу класса. Мне понравилось, что дверца у нее почти такая же, как у нас дома, в проходной комнатке, где жил мамин брат — дядя Боря.

Вызвала удивление и учительница.

Я думал, что учительницы все высокие, молодые, с красивыми прическами и громкими строгими голосами. А Прасковья Ивановна была совсем простая тетенька, похожая на нашу соседку тетю Иру, домохозяйку, которая держала в сарае корову и торговала молоком. Но это мне даже понравилось.

Правда, сесть мне и Семке за одну парту Прасковья Ивановна не разрешила. А когда Семка заспорил, она предупредительно сказала:

— Со-ло-мон! Я напишу маме записку...

Я опять удивился. Почему мой приятель — Соломон? Он был Семка, Семен, это все на нашей улице Герцена знали. Может, в школе каждому назначают какое-то особое имя?

А как будут звать меня?

Но меня Прасковья Ивановна назвала привычно:

— Славик, садись вон за ту парту, с Валею Малеевой...

Что делать, я сел. Ничего, Валя как Валя. Вроде спокойная, не задиристая, улыбнулась по-хорошему...

Прасковья Ивановна всем напомнила, как надо вставать и садиться, как поднимать руку, если хотим о чем-то спросить, и прочие школьные премудрости. А дальше началось то, что

сломало все мои представления об учебных занятиях. Прасковья Ивановна сообщила:

— Сейчас будем писать палочку.

Я ничего не понял. Что значит «писать палочку»? Вся моя эрудиция не могла дать ответа на этот вопрос. И я решил в конце концов, что нам предстоит писать слово «палочка».

Почему так?

Мне доподлинно было известно, что в школе сперва пишут «мама», «рама», «Лара» и тому подобное. И вдруг такое сложное слово!

Ну ладно, учительнице виднее. Но только получится ли у меня? Прописи я знал слабо. Хотел уже поднять руку и спросить, можно ли будет писать печатными буквами. Но в последний момент решил подождать.

И правильно сделал.

Прасковья Ивановна раздала нам карандаши и бумагу — каждому половинку тетрадного листа. Бумага была расчерчена косыми клетками.

Прасковья Ивановна подошла к доске.

— Все взяли карандаши. Держим правильно, свободно, как я вас учила, не стискиваем. Не скрючиваем пальцы... Со-ло-мон! Возьми карандаш, я сказала! И Тонкошеев! Ты второй год в первом классе, пора бы уже научиться. Теперь все попробуем нарисовать палочку. Начинаем вот отсюда, из угла верхней клеточки... и потянули вниз. Вот та-ак...

Мел заскрипел по доске, расчерченной так же, как бумага. Посыпалась белая пыль. Появилась черта. Потом рядышком еще одна.

— Вот та-ак... Все старайтесь.

Первый «А» засопел над клочками бумаги.

— Зачем это? — с тихим недоумением спросил я у соседки.

Умная и серьезная Малеева шепотом объяснила:

— Учимся буквы писать. По частям.

— А-а... — дошло до меня.

— Никто не разговаривает, все пишут... Соломон!

Я склонился над бумагой и лихо изобразил на косых линиях частокол из разнокалиберных палок. Подумаешь, наука!

Прасковья Ивановна ходила мимо парт. Наклонилась над нашей.

— Молодец, Валя... А тебе, Славик, надо быть поаккуратнее. Смотри, как написано на доске.

Я строптиво повел плечом, потому что всегда болезненно относился к критике.

На втором уроке мы изучали букву «а» (правду говорили в субботу Галка и Семка!). Разглядывали ее в букваре, называли слова, которые с этой буквы начинаются. Прежде всего, конечно, «арбуз», который я ни разу в жизни не пробовал. В те времена арбузы в наш город не привозили: до того ли, когда хлеб по карточкам. Потом мы хором изображали, как кричит мальчик, когда уколёт палец:

— А-а-а!

Это было самое интересное. Только непонятно, почему мальчик! Девчонки чаще орут, если больно.

— А я кричу «ой-ей-ей!» — заявил маленький быстроглазый Боря Демидов (мы с ним когда-то были в одной группе детского сада).

— Кто будет кричать неправильно, пойдет в угол, — утомленно пообещала Прасковья Ивановна. — И маме сообщу. Вот тогда будет «ой-ей-ей»...

Вот так-то! Даже если тебе больно, кричать здесь надо по правилам. В школе все по правилам...

А на третьем уроке началась вообще какая-то чепуха. Прасковья Ивановна вполне серьезно стала объяснять нам, что значит «меньше» и «больше». Она показывала два кубика — один с коробку «Казбека», другой со спичечный коробок — и спрашивала:

— Кто скажет, который кубик больше? Поднимайте руки, не выкрикивайте... Витя!.. Правильно говоришь, молодец. А какой кубик меньше?.. Вова Панкратов!.. Верно, садись...

Потом — то же самое с длинным и коротким карандашами, с крупным и мелким яблоками (они были, конечно, настоящие)...

— А кто скажет, что больше: «один» или «два»?

Я тихо изумлялся. Неужели Прасковья Ивановна за дураков нас принимает? Даже годовалый ребенок умеет отличить

большое от маленького. Неужели такие вещи надо изучать в школе?

Но мои одноклассники добросовестно поднимали руки, радуясь легкости вопросов и своему умению отвечать безошибочно.

А Боря Демидов опять нарушил правила. Нетерпеливо покачал поднятой рукой и сообщил:

— Бывает, что один больше, чем два. Один слон больше двух лошадей...

Прасковья Ивановна сказала, что это пока слишком сложный для нас вопрос арифметики.

— Вы будете проходить это во втором классе... Соломон, перестань толкать соседку... Сейчас будет звонок с урока. Все тихонько возьмут портфели, встанут парами и пойдут со мной на двор.

Двор был просторный. Летом его не топтали, и всюду росли подорожники и мелкая городская ромашка. А по краям подымались заросли крапивы и белоцвета. Гуще всего — у дальнего кривого забора, где стояла дощатая уборная. Двор лежал между школой и стройной церковью, чья башня, как белый маяк, высоко уходила в небо. А небо, кстати, опять было безоблачным, ласковым. От улицы двор отделяла высокая церковная ограда с кирпичными столбами и железными копытами. У этой ограды все сложили сумки и «чумы». А я — свой «дырчатый футляр».

Прасковья Ивановна велела нам встать в круг. Началась игра «третий лишний». Ну, игра как игра, знакомая еще по детскому саду. Я беззаботно бегал и прыгал, как и остальные, пока не увидел, что у калитки стоят мой брат Сережа и Володя Шалимов.

Ура! Значит, школьный день закончился! Я вышел из круга, подобрал свой бумажный футляр и громко заявил:

— Прасковья Ивановна, я пошел домой! До свиданья!

— Подожди, еще нельзя! Занятия еще не кончились!

— Как это не кончились, если за мной пришел Сережа!

— Сережа подождет! Сейчас урок физкультуры!

— Ну что за глупости вы говорите! — искренне удивился я. — Какой же это урок!

Будучи эрудированным ребенком, я знал, конечно, что бывают уроки «физры». Но был уверен, что они, как и все остальные, проходят в классе. На них, думал я, выучивают названия всяких футбольных команд, читают про спортивные соревнования и знаменитых чемпионов. Потому что это же урок. При чем тут бегалки-прыгалки? А если класс вывели на свежий воздух и устроили игру — это уже послеурочное время, развлечение перед тем, как за нами придут из дома старшие. Не бывает уроков на дворе!

С футляром под мышкой и с полным сознанием своей правоты я двинулся к калитке.

Прасковья Ивановна ухватила меня за руку.

Меня! За руку! Насильно!

В ту пору даже эрудированным людям не было известно выражение «права человека». Но то, что эти права должны соблюдаться, я с малых лет ощущал инстинктивно. Если, например, брат или сестра сгоняли меня с кровати («не читай лежа!») или, наводя порядок, стряхивали со стола моих бу-мажных солдатиков, я негодуяше орал:

— Ка-ко-е вы имеете право, паразиты!

А тут не брат, не сестра, а посторонняя женщина ухватила меня и держит!

Не стерпев насилия, коротко взревел я и вырвался.

— Как ты смеешь не слушаться учительницу!

Неужели она думает, что я обязан подчиняться ей во всем и даже продолжать эту глупую игру, когда за мной пришел старший брат?

Это лишь в армии рядовые бойцы должны выполнять абсолютно все приказы командиров. Но там дело военное, они присягу давали. И я с полным знанием вопросов иерархии заявил своей первой учительнице:

— Вы не командир, а я не рядовой!

Подскочивший Сергей пытался мне что-то объяснить, а Володя иронически хмыкал. Но, распаленный праведным гневом, я не внял и доводам старшего брата. Если он с чиклой заодно, наплевать и на него! Я вышел из калитки и зашагал по деревянному тротуару. Дорогу к дому я знал отлично.

Меня не держали. Но в этот день, четвертого сентября тысяча девятьсот сорок пятого года, я впервые услышал слова, которые потом, увы, слышал неоднократно. И которые в свою ученическую пору слышат очень многие люди:

— Завтра без мамы в школу не являйся!..

Впрочем, все обошлось. Дома меня не ругали, и мама, когда пришла на обед, даже подарила мне десять рублей: в награду за первые школьные труды. А потом (как я узнал позже) сходила в школу, и они с Прасковьей Ивановной повздыхали и посмеялись над строптивостью неотесанного первоклассника.

А я с братом пошел на толкучку и, отдавая дань еще не забытому дошкольному детству, купил у шетинистого старика игрушку: тележку на палке. Когда ее катили по тротуару, над колесами вертелись маленькие пестро раскрашенные кольца. На скорости они превращались в разноцветные шары. Замечательная была тележка....

На следующий день Прасковья Ивановна не вспоминала о нашей ссоре. Тем более что я потерпел от школы первый урон. Накануне я забыл в парте свою вязаную шапочку. Когда спохватились и брат прибежал в школу, шапки в парте не оказалось. Сперли.

Забегая вперед, скажу, что в течение недели я посеял еще две такие шапочки, после чего стал ходить в школу в большой выгоревшей пилотке, которую подарил мне Лешка Шалимов. Он же отыскал в своем хозяйстве старый клеенчатый ранец с полуоторванной крышкой. Дядя Боря суровыми нитками пришил крышку, и я, избавившись от футляра с дырками, стал совсем такой же, как другие первоклассники тюменской начальной школы номер девятнадцать. По крайней мере, внешне.

Но излишняя эрудиция еще не раз портила мне жизнь.

Как лает собачка

На уроке чтения проходили букву «у».

— Как гудит паровоз?

— У-у-у!..

— Хорошо. А теперь из буквы «у» и буквы «а» составим два слова. Как плачет маленький ребенок?

— Уа-а-а! — догадливо выли наш первый «А», потому что на этот счет была в букваре картинка и соответствующая подпись.

— Правильно. Только тише... А кто знает, как кричат дети, когда заблудятся в лесу?

Знали все:

— Ау-у-у!!

— Верно. Только надо не кричать хором, а поднимать руки...

Боря Демидов поднял руку. И сообщил, что когда он летом отстал от взрослых в бору под деревней Падерино, то кричал не «ау!», а «мама!». С перепугу. Хотя мамы в лесу вовсе не было, а были бабушка и тетя Зина.

Прасковья Ивановна снисходительно согласилась:

— Бывает и так. Но словом «мама» мы займемся позже, когда познакомимся с буквой «м-м-м»... Тонкошеев! А ты почему опять глазеешь в окно и не участвуешь в уроке? Хочешь остаться на третий год?

— Не-а, не хочу, — сказал Тонкошеев.

— Если будешь зевать и отвлекаться, поставлю у доски на весь урок.

— Ладно, — покладисто сказал Тонкошеев. Он считал неразумным ссориться с «чиклой» по пустякам.

Второгодника Серегу Тонкошеева мы уважали. Он был самый большой среди нас. Даже суровые четвероклассники милостиво брали его играть в чику, когда затевали это запретное дело в узком пространстве между забором и поленницей, недалеко от уборной. Нам же, «мелкокалиберным», дозволено было лишь молча наблюдать за звонкой азартной игрой, ибо не было у нас ни опыта, ни медных денег в карманах, да и сами-то карманы имелись не у каждого...

Не знаю, почему у Сереги не ладилось с учением. Вообще-то он был совсем не дурак, а в житейских вопросах проявлял просто взрослую мудрость. К нам, своим одноклассникам, относился он беззлобно. Учил полезным вещам. Например, как из катушки от ниток, резинки и палочки сделать заводной трактор, а из куска киноплёнки — звонкую щелкалку.

В кармане длинных мешковатых «шкер» Серега носил пу-

гач, сделанный из медной загнутой трубки и гвоздя. Однажды он пальнул из этой штуки за уборной, в окружении восхищенных зрителей. Правда, кто-то на него «определил», и пу-гач отобрали, но Тонкошеев сказал «ништяк» и на следующий день принес новый.

Свою силу Серега к нам не применял. Только один раз — давал пинков Семке Левитину, который отказался делиться хлебом и ливерной колбасой, хотя было сказано: «Сорок семь — делим всем!»

Несмотря на обширные пробелы в школьных знаниях, с буквой «у» Тонкошеев был, конечно, знаком. Поэтому скучал. Я тоже скучал на всех уроках чтения. И смотрел сквозь стекло во двор. Там белела стена церкви с двумя рядами узких окон. Окна были окружены лепными украшениями. Я (эрудированный ребенок) знал, что это называется «барокко». В окнах виднелись кованые решетки с завитушками. За ними была темнота, и в ней неярко, словно свечки, искрились желтые лампочки. Я знал, что церковь называется еще и по-другому — «храм». И то, что в ней после революции, когда отменили бога, сделали библиотеку, было мне понятно. Я читал где-то, что библиотека — это «храм знаний». В здешнем храме знаний был детский отдел, мама записала меня туда, и я уже взял книгу «Каштанка». И за два вечера прочитал ее.

Я стал размышлять о Каштанке. Она мне нравилась. И я был рад, когда нашлись ее прежние хозяева — столяр Лука Александрыч и его сын Федюшка — и она с ними отправилась домой. Но все же было жаль, что Каштанка не стала цирковой артисткой. Разве нельзя было договориться, чтобы она жила дома, а Федюшка по вечерам приводил бы ее в цирк на работу? Сам бы заодно мог бесплатно посмотреть все представления...

Задумавшись, я вовсе отвлекся от урока.

Это происходило уже не в тот день, когда «уа» и «ау», а позже.

Вытряхнул меня из задумчивости вопрос Прасковьи Ивановны:

— А теперь кто мне скажет: как лает собачка?

Это было словно продолжение моих мыслей о Каштанке. О собачке!

Я вскинул руку и затряс ею от нетерпения! Я знал, как лает собачка!

Во всем нашем квартале на улице Герцена — от Первомайской до улицы Дзержинского — не было пацана, который бы лучше меня мог изобразить собачий лай. Когда я ради забавы заливался веселым дворняжечьим тявканьем или начинал размеренно гавкать, как пожилая, уставшая от трудов овчарка, по всем дворам откликались окрестные псы.

Этот «собачий» талант был частью моей эрудиции.

Лишь бы Прасковья Ивановна вызвала меня! Уж здесь-то я сумею показать, на что способен! Это не нацарапанные карандашом палки и крючки на тетрадной бумаге, которые никак не хотели меня слушаться и выстраивались на линейках столь же бестолково, как наш класс на зарядке, которую мы делали на дворе перед уроками...

— Ну хорошо, пусть скажет Славик...

Я вскочил и набрал в грудь воздух. И для начала выдал рассыпчатое, скандальное лаянье шпица Марсика, который жил в конце квартала, в доме хирурга Сазонова. Потом откликнулся на него хрипловатым, но жизнерадостным голосом полубеспризорного коротконогого кобеля по кличке Моряк, обитавшего у нас во дворе. Затем изобразил гулкое гавканье сторожевого Джека, сидевшего на цепи у крыльца моей хорошей знакомой Галки Лазарчук. И завершил эту собачью кантату дурашливым щенячьим «ав-тяф-тяф-ррр», словно расшалившийся трехмесячный Шарик загнал на забор соседскую кошку и веселится от души.

После этого я замолчал, чтобы снова набрать побольше воздуха. И услышал какое-то нехорошее молчание класса. И увидел поджатые губы Прасковьи Ивановны.

Деревянным голосом Прасковья Ивановна сказала:

— Нет. Собачка лает не так. Сядь... Кто скажет правильно?... Скажи, Соломон.

Я ошеломленно плюхнулся на скамью. А Семка поднялся и добродетельным голосом произнес:

— Собачка лает: «Ам! Ам!»

— Молодец. Садись.

Что же такое? Я с великой жадой правды глянул на со-

седку Вальку Малееву. Она была честная и справедливая. Но и она сейчас меня не поддержала. Сказала одними губами:

— Эх ты... В книгу гляди...

Перед Валькой лежал раскрытый букварь. Там была картинка: румяный мальчик высоко поднял не то горбушку, не то пряник, а под рукой у него подпрыгивала кудлатая собачонка. Подобный рисунок я потом не раз видел на конфетных фантиках «Ну-ка, отними!». А здесь было написано: «Ам».

Но это же совсем другое дело! «Ам» — это когда кто-то что-то слопал. Например, в детской книжке-раскладушке жаба проглотила комара: «Ам!» Или соседка тетя Тася уговаривает годовалого Вовку: «Кушай кашку. Давай быстренько открой ротик и — ам!»

При чем здесь собачий лай! Прасковья Ивановна просто никогда не имела дела с собаками и все перепутала!

Я вскинул руку, чтобы объяснить недоразумение... и опустил. Кое-какой школьно-жизненный опыт у меня уже накопился. И я сообразил наконец, что моя правда здесь никому не нужна. Нужно другое: показать, как буква «а» сочетается с другой буквой — «м-м-м» в короткое слово. И потому собачка будет лаять так, как того требует учебная программа.

Наверно, в этом была своя, школьная, справедливость.

Но с моим понятием о справедливости и объективной истине это никак не увязывалось. И сделалось так обидно, что намокли ресницы. Валька сочувственно вздыхала рядом...

А вдобавок ко всему Прасковья Ивановна после урока сказала:

— Славик, попроси маму зайти в школу, я хочу поговорить с ней.

Я независимо повел плечом:

— Пожалуйста.

Неприятностей я не боялся. Мама всегда меня понимала, поймет и на этот раз. Но по-прежнему было очень горько. И я сказал в спину Прасковье Ивановне:

— Все равно собачка лает не так...

Впрочем, тихо сказал, почти шепотом, она не услышала. Зато услышал Серега Тонкошеев.

— Голова твоя, пшенкой набитая. Если говорят «ам», зна-

чит, «ам». Никогда не тьявкой при начальстве, добром не кончится.

Я уже упоминал, что был Серега не по-детски мудр.

Но я не внял совету Сереги Тонкошеева. И в детском возрасте, и потом я часто тьякал при начальстве. И даже на начальство. Такое поведение не раз осложняло мне жизнь. Однако это уже тема для других рассказов. А рассказ о собачке я кончаю. На таком вот вздохе — задумчивом, хотя уже и без прежней горечи...

Зачем бороться с песнями

Занятия в школе начинались в восемь. Вставать приходилось в семь. Точнее, в четыре минуты восьмого. Этот маленький кусочек времени я раз и навсегда выторговал у мамы: «Ну, пожалуйста! Можно, я полежу, полежу, пока играют гимн?»

Просыпался я незадолго до семи. И с растущей тягостью в душе прислушивался к бормотанию радио. Бормотание стихало, в чутком бумажном репродукторе накапливалась напряженная тишина. Ох, сейчас... И включались куранты Кремля! С раздражающей громкостью колокола выговаривали насмешливую, безжалостную мелодию:

Длинь-длинь-длинный день впереди...
Длинь-длинь-длинь, мы спать не дадим...

А потом: бум... бум... — гулкие удары. Пять раз (потому что там, в столице, всего пять часов, счастливые московские школьники могут спать еще целых два часа!). Затем, словно еще один удар, самый громкий и раскатистый, — музыкальный аккорд. И хор:

Союз нерушимый республик свободных...

В гимне двадцать четыре строчки — три куплета и три припева. И каждая пропетая строчка приближала меня к зябкому моменту, когда надо вылезать из постели.

Ох как ненавидел я эти въедающиеся в мозг слова, эту тяжкую, неотвратимую мелодию. Понимал, что это нехорошо, даже преступно, и все равно ненавидел. Словно само государство несгибаемой своей волей загоняло меня, семилет-

него, полусонного, в слякотный осенний день, в серые школьные будни...

Это ощущение сохранилось на всю жизнь. Даже когда я сделался совсем взрослым, стал писать книжки и мог вставать по утрам когда вздумается, мелодия гимна вызывала в душе тревогу и неуверенность. Она была напоминанием о равнодушной всесильной власти, которая может сделать с тобой все, что хочет.

Потом наступил девяносто первый год. Гимн сделался сперва вроде бы не обязательным, а вскоре и совсем отмененным. И однажды на телеэкране я увидел, как волосатые парни с электрогитарами и синтезаторами кривляются под знакомую мелодию.

И стало обидно.

Ну да, я не любил эту музыку и эти казенные слова про «Союз нерушимый». Но все же в моей сознательной жизни другого гимна у меня и у моей страны не было. И, в конце концов, именно с этим гимном победили мы Гитлера, встречали вернувшегося из полета Гагарина, радовались победам наших олимпийцев. Зачем же теперь плевать внутрь самих себя! Плевки — не целебный бальзам, ими не вылечишь изблевающую душу.

И гимн, и старые песни, с которыми жили много лет, надо спокойно сохранить для истории, а не делать из них музыку для клоунад. И ставшие ненужными знамена следует оставить в хранилищах и музеях, а не торговать ими на Арбате. А то, глядишь, сами не заметим, как распродадим не только прошлое, но и настоящее.

Вот такие мысли у меня сейчас, в девяносто втором году. Кстати, в году не менее трудном, чем сорок пятый.

И даже те минуты, когда я, первоклассник, сжимался в постели под неумолимую государственную мелодию, вспоминаются теперь без прежней зябкости, со снисходительной усмешкой.

Но это теперь. А тогда... Ох, вот уже спели и о том, что «мы армию нашу растили в сраженьях...». Вот и последний припев кончается:

Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Не к победе оно ведет, а к тому, что надо вылезать из-под теплого одеяла. Натягивать заштопанные, отвратительно длинные чулки, которые путаются и перекручиваются. Потом — штаны, которые норовят надеться задом наперед (хотя перепутать вроде бы трудно: зад отмечен квадратной заплатой). Затем — тонкий разношерстный свитер — он был когда-то голубым, а сейчас белесо-сизый от частых стирок. И после этого брести на кухню, бренчать там рукомойником, в котором гадостно-холодная вода.

— Зачем ты надел свитер, не умывшись? Все у тебя не так...

Мы с мамой вдвоем. Брат и сестра укатили в Одессу — учиться в индустриальном институте. В тот замечательный город, куда всем известный Костя приводил шаланды, полные кефали. Там хорошо, на юге-то. До сих пор тепло, и море рядом.

— Ты все домашние задания сделал? Смотри, а то опять Прасковья Ивановна будет жаловаться... Садись, ешь картошку... Ох, да шевелись же ты, опоздаешь ведь!

Маме тоже скоро на работу, в свою контору. А за короткие полчаса между моим и своим уходом она должна «провернуть уйму всяких дел».

Сквозь тонкую стенку слышно, как соседка тетя Лена то-ропит «ирода проклятушего» — Лешку Шалимова. Но я вместе с Лешкой сегодня не пойду, мы в очередной раз поссорились. Семка Левитин за мной тоже не зайдет, он копается больше меня и часто опаздывает.

— Да шевелись же ты, не спи на ходу...

Я не сплю. Я надеваю сшитое из маминого суконного жакета пальто, натягиваю на уши пилотку, сую ноги в резиновые сапожки. Без такой обуви нынче до школы не доберешься. Во рту горько от подгоревшей жареной картошки.

— Мама, дай попить.

— Господи боже мой, что за несчастье! Все в последний момент!.. Пей и отправляйся... И не вздумай опять лезть в споры с Прасковьей Ивановной.

Больно мне надо лезть в споры. Лишь бы сама не придиралась...

— И не суйся в лужи, обходи стороной.

Ха, обходи! Как их обойдешь, когда вся дорога на улице

Дзержинского — сплошная вода и месиво. Вчера даже зачерпнул голенищем...

— Везде непроходимо. Борька Демидов свою калошу в грязи утопил...

— Иди, иди скорее, опять опоздаешь на зарядку!

Приходить надо не к восьми, а за пятнадцать минут до начала занятий. Потому что перед уроками мы еще делаем зарядку — прямо в классе, между рядами парт, — а после зарядки поем Гимн Советского Союза. Да-да, опять гимн! Никуда от него не денешься. Говорят, это распоряжение горono.

Чтобы петь правильно, мы разучивали этот гимн с первого урока пения. Впрочем, выучили быстро. Потому что и без того каждое утро слышали его по радио. И скоро на уроках пения стали разучивать другие песни.

Эти песни тоже были не новые. Или военные, или про Сталина. Их часто передавали по радио, а некоторые я помнил с детсадовских времен.

Но все равно к каждой песне мы подступали, словно к незнакомой. Сперва за Прасковьей Ивановной повторяли строчку за строчкой — учили наизусть. Затем хором декламировали целый куплет. После этого Прасковья Ивановна, запахнув на груди серый пушистый платок и глядя в пасмурное окно, пела этот куплет тонким голосом — чтобы мы запомнили мелодию. И мы после нее пели все вместе. Очень усердно. Мокрые стекла вздрагивали. На них темнели прилипшие листья облетающих тополей.

Прасковья Ивановна морщилась:

— Надо правильно исполнять мотив. Слушайте еще раз...

Насколько я помню (а слух у меня был приличный), мелодию она пела точно. Однако я каким-то внутренним чутьем понимал, что петь перед нами Прасковья Ивановна стесняется, хотя и старательно давит в себе это смущение. Я переживал за нее. И, видимо, оба мы почувствовали облегчение, когда нашелся выход.

Оказалось, что у Семки Левитина чистый и высокий голос и петь Семка любит. И главное, ничуть не боится петь перед классом. И весь репертуар тогдашнего радио (а также кое-что сверх того) Сема знал отлично. И теперь Прасковья Ивановна говорила:

— Соломон, иди к доске. Покажи нам, как поется эта песня. Семка выходил. Слегка розовел от удовольствия круглыми щеками, брался за галстук матроски, вытягивал шею и...

В атаку стальными рядами
Мы поступью твердой идем!
Родная столица за нами,
Рубеж нам назначен вождем...

Самые нетерпеливые подхватывали, не дождавшись команды:

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою...

Никакого музыкального сопровождения у нас не было. Ни пианино, ни баяна, ни даже мандолины, как, например, в первом «Б» у Анны Дмитриевны. Однако ни Семку, ни всех нас это обстоятельство не смущало.

В бой за родину, в бой за Сталина,
Боевая честь нам дорога! —

вдохновенно орали мы песню про красных конников, и делом «боевой чести» казалось нам перекричать первый «Б», у которого тоже шел урок пения, что и было слышно через две закрытые двери и вестибюль.

Кони сытые бьют копытами!..

...Когда приблизился праздник Октябрьской революции, мы взялись за песню, которую полагалось хором исполнять на торжественном утреннике. Разумеется, о «великом друге и вожде».

Вообще-то это была первомайская песня. По крайней мере, в моем представлении. Помню синее, уже теплое небо, молодую зелень тополя, распахнутое окно, ветерок надувает занавеску, а в отдалении ухает оркестр. Брат и сестра собираются на демонстрацию. Мы с мамой тоже пойдем, только не в колонне, а смотреть на демонстрантов с тротуара. Я радостно нервничаю: не опоздать бы! А жиденький репродуктор безжит, надрывается:

На просторах родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню...

Праздник Октября, он без тепла и свежей зелени, но все равно хороший. Как и Первомай, с оркестрами и знаменами. На главных домах города вокруг больших портретов вождей будут гореть желтые пунктиры лампочек. И будут светиться пятиконечные звезды — они сделаны из досок, затянуты красным ситцем, а внутри у них тоже лампочки. Но самое главное — это два нерабочих и неучебных дня! (Осенних каникул тогда еще не было.) Придут гости с патефоном, мама приготовит что-нибудь вкусное (может быть, даже пельмени, если найдется мука). Артур Сергеевич принесет пару банок с бычками или камбалой в томате...

Поэтому песня «На просторах родины чудесной» всегда пахла для меня винегретом, пельменями и другими праздничными блюдами.

Полностью эту песню я уже не помню, но припев засел в голове навеки:

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет!
С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.

Слова эти запомнились потому, что в семилетнем возрасте я часто размышлял над ними.

Три строчки из четырех были вполне понятны.

Я не раз видел снимки и плакаты, где наши танки с надписью на башнях «За Сталина!» шли в атаку на фашистов. Поэтому он и есть наша боевая слава. Яснее ясного.

Во время военных парадов в Москве над Красной площадью проносились самолеты, выстроенные в большущее слово СТАЛИН. Это я тоже видел на газетных снимках, а один раз даже в кино. А летчики — они ведь все молодые. Вот поэтому — «юности полет».

То, что «наш народ за Сталиным идет», было тоже объяснимо. Разноцветный плакат насчет этого висел у нас в классе, между окнами. На уроках чтения, от нечего делать, я так часто разглядывал его, что помню со всеми подробностями.

Внизу желтыми буквами было написано: «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина вперед к победе коммунизма!» Знамя Ленина — густо-алое, волнистое, с темным профилем добродушно сощуренного Владимира Ильича —

служило фоном. На этом фоне и стоял великий вождь и лучший друг всех советских детей, следовательно, и мой. (К последнему обстоятельству я, правда, относился с некоторым сомнением. Откуда Сталин может знать про меня, первокурсника школы номер девятнадцать города Тюмени? Школа эта так далеко от Кремля! А если не знаешь человека, то как можно с ним дружить?) Сталин — в маршальском мундире, но без фуражки — вытягивал вперед руку. Показывал в сторону коммунизма, к которому следовало идти.

Что такое «коммунизм», я приблизительно знал. Мне еще давно объяснили это брат Сергей и сестра Людмила. Они рассказывали, что наступит такое время, когда не будет войны и хлебных карточек и все станут жить счастливо. В городах выстроят сплошь стеклянные дома с золотыми крышами, всюду откроют бесплатное кино, а в магазинах окажется полным-полно товаров. Бери, что пожелаешь, и тоже совершенно бесплатно.

— Всё растащат за один день, — уверенно сказал я.

— Зачем же тащить? — возразила Людмила. — У каждого и без того будет все, что им нужно, и люди отвыкнут быть жадными.

— Как это все, что нужно? — не поверил я. — И даже двухколесный велосипед будет у любого человека?

— Конечно, — отозвался Сергей и вздохнул. Велосипед был мечтой его жизни.

— И даже легковая машина, — уверенно заявила Людмила. — А если захочешь, то и свой самолет.

— Ну уж тут ты совсем завралась! — не выдержал я.

— Честное комсомольское! Это ведь при коммунизме!

Я прекрасно понимал, что иметь самолет захочет каждый. И представил себе нашу улицу Герцена времен коммунизма. Кровельные листы на крышах — не из ржавого железа, а из чистого золота (вот сверканье!), бревна стен, двери, наличники, ставни и даже водосточные трубы сделаны из стекла. И доски заборов — тоже стеклянные. А за этими прозрачными заборами стоят самолеты. Если у каждого жителя свой, то в нашем дворе — не меньше трех десятков. Поместятся ли? А как взлетать в такой тесноте? Ведь разбег нужен... Ка-ак зацепит колесами за стеклянный забор — вот звону будет!..

Но самое главное — какая теснота получится в небе!

Дядя Боря как-то рассказал мне про катастрофу, которая случилась еще до войны над Москвой. На каком-то празднике. Истребитель описывал петлю вокруг громадного, со множеством пассажиров, самолета «Максим Горький» и зацепил его. От «Максима Горького» и от истребителя — одни обломки. Никто не спасся.

А ведь самолетов-то было там всего два! Что же будет, если каждый начнет взлетать когда вздумается! Я даже зажмурился. И тут же высказал свои соображения сестре и брату. Они меня успокоили. Коммунизм, сказали они, наступит еще не скоро, и к тому времени люди придумают, как обезопасить полеты.

— А когда он наступит?

— Ну... когда ты станешь совсем взрослым.

Я сразу перестал бояться. Время, когда я стану взрослым, лежало в таком невероятном будущем, что не стоило пока и размышлять о нем всерьез.

Но все-таки оно должно было наступить, это время. И коммунизм. Недаром Сталин показывал в его сторону таким уверенным жестом. Он-то знал, куда показывать.

И народ на плакате бодро шагал в этом направлении.

Люди, составлявшие народ, были по сравнению с вождем словно лилипуты перед Гулливером (эту книжку я уже читал). Зато их было много: шахтеры с отбойными молотками, колхозницы со снопами, инженеры с рулонами чертежей и линейками, военные в пилотках и шлемах. И среди взрослых — мальчишка в красном галстуке и с книгой под мышкой — на верняка отличник.

Все это и означало: «Наш народ за Сталиным идет».

Непонятно было только одно: почему «с песнями борясь и побеждая»? Зачем, дружно двигаясь за товарищем Сталиным, надо при этом бороться с песнями и побеждать их? Песни — они же совсем не враги. Они, наоборот, всегда помогают людям. «Нам песня строить и жить помогает!»

Может быть, имелись в виду иные песни? Например, те, что пели фашисты, когда нападали на нашу страну? Но тогда следовало точно сказать об этом, иначе сплошная неясность.

Несколько раз я хотел спросить про это у мамы или у Сер-

гея и Людмилы. Но что-то меня останавливало. Ощущение, что разгадка совсем простая и при ответе можно заработать снисходительную усмешку. Надо разобраться самому.

И наконец я разобрался! Нашел!
Помогли детские стишки:

Разошлись на небе тучи.
Смех и игры на лугу.
Споря с ветерком летучим,
Дети к солнышку бегут!

Не помню, где я эти строчки услышал или прочитал. Не исключено, что в какой-нибудь книжке-раскладушке или в «Мурзилке» — много старых номеров этого журнала валялось в комнате Лешки Шалимова.

Главное — другое: слова «споря с ветерком летучим». Ветерок — он ведь ребячий друг (и нам во дворе он помогал запускать змеев-«монахов»), однако с ним можно спорить. А спорить и бороться — это почти одно и то же!

Однажды мы с Толькой Петровым сцепились в драке, а дядя Боря вышел на крыльцо и сказал:

— Чего зря царапаетесь, как дурные коты? Если хочется силу попробовать, лучше поборитесь по-спортивному. Устройте соревнование.

И мы послушались, устроили матч цирковой борьбы. И я уложил Тольку лопатками на кучу опилок, что скопилась рядом с дровяным сараем.

Бороться — это, выходит, соревноваться, соперничать в силе и удали!

И, значит, когда народ борется с песнями — он соревнуется с ними в задоре, веселье и силе, которых в наших советских песнях, разумеется, очень много.

Ура! Я отыскал разгадку!

Это случилось как раз незадолго до праздника Октября.

Я был радостно возбужден своим открытием. И чтобы окончательно утвердиться в его правильности, решил уточнить у Прасковьи Ивановны. Однако подошел к делу не прямо, а с хитринкой. На уроке пения, когда очередной раз проголосили вслед за Семкой знакомый припев, я поднял руку и спросил:

— Прасковья Ивановна, а зачем надо бороться с песнями,

когда мы идем за товарищем Сталиным? Ну, «с песнями борясь и побеждая»?

Все притихли. Правда, зачем? Прасковья Ивановна пристально посмотрела на меня. Помолчала. Подергала на груди края пухового платка. И, видимо, наконец поняла суть вопроса.

Она сказала сухо и утомленно:

— Ты, Славик, поешь, не думая, поэтому ничего не понял. Там, в тексте песни, есть запятая. Она ставится для мысленной остановки, для раздела между словами. «С песнями, — запятая, — борясь и побеждая...» То есть народ идет за товарищем Сталиным с песнями.. Идет и поет. Ясно?

— Ясно... — потерянно отозвался я.

Валя Малеева сочувственно вздохнула рядом. Она всегда жалела меня.

— В песне запятые не всегда поются, но помнить про них надо обязательно, — разъясняла между тем Прасковья Ивановна. Уж не мне, а всем. — Хотя вы еще знаки препинания не проходили, мы будем их изучать позже...

Я сидел понурившись. Значит, все дело в запятой. В крошечном крючочке. И никакого состязания с песнями. Все гораздо проще и скучнее... Опять школа загнала мою фантазию в строгие рамки.

Впрочем, знаки препинания — вещь полезная. Особенно точка. Которую мне и остается поставить в этой истории про запятую.

Как я редактировал Льва Толстого

В середине ноября у меня с Прасковьей Ивановной случился еще один памятный разговор.

Я с первых школьных дней испытывал досадливое недоумение, когда слышал, как неверно Прасковья Ивановна произносит названия некоторых букв. Вместо «эм» она говорила «м-м-м», вместо «пэ» — «п-п-п» (с паровозным припыливанием), вместо «ша» шипела, как футбольный мяч, из которого выпускают воздух. «Эн» у нее называлось «н-н-н», «эф» — «ф-ф-ф» и так далее. Видимо, ее в свое время неправильно учили, и теперь она так же неправильно учила нас.

Но я-то с незапамятных времен знал точные имена всех букв алфавита. Как-никак я был сын преподавателя русского языка и литературы.

И однажды я почувствовал, что больше терпеть не могу. Я искренне хотел восстановить истину и заодно помочь Прасковье Ивановне.

Я поднял руку. Встал.

— Прасковья Ивановна, вы неправильно говорите. Надо говорить не «р-р-р», а «эр» и не «х-х-х», а «ха»...

Прасковья Ивановна посмотрела на меня долгим взглядом. Помню, что сжала в кулаках концы пухового платка. Помолчала, посмотрела в окно.

— Славик, то, что ты говоришь, мы будем изучать во втором классе. А пока мы просто запоминаем, как произносятся обозначаемые буквами звуки. Чтобы легче было складывать слова. Потому что... не все такие... развитые, как ты. Сядь.

Я сел. С новым недоумением в душе. Разве бывает, чтобы в первом классе буквы назывались так, а во втором иначе? Ерунда какая-то...

Но слово «ерунда» я сказал таким тихим шепотом, что это слышала лишь Валька Малеева (и опять вздохнула). Возражать вслух не имело смысла. Я снова убедился, что логика школьной жизни не всегда в ладу со здравым смыслом. И спорить с этим, видимо, бесполезно.

Потом про этот случай Прасковья Ивановна рассказала моему отцу. Нажаловалась. Отец в те дни как раз вернулся из Германии. Демобилизованный. Он посмеялся:

— Знаю, знаю, как ты учил грамоте свою учительницу. Эрудит...

Но смеялся отец с грустной ноткой. Потому что приехал он ненадолго. Разводиться.

В ту пору такие истории были не редкость. Война разламывала семьи не только тогда, когда отцов убивали. Иногда долгая разлука и всякие «жизненные обстоятельства» сами по себе рвали семейные связи. Не менее жестоко, чем бомбы и снаряды.

Вскоре отец уехал в Белоруссию, к новой жене. А у меня появился отчим. Тот самый мамин знакомый во флотском ките, Артур Сергеевич.

С моей родной улицы Герцена мы переехали на Смоленскую, в похожую на каюту комнатку со стенами, обитыми некрашеной фанерой. Мама не хотела оставаться на старой квартире и каждый день слышать соседские пересуды.

Оказалось, что отчим — человек нервный, с тяжелым характером, к тому же пьющий. И немудрено. Несколько лет он «оттрубил» в северных лагерях, потому что объявлен был «врагом народа». Повезло еще — выкарабкался.

Бог ему судья. Попортил он жизнь маме и мне, но и кое-чему полезному меня научил. Например, делать рогатки, давать сдачи обидчикам, стрелять из охотничьего ружья и разбираться в истории русского флота.

Сам Артур Сергеевич этой историей очень увлекался. Особенно Первой обороной Севастополя. Рассказывал мне о знаменитых севастопольских адмиралах, о затоплении кораблей у входа в Северную бухту и о боях на Малаховом кургане и Четвертом бастионе.

От Артура Сергеевича я узнал и то, что великий писатель Лев Толстой не всегда был бородатым старцем (известным мне по портрету из книжки «Рассказы для детей»). В молодости он был безбородым изящным офицером-артиллеристом и воевал на Четвертом бастионе. В ту пору он и написал замечательные «Севастопольские рассказы». Артур Сергеевич с увлечением пересказывал их мне, потому что помнил почти наизусть.

Именно из-за Льва Толстого у меня случилось последнее разногласие с Прасковьей Ивановной.

Было это уже в начале третьего класса.

Требовалось написать домашнее изложение. Прасковья Ивановна прочитала нам рассказ Льва Толстого «Прыжок» и велела:

— К завтрашнему дню напишите в тетрадях так, как это запомнили. Старайтесь писать подробнее, вы уже не маленькие...

И я постарался!

Тем более что рассказ был мне давно известен. Помните? На корабле, который возвращался из кругосветного плаванья, была обезьяна — любимица команды. И был мальчик — сын капитана (вот счастливчик!). Однажды обезьяна сорвала

с мальчика шляпу и полезла с ней на мачту. Дразнила мальчишку. Все смеялись.

Капитанскому сыну стало обидно, он кинулся за вредным животным, и они вмиг добрались до самого верха. Обезьяна повесила шляпу на конец перекладины, мальчик пошел по этой перекладине и вдруг испугался. Закачался. Чтобы он не разбился о палубу, отец принял единственно верное, хотя и страшное решение: приказал сыну прыгать с высоты в воду и даже пригрозил ружьем.

Кончилось, конечно, все благополучно. И я был рад за мальчика и его отца. А еще рассказ мне нравился потому, что дело происходило в море, на парусном корабле.

С самых давних пор я был равнодушен к морю (которого никогда не видел), к флотской жизни и парусам. В третьем классе я уже прилично разбирался в корабельной оснастке.

И вот я в этом изложении дал волю фантазии, отвел душу.

Рассказ великого писателя я изложил по-своему. «Мальчик не хотел показать, что ему обидно, — писал я. — И чтобы это не показать, он закричал пошел все наверх и бросился за вредной макакой по вантам»...

Именно «по вантам», а не «по веревке», как было написано у Льва Николаевича. Я не мог позволить, чтобы мои знания о такелаже и рангоуте оставались мертвым грузом. Я уточнил насчет мачты, написав, что это была «грот-мачта». Добавил такую деталь, что «обезьяна покривлялась на марсовой площадке». И, наконец, сухопутное слово «перекладина» я заменил строгим корабельным термином «рей». «Обезьяна повесила шляпу на нок рея». «Мальчик отпустил фал и ступил на рей».

В отличной оценке я был уверен. Писал я без ошибок, а что касается содержания... Ну не могла же Прасковья Ивановна не оценить по достоинству мою морскую эрудицию!

Через день, в конце последнего урока, Прасковья Ивановна раздала нам тетради с изложением.

— Дома посмотрите ваши ошибки и разберитесь в них.

подавая тетрадь мне, она глядела в сторону. И правильно! Не хочет смущать меня излишними похвалами.

Я настолько был уверен в своем блистательном успехе, что открыл тетрадку лишь на улице.

Белые листы выглядели так, словно на них рассыпали и раздавили клюкву. Все мои морские термины оказались жирно, с кровавыми брызгами перечеркнуты красными чернилами. Везде над словом «рей» было написано «перекладина». «Ванты» заменены были «веревкой». А слова «пошел все наверх» Прасковья Ивановна зачеркнула без всякого исправления.

Под изложением красовалась двойка ростом с мой мизинец. И с похожей на кляксу точкой.

Я сел на краешек деревянного тротуара, напротив крыльца белой церкви-библиотеки. Сунул тетрадку в кирзовую полковую сумку. Съежил плечи и замер в горьком изумлении.

Отгорчала не сама двойка, фиг с ней. Но за что меня так?

Ведь перекладина на мачте в самом деле называется «рей». И ванты на корабле есть. И марсовая площадка. Просто Лев Толстой этого не знал. Он был, конечно, замечательный писатель и храбрый офицер, отважно воевал в Севастополе. Но ведь не на море, а на берегу. Он был сухопутный человек и просто не знал, как что называется на парусном судне.

А я знал. И что плохого, если я уточнил и поправил Толстого? Ведь я же все правильно написал!

Я не плакал. Я даже не обиделся ни на Прасковью Ивановну, ни на судьбу. Я был просто подавлен вопиющей несправедливостью.

Даже сейчас мне, грузному пожилому дядьке, жаль того девятилетнего мальчишку. Вот он — лопухий, белобрысый — понуро сидит на краю шаткого тротуара. В тесной сумочной курточке с вельветовой вставкой на груди и заштопанными локтями, в застегнутых под коленками брючках, в пыльных брезентовых башмаках и в кепочке (кемеле!) с матерчатой кнопкой на макушке. На кемель этот тихо падают сухие березовые листья. Сентябрьский день — теплый и безветренный. Опять в воздухе висят пушистые семена белоцветы. К тому же завтра воскресенье. Но в душе — ни капельки радости. Подойти бы к мальчишке, хлопнуть по плечу: «Не горюй, все впереди...»

Никто не подошел. Только Семка Левитин, пробегаая, окликнул:

— Че сидишь, айда домой! — И даже не остановился, не оглянулся.

Впрочем, сидел я недолго. Поразмышлял еще, пожал плечами и пошел домой.

Дома я без всякой боязни показал тетрадь маме и Артуру Сергеевичу. Отчим добродушно хмыкнул. Высказался в том смысле, что «от них, от не нюхавших моря женщин, чего еще ждать». Мама тоже меня не ругала. Сказала только, что писать изложение надо так, как читает учительница, а не гордить отсебятину.

— Но ведь я же все правильно написал! Прасковья просто не понимает!

— Я вот покажу тебе «Прасковью»! У Семки научился?.. Надо же, учительница не понимает! Лев Толстой, по твоему, тоже ничего не понимал?

— Тоже... — буркнул я.

— Толстой писал этот рассказ для маленьких деревенских детей и старался, чтобы им все было понятно. Вот и не использовал всякие корабельные слова.

— Но я-то не для деревенских!..

— Вот когда ты будешь сочинять свои собственные книжки, пиши как тебе вздумается. А великих писателей нечего редактировать, — сказала мама.

Со временем я воспользовался маминым советом. Но в тот давний сентябрьский день я еще не знал, что и правда буду сам писать книги про корабли и путешествия. Хотя в ту пору на моем счету уже был десятистраничный морской роман «Остров Привидения», написанный в сорок шестом году...

Заревел мой полугодовалый брат Леська, и мама отвлеклась от литературного спора. Но я все же пообещал ей вслед:

— Все равно я в понедельник скажу Прасковье Ивановне... что неправильно она...

Мама с Леськой на руках оглянулась.

— Ничего ты ей не скажешь. Больше ты в эту школу не пойдешь. На днях мы переезжаем на улицу Нагорную.

Как? Уже? Я знал, что контора, где работал отчим, арендовала две комнаты на какой-то дальней улице. Потому что не

могут четыре человека обитать в фанерной каютке. Но не думал, что переезд — дело такое скорое.

— Собирай свое имущество, — сказала мама.

Ну, в ближайшие дни мы на улицу Нагорную не переехали, прошло еще около двух недель. И за это время случилось со мной немало в с я к о г о. Например, история со зловредной старухой и монетами. Но об этом — в другой повести.

А день переезда все-таки наступил. И после этого началась новая полоса моей жизни: вблизи от реки и старинного монастыря, на краю заросшего бурьяном таинственного лога. Появились новые приятели, и я пошел в новую школу.

Эта школа-семилетка на углу улиц Казанской и Луначарского мне понравилась. Она была просторная, светлая, двухэтажная. В вестибюле блестел желтый паркет, и в углу даже стоял гипсовый бюст Пушкина на голубой фанерной подставке. Это придавало школе академичность. Похоже было на гимназию из книжки про давние времена.

А самое хорошее — то, что школа была мужская, без единой девчонки. Это казалось мне тогда великим преимуществом, хотя о Вальке Малеевой я порой и вспоминал со вздохом.

Впрочем, новая жизнь вовсе не заставила меня забыть о прошлом. Я остался верен душой прежним друзьям и родной улице Герцена. И часто бегал туда играть. Но о старой школе и о Прасковье Ивановне совсем не скучал.

И лишь через много лет первую свою школу и первую учительницу я начал вспоминать с легкой грустью.

Она была совсем не плохая, наша Прасковья Ивановна. Даже голос никогда на меня не повышала, несмотря на все мои фокусы. Возраст у нее был тот же, что и у моей мамы, хотя казалась она мне гораздо старше. Потом я узнал и то, что был у нее сын — мой ровесник. Даже звали его так же, как меня. Может быть, тоже воображал себя эрудитом и доставлял своей учительнице немало «радостей»?

...Через много-много лет я ходил по родной Тюмени с младшим сыном Алешкой. Подошли мы к бывшей школе номер девятнадцать на улице Ленина. И я кое-что рассказал Алешке о том, как учился здесь.

Теперь в этом приземистом особняке помешалось не то районо, не то горono. Я преодолел свой извечный страх перед педагогическим начальством, потянул на себя дверь, и мы вошли.

Старая лестница была все та же. Кажется, вот-вот съедет к нам по перилам Семка Левитин с растопыренными ногами в разбитых, незашнурованных ботинках и с «чумой» на веревке через плечо...

Или я сам, девятилетний, устремлюсь вместе с одноклассниками по ступеням: наконец-то дежурные разрешили!

— Пошел все наверх!..

Алешка вежливо молчал рядом, отдавая дань моему ностальгическому настроению. Но вскоре потянул меня за рукав:

— Мы еще в универмаг должны зайти за батарейками.

Мы пошли в универмаг и удачно купили там дефицитные круглые батарейки для электрофона «Волна» (которые потом оказались чересчур крупными и не полезли в гнездо).

По дороге Алешка все доказывал мне превосходство музыки группы «Битлз» перед всей остальной. Я признавал гениальность этих четырех классиков, но осторожно отстаивал мысль, что не следует отрицать и кое-какие другие достижения музыкальной культуры.

На углу у городского сада я купил у лоточницы бутылку пива и выпил его в сквере у цирка (под язвительную лекцию о вреде алкоголя, распиваемого к тому же в общественном месте). Сунул пустую бутылку в сумку, где лежали батарейки.

Алексей надулся:

— Вот-вот! Ты пьешь, а я таскай тяжести!..

— Зануда какая! Пожалуйста, сам понесу!

— Ладно уж... Пап! Вот послушай, такая загадка. Приходим мы в гостиницу, открываем сумку, а там — одна батарейка — внутри бутылки. Как она в ней оказалась?

— Горлышко же узкое!

— В том-то и вопрос.

— Ну... — Я вспомнил всякую фантастику и стал рассуждать про четырехмерное пространство. — В нем, в этом пространстве, любой предмет может оказаться внутри замкнутой емкости, не разрушая ее...

— Беда с этими эрудитами, — вздохнул Алешка. — Да про-

сто батарейка поссорилась с другими, вот они и загнали ее в бутылку. Когда пятеро на одного, куда угодно влезешь...

— Какой замечательный сюжет! — восхитился я. — Подаришь?

— Пожалуйста, — великодушно сказал Алешка. И мы пошли на вокзал. Пора было добывать билеты, чтобы ехать из Тюмени домой.

КЛАД НА СМОЛЕНСКОЙ УЛИЦЕ

1

Долго я не знал, как начать этот рассказ. Только возьмусь писать, сразу кажется: сперва надо не об этом.

Вначале казалось: за какую ниточку ни тяни, распутается весь клубок воспоминаний. Но нет, он только запутывался.

И наконец я вспомнил фразу, что легче всего «танцевать от печки».

Ну что же, это правильно! Сначала расскажу о нашей печке.

Это была круглая, обитая жестью печь-голландка. С полукруглыми зубцами из побеленных кирпичей наверху — этаким коронкой. С двойной дверцей. Внутренняя дверца была тонкая, с глазком-поддувалом. А внешняя — литая, с узором, тяжеленная. Она запиралась на засов, который закреплялся винтом — чтобы в комнату не просочился угар.

Я помню эту печь с самого-самого младенчества. Ведь она стояла посреди моего родного дома — длинного приземистого флигеля на улице Герцена. Она была незыблема, как столп, и добрая, как сказочная бабушка. (А что такое столп, я знал еще в дошкольные годы; мама объяснила про него, когда мы читали стихи Пушкина.)

Одной четвертью печь выходила в комнату наших соседей Шалимовых. Другой — в каморку дяди Бори (там и была дверца). Почти половиною — в большую комнату, которая по старой довоенной привычке называлась «столовая». А еще одной, очень маленькой частью — в узкую, словно коридор, «спальню».

В этой «спальне» мы с мамой обычно и жили в то давнее

военное и послевоенное время. А в «столовой» обитали квартиранты.

К нашей, самой маленькой части голландки примыкал дымоход печки-плиты. Эта плита — тоже неотъемлемая часть моего детства. Сколько раз я жарил на плоской раскаленной поверхности картофельные ломтики, посыпанные солью! (Крупинки соли, бывало, громко стреляли.) Сколько часов провел у приоткрытой дверцы, за которой гудел огонь и потрескивали поленья!

Эту дверцу я отчетливо помню до сих пор. У нее была разболтанная овальная ручка с узором в виде ромашки. Когда дрова разгорались, дверца накалялась и ручка тоже делалась горячей. Брать ее можно было только тряпкой или варежкой. Или осторожно и быстро хватать помусоленными пальцами (а потом дуть на них). Посреди дверцы была отлита пятиконечная звезда с серпом и молотом. Под звездой тянулась надпись: «Каслинский з-д». Верхняя часть надписи была как бы ограничена дугой: первая буква большая, потом все ниже, ниже, и так до середины. А потом буквы снова подрастали.

Под надписью располагались в ряд овальные отверстия. Их было десять. Они казались мне похожими на иллюминаторы океанского парохода (только крошечные). Каждый иллюминатор был окаймлен выпуклым ободком.

Когда горели дрова, иллюминаторы светились оранжевым праздничным светом. Свет вздрагивал, пламя казалось живым. Согласитесь, это очень здорово — сидеть у печки на твердых поленьях и смотреть, как трепещут в маленьких оконцах огненные блики.

И песня «Бьется в тесной печурке огонь» была мне очень понятна.

Но все же огня в иллюминаторах было маловато, и, случалось, я приоткрывал дверцу. Дальше — больше: я совал в огонь прутик, а потом вынимал его. Конец прутика становился пунцовым угольком. От него бежал к потолку тонкий дымок.

— Опять ты устраиваешь свою иллюминацию! — Это мама. Но пока не очень сердито. Можно и правда устроить иллюминацию: помахать прутиком в воздухе. Глеющий кончик выписывает зигзаги, кольца и всякие таинственные знаки. Словно буквы незнакомого языка.

— Дыму-то напустил! Прекрати сию минуту!

— Ага... Сейчас... Я еще маленько...

Огненный рисунок становится стремительным и густым — ну просто раскаленное кружево.

— Славка! Ну что за непутевый ребенок! Хочешь устроить пожар?

— Не хочу, не хочу... — Я толкаю прут в печку. Закрываю глаза, и в наступившем сумраке еще долго висят передо мной зеленые отпечатки огненного письма...

Однажды дверца нашей плиты устроила мне коварную шуточку. И не когда-нибудь, а в день моего рождения. Мне тогда стукнуло пять лет.

К этой торжественной дате мама сшила мне нарядную черную курточку. С вельветовой вставкой на груди. Я утром, полный именинной радости, надел обновку и ходил — ну просто юный принц. Мама в тот день была дома, отпросилась с работы в своем женотделе военкомата. На плите булькала сладкая тыквенная каша и пыхтел чайник с какао: горсточку этого волшебного порошка мама получила то ли в пайке, то ли по линии американской помощи.

От какао пахло так, что я то и дело облизывался, сидя у печной дверцы. Потом не выдержал, встал и потянулся носом к чайнику. Чайник сердито пфыкнул. Я отскочил. Оправил на себе курточку. И обомлел. На суконном подоле виднелись две ярко-коричневые буквы О.

Это, значит, курточка коснулась дверцы, и раскаленные ободки глазков отпечатались на сукне. Я осторожно тронул прожженные места мизинцем. Серединки кружочков послушно вывалились.

На ослабевших ногах я отошел от печки. Сбросил валенки. Лег на кровать — носом к стене. Горе и страх навалились на меня как глухие ватные одеяла.

— Ты что притих? — забеспокоилась мама.

— Что-то голова болит, — сишло соврал я.

— Еще не легче! В такой-то день... Миля, принеси градусник.

Старшая сестра с градусником прибежала из соседней комнаты.

— Ну-ка, расстегни курточку.

Я сел на кровати.

— Не надо. Ничего у меня не болит. У меня... вот. Делайте со мной что хотите, но я не виноват...

Боже ты мой, как возликовали мама и Людмила. Еще бы! Вместо scarлатины, менингита и воспаления легких — какие-то несчастные дырки на сукне!

— Глупый малыш... — Они тискали меня по очереди. И лишь тогда у меня намокли глаза...

Тут же на курточку были поставлены заплатки, и ко мне вернулось именнойное настроение. Тем более что, кроме несчастливой обновки, были и другие подарки. В том числе книга «Гулливер у лилипутов» от соседа Лешки Шалимова. Малость потрепанная, зато сразу видно — ужасно интересная: с кораблями и всякими занимательными событиями.

Поэтому на печную дверцу я не обиделся (в конце концов, сам виноват). И в тот же вечер, сидя у плиты, я читал оключениях Гулливера. Читал с величайшим удовольствием, тем более что буквы были очень крупные.

Но печка-плита была исключительно наша, семейная. А круглая голландка согревала весь дом. Она была центром нашего маленького мироздания под названием «Улица Герцена, пятьдесят девять». И никого не удивляло, что к жильцам «столовой» то и дело заходили соседи — постоять у печи, прислонившись к ней спиной, погреться и поговорить о событиях на фронте или о кинофильме «Кашей Бессмертный», где в образе Кашея показан сам фашистский фюрер. И послушать, как хрипит и сотрясается репродуктор — от московских салютов в честь новых побед Красной Армии.

Печь от пола до потолка была выкрашена до войны серебряной краской. За несколько лет краска потускнела и облупилась. А на высоте половины человеческого роста была вытерта совсем, и там чернело пятно отполированного железа. В этом месте любители погреться касались печи наиболее выпуклой частью тела. А поскольку рост любителей был самый разный, то пятно получилось обширным.

...Когда кончилась война, а я пошел в первый класс, в «столовой» поселились мамины знакомые — Вогуловы. Это были

дядя Степан — инвалид и пьяница, его жена тетя Зоя, всегда недовольная мужем, и две их дочери. Отличница Аля была шестиклассницей, а бестолковая и много о себе воображающая Римка училась в третьем.

Мои брат и сестра в ту пору были в Одессе, в политехническом институте, мама приходила с работы поздно, поэтому по вечерам я «пасся» у Вогуловых. Чаще всего шлифовал известным местом любимую печку.

Аля в это время читала вслух. Вроде бы не специально для окружающих, просто она так готовила домашние задания по литературе. Но все слушали ее со вниманием. И я слушал.

Правда, первое чтение не понравилось мне. Это было «Детство» Максима Горького. Конечно же, всем известный эпизод, когда дед выпорол сперва внука Сашу, а потом и будущего знаменитого писателя. Я будто своими глазами увидел затхлую полутемную кухню, где свершались зловещие приготовления казни. Ощутил вязкий стыд, томительный страх и беспомощность тех мальчишек. И эта боль, этот крик... Я бы ушел, но какая-то темная сила не отпускала: словно сам был там на очереди, после мальчика Алеши...

Зачем писать про такое! А самое непонятное было: как Алеша после этого мог помириться с дедом? Как мог его простить?

Зато в следующий раз был «Бежин луг». С его теплой летней ночью, с дыханьем лошадей в сумраке, с потрескиванием огня (почти как в нашей печке) и страшноватыми, но ужасно интересными историями, которые рассказывали у костра деревенские ребята!.. По правде говоря, я так и не стал большим почитателем Тургенева, но «Бежин луг» еще с той поры люблю от души.

Потом Аля читала «Тараса Бульбу». Вот это да! Сплошные героические битвы! Жаль, конечно, что все там погибли, зато перед этим как славно побеждали врагов!.. Непонятно только, с чего вдруг казаки воевали с поляками? Ведь в нынешней войне поляки были «за нас». Но Аля разъяснила, что, во-первых, происходило это очень давно, а во-вторых, казаки воевали с «ляхами», которые были «буржуи» и «белополяки»...

А дальше вечерние чтения стали уже обычаем. Аля бралась теперь не только за школьную хрестоматию. Помню повесть

Джека Лондона «Белый клык» (дух захватывало!), книжку «Рыжик» о беспризорном мальчишке, который жил до революции, «Белеет парус одинокий» — про двух друзей, Петю и Гаврика...

Но крепче всего запомнился Гек Финн, который с негром Джимом путешествовал по широкой таинственной Миссисипи. Сколько там было загадок и страшных приключений! Даже холодок пробирал между лопаток (несмотря на теплую печку), когда Аля приглушенным голосом читала о плавающем доме с мертвецом, а по закрытым ставням скребла колючими пальцами февральская метелица...

Историей Гекльберри Финна и закончились эти книжные вечера. Мы с мамой и новым ее мужем, Артуром Сергеевичем, переехали на Смоленскую улицу. Не так уж далеко, за три квартала от родного моего дома. Но сперва мне показалось — в дальние дали.

2

Дом, где стали мы жить, тоже был деревянный, одноэтажный. Комната наша оказалась небольшой, с одним окном. Она располагалась в конце тесного коридора, в котором пахло чем-то чужим, непривычным: не то какой-то едкой мазью, не то нафталином. По обе стороны от коридора и нашей комнаты располагались квартиры хозяев дома: дяди Вити и дяди Мити. Это были братья. Их женами были две сестры: тетя Рая и тетя Зина. Они-то по-настоящему и хозяйничали в доме. А «мужики» занимались огородом с грядками самосада (выращивали на продажу), охотой и рыбной ловлей. На охоте Артур Сергеевич с ними и познакомился.

Дядю Митю вскоре после нашего приезда посадили. Он, тихий и безответный, всегда слушался своей Зины, а она посылала его торговать на рынке всякой мелочью: гребешками, пуговицами, зеркальцами и резинками для чулок. Это называлось «спекуляция». Однажды к дяде Мите придралась тетя-милиционерша, отвела его в отделение, и вскоре состоялся суд. Здание суда было совсем близко от нас, на углу Смоленской и Первомайской. Кирпичное, двухэтажное, нелепое какое-то — с маленькими окнами и скошенными под острым

углом стенами. После случая с дядей Митей оно казалось мне зловещим, грозящим неожиданными бедами. Я рядом с этим домом чувствовал себя неизвестно в чем виноватым и старался скорее пройти мимо.

Однажды я увидел, как из дверей суда выскочил стриженный под машинку дядька и помчался через дорогу. Следом выбежали милиционеры. Один оглушительно выстрелил в воздух из «нагана».

Через несколько минут беглеца повели обратно. Два «милитона» крепко держали его под локти, а тот, что с «наганом», шел следом, почему-то плевался и хмуро говорил:

— А ну, разойдитесь, граждане...

У суда стояло немало любопытного народа, и какой-то мужчина сочувственно окликнул беглеца:

— Чё, Федя, захомутали?

— Ни фиги! — бодро отозвался Федя, мотая стриженной башкой (впрочем, сказал он не «ни фиги», а покрепче, конечно). — Нога подвернулась, падла, а то бы ушел.

— Теперь наматывают не меньше чем десятку.

— Ништяк, перезимуем... — И оскалился на милиционера, который ткнул его стволом в поясницу.

Такой вот боевой был Федя.

Но дядя Митя был вовсе не таким. Мама, которая ходила на судебное заседание, рассказывала, что он заплакал, когда услышал приговор — пять лет.

— Стоит, молчит, а слезы катятся...

— Покатятся тут... — сказал Артур Сергеевич, посидевший в лагерях по «политической статье», то есть ни за что. И глянул в стенку, за которой обитала тетя Зина. — А этой стерве хоть бы хны.

Тете Зине и правда все было хоть бы хны. Худая, с бесцветным кукишем волос, горластая и злющая, она по-прежнему громко хозяйничала на кухне и торговала на базаре семечками.

Ее сестра — тетя Рая — была добрее. Полная, разговорчивая, посмеяться любила. Впрочем, это не мешало ей ругать мужа дядю Витю и поколачивать дочь Лильку за непослушание.

Лилька была моя ровесница.

А у тети Зины и дяди Мити была дочь Галка — на год старше меня.

Вот с этими-то девицами и пришлось мне теперь обитать под одной крышей. Играть с ними. Быть приятелем. А куда денешься, коли свела судьба?

Лилька оказалась неуклюжа и проста мыслями. Не стеснялась делиться жизненными планами, верхом которых было стать продавщицей в мануфактурном магазине. Она без ума была от цветных тряпок. Из пестрых лоскутков Лилька делала свертки, похожие на магазинные штуки материи, только маленькие. Раскладывала их по игрушечным картонным полкам и мечтала:

— Ух как стану продавщицей, всяких отрезков у меня будет на тыщу платьев!

Мои возражения, что ткани в магазинах принадлежат не продавщицам, а государству, до Лильки просто не доходили.

Галка была не в пример умнее двоюродной сестрицы. Хитра, кокетлива и воровата. Однажды она стырила у нас с комода десять рублей — серую бумажку с портретом ласково прищуренного Ильича и надписью «Один червонец». По тем ценам — это билет в цирк на первый ряд или три небольшие порции мороженого (да еще рубль останется).

Мама быстро хватилась пропажи. Галка была изобличена, бита своей мамашей по щекам и громко, напоказ, ею изругана. Скорее всего за то, что не сумела отвертеться. Деньги, однако, Галка успела пустить на леденцы, и расплачиваться пришлось тете Зине (что, естественно, усилило ее досаду).

Случай этот, надо сказать, больших последствий не имел и на наши отношения с Галкой не повлиял.

Мы втроем устраивали на дворе игры в классики и в очко (это когда мячом бьют о стенку разными приемами), строили из обломков фанеры «дачу» или, сидя на крыше, вели всякие разговоры о жизни. Среди них и такие, откуда берутся дети. Тема была актуальная, поскольку моя мама находилась «в положении».

А еще затевали театр. Обязательно со спектаклем «Золушка» — любимым у Галки и Лильки. Для девчонок там главное было не актерская игра (до нее обычно и не доходило), а наряды...

Иногда мы ссорились. Тогда сестрицы вдвоем лупили меня, и я совсем не героически ревел. Потом мирились, торжественно сцепившись для этого мизинцами.

Бывало так, что мне по горло надоело играть с девчонками, и я уходил в соседний двор. В нем обитала компания мальчишек. Но прижиться в той компании я не умел.

Командовал там Эдик Рюхин — личность лет одиннадцати. На первый взгляд симпатичный парнишка. Но с ядовитыми глазами. И с таким выражением лица, словно все время ему хочется сплюнуть. Остальные пацаны были помладше, и Эдька верховодил как хотел.

Иногда Эдька относился ко мне терпимо, но часто случалось и такое: «А ну иди отсюда, мамина детка!» — и пинок под зад. Или — репей за шиворот. Без всякой причины. А его подчиненные одобрительно хихикали.

Эдька знал один безотказный способ, как укрощать непокорных. Если кто-то с ним спорил, он хитрым, ему одному известным приемом заламывал строптивцу за спину руку. И выкручивал все сильнее, сильнее. Наконец строптивец падал на колени.

— Пусти, Рюха! Больно же!

— Вот и хорошо, что больно. Говори: «Эдик, прости, я больше не буду обзывать тебя Рюхой».

— Пусти!

— Не «пусти», а «прости». Ну! — И улыбался.

Никто не мог выдержать. И за такое умение мальчишки в том дворе Эдика уважали.

Когда на Смоленской становилось невтерпеж, я убегал к старым приятелям на улицу Герцена. Но в первое время (пока туда не вернулась из Одессы старшая сестра) мама отпускала меня неохотно. Ей казалось, что тетюшки на прежнем нашем дворе начнут меня расспрашивать о нынешней жизни с отчмом и судить-рядить...

У компании Эдьки Рюхина было любимое развлечение: забраться на сарай, лечь грудью на гребень железной крыши и пускать по крутому кровельному скату свои плевки: чей плевков скорее доползет до края. Меня при виде этого скручивала тошнота.

Но среди моих сверстников на Смоленской был и хоро-

ший человек. Без всяких оговорок хороший. Володька. Однако о нем чуть позже. Это отдельная, светлая и теплая страничка моего детства.

3

И еще была радость! Большая синяя книга, неизвестно откуда взявшаяся у отчима. Марк Твен, «Избранное». «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна» и «Жизнь на Миссисипи». Эта книга скрашивала все вечера и те дни, когда я, поссорившись с девчонками и Эдькой, не решился выйти на улицу.

Десятый раз подряд перечитывал я, как путешествовали Гек и Джим на плоту и как Гек и Том выручали Джима из рабства на ферме Фелпсов. Читал я и лоцманские истории о приключениях на великой американской реке.

А за «Тома Сойера» не брался. Мама и Артур Сергеевич уверяли меня, что это очень увлекательная и забавная повесть, но я ее читать не хотел. Так тянулось больше года.

У моего упрямства была веская причина. Однажды я начал было историю о Томе и увидел среди первых фраз такую: «— Дай-ка сюда этот прут! — Розга свистнула в воздухе. Опасность была неминуемая...»

Ничего себе забавная повесть! Правда, на сей раз Тому удалось удрать от рассерженной тетюшки. Но потом (я это узнал, осторожно заглядывая в середину «Приключений») ему не раз приходилось отведывать такого воспитания. И дома, и в школе.

Я не любил читать про это. Не по себе делалось. А книги в ту пору, как назло, попадались именно с такими эпизодами. Как ни возьмешь какое-нибудь «Детство», так в нем — расправа. О «Детстве» Горького я уж не говорю, я с ним еще на прежней квартире познакомился. Но вот записался в библиотеку для школьников, взял «Детство Темы» — и нате вам, папаша хлещет бедного Тему ремнем. Сдал я эту книгу, взял сказку про Черную курицу и подземных жителей, и все в ней сперва было интересно — тайна, волшебство, приключения, — но в конце несчастного Алешу розгами довели до горячки. И маленького Шурика из рассказа Станюковича «Нянька»

пороли прutom (и его няньку матроса Чижика тоже). И гимназистов из книги Короленко «История моего современника». Я первый том этой «Истории» увидел в шкафу у Лешки Шалимова, и сперва показалось занимательно, а потом...

Отчим откуда-то принес большущий том Куприна, посоветовал прочитать рассказы «Слон» и «Белый пудель». Я их прочитал, а потом взялся за повесть «На переломе», о кадетках, и тоже было увлекательно, однако в финале: «Кадету Буланину — десять розог!..»

Ну ладно, это проклятая царская Россия. Но ведь и за границей то же самое. Мама дала мне интересную (хотя и слишком толстую) книгу «Давид Копперфильд», и там — пожалуйста: отчим обрабатывает мальчика Дэви специально изготовленным хлыстом... Да что же это такое, в конце концов!

А когда я прочитал про это в «Томе Сойере», то даже обиделся на писателя Марка Твена, будто он заманил меня в ловушку.

Мама же время от времени удивлялась: неужели я до сих пор не прочитал эту удивительную повесть?

— Она гораздо веселее, чем этот твой «Гек Финн»!

Я наконец не выдержал:

— Ох уж, веселее! Чего хорошего, если человека на первой же странице лупят!

— Кого это там лупят? — добродушно осведомился отчим. Он по дороге с работы заскочил с приятелями в забегаловку на углу Вокзальной и был чуть под хмельком.

— Тома лупят! Прутом! За то, что варенье лизал!

— Ты хочешь сказать «секут», — выговорил отчим слово, которого я стеснялся. — Ну и что за беда? В ребячьи годы кто этого не пробовал? Без таких случаев и детство-то — не настоящее.

Я дернул плечами: живу, мол, без этого и никакой неполноценности не ощущаю.

Отчим, однако, понял меня по-своему. С ухмылкой посоветовал:

— Боишься, братец.

— Чего?! — взвился я.

— Что и твой черед придет когда-нибудь.

— Только попробуйте!

Артур Сергеевич был человек скандальный, часто ругался с мамой, но меня пальцем не трогал. То есть мог сгоряча вытащить меня за шиворот из комнаты или расшвырять мои книжки («Почему не прибрал?!»), но не более того. Видимо, сидело в нем этакое табу: не мой сын, бить не имею права.

И сейчас он, оказывается, имел в виду не себя:

— Я про новые школьные правила. Не слышал разве про них по радио?

— Господи, что еще за правила? — сказала мама, давая грудь ревушему пятимесячному Леське.

— Те, что вводят с будущего учебного года, — с сочувствием сообщил отчим. Он любил иногда преподносить шуточки самым правдивым тоном. — Да и в газетах писали, по-моему. Признано необходимым вернуться к старой методике воспитания. За мелкие провинности — линейкой по ладоням, а за двойки и за всякие безобразия извольте получить порцию безрезовой каши. Педагогический совет будет решать — кому сколько.

— Ох и сочиняешь, — сказала мама. Но не очень уверенно. — Вот я спрошу у Прасковьи Ивановны, мы часто в магазине встречаемся.

— Спроси, спроси. Первокласников, говорят, так наказывать не будут, второкласников разрешено только линейкой. А с третьего класса — пожалуйста по всем правилам.

Я перешел именно в третий класс и возмутился от души:

— Это в советской-то школе?!

Нет, я уже в ту раннюю пору не склонен был идеализировать советскую действительность. И даже знал, как следователи НКВД выколачивали из отчима признание, что он — участник белогвардейской организации и японский шпион. Отчиму несказанно повезло: каким-то образом разобрались и выпустили через четыре года... Но для меня тогда это в СССР было не главное! А главное — то, что наша страна все равно самая справедливая и свободная, и никакие буржуйские и царские порядки в ней недопустимы. Особенно в обращении со школьниками, у которых (это все знают!) самое счастливое детство в мире! В прошлом году даже булочки в школе выдавали бесплатно для дополнительного питания. Каждый понедельник по штуке на человека. В то время как в Америке и в

английских колониях бедные дети и негры сплошь мрут от голода.

Отчим, однако, на мой политический выпад реагировал вполне невозмутимо:

— Ну и что же, что в советской школе? Сейчас для советской жизни опять многое используют, что было раньше, еще при царе.

— Тс-с... — прошептала мама. То ли отчиму, то ли захныкавшему Леське. Леська утих, а отчим не внял совету:

— Что я такого сказал? Это все знают. После революции погони отменили, а во время войны опять ввели. И командиры снова стали называться офицерами. А недавно народных комиссаров переименовали в министров, как в старину.

— Это же не школа!

— А в школе! Вон у девчонок уже форму вводят, как раньше в гимназии, наша бухгалтерша рассказывала, у нее дочка...

И это была правда. Что там дочка бухгалтерши! Даже Галка недавно хвасталась черным передничком, который мать сшила ей для школы.

— Говорят, и у мальчиков скоро форма будет, — продолжал отчим. — Тоже как у гимназистов.

Я подумал, что это было бы неплохо. Такая форма (я ее видел в кино про Петю и Гаврика) мне казалась похожей на морскую, особенно брюки. Но Артур Сергеевич опять повел речь о нехорошем:

— Почему же тогда и еще что-нибудь для вашего брата не взять из прежней жизни? Карцер, кстати, уже ввели, ты сам говорил.

Да... говорил. Потому что в самом деле. В конце прошлого учебного года Прасковья Ивановна грозно сообщила, что есть новое постановление педагогического начальства: теперь нарушители дисциплины будут не просто отсиживать час или два после уроков, а запираются в специальном пустом помещении. Чтобы неповадно было безобразничать! У нас в школе таких помещений хватало: комнаты в пустом холодном полуподвале. В тот же день, подтверждая зловещий указ, пришла завуч, велела Сереге Тонкошееву и Семке Левитину надеть пальто и шапки и с помощью технички тети Шуры отвела их вниз. Каждого в отдельную комнату. Не помню уж, за какие грехи, но явно не без причины.

И если дело так пойдет и дальше, то совсем не трудно представить, что появится в полуподвале специальная скамейка и кадушка, в которой мокнет что-то похожее на развязанный веник... А для тех, кто будет упираться, есть могучая тетя Шура, она запросто управляется с самыми здоровыми второгодниками.

Да, было о чем задуматься... А может, не случайно в те же дни, когда появился «карцер», Прасковья Ивановна читала нам «Очерки бурсы»? Там виноватых (и невиноватых тоже) драли на каждой странице. Прасковья Ивановна назидательно комментировала:

— Видите, как тяжело жилось детям в старинные времена глухого царизма! Какие были порядки в воспитании!

Может быть, она этим чтением готовила нас к возвращению тех старинных порядков? Чтобы не так уж неожиданно... Теперь-то мне сразу вспомнилось, что голос ее звучал с явными намеками.

И все же я решил не верить Артуру Сергеевичу. Пфыкнул губами и насмешливо повел плечом. Однако он понял меня по-своему:

— Ну и молодец, что не боишься. Уж коли решил стать писателем, все равно без такого не проживешь.

Отчим знал о моих литературных опытах: о морском приключенческом романе, написанном полтора года назад в тетради, сшитой из газет, и о стихах, которые я время от времени сочинял и записывал в блокнот, подаренный сестрою. Некоторые он оценивал весьма высоко. Например, эти:

Вот лежит сосновая коряга,
А на ней сосновая кора.
И корабль, похожий на «Варяга»,
Сделать из коры уже пора.
Сделать мне «Варяг» совсем не трудно,
Тут совсем не надо много дел.
Только будет он его поменьше,
Потому что он еще модель.

В ответ на похвалы я пфыкал: это, мол, все ерунда, забава. И в своих честолюбивых замыслах не признавался.

Сейчас, однако, я не стал отпираться, что подумываю о литературной стезе. Просто возмутился:

— Почему это не проживешь? Без т а к о г о...

— Потому что писателю нужен жизненный опыт, а он включает в себя не только радости, но и страдания, — охотно поделился своими соображениями отчим. — Вспомни-ка писательские биографии. Всех в юные годы драли. И Горького, и Чехова, и Станюковича, и Короленко, и Достоевского, и... — В общем, назвал он с десятков фамилий. Некоторые мне были незнакомы. Но хватило и знакомых, чтобы задуматься. И... все было правильно. Никуда не денешься. Ведь когда писатели сочиняли книги о детстве, они, конечно же, вспоминали свои собственные радости и беды той поры. И бед хватало.

Ну уж дудки! Я на такой жизненный опыт был не согласен! В конце концов, лучше выберу другую профессию. Тем более что роль морского капитана мне казалась ничуть не хуже писательской.

Тут мне на помощь пришла мама и сказала, что вот Пушкина, например, не пороли. В лицее такие наказания были запрещены. И тем не менее Пушкин — самый великий.

Артур Сергеевич возразил. Да, в лицее порядки были туманные. Зато дома будущего гения наверняка драли не раз, потому что дитя отличалось бойкостью нрава и резвостью поведения.

— Да и в бытность его поэтом, говорят, вызвали однажды в жандармское управление и там всыпали по первое число — за чересчур вольные стихи. По указанию то ли графа Бенкендорфа, то ли самого государя императора.

Я от души оскорбился за любимого Пушкина:

— Вот уж вранье вы сочиняете!

— Славик! — ахнула мама.

Но отчим не возмутился:

— Я ничего не сочиняю. Может, сочиняют авторы старых воспоминаний, которые я читал. В любом случае речь моя о том, что от горького опыта жизни прятаться не следует. С одной стороны, конечно, страх, а с другой — даже интересно. Помню по себе...

— Чего интересного-то... — буркнул я. И подумал, что Артур Сергеевич, кажется, все-таки перебрал в забегаловке.

— Ну, как же! Неизвестное всегда и страшит, и притягивает, — философски отозвался отчим. — В замирании души есть своя прелесть. А по силе такого замиранья и разнообра-

зию чувств первую в жизни порку можно сравнить, пожалуй... с первым экзаменом или с первым свиданием, когда поцелуи... Или с первым прыжком с парашютом.

Отчиму однажды перед войной пришлось прыгнуть с маленького самолета на территорию какого-то отдаленного охотничьего хозяйства, потому что место для посадки аэроплана оказалось занесенным пургою. Отчим весьма гордился этим эпизодом своей биографии и не упускал случая вспомнить о нем.

Я мог бы возразить Артуру Сергеевичу.

Правда, прыгать с парашютом мне еще не приходилось, экзаменов я пока тоже ни разу не сдавал, но что касается поцелуев... Никакого замиранья души тут не было, глупость одна! Кое-какой опыт у меня имелся. Мы занимались этим делом в заброшенном доме.

4

Теперь самое время рассказать про этот дом.

Он стоял в соседнем дворе. Точнее, в запущенном саду. Сад был темен от кленовых джунглей и кустов черемухи. Одна из этих черемух была не кустом, а высоким деревом, которое царило над всем садом. Когда черемуха зацветала, над садом словно вырастала снежная благоуханная туча.

Галка, Лилька и я забирались на дерево, в цветущие чаши, срывали ветки и делали большущие букеты. Точнее, забирались двое, а один кто-нибудь оставался на «атанде».

Потому что в любой момент могла появиться хозяйка.

Это была старуха. По внешности своей — типичная ведьма. Худая, жилистая, сторбленная, с длинными узловатыми руками, которые качались впереди туловища, как подвешенные грабли. У нее были серые космы, крючковатый нос и впалые губы. А самое неприятное — бельмо на левом глазу. Оно закрывало зрачок лишь наполовину, и глаз был, судя по всему, не полностью слеп. По крайней мере, бельмо придавало взгляду старухи впечатление не слепоты, а наоборот — какой-то «баба-ягинской» зоркости.

Несмотря на преклонные лета, старуха была крепка и сама управлялась по хозяйству. Носила на коромысле полные вед-

ра с водокачки, ежедневно ходила на рынок и даже колола топором березовые и сосновые чурбаки. А потом укладывала дрова в поленницу.

В общем, тимуровская помощь такой бабке явно не требовалась. Да бабка и не приняла бы ее, потому что характер этой особы вполне соответствовал внешности.

Мы про этот характер знали. Поэтому, когда старуха возникла в пределах видимости, «часовой» сдавленно кричал «атанда», и охотники за букетами замирали в чаше. Собираясь на такую охоту, мы старались надевать как можно больше белого, чтобы старуха не разглядела нас за цветущими ветками...

Жила старуха вдвоем с младшей сестрой — толстой, вечно хворой тетушкой, которая редко выходила из дома. Дом у них был собственный. Тримя подслеповатыми окнами он смотрел на Смоленскую улицу, а остальными — на узкий, заросший лопухами двор рядом с садом. Но речь не об этом доме. Сестрам принадлежал еще один дом — тот, что стоял в саду. Это было приземистое строение с гнилой тесовой крышей, на которой зеленел бархатистый мох. Видимо, совсем уже негодное для жилья. Но все же это был настоящий дом. И то, что две старые тетки в наше советское время владеют двумя домами, казалось нам неслыханным буржуизмом.

В пустой дом лазали мы, конечно, неоднократно. В двух комнатах и кухне пахло плесенью, стоял там зеленоватый сумрак и даже в жаркие дни ощущалась влажная зябкость. Ключьями висели рваные обои. Из мебели сохранилась лишь пара кривых табуретов.

На кухне стены были бревенчатые, из пазов торчала пакля, похожая на старухины космы. Русская печь пугающе дышала навеки остывшим зевом. Из этой печи, с плиты, я стащил однажды плоское чугунное кольцо, чтобы гонять его по тротуарам проволочной каталкой. А больше ничего интересного найти в доме нам не удавалось.

И все-таки пробираться туда мне нравилось. Дом казался мне похожим на тот — таинственный, со старыми часами, — о котором я читал в книжке «Детство Никиты» (кстати, единственная книга о детстве, где я не встретил упоминания о розгах).

В этом-то романтическом месте и обрел я первый опыт целования с девочками.

Идею подал Эдька Рюхин.

Однажды я, Галка, Лилька и Рюха сидели на крыше пристройки и вели рассеянную беседу о всяких житейских делах, причем Эдька все время сводил разговор к любовным отношениям. Видимо, эта тема его весьма волновала. Щеки у него розовели, и он часто слизывал с губ прилипшую кожуру семечек. Мне наконец надоело его слушать, и я сварливо сказал:

— Ты только и знаешь об одном и том же... — И отодвинулся на всякий случай.

— А ты — мамина козявочка и лопух. Наверно, до сих пор думаешь, что деток продают в магазине.

Мы с Галкой и Лилькой переглянулись и хмыкнули.

— Знаем не хуже других, — небрежно отозвался я.

— Это ты на словах знаешь!

— А ты, что ли, на деле? — подцепила Рюху находчивая Галка.

Он уклонился от прямого ответа и ядовито поддел нас троих:

— Вы небось даже не целовались ни разу!

Я промолчал: врать было скучно, а говорить, что целовался с мамой, — обречь себя на новое презрение.

Лилька отозвалась коротко:

— Подумаешь...

Галка — длиннее и дипломатичнее:

— Откуда ты знаешь?

Эдька вдруг сменил тон:

— Знаете чё? Айда целоваться в старый дом. Кто не умеет, научится. Все равно придется потом на свиданиях.

Мне было хорошо на прогретой солнцем крыше, и я лениво сказал:

— Зачем?

— Вот и видно, что лопух. Интересно же.

Галка и Лилька, в отличие от меня, тоже сочли, что это не лишено интереса. Хотя сперва Лилька сказала:

— Да ну, вот еще...

Так или иначе, Эдька быстро убедил девчонок в заманчи-

вости такого дела. А мне просто не хотелось отставать от компании. К тому же... Нет, поцелуи как таковые меня не привлекали, но все это, вместе взятое, — старый дом, таинственность, явная запретность предстоящего дела — отдавало приключением...

И вот мы пробрались в дом, который, словно подыгрывая нам, сделался сразу еще более глухим и загадочным. Пришли в главную комнату. Через листья за окнами, через серые от пыли стекла солнце пятнало истертые половицы бледным кладбищенским светом. От нашего шепота шевелилась в углах паутина.

Эдька сказал, что целоваться будем наперекрест: сперва он с Галкой, а я с Лилькой, затем — наоборот.

— И покрепче. Ясно?

Девчонки жмурились и хихикали. У меня холодело в животе, но не от предстоящего дела, а от мысли, что вдруг кто-нибудь узнает.

Сами поцелуи не произвели на меня никакого впечатления. Запомнилось только, что от Лилькиного рта пахло карамелью, а Галкины губы оказались тугие, как резиновые валики, и были совершенно безвкусные. Да еще как неловко мы тыкались друг в друга носами.

Кончилось все очень быстро. Мне хотелось вытереть рукавом рот, но при Эдьке я не решился. Эдька глянул на меня блестящими своими глазками:

— Ну как?

— Ништяк, — небрежно выдал я ответ, в который можно было вложить какой хочешь смысл. А в душе скреблось все то же опасение: вдруг кто-то узнает?

Эдька, видать, догадался о моем страхе.

— Детский садик ты еще. Мамин теленочек — вчера из пеленочек..

Девчонки запересмеивались.

— А сам-то! — огрызнулся я. — Большой, да? Эдик Рюха — барабаном брюхо. — И быстро отошел. А то ведь мигом выкрутит руку: «У кого барабаном брюхо? Говори: не у тебя, Эдик, а у меня, у меня...» И вытерпеть эту боль — никакой возможности.

В общем, ничего интересного в поцелуях не было. Скучное это дело и боязливое. И потому я не поверил Артуру Сергеевичу, когда он говорил о богатстве впечатлений при первом поцелуе.

Но... какие-то сомнения разговор с отчимом во мне оставил. Я от них отмахивался, однако совсем прогнать не мог. Вдруг и правда без того, без горького опыта в писатели не попадешь? И еще... Может, в самом деле в этом есть какой-то интерес? С поцелуями тут сравнение было явно некстати: ведь целовались-то мы не всерьез, а по Эдькиному наущению. А парашютный прыжок — он вскоре мне приснился. Будто стою в самолете у открытого люка, а пустота внизу отчаянно пугает и... тянет, тянет к себе...

И поселилось во мне похожее на мохнатого жучка любопытство. Время от времени жучок этот словно царапал меня лапкой: «Страшно? Зато в дрожании нервов есть своя приятность». Щекочущими усиками страх трогал у меня доньшко сознания: «А тебе ведь интересно, что испытывает человек, когда с ним случается т а к о е».

Я понимал, что жучок этот — враг. Иногда я его просто не навидел. Мысленно бил по нему поленом — чтобы в лепешку! На какое-то время помогало. Но потом жучок оживал. Будил воображение. Я порой представлял себя маленьким кадетом (вроде Буланина из повести Куприна), которого ведут в подвал, где с к а м е й к а. По бокам от меня два стражника в старинных мундирах и милицейских фуражках, а внизу ждет т е т я Шура...

Я опять — трах по жучку!

Известно, что клин клином вышибают. И я решил больше не бояться книг, где есть такие вот эпизоды. И первым делом прочитал о Томе Сойере.

И тут убедился, что мама была права: повесть замечательная. Ну да, лупили там Тома несколько раз, но, по правде говоря, не очень страшно, как-то мимоходом. И не испытывал Том при этом никаких моральных терзаний. Поэтому и я не стал их испытывать, когда читал. И с восторгом узнавал о все новых приключениях в городке на Миссисипи.

Но дело не только в приключениях и тайнах. Почти все, что Марк Твен писал о Томе, было понятно мне так, словно

случилось рядом, с кем-то из здешних мальчишек или со мной самим.

Были вокруг деревянные заборы — в точности такие, какой красил Том. На улице Герцена мы со старыми приятелями затевали такие же игры в войну и в разбойников. Река Тура казалась мне похожей на Миссисипи — по ней тоже ходили колесные пароходы. Поэтому городок Тома — Сент-Питерсборо — сделался для меня просто родным.

...Именно Сент-Питерсборо!

Перечитывая Тома Сойера позже, в других изданиях, я вдруг узнавал, что этот маленький город на великой реке Америки называется иначе: Сент-Питерсбург, а то и... Санкт-Петербург! С ума сойти! Веселая одноэтажная родина Тома — с ее солнечными заросшими улицами, зелеными откосами над рекой, таинственным домом с привидениями, с деревянной школой и рассыпавшимися бочками, в которых любил ночевать Гек, — вдруг Санкт-Петербург!

Это название у меня всегда было связано с двуглавыми орлами, с Петропавловской крепостью из книжки о декабристах, с пасмурной погодой и портретами царей в старом журнале «Нива».

При чем тут наши игры в пиратов и воздушные змеи над желтыми от одуванчиков полянами?

Нет, настоящий город Тома Сойера (и мой тоже) был только в той синей книге, напечатанной в 1937 году в издательстве «Художественная литература» тиражом в тридцать тысяч штук (для нашей страны — совсем немного, как объяснил отчим).

Именно там — вместе со мною — Том и Гек удирали на остров Джексона, обмирали от страха на ночном кладбище и в конце концов отыскивали клад!

...Если оказалось возможным найти клад в Сент-Питерсборо, то почему нельзя это сделать в Тюмени?

Такая мысль неизбежно должна была возникнуть у меня. И возникла. И разгорелась!

Но для поисков клада нужен был надежный товарищ. Девчонки, разумеется, не годились. Друзья на улице Герцена быстро зажигались всякими идеями, но так же быстро остывали.

А искать сокровище — дело долгое, требующее терпения и немалого упорства.

Что оставалось делать? Не Рюху же посвящать в свои планы! И, естественно, мысли мои обратились к Володке.

5

Володка жил на той же улице, через дом от нас. Жил, как я помню, с теткой и ее мужем. Его мама была где-то в другом городе, а отец погиб на войне. Почему Володка был не с матерью, я не знал, а он не объяснял. Вообще мне казалось, что есть в его жизни какая-то печальная тайна.

Однако Володка не был печальным человеком. Он отличался жизнерадостностью. Только не шумной, а спокойной такой, похожей на задумчивую улыбку.

Мы с ним познакомились в первые дни после моего приезда на Смоленскую. Там, у соседних ворот, на меня накинулась крупная скандальная шавка, и я позорно заревел. И тогда неведомо откуда возник этот мальчишка с косою светлой челкой, торчащей из-под вязаной шапки, с тонким лицом и теплыми серыми глазами.

Он спокойно и бесстрашно дал шавке пинка, и та вмиг улепетнула в подворотню.

— Она не вернется, не бойся.

— Я и не боюсь, — глупо пробормотал я. Мальчик даже не улыбнулся, кивнул понимающе.

— Пойдем к нам во двор, умоешься.

На дворе у крыльца висел зеленый эмалированный умывальник. Я стыдливо и сумрачно смыл слезы льдистой мартовской водой, а мальчик вынес мне полотенце.

— Да ну, зачем, — совсем застенялся я. — Обсохну и так.

— Бери, бери. Меня зовут Вовка. А тебя Слава? Я слышал про тебя от девчонок.

Вот так мы и познакомились. В разговорах я называл его Вовкой, а про себя Володей или Володкой — это имя мне больше нравилось. Красивое оно было, благородное. Очень подходящее для моего нового друга.

Ясное благородство было не то что главной чертой Во-

лодькиного характера, а как бы единственным материалом, из которого был слеплен этот мальчишка.

Только не подумайте, что это был образцовый пай-мальчик. Он мог дурачиться и участвовать во всяких проказах, мог лазать с нами за черемухой, мог ругнуться при случае. Но вся эта шелуха уличных нравов не приставала к нему, легко осыпалась, как осыпается случайный сухой мусор с хрустального кубка.

Было немисливо представить, чтобы Володка сжульничал в игре. Или чтобы первым замахнулся на кого-то. Он лютого драчуна останавливал взглядом. Эдька Рюхин при Володке ни на кого, даже на меня, не лез со своими наглými придирами.

Впрочем, они — Володка и Эдька — почти не разговаривали, если даже оказывались в одной компании. Это были люди из разных миров. Разумеется, Володка в глубине души испытывал пренебрежение к Рюхе. А тот явно робел — не перед силой Володки, а перед недостижимой чистотой его характера.

Кстати, Володка редко бывал во дворе рюхинской компании. Чаще всего мы играли вдвоем. У Володки были удивительно умелые руки — он мастерил деревянные мечи, фанерные щиты, луки, стрелы с жестяными наконечниками. Оснащенные этими оружием, устраивали мы на просторном дворе битвы и турниры. Мы были рыцарями и вождями разных родов.

Сначала мы стреляли из луков — не друг в друга, а во врагов, нарисованных на заборе. Потом сходились в сражении на мечах. А затем уже, бросив оружие, вступали в рукопашную схватку. Боролись мы на куче стружек, насыпанной у сарая. Кто клал противника на лопатки, тот и выходил победителем из долгой и упорной войны.

Затем побежденный, вздыхая, вручал победителю картонный «ключ от города» и обещал исправно платить дань. И платил — приносил к ногам своего победителя вырезанные из цветных журнальных картинок фрукты и драгоценные шкуры зверей. В этом ритуале не было унижения, потому что победитель тут же хлопал бывшего противника по плечу, хвалил за храбрость и объявлял его своим союзником и братом.

Кроме того, победителями и побежденными становились мы по очереди. Володька был, конечно, более сильным, а главное, более ловким фехтовальщиком и борцом, но великодушно делал так, что радость победы делили мы поровну...

А еще он был удивительный рассказчик!

Если по отношению к своим литературным способностям я испытывал массу сомнений, то уж про Володьку-то знал точно: он обязательно станет писателем, если захочет.

Иногда мы вчетвером (с девочками) усаживались в укромном уголке за поленницей и Володька заводил придуманную им длинную историю о приключениях маленького партизана Витьки Морковкина. Этот мальчишка с такой совсем не героической фамилией творил чудеса храбрости в тылу у фашистов и умело справлялся один с эсэсовскими подразделениями. Взрывал эшелоны, угонял самолеты, выкрадывал немецких генералов, мстил за погибших отца и мать, за своих друзей. Мстил с такой ясной отвагой и благородной яростью, что у меня, честное слово, иногда щипало в глазах.

Однажды Витька Морковкин чуть не погиб. Фашисты поймали его и готовились расстрелять. Но потом отпустили его на сутки, чтобы он смог перед смертью побывать на могиле мамы. Взяли честное слово, что он вернется. И, конечно, хихикали заранее, думая, что русский мальчишка испугается, не придет, а они его заманят в ловушку и все равно расстреляют: не только как партизана, но и как труса.

Но Витька вернулся. И его на ночь посадили в глубокий подвал. Казалось, нет спасения. Но вот тут-то наконец пришли на помощь наши танки. И маршал Василевский сам вручил юному мстителю орден Красного Знамени.

Конечно, в моем представлении Витька Морковкин был в точности похож на Володьку. Я знал, что, если бы враги отпустили под честное слово Володьку, он вернулся бы, не дрогнув.

А я? Вернулся бы?.. Я боялся задавать себе такой вопрос. Потому что, увы, знал себе цену. Как далеко мне было до Володьки!

Мама однажды сказала про него:

— Удивительно светлый мальчик...

Это когда он оказался у нас дома и между делом, ловко так помог маме перепеленать горластого Леську.

— Где ты научился? У вас дома тоже есть маленький? — спросила мама.

— Нет. Я помню, как меня самого пеленали. Правда-правда! — И он засиял улыбкой. А когда ушел, мама и сказала эти слова. И мне показалось, что в голосе ее мелькнула грусть: почему я, ее Славик, не такой хороший?

Но я и не подумал обидеться на Володьку. Я был влюблен в него крепкой, хотя и тайной, бескорыстной любовью. Как в идеал друга. Мне нравилось в нем всё. И как он отбрасывает со лба свою отросшую челку, и как смеется, и как носит свои залатанные штаны и выцветшую шерстяную блузу с галстучком и квадратным воротником — словно фракную пару или изящную форму старинного гусара. Нравилось и то, как моментально вспыхивает в Володькиных глазах сочувствие, когда кому-нибудь больно...

Был Володька добрый и щедрый. Когда у него появился велосипед — старенький, отремонтированный тетушкиным мужем, — Володька почти не ездил один. Всегда со мной. Сам я кататься на этом дребезжащем сооружении так и не научился. Иногда только вставал на педаль, толкался и ехал, сколько хватало инерции. Но Володька все умел! Он сажал меня на раму, а сам крутил педали. Причем стоя крутил, с седла-то ноги не доставали. И мы мчались так, что одуванчики по краям пыльной дороги сливались в солнечные полосы...

Когда мне было лет двадцать и я впервые ощутил ностальгию по ушедшему детству, пришла мысль: написать об этом детстве поэму. В ту пору я еще не совсем разочаровался в своих поэтических способностях.

Ничего из поэмы, разумеется, не вышло, но кое-какие наброски сохранились. В том числе и о Володьке. Это, пожалуй, готовое (по содержанию, конечно, а не по мастерству) стихотворение. Пусть простит меня читатель, но мне кажется, эти рифмованные строчки кое-что говорят обо мне и о Володьке. Да и просто не хочется, чтобы они канули в безвестность... Остаток эдакого юношеского тщеславия.

...Сорок седьмой, такой далекий год.
Пух тополей, фанерные киоски.
По улице спешит ко мне бегом
Мой друг Володька в штопаной матроске.

Он не один, а с «боевым конем» —
Искрится солнце в паутинных спицах.
«Ой, Вовка!.. Твой?» — «Я ж говорил о нем.
Вот, починили. Старый, но годится...»

И мне, и Вовке — только девять лет.
С седла не дотянуться до педали.
Но все же мы взнуздали драндулет —
И нам открылись уличные дали.

Восторг и скорость нам даны сполна —
Так мчатся птицы, вырвавшись из плена!
И даже боль разбитого колена
Мажорной нотой в счастье вплетена.

И встречный ветер радостен и лих,
И мир похож на солнечные плесы.
И весел Вовка — рад за нас двоих:
«Как хорошо, что есть у нас колеса!»

А я молчу и лишь смеюсь в ответ —
О сокровенном говорить неловко:
Да, хорошо, что есть велосипед,
Но главное, что есть на свете Вовка...

Но иногда я уставал от общения с Володькой. Не от Володьки уставал, а... как бы это сказать: от томления собственной совести. От сознания своего несовершенства. Я же понимал: чтобы иметь право на Володькину дружбу, надо быть таким же, как он. Или хотя бы похожим на него. А я?.. Мне казалось иногда, что Володька ясными своими глазами видит меня до самого дна души. Знает меня таким, каким я знал себя сам. А мне-то уж доподлинно было известно, что личность я довольно-таки пакостная: слезливая, боязливая и со многими грехами...

И я, испытав очередной приступ стыдливости перед Володькой, уходил к тем, кто был проще и сравнимее с моей собственной натурой. К ребятам на улицу Герцена, к Галке и Лильке, а то и во двор к Рюхину. Эдька был, конечно, враг, зато уж его душевного превосходства над собой я не ощущал.

Но сокровенной тайной можно было поделиться только с

Володькой. И я готов был пойти к нему со своими планами и даже прочитать стихи о спрятанном сокровище.

Однако новый мой грех не пустил меня к Володьке.

6

Да, но я же еще не рассказал про стихи, которые сочинились у меня под влиянием всяких мечтаний о поисках клада. Такие вот восемь строчек:

Есть колодец вертикальный,
Старый клад в нем скрыт от всех:
Меч булатный, щит зеркальный,
С чистым золотом доспех.
Очень много там сокровищ.
Хоть зарыты — не беда.
Вот когда мы их отроем,
Каждый скажет: это да!

В то время я впервые узнал смысл выражения «вертикальный» (раньше как-то не доводилось), и слово это мне ужасно нравилось. Потому-то и появился в стихах вертикальный колодец, а уж для рифмы к нему — зеркальный щит. А по правде говоря, я представлял себе клад не в виде драгоценного оружия, а исключительно в виде монет. Потому что с малых лет не чужда мне нумизматическая страсть.

В кладе я мечтал найти монеты, ценные не потому, что они — золото и серебро, а потому, что древние. Музейные. И очень красивые. Мне всегда нравились на иностранных и старинных монетах тонко отчеканенные гербы, профили, всякие фигурки и надписи. Мне чудились в них особая таинственность и та «пылинка дальних стран», о которой писал Блок (и которого тогда я, конечно, еще не читал). Была в ту пору у меня и небольшая коллекция: трехкопеечная русская монета, на которой орел с распластанными крыльями и год — 1812 (тот самый, когда Кутузов, Наполеон... Представьте!). А еще — полтинник 1924 года, оловянный пфенниг с орлом фашистской породы и свастикой, пять леев с портретом короля Михая и латунная денежка с какими-то непонятными (отчим сказал — арабскими) буквами и дыркой посередине.

А в те дни, о которых я пишу, появилась еще одна монета. В ней-то и дело.

Было начало сентября, я ходил в третий класс. Сидел за партой с давней своей соседкой Валькой Малеевой. А впереди меня возвышался второгодник Серега Тонкошеев. Он обитал на парте один — так распорядилась Прасковья Ивановна: чтобы Серега не оказывал на соседа дурного влияния.

Однажды я заметил, что Серега на уроке вертит в пальцах что-то вроде полтинника. Вытягивая шею и обмирая от любопытства, пытался я рассмотреть монету. Но не мог. Тут, на мое счастье, Прасковья Ивановна вызвала Серегу к доске — читать наизусть стихи про лето и счастливое детство советских ребят. Серега положил монету в круглое гнездышко для чернилницы на парте, сверху поставил непроливашку и уверенно пошел навстречу судьбе. Уверенности его, однако, хватило на две первые строчки. Дальше счастливое детство в его исполнении превратилось в сплошное мучение.

— Надоел ты мне, Тонкошеев, — скорбно сообщила Прасковья Ивановна. — Недели не прошло, а ты уже двойками оброс. Срам!

— А чё я?... — миролюбиво отозвался Серега. Однако Прасковья Ивановна была не в духе.

— А «ничё»! Убирайся из класса с глаз моих! Если охота бездельничать, делай это на дворе с такими же балбесами.

Серега пожал плечами и ушел — ему было не привыкать. А я с того момента думал только об одном: о монете под стеклянкой непроливашкой.

На перемене дежурные всегда всех выгоняли из класса, чтобы проветрить помещение. А сами как часовые вставали у дверей — никто не пройдет. Никто особо и не пытался.

На сей раз дежурными были тихая Нина Гуляева и покладистый Боря Демидов. Нину я отодвинул плечом, а Борю шепнул, что мне в сумке надо взять бумажку: «Не понимаешь разве, зачем?» Боря понял и деликатно пропустил меня. Я оказался один в классе.

Оглянулся. И, обмирая, поднял чернилницу...

На следующем уроке Тонкошеев оглядывался на меня и смотрел выразительно. Я, однако, делал непонимающее лицо. После уроков Серега сказал довольно миролюбиво:

— Это ты, что ли, стырил деньгу? Отдай по-хорошему.

Я вытаращил честные глаза:

— Я? Ты, видать, махрой обкурился.

— На переменке только ты один в класс заходил!

— Ну да! И неужели бы я стал брать? Чтобы ты сразу догадался?

На круглой Серегиной физиономии появилось сомнение. Видя это, я демонстративно вывернул карманы:

— Гляди! Ничего нету!

Жест этот был чисто психологическим приемом. Конечно, монету можно спрятать где угодно. Однако Серегу это липовое доказательство убедило (а может, убедили мои абсолютно правдивые глаза). Дырки в подкладке моего кармана он не заметил. Не догадался, что сквозь карман краденая деньга упала в широкую, как мешок, застегнутую снизу штанину.

В ту пору дома и на улице я носил обычные короткие штаны с лямками крест-накрест, а для школы мама купила мне на толкучке брюки типа «гольф», с пуговками под коленками. Я был доволен: хотя и не совсем длинные, но все-таки брюки — с петлями для ремня, с боковыми карманами. Правда, были они великоваты, болтались вокруг ног, но именно это сейчас сослужило добрую службу: добыча моя надежно затерялась в складках материи.

— Кто же ее свистнул? — задумчиво сказал Серега.

— Может, Прасковья взяла? — возвел я напраслину на свою первую учительницу. — Она видела, как ты ею играл на уроке.

— Если прибрала, фиг отдаст, — смирился Тонкошеев с потерей.

Я лицемерно вздохнул: сочувствую, мол.

Разглядел свой трофей я только дома. Это была никелевая (а может, и серебряная?) монета «пять золотых» с пышным польским орлом. Орел был просто чудо-птица. Каждое перышко на крыльях и на теле отчеканено четко-четко. И коготки на лапках. И глаз на хохлатой голове. Ну прелесть что за монета — красивая, увесистая, как медаль. Именно такие золотые, талеры, дублоны и дукаты должны быть в кладе, о котором я мечтал.

Положил я все свои монеты в ряд и начал созерцать сокровища. Как «царь Кашей над золотом»...

Мучила ли меня совесть? Ну, в какой-то мере... Однако я ловко успокоил ее тем, что Серега и сам нечист на руку. Недавно он хвастал заграничным карандашом, который спер (по его же словам) у соседки по квартире. Да и в прошлом за ним кое-что водилось. Скорее всего, эти «пять золотых» он у кого-то стащил или отобрал. Или выиграл в чикку, а игра эта, как известно, запрещена.

Но такими рассуждениями я мог убедить себя. А Володьку?

Я чувствовал: правдоподобно соврать, что «нашел», не сумею. Володька поймет все сразу. Можно было, конечно, вообще не показывать монету. Но и без того заводить разговор о кладе, когда грех на душе, я не решался. Мне казалось, что Володька все равно догадается. Почует, что я нечист. А с тяжестью на душе приступить к важному делу не хотелось.

И я решил: подожду несколько дней. Монета у меня приживется, и я смогу уже без большой натяжки сказать небрежно: «Да она у меня давно»...

7

Несколько дней я с Володькой не встречался. Это было нетрудно, поскольку он учился во вторую смену, а я с утра.

Но мысли о кладе меня не отпускали. Естественно, что первым местом, где следует искать сокровища, представлялся мне заброшенный дом. Как в «Приключениях Тома Сойера».

И однажды, в одиночестве гуляя во дворе, я решил, что хорошо бы провести предварительную разведку.

Конечно, лезть в дом одному было страшновато. Но ведь и вправду «в замирании души есть своя привлекательность».

Мама с Леськой ушли в поликлинику. Галка и Лилька еще не вернулись из школы, взрослых соседей тоже было не видеть. Мне показалось, что на весь мир легла таинственная тишина.

Без труда перебрался я через щелястый, из горизонтальных досок сколоченный забор, который отделял наш двор от старухино сада. Присел в густом чертополохе — как храбрый, но осторожный разведчик-партизан Витька Морков-

кин. Да, тихо было всюду. Я встал на четвереньки, еще раз глянул через сорняковые джунгли. Под ладонью у меня рассыпался сухой ком земли. Я поднял руку. И среди земляных крошек увидел... клад!

Ну, не совсем клад, всего две денежки. Но неожиданная находка согрела меня стремительной радостью.

Это были двухкопеечные монетки. Не очень древние, но все же царского времени. Одна 1898 года, другая — 1916-го. Кто-то в дореволюционные времена потерял их в саду, который тогда еще не был заброшенным. А я нашел!

Пусть это не сокровище, но все же прибавление к моей коллекции! Значит, судьба вовсе не сердится на меня за Серегину монету, раз подбросила такую находку.

Денежки были почерневшие, но двуглавые орлы с коронами и надписи проступали четко. И даже крошечные гербы ясно виднелись на растопыренных крыльях. Я потерял монетки о свой балахонистый свитер, полюбовался ими. Надо спрятать. Карманов на моих штанах не было, я задрал свитер и убрал монетки в нагрудный карман ковбойки. Радостно вздохнул, поднялся с корточек и... увидел перед собой старуху.

Впервые увидел так близко, вплотную. Ведьма... Она смотрела на меня из-за бельма пронзительной половинкой зрачка:

— Что это ты ищешь не в своем дворе? А?

Я, конечно, чуть не помер с перепугу.

— Тут... Я это...

— Али промышляешь чего?

— У меня... палка тут. Деревянная, — нашелся я. — Играл, кинул, а она сюда улетела.

— Палки ищи в своем дворе, — назидательно сказала старуха. — А с моего сада пошел прочь. — И пальцами-щипцами ухватила меня за ухо. — Ну-кошь, провожу тебя.

Я стремительно присел. Ухо вырвалось. Я отскочил. Страх мой мигом прошел. Главное, что монетки со мной. А старуха — пусть теперь догонит! Ишь какая, расхвталась тут за уши! Постороннего человека! Я ей не внук, не правнук!

Метнувшись к забору, я взлетел по наклонному бревнышку, которое этот забор подпирало. И тогда оглянулся.

Теперь я был в безопасности. Ботинком стоял на верхнем конце подпорки, а грудьбу лежал на кромке забора. Один тол-

чок — и я на своей территории. Старуха, озадаченная моей резвостью, застыла на месте.

Я не хотел покидать поле боя бесславно. Ухо и душа горели. Ухо — от боли, душа — от жажды мщения.

И, глядя через плечо, я отчетливо сказал:

— Я вам ничего не сделал, а вы хватаете! Вы уродина и старая ведьма, вот! Мне на вас тьфу!

— Ах ты, поросенок недокормленный! — Старуха двинулась ко мне мужским решительным шагом. Я театрально захохотал, толкнулся ногой... Мамочка! Шаткое бревнышко не выдержало, я сорвался, повис на руках. А еще через миг хлипкая доска изогнулась и одним концом оторвалась от столба. Я шлепнулся в жухлую траву и гнилые листья, обалдело сел, раскинув свои тощие ноги в черных заштопанных чулках. Старуха нависла надо мной, как воплощенное возмездие.

Ухо с перепугу тут же перестало болеть. А душа метнулась направо-налево в поисках пути для бегства. Тело слабо дернулось за ней следом. А старуха монотонно, однако с ноткой удовольствия проговорила с высоты:

— Чего уж теперь трепыхаться-то? Коли птенчик выпал, от старой кошки не уйдет. Покорись. Видать, так тебе предназначено, чтобы ведьма тебя уму-разуму поучила.

Эта речь влила в меня первую каплю обреченности. Я ослабел. Стало ясно, что не спастись. Куда ни кинешься, старуха успеет схватить. А она сказала уже иначе, по-деловому:

— Вот так, значит. Сколько тебе годков-то?

— Д... восемь, — бормотнул я. Было мне почти девять, но я смекнул, что к более малолетнему пленнику старуха, возможно, отнесется снисходительней.

Она склонилась к плечу голову.

— Точно ли говоришь?

— Точно, — конфузливо отозвался я. — А вам-то зачем?

— Для протокола.

Батюшки мои! В милицию, что ли? Однако тут же получил разъяснение:

— Сколько кому исполнилось, столько и горячих выписывают на первый раз. Небось не пробовал еще горяченьких, с маху, по месту, откуль ноги торчат?

Я ослабел еще больше — от понимания, что здесь меня на-

стигла неотвратимая и справедливая судьба. Пришло наяву то, о чем я не раз думал со страхом. Местом «откуль ноги» я вжался в землю. Но старуха зашла сзади и легко подняла меня, ухватив под мышки. И повела, держа перед собой. Я, конечно, упирался, но не сильно. Во-первых, совсем обмяк от навалившегося стыда и ужаса. А во-вторых... под глыбами этих чувств шевельнулся опять полузабытый мохнатый жучок.

Почти все мое существо противилось зловетцу старухинному плану, и все же маленькую частичку существа щекотало любопытство: как это бывает? Слово я приближался к зеву черной пещеры, в которой таилась жуткая, но притягательная загадка.

Старуха привела меня, изнемогавшего от всех этих чувств, к старому дому, протащила через сени, впихнула в кухню. Сильно толкнула в спину. Я вылетел к печке и оглянулся — с чувством мышонка, запертого в одной клетке с котом.

Старуха пошупала меня бельмастым своим взглядом, довольно поджала губы, заперла дверь на тяжелый крюк и загродила ее оказавшимся поблизости табуретом. В руке у нее была изогнутая тонкая хворостинка. То ли старуха припасла ее заранее, то ли сумела сорвать по дороге, не знаю. Кончик у хворостинки дрожал. И я дрожал, съежился.

— Чего жмешься-то? — силно проговорила старуха. — Ну-кось, раздевай мягкое место.

— Не... — выдохнул я, вжимаясь лопатками в печку.

— Ишь, сомлел, — сказала ведьма сочувственно. — Ну да ладно, иди, помогу. — Она взяла прут под мышку, села на табурет и протянула в мою сторону очень длинные руки. Зашевелила желтыми узловатыми пальцами. — Иди, иди...

— Не... — снова хныкнул я и... глядя на эти баба-яговские пальцы, сделал шажок. Будто под гипнозом. Может, ведьма и правда обладала даром внушения? А может... снова тот жучок шевельнулся?

Так или иначе, я делал шажок за шажком (каждый раз обморочно шепча свое «не»). Наконец старуха потянулась навстречу, ухватила меня за бока, придвинула, вздернула на мне свитер. Жиденькую попытку сопротивления пресекла, хлопнув по рукам:

— Не мешать!

Лямки были под свитером. Старуха отстегнула их на поясьнице и потянула вперед. Они поползли по плечам. Это шелестящее скольжение показалось мне безумно долгим и томительным, словно ведьма не матерчатые полоски, а душу из меня вытягивала. Я уже совсем не сопротивлялся. Только судорожно сдвинул коленки и сдерживался из остатков сил. Потому что от всех переживаний вот-вот могло случиться то, что добавило бы еще одну скандальную деталь ко всему происходящему.

Наконец суконные помочи упали мне на ботинки, и старуха взялась за боковую пуговицу — последнюю.

— Ой... Что вы делаете!.. — Непослушными пальцами я опять попытался остановить зловещую старухину работу.

— Что обещано, то и делаю, — охотно разъяснила ведьма. — Вот поучу сопливца, чтобы старых людей не обзывал нечистой силою. Убери руки-то. Кому сказала!

Я... убрал. И, уже совсем утопая в обморочной покорности, прошептал:

— Больше не буду... Не надо...

Просто так прошептал, без надежды, а как бы выполняя последние правила игры.

— Ишь ты, «не буду». Все так говорят... — Застежка была тугая, старуха с кряхтением ковыряла ее корявыми пальцами. Пуговица оторвалась и громко стукнула о половицы.

От этого стука я словно проснулся. Ожили нормальные человеческие инстинкты. Откуда только силы взялись!

Ярость, стыд и возмущение взорвались во мне, как шаровая молния! Я взвыл! Головой сбил ведьму с табурета, ринулся к двери, плечом вышиб из петли дверной крюк, вырвался на свободу!

Ухватив руками штаны, с ревом кинулся через сад, через двор, к калитке.

На улице, к счастью, никого не оказалось. Слез моих никто не увидел, рева не услышал. Вздрагивая и пританцовывая, словно от нестерпимой боли, я суетливо застегнул по верх свитера лямки. Бешено лягнул ботинком калитку.

Отворачивая от редких прохожих лицо, убежал я в лог, что тянулся неподалеку от Смоленской. Там забрался в гущу бурьяна и дал полную волю слезам. Плакал так, будто не су-

мел вырваться от старухи вовремя и она свершила надо мной все задуманное. Порой казалось, что так и есть. В какую-то минуту я даже ощутил едкое жжение, как от ведьминой хворостины.

Проревевшись, я еще долго сидел в бурьяне, постепенно приходя в себя. Слезы высохли. Я наконец спустился к ручью, долго умывался, чтобы смыть с лица опухлости и подтеки. При этом постарался как можно сильнее забрызгать себя — от чулок до ворота. Если дома спросят, почему мокрый, скажу: «Играл в логу, извозился в глине...» Иначе как объяснить, отчего сырые штаны? А были они такими, потому что (чего уж греха таить) «мокрое дело», которого я боялся, все же случилось... Наверно, когда удирал от ведьмы...

Я отчистил себя от репьев и мусора. Чтобы надеть как следует лямки, скинул свитер. И случайно задел карман с монетками.

Только тут я вспомнил о находке!

Выложил старинные денежки на ладонь. Они меня слегка порадовали. Аккуратненькие такие, чеканные. Я ощутил что-то вроде злорадства в старухин адрес: «Хоть ты и поймала меня, а монетки тебе не достались! Из твоего сада, а будут мои! Фиг ты их увидишь!»

Но тут меня опять зацепило воспоминание о чем-то неприятном. Вот что! Царская двухкопеечная монетка называлась «семишник». Откуда вспомнилось? Из книги про детство Горького. Бабушка говорила Алеше, что даст брату Саше семишник, чтобы этот ябедник не донес деду про испорченную скатерть.

Семишник не спас будущего великого писателя от назначенной кары. А меня эти две монетки спасли?

«Нет! — яростно решил я. — Из-за них и попал ведьме в лапы».

Вздвогнув, я опять пережил все, что случилось. И размахнулся, чтобы зашвырнуть семишники в сорняки. Но... остановился в последний миг. Жаль стало. Слишком горькую цену заплатил я за эту находку. Нет, они не виноваты, эти медные денежки...

А воспоминание о Горьком повернуло мои мысли к другому. Я подумал, что, удрав от старухи, так и не прошел сурово-

го испытания. Того, которое, по словам отчима, должно было открыть мне дорогу к писательской профессии. На миг эта мысль даже огорчила меня. Но лишь на самый краткий миг. «Вот уж черта с два, — сказал я неизвестно кому (то ли старухе, то ли себе, то ли судьбе). — Лучше уж в...» — И я мысленно назвал неприличную профессию, связанную с вывозом нечистот. А потом подумал еще, что кое-какие страдания все-таки я испытал: ужас плена, жуткое предчувствие расправы — это ведь тоже ой-ей-ей... Может быть, этот глоток из невыпитой горькой чаши все же поспособствует моему продвижению к заветной цели?

Впрочем, была эта мысль не всерьез, а с горьким юмором. Я вздохнул и убрал семишники в нагрудный карман.

8

Не знаю, помог ли незавершенный старухин урок моему продвижению по литературной стезе. Может быть, доведи она дело до конца, выбился бы автор этих строк в мировые знаменитости. Но теперь поздно гадать...

Но в другом плане этот случай был действительно уроком. Даже не испытав ни одного удара, я понял, что отчим бессовестно врал мне. Никакого интереса и таинственной занимательности здесь нет, а есть только гнусность. Слабость от страха и обволакивающее, подлое ощущение покорности, которое не дает сопротивляться. А кроме того — стыд. Не тот сладковатый и «замирательный», с которым я там, в доме, подходил к старухе, а тяжкий, липкий. Такой, когда кажется, что про случившееся знают все-все. Даже вон тот бродячий кот, что скользнул в кусты и оглянулся с намеком. Даже прыгучие воробьи, в чириканье которых слышна явная насмешка. Прямо хоть зарывайся головой в собственный желудок — от самого себя.

А еще я вскоре после того случая ощутил, что испытываю рвотное отвращение, когда вижу насилие: когда бьют мальчишку или девчонку, хлещут уставшую лошадь, мучают кошку, собаку или птицу, или вообще всякого, кто не может защищаться. Меня мутило при этом, как при виде какой-нибудь гадости, раздавленной на полу.

Если такие сцены встречались в книжках, я теперь просто перелистывал страницы, не читая. Если видел подобное в кино, зажмуривался и сжимал зубы. Потому что один раз чуть не потерял сознание. Шел тогда трофейный фильм «Собор Парижской Богоматери», и в нем уродо-звонаря били плетью по голому громадному горбу. У меня закружилась голова, и я повалился на плечо сидевшего рядом Лешки Шалимова, который перепугался.

Но это было позже. А в тот день жуткое событие продолжало давить меня. Словно не меня хотели отхлестать, а сам я совершил что-то преступное. Особенно плохо, что тяжесть была тайная. Если бы с кем-то поделиться, облегчить душу! Это было бы все равно что вскрыть нарыв. Но кому скажешь про такое?

Когда я пришел домой, мама спросила мимоходом:

— Где тебя носило? Почему надутый?

— Подрался, — буркнул я.

— С рыжим Толькой небось?

— Не... Ты не знаешь...

— Больно?

— Ага, — вздохнул я, надеясь этим признанием заработать хоть какое-то сочувствие и облегчение.

— Пройдет, — сказала мама.

Ей было не до меня. Леська ревел, просил соску, а потом выплевывал. Вредничал.

— Уроки делай...

Я, стараясь все забыть, решил задачку и примеры. И сказал, что прогуляюсь. Снова хотел пойти в лог, в убежище своей скорби. И за воротами увидел Володьку — он шел из школы.

Володька сразу спросил:

— Что случилось? Что-то плохое, да?

И я не выдержал. Никому другому не признался бы, а Володьке рассказал про все. Мало того! Рассказал так, словно старуха все у с п е л а. Словно я все испытал до конца.

Зачем я это сочинил? Двигала тут мною сложная смесь причин. Хотелось, чтобы Володькино сочувствие было как можно более полным. И мне даже казалось, что я не вру. Опять стало чудиться, что это произошло по правде. Ведь и в самом

деле могло произойти. И почти случилось уже... Только счастливая случайность спасла.

Теперь появилось даже смутное опасливое чувство, что, удрав от старухи, я нарушил какую-то логику событий, дерзко воспротивился тому, что назначено было судьбою. И что сопротивление это обернется для меня худшей бедой. Чтобы обмануть такую беду, я теперь и старался убедить себя, Володьку (и все тайные силы), что старухину кару вынес до конца. Говорил со стыдливым сопением и натурально намокшими глазами. Потом, воровато оглянувшись, засучил короткую штанину и показал длинную припухшую царапину, которую заработал в логу среди колючек. Она была похожа на след старухиной хворостины.

— Вот ведь какая подлюка! — выдохнул Володька. Потом глянул мне в лицо. В серых потемневших глазах его была настоящая боль. М о я боль. Он спросил негромко:

— Плакал?

Я начал таять от его ласкового понимания. И чтобы не заплакать опять, отозвался хмуро:

— Орал во всю мочь... Разве удержишься, когда такая резь...

— Известное дело, — все тем же тоном отозвался Володька. — Пробовал...

— Ты?!

— В прошлом году. Я в деревне был у тети Лизы, у другой моей тетки, и меня большие ребята позвали на пруд купаться. Я и ушел без спросу. А она меня искала. Наконец увидела, схватила... И прямо там, на берегу... Ольховой вицей... Я всех гусей распугал, так верещал...

Уже много после мне пришло в голову: может, Володька придумал эту историю, чтобы утешить меня — не ты, мол, один испытал такое... А в тот момент я почувствовал огромное облегчение. Потому что оба мы были на равных — товарищи по несчастью. О том, что мое несчастье — больше чем наполовину выдуманное, я в тот момент забыл уже. И радовался, что не надо мне съезживаться, прятать от Володьки глаза.

А он сказал озабоченно:

— Пойдем ко мне, обдумаем все.

— Что?

— Что делать с ведьмой. Тете Лизе я отомстить не мог, родная потому что. А старухе-то отплатить надо обязательно! Какое она имела право?

Эта мысль — такая здравая и энергичная — окончательно взбодрила меня.

Какой же он все-таки молодец, Володька! Любое его расуждение, любое решение — всегда в самую точку.

9

Месть мы придумали грозную — вполне по масштабам старухино злодеяния.

В своем дровянике Володька выбрал березовое полено — такое же, какие лежали и в старухином дворе, в штабеле у забора. Аккуратно снял кору. Стамеской вырубил в полене глубокую и длинную выемку. И стало полено оболочкой для снаряда.

О начинке позаботился я.

Отчим не раз баловал меня маленькими «взрывчатыми» подарками. То десяток капсюлей для охотничьих патронов, то шепотка пороха — такая, что всерьез обжечься нельзя, а устроить небольшой фейерверк — вполне. Мама боялась за меня и ругала отчима, но он говорил, что мальчик должен расти мужчиной. А мужчины должны уметь обращаться с порохом с детства.

Фейерверки я устраивал то с Лилькой и Галкой, то с Володькой, то с приятелями на улице Герцена. Но тратил не весь порох, кое-что сохранял впрок. И прятал этот запас в тайнике за сараем под врытой в землю колодой.

В те дни Артур Сергеевич готовился к осеннему охотничьему сезону, набивал патроны. Я ему помогал: из старого валенка вырубал специальной сечкой пыжи. А за эту работу выторговывал все новые порции «огненного зелья»: черного — дымного и серого — бездымного. Их смесь — я знал это — давала ха-ароший эффект...

А дальше я совершил просто вероломный поступок. Отчим не запирает свои охотничьи припасы, и я, оставшись один, отсыпал порядочные порции из двух коробок.

В общем, набралась двухсотграммовая бутылочка (в таких я получал на молочной кухне всякие питательные смеси для Леськи).

Теперь смесь получилась иного рода. Мы с Володькой аккуратно запечатали ее в специальный футляр из прокляенной бумаги и фольги. Потом Володька столярным клеем смазал березовую кору и приладил ее на прежнее место. Накрепко. Это чтобы старуха не смогла ее оторвать, если вздумает брать бересту для растопки.

Расчет был такой, что от взрыва старуха не пострадает, но запомнит этот случай на всю оставшуюся жизнь. И с ремонтом печки у нее хватит хлопот.

В справедливости нашей мести я ничуть не сомневался. То, что старуха там, в доме, не сумела отхлестать меня, никоим образом не уменьшало в моих глазах ее вины. Незадолго до того в какой-то книжке про северные народности я прочитал рассуждение одного старейшины: «Вы хотели убить наших людей. Раз хотели — значит, все равно что убили, и мы будем мстить за убийство». Эта логика мне казалась здоровой. И вполне применимой к старухе, только с некоторыми поправками.

Проследив, когда ведьма ушла из дома, проникли мы к ней на двор и сунули полено в верхний ряд штабеля.

Потом пошли дни ожидания. Погода стояла зябкая, хозяйки уже время от времени топили печи, и мы понимали, что гром возмездия может потрясти ведьмино жилище в любой момент.

Но ничего не происходило... А старуху я то и дело встречал на улице. Она словно специально искала моменты, чтобы попасться мне навстречу. Сначала при этих встречах я краснел, опускал глаза и ускорял шаги. Но так было дважды или трижды. Я скоро понял, что это доставляет ведьме ехидную радость. И разозлился. При очередном столкновении не отвел глаза, а прямо, неотрывно глянул в ведьмины очи с бельмом. И она растерянно замигала. А в следующий раз старуха сама отвела взгляд. И зашагала быстрее. И сделала вид, что вообще меня не знает...

Жаль только, что наше полено не спешило угодить в печь. Оно по-прежнему лежало в верхнем слое дров и не попадало

старухе в руки. Я отлично знал, где оно, видел его издали в щель забора. А ведьма, как назло, брала дрова с другого края поленницы.

Так прошла неделя. Мы с Володькой советовались: может быть, переложить наш снаряд на противоположный край штабеля? Но тут наступили теплые безоблачные дни бабьего лета, и печные трубы дымить перестали...

Ясная погода не принесла ясности моей душе. Наоборот, в ту пору я ощутил первые сомнения.

Подумалось как-то: а что, если мы не рассчитали заряд и он угрожает старуху? Или ее больную сестру?

«Да не угрожает никого! Только печку тряхнет!» — успокаивал я себя. Но у опасливых мыслей есть свойство: появившись однажды, они словно въедаются в мозг. И скоро мне стало казаться, что старуху разнесет в клочки наверняка.

Нельзя сказать, что я жалел свою обидчицу. Но все-таки... А главным образом я жалел себя. И Володьку тоже. Каково нам будет жить на свете, если до конца дней будем помнить, что погубили человека (пускай даже ведьму и злодейку).

По словам взрослых, у меня было «чересчур богатое воображение», и я отчетливо представлял похороны старухи. У ворот ее дома (с выбитыми стеклами и обугленными рамами) стоит молчаливая толпа. В руках у многих венки и букеты. Раздается заунывное пение, из ворот выносят длинный черный гроб, над краем которого — крюконосый бледный профиль с серыми космами и выпуклыми веками закрытых глаз. Но даже сквозь пелену век я ощущаю бельмастый взгляд старухи. Мы с Володькой в сторонке от всех жмемся к забору и боимся смотреть друг на друга и на людей...

— Доигрались, — горько шепчет Володька.

И это еще не самый худший вариант. Может случиться и так, что милиция догадается, кто виновники преступления. И тогда... Нет, нам с Володькой ничего, наверно, не будет — с третьеклассников какой спрос? Но ведь за маленьких отвечают взрослые! И что, если маму, как год назад дядю Митю, отведут в здание суда, окружат часовыми с «наганами» и прочитают приговор?..

Конечно, я твердил себе, что никто ничего не узнает и не докажет. А страх внутри меня твердил другое...

Сказать об этом Володьке я не смел. Ведь он так старался устроить партизанскую операцию! За мою обиду хотел отомстить! И теперь, конечно, не простит мне отступничества. Сочтет дезертиром и трусом. Открыто, может быть, и не скажет, но презирать в душе станет обязательно.

Володькиного презрения я не перенесу...

А тут еще — вот уж одно к одному! — взял я в библиотеке и разом прочитал «Пиковую даму». Детское издание — крупный шрифт, цветная обложка, большой формат. На обложке — игральная карта со знаком пик и портретом дамы. Ну, дама как дама. Но потом, приглядевшись, я обнаружил, что дама она — только в верхней части карты. А в нижней — перевернутый портрет старой графини! И, естественно же, графиня — копия старухи.

Этого еще не хватало! Значит, она будет мне являться по ночам, как графиня являлась Германну?

Во всех этих событиях мне начала чудиться суровая закономерность. Я в то время много думал про судьбу (о которой часто, вздыхая, вспоминала мама). И теперь мне казалось, что, замыслив суровую месть, я пошел против судьбы. Ведь, скорее всего, именно судьба тогда в саду наслала на меня старуху.

Сама ведьма была, конечно, зла и несправедлива. И заслуживала мести! Но что, если старухой водили высшие силы, которые хотели ее рукой воздать мне за грехи?

За какие?

Ох, было за какие. Хотя бы за краденую монету. И за то, что постоянно врал маме, будто сделал все уроки, а на самом деле, не сделав и половины, убежал на улицу. И за то, что, получивши после долгого стояния в очереди семейный хлебный паек, съедал на ходу привесок, а дома невинно говорил: «Не было». И за трусость, когда девчонки прыгали в кучу песка с пристройки, а я не решался, а когда наконец решился, икал после этого целых полчаса, как «обморочный петух» (по словам Галки). Да если вспоминать все, с ума сойдешь...

Так я мучился целые дни, с утра до вечера. А иногда и ночью... Впрочем, не все время. Иногда тревога отпускала меня, и казалось, что все мои страхи пустые и дело кончится легкой

встряской печи — как задумано. Так этой ведьме и надо! Но потом сомнения возвращались.

И я не выдержал!

Однажды днем, когда старуха ушла из дома, я снова прокрался на ее двор. И стянул со штабеля проклятое полено!

Я сбежал с ним в лог, чтобы там уничтожить смертоносный снаряд.

Я презирал себя и со стыдом думал: «Что будет, если узнает Володька? Он ведь такой догадливый!» Но в то же время было на душе великое облегчение.

Оставалось решить: что делать с поленом?

Сперва я хотел закопать его на глинистом склоне. Но тут же подумал: а что, если склон размочит дождем, полено кто-нибудь найдет и сунет в печь? Старуха-то — она хотя бы виновата передо мной, а тут пострадают совсем невинные!

Пустить полено по ручью куда глаза глядят? Но опять же — вдруг кто-то выловит? Оставалось одно — утопить.

Нелегкая эта задача — утопить полено. Попробуйте сами — поймете. Но я справился в конце концов. Отыскал на ближней свалке чугунное колесо от тачки, примотал его к полону обрывком проволоки и бултыхнул все это хозяйство в ручей. На самом глубоком месте.

Может, и теперь, через сорок с лишним лет, лежит оно там — конечно, пропитанное водой, полусгнившее, безвредное...

Домой вернулся я с ощущением тихого счастья. И на радостях показал язык портрету графини на книжной корке.

Показал... И опять задумался.

Выходит, старуха осталась в этом деле победительницей? Злорадной и торжествующей. А я — по-прежнему — побитый, оплеванный, противный сам себе. О том, что все-таки не побитый, спасшийся, я в тот момент не помнил вовсе. А когда вспомнил, легче не стало. Наоборот. Ведь получилось, что я дважды обманул Володьку. Сперва, когда сочинил про свою боль, а потом — украв и утопив полено. А он-то от души помогал мне! И жалел. И доверился, рассказал, как тетка тогда, на пруду, взгрела его. И как он орал, бедняга...

«Нет, не орал, — подумал я наконец. — Это он сочинил, чтобы утешить меня. А на самом деле он не пикнул бы, толь-

ко стиснул зубы. Он выносливый и смелый. Не такой слабак, как я, который боится соседских собак, Лильки с Галкой, темноты в ночной комнате, наказания «два часа после уроков», трескучих гроз и незнакомых мальчишек. Вот уж я-то обязательно бы верещал от души, если бы старуха меня не упустила...»

Неужели правда верещал бы? Неужели я уж вовсе ничтожный?

А если бы я оказался на войне? Если бы попал в лапы к фашистам и они из меня вытягивали бы военные секреты? Не всегда ведь советские танки приходят вовремя, как в рассказах Володьки про Витьку Морковкина. Неужели бы я не выдержал и стал предателем?..

Ну что это за паршивое такое устройство — человеческий мозг? Не успеешь избавиться от одних гложущих мыслей, как тут же другие!

Значит, я в самом деле могу сделаться предателем?

Двое суток этот страх не отпускал меня. И я уже начал мечтать, чтобы судьба послала мне новое испытание. Такое, чтобы я мог убедиться в своей твердости.

Но что, что? Не набиваться же снова к старухе в гости?

И я наконец догадался, что о.

Страшно сразу сделалось, все жилки ослабли. Но я знал — обратного пути нет. Я все решил для себя неумолимо. И даже специально наведалься в нашу дощатую уборную, чтобы не случилось такой, как в прошлый раз, неприятности. А потом отправился на двор, где играла в чикку Эдькина компания.

Галка и Лилька увязались за мной. Мы были в очередной соре, и девчонки ехидничали:

— А мы, Славик, скажем твоей маме, что ты пошел играть на деньги. И она поставит тебя в угол!

Это была невероятная глупость. Никогда меня мама не ставила в угол! Презирая девчонок своей мужественной спиной, подошел я к игравшим. Рюха как раз бил железной шайбой по стопке пятаков.

Я встал над ним, унял сердцебиение и развязно сказал заранее приготовленную фразу:

— Здравствуй, бедный Рюха, ни пера тебе, ни пуха...

Эдька, однако, не разъярился. Только зыркнул через плечо:

— Опять приперся, мамин цыпленочек. Чё надо? Играть все равно не пушу, у тебя денег нет.

— А я и не играть. Я на тебя поглядеть.

Он удивился. Встал. Приятели его дышали опасливо и выжидающе. Эдька сказал слегка озадаченно:

— Чё на меня глядеть-то? Не кино.

— Почти что кино, — заявил я, обмирая от собственной наглости. — Эдик Рюха — два слоновых уха.

Эдька был и правда малость лопоух. И намеков на это не терпел. Размышлять — с чего это вдруг смирный соседский Славик так охамел — он не стал. Раз! — и моя рука за спиной.

— Ах ты козявочка! У кого слоновые уши?

— У... тебя...

— Ух ты! — Эдька нажал, и боль железным стержнем вошла в локоть и плечо. Я брякнулся на колени. Эдька пыхтел: — Сейчас заплачешь. А ну, говори: «Эдик, больше не буду!» Говори: «У меня у самого уши...»

Я сцепил зубы.

— Говори... — Это я слышал уже сквозь звон в ушах. Сквозь немилосердную муку.

Господи, да разве можно терпеть такое? Сейчас я заору. Еще только секундочку. Еще чуть-чуть...

Звон стал сильнее, а потом наступила мягкая тишина, и я стал спасительно проваливаться в эту тишину.

Однако совсем я сознания не потерял. Раздался пронзительный визг. Эдькины пальцы разжались. Я завалился на бок и видел, как Галка с лицом, перекошенным от визга, лупит Рюху кулачками по плечам и по башке. Тот закрыл голову. Отскочил.

— Психованная, да? Чё сорвалась?

— Гад! Ты ему руку сломал! Ты за это... в тюрьму!

— Сама такая! — заорал в ответ Эдька. — Это твой папочка в тюрьме сидит! Спекулянт!

Раздался новый визг — Лилькин. И теперь они уже с Галкой вдвоем набросились на Эдьку — с бешенством диких кошек. И грозный Эдик Рюхин был бит двумя рассвирепевшими девчонками на глазах у всего честного народа. Так бит, что с ревом ударился в бега.

Вмиг рухнула мощь и слава диктатора. А меня подняли и

повели на свое крыльцо, как раненого героя. Ласково уговаривали потерпеть. И я терпел, только брызги сами летели с ресниц.

Рука, к счастью, оказалась не сломана и даже не вывихнута. Правда, до вечера болели плечо и локоть, но, конечно же, сильнее боли было чувство гордой победы. Выдержал, не сдался! Я чувствовал, что теперь, пожалуй, смогу наконец смотреть на Володьку без внутренней робости, как равный.

Победная радость так заполняла меня, что все остальное казалось неважным. И я без особого волнения услышал вечером от мамы:

— Послезавтра наконец мы переедем. Контора Артура Сергеевича уже подписала все документы, и заведующий обещал дать грузовик.

Ну что же, переедем так переедем. Немного грустно расставаться с Галкой и Лилькой и — главное — с Володькой. Но ведь не в другой же город уезжаем, в конце концов. Зато станем жить по-человечески, а не в этой тесноте...

На следующий день в школьном коридоре я отозвал в угол Серегу Тонкошеева.

— Вот... Возьми свою денгу.

Круглое Серегино лицо даже поглупело от удивления.

— Откуда она?

— От верблюда... — вздохнул я.

— Значит... это ты тогда ее увел?

— А кто? Прасковья, что ли? Здорово я тебя обдурил! В кармане дырка, вот она в эту дырку и туда... — Я тряхнул мешком ватой штаниной.

Серега подумал, помигал. Потом посмеялся:

— Хитрый ты. А я тебе поверил.

— Ты это... не злись на меня. Вот она, забирай...

— Да я не злюсь. — Серега взял монету, повертел в толстых пальцах. — А с чего это ты? Ну, сперва стянул, а теперь...

— Так... Потому что скоро уеду. В другую школу пойду. А мы с тобой... ну, все же два года в одном классе. Хоть не на одной парте, а все равно почти рядом.

Серега кивнул: понятно, мол. Подумал. И протянул монету обратно.

— Бери насовсем.

— Правда?

— Ага. Мне она по фигу, я ее тогда случайно... нашел. А тебе... ну, вроде как память.

Вскоре мы переехали на улицу Нагорную. Это было далеко от Смоленской. И прежняя жизнь отодвинулась, стала казаться давней. Заслонили ее другой дом, большая школа-семилетка, новые знакомства.

И оказалось, что даже для большой дружбы расстояния ставят барьер.

Конечно, я часто вспоминал Володьку и даже раза два приходил к нему. И мы были рады друг другу. Но сам он у меня на Нагорной ни разу не появился. А время бежало быстро. И постепенно мы стали друг для друга — п р о ш л ы м.

10

Потом, казалось бы, появилась возможность восстановить нашу дружбу: через два года мы перебрались с Нагорной на улицу Грибоедова, а она совсем недалеко от Смоленской.

По дороге в школу и обратно я теперь часто ходил мимо Володькиного дома. Но зайти к нему так и не решился. То время, в котором мы не виделись, казалось мне громадным. Оно, это время, отделило меня от Володьки и вообще от той жизни, когда я был третьеклассником начальной школы номер девятнадцать. И от Галки с Лилькой отделило, к ним я тоже не заглядывал.

Впрочем, с Володькой мы несколько раз встречались — прямо на улице. Ну... и ничего. Поздороваемся, поговорим о том о сем и разойдемся. Володька смотрел, как и прежде, открыто и ласково, но словно... издалека, что ли. Наверно, тоже из той давней поры, когда мы были вместе.

А потом я узнал, что Володька куда-то уехал. Насовсем. И больше ничего мне о нем не известно.

Зато недавно я видел Володьку во сне. Сон был длинный,

подробный, ну прямо кино. Только такое кино, где я не в зале, а как бы внутри экрана.

Я видел, что мы с Володькой живем в небольшом, уютном таком пионерском лагере. Даже название помню — почему-то «Бобрёнок». Это слово — на ленточках наших бескозырок.

Да, мы все тут носим голубые бескозырки и белую пионерскую форму, словно в Артеке или где-то еще на Юге. Но «Бобрёнок» вовсе не у моря. Он на краю бревенчатой деревни, недалеко от смешанного — ели да березы — леса, которым поросли пологие склоны. Скорее всего, здесь отроги Уральских гор.

Мне и Володьке уже не девять лет, как на Смоленской, а двенадцать-тринадцать. К тому же мы в разных отрядах. И поэтому за всю смену ни разу не подошли друг к другу. Даже не здоровались, когда сталкивались на лагерных дорожках. В этом не было ни вражды, ни отчужденности, скорее — стеснительность и виноватость за угасшую дружбу. Или даже сомнение. «Может, это и не Володька», — думал я. А он думал, наверно: «Вдруг это не Славка?»

Во сне я помнил все, что было в лагерной смене, но само действие сна разворачивалось, когда эта смена почти закончилась. В последний день.

День выдался хлопотливым: бегали ребята, суетились вожатые — все готовились к заключительной линейке и прощальному костру. Завтра утром должны были приехать автобусы.

Я почему-то ни в чем не участвовал. В этакой рассеянной грусти бродил вдоль лагерного забора. Я смутно чувствовал, что это не первое мое детство, что когда-то я был уже взрослым, а потом как-то незаметно опять стал шестиклассником. Но эта догадка не удивляла и не тревожила меня: то, что случилось, я воспринимал как закономерность. Было только печально оттого, что смена кончается и как все сложится дальше — непонятно (может, снова стану большим?).

Вот здесь-то и подошел Володька. Сказал как ни в чем не бывало:

— Пойдем побродим вдвоем. А то за всю смену ни разу даже не поговорили.

Конечно, это был он! Со знакомыми серыми лучистыми

глазами, с косой светлой челкой, со знакомой родинкой на мочке уха. С ласковой полуулыбкой и всегдашним пониманием во взгляде. Подросший, но все равно самый что ни на есть Володька.

Я тихо обрадовался. И мы пошли по краю деревни, потом через мелкий березняк, в котором прятались темные приземистые сараи. Тропинка вела в гору. Она была натоптанная, широкая, мы шагали рядом, касаясь друг друга локтями. Шли и молчали. Но молчание наше не было тяжким и неловким. Была в нем спокойная радость от того, что мы вместе.

Володька шел, опустив голову, и теребил конец галстука. Я заметил, что галстук у него не красный, как у всех, а снежно-белый. Наяву это была вещь немыслимая, но во сне такая деталь ничуть не удивляла.

Мы достигли пологого, поросшего пушистым белоцветом перевала и под горой увидели село. А может, и городок. С зелеными переулками, столетними тополями, домами в один-два этажа и колокольнями.

И тогда впервые шевельнулось во мне беспокойство. Или предчувствие какое-то.

— Ох, я и не знал, что здесь... такое. Думал, кроме нашей деревни, близко и жилья нет.

— Это Горохов, — понимающе отозвался Володька. — Про него мало кто знает. Лишь некоторые...

Было непонятно: как это лишь некоторые знают про такой довольно крупный населенный пункт? Но спросить я не решился. Потому что в Володькиных словах почувствовал некий намек.

Мы пошли по переулкам. У заборов густо подымались лопухи, а в канавах цвели кашки и солнечные лютики. Редкие прохожие — все больше старики да бабки — смотрели на нас молча и несердито.

Дома были как в нашей Тюмени. Чаще деревянные, с палисадниками, а иногда — кирпичные двухэтажные особнячки. Старые, обшарпанные. Обыкновенные. Но сквозь эту обыкновенность невидимо проступало что-то иное. То готика старых замков, то округлая мощь древних бастионов. Не было в этом никакой угрозы, но опять чувствовался непонятный намек.

Некоторое время рядом с нами шла большая кудлатая собака. Буквально впритирку ко мне шла. Такая настоящая — ну, совершенно как наяву. Я ногой ощущал ее пыльную теплую шерсть с колючками и видел в глазах блестящие точки.

Потом собака убежала, а Володька спросил:

— Ты теперь уже не боишься незнакомых барбосов?

— Не-а! — отозвался я без обиды. Потому что спросил он совсем не насмешливо.

Мы вышли на широкую улицу — с одной стороны кирпичные магазинчики и одноэтажная аптека, с другой — длинная, сколоченная из жердей изгородь. На верхней жерди сидел золотоволосый нестриженный мальчишка лет семи-восьми. Он был в красных трусиках, в перемазанной белой майке и — вот чудак! — в растоптанных подшитых валенках. Мы ему ничего не сказали, и он тоже ничего не сказал нам. Но хитро посматривал, пока мы шли мимо. А потом быстро, почти украдкой, помахал немойтой ладошкой.

И сейчас мне приходит на память стишок, который сочинился прямо там, во сне, на улице городка Горохова:

Тихая картина —
Городок старинный,
У косых заборов —
Козы да репей.

Игорёк Горохов —
Этакая кроха —
На забор уселся
Словно воробей.

Сами мы не знаем,
Далеко ль шагаем.
Где дорога наша
Ляжет по Земле?

И совсем неплохо,
Что малыш Горохов
С шаткого забора
Помахал нам вслед...

Почему «Игорек Горохов»? Ну, фамилия, видимо, по названию городка. А имя неизвестно откуда...

Когда прошли квартал, Володька сказал:

— Ты ведь его знаешь, этого воробушка.

И я вспомнил. Это тот второклассник, которого зимой увидел я на улице Первомайской. Его, опоздавшего на урок, не пустили в школу. И я, чтобы утешить беднягу, подарил ему маленький талисман — картонный елочный месяц.

Но об этом речь впереди, в другой повести. И тогда я не знал, что он — Игорек...

Мы с Володькой вышли на круглую, поросшую белоцветом площадь. По краям ее стояли две церкви и пожарное депо с каланчой, украшенной деревянными узорами. Каланча и колокольни подымались очень высоко и словно сходились в зените, над нашими головами.

Здесь же стоял еще один дом. Тоже похожий на церковь, только без башен. Нижний этаж у него был подвальный, верхние края окошек — на уровне земли. Перед окнами были вырыты углубления, изнутри облицованные кирпичами. Мы заглянули — там стояла темная, но прозрачная вода.

— В подвале тайная библиотека, — вполголоса сказал Володька. — Пойдем?

Я не спросил: зачем? Раз Володька сказал — значит, надо. Для того мы сюда и шли.

Мы оставили на кирпичном поребрике сандалии и носки. Спустили ноги в яму, потом повисли на руках, цепляясь за кирпичи, спрыгнули. Воды оказалось по колено. Теплая, словно кипяченая. И какая-то плотная.

Раздвигая эту воду ногами, мы подошли к окну с выбитыми стеклами.

— Лезем?

— Ага... — Мне было жутковато, один я ни за что не полез бы в таинственный подвал. Но Володька был рядом. К тому же в сюжете сна явно была пружина, закрученная нужным образом. Она и давала событиям ход.

Мы оказались в темном помещении — неожиданно сухом и просторном. Постояли, держась за руки и привыкая к сумраку. Скоро стали видны этажи полок с косо стоящими книгами — большими и явно старинными. Но Володьку интересовали не книги. Он знал заранее, зачем сюда шел. Он подвел меня к стеллажу и с нижней полки взял свернутую в трубку бумагу.

— Вот... нашел... — Шепот его разнесся по подвалу.

— Что это? Карта? — спросил я таким же шепотом.

— Нет. Чертеж велосипеда. Нашего. Помнишь?

Я помнил. Но не понимал.

— Теперь он уже не такой. Вот... — И бумага с шелестом развернулась.

Словно по заказу пробился в подвальное окно широкий пыльный луч. В этом свете я увидел, что чертеж — синий и звездный. Это было похоже на карту неба, где из лучистых светил составлено крупное созвездие. Звезды соединялись белыми линиями, которые образовывали рисунок велосипеда.

— Ну вот, — вздохнул Володька. — Теперь на нем можно хоть куда.

— Куда «хоть куда»? — спросил я, ощутив нервный холодок. И на м е к опять шевельнулся во мне.

Володька не ответил, словно боялся огорчить меня.

Мы торопливо выбрались на улицу, сели на кирпичный поребрик, ограждавший окно подвала. Володька стал смотреть в трубу. Я не удивился, увидев, что она теперь не бумажная, а медная, раздвижная. Подзорная.

— Вовка, можно я тоже гляну?

— Глянь. Пока еще можно, — сказал Володька непонятно. И я не решился посмотреть в окуляр. Взял трубу и положил на колени. Желтый металл был тяжелый и очень холодный. Пахло от трубы медной окисью. (А еще говорят, что не бывает в снах ни ощущений, ни цвета, ни запахов!)

— Ну что же ты, — мягко сказал Володька. — Смотри. Вон туда. Там уже виден поезд.

Я поднял трубу. Между церковью и пожарным депо началась длинная прямая улица. В конце ее увидел я приближенную трубой железнодорожную насыпь. На ней пускал пар и двигал шатунами крошечный, словно игрушка, паровоз. Очень еще далекий. За ним тянулись зеленые вагончики.

— Значит, скоро уедешь? — с печалью понял я.

Володька, не глядя на меня, кивнул.

Я сказал не то, что хотел:

— А как же линейка в лагере? Тебе попадет.

Володька чуть улыбнулся:

— Теперь не все ли равно?..

Он сидел в метре от меня. Опустил голову, шевелил пальцами босых ног и травинкой трогал на листе подорожника божью коровку. «Божья коровка, улети на небо», — вспомнилась мне присказка, которую знают все ребята (и Том Сойер знал). Я посмотрел на Володьку сбоку: медленно и внимательно. И наконец понял, что он умер.

Нет, не сейчас он умер, а уже какое-то время назад. Скорее всего, еще до лагеря. Он вовсе не был похож ни на мертвеца, ни на призрак — почти обыкновенный Володька. Но... именно почти. Была в нем чуть заметная, осторожная отстраненность, словно он боялся испугать меня. И еще — что-то похожее на невидимое свечение. Какая-то особая ясность в облике (несмотря на растрепанную челку, мятую рубашку, испачканные штаны и перемазанные кирпичной пылью ноги). Теперь слова «светлый мальчик» подходили ему больше, чем когда-то.

Да, сейчас я видел, что он из другого мира, нездешний. Но ничуть не боялся. Появилась только теплая такая грусть. Но в то же время и радость: от понимания, что жизнь человеческая не кончается после того, что мы называем смертью...

И все же Володька был, вот он — осязаемый, близкий. Он встал. Посмотрел в яму у подвального окна. Улыбнулся:

— Похоже на бассейн фонтана. Да?

— Да... немного, — неуверенно отозвался я.

— Давай бросим туда по денежке. Такая примета.

— Чтобы снова встретиться? — обрадовался я.

— Нет, — вздохнул он. — Чтобы не забыть...

Я послушно пошарил в карманах парусиновых штанов, но там было пусто. Володька торопливо сказал:

— У меня есть. Как раз две.

Я вдруг подумал, что он достанет из кармана старинные двухкопеечные монеты — те, что я нашел в старушкином саду. Но у Володьки на ладони оказалась пара обыкновенных пятнашек.

Мы бросили одновременно. Вода вздрогнула. Две белые денежки были хорошо видны на кирпичном дне.

— Пойдем, — шепнул Володька. И взял меня за плечо. Хотя он и умер, ладонь у него была теплая.

Мы пошли по улице, ведущей к насыпи. Володька не уби-

рал руку с моего плеча. Я смотрел под ноги, но вдруг ощутил Володькину улыбку. Он спросил:

— А зачем ты написал в своей повести, что хотел отдать польскую монету Сереге Тонкошееву? И что он тебе ее подарил...

Я сбил шаг. Спрашивать «откуда ты знаешь» не имело смысла.

— Ну... а что такого? — пробубнил я пристыженно.

— Ведь по правде-то этого не было.

— Я хотел отдать! В школу принес! Но Серега не пришел. Его тогда опять за что-то исключили на неделю.

— Вот так бы и написал, — мягко сказал Володька.

— Но я же... Ты думаешь, я хотел показать себя лучше, чем есть? Просто... Я же не биографию писал, а повесть. И хотелось, чтобы как интереснее. Ну, законченный сюжет.

— Тогда другое дело, — отозвался Володька. Вроде бы примирительно, однако и с усмешкой.

Я проговорил тихо и потерянно:

— Зато я... Игорьку елочный месяц подарил... Свой любимый...

Володька ладонью ласково надавил мне на плечо:

— Что ты оправдываешься? Я же просто так спросил.

За то, что я наполовину сочинил историю со старухой, он меня не упрекнул. Наверно, не догадался... И про полено...

Мы вышли к насыпи и по крутой лесенке поднялись на деревянную платформу. Пахло нагретыми шпалами.

Шумный паровоз обдал нас горячими запахами смазки, угля и еще чего-то «локомотивного». Потом прошли мимо нас и остановились вагоны.

— Прощай, Славка, — просто и твердо сказал Володька.

Я кивнул. Хотелось плакать. Володька протянул руку, и ладонь его была по-прежнему теплая, прочная, словно и не умирал. Но все равно я з н а л.

— Прощай, — шепнул я.

Он легко, словно на белых крыльях, взлетел на высокую подножку. В открытом дверном проеме стояла грузная проводница.

— Куда босиком-то? — ворчливо сказала она. Но посторонилась.

То, что у Володьки белый галстук, она не заметила, а вот босые ноги...

— Ох, Вовка! А сандалии-то! Там остались!

Он улыбался, выглядывая из-за проводницы. Откликнувшись совсем весело:

— Ну какая теперь разница!

И поезд сразу дернулся, набрал ход. И больше я не видел Володьку. Пыльные вихри, взметнувшиеся от колес, били меня по ногам, в глаз попала соринка. Я тер глаз левым кулаком, а в правом... сжимал подозрную трубу! Володька оставил ее мне!

Но скоро труба начала таять в моей руке. И я понял, что сам сон тает.

Я не хотел, чтобы сон уходил! Хотел, чтобы все это вообще оказалось не сном! Я должен был вернуться к подвалу, найти забытую обувь, успеть на линейку... А главное, не должен был потерять надежду опять увидиться с Володькой! Не может быть, что это сон! Вот же я стою на теплых досках, глаз болит от соринки, а другим глазом я отчетливо вижу растущие между шпал желтые цветы осота. Все настоящее, живое...

Не помогло это цепляние. И сон ушел, оставив меня, взрослого, хворого, утомленного заботами и хлопотами нынешних дней, — наедине с самим собой. И со своей памятью.

...Теперь, чтобы оправдаться перед этой памятью, я признаюсь: не было разговора с Тонкошеевым, когда я покаялся, а он великодушно подарил мне монету. Хотелось мне закончить эту историю поинтереснее, вот и придумал.

Но все остальное — правда! И про старый дом, и про то, как упал от боли, но не пикнул перед Эдькой Рюхиным. И про то, как утопил в ручье начиненное порохом полено...

Кстати о полене! История на том не закончилась.

В начале следующего года, на зимних каникулах, к нам на новую квартиру пожаловала Галка. В гости. Посмотреть, как мы тут живем, поболтать о прежних временах. Мама ей обрадовалась (история со злополучным червонцем была давно забыта). Я тоже обрадовался.

Мы пили чай у большой елки, под которой пыхтел и возился с ватным Дедом Морозом Леська.

Галка весело излагала всякие новости про свое житье-бытье. Сообщила, что отцу, возможно, «скостят срок» и все будет хорошо, если мать снова не засадит его по своей вредности. Не было у Галки нежных чувств к мамаше, что тут поде-лаешь.

А потом Галка радостно спохватилась:

— Ох, еще новость! Помните соседскую старуху с бельмом? У нее под Новый год печку разнесло! Взрывом! Старуха до сих пор ходит скорченная от перепуга и все время огляды-вается...

Я обалдело мигал.

Как же так? Ведь я же своими руками...

Значит, я перепутал? Взял не то полено?

Нет, не мог я ошибиться. Я это проклятое полено знал до последнего пятнышка на коре!

— Наверно, бабка воровала у кого-нибудь дрова, чтобы сэкономить свои, — рассудила мама. — А хозяева начинили полено порохом. Так иногда делают, чтобы проучить жуликов.

Только это и оставалось думать.

А еще — то, что судьба оказалась справедлива и все-таки отплатила ведьме за меня. Причем отплатила по строго отмеренной норме — так, как мы с Володькой и хотели.

Таким образом, история с ведьмой получила закономерный конец. И я думал, что старуха после этого навсегда уйдет из моей памяти. Но я ошибся.

Старуха после еще не раз являлась ко мне (и правда, словно графиня к Германну). И в нехороших воспоминаниях, и в снах. Не хотела, чтобы я забыл о ней. Иногда она даже возникала в книжках, которые я писал. Не обязательно в собственном обличье. Иногда — в роли бездушного школьного надзирателя, иногда — в виде хозяина огорода, который изловил перепуганного мальчишку. Порой она превращалась в свирепого папашу, который считает, что лучшее средство воспитания сына — страдание тела и души. Становилась эта ведьма и чудовищем, которому чужая боль доставляет сладкую радость.

Я отчаянно воевал со всеми этими воплощениями старухи, но всегда она ускользала от окончательной мести.

И сейчас, видимо, ускользнет. Хотя впервые написал я про нее все очень точно.

Едва ли взрыв печки принес ей ощутимый вред. Старуха жива, несмотря на то, что прошло с той поры много лет. Она жива, потому что вселилась во множество других злых людей. Их немало вокруг — тех, кто обрекает ребятишек на мучения. Немало пришлось мне их встречать в своей жизни.

И, честно говоря, сейчас я не пожалел бы для этих старух не только начиненного порохом полена, но и крепкого фабричного фугаса...

Однако в тот день, когда пришла Галка, я радовался от души. Мне казалось, что ведьма от меня и от всех на свете ушла в прошлое.

А Галка вдруг спросила:

— Можно мне взять у вас книжку Марка Твена? Хоть всего на недельку. Мы с Лилькой так соскучились по Тому и Геку!

Мама вздохнула и посмотрела на меня с многозначительным упреком. Дело в том, что осенью я дал почитать «Тома и Гека» Юрке Косову — новому своему однокласснику, он еще кому-то, а тот кому-то другому... И книга «ушла».

— Может, еще вернется, — неуверенно утешила меня Галка.

Книга вернулась через сорок с лишним лет. Конечно, не та самая, но в точности такая же...

Мы с женой и сыном Алешкой путешествовали на теплоходе «Юрий Андропов» по Волго-Балту. В 1990 году. Неспкойный был год, по радио звучали скандальные политические речи. Но все-таки люди плыли, отдыхали...

Через пять суток после отплытия из Москвы теплоход пришел в Ленинград. Наше семейство примыкать к экскурсиям не стало, пошли мы самостоятельно — смотреть город, навещать родственников и знакомых.

Город был замусорен. Дул серый зябкий ветер, гнал вдоль домов и коммерческих киосков обрывки газет, фантики от жвачки и мятые листовки. Неуютно, неприветливо. Не то что при прошлых свиданиях с Ленинградом.

Где-то в центре, кажется, на Литейном проспекте, зашли

мы в букинистическую лавку «Академкниги». И вот там-то я увидел на витрине удивительно знакомую, просто родную синюю обложку с опечатанными полукругом (как на коже паровозного гребного колеса) буквами: «Марк Твен».

И стоило это сокровище пятнадцать рублей.

С этой минуты все в Ленинграде стало для меня другим. Словно вдоль пыльных тротуаров зацвели одуванчики — те, что в моем детстве буйно росли по канавам и обочинам на улицах Тюмени.

Я ходил, смотрел, встречался, а главным чувством все равно была радость, что в моей сумке лежит та самая книга.

Вот приду на теплоход, найду укромный уголок, открою сладко знакомые, напечатанные в два столбца страницы... Том, Гек, Бекки, Миссисипи, остров Джексона, таинственная пещера. Кардифская гора. Город Сент-Питерсборо...

Туристическая жизнь все же замотала меня. И остаться наедине с книгой я сумел, лишь когда «Андропов» отошел от речного вокзала и двинулся вверх по течению, к Ладоге. И вот оно, возвращение в давние годы:

«— Том!

Никакого ответа.

— Том!

Никакого ответа.

— Куда же он запропастился, этот несносный мальчишка?..»

— Куда ты запропастился? Мы обегали весь пароход! — Это подошли жена и сын. — Пойдем в бар. Там твое любимое пиво...

— Потом.

И я опять остался с книгой. На кормовой палубе, где надстройка защищала от ветра.

А неподалеку шумная толпа туристов устроила что-то вроде митинга: правильно или нет, что Ленинград хотят переименовать в Санкт-Петербург?

Я не знал, правильно это или нет. Вроде бы с исторической точки зрения справедливо. А с другой стороны, Ленинград жаль. Столько с этим названием связано... И для всего народа, и для меня.

В Ленинграде в пятьдесят девятом году я проходил журна-

листскую практику. Здесь я впервые увидел большие парусные суда — баркентины. Здесь первый раз открылся мне морской простор — гладь Финского залива...

А впрочем, переименовывайте. Не так уж это важно... Многим это придется по душе... И мой отчим, Артур Сергеевич, очень бы порадовался. Он всегда был большим любителем старины... Правда, отчима давно уже нет на свете. Он умер в шестьдесят четвертом году, седьмого ноября, когда по радио играли праздничные марши, а мой младший брат ушел на демонстрацию.

А я тогда жил в Свердловске... Я приехал в Тюмень в тот же вечер. И впервые в жизни испытал горькие тяготы похоронных дел.

Похоронили отчима над рекой Турой, на старом Парфёновском кладбище. Был совсем зимний, даже морозный день. Когда зарыли могилу, я над холмиком выстрелил из старой тулки отчима, из обоих стволов. В память об охотнике и путешественнике, знавшем нелегкую жизнь в сибирских лесах и тундре. То ли патроны отсырели, то ли сильный холод был виноват — ружье хлопнуло слабо, почти неслышно. А когда я опустил стволы, из них покатались в снег дробинки — словно свинцовые слезы.

Ну и ладно, что негромко. Пусть. Не в этом дело.

На следующий день я опять приехал на кладбище, купил в конторе жестяной номер для регистрации. Он был очень похож на велосипедный, только сверху выдавлено прессом не «велосипед», а «могила».

На тропинках намело сугробы, я пробирался к могиле чуть не по пояс в снегу. Прибил номер к подножию деревянного красногоobelиска.

Я думал, что могила с номером будет сохраннее.

Несмотря на номер, время не сохранило могилу отчима.

Мама с братом весной переехали в Свердловск. Много лет потом они и я не были в Тюмени. На кладбище иногда ходил дядя Боря, он жаловался в письмах, что разыскивать могилу становится все труднее: кладбище закрыли, оно зарастает. В последний свой приход дядя Боря могилу уже не нашел, устал, заблудился.

И я не нашел, когда наконец приехал на Парфёновское

кладбище. Помнил, что место недалеко от овражка, тянувшегося до реки, среди берез и густых кустов. Но овражек теперь был скрыт сплошными зарослями, холмики сровнялись с землей, ни крестов, ни обелисков. И я положил цветы у чуть заметной кладбищенской тропинки, в траву. Все равно отчим где-то в этой земле. Мир его праху.

А помочь найти могилу, вспомнить, показать уже никто не может. И дяди Бори уже нет... Многих нет, о ком написано в этой повести...

Но есть город Сент-Питерсборо. И вот его-то уж ни в коем случае нельзя переименовать в Санкт-Петербург! Нельзя, а то он исчезнет с лица Земли. Из памяти многих людей.

А пока он по-прежнему зеленеет на берегу могучей старой Миссисипи, на которой пыhtят колесные пароходы. Славный такой городок, где Том и я, Володька и Гек, Бекки и Галка с Лилькой по-прежнему устраиваем в заросших переулках игры в разбойников и запускаем над речными откосами трепещущих бумажных змеев. А маленький Игорек Горохов сидит на изгороди, хитро поглядывает на нас и болтает растоптанными валенками.

Хотя, если говорить по правде, на берегах Миссисипи никогда не носили валенок. Ни зимой, ни тем более летом.

Но это не так уж важно. Вернее, совсем не важно. Верно, Игорек?

**МОЙ ДРУГ ФОРИК,
ИЛИ ОПАЛЯЮЩАЯ СТРАСТЬ
КИНОИСКУССТВА**

1. Давным-давно

Помнится мне, что сентябрь сорок девятого года был дождливым и зябким. Но помнится также, что в конце месяца вернулось на несколько дней тепло. Тихое и ласковое. Лужи на дорогах отразили безоблачную синеву. Деревья празднично горели на солнце. Пестрый листопад покрыл подсыхающую грязь и дощатые тротуары. Сухие листья пергаментно шуршали под ботинками, когда я торопился в кассу кинотеатра

«Темп», что в конце города, на углу улиц Республики и Дзержинского.

Рядом со мной часто-часто дышал маленький Вадик Чижикив, чье прозвище было, конечно же, Чижик.

Был Чижик мирным, похожим на первоклассника-отличника существом с аккуратной рыжеватой челкой и розовыми чисто вымытыми ушами. Мелкокалиберность Чижикива и его полная безбидность давали ему некоторые преимущества: его никогда не дразнили и не обижали — не было интереса. Но и всерьез не принимали. Чаще всего просто не обращали внимания. Все, кроме меня.

Я-то не мог не замечать Чижикива... Мы сидели за одной партой и считались вроде как приятелями. Но, конечно, в приятельстве этом не было равноправия. В нашем пятом «Б» я отнюдь не числился среди заводил и храбрецов, но уж Чижикива-то превосходил по всем статьям. Так мне в ту пору казалось. И потому относился к нему со снисходительным покровительством.

Чижик ценил и такое мое внимание. За некоторый интерес к своей личности он платил мне преданностью. Увы, боюсь, что этой преданности я тогда не ценил в полной мере.

Но надо сказать, что кротость Чижикива не была безграничной. Очень редко, но случались у него отчаянные поступки. В третьем классе, например, когда Елена Ивановна заставила его третий раз переписывать упражнение, Чижик скомкал и швырнул тетрадь:

— Я вам не крепостной какой-нибудь, чтобы так издеваться! — Гнев и слезы ударили из его бирюзовых глаз, как картечь. Чижик выскочил из класса и грохнул дверью. Елена Ивановна так и села. А потом побежала следом — успокаивать.

А в четвертом классе, весной, у Чижикива случился скандал с завхозом дядей Костей...

Здесь уместно подробнее упомянуть о дяде Косте. Потому что мы еще не раз встретимся с ним в этом рассказе.

Дядя Костя был школьный завхоз. А заодно — сторож, плотник и всякий работник. Сам себя он именовал солидно: помощник начальника школы по хозяйственной части. Или короче, по-военному: помначхоз. Мы же звали его дядя Хво-

стя — за привычку орать на виноватых (а иногда и на невиноватых):

— Я тебя, недоноска, за хвост и на помойку! Ноги оторву и отвечать не буду, я контуженый инвалид, у меня справка! За хвост!..

Был дядя Хвостя тощий, сутулый, ходил в полинялой гимнастерке, которая сзади из-под ремня торчала острым курчым хвостом, как бы подтверждающая прозвище помначхоза.

Левая щека у дяди Хвосты была одутловатая. Когда он злился, делалась она лиловой. А маленькая голова на тонкой шее при этом дергалась. В каждом ученике помначхоз дядя Хвостя видел нарушителя дисциплины, любил хватать нас за уши и, бывало, давал подзатыльники. Очень хотелось ему, чтобы в школе была армейская дисциплина. А нам не хотелось, хотя армию в те послевоенные годы мы очень уважали. Что поделаешь, жизнь полна противоречий...

Однажды на перемене Чижик спешил куда-то по коридору и наткнулся на дядю Хвостю.

— Ой, изви... — и не договорил. Оказался в полуподвешенном состоянии: ухо в цепких пальцах помначхоза. И тут... ярость опять брызнула из глаз тихого Чижика. Он вырвался, отскочил.

— Вы... не имеете права!

— Ах ты, вша маломерная! Я за хвост и на помойку! И отвечать не буду, я инвалид!..

— Вы... не советский инвалид! А фашистский!..

Дядя Хвостя — к Чижика. Тот — от него! Поскользнулся в своих новеньких сандалиях, животом поехал по половицам, расцарапал лоб и разбил нос. В этот миг возникла между ним и контуженым помначхозом тетя Тома. Высокая и решительная.. Она остановила дядю Хвостю плечом, а рыдающего Чижика увела к себе домой — в школьную пристройку.

Тетя Тома тоже была человек с фронтовым прошлым. Внешне она чем-то похожа была на дядю Хвостю. Но, несмотря на неласковый вид, отличалась добротой души. Ворчала порой, однако и заботилась о нашей шумной братии: пришивала пуговицы, мазала ссадины какой-то целебной жидкостью, которая, в отличие от йода и зеленки, не жгла и не щипала.

Помазала она и расцарапанный лоб Чижика. Остановила

кровь, капавшую из распухшего носа. Постаралась успокоить несчастного. Но Чижик не успокоился. Всхлипывая, он убежал домой, оставив в классе свой большущий «профессорский» портфель (его потом отнес домой Чижиковым я).

На следующий день мама Чижика пришла в школу. Мама (кстати, как и папа) работала в филармонии, была очень интеллигентна, и завуч Зинаида Прохорова разговаривала с ней вежливо. Совсем не так, как с учениками.

Я в тот момент принес в учительскую стопку тетрадей и, уходя, притормозил за дверью, чтобы слышать беседу.

Зинаида крайне сожалела о случившемся. А потом сказала:

— Но поймите и нас, Элла Валентиновна. Где найдешь на такую должность человека, положительного во всех отношениях? Константин Степанович старательный работник, а характер... Что поделаешь, это осколок войны. Можно его и пожалеть.

Теперь я понимаю, что в чем-то завуч была права: можно и пожалеть. Но тогда... Подумаешь, осколок! Вон сколько мужчин было на войне, целые миллионы! И мой отец, и Чижика... И даже тетя Тома! Это же не значит, что каждый имеет право за уши хватать!

И помначхоза дядю Хвостю никто не жалел. Пожалуй, кроме тети Тома. Нам было известно, что к тете Томе дядя Хвостя иногда захаживал по вечерам в ее пристройку. Там он, случалось, выпивал четвертинку, а затем играл на гармошке и пел запрещенную фронтовую песню про танкиста, который чудом спасся из подбитого танка:

А потом зовут меня в особый отдел:

«Как же ты, мерзавец, в танке не сгорел?» —

«Вы меня простите, — я им говорю, —

В следующей атаке обязательно сгорю»...

Однако отношения помначхоза и бывшей фронтовой санитарки были чисто дружеские, не более того. Дядя Хвостя никогда не оставался в пристройке на ночь. Так говорили знающие люди — семиклассники. Они же утверждали, что в танке дядя Хвостя никогда не горел, а служил начальником автомастерских, вдали от передовой, и контужен был случайно. Якобы, когда «юнкеры» бомбили наши тылы, старшина

Константин Степаныч оказался крепко выпимши и потому не успел в убежище...

Но я отвлекся! Начал-то с того, как мы с Чижиком шагаем в кино!

Чижик волок с собой портфель с медными уголками, загребал им палые листья. У меня на боку прыгала кирзовая полевая сумка, надетая через плечо. После кино мы должны были сразу мчаться на уроки. Пятиклассники в нашей школе учились во вторую смену, с двух часов.

Часы на старинной двухэтажной почте показывали половину двенадцатого, сеанс начинался ровно в полдень, однако надо было еще купить билеты. Фильм такой, что у кассы наверняка очередь, как в магазине перед праздником, когда дают муку по три кэгэ на человека...

Так оно и было! Очередь тянулась по обклеенному афишами кассовому вестибюлю длинными изгибами. Как удав в ящике.

Сердце мое упало (и сердце Чижика, конечно, тоже). Скорее всего, когда мы будем еще далеко от заветного окошка, донесется из него безжалостный, как судьба, голос: «На двенадцать часов билетов нет!» И все! Как в чувствительной бластной песенке:

Кассирша тетя Соня
Сказала из окна:
«Гуляй на танцы, мальчик,
Тут нет тебе кина»...

Я без надежды повел глазами по головам очереди. Взрослых почти не было, главным образом пацаны и девчонки примерно нашего возраста. Но знакомых — ни одного...

Однако Чижик вдруг встал на цыпочки и радостно дыхнул мне в ухо:

— Смотри! Там Форик!..

И я среди нескольких голов с косами и бантами увидел танкистский шлем. В таком ходил наш одноклассник Усольцев.

Да, без сомнения, это был он! Но... я не знал, как Усольцев отнесется к нашей попытке примазаться. Чижик на этот раз оказался смелее меня. Снова встал на цыпочки и решительно пискнул:

— Эй, Форик!

И тот увидел нас.

Дальше все пошло как нельзя лучше. Усольцев не показал ни капельки удивления. Правдоподобно обрадовался:

— Я уж думал, не придете! Давайте сюда, скорее!

Мы, счастливо сопя, протолкались к нему.

Вредный толстый первоклассник и три девчонки, стоявшие за Усольцевым, заскандалили:

— Ну чё! Нахальные какие, не стояли, а лезут!

А длинная девица класса из седьмого даже наладила кулак:

— Щас получите!

Усольцев указательным пальцем сдвинул со лба шлем, глянул на длинную спокойными зелеными глазами:

— Я же сразу говорил: занимаю на троих.

— Не говорил ты ничего! Вруша бессовестная!

Усольцев ей возразил с прежней спокойной правотой:

— Как же не говорил, если мы из одного класса! Ты, видать, на оба уха больная.

— Щас будешь сам на оба уха больной! И эти тоже... — Мы то есть...

Усольцев сказал сожалеюще:

— С виду отличница, а орешь, как мадам Стороженко на одесском базаре...

Недавно шел в кинотеатрах старый фильм «Белеет парус одинокий», и очередь оценила остроумное сравнение Усольцева. Общественное мнение склонилось в нашу пользу. Девица это ощутила. Правда, пообещала для порядка:

— Щас как дам «мадам», будешь заикаться до старости...

Усольцев шепнул нам:

— Давайте деньги, а сами идите в уголок, чтобы без скандала. Я куплю три билета, и все дела...

Мы сунули ему свои трешки, а сами протолкались поближе к выходу.

Кассовый вестибюль был просторный, свободного места, несмотря на очередь, хватало. Мы приткнулись к стене под афишей бессмертной комедии «Волга-Волга» и стали ждать.

— А Форик молодец, верно? — шепнул счастливый Чижик. Я кивнул. В самом деле, хороший человек Усольцев. Проявил классовую (от слов «пятый класс «Б») взаимовыручку, хотя мы были почти незнакомы.

Он поступил в нашу школу лишь в этом году, причем сперва его записали в пятый «А». Потом что-то у них там вышло с классной руководительницей, та пожаловалась Зинаиде Прохоровне, и завуч недавно перевела Усольцева к нам. Под тем предлогом, что наш класс не так переполнен, как «А».

Для нашего пятого «Б» в начале учебного года не нашлось крепкого классного руководителя, его отдали старенькой учительнице ботаники Анне Семеновне. У той едва хватало сил, чтобы вести уроки, и нашим воспитанием занималась сама Зинаида — железная завуч и хозяйка всей нашей мужской школы-семилетки. (Директор казался нам личностью тихой и незаметной. Помню только, это был худой бритый наголо мужчина, который кашлял и на школьных линейках говорил не «пионеры», а «пионэры».)

Зинаиду мы боялись, она знала нас как свои пять пальцев. Так и говорила: «Вы мне мозги не закручивайте, я знаю вас как свои пять пальцев». Это была рослая пожилая особа с тугом узлом прически и большим педагогическим опытом.

Зинаида ввела к нам новичка посреди урока. Держала его за плечо. Мы с грохотом встали.

— Тихо, тихо, — поморщилась завуч. — Пожалейте нашу учительницу, мои дорогие... Анна Семеновна, голубушка, запишите этого молодого человека к себе, у вас тут не так тесно... Судя по табелю, в начальной школе учился он неплохо. Правда, отличается излишней самостоятельностью суждений, но, надеюсь, исправится... Ты ведь справишься?

Новичок уклончиво шевельнул плечами. Плечи казались очень узкими — они были обтянуты слишком тесной суконной курточкой с якорем на рукаве. Зато штаны, сшитые из чего-то похожего на мешковину, были чересчур широки. Они, как казачьи шаровары, нависали над сапогами. Сапоги, старые сморщенные кирзачи, были мальчишке явно велики.

Плечи были узкие, зато голова слишком большая. И квадратная, как почтовый ящик. Эту квадратность подчеркивала стрижка — коричневый короткий ежик был обработан так, как обстригают иногда на газонах кусты, чтобы придать им кубическую форму.

А глаза были круглые, цвета бутылочного стекла. Спокой-

ные и опущенные густыми ресницами. Это делало их похожими на глаза симпатичного теленка (если, конечно, бывают зеленоглазые телята).

Впрочем, разумение в глазах было совсем не телячье. Этокое спокойное понимание момента.

Зинаида Прохоровна удалилась. Мы снова с грохотом сели и выжидающе притихли. Седая и усталая Анна Семеновна близоруко склонилась над классным журналом.

— Как тебя зовут, мальчик?

— Усольцев.

— У-соль-цев... А имя?

— Форик.

— Форик? Гм... А как же полное?

Он сказал негромко и отчетливо:

— Формат.

Кто-то хихикнул. Но не сильно. Был у нас в классе Ренат, был Винцент, был даже Вильгельм (Вилька Краузе). Может, и Формат — нормальное имя, только нерусского происхождения.

Однако Генка Кочнев по прозвищу Кочан все же хохотнул:

— И правда формат: двадцать четыре на тридцать, как фотоящик!..

Отец и брат Кочана работали в фотомастерской на городском рынке, снимали там своих заказчиков на фоне всяких декораций большущей деревянной камерой. С этим аппаратом Кочан и сравнил новичка.

Форик никак не отреагировал. Класс поэтому отозвался на хохмочку вяло.

Утомленная жизнью Анна Семеновна произнесла:

— Садись вон туда, на третью парту, Усольцев. А рядом с Кочневым не садись, он тебя испортит окончательно.

— Ага! «Фор» оторву, «мат» оставлю, — согласился Кочан.

Анна Семеновна печально сказала в пространство:

— Когда же наконец педсовет исключит тебя? Хотя бы на время.

— Жди да радуйся, — отозвался Кочан. Правда, уже вполголоса.

Генка Кочнев по прозвищу Кочан был второгодником, двоечником и хулиганом.

В каждом классе, где мне в разные годы приходилось учить-ся, обязательно имелся такой обалдуй — страх учеников и горе педагогов. Но обычно страх был невелик, а горе — привычное, потому что чаще всего парни эти особой злостью не отличались, одноклассников задевали редко, с учителями ругались лениво. Они просто играли давно определенную им роль двоечников-придурков и нарушителей школьной благополучности.

Кочан же был явная шпана. Злой авторитет не только классного, но и школьного масштаба. Все знали, что у него есть дружки в компании некоего Грини, чей брат сидит за квартирную кражу. С Кочаном не связывались даже самые старшие в нашей школе — семиклассники. Дрался Кочан жестоко. Вернее, не дрался, а просто бил: сопротивляться ему не смели. Блатные ухваточки его действовали на нас неотразимо. Кочан умел улыбаться криво и зловеще, бойко говорил на «щицной фене», а когда его очередной раз выгоняли из класса, шел к дверям вразвалочку и напевал под нос:

Сквозь рыдания ей снился все ночи
Парень в кепке и зуб золотой...

Форик Усольцев выслушал «Аннушку» и Кочана невозмутимо. Устроился на третьей парте рядом с Борькой Кислицыным, который был неразговорчив, потому что заикался. Выложил на парту учебник ботаники, тетрадку и ручку, поставил рядом с Борькой свою чернильницу-непроливашку и стал смотреть в окно с запотевшими стеклами.

В следующие дни он жил в нашем классе сам по себе. Пробовали дразнить — не откликался. Приставать посильнее не решались — в независимости Форика ощущалась уверенность: такой терпит, терпит, а потом и врезать может. В приятели к нему не набивались — больно он нужен со своей квадратной башкой! Сам он тоже ни к кому в друзья не лез. Впрочем, с Борькой Кислицыным охотно поделился перышками для ручки и ничего не попросил взамен. И тому же Борьке подсказывал на диктанте, когда тот ляпал ошибку за ошибкой... и с учителями не спорил! Непонятно, за что его выгнали из пятого «А».

А сейчас вот Форик Усольцев пришел нам на выручку!

2. «Приключения-чец...»

Лишь бы хватило билетов... Форик от окошечка был уже совсем недалеко, человек за пять.

— А если не хватит денег? — вдруг шепотом встревожил-ся Чижик. — Если по три рубля уже нет и остались только до-рогие?

— Ты спятил? На детские сеансы дороже трех не бывают!

— Это когда старое кино не бывают, — рассудительно на-помнил Чижик. — А когда новое, все сеансы считаются взрослыми.

А ведь в самом деле! Есть такое вредное для ребят правило в нашем главном кинотеатре...

— Ну, тогда... он нам крикнет от кассы.

— Все равно у меня только семьдесят копеек в кармане...

— У меня есть. На самый крайний случай. Энзэ... — Я вы-тащил из кармана новенькую десятку.

Мама давала мне такую сумму раз в месяц, когда отец из своей далекой Белоруссии присылал перевод — для моего «прокормления».

Десятку я хотел сберечь, чтобы подкопить к ней еще и ку-пить за пятнадцать рублей в магазине «Электротовары» кар-манный фонарик. Темным осенним вечером, когда идешь по грязи домой после шестого урока, с фонариком так уютно...

Однако если не хватит на билеты, то какой уж там фона-рик...

Чижик с удовольствием поразглядывал хрустящую десят-ку. Чуть ли не обнюхал своим клювиком с редкими конопущ-ками. И на какое-то время мы потеряли бдительность. А зря...

В другом углу кассового зала кучковалась шпана со своим щуплым и словно прокопченным предводителем. Он и был известен под кличкой Копченый.

Компания Копченого постоянно отиралась в кино. Обыч-но эти личности были заняты своими делами и к другим ре-бятам приставали не часто. Конечно, угроза в них была по-стоянная, но куда денешься. Приходилось существовать с ними на одном пространстве. Так африканские травоядные щип-лют траву вблизи дремлющих львов: если хищники сыты и

спокойны, можно пастись без особой боязни. Главное — не прозевать, когда возникает опасность.

Но мы прозевали. Я понял это, когда оказавшийся рядом Копченый дыхнул мне в лицо запахом табака и пережаренных семечек подсолнуха.

— Во какая денга! Слышь, кореш, сыграем в номерки!

Я перепуганно скомкал «денгю» в кулаке. Чижик тихо пискнул. Спасения не было.

Рядом с Копченым стоял шкет — ростом с меня, но явно приплюснутый. В приплюснутом кемеле с маленьким козырьком. С ленивыми безжалостными глазками. Копченый в улыбке показал гнилые зубы.

— Ну, шига-фиц ли сшифил-дрейц? Играем! Ший-чец шимер-ноц шильше-боц, тоши-гоц и шиньги-дец...

«Ну, фига ли сдрейфил? — мысленно перевел я «щицную феню». — Чей номер больше, того и денги».

Речь шла о номерах на банковских билетах. Не было сомнения, что Копченый не станет даже сравнивать цифры, а просто объявит о своей победе — и прощай моя десятка.

Чижик обморочно притих у меня под боком. Я метнулся глазами. Дружки Копченого куда-то пропали, но маленький в кемеле был рядом. Да будь Копченый и совсем один, разве мыслимо сопротивляться этому зловещему представителю блатного мира?

Может, громко зареветь в надежде на помощь взрослых? Стыдно. Да и страшно: потом Копченый все равно подкараулит, будет еще хуже...

— Ну чё... — заныл я безнадежно. — Это не моя, это мама дала для магазина...

Копченый опять дыхнул табаком и семечками, протянул руку... В этот миг его отшатнуло. Вправо. А его дружка в кемеле — влево. А между ними шагнул Фориц. Прижался рядом со мной к стене. Стремительно согнулся, сдернул свои большие сапоги. Один сапог сунул в руки мне, другой сам ухватил за голенище. Сказал быстро, но деловито:

— Бей вот этого. А я — того... — И замахнулся на Копченого. — Если не отвалит... — Последние слова намекали Копченому, что есть возможность мирного отступления.

Копченый и его дружок одинаково замигали. Судя по все-

му, такой отпор они встретили впервые. Впрочем, испуг их был секундным. Копченый скривил улыбку.

— Т-ты, киндер-фраер с Бабарынки! Щас я твой кирзач тебе зашину-суц в шипу-жоц.

— А по ширде-моц не шичешь-хоц? — умело отозвался Фориц Усольцев на языке противника. И сделал кирзачом круговое движение.

До сих пор с удовольствием помню, что, несмотря на звеневший в ушах страх, я тоже сделал что-то подобное. И носком сапога зацепил на противнике кемель. Копченый и его корешок резко подались назад.

И в этот миг ринулся в бой Чижик.

То ли с великого перепуга, то ли в порыве гневного вдохновения он выхватил из кармана вельветовых брючек «нагашек» (уменьшительное название от слова «наган»). Это был маленький пугач из согнутой трубки с гвоздем и резинкой. Заряжался он серой от спичек.

Жестом дуэлянта Чижик вытянул к Копченому руку и отчаянно тонким голосом сообщил:

— Пошли вон! Буду стрелять! — И нажал резинку.

Поступок был безумно храбрый и безумно глупый. Могла ли устроить Копченого эта хлопушка? Тем более что носил ее Чижик лишь для самоутверждения, а стрелять боялся и заряжал трубку только одной или в крайнем случае двумя спичечными головками. От этого получался легкий хлопок или просто пшик.

Но сейчас и пшика не было, «нагашек» дал осечку.

— Гы-ы! — от души возвеселился Копченый. — А ну дай сюда пукалку! — И опять потянул лапу.

Фориц взметнул сапог, чтобы бесстрашно врезать по этой лапе. Я тоже замахнулся, хотя понимал, что мы обречены. Все равно враг был сильнее — и морально, и в смысле боевого опыта. К тому же вот-вот появится у Копченого и шкета подкрепление...

— Шихо-тиц, ширни-пац! Шина-хрец ты, Копченый, скёшь не на тех!

Это было спасение! Чудесное, как в кино, когда в отчаянный момент на помощь нашим прилетают стремительные конники с шашками наголо.

3. Предисловие к счастью

В данном случае роль конника сыграл хулиган и второгодник Кочнев по прозвищу Кочан. Пускай шпана и двоечник, но все же из нашего класса! Видимо, чувство здорового коллективизма не было чуждо Кочану.

— Ты чё, Копченый, это наши парни, с той же школы, где я! Мои кореша! Раший-зуц гляшилки-дец!

Судя по всему, Кочан был авторитет не только в районе нашей школы. Потому что Копченый нарываться не стал и лишь пробурчал, что на наших рожах не написано, чьи мы там кореша.

— Особо вон на этой маминой птичке с «нагашком»... Спрячь, пока не потерял.

Чижик без спора спрятал «нагашек». Форик между тем деловито натянул сапоги. Копченый с дружкой как-то незаметно исчезли. Я и раньше замечал за шпаной такое умение: были — и нет их...

Кочан дружелюбно сказал:

— Я гляжу, вы с Копченым махаться начали. Ума, что ли, мало? Он бы вас со своими парнями размазал по афишам, как клейстер...

— Сам полез, — коротко разъяснил Форик.

— Вообще-то он такой, — согласился Кочан. — Приширок-дуц, ну его... Ваша очередь где?

Краткий боевой эпизод с Копченым не был очень шумным и не привлек внимания тех, кто стоял за билетами. Очередь Форика между тем подошла к окошечку вплотную, и он заспешил.

— Постой! Купи мне тоже... — Кочан протянул деньги. Форик не спорил. Сейчас мы любили Кочана всей душой. А он не упустил случая, извлек из этой любви еще одну выгоду: — Я между вами сяду, будете мне подписи читать. Вы люди грамотные...

Дело в том, что фильм был заграничный, без дубляжа, с титрами внизу кадра. Для многих это составляло немалую трудность: не успевали читать и следить за действием. Но мы с Чижиком и правда были «грамотные», книгочеи. Надписи на экране схватывали вмиг. Оказалось, что и Форик — тоже.

Нынешние дети не знают великого счастья, которое называется «кино».

Да, в кинотеатрах идут широкоэкранные цветные боевики. Да, почти в каждом доме есть ящик с экраном. А у многих есть компьютеры или приставки, с их помощью можно оживить на экране «мультишных» героев в разных играх. Герои эти от нажатия клавиш бегают, прыгают, лупят друг друга дубинками, рубят мечами и лихо изничтожают врагов с помощью автоматов и бластеров.

Но чрезмерное обладание — враг радости. Счастье не может быть настоящим, если вы способны вызвать его нажатием кнопки. Оно скоро становится бытом. Истинный праздник души — тот, что связан с преодолением трудностей и томительным ожиданием.

Таким праздником и было кино для тех, чье школьное время пришлось на сороковые годы.

Праздник, пожалуй, не то слово. Слишком узкое. Выражаясь по-современному, кино было для нас четвертым измерением. Оно до беспредельности расширяло наш тесный трехмерный мир с его жидкими фиолетовыми чернилами в непроливашках, с красными двойками на страницах в косую линейку, с заросшими чертополохом окрестными кварталами, с очередями за мукой и керосином и с вечным жужжанием примусов в тесных коммунальных кухнях.

Наш привычный, дремлющий на высоком берегу Туры город делался далеким, забывался, когда на экране юный Роберт Грант взбегал по вантам «Дункана» и звонко бросал в пространство Атлантики:

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!

Или когда «Парень из нашего города» мчался в своем танке в лихую атаку на фашистов!

Или когда крылатый корабль из Советской страны опускался на нищий итальянский городок, чтобы забрать в счастливую жизнь героев «Золотого ключика»...

Говорят, в ту пору снималось не очень-то много советских кинокартин. Но нам хватало. Часто шли в кинотеатрах доверенные фильмы, которые в свое время мы не смогли посмот-

реть по малолетству. То и дело повторялись ленты недавнего фронтowego времени. Ну и новенькое все же появлялось. Причем каждый раз это было событие. Взять, скажем, «Подвиг разведчика», «Первую перчатку» или «Весну» с Любовью Орловой.

К тому же многие фильмы смотреть можно было по десять раз, не надоест. Например, «Веселых ребят», «Остров сокровищ» с Черкасовым — Билли Бонсом, «Котовского» и «Золушку»...

Отпечаток кино лежал на всей нашей жизни.

Песни были — из кино.

Крылатые фразы — из кино. Помните? «Муля, не нервуй меня!», «Лично я ничего смешного на горизонте не наблюдаю...», «Коротка кольчужка...», «Я не волшебник, я только учусь»...

Последнюю фразу до сих пор любят обкатывать в речах и статьях педагоги и журналисты.

А прозвища! Сколько пацанов прожили свои юные годы под именами «Мустафа», «Саша с Уралмаша», «Чапай» или «Муля» — кто что заслужил.

Сколько клочкастых беспородных Джульбарсов появилось на улицах после фильма с таким названием!

Имела хождение в школьных кругах даже своя киновалюта. Называлась она «кадрики». Это были обрезки кинолент с одним или несколькими кадрами из фильмов. Чем известнее фильм и занятнее картинка, тем выше ценность.

Одним ребятам кадрики служили для игры и обмена — вроде фантиков и стальных перышек. Другие их собирали из любви к киноискусству — «копили», как принято было говорить. Кое у кого были настоящие коллекции. У меня было кадриков десять. Помню три из них. На одном (цветном и потому в ту пору очень редком) — улица в пожаре, девушка, сидящая на узлах, а рядом всадник с перевязанной головой, гусар. Это — из комедии «Старинный водевиль». А еще — парусник «Пилигрим» из «Пятнадцатилетнего капитана» и крупное, во весь кадр, лицо Тимура из фильма про его команду.

Откуда они брались, эти кадрики? Видимо, обрывки пленки оставались после ремонта и склейки потрепанных лент, а потом от знакомых киномехаников попадали к ребятам. Хо-

дили слухи, что где-то за речкой Бабарынкoй есть свалка, куда отвозят целые рулоны износившихся фильмов. Конечно, их полагалось не бросать просто так, а сжигать (потому что пленка тогда была ужасно огнеопасная!), но, видимо, сгорало не все.

Однако никто из нас толком не знал, где это заветное место...

Самыми ценными считались кадрики из трофейных фильмов.

Об этих фильмах особая речь.

Да будет известно нынешним знатокам цветных многосерийных историй о Зорро, Железной Маске, капитане Бладе и Робин Гуде, что мы в юные годы тоже знали этих героев. Правда, тогда фильмы про них были односерийными и чаще всего черно-белыми, но разве наша радость от этого была меньше?!

С чем сравнить жутковатый восторг, с которым уносились мы в мир бесстрашных, иронических и непобедимых мушкетеров, капитанов и рыцарей! В мир пробитых ядрами флибустьерских парусов и звонких, зеркально сверкающих шпаг! В мир джунглей и пустынь, сумрачных замков и подземелий с сокровищами...

Каждую такую кинокартину предворяла дрожащая и щечкочущая нервы надпись — белые буквы на темном экране: «Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Трофеи были почему-то чаще всего американскими, а не германскими. Видимо, коварные и жадные фашисты в свое время украли у наших союзников эти кинокартины.

Непонятно только, зачем такие фильмы нужны были немцам! Ведь ясно же, что и Зорро, и Д'Артаньян, и Робин Гуд, и бесстрашные корсарские капитаны были не «за них», а «за нас». Они воевали с богачами, защищали угнетенный народ, освобождали рабов — то есть делали совершенно обратное тому, что старался делать Гитлер и все, кто был за него.

Ну да ладно! Теперь-то фильмы у нас и справедливость восстановлена. Мы — победившая страна, мы имеем право на

счастье. И оно вот-вот начнется. Уже протарахтел второй звонок...

Недавно по одному из телевизионных каналов показали вдруг старую «Железную маску», где добро торжествует и королем Франции вместо коварного Людовика становится его брат-близнец Филипп, воспитанник мушкетеров. Увидев сообщение в телепрограмме, я приготовился погрузиться в прошлое. Чтобы испытать знакомое по детству замирание души.

Замирания не получилось. Нет, дело не в том, что фильм показался наивным, он вовсе даже не плох. И не в том причина, что стал я стар и умудрен. Просто не оказалось того, что в детстве было в о к р у г фильма.

Ведь раньше-то киносчастье начиналось задолго до сеанса.

Примерно за неделю до показа появлялась большущая, маслом написанная афиша — на углу Первомайской и Ленина. Там у решетки городского сада поставлен был специальный щит. Этакое произведение рекламной архитектуры из досок и фанеры — с фундаментом, похожим на прилавок в магазине, с пустотелыми колоннами по бокам и выпуклыми буквами наверху «Скоро на экранах».

В раму этого сооружения вставлялся большущий прямоугольник афиши. На ней, как правило, изображена была метровая голова главного героя — в шляпе с перьями, в парике, в старинном шлеме или в пиратской косынке. А за нею, на дальнем плане, — соответственно содержанию: горящие корабли, остробашенные крепости, джунгли или укрытая сумрачной ночью готическая улица. А бывали и мчащиеся всадники, и дерущиеся на шпагах фигуры (неизвестно пока, кто за кого).

С этого момента все дни окрашивались особым ожиданием. В нем смешивались радость и тревога. Радость — понятно отчего. Тревога же — потому, что путь до нумерованного места в кинозале был тернист.

Надо было выпросить у мамы трешку (не всегда ведь в кармане есть спасительная десятка). А лишних трешек в доме не водилось: мама не работала, сидела дома с моим маленьким братишкой, зарплата отчима была отнюдь не директорская. Отцовские переводы служили, конечно, подспорьем, но жи-

деньким. И убедить маму, что кино важнее, чем лишняя бутылка молока, удавалось с трудом.

Но в конце концов удавалось!

Для этого, правда, приходилось поклясться (очередной раз), что двойка по арифметике была абсолютно случайна и совершенно последняя и что отныне в тетрадках и в дневнике не будет не только двоек, но и троек. И что на рынок за картошкой и в керосиновую лавку я буду ходить регулярно и как на праздник, а не «как ленивая корова при виде палки». И что... Ну, в общем, ясно. Главное, что деньги на билет — вот они.

Но ведь и купить-то билет, как вы убедились, было не просто...

Но вот в руках вожденная полоска шершавой синей бумаги с размашисто начерченными числами: ряд, место. Теперь тревоги меньше, радости больше.

Суровая контролерша тетя Тася придирчиво смотрит: не сует ли ей зловредный пацан (знаем мы вас!) недействительный билет... Пронесло! Ты в преддверии рая. В широком вестибюле с шахматным полом из черно-желтых клеток.

В конце вестибюля — маленькая эстрада. Случается, что там играет баянист, а то и небольшой оркестр. Или исполняет песни из фильмов худая певица с подведенными глазами и в блестящем, как чешуя, платье. Впрочем, перед дневными сеансами это бывает не часто. Наверно, считается, что нет смысла развлекать гвалтливую ребятню.

Ну что же, можно до звонка поразвлекать себя и без музыки. Например, поразглядывать книги на лотке, за которым торчит тетенька, похожая на билетершу тетю Тасю. Или, запрокинув голову, полюбоваться гербами «республик свободных», из которых, как известно, состоит наш нерушимый Советский Союз. Гербы нарисованы на круглых фанеринах и украшают антресоли (с которых вход на балкон). Правда, гербы эти полиняли, поскольку висят еще с довоенных времен. Я их помню с самого юного, «додетсадовского» возраста, когда меня приносили в кино на руках. Мама рассказывала, что я называл тогда эти разноцветные штуки словом «бельгии».

С цих-то разговоров зацепилось в моем ясельном сознании, что Бельгия — это страна и что круглые цветные штуки в

кино тоже означают страны. И вот путаница двух слов да еще детское косноязычие превратили «герб» в «бельгий»...

А если не хочется предаваться воспоминаниям давнего детства, можно заглянуть в туалет. В этом есть некоторый отенок приключения. Туалет в подвале, но вход туда почему-то со второго этажа — вниз по узкой кирпичной шахте ведет скрипучая лестница. Надо быть осторожным. Во-первых, нельзя касаться ладонями перил. Говорят, хулиганы вроде Копченого вставляют в щели разошедшегося дерева осколки бритвенных лезвий. Во-вторых, сами эти личности дымят бычками под лестницей и могут прискрестись на предмет очистки карманов или ради развлечения.

Но риск придает путешествию вниз дополнительную романтику. Низкий подвал с фанерными ширмочками, надписями на стенах и светом заплыванной лампочки обретает колорит загадочного подземелья. Он — тоже часть нашего тревожно-радостного ожидания киносеанса. И даже туалетный запах, в котором едко преобладает хлорка, — запах этого ожидания...

Но вот наконец звонок! Вот твой ряд и твое место с повизгивающими шарнирами откидного сиденья. Стихающий гул, желтый полусвет кинозала. Многообещающе белеет громадный прямоугольник экрана (тогда на нем еще не было занавеса). Экран — в широкой раме из реек и с фанерным серпом-молотом наверху.

А по сторонам от рамы — красные узкие транспаранты с меловыми буквами. Слева, конечно, ленинское утверждение, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино» (и в данный момент мы всей душой согласны с Владимиром Ильичом!). Справа цитата на ту же тему, только более обширная. Разумеется, сталинская...

С детской поры я заметил, что Иосиф Виссарионович любил растолковывать краткие высказывания своего «друга и учителя». Например, ленинский призыв к школьникам состоял всего из трех слов: «Учиться, учиться и учиться...» А Сталин считал своим долгом разъяснить: «Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться, учиться упорно, терпеливо».

Эти две цитаты великих вождей украшали деревянный

щит, на котором вывешивалась школьная стенгазета (естественно, с названием «За учебу!»).

Размышляя над сталинской фразой, я находил ее малость корявой: почему во втором предложении написано «а чтобы знать» вместо «а чтобы овладеть наукой»? По причине грузинского происхождения Иосиф Виссарионович мог не разбираться в тонкостях русской стилистики, это вполне простительно. Но неужели не нашлось человека, который поправил бы его?

Или никто не решился? Наверно, каждый боялся, что за такое нахальство его могут отправить т у д а.

Взрослые никогда не говорили: вызовут в НКВД или заберут в МГБ (в разные годы это учреждение называлось по-разному). Обычно вместо грозного названия произносили полусшепотом и с оглядкой: т у д а.

Однажды, будучи первоклассником, я спросил дома, что означает это выражение. Отчим был в тот момент в подпитии и с ядовитым хмыканьем разъяснил, что это «Гюменское управление по делам антисоветчиков». Он с такими управлениями был хорошо знаком.

Мама замахала на отчима руками, а с меня взяла самое честное слово, что я никогда в жизни ни с кем не поделюсь такой расшифровкой безобидного коротенького слова...

Я и не делился. Охранительный страх сидел во мне долгие годы. Признаться, и сейчас еще сидит. Боюсь: а вдруг память подвела и я неточно процитировал товарища Сталина. Правда, нынче такие неточности уже не грозят большой бедой. А вот раньше...

Помню, как в университетской курсовой работе я пропустил запятую в цитате Фридриха Энгельса. Мало того что пропустил, но еще и в ответ на замечание нестигаемой преподавательницы истории КПСС простодушно откликнулся: «Ну, это же пустяк, сейчас исправлю...» О-о-о, что было! Лишь стремительное и смиренное раскаяние спасло меня от «неуда» и передачи. Я получил «уд» с большой натяжкой и длинными назиданиями, что в работах классиков марксизма-ленинизма нет пустяков и каждая запятая есть скрижаль нашего нерушимого революционного учения...

Извините, опять отвлекся.

Вот буквы на транспарантах исчезают. Все исчезает (свет выключался тогда не постепенно, как нынче, а моментально). И тут же — долгожданная надпись на экране: «Этот фильм был взят в качестве трофея...» Иностранные фильмы были длиннее наших, и днем их обычно «казали» без журнала.

4. Выстрелы на экране и в жизни

В тот раз шли «Королевские пираты».

Ух, и картина!.. Ух, и герой!..

Он был, конечно, пират, но не совсем... Во-первых, он получил на свои разбойничьи действия специальное разрешение королевы (хотя она потом и пыталась отпереться). Во-вторых, он грабил исключительно испанцев, которые везли в свою Испанию золото, отобранное у индейцев. То есть он, этот пиратский капитан, был за справедливость! Не совсем ясно, правда, почему он отнятое у испанских грабителей золото не возвращал индейцам. Но, поразмыслив после фильма, мы решили, что возвращать было некому: испанцы, видимо, перебили несчастных поголовно...

Черно-белые, с дождем царапин на истертой пленке корабельные битвы, штормы и дуэли шумно разворачивались на светящемся полотне. Чижик, Форик и я по очереди, без труда для себя, читали вполголоса титры. А иногда, увлекшись, переходили на полную громкость.

«Грот-брамсель и все марсели долой! Право руля! Крючья — к абордажу!»

«Увы, такова изменчивость судьбы, капитан! Мы поменялись ролями. Потрудитесь отдать вашу шпагу»...

«Сударыня! Хотя меня и называют пиратом, вам нечего бояться на этом корабле»...

Но у всякого счастья есть конец. Храбрый капитан получил от королевы (после многих приключений и поединка с коварным лордом-изменником) адмиральское звание, а перед нами во всей своей безысходности встала унылость школьных будней.

Мало того! Чтобы не опоздать на эти будни, надо было двигаться рысью. До звонка двадцать минут, а школа-то от кино знаете на каком расстоянии!

Но на этот раз нам очень повезло. Едва мы дошагали до улицы Челюскинцев, как подъехал к остановке автобус — желто-красный, тупоносый, похожий на московские троллейбусы, которые мы не раз видели в кино. Несколько таких машин лишь недавно появились в нашем городе — как вестники прогресса и близкого светлого будущего.

Мы прыгнули в заднюю дверь, которая с шипеньем открывалась (вот чудо техники!) сама собой.

Естественно, тут же надвинулась на нас автобусная «тетя Тася» с большущей сумкой и рулонами билетиков на груди. Мы безропотно отдали ей по шестьдесят копеек, чтобы доехать до остановки «Аккумуляторный завод». Кочан сказал, что у него нету, и занял у Чижика (и, конечно, никогда не отдал).

И автобус повез нас по бульжной мостовой — мимо желтого четырехэтажного горсовета, мимо Сада пионеров, мимо старинного здания сельхозтехникума, в подвале которого во время войны был спрятан привезенный из Москвы саркофаг с телом Ленина (это была великая тайна, которую в сороковых годах знали все тюменские мальчишки). А дальше — мимо старинного почтамта, мимо Краеведческого музея с черными остановившимися часами и пожарной вышкой на крыше. И по крутому берегу Туры по мосту через Тюменку...

Но это я сейчас мысленно вижу знакомый путь. А тогда мы не смотрели в окна. Фильм еще бурлил в нас, и мы обсуждали его, скучковавшись вчетвером на двухместном упругом сиденье.

— А он пригнулся и ка-ак даст тому рукояткой пистолета по кумполу!..

— А этот на него прыг! А потом за канат схватился — и на палубу!..

Я вставил свое слово:

— Если бы у испанского капитана не случилось осечки, тогда нашим, наверно, капец...

— Тогда бы и кино такого не было, — философски заметил Форик.

А Кочан радостно напомнил:

— Осечка! Как у тебя, Чиж! Что ты как придурок на Копченого со своим «нагашком» попер! Думаешь, он сдрейфил бы? Ха...

Чижик только вздохнул.

— Покажи «нагашек»-то, — миролюбиво сказал Кочан. — Да не бойсь, не возьму...

Чижик нехотя вытащил пугач из вельветового кармашка. Кочан взял на ладонь, качнул.

— Сам, что ли, склепал?

— Сам...

— А свинец залил в него?

— Не...

— Ну, ты, в натуре, без мозгов... Потому и осечка!.. Давай меняться, я его доведу до ума. А тебе дам вот это! — И Кочан, повозившись, вытащил из-за пазухи небольшое, со старинный пятак, увеличительное стекло.

— Не... Зачем оно мне?

— Зачем! Кадрики можно разглядывать. Или выжигать что-нибудь!

Чижик глянул на меня и на Форику. «Нагашек» было жаль, а спорить с Кочаном боязно. Форик вдруг сказал:

— Да меняйся... Стеклышко отдай мне, а я тебе завтра новый «нагашек» сделаю. Со свинцом.

— Ладно, — прошептал Чижик. Без всякой уверенности, что его не надули.

На мосту полуторка зацепила телегу с возом сена, случился затор. И к звонку мы успели еле-еле. Стало уже не до разговора о парусах и палубных схватках. На перемене я вышел на двор. Было сухо и солнечно. Народ играл в ляпки и гонял по вытопанной траве консервные жестянки. Я пошел к дальнему забору, чтобы посидеть там на поленнице. Это было место для тех, кому не хотелось окунаться в шумную беготню. А мне как раз не хотелось. Я вспоминал пиратское кино и думал, что обязательно пойду на него снова.

На поленнице я увидел Форику. Он устроился на дровах и разворачивал промасленную газету. Окликнул меня, будто ждал:

— Садись рядом, скорее...

Я забрался к Форику. Он отбросил мятый газетный лист, разломил пополам кусок пирога.

— С картошкой, тетя Катя пекла. Это моя тетка...

— Спасибо. Вы еще Чижик там... — не мог не сказать я. Потому что Чижик пасся неподалеку. Он вроде бы разглядывал облака. И я, зная Чижика, тут же ощутил, с какой жалобной ревностью он следит за мной и за Форику. За тем, как завязывается между нами приятельский узелок.

— Ну, так пусть идет к нам, — рассудил Форик.

Я крикнул:

— Чижик, иди!

И он взлетел на поленницу, словно и правда был чижиком.

Форик отломил ему порцию от своего куска. Я тоже. У всех стало примерно поровну. И Чижик тихо сиял. Ведь если с человеком делаются последним куском, значит, человек этот — свой...

Да, он сиял, но кушал аккуратно, подбирая с вельветовых брючек картофельные крошки. Потом заговорил, чтобы беседой закрепить свое равенство:

— Форик, а зачем тебе увеличительное стекло?

— Одну вещь делаю...

— Какую? Телескоп?

— Не телескоп. Когда закончу, могу показать. А раньше времени чего хвалиться...

Чижик покивал: понимаю, мол. И не обижаюсь...

— Ты, может, думаешь, что я забуду «нагашек» сделать? Сделаю, не бойся.

— Я и не боюсь, — сказал Чижик. Хотя, наверно, боялся...

Форик сдержал обещание: на следующий день принес Чижика «нагашек». Новенький, золотистый, с тугой красной резинкой.

— Держи. Все как надо, со свинцом...

Чижик благодарно засветился.

Дело было в классе, перед уроком.

— Только осторожнее, а то... — продолжил речь Форик, но на пороге возникла Зинаида Прохоровна.

— Почему в классе базар? Для кого звонок? Все по местам! Затем велела достать тетради.

— Положите их на край парты, я проверю домашнее задание. — И пошла по рядам.

Я был спокоен. Задачку и примеры я слуд у Чижика, потому что, по словам Зинаиды Прохоровны, был «полный тупица в арифметике».

Чижик продолжал радоваться подарку. Пока Зинаида была далеко, он вертел «нагашек» под партой и по-прежнему светился от счастья. Как я теперь понимаю, главное счастье было не в самом «нагашке», а в том, что отважный Форик Усольцев проявил к нему, к Вадику Чижикову, внимание и уважение...

Потом Чижик оттянул гвоздь-боек и нажал резинку.

Ка-ак ахнуло!

Синий дым пошел из-под парты. Меня смело со скамейки. Чижик окаменел с открытым ртом.

Класс на миг обмер, потом возвеселился. Хотя кое-кто был перепуган.

Только не Зинаида Прохоровна!

Ее нервная система была закалена долгой школьной жизнью крепче булата.

Завуч шагами пушкинского Каменного гостя приблизилась, откинула крышку парты и взяла из онемевших пальцев Чижика «нагашек». Затем уцепила преступника за воротник и воздвигла беднягу на ноги — легко, будто пустотелую куклу.

В Чижике что-то булькало. Он двигал губами.

— Я... б... Я б-бо... — Видимо, он силился поклясться, что больше не будет. На класс опять навалилась тишина.

Я с пола торопливо перебрался на скамью.

Зинаида выговорила со сдержанной скорбью:

— Я привыкла ко всему. Но представить такое... Представить, что Чижиков — Вадик Чижиков! — явится в класс с огнестрельным оружием — в голову мне прийти не могло. Никогда...

Чижик икнул на весь класс.

Я вскочил.

Вовсе не хотелось мне быть героем! И никогда не стремился я к самопожертвованию! Но что делать-то? Нельзя смотреть фильм про отважного капитана, а на другой день бросать в беде человека! Жутко представить, какой скандал разразится в филармоническом семействе, когда мама и папа Чижика узнают такое. Мало того, что у ненаглядного Вадика не оказалось музыкального слуха и он разбил мечты родителей о

своим лауреатском будущем! Еще и хулиганство! Превращение интеллигентного ребенка в стреляющего бандита!

— Зинаида Порох... Прохоровна! Это же не его «нагашек»! Это мой! Я дал ему посмотреть!.. Я его нашел перед школой, в траве! Хотел сразу выбросить на помойку, да тут звонок!.. Балда ты, Чижик, ведь говорил же я: не нажимай, вдруг заряжен!

Зинаида Прохоровна прожгла меня взглядом от стриженной макушки до ботинок и... поверила. То есть поверила, что «нагашек» дал Чижик у я. Но не тому, конечно, что я собирался выбросить его на помойку. Хотя я и тупица в арифметике, но не полный же идиот.

— Чижиков, сядь... — В голосе завуча было пренебрежение и облегчение. — И больше не смей баловаться на уроке посторонними предметами... А ты стой до конца урока! — Это я то есть...

Чижик, как вельветовый мешок с опилками, упал на сиденье. И бросил на меня мучительный взгляд. В нем были страдания совести и благодарность. И робкий вопрос: «Может, мне признаться?»

«Помалкивай», — ответил я тоже взглядом. Суровым. Зинаида Прохоровна пошла к двери. «Нагашек» она несла двумя пальцами — так держат за хвост дохлую мышь. В приоткрытую дверь завуч возгласила:

— Дина Львовна! Дина Львов-на-а! Зайдите в пятый «Б»!

И сразу каблучки — стук-стук-стук! В классе возникла юная Дина Львовна, которую между собой мы звали Диночкой. Она работала первый год, была учительницей третьеклассников и заодно — пионервожатой. Помимо этих должностей, Зинаида явно навязывала Диночке роль своей адъютантши.

— Я здесь, Зинаида Прохоровна!

— Дина Львовна, возьмите эту гадость и выбросьте в урну!

— Хорошо, Зинаида Прохоровна. — Диночка тоже двумя пальцами взяла гадость. — Можно идти?

— Пойдите...

— Хорошо, Зинаида Прохоровна.

— Вот его... — отточенный ноготь завуча устремился в меня, — вы внесете в список тех, кого должны посетить дома в

первую очередь. И пусть его родители узнают, что их сын приносит на уроки.

— Хорошо, Зинаида Прохоровна... — Диночка украдкой бросила на меня сочувствующий взгляд. Кое-кто из одноклассников — тоже. Мы знали, что по поручению педсовета Диночка ходит по семьям наиболее трудных учеников и дает указания, как воспитывать. Потому что она — наш красногалстучный командир.

Диночка удалилась, держа «нагашек» на отлете, как что-то дурно пахнущее.

А Форик вдруг поднял руку.

— Можно выйти?

— Что случилось?

— Тошнит почему-то... — Форик сидел впереди, лица его я не видел, но голос был страдательный.

— Еще не легче, — поморщилась Зинаида Прохоровна. — Ступай...

И Форик выскочил, грохоча сапогами.

Вернулся он с невозмутимым лицом. Видимо, хворь прошла.

А я, как и было предписано, до конца урока стоял столбом. И слышал тихие, виноватые вздохи Чижика.

После уроков Чижик сразу покаянно запричитал:

— Я не знал, что он заряженный... Теперь тебе дома попадет, да?

— Сиди, не хныкай. Нисколько мне не попадет.

— Но Дина Львовна же расскажет же...

— Ну и что? А я маме расскажу все, как было, она только посмеется. За такие дела меня никогда не ругают, это же не двойки...

— Тем более что «нагашек» по правде и не твой, — опять вздохнул Чижик.

— Да если бы и мой! Подумаешь! Мама в детстве сама стреляла из поджигов! Их делал ее брат, мой дядя Боря...

Чижик округлил рот. Мама, стреляющая из поджига, — это было для него за пределами всякой реальности.

Форик, стуча сапогами, подошел и слушал наш разговор. Потом сказал:

— Я же предупреждал: «Осторожнее».

— А я не понял... Я, наверно, безнадежно неразвитый, — опять покаялся бесчестный Чижик.

— Просто ты растяпа, — утешил я.

— А тебе правда ничего дома не будет? — опять застрадал он.

— Ничего... «Нагашек» только жалко. Форик зря трудился.

— Не зря, — сказал Форик. — Вот... Только поаккуратнее в другой раз. — И вынул из кармана тесной своей курточки «нагашек». Тот самый, с красной резинкой!

Чижик замигал. А я обалдело спросил:

— Откуда?

— Диночка отдала. Я ее догнал и все объяснил. Мы с ней друзья...

У Чижика опять округлился рот. Учительница в друзьях у пятиклассника (пусть даже такая юная, как Диночка!) — это для Чижика было непостижимо, так же как мама с пугачом. Я тоже глянул на Форика недоверчиво.

Форик деловито разъяснил:

— Она меня ценит.

— За что?

— За многое. Ну, во-первых, я спас ее из «кинобудки»...

5. Драмы вокруг «кинобудки»

Говорили, что в двухэтажном здании нашей семилетки раньше помещалось начальное городское училище. Таким образом, все здесь издавна было приспособлено для учебной жизни. Кроме одного: не было в доме туалетов. То есть в давние, царские, времена они, наверно, были, но потом начальство решило, что это буржуазная роскошь. Закаленным пролетарским детям ничего не стоит, если захотелось, пробежаться через двор. (Их наставникам — тоже.) А теплые туалеты вполне сгодятся для кладовок, в которых удобно хранить швабры и транспаранты для октябрьских и первомайских демонстраций.

Бегали мы к дальнему забору, где стояло сколоченное из горбыля сооружение под односкатной крышей. На пять «посадочных мест».

Дверей у заведения не было, вход прикрывался изогнутым, как буква «г», заборчиком.

Занозистые стены внутри были, как водится, исписаны по-всякому мелом и карандашами. Светились щели.

В эти щели всегда дуло. Дуло также через вход и снизу, в круглые отверстия. Зимой тут не засидишься.

И все же сюда стремились в любую погоду. Не только по главной причине, но и просто чтобы пообщаться вдали от педагогов. А то и покурить, если нет поблизости бдительного дяди Хвосты или других мужиков.

Учителя этим заведением не пользовались. Во-первых, почти все они были «женского рода». А директор, физкультурник и дядя Хвостя порой наносили сюда инспекторские визиты, но рядом с нами не присаживались — это было бы подрывом их авторитета.

Для учителей на другом краю двора стоял крошечный дощатый домик с квадратным окошечком в двери. Отсюда и название — «кинобудка». Это строение было похоже на будки для показа фильмов на летних открытых площадках. Я уже писал, как много в нашей жизни было связано с кино...

В прошлом году «кинобудка» обветшала, и летом дядя Хвостя сколотил новую — аккуратную, из гладких досок. Он гордился этим сооружением и любил его. Перед учебным годом он покрасил будку в милый своему сердцу военно-полевой цвет — как танк или артиллерийский тягач.

Каждый вечер в семь тридцать ровно дядя Хвостя шел в это заведение, чтобы посидеть вдали от суеты, выкурить самокрутку и отдохнуть после хлопотливого школьного дня. Учителя же ходили туда по мере надобности, без расписания.

Чтобы нахальный ученический народ не совался в это уютное учреждение, на дверь с окошечком дядя Хвостя повесил замок. Ключ от замка висел на гвоздике в учительской. Тот, кому было надо, снимал ключ, шел к будке, отпирал замок и вместе с ключом брал его с собой, внутрь. Отсутствие замка на двери издавна говорило, что там занято.

Для пущей красоты, а также для подтверждения прав педагогического коллектива дядя Хвостя на двери под окошечком вывел белилами аккуратную букву «У». То есть «для учителей».

Мы все были воспитаны в краснознаменное время, на лозунгах социального равенства и борьбы за справедливость.

Поэтому столь явное подчеркивание учительских привилегий вызвало в ученической массе глухое недовольство. Кончилось тем, что по сторонам от белого «У» кто-то вывел мелом еще две буквы.

Трехбуквенное слово на зеленой двери первой увидела шумная географичка Эмма Андреевна. И закатила в учительской истерику. Даже в коридоре были слышны ее вопли.

Эмму успокоили и начали следствие. Оно было кратким. Изначально ни у кого не вызывало сомнения, что автором безобразия был второгодник, двоечник и хулиган Кочнев.

И меньше всех сомневался в этом помначхоз дядя Хвостя.

— Он, паразит, попомнит у меня это слово! Я эти буквы его рожей с двери соскребу! И отвечать не буду, я инвалид!

Дядя Хвостя изловил Кочана в школьном коридоре.

— За хвост и на помойку! — И поволок сперва по лестнице, потом через двор. Но не на помойку, а к «кинобудке».

Дядю Хвостю и Кочана сопровождала толпа.

Кочан извивался и верещал:

— Пусти, псих! Это не я! Чё всегда я да я! Докажи сперва! Куда тащишь! Не имеешь права!

У дяди Хвосты, однако, о правах школьников были свои понятия. Упрощенные.

На полпути к «кинобудке» дядя Хвостя запыхался, остановился, удерживая верткого вопящего второгодника и хулигана. В этот миг Кочан ухитрился крепко вделать ему каблуком под колено.

— Ах ты гнида, в вошебойке недожаренная! — Дядя Хвостя выкрутил Кочану руку, нагнул его и начищенным старшинским сапогом дал ему пинка. — Сейчас я тебе выпишу по всей ведомости. И отвечать не буду...

Одутловатая щека дяди Хвосты сделалась лиловой, а все лицо его излучало сладость долгожданной и справедливой мести. Он медленно отвел ногу для второго пинка.

И в этот миг на помначхоза налетело что-то разноцветное, золотоволосое и растрепанное.

— Как вы смеете! Прекратите! Это советская школа, а не бурса!

Так мы впервые увидели Диночку. Юное существо с разлетевшейся прической, в цветастом, словно клумба, платьи-

це. Лицо существа пылало, лаковая туфелька слетела и застряла в мокрой жесткой траве «пастушья сумка».

Незнакомка вцепилась в рукав гимнастерки.

— Не смейте! Это ребенок!

Дядя Хвостя от неожиданности ослабил хватку. Ребенок вырвался и умчался к поленнице. Там он яростно завопил.

Дяди Хвостя зашелся новой злостью:

— А ты кто такая?! Фифа напوماженная! Да я тебе... — И даже вскинул руку.

— Не смей!.. Я учительница!.. Я...

Дядю Хвостю уже тянула назад тетя Тома. «Фифу» загородила от него и успокаивала Зинаида Прохоровна. Кочана держал мускулистый учитель физкультуры (бывший разведчик) Иван Матвеевич, потому что Кочан подобрал кусок кирпича и хотел запустить им в помначхоза (и при этом мог попасть в кого угодно). Кочан изворачивался и орал, что все равно изничтожит этого недобитого власовца, тыловую крысу и ворюгу. Грозил прокурором, который хорошо знаком с его отцом, фотомастером Кочневым, и который дядю Хвостю обязательно посадит. Грозил Гринею, который дядю Хвостю зарежет...

Но ни Кочана, ни осипшего дядю Хвостю мы уже не слушали. Главный наш интерес был теперь к незнакомке. Неужели правда учительница?

Семиклассник Ружецкий по прозвищу Дыртаньян подал ей слетевшую туфлю.

— Возьмите, пожалуйста.

— Спасибо, мальчик...

Так появилась в нашей школе Диночка. Почему-то не первого сентября, а на неделю позже (наверное, из-за каких-то неувязок с гороно).

Третьеклассники сразу сделали от нее в восторге. Не всегда слушались, но ходили за ней толпой. Пионерский актив — тоже. Учительницей Диночка работала в первую смену, а вожатой во вторую.

Основное школьное население относилось к Диночке с усмешкой, но беззлобно.

Была Диночка добра, простодушна и порой неумеренно восторженна. Однажды мы в коридоре слышали, как Зинаида спросила ее:

— Ну, Дина Львовна, как ваши третьеклассники?

— Ох, всё замечательно, Зинаида Прохоровна! Жаль только, что нет девочек, они всегда такие милашки!..

Вовчик Лагутин из пятого «А», имевший склонность к эхидному стихотворчеству, тут же пустил в массы частушку:

Мальчики-детки,
Кушайте конфетки,
Девочки-милашки,
Кушайте кашки!

За это он был подвергнут приводу в учительскую и воспитательной беседе. Но — в отсутствие Диночки. Завуч не хотела травмировать юную наставницу и вожатую цитированием безнравственного текста. А та на частушку просто не обратила внимания, хотя на переменах ее часто исполняли вслух.

Диночка всем улыбалась, и ей все улыбались. Только дядя Хвостя при виде «фифы» мрачнел и обходил ее стороной...

Нехорошее слово на «кинобудке» он густо закрасил все тем же военно-полевым цветом, а букву «У» заново рисовать не стал. Чтобы никого больше не вводить в искушение...

Всё это мы знали. Непонятно было другое: как Фोरик спас Диночку из «кинобудки»?

Оказалось, что история такова.

Диночка, при всем ее изяществе и легкости, все же не была феей, и у нее, как и у других педагогов, иногда возникала нужда посетить будочку. Но правил Диночка еще не знала. И однажды не взяла замок внутрь, оставила вместе с торчащим ключиком на кольце откинутой щеколды.

В это время проходил мимо дядя Хвостя — шел проверить поленницу у забора (недалек был отопительный сезон). И увидел замок. Странное дело — висит, но не заперт.

— Эй, есть там кто-нибудь?

Диночка стыдливо притихла.

Дядя Хвостя, ворча, захлопнул щеколду, щелкнул замком, а ключ положил в карман. Решил, что это рассеянная Анна Семеновна забыла замок на двери (такое случалось раньше и вызывало у помначхоза справедливое неудовольствие).

Едва стихли мерные хозяйственные шаги, Диночка осознала драматизм положения. Ждать, когда кто-нибудь придет?

А если это будет мужчина? Какой скандал!.. Голосить на весь двор? Тоже скандал...

Дина Львовна прильнула к окошечку.

Тут, на счастье, топал мимо будки скромный и серьезный на вид пятиклассник. Форику, разумеется. Отпросившись с урока, он выбрал на поленище кусок сосновой коры для кораблика и, довольный, возвращался в класс.

Диночка решила:

— Мальчик... Эй, мальчик... Понимаешь, меня нечаянно заперли. Ты не мог бы взять в учительской ключик и принести сюда?

Форик сказал, что мог бы. Была уважительная причина прогулять еще несколько минут, не сидеть на занудной ботанике.

— Мальчик, но только ты никому... про это. Ладно?

Форик резонно возразил, что «никому» не получится. Спросят ведь, зачем ему ключ.

— Ох, что же делать?..

Форик снисходительно шевельнул плечом. Поднял из травы ржавый изогнутый гвоздик. Колупнул в замке — тот открылся.

— И все дела...

— Ох, мальчик... Ты ведь не станешь рассказывать про это? Мои третьеклассники не должны знать о своей учительнице смешное...

... — Но вы-то не третьеклассники, — заметил Форик, поведая нам эту историю. — Вам можно. Только помалкивайте, а то Диночка решит, что я трепло... А сейчас она меня во как уважает! Не только из-за того случая, еще и за Контуженого Сему.

— За кого? — снова округлил рот Чижик.

6. Скелет и влюбленные

Случай с Контуженым Семой тоже заслуживает отдельного рассказа.

Сема был сторожем на огороде.

Огород располагался на заднем дворе старого двухэтажного дома, где жил Форик.

До революции в таких крепких домах с кирпичным низом и бревенчатым верхом обитали купцы и прочий зажиточный люд: сверху — семейство хозяев, внизу — прислуга и приказчики. А в наше время всеобщего равенства и справедливости на каждом этаже сделали по нескольку коммунальных квартир. Так что у Форики было много соседей. Самый хороший сосед был бравый демобилизованный сержант Гриша — худой, усатый и полный воспоминаний о фронтовой жизни, хотя она и кончилась четыре с половиной года назад.

Гриша всю войну прошел шофером — на полуторках и «газиках», на «ЗИСах» и тяжелых американских «Студебеккерах». За лихость и знание техники был замечен командиром дивизии и последний военный год служил водителем генеральского «Виллиса».

— Так вдвоем мы и въехали в Берлин, — прочувствованно рассказывал Гриша Форику. — Душевный мужик был Федор Григорьевич. Я его и после войны возил. А потом чего-то не поладил он с командованием, потому как говорил все, что думал. Ну и услали мужика из Белоруссии в самый северный гарнизон. Я просился с ним, а он говорит: «Мне, Гриша, конечно, и там водитель положен, да кто им будет, решать уже не мне. Кого дадут, с тем и буду ездить, сам понимаешь. А ты, — говорит, — просись на гражданку, жениться тебе пора...»

Проблемой женитьбы водитель Гриша был озабочен постоянно, поэтому все свободное время тратил на контакты с прекрасной половиной человечества. Но, несмотря на старания, бравую внешность и множество звонких медалей, невесту по душе отыскать не мог. Все его романы были коротки и заканчивались грустно.

Впрочем, Гриша утверждал, что заканчивает романы он по собственной инициативе. Потому что не находит в знакомых девицах «глубокой души» и «сердечной обстоятельности».

— Видишь ли, Формат Георгиевич, одно дело на танцы ходить, а другое — строить капитальное совместное существование. Это должна быть боевая подруга на все годы жизни.

Форик согласно кивал. Они с Гришей понимали друг друга.

Кроме Гриши, было в доме много других жильцов. И каждый владел грядками с картошкой и прочими огородными

культурами. Грядки были у каждого свои, а заботы общие. И одна из забот — нахальные воробьи, вороны и галки. Они вели себя на огороде, «как батальон СС в оккупированной деревне».

Нынешней весной две соседки — тетя Настя и бабка Агаша — сказали Форику:

— Ты же у нас голова, прямо инженер и профессор. Придумал бы какое-нибудь пугало, а то опять не будет житья от этих паразитов.

— Не боятся они пугал!

— Обыкновенных не боятся, а ты сообрази такое, чтобы у них душа в пятки. Ты же головастый...

Форик почесал «головастую голову» и задумался. И чем больше думал, тем больше этой идеей увлекался.

Он обтесал метровый деревянный брус. Проволокой примотал к нему несколько старых обручей от бочек. Получилась могучая, как у гориллы, грудная клетка. Из расплющенного ведра с пробитыми в нем дырами Форик смастерил «тазобедренную область» — как у скелета в учебнике анатомии для старших классов (у Форики имелся такой на всякий случай). К этой железке он прикрепил тощие ноги из реек. Ноги болтались и сгибались. У них были костлявые ступни из палочек. А к верхней части скелета Форик прикрепил такие же суставчатые руки. Их длинные деревянные пальцы зловеще постукивали друг о друга.

Форик рассуждал так: если скелетов боятся люди, то и птицы должны их бояться — они ведь еще глупее людей.

Вместо черепа Форик приспособил старый скворечник, несколько лет валявшийся за сараем. В скворечнике была лишь одна дырка. Форик пробил долотом еще две — получились черные глазницы разной величины и формы. Потом Форик белилами нарисовал зубастый рот с грустно опущенными уголками.

То, что череп угловатый, Форику не смущало. У него у самого голова была почти такая же. Возможно, Форик ощущал некую мистическую связь между собой и костлявым пугалом, которое назвал Семей. Сам не знал, почему Сема. Пришло у голову, вот и все.

Форик не церемонился с Семей, но все же относился к не-

му почти как к одушевленному существу. Именно поэтому он отверг совет Гриши надеть на череп-скворечник немецкую каску (лежала такая у Форики в кладовке). Форик сказал, что Семе будет обидно торчать у всех на глазах во вражеском головном уборе.

Выражение лица у Семы не было зловещим. Он смотрел пустыми глазницами на мир философски-иронично. Однако в общем и целом «шкелетина» была довольно страховидная.

Форик смонтировал эту конструкцию за сараем. И там же покрасил ее известкой, оставшейся от побелки кухни. (Только череп красить не стал, чтобы не замазать оскал.)

Затем Форик большущими гвоздями прибил шкелетину к шести, а шесть вкопал посреди огорода.

Но это была лишь половина работы. Теперь необходимо было оживить страхилатину.

Форик в то время уже от корки до корки прочитал «Занимательную физику» Перельмана и знал о чудесных свойствах рычагов. Рычаги он приспособил к тонким конечностям Семы. А к рычагам — веревки. Протянул их между грядами и вдоль забора к огородной калитке.

На дальнем краю огорода стояло дощатое строение — того же назначения, что «кинобудка» в школьном дворе. Жильцов было много, поэтому тропа через огород, как говорится, не зарастала. Железные петли калитки повизгивали с утра до ночи. К ее нижнему краю Форик тоже прикрепил рычаг, а к нему — концы веревок.

Если калитку открывали неторопливо, Сема на шесте сначала поднимал руку, словно хотел отдать честь. Потом рука сгибалась в локте, а кисть жеманно повисала. Зато другая рука и ноги сильно дергались «враздрыг». И голова дергалась. Шест качался, и сторож Сема пускался в расхлябанный пьяный танец.

Когда же калитку распахивали резко, скелет словно взрывался — раскидывал руки-ноги, как лучи. Пляска его была бешеной и не стихала долго.

Первый ужас от знакомства со страшилищем испытали не птицы, а бабка Агаша, которая ни монтажа, ни установки Семы среди гряд не видела. В сумерки, толкнувши калитку, шагнула она в огород и...

С воплями и небывалой для своего ревматизма резвостью бабка Агаша ворвалась на кухню первого этажа и с причитаниями известила о явлении на огороде толпы мертвецов, какое явление, конечно же, свидетельствовало о наступающем конце света.

Муж тети Насти и Гриша отпоили бабушку холодным чаем с примесью портвейна (к которому приложились и сами).

Потом было много смеха, но были и попреки в адрес Форики — чуть не уморил пожилого человека.

Форик резонно возразил, что пожилой человек сам надумил его соорудить пугало.

— Да не такое же страховидное, окаянная твоя душа!

— А если не страховидное, что это тогда за пугало! Кто его будет бояться?

Аргументы Форики были признаны разумными. Тем более что рядом находились его постоянные заступники: муж тети Насти дядя Игорь, Гриша и родная тетушка Екатерина Викторовна.

Вскоре жильцы убедились, что со своими обязанностями Сема справляется превосходно. Птицы боялись его панически. Владельцы грядок Сему полюбили, и даже бабка Агаша порой подкрашивала его свежей известкой.

За дерганость движений Сема был награжден эпитетом Контуженый. Под этим именем он стал известен во всем квартале между улицами Нагорной и Луначарского. К сожалению, квартал этот давно снесен, и память о Семе исчезла...

Все лето Сема добросовестно нес круглосуточную службу. А к сентябрю одряхлел. Кой-какие рычаги пообломались, веревки ослабли, известка осыпалась, обнажив Семино ржавое и деревянное естество. Ну и ладно. Все равно овощи были уже убраны.

Форик решил отправить Сему на зимнее хранение. Но погода была паршивая, разбирать шкелетину под дождем не хотелось. Форик оторвал пугало от шеста и приволок на лестничную площадку второго этажа. На площадке имелся люк. Форик собирался аккуратно размонтировать Сему и по частям отправить его через люк в кладовку под лестницей.

Но тетушка попросила Форику сходить на рынок за молоком, а потом пришло время отправляться в школу. И Сема

остался сидеть, прислоненный к стене рядом с дверью. И случилось так, что именно в тот день у пионервожатой Дины Львовны выпало по списку посещение трудного ученика и пионера Усольцева.

Стати, трудным он был объявлен за хладнокровие, которое проявлял в беседах с классной руководительницей пятого «А».

— Понимаете, она какая-то неспособная к рассуждениям, — делился он потом со мной и Чижигом своим недоумением. — Спросит о чем-нибудь, а сама не слушает и сразу начинает орать. Я ей говорю: «Успокойтесь, пожалуйста, поберегите голосовые связки, я сейчас вам все объясню...» А она: «Ты еще учить меня будешь, да?! Убирайся обратно в свою дурацкую начальную школу и учи там кого хочешь!» Я ей объясняю: «Ну подумайте, как же я туда уберусь, если в ней всего четыре класса, а я уже в пятом? Посчитайте сами спокойно и внимательно...» А она: «Я тебе покажу «подумайте»! Он еще смеет говорить, чтобы учителя думали за него!» — «Да не за меня, а за себя...» — «Пошел вон из моего класса и там думай сколько хочешь, а я не собираюсь!..»

Вот и шла Диночка, чтобы познакомиться с условиями, в которых данный учащийся проживает, и поговорить с родителями о недостатках в его воспитании. (В школе не знали, что родителей Форики в городе нет.)

День, как назло, выдался слякотный, а была Диночка в лаковых туфельках, поскольку считала, что резиновая обувь портит ее стройную педагогическую внешность.

Диночка отыскала нужный дом и стала подниматься по лестнице, на которой днем и ночью горела жидким светом лампочка. Ступени были крутые, Диночка внимательно смотрела под ноги. И лишь на полпути глянула вверх.

Могучий грязно-белый скелет сидел, скрючив ноги и упираясь в пол руками. Пустые глазницы смотрели на Дину Львовну сумрачно и безжизненно.

Диночка вскрикнула, как раненая чайка, и полетела с лестницы, взметнув изящные ножки в почти неразличимых паутинчатых чулках с тоненькими швами на икрах.

Кончиться это могло ужасно, если бы не случайность, какие любят придумывать авторы чувствительных кинофиль-

мов. Здесь не фильм, а правдивое повествование, но что было, то было. Счастливая судьба послала в эту секунду к лестнице Гришу — он приехал на обед с автобазы.

Гриша поймал легонькое существо в объятия...

Какие там были слова и объяснения, можно лишь предполагать — свидетелей не оказалось. Так или иначе, скоро выяснилось: кто, что и зачем. Тетушка Форики к тому времени уже ушла на дежурство, так что педагогический визит не состоялся. А покинуть дом сразу Диночка не могла, потому что при падении обломился на туфельке тонкий каблук.

Продолжением этого эпизода было то, что вскоре Диночка, смущенно поджав ногу, сидела в Гришиной комнате, а хозяин вдохновенно занимался башмачным ремеслом, коим владел не хуже, чем шоферской профессией.

Видимо, от взаимного смущения Диночка и Гриша вели разговор главным образом о Форики. Диночка рассказала, со слов Зинаиды, о трудном мальчике, а Гриша уверял, что его юный приятель вовсе не трудный, а покладистый и разумный.

— Знаете, какой башковитый! И придумать может все, что хотите, и руками мастерит! Далеко пойдет, вы мне поверьте...

Он расхваливал Форику с такими подробностями, что вскоре Диночка сообразила: Усольцев это и есть пятиклассник, освободивший ее из неприличного плена. И вспыхнула к Форику новой благодарностью и симпатией.

Конечно, симпатия эта была лишь отражением тех чувств, что стремительно и взаимно разрослись в сердцах героя-водителя и юной наставницы третьеклассников.

Несмотря на впечатление излишней тонкости и недостаточной житейской опытности, именно в Диночке Гриша усмотрел наконец «глубину души и сердечную обстоятельность». Дальнейшие события доказали правильность выбора. Через год Гриша и Диночка поженились, а еще через год у них родился сын, который впоследствии стал мастером по велосипедному спорту...

Но я сильно опередил события.

В момент нашего разговора — после случая с пугачом — ни о чем таком никто еще не догадывался. Ни я, ни Чижик, ни сам Форик. Он лишь объяснил нам о причине симпатии Диночки к нему, к Форику Усольцеву.

— А Гриша мне за это трансформатор подарил, чтобы напряжение для лампочки понизить в аппарате. — Форик доверительно рассмеялся. — Так и сказал: «Трансформатору — трансформатор»...

7. Кино под лестницей

Оказалось, что полное имя Форики Усольцева не Формат, а Трансформатор. Так было записано в метрике!

В тридцать восьмом году, когда Форик появился на свет, его отец работал на электростанции, был передовик, ударник и активист. И мама Форики работала там же, пока не ушла в отпуск по беременности. Оба родителя были молоды, полны комсомольского задора и уверенности в построении близкого коммунистического счастья. Ведь электростанция расширялась и перестраивалась, по стране возводилось множество других станций, в том числе и громадных. То есть шла повальная электрификация, которая вместе с советской властью и была основой для построения коммунизма. Так утверждал Владимир Ильич Ленин, и не верить этому было невыносимо.

Комсомольские настроения освещали ярким факелом не только производственную, но и личную жизнь молодых супругов. Поэтому стахановец Георгий Усольцев и решил дать сыну не обывательское, а новое, индустриальное имя.

Не он один, кстати, поступал так в романтические годы первых пятилеток и небывалых производственных рекордов. Я знал, например, мальчишку-ровесника по имени Днепрогэс. У моей сестры была подруга Рита, смущенно скрывающая свое полное имя Индустрия. А в соседях у нас жила девица Кома — по паспорту Коммунара.

Юная мама Усольцева слегка поспорила с папой (хотела Сереженьку), но уступила мощному велению времени.

В первый день войны отец Форики ушел добровольцем и вскоре оказался на передовых позициях. Попал в окружение. Вырвался. Воевал в партизанах. Потом вернулся в регулярную армию, заслужил медали и два ордена, стал офицером, командиром роты и в сорок седьмом году благополучно воз-

вратился на родную электростанцию. И сделался начальником смены.

Но в прошлом году, когда Форик пошел в четвертый класс, отца вызвали т у д а. И он не вернулся. Т а м Георгию Усольцеву сказали, что он — враг народа, поскольку осенью сорок первого года сдался в плен и целый месяц провел в немецком лагере.

Отец Форика не сдавался: попал к немцам, когда был без сознания, после обстрела снарядами. И вскоре вместе с другими пленниками бежал, перебив охрану. Какой же он враг? С его-то наградами!

— А почему вы не написали в анкете, что были в плену?

Отец и правда нигде этого не писал. Потому что знал: каждый, кто живьем попал в лапы к фашистам — пускай хоть ненадолго и случайно, — по сталинскому приказу считается изменником и трусом. Будь ты хоть самый-самый герой!

— Вы думали, что можете обмануть советскую власть и органы? Не выйдет...

И поехал папа Форика снова «за проволоку». Уже за советскую. Куда-то в район Салехарда.

Мама, конечно, кинулась выяснять и доказывать. Был у нее безбоязненный характер.

Ей сказали, чтобы не совалась и помалкивала, если не хочешь отправиться следом за мужем.

А мама хотела! Следом! И не стала ждать, когда об этом позаботятся власти. Отправилась на Север сама — в поселок, что был недалеко от лагеря. Устроилась в этом поселке на работу.

Видимо, лагерь был не с самым строгим режимом, ей иногда удавалось видеться с мужем. Такие встречи и еще надежда, что светлое будущее все-таки когда-нибудь придет, спасли в конце концов их обоих. Но это позже...

Форик, разумеется, все знал про отца. И соседям все было известно. Однако существовала версия для посторонних: о том, что папа и мама Усольцевы завербовались на Север в какую-то геологическую партию, чтобы подработать денег (по скольку светлое будущее пока еще не наступило).

Эту версию Форик сообщил вначале и мне с Чижиком. Постепенно все нам стало известно, однако мы продолжали

делать вид, что верим в «геологов». Форик понимал, что мы знаем правду, и ценил нашу деликатность. По молчаливому согласию мы старались поменьше говорить о родителях.

Жил Форик с Екатериной Викторовной, старшей маминной сестрой. Муж ее погиб на фронте, детей у нее не было. Форика тетушка обожала. Иногда покрикивала на него с ненатуральной строгостью. Зато другим никогда не давала племянника в обиду. Будь на месте Форика кто-то другой, он мог бы отчаянно избаловаться при такой жизни. Но у Форика оказался прочный характер. Он смотрел на жизнь здраво и деловито.

Конечно, с подробностями жизни Форика мы познакомились не сразу. А началось это знакомство, когда он позвал меня и Чижика к себе.

Тетушка и Форик жили в двух тесных комнатах на втором этаже. Когда-то здесь же обитали и его родители. После их отъезда стало просторнее, но Форика это, разумеется, не радовало. Тем более что у него для собственной жизни было отдельное помещение.

Помните, где жил папа Карло из «Золотого ключика»? В каморке под лестницей! Так вот, жилище Форика тоже находилось под лестницей. Правда, название «каморка» ему не очень подходило. Это был длинный, но узкий (метра полтора, по ширине лестницы) чулан. Вверху, на полках, громоздилось разное барахло: мятые тазы, сломанные стулья, какие-то коробки, узлы, мотки проволоки, бутылки, рама от велосипеда и даже старый пружинный матрас.

На полке пониже хранились инструменты Форика и всякие полезные железки. Здесь же лежала треснувшая немецкая каска и смутно выступала из сумрака голова Контуженого Семы... Кстати, следующей весной Форик так и не собрал Сему. Сказал, что неохота. А голову-скворечник прибил к шесту над забором. Скворцы не захотели селиться в щелястом жилище с тремя дырами. Однако эту жилплощадь охотно заняли воробьи. Ну что ж! Форик сказал, что и это неплохо, воробьям тоже где-то жить надо...

В чулане было тепло, потому что в него выходил краешек большой кухонной печи (которую все жильцы первого этажа топили по очереди). Попадать в чулан можно было двумя пу-

тями: снизу через дверь или сверху через люк, по узкой, сколоченной из брусьев лесенке.

Часть потолка была косяя и ступенчатая — под лестницей же! Ступени то и дело скрипели: жильцы ходили вверх-вниз. Но нам этот скрип не мешал. Он даже создавал дополнительный уют, когда мы укрывались от окружающей жизни в этой дощатой конуре, пахнувшей пылью, сухой краской, старым деревом и лыжами. Несколько пар лыж (в том числе и Гришины) стояли в углу, и ввевшаяся в них мазь сохраняла запах с прошлой зимы. Мне казалось, что лыжи пахнут Новым годом. А еще пахло соленой рыбой и нагретой изоляцией.

Запах рыбы шел от посылочного ящика, из которого Фोरик смастерил «киноаппарат». (В ящике мать прислала Форику и тетушке обскую рыбу под названием «сырок».) А «электрический» запах давал трансформатор, который находился в аппарате.

Сперва трансформатора не было, и Фोरик засовывал в ящик обычную электрическую лампочку, подключенную к сети. Но она так перегревала внутренность проектора, что однажды в нем вспыхнула лента с диафильмом «Валерий Чкалов — великий летчик нашего времени». Фोरик успел накинуть на ящик половик — спас аппарат, а заодно и дом. Но «Чкалова» спасти, конечно, не удалось — пленка в те времена горела ой-ей-ей как! Фोरик никому не сказал об аварии, кроме Гриши. Тогда Гриша и пообещал трансформатор. И вскоре подарил.

Теперь в фанерной коробке, обклеенной изнутри фольгой, помещалась лампочка от автомобильной фары — яркая, но безопасная.

Усовершенствовал Фोरик и объектив — за счет линзы, которую выменял у Кочана. Изображение на экране стало крупнее и четче.

Между лампочкой и объективом в ящике располагалась сделанная из консервной жести рамка. Через нее можно было протягивать ленты с диафильмами. А можно было вставлять и отдельные кадрики из кинокартин — так умело Фोरик эту рамку сконструировал.

Диафильмов у Форики было пять или шесть. Но мы их почти не смотрели. Нас интересовало настоящее кино! Пускай даже в виде отдельных неподвижных картинок!

Экран Форик соорудил почти как в настоящем кинотеатре. Выпросил у тети Кати кусок старой простыни, натянул на деревянный подрамник и сделал окантовку из черной бумаги от фотопакетов. Прибил это сооружение верхним краем к одной из ступенек потолка. Получился теперь не чулан, а маленький кинозал...

Мы здесь собирались почти каждый вечер. И моя мама, и даже родители Чижика в конце концов смирились с тем, что дома появляемся мы не сразу после школы, а где-то в десятом часу.

Узкое помещение под лестницей стало нашим общим домом. Домом и маленьким языческим храмом. Фанерный, пахнувший рыбой диапроектор был как алтарь, у которого мы собирались для поклонения великому чуду киноискусства и нашей стремительно расцветающей дружбе.

Наши коллекции кинокадриков мы по-братски объединили в одну. Набралось не меньше сотни, было что разглядывать...

Я до сих пор во всех деталях помню эти вечера. И запахи чулана, и скрип ступеней, и тихое жужжание трансформатора, и деловитую возню Форики у аппарата.

Ящик стоял на табурете, Форик устраивался перед ним на низком чурбаке. Я блаженно разваливался на топчане, покрытом дырявым ватным одеялом. А Чижик садился на ступеньку лесенки под люком, будто настоящий чижик на жердочке.

— Форик, включай!.. Давай сперва тот кадрик, где Володин с негритенком, из «Цирка»!..

Форик не спорил. И вспыхивал на экране знакомый-презнакомый кадр, и казалось, что звучит под ступенчатым толком колыбельная:

Спят медведи и слоны,
Дяди спят и тети....

Мы сами не замечали, что начинаем мурлыкать мелодию...

Иногда над нами открывался люк, и тетя Катя в корзинке на шпагате спускала нам что-нибудь перекусить: то ватрушки с картофелем, то по куску пирога с сырком. Она работала вахтером на какой-то базе и уходила на дежурство через сутки, а

в свободное время любила повозиться на кухне, испечь что-нибудь, если удавалось добыть в магазине муку. Тогда к обычным запахам чулана добавлялся, проникал в щели еще один, очень аппетитный...

Мы жевали и сопели от удовольствия, а на экране менялись картинка за картинкой...

Не все кадры были знакомыми. Иногда мы не могли понять: откуда это? И случалось, что Форику говорил:

— Надо спросить у Стасика. Он все знает.

Стасик был его знакомый семиклассник, большой знаток всего, что касается кино. Форику рассказал, что есть у Стасика даже киноаппарат, на котором можно прокручивать настоящие фильмы.

— Не может быть! — изумился Чижик и чуть не упал со ступеньки.

— Может! Я сам его крутил!

— А что же ты нас туда не сводишь? — сказал я ревниво. — Или нельзя?

— Я спрошу у Стасика, можно ли, — пообещал Форику.

8. Прерывистое движение

Через несколько дней Форику познакомил нас со Стасиком. Это оказался рослый смуглый паренек. Был он старше нас всего на два года, но вел себя так, будто он и не школьник даже, а чуть ли не студент. Правда, к Форику он относился с некоторым уважением (видимо, как к младшему коллеге), а перед нами откровенно важничал.

Но показать аппарат согласился сразу.

Это был механизм, чем-то похожий на ручную швейную машинку «Зингер». Старинный. Даже по понятиям сороковых годов — старинный. Он явно принадлежал эпохе, когда вместо патефонов люди слушали неуклюжие кубические граммофоны с огромными трубами и когда самолеты строили из реек и ткани. Печать этого давнего времени лежала и на зубчатых медных валиках (я видел такие в механизме музыкальной шкатулки у своего приятеля Лешки Шалимова), и на тяжелом, как у адмиральской подзорной трубы, стекле объектива, и на изогнутой чугунной станине. Станину украшал вы-

пуклый орнамент с плавными изгибами и завитушками — такой же, как на страницах давнего журнала «Нива».

На подставке аппарата была медная бляшка с витиеватыми иностранными буквами и числом 1912. Число явно означало год рождения этой машины. Буквы же я не разобрал, а спросить постеснялся.

Почтенный возраст киноаппарата, однако, ничуть не умалял нашего восхищения. Даже наоборот! Ведь древность сокровища лишь увеличивает его цену. А этот аппарат, безусловно, был сокровищем. И техническим чудом — хотя крутить это чудо надо было вручную. Сбоку у аппарата был медный маховик с красиво изогнутой ручкой.

Конечно, мне и Чижик очень захотелось повертеть ручку. Хотя бы вхолостую!

Стасик снисходительно усмехнулся.

— А вы знаете, как ее надо вертеть? Прерывисто или плавно?

До той минуты мне казалось, что крутить ручку надо равномерно. Однако в вопросе Стасика крылась уловка, и я уверенно сказал:

— Прерывисто...

— Эх ты! Вертеть надо плавно... — И он завертел. Аппарат ровно зажужжал.

— Вот так... А теперь скажите, как движется лента в аппарате? Плавно или прерывисто?

Здесь уже не оставалось сомнений! Если ручка, то и лента...

— Плавно! — разом отозвались мы с Чижиком.

— Эх вы! Лента движется пре-ры-ви-сто. Смотрите.

Стасик проворно надел на откидные рычаги плоские жестяные катушки, с удивительной ловкостью протянул киноленту через множество роликов и заправил ее в щель перед объективом. Широкой петлей. И опять взялся за ручку.

Проектор теперь не зажужжал, а застрекотал, усиливая тем самым сходство со швейной машинкой. Лента побежала через ролики и зубчатый барабан. Побежала и... замерла там, где изгибалась петлей, — у щели, которая называлась (мы это потом узнали) «фильмовый канал». Мы понимали, что лента продолжает скользить, но окошечки перфорации на ее краях казались совершенно неподвижными.

Мало того! Неподвижными сделались и кадрики на пленке!

Лампа в проекторе не горела, но от люстры падал яркий свет, и кадрики на ленте были прекрасно различимы.

Оказывается, замершими были только рамки кадров! А внутри их беззвучно металась крошечная киножизнь!

Мы с Чижиком сунулись носами к самой киноленте. И разглядели, как малюсенькая женщина в бальном платье упала ничком на диван. Вбежал в комнату и остановился над женщиной такой же крошечный (но живой!) мужчина во фраке...

Позже я узнал, что это из фильма «Маскарад» — по драме Михаила Юрьевича Лермонтова, которую я тогда еще не читал, а читал только «Белеет парус...», «Бородино» и сказку «Ашик-Кериб»...

— Как это получается? — выдохнул Чижик.

— Там в механизме такой крючок, — снизошел до разъяснений Стасик. — Он дергает пленку за дырочки на краях. Она дернется и замрет, дернется и замрет. А в кадре возникает эффект движения. И на экране. Ясно?

Мы сказали, что ясно. (А что еще следовало сказать?)

Чижик спросил:

— А на экране можно посмотреть?

Стасик ответил, что можно. И приколол к стене кнопками ватманский лист. Такого капитального экрана, как у нас, у Стасика не было...

Стасик оказался совсем неплохим парнем, хотя порой строил из себя взрослого. Мы бывали у него не раз, и он постепенно показал нам все свои ленты. Это были отрывки из самых разных кинокартин. Небольшие — минут на пять, а иногда и того меньше.

Казалось бы, какой интерес крутить кусочки фильмов без начала и конца! Но дело было не в содержании. Мы испытывали радость и замирание от прикосновения к чуду. Великое чудо кино, которое раньше обитало лишь в своих храмах — кинотеатрах! — теперь приходило запросто в тесную ребячью компанию, под невысокий домашний потолок с бабушкиной люстрой, в обычную комнату с никелированной кроватью и шкафом-буфетом, который своими стеклами дружелюбно отражал мерцание аппарата.

Мы были соучастниками этого чуда. Могли поставить ленту, какую хотели. Могли ускорить и замедлить движение героев фильма на экране. Могли их заставить ходить и бегать задом наперед — вот была потеха!

Правда, это домашнее чудо, в отличие от большого кино, было беззвучным. Поэтому нам особенно нравился отрывок из мультфильма «Бэмби» (цветного, кстати!). Тот, где показано, как начинается весна и подросший олененок ведет разговор с филином. Разговор мы понимали, потому что кадры были с титрами.

А еще мы любили смотреть знаменитую сцену из «Чапаева» — психическую атаку белогвардейцев. Помните, как они строгими шеренгами, под черным знаменем с черепом и костями, с винтовками наперевес маршируют на позиции красных? На н а ш и позиции! Прямо на кинозрителей.

Нам казалось, что мы слышим зловещий барабанный марш.

Лента обрывалась еще до того, когда Анка-пулеметчица посылает в строй каппелевцев первую смертоносную очередь. И, откровенно говоря, я был рад этому.

В ту пору ни друзьям, ни даже самому себе я не смел признаться, что мне жаль этих красивых, стройных и (никуда не денешься, это сразу видно) храбрых офицеров. Шевелилась в душе смутная догадка, что идут они под пули не ради своего буржуйского богатства и не ради пустого дворянского фанфаронства...

Что ни говорите, а это страшно: идут, идут, и вот — р-раз! Та-та-та-та! И уже многих нет. В одну секунду!.. В настоящем кинотеатре, когда очередной раз показывали «Чапаева», я, бывало, даже зажмурился в этот миг.

И хорошо, что здесь, у Стасика, этого не было. Дождавшись последнего момента перед обрывом ленты, крутили мы ручку назад. И хохотали с облегчением, когда офицерские шеренги торопливо маршировали обратно, спиной вперед. Пусть уходят...

И уже тогда мелькала мысль: если бы на самом деле можно было вовремя крутнуть в обратную сторону рукоятку, не доводить дело до большой крови...

Тогда же шевелилась и догадка — о том, что, может быть, не только в киноленте, но и на самом деле время не монотон-

но, а прерывисто и состоит из бесконечного множества картинок жизни. Кажется, теперь это ученые и фантасты называют «корпускулярной теорией времени» или как-то еще в том же духе...

Несколько раз мы с Форицом заговаривали об этом, но разговор быстро угасал: нам не хватало слов, чтобы выразить философские и физические сложности. Так сказать, имела место «недостаточность терминологического запаса»...

Чижик в этих разговорах не участвовал. Он любил сказки, непонятности мира его не интересовали. А может быть, и пугали. Зато прерывистое движение киноленты Чижик прекрасно освоил на практике.

Вот как это было.

Стасик подарил нам метровый кусок ленты от кинокомедии «Свинарка и пастух». Тот момент, когда этот самый пастух-дагестанец мчится на коне отстаивать права на свою невесту — свинарку Глашу. В аппарате Стасика этот отрывок проскакивал за пару секунд. Чижик научился продергивать ленту через наш фанерный фильмоскоп — коротенькими, длиной с кадрик, рывками. Конечно, это было гораздо медленнее, чем в настоящем кинопроекторе. И на экране возникало сильное мелькание. Но и движение возникало! Лошадь толчками вскидывала копыта, всадник судорожно приподнимался в седле, конская морда делалась все крупнее, приближалась к зрителю...

— Чижик, давай еще!

— Сейчас... — Чижик был безотказен.

— Чижик, еще раз!

— Пожалуйста!

Этот фильм длиной в несколько мгновений мы могли смотреть, смотреть и смотреть. Потому что создавали его как бы собственными руками. Вернее, Чижик создавал, но при нашем горячем, восторженном участии. Кстати, он умел продергивать ленту так, что кадрик всегда оказывался точно в рамке.

— Давай снова!

Но в конце концов — надоедало. И мы опять принимались за разглядывание отдельных кадриков.

Их теперь у нас было больше прежнего. Стасик расщед-

рился однажды, подарил пригоршню обрезков. Там оказалось даже несколько трофейных: про трех мушкетеров, которые на самом деле были поварами.

Самого Стасика отдельные кадры не интересовали. Ему нужны были ленты для проектора. Чем длиннее, тем лучше. Стасик добывал их у каких-то взрослых парней, имеющих дело с кинотехникой: выменивал, покупал. Вообще-то дела эти были, наверное, не очень чистые. Стасик от разговоров про них уклонялся. Ну, мы и не лезли с расспросами. Гораздо важнее, что Стасик обещал подарить еще несколько длинных обрывков. И мы заранее предвкушали, как Чижик начнет с четкостью механизма пропускать их через наш фанерный ящик и на экране оживут знакомые (а может, и незнакомые) киноперсонажи.

И это будет новое счастье. Даже большее, чем у настоящего кинопроектора!

Потому что у Стасика было хорошо, но в чулане под лестницей все-таки лучше. Это был полностью наш мир, наша кино, наша жизнь.

Здесь мы делились тети-Катиными пирожками и секретами, пересказывали друг другу любимые книжки, рассуждали про устройство Солнечной системы и порой даже пели песни. Мы так подружились, что уже не стеснялись, хотя вообще-то пение считалось девчоночьим делом.

Но мы не просто пели, мы озвучивали наше кино! Если попадался кадрик из фильма, известного своими песнями, мы тут же затягивали:

Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя приводил...

Или:

Первым делом, первым делом — самолеты...

Самой любимой была песня Дика Сэнда. Когда на экране появлялась бригантна «Пилигрим», Чижик тоненьким голосом начинал:

Кто решил стать моряком,
Кто покинул отчий дом...

И мы не отставали:

Пусть теперь о тихой жизни не тоскует!

Мы пройдем сквозь шторм и гром,
Где все пляшет кувырком,
Напевая песенку такую...

Вдохновение разгоралось в нас, и сухопутный чулан начал казаться кубриком под корабельным трапом. Его даже покачивало.

Пусть молнии грозят нам в небесах —
Все равно мы не опустим паруса!
Честь и долг велели
Нам дойти до цели!
Пусть ветер завывает и ревет,
Пусть в ярости он снасти наши рвет,
Мы знаем путь один —
Вперед!..

Не уверен сейчас, что слова эти помню точно. Старый фильм про юного капитана Сэнда иногда показывают и в наши дни, но почему-то Дик больше не поет в нем свою песенку. Наверное, эти кадры вырезали, когда ленту реставрировали. Только в оркестровом выступлении прорывается знакомая мелодия. Хотя не исключено, что я путаю. Может быть, эту песенку отважный Дик пел не в фильме, а в радиопередаче «Клуб знаменитых капитанов»...

Не думаю, что наши песенные номера отличались музыкальностью. По крайней мере, бабка Агаша сказала нам однажды на крыльце:

— Ну вот, принесла вас опять нечистая сила. Снова небось глотки драть будете под лестницей...

Остальные жильцы относились к нам снисходительно. Я бы сказал даже — с пониманием. И мы продолжали «драть глотки», если возникал на экране «песенный кадр»...

Стасик не обманул нас — подарил еще два куска киноленты. Один — из уморительной короткометражки «Старый двор» (там, где дворники с метлами наступают на мальчишек-футболистов), а другой — из какой-то спортивной хроники — с боксерами на ринге.

И, конечно, опять мы были счастливы!

Но пора сейчас рассказать про еще один подарок Стасика. И про то, чем это кончилось.

9. Щелкунчики и Зинаида

Однажды Стасика крепко надули. Он договорился, что за сломанный немецкий фотоаппарат ему дадут часть «Веселых ребят». Ту, где музыканты в общезитии устраивают восхитительную драку.

Сделка состоялась. Но когда Стасик принес рулон домой, оказалось, что пленка с желанными кадрами лишь в самом верхнем витке. А дальше — склеенные куски с разными надписями и схемами, обрывки из каких-то технических фильмов. А была и «голая», прозрачная пленка.

Стасик горестно проклял вероломных жуликов, но выяснять и спорить не пошел. Обманщики были из блатных, связываться с такими — себе дороже.

Погоревав, Стасик отдал нам и обрывок пленки с началом драки, и весь обманный рулон. Он был размером с тарелку.

Кадрики с музыкантами Утесова мы с удовольствием посмотрели два десятка раз. А что делать с остальными лентами?

Им тоже нашлось применение.

Форик принес рулон в школу, и несколько дней мы щедро одаривали всех, кто просил, длинными кусками киноленты. Из нее скручивали блестящие скрипучие тросточки, которыми можно было фехтовать и безболезненно лупить друг друга по макушкам. Но самое главное — из пленки получались отличные щелкунчики.

Кусочек целлулоидной ленты складывался так, что превращался в хитрую штучку с треугольными лапками и плоским брюшком. Давишь такой игрушкой о парту, лапки поджимаются, и брюшко — щелк!

Раз — щелк, два — щелк, а потом сухая рассыпчатая морзянка. И сразу не разберешь, откуда она: щелкунчик-то крошечный, в пальцах почти не виден.

Надо ли говорить, что скоро трескучая эпидемия сотрясала школу, как тропическая малярия!

Заразу следовало пресечь, а для этого — выявить ее источник. Преисполненной педагогических навыков Зинаиде Прохоровне такая задача показалась нехитрой.

— Кочнев! Это твоих рук дело?!

— Ну чё Кочнев! — в искреннем возмущении зашелся Ко-

чан. — Чё снова Кочнев! Никогда ничё не докажете и сразу на Кочнева! Это опять ваш помзахвост на меня наклепал, я его зашибу из-за угла когда-нибудь!..

— Кочнев, марш из класса! И без отца в школу не являйся!

— Ну и не явлюсь! Пожалуйста! А у вас все равно никаких доказательств нету, всегда бочку катите сослепу...

— Марш, я сказала! Наворовал у отца фотопленок да еще отпирается!

Ну, что было делать? Кочан, он, конечно, тот еще фрукт, но ведь сейчас-то не виноват!

Форик устало, даже со скрипом, встал за своей партой. Я, с самым пакостным ощущением в душе, тоже стал подниматься. Думаю, что и верный Чижик поступил бы так же, но, к счастью, он сидел дома с простуженным горлом, это с ним случилось частенько.

Форик мне за спиной показал кулак — украдкой, но решительно: не встречай, мол. И сообщил небрежно:

— Зинаида Прохоровна, да Кочнев правда ни при чем. Это я кинопленку принес.

— Перестань болтать! Дурацкое геройство! Зачем ты выгораживаешь этого хулигана? Ему место в милиции!

— Ну чё опять «в милиции»-то?! — снова загомосил Кочан. — Ничего не доказали и скорее «в милиции»!

Под эти вопли Форик деловито достал рулон из сумки. Отнес к учительскому столу.

— Я это на свалке в логу нашел. Берите. И все дела...

Он был тяжелый, рулон-то, мы успели раздартить не больше трети.

— Та-ак... Дина Львовна!.. Дина Львов-на-а!

Стук-стук-стук...

— Я здесь, Зинаида Прохоровна!

— Дина Львовна, возьмите это и немедленно выбросьте в уборную!

— Хорошо, Зинаида Прохоровна!

Стук-стук-стук...

Завуч уперлась в Форика твердым, как указка, взглядом.

— А ты, голубчик, не воображай, что чистосердечное признание избавит тебя от наказания!

Форик шевельнул плечами. Он и не воображал.

— Будешь сидеть после уроков два часа. И решать дополнительные задачи! И не уйдешь, пока не решишь все, что я задам! Хоть до полуночи!

После уроков Зинаида напомнила Форику, чтобы он не вздумал смазать пятки, а то хуже будет. Оставила его в пустом классе и дала лист с условиями задач.

Когда она ушла в учительскую, я снова скользнул в класс. К Форику. Он скорбно и тупо смотрел на задачи.

— Я это не решу и до утра...

— Погоди...

Я поднял с пола забытого бумажного голубя, развернул, приткнулся к Форику и на мятый листок начал «скатывать» условия задач.

— Диктуй, чтоб скорее...

Потом я схватил сумку, сдернул с крючка в раздевалке свою тужурку и помчался. Но не домой, а к Форику. Вернее, к его соседу Грише. Я был уверен, что застану там и Диночку.

И не ошибся.

Гриша и Диночка застеснялись, когда я после короткого стука влетел в комнату. Возможно, они целовались перед этим. Впрочем, Гриша тут же изобразил радостное удивление:

— А! Привет! А Трансформатор где?

Я откровенно сообщил, глядя в упор на Диночку, что «Зинаида окончательно рехнулась и решила уморить Форика задачками и держать его в школе до утра, если не решит...».

— Какой ужас! — искренне перепугалась Диночка. — Так нельзя! Я... в школу! Сейчас!..

— Лучше решите это! — Я протянул бумагу.

— Давай... Ой... Я такие не помню уже когда решала... Тут, кажется, в пять действий...

Тем не менее она за пятнадцать минут справилась с задачами. Гриша торопливо разыскал ручку, чернила и лист — какую-то старую шоферскую ведомость с чистым оборотом. Диночка написала на нем решение почерком примерной ученицы.

— Вы, наверное, были в школе круглой отличницей, — не сдержал я благодарного восхищения.

— И в институте, — почему-то вздохнула Диночка.

— Спасибо, Дина Львовна! — Я сунул свернутый лист в сумку и помчался в школу.

Форик сидел в пустом классе. Одиноким и покорным судьбе. Увидел меня — и покорность сменилась надеждой!

— На! Все готово!

Форик засветился тихим торжеством. Лег на парту грудью и начал квадратным своим почерком (который, на мой взгляд, отражал квадратность головы) переписывать решение в тетрадь. Я, чтобы не мешать, сел на другую парту, сзади.

Едва Форик перестал писать и спрятал черновик, явилась Зинаида.

— Что, Усольцев? Время идет, дело стоит? Имей в виду, никуда не уйдешь, пока не решишь!

— Я уже решил. Вот.

— Что ты мне голову морочишь! Дай тетрадь... Гм... Здесь что-то нечисто.

— Что опять нечисто? — дерзко сказал Форик, не вставая. — Что ни делай, вам все неладно! Больше я решать не буду, у меня голова не железная! Хоть убейте... И все дела. — Он отвернулся и лег щекой на согнутый локоть.

Зинаида Прохоровна сказала, что убивать его, Усольцева, не следует, а вот надрать уши за нахальство было бы полезно. И она обратится с этим предложением к его тете.

Затем она излила порцию негодования на меня:

— А ты что здесь торчишь? Тебя я после уроков пока не оставляла.

Я встал.

— Мы же вместе пленку ребятам раздаривали. Значит, и сидеть должны вместе... — И запоздало ахнул про себя: а вдруг она и меня заставит решать?

— Кому сидеть, это я определяю, а не ты! Отправляйся домой!

— А что, нельзя разве подождать? Мы боимся идти домой поодиночке, вон какая темнотища!

Это было, конечно, вранье.

— Ох-ох-ох! Они бо я т с я! Носиться в этой темнотище по улицам до полуночи им не страшно, а тут... Ты, наверно, помогал Усольцеву разобраться в задачах!

— Я?! Вы же сами говорили, что я в классе самый тупой по арифметике!

Завуч, кажется, слегка смутилась.

— Я говорила не совсем так, не выдумывай... — И тут же задавила в себе смущение. — Имей в виду, Усольцев, свои два часа ты все равно отсидишь полностью. До восьми!

Форик, не поднимая головы, шевельнул спиной: подумаешь, мол... Зинаида тяжело застучала ботами, пошла к двери.

Я сел рядом с Форицом. Он поднял голову, показал язык закрывшейся двери и засмеялся. Я тоже.

Но смех наш был короткий. Придвинулась к нам вплотную вечерняя печаль.

За окнами среди замороженных костлявых веток мерцали одинокие звезды. Над забором, у которого стояла злополучная (невидимая сейчас) «кинобудка», светился клочок облака. За ним прятался испугавшийся завуча молоденький месяц.

Казалось, что школа полностью опустела. Тишина была такая, что слышался звон раскаленных нитей в двух лампочках (остальные были выключены). Сколько еще сидеть-то? И есть хочется...

— Ой, я чуть не забыл!

Пока Диночка решала задачи, Гриша сделал нам бутерброды — из горбушек и маргарина. Сейчас я вытащил их из сумки, сдернул газетную обертку.

— На! Гриша сказал: сухой паек, как на позициях...

10. Театр теней в мировом пространстве

Паек повысил наше настроение. Мы дружно жевали и вели разговор, что Гриша и Диночка — хорошие люди и очень будет здорово, если они поженятся.

Но последние крошки были съедены, и грусть подкралась опять.

Парта, где мы сидели, стояла в крайнем ряду, недалеко от стены. Раздвоенные тени наших голов падали на выкрашенную голубой масляной краской панель, у плинтуса. Тень го-

ловы Форики была, разумеется, квадратная. Контуры теней выглядели размытыми.

Форик поднял над головой ладони, сцепленные большими пальцами. На стене возникла тень орла. Он лениво, но хищно шевелил крыльями с растопыренными перьями.

Я тоже сцепил и согнул пальцы — получился зайчонок. Орел неторопливо взмыл и нацелился на зайчонка клювом. Зайчонок перепуганно задрыгал лапами и удрал в тень парты. Орел недоуменно замер в полете, превратился в петуха и ку-карекнул.

Мы засмеялись и придвинулись друг к другу плотнее. Форик сказал уютным шепотом:

— Давай сделаем театр теней...

— Давай. Сейчас?

— Да нет, не такой. Настоящий. Я про него в журнале «Затейник» читал. Это очень просто. Надо только чистую бумагу натянуть на рамку. А потом вырезать из картона фигурки всякие. И деревья, домики, башни старинные... ну, все, что хочешь...

— Декорации.

— Ну да! Ставишь лампу и показываешь тени на бумаге, на просвет! Получается как кино! Даже лучше! Потому что в кадриках ничего изменить нельзя, а тут что придумаешь, то и можешь показать.

— Давай! Можно сделать кино о Змее Горыныче, про которого Чижик сказку сочинил!

Забегая вперед, скажу, что вскоре мы такой театр смастерили. И даже показали свой фильм (или пьесу — называйте как хотите) про Ивана-царевича, который летал на прирученном трехголовом змее, третьеклассникам Дины Львовны. И заслужили аплодисменты. Это было на новогоднем утреннике... Но почему-то увлечение театром теней оказалось у нас недолгим. Показывать кадрики из фильмов нравилось нам больше. Такова уж, видимо, великая власть киноискусства.

Впрочем, все это было после. А сейчас, в пустом классе с жужжащими лампочками, мы радовались, что вот придумалось у нас новое, замечательное дело!

— И Чижик обрадуется!

— Надо к нему завтра зайти, — решил Форик. — Скажем,

чтобы поскорее рисовал и вырезал артистов. Он же такой художник...

— Ага! А то он совсем от скуки измучился...

Я из пальцев сделал птичью головку, левой ладонью обхватил правое запястье. Опять получилась тень.

— Смотри, это бедный Чижик с замотанным горлом.

Форик стал разглядывать тень. Сочувственно. И, по-моему, чересчур долго и пристально.

Вдруг он сказал:

— Странно, да?

— Что?

— Ну... Чижик там, дома, а тень его здесь...

— Но... это же не по правде его тень... — Мне стало почему-то неловко. Словно сделал Чижик что-то неприятное. Вроде как подглядывал за ним без спросу. Я быстро положил руки на парту.

— Все равно. Получается, что его... тень... — Форик указательными пальцами потер щеки, глянул на меня, сдвинув коротенькие брови. Повторил напряженно: — Получается, что его... хоть чуть-чуть. Потому что ты ведь именно его показывал сейчас...

У меня — холодок по спине. Словно незримая колдовская нить протянулась отсюда к Чижикю. Может, он там, у себя, в уютной своей кровати с блестящими шариками на спинках, почувял наши мысли? Я хотел даже прошептать эту догадку, но Форик вдруг сказал о другом:

— А кино — это ведь тоже тени. Верно?

— Почему? — спросил я машинально.

— Разве не понятно? Тень — это же чей-то отпечаток на свету. Ну и в кино — тоже. Люди отпечатались на киноплёнке, и все дела...

Я согласился, что, пожалуй, это так...

— Я про это уже много думал, — тихо сказал Форик. — Про такие вот тени...

У меня почему-то — вновь холодок.

— Ну и что? — прошептал я.

— Все-таки между простой тенью и кино есть разница...

— Конечно, есть! — воскликнул я с облегчением. — Тени,

они ведь сплошь темные. А в кино — там же полная картина, как на фотографии...

— Это не главная разница, — негромко и строго возразил Форик. — Совсем не главная. А главная знаешь какая?

Я молчал. Не успел догадаться.

— Простые тени не отрываются, — с непонятной грустью объяснил Форик. — Ни от людей, ни от деревьев, ни от чего... А в кино они — оторванные. Сами по себе. Они... живут... Включается аппарат, и начинается жизнь. Уже не связанная с теми, чьи они тени. Снова и снова...

— Но это же... не по правде жизнь.

— Откуда мы знаем? — насупленно прошептал Форик. — Мы же не можем залезть в экран и проверить: по правде там все или нет... Ведь видится-то совсем как настоящее...

Неуют пустого класса сделался тревожным, и мне очень захотелось домой. И еще стало вдруг жаль Форику. Непонятно почему. Была в его словах неясная жалоба. Я не знал, что ответить.

А дальше... дальше я услышал от Форику — от пятиклассника Усольцева — то, что достойно взрослых мыслителей, озадаченных загадками человеческого бытия:

— Если эти тени, которые в кино, живые, то... может, мы тоже чьи-то тени? Ты про такое же думал?

Я про такое не думал. Никогда. Я — это был я. Настоящий, живой, весом в тридцать кэгэ, с тонким шрамом на подбородке и стрижкой полубокс с челкой. С кирзовой сумкой на ремне, с дневником в этой сумке, с двойкой по арифметике в этом дневнике (тоже, к сожалению, настоящей). Если по правде говорить, то я находился как бы в самой середине мира. Как же я мог быть чьей-то тенью?

Я помотал головой, прогоняя эту нелепость. И... страх. Но Форик заговорил опять — с насупленной вкрадчивостью:

— Ты подумай. Может, про нас... то есть не про нас, а про кого-то настоящего... кто-то снял кино и показывает это кино теперь. И мы — тени...

Я мотнул головой сильнее. Заспорил, чтобы защититься:

— Тени же плоские! Тоньше бумаги! В них же ничего нет! А мы... во какие... — Я развел ладони.

— Ну и что? Может, мы кино со стереоскопом. Говорят, бывает такое. Там тоже все выпуклое.

Я знал, что такое стереоскоп. На прошлый Новый год дядя Боря подарил мне раздвижную рамку с двумя линзами. В рамку вставлялись карточки с парой фотографий на каждой. Глянешь в стекла — снимки сливаются в один, и... аж дух захватывает: такое там настоящее, объемное. Хоть рукой трогай!

Если так, то... Да, в словах Форику была железная логика. По крайней мере, я не знал, что возразить. Можно было лишь захныкать: «Не хочу я быть тенью...» Но это было стыдно. И бесполезно.

Я проглотил сгусток страха и сказал небрежно (мне, мол, не так уж важно, тень я или не тень):

— Ну, а если мы кино, то кто его снял?

Форик отвернул лицо. Пожал плечами.

Я сбоку посмотрел на его плоское прямоугольное ухо и у этого уха нерешительно спросил:

— По-твоему, Бог?

Тогда слово «Бог» писалось с маленькой буквы, но я сказал его как с большой.

У меня с Богом были неясные отношения. Вообще-то я знал, что Бога в давние времена придумали богачи и жрецы, чтобы держать в угнетении простой народ. А на деле никакого Бога, и ангелов, и архангелов нет, а есть совершенно безграничное мировое пространство с бесконечным числом звезд и планет, которое было и будет всегда... Но все же какая-то неуверенность, непонятность оставалась в моей душе. Как это «было и будет всегда»? И кто «всегда» (вместе со звездами и планетами) сделал?... И хотя Бога (конечно же!) не было, я относился к нему с известной долей почтения. И случалось даже, что в ответственные моменты (например, перед экзаменом по арифметике прошлой весной) суетливо и украдкой осеял себя крестом, глядя на купола полуразрушенного Троицкого монастыря, что подымались над крышами недалеко от школы. И порой помогало. На экзамене, по крайней мере, помогло точно.

Мама хранила в бабушкином сундуке небольшую икону с Божьей Матерью и маленьким Иисусом. Когда я однажды

(еще в первом классе) спросил, есть все-таки Бог на свете или нет, мама сказала:

— По-моему, есть. Вырастешь — поймешь. Это каждый решает для себя сам...

Я вырос и решил. Но на это ушел не один десяток лет. А там, в пустом классе, я повторил с сомнением (хотя и уважительно):

— Кто же? По-твоему, Бог?

— Не знаю, — виновато отозвался Фори́к. — Не обязательно... Может, марсиане... Или лунные жители...

— На Луне жителей нету! Она же без воздуха, это ученые доказали.

— Снаружи без воздуха. А может, внутри она пустая, и там воздух и жители. Стасик рассказывал, что про это книжка есть...

Фори́к говорил, не оборачиваясь. Бесцветно как-то. И я вдруг догадался:

— Слушай... у тебя что-то случилось? Плохое, да?

Спина Фори́ка, обтянутая тесной курточкой, приподнялась и опустилась от горестного вздоха.

— Ничего не случилось... Только письма от мамы все нет и нет. Уже целый месяц. Я боюсь: вдруг там что-то с отцом. У него... работа опасная.

— Будет письмо! Фори́к, честно говорю: будет! Ты не бойся! Ну... вот сегодня придешь — и оно лежит! Вот увидишь!

Это я поклялся с отчаянным желанием обнадежить Фори́ка. Прогнать его тоску, которую в один миг ощутил всеми нервами. Поклялся и подумал в страхе: «А если не будет письма?»

Я зажмурился на миг, представил себе темные Троицкие купола. Даже с крестами представил, хотя на самом деле давно их там не было. «Пусть придет письмо! Ну, пожалуйста!!»

Письмо пришло. Фори́к узнал об этом, прибежав домой, а я — на следующий день. И оба мы были счастливы.

А в тот момент, при разговоре о тенях, мы ничего еще не знали. Но, видимо, своей уверенностью я вселил в Фори́ка надежду. Он повеселел. «Теневую» тему он не оставил, но она обрела у него иную окраску.

— Смотри, месяц... Там сидят лунатики и крутят про нас кино.

— Ага! Поставили аппарат и на нас луч пустили.. И мы в этом луче — дрыг, дрыг!.. — Я заболтал руками и ногами. От радости, что Фори́к ожил. — У меня даже щекотка от этого луча!

— И у меня!

Месяц над забором выбрался из облака и светил ярко-ярко. Может, и правда сидят на нем лунные жители с волшебным аппаратом? Но было теперь ничуть не страшно...

— Скоро Зинаида нас выпустит. Уже половина восьмого, — бодро сообщил Фори́к.

— Откуда ты знаешь?

— Смотри, дядя Хвостя в «кинобудку» пошел. Видишь огонек?

И правда, в темноте двора мелкими рывками двигалась к забору мерцающая искра самокрутки.

Мы следили за огоньком с удовольствием — он означал, что нашей неволи оставалось не более получаса (а возможно, Зинаида смилостивится и раньше). Когда маячок дяди Хвостя погас (видимо, оказавшись за дверью), мы продолжали задумчиво смотреть в заоконную тьму, как бы вслед огоньку. В тишине. Так продолжалось несколько минут.

И вдруг окошко «кинобудки» осветилось изнутри оранжевым огнем! И щели!.. Тут же огненный прямоугольник стремительно увеличился — распахнулась дверь. На этом пламенном экране метнулась согнутая тень. И даже сквозь двойные стекла мы услышали протяжный вопль. Вопль нарастал, будто сигнал воздушной тревоги, — тень приближалась к школе. А «кинобудка» разгоралась жизнерадостно, как пионерский костер.

11. «Но все же над нами горела звезда...»

Оказалось, что школа вовсе не была пуста! Во многих классах сидели арестанты. На первом этаже дописывал контрольную по математике седьмой «Б». В учительской еще оставались Зинаида и несколько самоотверженных педагогов.

Через минуту пылающую «кинобудку» окружила толпа. Перепуганы были только взрослые. У юных зрителей неожиданная огненная потеха вызвала великое любопытство с немалой примесью злорадства. К сожалению, фейерверк оказался коротким — со звоном и гудками примчалась красная машина из расположенного неподалеку пожарного депо. Нас отогнали.

Струи, шипение, освещенные фарами клубы дыма и пара... И все кончилось. Опять над забором одиноко засветился месяц.

Но мы еще долго не расходились, обсуждали событие, столь расцветившее унылый декабрьский вечер.

Причина, по которой запылала «кинобудка», объяснилась быстро.

Наша милая Дина Львовна, исполняя приказ непреклонной Зинаиды, унесла рулон киноплёнки в будку. Но Диночка не меньше нас любила кино. И прежде чем отправить злополучную ленту в застывшую яму, она решила посмотреть: нет ли на плёнке занимательных киноэпизодов? Ей ведь неизвестно было, что там одни надписи.

Запершись, Диночка разглядывала кадры на фоне окошка, а свободный конец склеенной ленты скользил вниз, в круглое отверстие на дощатом приступке. Там, внизу, киноплёнка укладывалась большой взъерошенной кучей.

Дядя Хвостя этого не знал. Посидев и умиротворенно подымив самокруткой, он бросил окурок под себя, в очко...

Среди семиклассников нашлись люди, которые утверждали, что видели своими глазами последствия. Будто бы они через окно заглядывали в пристройку тети Томи и наблюдали, как дядя Хвостя лежал на узкой солдатской койке уборщицы и «санитарка — звать Тамарка» своим целебным снадобьем мазала ему опаленную часть тела. Успокаивая читателей, скажу сразу, что для Диночки этот случай никаких последствий не имел. Наверно, Зинаида поняла, что виновата сама: не надо было сгоряча отдавать дурацкое распоряжение.

«Огненная история» укрепила дружескую связь тети Томи и дяди Хвостя. Вскоре он в роли законного супруга перебрался в пристройку на постоянное жительство.

Судя по всему, на пожаре дядя Хвостя пострадал не силь-

но. А может, лекарство тети Томи и правда было чудодейственным. По крайней мере, уже через день помначхоз ходил вокруг обугленных останков «кинобудки». А еще через пару дней соорудил для педагогов новое строение. Правда, оно было из горбыля, непокрашенное, но наши наставники были рады и такому. А то ведь «ни туды и ни сюды», как поется в известной кинокомедии (правда, по другому поводу).

Надо сказать еще, что после того случая дядя Хвостя полюбил. Может быть, причина в ласковом отношении тети Томи. Но не исключено, что облагородила его обжигающая сила киноискусства, которую он испытал отнюдь не в переносном смысле...

Да, но как теперь быть? Надо завершать рассказ, но не заканчивать же его историей про опаленную корму школьного помначхоза. Конечно, это довольно яркий эпизод. Но когда я думаю о наших детских киноувлечениях, вспоминается прежде всего узкий чулан под лестницей. Поскрипывание ступенчатого потолка, тепло от печной стенки, пыльный луч самодельного аппарата, добрая таинственность, полумрак и уют нашего кинотеатра.

Мы трое — Форики, Чижик и я — смотрим многочисленные кадрики и говорим о всяких своих делах. Не только про кино — про все на свете.

Лишь о том, что мы — тени, Форики и я не заговаривали больше никогда (а Чижик про это и не знал). Но сам с собой я рассуждал на эту тему еще не раз. И в конце концов подумал: ну, если даже и тени, то что с того? Все равно мы — живые. И может, не такие уж послушные тем, кто крутит про нас кино. Может, не только они на нас влияют, но и мы на них. Ведь на нашу-то жизнь ого-го как влияло кино!..

Да, мы немало времени проводили у самодельного экрана. Однако вовсе не были отпетыми домоседами. Иногда мы убежали играть на улице или кататься на лыжах со склонов глубокого лога, что тянулся позади дворов Нагорной улицы. Особенно хорошо это было при полнолунии, когда зеленовато искрились сугробы и старые черные ели над заснеженными крышами похожи были на таинственные башни.

Однажды Чижик чуть не затащил нас в настоящую сказку. Для нашего театра теней мы готовили пьесу про Ивана-царевича и трехглавого змея. Чижик вырезал из ватмана фигурку длинношеего крылатого дракона. И сказал, что спина у этого дракона должна быть чешуйчатой. Для этого он стал процарапывать на ватмане полукруглые отверстия. А потом таинственным шепотом сообщил:

— Я знаю, где живет настоящий Змей Горыныч. Не верите?

Нам хотелось приключений, и мы сказали, что верим. Чижик повел нас к мосту через Тюменку, где она впадала в Туру.

— Смотрите, как чешуя у дракона!

Ярко светила (просто пылала!) луна. Улица к мосту шла по спуску. Снег с выпуклой мостовой был счищен колесами грузовиков, которые днем тут ходили очень густо. Теперь было безлюдно и тихо. Отполированные булыжники блестели, будто чешуя громадного уснувшего змея.

— Он живет тут, под улицей, — шепнул Чижик. — Если сказать заколдованные слова, он может вылезти. На минутку. Ну, если не сам, то его тень.

— А какие слова? — в тон Чижик у шепнул Форик.

— Ну... вот, я придумал. Может, подойдет... — Чижик постеснялся две секунды и пробормотал:

Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем колдовать.
Змей Горыныч, на мороз
Высунь голову и хвост...

Мы с серьезным видом одобрили заклинание. И решили так: прочитаем его хором три раза, а потом укроемся за сугробами у лестницы, ведущей на улицу Нагорную. И подождем. Вдруг змей и впрямь покажется?

Луна была такая сияющая и снег мерцал так волшебным, что появление Горыныча казалось нам вполне возможным. Вот шевельнется чешуйчатая мостовая и превратится в живую спину дракона. А над обрывом подымутся три огненных головы на длинных шеях и загнутый спиралью хвост...

Мы сидели в сугробах не менее получаса. Несмотря на лунный свет, заглушающий большинство созвездий, прямо

над нами переливалась крупная звезда. Она усиливала ожидание сказки.

Один раз на искрящийся снег и чешую булыжников набежала тень. Видимо, облачко зацепило лунный диск. Но не исключено, что это была тень драконьих крыльев. Однако в тот же миг на спуске показался подвывающий автобус. Какое после этого волшебство?

Форик так и сказал:

— После такого безобразия фиг он вылезет...

— Но тень все-таки была, — заметил я, чтобы утешить нас всех, а главное — Чижика...

Хотя зачем утешения! Никакого разочарования у нас не появилось. Ощущение волшебства не исчезло. Все равно что-то было под этой луной, под переливчатой звездой.

Потом, вспоминая детство в студенческих стихах, я сочинил такие строчки:

Мы сказку лелеяли в сердце своем,
От сладкого страха немея.
Два друга и я колдовали втроем
В засаде на страшного змея.

Горыныч не стал вылезать из гнезда —
Не внял колдовскому обряду.
Но все же над нами горела звезда
И сказка была где-то рядом...

С этим ощущением сказки, озябшие, но довольные жизнью, мы вернулись в наш кинозал под лестницей. Радостно сжевали по горячему пирожку с капустой и включили аппарат.

Форик наугад выхватил из коробки кадрик. Вставил.

Оказалось — это Любовь Орлова. То есть американская циркачка Мэри. И рядом — советские друзья и ее сын-негртеночек у них на руках. А вокруг — первомайские знамена.

— Это когда ее спрашивают: «Теперь понимаешь?» А она говорит: «Теперь понимаю!»

Мы все это слышали будто наяву: и мелодию «Песни о Родине», и слова с американским акцентом:

— Теперь понимаю!

Американская артистка наконец поняла, в какой замечательной стране она оказалась. В той, где не угнетают негров,

где всегда вольно дышит человек и у всех ребят счастливое детство.

Мы тоже это понимали.

А что, разве не так? Негров у нас в самом деле не угнетали. Фашистов мы победили. К Новому году обещают снижение цен на продукты и промтовары. В городе появилось еще несколько новеньких автобусов, а в кинотеатре «Темп» с завтрашнего дня пойдет цветной фильм «Сказание о земле Сибирской». Хотя и не трофейный, но, говорят, замечательный...

Конечно, кое-какие сомнения по поводу счастливого детства и всеобщей справедливости у нас возникали. Особенно у Форики — сына капитана Усольцева, героя войны, а теперь обитателя одного из северных лагерей. Но все же справедливость готовилась победить и здесь. Форику было известно, что есть надежда на пересмотр отцовского дела.

Пересмотр состоялся, только позже. Георгий Усольцев вернулся домой в сентябре пятьдесят третьего года. Однако той зимой, в конце сорок девятого, Форик верил в близкую радость. Поэтому он, как и мы, знал, что детство у нас все-таки счастливое.

Да оно и было счастливым. Потому что мы делали его таким сами. Своими руками. Как фанерный киноаппарат, кораблики из сосновой коры, ледяную гору на углу Казанской улицы, пиратские костюмы для новогоднего утренника и пугачи из медных трубок. И нашу дружбу.

А кроме того, совсем близко были зимние каникулы. Уж они-то — самое неподдельное счастье.

ВОСИКОМ ПО АФРИКЕ

1

Ранним слякотным утром 2 ноября 1972 года я приехал в Шереметьево, чтобы сесть в самолет, улетающий на Кубу.

Было еще темно, отражения фонарей забько ежились в мокрых бетонных плитах. А в нашем громадном, как звездолет, четырехмоторном лайнере (это был «Ил», не помню уж, с каким номером) оказалось тепло и уютно. Однако очень скоро тихий уют сотрясло нарастающим ревом пропеллеров.

И они нас понесли сквозь дождливый рассветный воздух — круто вверх.

Какое-то время крылатая махина с дрожанием и тряской пробивала облака. И вдруг — синева! Тучи остались внизу и теперь были похожи на громадные чистые сугробы. А слева и сзади ударило в овальные иллюминаторы веселое умытое солнце.

Для тех, кто остался внизу, оно еще не взошло. Да и после восхода его не увидят за многослойной сырой хмарью. А здесь — пожалуйста! Незамутненное, первозданное.

Самолет бодро гудел, свистел искрящимися винтами: старался, чтобы солнце его не догнало. Однако наше неутомимое светило все же догоняло нас, пытаясь обойти «Ил» с левого борта. Но догоняло медленно: скорость у лайнера была ого-го какая, и потому утро растянулось на несколько часов.

Самолет мчался на юго-запад, постепенно догоняя лето. Или, по крайней мере, теплую погоду. То, что внизу нет унылой осени, стало видно примерно через час, когда облака исчезли и открыли под нами прозрачную глубину — до самой земли.

Я, к сожалению, сидел не у иллюминатора, а во втором от прохода кресле. У овального окошка удобно устроился самый пожилой член нашей писательской делегации — известный казахский драматург. Мы звали его, разумеется, Аксакалом. Между ним и мною углубилась в кресло наша переводчица — крупная дама средних лет, с высокой черной прической, непростым (как мы уже поняли) характером и привычкой восклицать в моменты удивления по-испански: «Фантастико!» Ей хотелось быть похожей на испанку, но мы про себя звали ее на французский манер — Мадам.

Слева сидел Барбудо — молодой огнебородый зам редактора детского литературного журнала.

Понятно, что мое место было не самым удобным для наблюдения из иллюминаторов. Поэтому я в конце концов перелез через добродушно ворчащего Барбудо и встал в проходе. Теперь можно было смотреть сразу в несколько окошек. И земля под таким углом была видна гораздо лучше.

Внизу медленно двигались острые зеленые хребты Югославии. Кое-где на склонах виднелись проплешины глини-

стого осеннего цвета, но в общем было впечатление, что там — полное лето.

Потом началась Италия: Средиземное море с неподвижной бирюзовой рябью, изумрудные грудки островов, желтая кромка берега в снежной оторочке прибоа. А дальше — покрытая растительностью суша с частыми вкраплениями очень синих озер...

Из-под алюминиевого дрожащего закрылка выполз белый городок с крошечной колокольней. Среди зелени я разглядел похожее на ребристую подкову строение. Что это? Стадион? Или развалины древнего амфитеатра?

Мне вдруг представилось, как там, на бугристых, прогретых солнцем камнях, стоит, задрав голову, мальчишка. Этакий Пепе из горьковских «Сказок об Италии»: тощий, смуглый, с дырами на мешковатых штанах и цветастой рубахе. Смеется и машет рукой нашему «Илу». Я улыбнулся и тоже помахал мальчишке (мысленно). И услышал голос стюардессы в динамике:

— Уважаемые пассажиры! Через десять минут будем пролетать Рим...

— Фантастико! — возгласила в своем кресле Мадам.

Никакого Рима я не увидел, хотя динамик повторил обещание по-испански и по-английски. По-прежнему тянулись мелкие белые городки. Может, это были римские окраины, а сам Вечный город оказался под брюхом «Ила»? Я глянул под ноги: словно пробил взглядом ковровую дорожку, дюралевую палубу, груды чемоданов и сумок в багажном трюме и клепаную обшивку. Они словно стали стеклянными. И представилось, как за этим стеклом подо мной плывут кварталы, башни, мосты, древние акведуки, поломанная чаша Колизея, купол собора Святого Петра...

Надо сказать, представилось весьма отчетливо. Может быть, чересчур. Недаром я в детстве слышал от взрослых, что у меня «необузданное воображение». Одиннадцать километров глубины словно ахнули у меня под ногами, оторвались во мне. Так, что стало пусто в груди. И в сердце — обморочный сбой.

Впрочем, дело, конечно, не в воображении. Видимо, слу-

чился перепад давления воздуха, и сердце отозвалось, как расхлябанный anerоид. Эта расхлябанность уже в ту пору часто давала себя знать. Я сел, подышал, прикрыв глаза. Барбудо осторожно тронул мой локоть, спросил губами:

— Что?

— Пустыки... — так же незаметно отозвался я. Не хватало еще, чтобы о чем-то догадалась Мадам. Барбудо встал, пошел в передний салон. Там, в первом классе, летели всякие высокие чины: в Гаване ожидались Дни культуры Советского Союза. Скоро Барбудо вернулся.

— Пойдем, у ребят есть лекарство...

Высокопоставленные «ребята» держались по-свойски. Среди них оказался и знакомый. Когда-то он был редактором молодежной газеты в Свердловске, а теперь, если не ошибаюсь, дослужился до министра республиканского ранга.

В ностальгические воспоминания министр ударяться не стал, а вынул бутылку с армянскими буквами и звездочками на этикетках.

— Давай из горлышка... Только не очень, а то у нас одна.

Я глотнул.

— Ну как? Полегчало?

— Вроде бы...

— Зажуй... — И дал мне помидор. Я зажевал.

— Отлегло? А то глотни еще. Только имей совесть...

Я сделал несколько глотков, соизмерив их со своим представлением о совести и с пониманием, что министр врет: бутылка у него явно не одна. Иначе какой, на фиг, он министр.

Сановный земляк вежливо, но поспешно отнял у меня емкость с живительным лекарством, дал конфетку и завел светскую беседу про общих знакомых.

Я кивал. Теплота потекла по жилам, сердце вошло в нормальный ритм, самолет вновь показался уютным и безопасным, а небо и земля прекрасными.

Салон первого класса отличался от нашего, «пролетарского», тем, что кресла были просторнее, мягче и стояли не так плотно друг к другу. Хорошо здесь было. Но я посидел немного и пошел к себе. Барбудо завистливо принюхался. Я устроился в своем законном кресле и стал «наблюдать жизнь».

За пару часов полета в «Иле» наладился уже своеобразный «домашний» быт. Неподалеку свешивалась с багажной сетки пеленка. Мужчины гуляли в рубашках и подтяжках, без пиджаков. Четверо из них сгруппировались и перекидывались картишками. Тощая девица накручивала перед зеркалом прическу. Кто-то читал, кто-то спал. Мама переодевали ребятишек, считая, видимо, что скоро уже теплые края, где не нужны свитера и рейтузы.

Ребят было немало. От грудных младенцев до длинных подростков. Шум двигателей — ровный и монотонный — стал таким привычным, что сделался вроде бы частью тишины, не мешал разноситься детской переключке, смеху, плачу, окрикам родителей и, по-моему, даже считалке:

Кашка, лютик, лебеда,
Кто остался — не беда...

Или что-то в этом роде. Видимо, ухитрились и в прятки играть.

На ковровой дорожке курчавый мальчик (араб, как я потом узнал) лет трех и того же возраста беленькая девочка катали друг к другу красный мяч. Осторожно обходя их, гуляли по проходу два светловолосых, ежиком стриженных мальчика. Очень похожих. Гуляли как-то странно: один все время уходил в хвост самолета, а другой постоянно шел к «первоклассному» салону. Только приглядевшись, я сообразил: это один мальчишка. Просто рубашка у него спереди вишневая, а сзади желтая, и шорты тоже разные: белые «с фасада» и красные «с кормы». Совершенно заграничный ребенок! И говорил по-испански: объяснял кому-то, что девочка с мячом — его «эрмана», то есть сестра. Но потом оказалось, что обыкновенный московский Костя. Просто уже целый год жил на Кубе и сейчас возвращается туда же — с мамой и папой, после отпуска...

А наискосок от меня, впереди, устроился в кресле у прохода Олешек. Этакое непоседливое создание лет восьми. Я обратил на него внимание еще в аэропорту. Мама его стояла в очереди для проверки паспортов позади меня и все время окликала тревожно и звонко:

— Олешек! Где ты опять? Не скачи, сделай милость! Или хочешь, чтобы я улетела одна?

Олешек не хотел этого. Но и рядом с мамой ему не стоялось. И она снова беспокойно вертела головой, и лампы отражались в ее круглых, похожих на стрекозиные глаза очках.

Мама мне нравилась. Нет, я не о красоте. Трудно быть красивой, когда на лбу, на щеках и подбородке густая россыпь веснушек, перед которыми бессильна всякая косметика. Стать «Мисс Вселенной», «Мисс Америкой» или даже «Мисс Районный город» с этой внешностью затруднительно. Зато женщинам с такими улыбочивыми лицами очень подходит роль детского врача или учительницы младших классов, которую от души любят девчонки и мальчишки... В общем, славная была у Олешека мама.

Да и сам он был ничего. Большеглазый, курносый, с беспокойными крутыми бровями. В аэропорту он был в вязаной «конькобежной» шапочке и показался мне смуглым и кругловатым. Подумалось, что, должно быть, черноволосый. А в самолете оказалось — щуплый, с каштановыми волосами, которые на макушке торчат двумя жесткими гребешками. И глаза светлые, серые. Но смуглость и правда была: видать, хорошо мальчишка позагорал летом.

Уже вскоре после взлета Олешек начал теребить мать:

— Ведь вот-вот уже Африка! Там жарко!..

И, по-моему, раньше всех ребятишек обрел летний вид. Скакал теперь в очень белой парусиновой одежке и стал похож на марлевый фунтик, из которого торчат суставчатые, как у жука-богомла, конечности и ершистая голова на тонкой шее.

Он поиграл в прятки с двумя девочками-ровесницами, поболтал о чем-то с разноцветным Костей, покатал мячик с малышами и наконец-то устроился в своем кресле — по настойчивой просьбе мамы, которая то и дело окликала:

— Олешек! Ну когда ты утомонишься?

... Интересно, почему он — Олешек? Алеша или Олежек? Или, может быть, Олесь?..

Не очень-то утомился он и в кресле. Кувыркался. То выскакивала из-за подлокотника вертящаяся голова, то дрыгались в проходе ноги в бело-голубых носочках.

— Олешек, сядь наконец! Смотри, вон твоя Африка...

— Ой! Где?..

Мы подлетали к Рабату, столице Королевства Марокко...

Берег Африки, отороченный белой каймой бурунов, был серовато-желтым. Видимо, пески. В песках лежали оазисы: домики и большие (по сравнению с домиками) деревья. Потом потянулись то ли рощи, то ли парки, расчерченные на квадраты. А может быть, апельсиновые плантации?

Сам Рабат сверху казался россыпью сахарных домов-кубиков с плоскими оранжевыми крышами...

Самолет замер на бетонной полосе. Мы посидели, привыкая к тишине. Потом услышали, что пассажиров просят пройти в здание аэровокзала. А еще — сообщение, что здесь, на северо-западном побережье Африки, вовсе не жарко, всего семнадцать градусов. Пассажиры завозились, натягивая пиджаки, свитера и кофты.

Самолет стоял недалеко от аэропорта. Непонятно, где кончалось летное поле и начиналась серо-зеленая степь. Она уходила к сизому туманному горизонту, от которого тянул зябкий ветерок.

Столицы королевства я не разглядел. Видел только обычные служебные постройки и белое приземистое здание вокзала. Оно показалось мне маленьким, как в каком-нибудь нашем районном городке на юге. И ничуть не примечательным. Мы пошли к нему пешком. Ветер дул в спину и пригибал колоски высокой травы. Солнце неуверенно грело нам лица. Небо было высокое, с редкими волокнами облаков.

Пассажиры шагали по траве редкой толпой. Олешек с мамой оказался впереди меня и Барбудо, шагах в пяти. Он вертел головой, и солнце загоралось искрами в гребешках его волос.

Все ребята были снова одеты по-осеннему, только Олешек упрямо остался в своем «тропическом» костюмчике. Маме удалось лишь накинуть ему на плечи вязаную курточку.

Мама пыталась держать свое чадо за руку, но оно то и дело отбегало туда, где трава погуще. Видимо, нравилось шагать сквозь щекочущие колоски. А потом Олешек... вдруг уселся в траву.

— Батюшки! Что с тобой? Ногу подвернул?

А он деловито снимал сандалии и носки.

— Ты что опять выдумал?

— Пойду босиком.

— Не смей! Это неприлично! Здесь же заграница!

— Здесь Африка, — веско разъяснил Олешек. — Как же это так? Целый час быть в Африке и не побегать по ней босиком?

Мама тихо стонала. Пассажиры, проходя мимо, посмеивались. В основном одобрительно. Посмеялись и мы с Барбудо. И пошли по Африке дальше — к стеклянным дверям аэропорта.

Здесь, у входа, наконец заметили мы и в самом деле кое-что африканское. В газоне стояло несколько пальм и кактусов. Пальмы были низкорослые, с пузатыми и словно шерстью поросшими стволами — похожие встречаются и у нас на Кавказском побережье. Но кактусов таких я до сих пор не видел. Тощие, чахловатые на первый взгляд, но большие — метра три в высоту. С внушительными колючками. А травка в газонах была обычная — вроде той, что щиплют козы на наших родных окраинах.

Я мельком порадовался за Олешека: на него кактусы, безусловно, произведут нужное впечатление. Впрочем, не только на него. Мадам, шагавшая за нами рядом с Аксакалом, сообщила спутнику, что это «фантастико».

Транзитных пассажиров с вежливой настойчивостью попросили находиться в баре и без надобности из него не отлучаться. Марокканские службы блюли пограничный режим.

Бар внутри оказался просторным и вполне стандартным. О том, что мы почти в Рабате, напоминали только большие черно-белые фотографии с минаретами, бедуинами и верблюдами. Да еще синие плакаты с разноцветными самолетами и надписями: REAL AIR MAROC.

Каждому дали по бутылочке кока-колы (не знаю уж, за чей счет), и мы за пластиковыми столиками стали ждать, когда кончится час нашего пребывания в Королевстве Марокко, необходимый для дозаправки «Ила».

Подошла Мадам. Непривычно любезным тоном спросила, не найдется ли у нас какого-либо значка, чтобы подарить Барбудо.

— Это ужасно приятный молодой человек, замечательно говорит по-испански.

Я дал ей круглый значок с носовой фигурой корвета «Витязь» (серия «Русский флот»). В качестве ответного презента Мадам получила от бармена ветку с недозрелым апельсином («Фантастико!») и бутылочку «коки».

Мы с Барбудо подошли к стойке. Всяких соблазнительных бутылочек была уйма. Я «положил глаз» на «Мартини», этикетку которого украшал великолепный парусник. Привезти бы такой сувенир домой! Хотя бы пустую бутылку (содержимое вряд ли уцелеет до возвращения). Но выданная на дорогу валюта хранилась у Мадам, которая эти несчастные несколько долларов нам не давала: говорила, что не может разменять асигнацию — одну на всех.

Сейчас могла бы и разменять — у этого же «приятного молодого человека» (с внешностью, знакомой нам по фруктовым рядам наших российских рынков). Но, глянувши на Мадам, я понял, что без скандала тут не обойдется. Эта особа — словно завуч предпенсионного возраста — считала необходимым все запрещать и всему учить. Глава нашей делегации, один известный писатель-танкист, задержался в Москве, и Мадам полагала теперь, что начальница — она. Не исключено, что у нее были на то особые полномочия (кто-то же должен был их иметь).

В общем, я и Барбудо решили с ней не связываться. Барбудо вынул наш родной советский рубль и помахал им под носом у бармена.

— Такую валюту принимают в здешнем трактире?

Бармен втянул воздух волосатыми ноздрями, взял желтую бумажку двумя пальцами, повертел, притворяясь, что видит такую впервые. Потом снисходительно сообщил:

— Уна кока.

То есть одна бутылочка кока-колы. Мне это (при тогдашних масштабах цен) показалось обдираловкой, но Барбудо сказал:

— Хрен с тобой, давай...

С этой бутылочкой мы снова сели за стол. За окнами было все то же переходящее в степь летное поле и торчали в газоне кактусы. И ходили туда-сюда смуглые горбоносые мужики в

блеклой серо-синей форме с тусклыми серебристыми пуговицами. Может, пилоты, а может, полицейские или таможенники. Форма была похожа на ту, что носили в сороковых годах наши железнодорожники. Их было много в моей родной Тюмени.

Когда один такой чин прошел рядом с нашим столиком, мне показалось даже, что и в рисунке на его пуговицах есть что-то знакомое. Но разглядеть не успел.

Подумав о Тюмени, я «растекся мыслью» и начал рассеянно вспоминать приятелей Борьку и Витьку Смирновых, у которых отец служил на железной дороге и носил китель с погонами. Мы жили тогда на краю зеленого лога, недалеко от вокзала. Улицы моего детства были тихие, с лопухами вдоль заборов и множеством одуванчиков. Детство мне, тридцати-четырёхлетнему, показалось оставшимся в глубинах времени. А теперь, когда пишу эту повесть, с того «африканского» момента тоже прошло двадцать лет, но детские годы представляются совсем близкими, словно были вчера...

Я вспомнил (всегда находится связь), что у Борьки с Витькой была коллекция иностранных марок, среди которых встречались, по-моему, и марокканские. Альбом с марками стоял на шаткой этажерке, и вытаскивать его надо было осторожно, чтобы сверху не упал дребезжащий будильник. А рядом с альбомом стояла на полке потрепанная плоская книга «Доктор Айболит» — сказочная повесть Корнея Чуковского. Про то, как доктор плавал в Африку спасать больных обезьян.

Известное произведение. Наверное, и Олешек эту сказку читал. Потому-то для него Африка — страна львов, пустынь, реки Лимпопо с крокодилами и всяких тайн, на которые можно наткнуться под любой пальмой... Впрочем, читал он, скорее всего, не только «Айболита». Возможно, и с Жюлем Верном знаком, и с другими книжками про путешествия. Не дошкольник ведь уже...

Тут я поймал себя на том, что невольно ищу глазами Олешка и его маму. Как-то получилось, что среди пассажиров они стали для меня самыми интересными. Словно друзьями сделались. Только тайными друзьями, потому что сами не знали об этом.

В बारे их не было. Видимо, несмотря на рекомендации

аэропортовской службы, непоседливое дитя гуляло по окрестностям, а веснушчатая мама ходила следом и уговаривала. Конечно же, Олешек уговоры слушал вполуха и с неумным любопытством ощупывал голыми ступнями африканский континент. «Целый час быть в Африке и не побегать по ней босиком?» — вспомнил я. Улыбнулся про себя и позавидовал Олешеку. И с этой минуты память стала раскручиваться особенно быстро. Потянула ниточку в давний, послевоенный срок шестой год.

И я понял наконец, почему Олешкина мама кажется мне такой симпатичной и даже знакомой.

3

Летом сорок шестого года, когда я перешел во второй класс, мне наконец разрешили бегать босиком. Как всем нормальным пацанам из нашего квартала на улице Герцена.

Истины ради следует сказать, что я в этом квартале уже не был прописан. Весной мы с мамой переехали на Смоленскую улицу, к Артуру Сергеевичу, моему отчиму.

Но освободившаяся комната не досталась чужим людям: в ней поселилась моя старшая сестра. Она оставила в Одессе индустриальный институт и вернулась под родную крышу. Вместе с молодым супругом Колей.

У них — у Людмилы и Николая — обитал я гораздо чаще, чем на Смоленской. Это было удобно во всех отношениях: и просторнее, чем в комнатухе отчима, и школа ближе, и прежние приятели рядом, и вообще все тут привычное, свое.

Одно плохо: воспитание мое теперь шло сразу по двум линиям — с маминой стороны и со стороны старшей сестрицы.

Вот перед ними двоими я и отстаивал свое право «босяцкой жизни». Мама и сестра не сдавались, дружно переходили в контратаки:

— Почему тебе нравится быть похожим на шпану?

— Чего похожего?! — возмутился я. — Шпана ворует и финками дерется!

— Этого еще не хватало! Достаточно того, что ты так выглядишь. На тебя что ни надень, сразу превращаешь в ветошь...

Я действительно «превращал». Потому что женщины то и дело надевали на меня вещички, которые в свое время прислал из Германии отец. Он, видимо, там, вдалеке, не учитывал мое быстрое подрастание, и все эти штанишки с кисточками по бокам и рубашки с перламутровыми пуговицами оказались или маловаты, или только-только на нынешний день, без запаса на вырост. Мама и Людмила старались, чтобы я успел их износить. Ну, и я старался, по-своему. Потому что чересчур аккуратная и к тому же «заграничная» внешность юными жителями улицы Герцена не одобрялась и служила темой для высказываний о «фрицах» и «буржуях».

А если ты босиком — тут уж никаких претензий. Пускай на тебе любые заграничные «шкеры».

Но самое главное — бегать босиком так приятно! Сразу весь такой легонький делаешься, будто по облакам скачешь!

— Это и для здоровья полезно! Дядя Боря говорил!

— Мало ли что скажет дядя Боря! Вот пропорешь ногу да получишь заражение! — Это мама.

— Не получу! Йодом помажу, вот и все!

— Ох, йодом! — Это Людмила. — Вчера ладонь тебе я мазала после занозы, ты как верещал!

Я взвизывался от негодования:

— Ну что ты так бессовестно врешь! — Людмила, она, конечно, старшая и воспитывает меня, но все же она сестра, а не мама. И я не церемонился в выражениях.

— Вот я и говорю — шпана...

— А ты не ври! Была не заноза, а вот такая щепка! А я не верещал, только ойкнул два раза... три...

— И сейчас опять глаза на мокром месте...

— Потому что все ребята босиком, а мне ничего никогда нельзя... Крепостное право... — Я был подкован в исторических вопросах.

— Мы о тебе же беспокоимся, — убеждала мама. — Лето еще только началось, на улице прохладно...

— Ох уж прохладно! Жара как в Африке!

Я не зря сказал про Африку. В соседнем квартале ремонтировали кирпичный дом, привезли много песка, и мы ведерками и коробками натаскали целую кучу к себе на двор, для

игры. Песок был сухой и очень теплый от солнца. Мне казалось — такой же песок в Сахаре.

— Вот схватишь воспаление легких, будет тебе жара как в Африке, тридцать девять и пять, — говорила мама. — Забыл, как болел зимой?

Я не забыл. Но это было в холодном феврале, а сейчас — лето. Понимаете — лето! Счастливая пора!

В конце концов я добился своего (точнее, вырвел). Уже сдаваясь, Людмила сумрачно предрекла:

— Теперь каждый вечер будет одно и то же: с невымытыми ногами в постель.

— Буду мыть! Чеснослово!

— Знаем мы твоё слово. Обещал помогать по хозяйству, пол подметать, по воду ходить, а сам...

— Пожалуйста! Хоть сейчас! Пошли на водокачку! — Я с ликующим воплем сбросил у порога сандалии и схватил алюминиевый пятилитровый бидон (ведра были мне еще не под силу).

... Первые «босые» дни — пока еще не огрубели подошвы, не притупились нервы, — впечатления у тебя сладкие и радостные. Этакая свобода и чувство контакта со всей матушкой-планетой. Чуткими ступнями ты ощущаешь прохладные доски только что вымытого крыльца, пористые кирпичи мощеной дорожки, шекотание травы, покалывание мусора на затоптанных дворовых пятачках, рассыпчатую податливость песка, разлетающуюся влагу прогретых лужиц...

Я и на водокачку-то напросился не из-за приступа трудового энтузиазма, а потому что рядом с ней много луж, по которым пробежаться — одна радость.

Итак, с Людмилой и Николаем отправились мы за водой (или все-таки «по воду»? Как правильно?).

Водокачка стояла в трех кварталах от нашего дома, на углу улиц Кирова и Урицкого. Была она такая, каких нынче нигде, наверно, уже не осталось. Целый дом. Точнее, изба. С крыльцом, печной трубой и несколькими окнами над завалинкой. От обычной избы она отличалась тем, что из бревенчатой стены торчали три изогнутых железных трубы. Недалеко от окна. Одна — высоко, вторая — в метре от земли, третья — со-

всем низко, над тяжелым, сколоченным из плах корытом, которое называлось «колода».

Из большой трубы вода наливалась в бочки (для этого на ней висел дополнительный кожух, похожий на узкое ведро без доньшка). Бочки эти хозяева привозили на ручных тележках. А иногда приезжали старые небритые водовозы — как из фильма «Волга-Волга». Их большущие бочки лежали на телегах, которые тащили брюхатые лошаденки.

В нижней части окна был сделан выдвижной ящичек. Кто хотел налить два ведра, бросал в него две копейки. Ящичек уезжал внутрь, и тут же из трубы, которая в метре над землей, начинала бить тугая струя. Подставляй одно ведро, потом другое и уступай место следующему в очереди.

Наполнить бочку на тележке стоило гривенник. Сколько платили водовозы со своими деревянными цистернами, я не знаю. Лошади из колоды пили бесплатно. Возчики в это время смотрели, чтобы мальчишки не дергали из конских хвостов длинные волосы, которые шли на рыболовные лески. Тут были свои правила игры. Если не проявил расторопности, могут огреть хворостиной (кнутами возчики не дрались). Но если успеть вырвать волос и отбежать, гнаться не будут, только погрозят вслед...

Людмила, Николай и я встали в очередь. У Людмилы ведра были на коромысле, у Николая в руках. Я помахивал бидоном и громко стучал по нему коленками...

Очередь была — человек семь. Двигалась неторопливо. Я потоптался рядом с Людмилой. Потом незаметно отошел, побродил по прохладным глубоким лужам (в них отражались облака и я сам, перевернутый). Постоял у колоды и погладил по гнедому боку низкорослую добрую кобылку (возчик покосился, но ничего не сказал). Кобылка благодарно помахала головой, с морды на меня полетели брызги.

Я стал глазеть по сторонам. Улица Кирова была в основном деревянная, одноэтажная, но через дорогу от нас, наискосок, стоял двухэтажный кирпичный дом. Очень красивый, со всякими узорными выступами и окнами с полукруглым верхом. А в окнах с кружевными переплетениями — разноцветные стекла. Я привычно полюбовался этой архитектурной диковинкой и дернул сестру за платье:

— Этот дом — чей?

— Тебе же прекрасно известно, что там музыкальная школа.

Конечно, мне это было известно. Однако я знал и другое: школа там сейчас, а раньше в таких красивых домах жили всякие буржуи. В фельдшерском училище, что недалеко от нашей школы на улице Ленина, обитал, например, богатей по имени Яша Шайчик. Мне про это дядя Боря рассказывал. А были еще дома Панкратьева, Колокольникова и так далее.

— Я спрашиваю, кто здесь до революции жил!

— Никто. Здесь была синагога.

— Чё-о?

— Не «чё», а «что», оставь свой чалдонский выговор...

— Синагога — это еврейский храм, — миролюбиво пояснил Николай. — У христиан — церкви с крестами, у мусульман — мечети с полумесяцами, а у евреев — синагоги с шестиконечными звездами. Видишь, в окнах узор из таких звезд?

Я пригляделся. В самом деле, верхнюю часть каждого окна украшала шестиконечная звезда, сплетенная из деталей рамы. Раньше я не обращал внимания. А теперь этот рисунок сразу напомнил мне одну вещь, очень знакомую. Но... напомнил не только мне. Людмила тут же сказала:

— Ты, кажется, обещал сделать звездочки для ведер. Где они, а?

— Я же не умею делать такие, с шестью концами, — беспомощно буркнул я.

— Речь и не шла о таких, не выкручивайся. Вполне годятся твои «самолетики».

Но я выкрутился:

— Конечно! Я и хотел! Но заноза же воткнулась!

Я загнал щепку в ладонь, как раз когда отрывал дранки от обшитой фанерой задней стены сарая. Именно для этих самых звездочек. Только мастерить я их собирался не для Людмилы, а для себя. Ради замечательной игры!

Делать звездочки-самолетики научил мальчишек дядя Боря. Ребята часто сидели в его проходной комнатке, он рассказывал им всякие истории, учил мастерить разные самоделки.

Звездочки сплетались из пяти деревянных полосок. Они получались такие же, какие мы привыкли рисовать в тетрад-

ках и на заборах. Прямыми штрихами: раз-два-три-четыре-пять, и получается звезда с пятиугольником посередине. И смастерить такую — не труднее, чем нарисовать.

Переплетенные дранки держались довольно крепко. Но для большей прочности мы связывали концы нитками. Тогда звезду можно было с размаху запускать в воздух. Дядя Боря сказал, что такой игрой он занимался в собственном далеком детстве.

Мой приятель Семка Левитин не поверил:

— До революции таких звезд не было, они же советские...

Но дядя Боря разъяснил, что пятиконечная звезда — очень древний знак. Его даже волшебники использовали в старинные времена.

Видимо, звездочки в самом деле были малость волшебные. Ну, одно слово — самолетики. От легкого броска они взмывали высоко-высоко и кругами реяли над простором нашего двора. А сделанные наиболее удачно даже возвращались после полета к ногам хозяина. Дядя Боря сказал, что это «эффект бумеранга».

Взрослые сперва ругались, но потом увидели, что легонькие «самолетики» безопасны для стекол. Успокоились. А вскоре нашли таким звездочкам и свое применение. Приспособили класть их в ведра, чтобы вода не плескалась, когда несут с водокачки. Раньше для этого использовались фанерные диски или крестовины из лучинок, а тут оказалось: драночные звезды лучше всего. И смастерить легко, и «держат» воду отлично.

Людмила все просила: «сделай» да «сделай». А я все обещал да обещал.

— Заноза не помешала тебе смастерить звездочки для себя, — напомнила старшая сестрица.

Она была ужасно дотошная.

— Я же сказал: сделаю!.. Смотри, очередь подходит.

Сперва набрала воды в ведра Людмила. Потом Николай. Я собственноручно опустил в ящичек копейку. И подставил под трубу бидон.

Толстая струя ударила в алюминиевое дно так, что ручка бидона едва не вырвалась из ладони. Посудина загудела и на-

полнилась моментально. Вода захлестала через край. Брызги окатили меня с ног до головы. Вообще-то в жаркий день это даже приятно. Однако я отскочил и показал окошку с ящичком мокрый кулак.

Дело в том, что за стеклами маячило девчоночье лицо. Круглое, усыпанное крупными, как горох, веснушками. Обычно у окна дежурила пожилая скучная тетка, а сегодня смотрите-ка! Дунька конопатая! Годами не старше меня, а уже какая нахальная! Взяла и забрызгала незнакомого человека!

Она смеялась и смотрела на меня, расплющив о стекло пятнистый нос. Я повертел кулаком — увесисто и обещающе: попадись, мол. Девчонка отодвинулась и показала язык. Но... не просто его высунула, а трубочкой.

Когда язык показывают лопатой («Ы-ы-ы!»), это явная вражда и вызов. А если трубочкой — тут наполовину игра. Вроде бы и дразнилка, и в то же время вопрос: «А ты так умеешь?»

Я умел и тут же продемонстрировал это. Мало того! Я поставил бидон и соорудил страшную рожу, оттянув пальцами нижние веки.

— Бэ-э-э...

Девочка удивленно замигала. И, конечно, все это наше общение прервала Людмила:

— Ты и здесь ухитряешься вредничать! Зачем дразнишь девочку? Людей задерживаете! Идем...

На прощание я хотел снова показать конопатой вредине кулак, но ладонь почему-то не сжалась, и я помахал растопыренными пальцами. Можно было понимать как хочешь. И «подожди, поймаю», и «до встречи»...

Весь день мне было радостно. Через груду гнилых опилок я пробрался за дровяной сарай, надрал там от фанеры тонких полосок и сделал пять звездочек — четыре для ведер и одну для игры. Мой «самолетик» оказался замечательным. Летал высоко и после каждого запуска возвращался к моим босым, заляпанным грязными брызгами ногам. Приятели — Семка Левитин, рыжий Толька и Амир Рашидов — завидовали, но без досады, по-хорошему.

Наигравшись «самолетиками», мы погоняли в траве трипичный мяч, потом сделали из консервных банок фашист-

ский танк и разбомбили его кирпичами... В общем, интересных дел хватало.

А в перерывах среди игр я отходил в сторонку и радовался жизни в одиночку. Всяким мелочам радовался. Приятно было провести ступней по желтой головке одуванчика — мягкая щеточка лепестков так славно щекотала кожу. Хорошо было и потоптаться на шероховатом свежем срезе могучего березового чурбана (соседи у сарая пилили дрова). Или выбраться из оконца на железный навес крыльца и попрыгать на горячих от солнца кровельных листах...

И все это время я ловил себя на ощущении, будто за мной подглядывает — сквозь репейники, или из-за угла, или в щель забора — веснушчатая девчонка. Это и смущало меня, и веселило.

На следующее утро я взял бидон и пошел к водокачке один. И вот удача-то! Народу — никого, а за стеклом опять маячит круглое конопатое лицо.

Я подставил бидон. Большим пальцем показал: лей.

Девчонка встала на подоконник. Она была в куцем, белом с коричневыми листиками платице. Ее коленки прижались к стеклу, образовав два плоских бледных кружочка. Она открыла форточку и высунула голову с тощими желтыми косицами.

— А деньги?

— Я вчера копейку дал! На полное ведро! А тут всего полведра! Лей за вчерашнее!

— Я вчера полное ведро отмерила! — насмешливо объяснила она.

— А кто тебя просил полное? Через край же вылилось!

— Ничего не знаю. Раз копейка — значит, ведро. А теперь плати снова.

Копейку я из дома не прихватил. Да и не в ней, конечно, дело. Копейка была ценой чисто символической даже по тем временам. Самое дешевое перо для ученической ручки-вставочки стоило, по-моему, пятак, а дешевле этих предметов не было ничего. И мы с конопатой «хозяйкой» водокачки, конечно, играли, хотя и делали вид, что всё всерьез.

— Лей, — сурово потребовал я.

— Ладно уж... — Она прыгнула с подоконника, и в бидон, как вчера, ударила гулкая струя. На этот раз я не прозевал и не дал перелиться через край, отскочил. Девчонка опять высунулась в форточку.

— В другой раз приходи с ведром, у нас по полведра не отпускают... Или приноси полкопейки!

Хитрая была. Но я был еще хитрее! Всем известно, что в царское время выпускали денежки в половину копейки. Такая монетка называлась «грош». А были и половинки гроша — полушки. Но мало кто знает теперь, что и в первые годы после революции грошики чеканились тоже. С буквами «СССР» и надписью «Пол-копейки». Потом они стали редкостью, но у меня такая денежка была: лежала в коробке со значками, марками и всякой мелочью.

И я весь день радовался тому, как завтра возьму над «конопатинкой» верх.

И взял. Постоял в очереди позади двух теток, опустил полкопейки в ящичек, увидел девчонкино растерянное лицо и показал ей язык-трубочку. Она смешно подняла маленькие светлые брови и развела руками: ничего, мол, не поделаешь, сдаюсь...

От водокачки я уходил, изображая спиной гордость и торжество. Подавлял желание оглянуться и старался не выгибаться от тяжести.

На следующий день я пришел к водокачке опять с Людмилой и Николаем. И тут мы с девочкой поменялись ролями: виновато разводил руками я — когда опустил копейку: «Извини, но грошика больше нет». Она оценила мое смущение и налила мой бидон аккуратно, без брызг. И я, уходя, впервые помахал ей рукой без всякой «дразнивости». И она помахала за стеклом.

В тот день мой сосед-пятиклассник Лешка Шалимов и его большие приятели взяли меня и рыжего Тольку на свалку завода пластмасс.

Еще недавно это был оборонный завод и делал что-то секретное. А после войны стал выпускать посуду, портсигары, расчески и мелкие игрушки. На свалке, если повезет, можно было найти много чего интересного.

Свалка каскадом пыли, мусора и всякой рухляди спускалась от заводского забора в лог. Мы лазали по склону среди сора, пахнувшего жженым целлулоидом и едкой химией. Горели охотничьим азартом. Не считая кусочков разноцветной пластмассы, каждому достались и «крупные» трофеи. Лешка нашел почти целый портсигар (зеленый, как малахитовая шкатулка), Толька — голову от куклы, а я — желтую (почти золотую) рыбку, склеенную из двух половинок. Длинной в спичку. И очень обрадовался...

Радость мою поубавила старшая сестрица, когда я после свалки появился перед ней «в виде, который не передать словами». Она подвергла меня обработке — сначала словесной, затем санитарной: принялась как маленького отмывать в корыте. Процедура была неприятная вдвойне от того, что мне представлялось, будто в окно заглядывает «водокачкина девчонка» и ехидно декламирует строчки из «Мойдодыра». Я уже упоминал, кажется, о своем необузданном воображении в детские годы.

Но все проходит. Прошел и тот кошмарный вечер, и опять наступило утро. Правда, было оно пасмурным и зябким после ночного дождя. Но я снова взял бидон и отправился «на свидание». И снова босиком, несмотря на причитания Людмилы.

Лужи были холодные и ветер сырой, неуютный. Хорошо, что Людмила все же заставила меня надеть суконную курточку. Зато у водокачки мне опять повезло — ни одного человека. А «конопатинка» дежурила за окном. Замахала рукой, когда я хотел опустить копейку: не надо, мол.

Я набрал воды. Потом собрался с духом и жестом показал: открой форточку, поговорим. Девочка — тоже движениями рук, но очень понятно — ответила: не велят, холодно.

Я стеснялся говорить громко, так, чтобы слышно было через стекла. В кармане курточки у меня был огрызок синего карандаша. Я подобрал в траве размокшую коробку из-под «Беломора», нацарапал на левой стороне: «Как тебя зовут?» Сунул записку в ящичек. Он уехал. Девочка прочитала, закивала, убежала в глубь избы. И скоро вернулась. Прижала к стеклу тетрадный листок. На нем крупным почерком первоклассницы были выведены чернильные буквы: «Поля».

Я тоже закивал: понятно. Она пальцем ткнула в меня и

сделала вопросительные глаза. Но мне больше не на чем было писать. Я начертил в воздухе: «Славка». Она виновато пожала плечами: не понимаю.

Кричать я по-прежнему стеснялся, особенно свое имя. Показал пальцами: дай листок. Девочка развела руками: не поняла снова. Тогда я решил, что принесу записку завтра. А пока... я нащупал в кармане желтую пластмассовую рыбку. Достал, повертел в пальцах и пустил в колоду. Рыбка плавала на боку, но все равно красиво. Поля расплющила о стекло веснушчатую рожицу. Я достал рыбку, опустил в ящичек. «Это тебе». Поля заулыбалась, взяла подарок в ладошки. Смотрела то на него, то на меня...

Заскрипели колеса, показалась из-за угла кобыла с бочкой на телеге. Я поплескал из колоды на ноги, чтобы смыть нашлапки грязи, одернул курточку, ухватил бидон и уже привычно помахал рукой девочке Поле: «До завтра».

А назавтра я заболел.

Еще с вечера у меня побежало из носа, началось сопение и чихание, а утром распухло горло.

Ох, сколько жалобных, назидательных и укоризненных речей выслушал я по поводу своего упрямства, из-за которого ходил босиком «в такой дикий холод». И обещаний, что этим летом при любой погоде больше не выйду из дома без чулок и ботинок.

— И не вздумай спорить! У тебя наверняка начинается туберкулез!

Я и не спорил. Скорей бы только этот «туберкулез» кончился и меня отпустили на улицу.

Кончилось все через три дня. И я, стуча твердыми ботинками по дощатому тротуару, побежал на улицу Кирова. Была опять прекрасная погода, но душу мне холодило какое-то предчувствие.

Так и есть! Поли в окошке не оказалось, дежурила прежняя пожилая тетушка в клетчатой косынке.

Я потоптался в сторонке, не зная, что делать. Бидон я на этот раз не взял, не было даже причины подходить к крану.

Томился я, наверно, с полчаса. А когда у водокачки не ос-

талось никого, набрался смелости: обошел избу и постучал в дверь.

Женщина в клетчатой косынке открыла сразу. Не удивилась.

— Ты к Полюшке небось?

— Ага... — Я уперся взглядом в свои ботинки.

Женщина не просто сказала, а поделилась со мной печалью:

— Уехала она. Уехала Полинка-тополинка моя. Домой...

— Куда... домой? — Я поднял глаза.

— В Вагай, к матери своей. Она, мама-то ее, сестра моя младшая, там живет. И в мае, в аккурат после Дня Победы, угодила в больницу. Большая тетка, а с детской хворью, со scarлатиной, бывает же такое... А Полинку куда девать? Вот свекор мой и съездил, привез ее ко мне. Отец-то у их все еще с армии не пришел. С немцами воевал, с японцами воевал, а домой никак не пушают, хотя вроде и воевать больше не с кем.. Вот Полинка и жила с нами, покуда мать в больнице. А вчерась уехала...

— Жалко, — сказал я честно и забоялся, что намокнут глаза.

— Ишшо бы не жалко, — согласилась словоохотливая тетка. — Помощница мне была, управлялась как большая... А ты, что ль, тот мальчик, который рыбку ей подарил?

— Ага... — отозвался я сипловато. Опять глядя на ботинки.

— Она все в окошко глядела, думала, что, может, придешь...

— Болел я...

— Конечно, раз болел, какой спрос... Помидорку хочешь?

Я кивнул. Тетка ушла в дом и тут же вынесла упругий алый помидор.

— Ешь, она помытая... Может, соли сыпануть?

— Не, я так. Спасибо... А Поля больше не придет?

— Кто знает. Разве что с матерью на будущий год... Вот такие, значит, дела...

Я еще раз тихонько сказал спасибо и пошел от водокачки. Потому что с другой стороны уже окликали: «Эй, хозяйка!» И стучали о стекло копейками.

Нельзя сказать, что я очень горевал. Жаль, конечно, да что поделаешь. Хорошо хоть, что успел имя узнать, буду вспоми-

нать иногда. И она меня. Правда, без имени, но все равно. Взглянет на рыбку и вспомнит. Да небось и полкопеечную денежку прибрала себе на память...

В общем, печаль моя была без горечи. Скрашивал ее и вкусный помидор. (Ранний какой! Наверно, парниковый.) Но доест сладкий овощ мне было не суждено. Когда от помидора осталось около трети, на улице Урицкого навстречу мне вылез из подворотни черный с рыжими подпалинами петух. Большой, гладкий, с развязными манерами.

Видимо, во мне этот куриный предводитель углядел нерешительного интеллигентного мальчика (каковым я и являлся по своей натуре, несмотря на некоторый налет уличных нравов). Он заклокотал, начал мести крылом пыль и боком-боком двинулся на меня.

В другое время я, скорее всего, дал бы деру. Но сейчас... конопатая девчонка все еще будто хитровато наблюдала за мной. И остатком помидора я отважно запустил в пернатого бандита.

Удачно запустил! Вяпал ему по гребню. Разбойник мигом превратился в трусливого петука и, квохча, как хохлатка на сносях, полез обратно под ворота.

Эта победа еще больше ободрила меня. Но печаль не ушла совсем. Медленной такой и еле слышной мелодией отзывалась в душе.

У себя на дворе я сделал из дранок новый пятиконечный «самолетик» и загадал: если после запуска он вернется ко мне, значит, в будущем году вернется и Поля...

Возможно, звездочка и прилетела бы назад. Но я не рассчитал, пустил слишком сильно. И, не замедлив полета, звездочка на верхнем витке ушла в гущу старого тополя, что рос посреди двора. Скрылась в листьях.

«Ну что ж...» — подумал я. Сел на крыльцо и стал расшнуровывать ботинки. Людмила покричит, пошумит и в конце концов махнет рукой. Не мучиться же мне, в самом деле, все лето, если жара как в Африке.

...Не знаю, может быть, девочка Поля и приезжала к своей тете в следующем году. Выяснить это я не мог, потому что осенью водокачку снесли. Она стала не нужна. Появились на нескольких перекрестках водонапорные колонки. В том чис-

ле и рядом с нашим домом на улице Герцена. Воду стало можно брать совершенно бесплатно. И, кроме того, можно было брызгаться там в жаркие дни, если рядом не оказывалось крикливых соседок с коромыслами...

4

Вот так мы с Барбудо сидели за пластиковым столиком, экономно потягивали «коку», и я вспоминал давние времена. А в глубине сознания не исчезала слегка беспокойная мысль: «Где же Олешек и его мама?»

И наконец я их увидел. Снаружи, за стеклами бара. Судя ко всему, они прогуливались вдоль здания аэропорта. «Вдоль по Африке».

Я встал, сказал Барбудо, что пройду, и вышел к газону с пальмами и кактусами. Олешек с мамой стояли шагах в пяти. Он нетерпеливо пританцовывал. Сейчас он опять был в носочках и сандалиях (причем один носок — это заметно было — оказался надетым на левую сторону). Вязаная курточка висела на Олешке, как гусарский ментик. Олешек вытянул руку, что-то показывал маме. Я глянул туда же.

Перед нами было надоевшее уже поле аэродрома, на котором белел неподалеку наш «Ил», а за ним два иностранных лайнера. Дальше — степь, уходящая к сизому горизонту... Но... То ли изменилось освещение, то ли просто меня осенила догадка и потому иной стала глубина зрения — в какой-то миг я осознал: синеватая даль — не дымка, не туманное небо, а необъятный простор океана.

Ну конечно же! Ведь Рабат — на побережье Атлантики!

Дымчатая синева словно откликнулась на мою догадку, встала гигантской вертикальной стеной. Замкнула мир панорамой космического масштаба. И на этой стене я разглядел крошечные, но хорошо различимые белые теплоходы. Слово кто-то вырезал эти малюсенькие фигурки из ватмана и приклеил к гигантской плоскости...

Наверно, так устроен человеческий глаз, что порой дальнее пространство кажется ему вставшим отвесно. Помню, что и Черное море, когда я увидел его впервые — в Севастополе, за Херсонесом, — показалось мне вот такой же синей стеной.

И таким же я видел море в очень давних детских снах (они запомнились почему-то яснее многих реальных событий). Мне снилось или серое, под туманным небом, или дымчато-голубое, с размытым верхом, необъятное пространство, которое вдаль становится плоским, и эта исполинская плоскость не лежит горизонтально, а всей своей громадностью обращена ко мне. И по ней медленно, почти незаметно движутся крошечные пароходы и кораблики с парусами.

Все было в точности как сейчас. Но откуда взялись такие сны? Ведь в ту младенческую пору я не видел моря наяву. Может быть, это шевелилась память о прежней жизни, когда я был кем-то другим? Моряком или жителем прибрежного города?

Таким же — синеватым и вертикальным — я однажды увидел пространство в Тюмени. Была весна, и разлив Туры затопил заречные улицы, ушел к дальним деревням. Я видел эти деревни, видел колесный буксир, который карабкался по «стене», как трактор. Видел плоты, лодки, островки и отраженные в синеве облака. Тоже было похоже на морские дали. Но в снах море было более просторным, свободным от всякой «сухопутной мелочи», более настоящим, что ли...

А разлив Туры я наблюдал первый раз, сидя на руках у отца. Наверно, отец гулял со мной и вышел к речному обрыву. Судя по всему, была весна сорок первого. Значит, шел мне тогда третий год. Смутно помнится, что я о чем-то говорил отцу и он мне отвечал. И слово «море» звучало в нашем разговоре. Но сути разговора не помню...

А сейчас, глядя на Атлантику и вспоминая отца, я подумал: ведь он в то время, до войны, еще ни разу не видел моря.

Жизнь эта была несладкая — в постоянном страхе за себя и за семью. По чьему-то доносу угодил в тюрьму, чудом избежал большого срока, но все время чувствовал себя на крючке НКВД. Пытаясь сорваться с этого крючка, метался с места на место, пока не осел в Тюмени. Но и здесь не было покоя. В школе и в институте, где отец преподавал русский язык, все время кого-то «брали». Знакомых, друзей. Особенно в том тридцать восьмом, когда на свет появился я... До поездок ли тут к морю! Кольцо сжималось.

Теперь я думаю иногда, что войну отец встретил даже с об-

легчением. Быть солдатом не в пример легче, чем без вины виноватым «врагом народа».

А море отец увидел, судя по всему, лишь в сорок четвертом, когда фронт придвинулся к Балтике...

— Мама, ну ты же не туда смотришь! Вон там они! — Голосок Олешека был звонок и нетерпелив. — Пошли!

Я глянул туда, куда Олешек тянул мать.

Вблизи от нас, на самом краю летного поля, в траве, похожей на нашу овсяницу, стояли два самолетика. Ну как игрушки. Спортивные или, может быть, чьи-то личные (ведь мы были в стране с частной собственностью). Один — округлых форм, бело-голубой, другой — с узкими контурами стрекозы, красно-желтый, с черной полосой на хвосте.

Мать с Олешеким подошли к самой кромке травы. Я тоже — шагах в пяти от них.

— Мама, они настоящие?

— Конечно!

— А может, это детские?

— Н-не знаю. Разве такие бывают?

— Бывают, я читал. В Америке. Там один мальчик летал на самолете, он сын фермера.

— Но все равно это был не специально детский самолет. Мальчик научился летать на взрослом.

— Хорошо ему, — выдохнул Олешек.

— Видимо, он очень старательно учился, — с назидательной ноткой сказала мама. — Без этого нельзя.

— Бывает, что и можно. Сразу...

— Выдумщик.

— Ничего не выдумщик! Помнишь кино? Про мальчика Дэви!

— Не помню...

— Показывали по телевизору. Папа этого мальчика был летчик и подводный снимальщик. С кинокамерой. Он снимал акул под водой здесь, в Африке. И его акулы изранили всего. И Дэви сам управлял самолетом, чтобы долететь домой и спасти папу...

Я тоже помнил этот старый фильм. «Последний дюйм».

Пески на побережье Красного моря, синяя глубина с волшебной пестротой рыбьих стай. Акулы, кровь. Отчаяние мальчишки, боль отца. Равнодушная громкая песня — бред раненого летчика: «Тяжелым басом гремит фугас...» И ее припев — крик безысходного одиночества: «Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня...» И как живой ручеек — песенка Дэви о маленьком тюлене. О том, что никто не может быть один, не должен... И детское, сквозь слезы, но настоящее, высокой пробы, мужество мальчишка...

Им повезло, они остались рядом: израненный, замотанный жизнью, но не сломленный летчик и его десятилетний Дэви.

А меня с отцом после войны судьба развела. И самыми теплыми остались наиболее ранние воспоминания — когда мы жили вместе. Отрывочные, иногда похожие на сон и все равно... самые родные, что ли.

Солнце сквозь пиджак ощутимо пригревало плечи, но с севера по-прежнему тянул зябкий, совсем не африканский ветерок. Трава, в которой стояли самолетики, была подсохшая и шелестела звонко, как созревший овес.

И, конечно, я вспомнил овес на краю поля в раннем-раннем детстве. И самолетик, который бесшумно опустился из вечернего закатного неба и побежал, мелькая за метелками овса. Далек и потому маленький.

— Папа, он настоящий?

— Конечно, сынок.

Не верилось мне. Человек в такой самолетик не влезет. Поместится, пожалуй. только мой тряпичный зайчишка, которого зовут просто Заяц.

— Папа, в нем зайцы летают?

— Почему зайцы, мой маленький?

Ох как трудно иногда объяснять простые вещи.

— Ну, зайцы...

Папа засмеялся, взял меня на руки.

Как я догадываюсь, в тот день мы гуляли за городом и оказались недалеко от аэродрома — он лежал за овсяным полем. И я тогда впервые увидел, как самолет садится на землю.

— Папа, он сложил крылышки?

— Как сложил?

— Как воробушек...

— Нет, самолеты крылья не складывают, они ведь не птички.

— А почему их нету?

Самолет был виден в профиль, и мне казалось, что крылья исчезли.

— Потому что ты смотришь сбоку. Когда полетит, увидишь опять.

Но самолет не полетел. Время было позднее. И тихо было, только овес все шелестел.

— Спать будет, — решил я про самолет.

— Нам тоже спать пора, — отозвался папа.

Я сидел у него на руках и своей щекой касался его слегка колючей щеки.

— Поехали домой, — выдохнул он.

Горел чистый розово-желтый закат, над ним висел едва различимый тоненький месяц. Мы повернулись к закату и месяцу спиной, и отец понес меня к городу. Дорога была не близкая.

Я не помню этой дороги, но осталось ощущение тихой печали. И после, вспоминая тот вечер, я понял, откуда эта печаль.

Год был, без сомнения, сорок первый. Ведь я тогда вел с отцом вполне связную беседу. Летом сорокового, когда не было мне двух лет, едва ли я способен был к таким сознательным разговорам... Кроме того, судя по спелому шелесту овса, стоял конец июля или август. Значит, уже шла война. И отец понимал, что недолго ему оставаться дома. Наверно, оттого я и чувствовал в нем особую, горькую ласку...

Впрочем, отца взяли в армию не скоро.

Сначала я думал, что он ушел осенью. Потому что отчетливо помню: отец вышел из дома и прошагал мимо окна в своем черном демисезонном пальто и серой кепке — чуть сутулый, одинокий. И кто-то в комнате сказал, что «папа пошел на войну».

Но это был, очевидно, очередной предварительный вызов в военкомат. Ведь не пошел бы отец на сборный пункт без провожатых!

Старшая сестра потом рассказывала, что «по-настоящему» взяла отца третьего января.

В ночь на третье в пединституте, где работал отец, был новогодний вечер. Кажется, до праздников ли было в то горькое время? Но и тогда люди веселились. Тем более что немцев недавно разгромили под Москвой, и все жили с радостной надеждой, что наше наступление теперь неудержимой лавиной покатится до самого Берлина.

Мама попросила у соседки нарядное черное платье с бисером, и морозным похрустывающим вечером они с отцом пошли на праздник.

А ночью, когда их не было дома, принесли повестку: утром явиться с вещами. Сестра расписалась на корешке и долго плакала. Потом уснула, оставив повестку на столе.

Говорят, я проснулся, когда отец перед уходом поцеловал меня, и сонно спросил:

— Ты, папа, на фронт, да? — И опять уютно устроился на подушке.

Но это — по рассказам старших. А сам я этого не помню.

Вот странно — не помню, как ушел на войну отец, зато помню елку, которая была у нас в том году.

Новогодние елки мама, сестра и брат ставили для меня, самого маленького, даже в те трудные времена. Эти елки я запомнил — начиная с сорок первого года.

При встрече сорок первого, еще в мирное время, елка была общая — у нас и у соседей Шалимовых. Она стояла в соседской квартире, густая, с запахом старой лесной ели, со смолистыми шишками. Ростом под потолок. На ней горели свечки. Вот запавшая в память деталь: на ветке висит картонный домик со слюдяными оконцами, у него внизу широкая площадка. На двух краях площадки оплывают и потрескивают короткие свечки (в нынешние времена вещь немыслимая по причине пожарной безопасности). Огоньки отражаются в оконцах и в мохнатых звездах из мишуры темного медного цвета...

Огоньков много — от пола до потолка. Я — в тихом восторженном обмирании. Взрослые смеются. Не знают еще, как к о й год они встречаются...

А елка сорок второго стояла на столе. Под ней приютился

наш старый, достаточно замызганный Дед Мороз (в обычное, не новогоднее время он стоял на этажерке как статуэтка). На длинной ветке, торчащей дальше других, висела стеклянная головка клоуна с широкой застывшей улыбкой и похожими на красные ягоды щечками...

Потом был сорок третий год. Елочка — маленькая, редкая, но очень славная — стояла на полу. Яркое солнце светило на нее сквозь отороченные морозным кружевом стекла. И среди игрушек горел праздничным красным фонариком леденцовый петушок. Палочка его была вставлена в елочный подсвечник с зажимом, и он покачивался на ветке. Я как увидел, сразу захотел этого петушка. Не потому, что сладкий, а потому, что в нем — праздник.

Сестра сказала:

— Не надо его трогать, смотри, как красиво он горит на елке. Вот тебе другой. Саша принес гостинец.

Знакомый сержант Саша из местного пехотного училища (он часто приходил к Людмиле в гости) дал мне такого же петушка. Эмалевые треугольнички в Сашиных петлицах (погон тогда еще не было) горели так же празднично и ало, как петушок. Саша что-то рассказывал сестре и смеялся. Мама принесла и поставила на стол тарелку с красным винегретом. И во всем чувствовалась радость. Не знаю почему. Может быть, только что пришло письмо от папы (жив-здоров), а может быть, уже носилось в воздухе предчувствие близкой Сталинградской победы...

К елке сорок четвертого года готовились всей семьей. Мне было сказано, что принесет елку, разумеется, Дед Мороз, но в нынешнее военное время с игрушками у Деда туговато, и требуется помощь. Я помогал сестре Людмиле и брату Сергею клеить бумажные цепи. На них пошли разноцветные корочки от старых, еще довоенных тетрадей. Кроме того, сестра плела из бумажных полос крошечные корзинки, а я мастерил ведерки. Дело простое: берешь листок, рисуешь на нем цветочки или узоры, склеиваешь (вареной картошкой) цилиндр. Сверху — дужка из бумажной ленточки. Донышка у такого ведерка нет, но и не надо: не воду же в нем носить.

Кроме елочных игрушек, брат и сестра готовили разрисованные номерки для игры в почту на вечеру в своем технику-

ме. Они рисовали на обороте старых учебных чертежей всяких бабочек, гномиков, зайчат, а также узорчатые ромбики, треугольники, кружочки — все с цифрами. По этим номерам «почтальоны» на вечер будут находить «адресатов» и передавать им записки. Я снисходительно усмехался: знал, что в этих записках всякие любовные глупости...

В соседней комнате жили квартиранты: капитан из танковой части с женой тетей Шурой и дочкой Людой. Люда — славная такая девочка, на год старше меня — готовила свою елку и часто приходила в нашу комнату посоветоваться. Подарила мне кусок серебристой фольги, чтобы вырезать из нее всякие фигурки...

Потом пришли в гости несколько военных. Среди них — Саша. Не тот, прошлогодний, а другой. Лейтенант, по-моему. В золотых погонах. (А тот Саша уже уехал бить фашистов и, судя по письмам, бил их успешно; с войны он вернулся живой, с одним ранением, и летом сорок пятого опять приходил к нам.)

Лейтенант Саша был с длинной саблей на поясе. Сказал, что им выдали такие для дежурства в училище. Ну и ну! Пистолеты и винтовки у военных не были редкостью (мне даже дали однажды поддержать черный тяжелый «браунинг»), но саблю — вот так, не в кино, не на картинке, а прямо перед собой — я видел впервые. Она была в длинных черных ножнах с медным наконечником.

— Достань, Саша, покажи ребенку, видишь, он млеет, — сказала Людмила. И Саша достал. Положил на стол среди бумажных игрушек и обрезков зеркальный плоский клинок. Лампочка засияла на клинке белой звездой.

— Хорошая вещь, чтобы карандаши точить, — усмехнулся лейтенант Саша. Но все (даже я) поняли, что это он от смущения. А на самом деле, если Саше попадет под эту саблю фашист, то ого-го! И стальная каска не спасет оккупанта...

Елка сорок пятого помнится мне стеклянной игрушкой-фонариком. У него были цветные грани. Когда шарик вертелся на нитке, от него разлетались разноцветные бабочки. И зажигали у меня на ресницах влажные огоньки. Потому что я смотрел на елку сквозь слезы. Перед Новым годом мама тяжело заболела. Несмотря на тяжкий жар, она все же настояла,

чтобы дядя Боря, который жил с нами, украсил мне елочку. Но второго января маму увезли в больницу.

Нельзя сказать, чтобы я совсем не радовался елке, но радость была вперемешку со слезами...

И начало сорок шестого года тоже запомнилось слезами.

Тридцать первого декабря, вечером, мы с мамой украсили елку, а потом, ближе к ночи, мама отправилась встречать Новый год к знакомым. Брат и сестра учились в ту пору в Одессе, дядя Боря куда-то ушел. Я остался с соседями, с их девочками Алей и Риммой. И ничего, не скучал.

Заскучал я утром, когда проснулся и увидел, что мамы все еще нет. С полчаса я крепился, а потом расплакался. К счастью, мама пришла скоро. Веселая и виноватая. Вытащила меня из постели, стала утешать, расцеловала. И елка засверкала опять. А вечер был вообще волшебным, потому что мы с дядей Борей пошли на площадь.

В ту пору в Тюмени была громадная площадь, посреди которой одиноко торчала кирпичная водонапорная башня. Башня сохранилась до наших дней, но теперь стоит она в тесноте городского квартала. А в ту пору здесь был такой простор, что границы площади казались мне (если смотреть от башни) округлыми, как линия горизонта.

И вот накануне сорок шестого года здесь поставили громадную елку с цветными лампочками. На елке висели обернутые фольгой мячи, большие куклы, плюшевые мишки и деревянные грузовички, которые обычно продавались в магазинах в отделах игрушек. Но было немало и обычных елочных украшений. Вокруг елки понастроили много снежных фигур и горок для катания. Сейчас это кажется привычным, а тогда было одной из первых сказок мирного времени.

Дядя Боря брал меня в охапку, забирался на гору, садился на кусок фанеры, меня сажал перед собой, и мы в гуще других ребятшек и взрослых мчались вниз. Мне тогда высота эта и скорость казались огромными. Я, вцепившись в дядюшку, вопил от страха и восторга. Домой мы пришли покрытые ледяной коркой, и нам обоим попало от мамы, но не сильно, а так, для порядка...

Это надо же, в какие дали за две минуты может унести память! От пальм и кактусов Рабата в семьдесят втором году к елке в послевоенной заснеженной Тюмени. В ту пору, когда я был на год или два младше Олешека.

А у моей мамы тоже были веснушки, только очень редкие и проступали еле заметно...

Олешек тянул мать ближе к самолетам. Она упиралась.

— Постой. Туда, наверно, нельзя.

— Почему?

— Мало ли что! Здесь заграница, неизвестно, какие порядки.

— Я же только посмотрю!

— Знаю я твое «посмотрю». Не успеешь оглянуться, как ты уже в кабине...

— Ага! И полечу!

— Вот именно... Успокойся, егоза.

Он слегка успокоился, вздохнул:

— Вот, правда, полетать бы...

— Тебе мало? Ну так впереди еще целый день полета, через весь океан.

— Ну как ты не понимаешь?! В таком самолетике — совсем другое дело!

Олешек был прав. Полет в маленьком аэроплане — вовсе не то, что в громадном лайнере, где сидишь, как в автобусе. Небольшой самолет — он словно живой кожей чувствует потоки воздуха и передает это ощущение тебе. Это трепетание растяжек, чутких элеронов, закрылков и тонкого стабилизатора, подрагивание легкой, как фольга, обшивки, дребезжание расшатавшихся заклепок... А когда перед посадкой пилот выключает мотор и с бесшумным свертканием винта самолет круто скользит вниз — вот ощущение полета, вот замедление!..

В шестидесятых годах отец жил в Минске, а старший мой брат, Сергей, недалеко от Минска, в Молодечно. Я приезжал в гости к брату, и вдвоем мы отправлялись к отцу. Не электричкой и не автобусом. Шли на местный аэродромчик, покупали у сонной кассирши билеты и ждали, когда на поле ся-

дет похожий на крупного зеленого кузнечика десятиместный «Ан-2». Транзитный, летящий в столичный город Белоруссии из какого-нибудь райцентра со старинным названием (Ивенец, Столбцы и так далее).

Диспетчерский домик был деревянный, похожий на нашу старую тюменскую водокачку, и о его причастности к аэропортовской службе говорила только торчащая на крыше жердь с черно-белым полосатым сачком-вымпелом.

А сам аэродром был похож на пастбище. По краям его (а иногда и посередине) паслись местные Пеструхи и Буренки. Когда самолет стремительно садился в клевер и ромашки, коровы, задрав хвосты и взлягивая, ударялись в бега, а из открывшейся дверцы замершего «Ана» вываливались в траву бледные тетушки, чтобы отдышаться от морской (вернее, воздушной) болезни.

Полет от Молодечно до Минска занимал не больше двадцати минут. Но это был именно полет. Тот, который чувствуешь всеми жилками...

А еще более сильное ощущение полета я испытал на планере. Именно на таком летательном аппарате довелось мне впервые в жизни подняться в воздух.

Это случилось летом пятьдесят восьмого года. Я сдал экзамены за второй курс университета и приехал из Свердловска в Тюмень на каникулы. Как ни хороша была веселая студенческая жизнь, а домой тянуло всегда. На родные улицы, к школьным друзьям. К маме...

Многие друзья по-прежнему жили в Тюмени, учились в местных институтах и техникумах. А помимо этого, занимались всякими увлекательными делами. Два самых закадычных друга — Валерий и Юрий — подались в секцию планеристов. Юрия, правда, не взяли из-за сильной близорукости, но он время от времени летал со знакомыми ребятами пассажиром. А Валерий быстро освоил планерное искусство и авторитетно объяснял мне всякие хитрости про ручку управления и педали. Спортивный аэродром располагался примерно там, где сейчас тюменская «Сортировка». У деревни Войновка. Был он почти такой же, как тот, что потом я увидел под Молодечно. Похожее на выгон поле, будки по краю, полосатая «колбаса» на шесте... Через много лет, когда я писал повесть

«Летчик для Особых Поручений», то вспоминал именно эти аэродромы.

Я, Валерий и Юрий приезжали сюда на велосипедах. Иногда мы здесь проводили время дотемна. Впрочем, настоящей темноты не было — июльские ночи сохраняли в небе отсветы заката. Звезды почти не проклевывались, только на западе крошечным золотым шариком переливалась Венера. А на востоке всплывала круглая луна. Она была большущая, но очень застенчивая. Смотрела на поле словно сквозь кисею и густо розовела от смущения. Пахло теплой полынью. Было тихо. Лишь изредка мычали в недалекой деревне коровы.

Порой тишину разрубал рев мотора. Это курсанты развлекались с допотопным американским мотоциклом «Индиана». У мотоцикла не было тормозов, и ездить на нем разрешалось только по широкому полю, чтобы впереди всегда хватало места для пробега после остановки двигателя — как у самолета.

А у сторожки горел костер. На самодельных скамейках и чурбаках собиралась компания планеристов. Говорили о том о сем. Насколько я помню, никто не курил.

Курсанты были отличные ребята. С некоторыми я был знаком еще со школьных лет. Держались они на равных, никто не задирает носа передо мной и Юркой из-за того, что они все — летающий народ, а нам «не дано».

Среди молодежи неизменно оказывался аэродромный сторож дядя Костя — сухой, хромой и старый. Я не знаю, какая жизнь была у него за плечами, но чувствовалось, что непростая.

Дядя Костя любил поговорить о значении мировой культуры и часто упрекал ребят в нелюбви к литературной классике. Сам он был весьма начитан и особенно ценил западных писателей романтического склада.

Во мне дядя Костя обрел понимающего собеседника. Наши вкусы во многом совпадали, к тому же я совсем недавно сдал экзамен по западноевропейской литературе.

Разговор дядя Костя начинал обычно одной фразой:

— А как вы относитесь к... — и после паузы выдавал имя французской, английской или немецкой знаменитости. Я обычно отвечал, что отношусь к названному автору с почтением и

любовью, и мы пускались в тонкие рассуждения по поводу «Отверженных», «Пиквикского клуба», «Сирано де Бержерака» или жутковатых гофмановских историй. Окружающая публика состояла в основном из студентов-технарей и слушала нас с известной долей уважения. Вот так-то! Это вам не ручки-педали и шасси-закрылки...

Но такие беседы случались уже в сумерках, когда на костре кипел чайник и в углях пеклась картошка. А днем были полеты. Летали на «Приморцах». Это длинные узкокрылые птицы (похожие на один из самолетиков, увиденных мной здесь, в Рабате, только не желто-красные, а зеленые). На краю поля стоял грузовичок с мотолебедкой. Инструктор махал флажком, лебедка с воем начинала мотать на себя тонкий трос, прицепленный к носу «Приморца». Планер бежал по траве — все быстрее, быстрее — и наконец круто взмывал. Как воздушный змей на бечеве. Когда он оказывался над грузовиком, пилот дергал рычаг, трос отцеплялся и, рассекая воздух, летел на поле. Стоять поблизости не следовало.

Говорили, что бывало, когда трос не удавалось вовремя отцепить или обрубить и дело кончалось «дровами». Но при мне, слава богу, ничего плохого не случилось. Если не считать двух-трех досадных эпизодов, когда ребята не дотягивали до посадочного знака и садились на картофельные гряды местных огородников.

Жители Войновки приходили выяснять отношения, но больших скандалов не было. Дело ограничивалось охами-вздохами, а потом и смехом. А прилегшего среди грядок «Приморца» дружная компания тащила к стартовой линии на руках...

Неудачные посадки бывали редко. Обычно «Приморец», сделав круг над полем, заходил против ветра и благополучно касался земли похожим на резиновый бублик колесом — рядом с длинным белым полотнищем, которое обозначало ножку громадной буквы Т, выложенной на траве.

Несколько раз там приземлялся и трескучий старенький «По-2»: это навещал друзей-планеристов наш приятель Лева Кошелев. Он занимался в «самолетной» секции — она базировалась на другом, западном краю Тюмени, на том аэродроме, у которого я когда-то гулял с отцом.

Леву шумно приветствовали... Это были патриархальные времена, и такие вольные полеты между двумя городскими аэродромами тогда, видимо, не возбранялись...

Юрий был горд, что он, хотя и пассажиром, несколько раз уже побывал в воздухе. Но я не напрашивался. Во-первых, назойливость никого не украшает, а во-вторых... чего искушать судьбу.

Но настал день, когда Валерий сказал:

— Ну что, полетишь?

— А разрешат?

— Инструктор разрешил... Или что? Вибрация в поджилках?

Мой друг всегда отличался некоторой бесцеремонностью в анализах душевного состояния собеседника.

Я, по правде говоря, не очень-то доверял Валерию. Не по себе было от мысли, что придется вручить свою жизнь вот этому лениво-дурашливому субъекту, с которым я не так давно сидел за одной партой. Такой ли уж он опытный пилот? Летает-то без году неделю...

Но вибрации поджилок я показывать не стал. Впрочем, излишней бравады — тоже. Все сразу поняли бы, что она напускная. Сказал со вздохом:

— Что ж, пошли...

На меня надели парашют. Показали, за какую скобу дергать, «если что». Но тут же объяснили, что в любом случае прыгать и дергать бесполезно: парашют все равно не успеет раскрыться, высота полета для этого недостаточна. «Приморец» забирается вверх всего на полторы сотни метров.

— Тогда зачем этот лишний груз? — спросил я как можно безразличнее.

— Такая инструкция...

Я посмотрел вокруг, подумал о маме и полез в кабину, на заднее сиденье. А Валерка — на переднее. Видимо, со стороны это было еще «то зрелище». Мы оба длинные, худые (недаром в школе звали нас Папа Карло Первый и Папа Карло Второй).

Наконец забрались. Валерий задвинул прозрачный колпак. Махнул кому-то рукой. «Приморец» дернулся, побежал, запрыгал упругой резиной по мелким бугоркам. Потом прыганье прекратилось, меня слегка вдавило в сиденье, и я ощу-

тил, что взлетаю. Как во сне! Земля за стеклом круто ушла вниз.

Впервые в жизни я летел!

Это было радостное, хотя и с примесью боязливости заморание.

Земля стала громадной, я увидел освещенный вечерним солнцем город. Я вбирал в себя ощущение полета.

Раньше я думал, что полет на планере — это безмятежное и бесшумное парение. Ведь без мотора же! Но теперь на уши давил ровный, с посвистом, шум. Я догадался, что это шумит рассекаемый плоскостями воздух. У моих колен шевелилась ручка с резиновым наконечником — таким же, какие надеваются на велосипедный руль. Это была рукоять управления для дублера. Валерий еще на земле предупредил, чтобы я не вздумал ее касаться, а то... — И он сделал винтообразное движение пальцем вниз. Я, конечно, и не касался. Упаси господи! Планер и без того вел себя достаточно «круто». Я вдруг понял, что мы летим на боку.

В самолетах, когда они делают большой крен, пассажирам кажется, что с ними все нормально, а земля вдруг встала дыбом. Здесь, в «Приморце», я прекрасно видел и чувствовал, что земля по-прежнему горизонтальна, а мы с Валеркой вдруг завалились набок: слева сверху — вечерний зенит, справа внизу — родная Тюмень.

Я перепуганно глянул в нечесаную Валеркину макушку. Она излучала уверенность. Тогда и я малость приободрился. Стал разглядывать город. Раньше я видел его с высоты не более полусотни метров — с парашютной вышки. Сейчас высота была втрое больше. Плавным серебристым изгибом лежала среди зелени и крыш река Тура (на которой у нас с Валеркой и Юркой было в свое время немало приключений). Она казалась отсюда узкой как сабля. И я вспомнил блестящий клинок, который однажды выложил на стол лейтенант Саша...

Земля быстро поворачивалась. Планер опять обрел горизонтальное положение и быстро снижался. Мелькнуло полотняное Т, колесо запрыгало по тверди.

У планера, в отличие от самолетов, одно колесо. Приземлившись, планер бежит на нем и сохраняет равновесие. А остановившись, мягко ложится на крыло.

Лег и наш «Приморец». Мы выбрались. Я почувствовал, какая теплая и твердая земля и как хорошо пахнет полынь. Валерий пошел к инструктору — получать замечания, а я деликатно отстал. Но все равно слышал, как инструктор сказал Валерке, что «в общем нормально, только чересчур ложишься на борт».

Валерка подошел ко мне. Бормотнул:

— Придирается.

А я скромно возразил:

— А по-моему, нет. Ты и в самом деле на середине круга летел перпендикулярно земле. Я это очень даже ощутил. Конечно, я мало разбираюсь, но все же...

Как ни странно, Валерка не съязвил в ответ. Сказал покладисто:

— Ладно, учтем... Ну, а ты уж, конечно, больше не захо-чешь со мной?

— Отчего же? Давай, если можно...

Валерка меня сразу зауважал. Остальные, по-моему, тоже. И оказалось, что лететь можно прямо сейчас: каждому кур-санту полагалось за одну тренировку делать два взлета.

Мы поднялись опять, и в благодарность за мое доверие Валерий разрешил мне подержаться за ручку.

— Можешь даже шевельнуть.

И я шевельнул. И ощутил, как отзывчиво шевельнулся ту-да-сюда в полете «Приморец». Валерий тут же велел отцепиться, перехватил управление. А я стал смотреть на город.

На этот раз я все разглядел подробно. Улицы, колокольни, знакомые дома. И снова заскользил глазами по излучинам Туры, вспомнил нашу одиссею на плоскодонке с самодель-ным парусом. И чем она окончилась...

В сумерках мы опять сидели у костра, передавая друг другу единственную (зато громадную) кружку с чаем. И дядя Костя с привычной протяжной ноткой задал вопрос:

— А-а как вы относитесь к Антуану де Сент-Экзюпери?

У Экзюпери я читал тогда только «Маленького принца», в чем честно и признался дяде Косте. И сказал, что сказку эту очень люблю и что нынешние дни и вечера теперь будут пере-плетаться у меня в памяти именно с этой книжкой. Почему? Наверно, потому, что там и здесь полеты, там и здесь грусть.

— А у вас, позвольте спросить, отчего грустное настро-ение? — осторожно осведомился дядя Костя.

— Каникулы кончаются. А уезжать не хочется.

Причина была, конечно, глубже. Не просто каникулы кончаются, а навсегда уходят эти славные дни. Частичка жи-зни уходит в прошлое. Наверно, впереди будет немало хоро-ших дней, но именно э т и х — с костром, с горячей кружкой, с ощущением товарищества, с дядей Костей, с переливчатой Венерой и розовой луной, с неостывшей памятью о первом полете — не будет уже никогда.

Ведь первый полет бывает только раз в жизни.

...Из Тюмени я решил лететь в Свердловск самолетом. То-же впервые в жизни. (Стоило это в ту пору совсем недорого.) И улетел — на стареньком двадцатиместном «Ли-2», который дребезжал и трясся на воздушных ухабах, как телега на бу-льжной мостовой. Было совсем не похоже на планер, но все равно интересно. Особенно запомнились пухлые облака, проплывавшие под крыльями, и тени от них на косматой шку-ре леса.

А путь, который на поезде занимал целую ночь (духота об-щего вагона, багажная полка под грязным потолком), длился всего сорок минут...

6

Наконец мы опять заняли места в «Иле», и самолет поки-нул Королевство Марокко. Несколько минут он летел вдоль побережья, словно не хотел расставаться с Африкой. Потом желтая земля с белой каймой прибоя ушла назад. Мы словно повисли внутри синего шара, состоящего из двух полусфер: внизу — вогнутый, как чаша, океан, вверху — космически тем-ный купол неба.

Впрочем, скоро Атлантика перестала выглядеть столь за-гадочно. Сделалась плоской и серой, с металлическим отли-вом. Заметно было, что по ней идут волны — длинными ряда-ми. С высоты они казались мелкими неподвижными складка-ми. Было похоже, что мы летим над громадной стиральной доской из оцинкованной жести. Кое-где на этой «доске» маз-ками белой краски проступали фигурки океанских теплохо-

дов. Они тоже казались неподвижными, но за каждым был хорошо различим бурунный кильватерный след...

На пассажиров снизошла сонная истома. Аксакал привалился головой к иллюминатору. Мадам откинула спинку кресла и величественно откинулась сама. Веки ее были прикрыты, а губы изредка издавали звук «ф-ф-ф». Возможно, Мадам во сне произносила «фантастико».

Барбудо ушел в салон первого класса к знакомым (и, кстати, не возвращался почти до самой Кубы). Кресло рядом со мной стало сиротливо пустым. Я слегка обиделся на Барбудо.

Ребятишки тоже притихли — не бегали, не катали мячик. А впереди был еще целый день полета.

Я начал дремать. Но скоро очнулся от негромкой перепалки по соседству. Это Олешек спорил с мамой:

— При чем тут «не сидится»? Мне правда надо... Да, очень...

И он независимо прошествовал в хвост, где было помещение для тех, кому «очень». Мама его напряженно смотрела вслед. Видимо, опасаясь, что он каким-нибудь образом может вылететь оттуда наружу. Но когда наконец ее чадо опять появилось в проходе, она тут же спряталась за спинку кресла.

Сын ее неторопливой и слегка танцующей походкой шел к своему месту. Вертел головой. Ему явно не хотелось в надоевшее кресло.

— Олешек! — сказал я, когда он проходил мимо.

— Что? — Он обернулся весело и без удивления. С готовностью к разговору.

— Иди сюда, побеседуем... — По правде говоря, я не очень представлял, о чем будет беседа, но он тут же сбросил сандалии и забрался в Барбудино кресло. Выжидательно, с искорками в серых глазах, уставился на меня.

— Ну что, — сказал я, — погулял босиком по Африке?

Он охотно кивнул:

— Погулял. Только недолго. Наступил на одну... колючую штучку. Сперва даже думал, что до крови.

Я хотел узнать, что это за «штучка», но Олешек устроился поудобнее и хитровато спросил:

— А откуда вы знаете, как меня зовут?

— Слышал, как мама окликала... А какое у тебя настоящее имя? Олег?

— Нет, Дима.

Вот тебе и на!

— А почему «Олешек»?

— Мама так придумала. Говорит, что как олененок Бэмби, такой же прыгучий... Вы читали книжку про Бэмби?

— Разумеется. И кино есть такое. Не смотрел?

— Не-а...

— Это старый мультфильм режиссера Диснея. Американского...

— А, это у которого «Белоснежка и семь гномов»? «Белоснежка» я видел. Там самый маленький гном мыло съел и пускал из себя пузыри. Так смешно. Помните?

— Еще бы!

Мы дружно посмеялись над гномом, пускавшим пузыри. В этот момент из-за своего кресла опять показалась мама Димы-Олешка — веснушки, очки и встревоженно-смущенные глаза.

— Господи, вот уже где присоседился! Имейте в виду, он вас замучит разговорами.

— Ничего, я тренированный.

— А почему вы тренированный? — обрадованно уцепился за новую тему Олешек.

Я объяснил, что в городе Свердловске, где я живу, есть дружная мальчишечья компания, которая называется Отряд «Каравелла». Так что мне к любопытным собеседникам не привыкать.

— Каравелла — это корабль такой?

Я подтвердил и рассказал, что мы с мальчишками сами строим яхты и ходим на них по местным озерам, на которых случаются вполне морские штормы.

— А я на лодке с парусом никогда не плавал, — заметил Олешек с грустинкой. — Даже завидно...

— У тебя еще все впереди, будут и паруса... А завидовать... что ж, это иногда полезно, если без обиды. Я вот, например, завидую тебе...

— Да? — очень удивился он. — А из-за чего?

— Из-за того, как ты ловко прошелся босиком по Африке. А мне вот не пришлось.

Он засмеялся, повозился опять и сказал слегка дурашливо:

- Кто же вам не давал?
- Страх. Побоялся, что скажут: «Солидный дядька, а ведет себя так несерьезно».
- А когда вы были... еще не солидный, вы гуляли босиком?
- Разумеется! Тем более что времена тогда были попроще и победнее, обувь приходилось беречь. И, ссылаясь на это обстоятельство, мы с приятелями бегали босые сколько угодно. Помню, мне уже четырнадцать лет было, я приехал в гости к отцу, в белорусский город Бобруйск, и там гулял босиком по всем улицам — от дома до реки Березины, где был чудесный пляж... А некоторую неловкость за свой «необутый» вид я первый раз ощутил только в шестнадцать лет. Когда не по своей воле пришлось прогуляться так по родному городу Тюмени.
- Конечно, Олешек спросил, что же тогда случилось. И я рассказал, потому что ему интересно было слушать, а мне вспоминать приключения юности.

7

Эта история случилась с Юрием, Валерием и мной летом пятьдесят пятого года, после девятого класса, в наши последние школьные каникулы. Мы тогда часто плавали на лодке.

Это была утлая плоскодонка. Ее подарил мне за ветхостью и ненадобностью мой отчим — любитель утиной охоты.

Мы привезли эту посудину к Валерию на двор, выкрали у его бабушки банку густой масляной краски и зашпаклевали щели. А дно залили гудроном. Помню, что к гудрону и краске прилипали семена одуванчиков, а бабушка на дворе ругала Валерия и жаловалась на судьбу, потому что обнаружила пропажу.

Лодка была рассчитана на одного человека, но мы ухитрились плавать втроем, не смущаясь, что вода журчала почти вровень с бортами. Мало того, мы из жерди соорудили мачту, а из куска бязи — треугольный с полукруглой задней кромкой парус, в который вшили для прочности несколько длинных сиреневых прутьев. Под такими парусами ходили яхты, которые мы видели на картинках. Этими картинками и ограничивались наши понятия об управлении парусными судами.

Первые дни нам не везло с ветром. Жара и штиль. Но од-

нажды задул ровный ветерок с северо-запада. И мы тут же отправились в дальнейшее путешествие. Слегка смущало нас, что обратно придется идти против ветра и течения, но мы знали, что судно с косым парусом, вроде нашего, может двигаться змейкой, в лавировку. А в крайнем случае, решили мы, выгребем. Для этого у нас было самодельное весло с двумя лопастями, типа байдарочного, одно-единственное. Им гребли, им же управляли, когда лодка бежала под парусом.

Пробовать заранее, как наш «корабль» ходит в лавировку, было некогда, мы боялись, что ветер стихнет.

— Ладно, сперва потешимся, — заявил Валерий, — а потом поглядим, что дальше.

Было у него такое любимое словечко — «потешимся». То есть поразвлекаемся от души.

И мы пустились в плавание!

Попутный ветер и течение резово несли нас мимо плотов, мимо зеленых береговых откосов со старинными домами и колокольнями. Мимо пассажирской пристани с пароходами «Менделеев» и «Орджоникидзе». Мальчишки на плотках махали нам руками и радостно вопили. Закопченный колесный буксир (по-моему, «Механик Кулибин») приветствовал нас басовитым гудком. Еще бы! Мы были единственным парусником на реке Туре.

Радость путешествия не омрачалась ничем. И лишь оказавшись за городом, ощутили мы некоторую тревогу. Этакое предчувствие, что главная часть плавания (при этом не самая приятная) впереди.

Ветерок не стихал, даже стал сильнее. Мы развернули лодку, чтобы, двигаясь зигзагами от берега к берегу, начать обратный путь.

Увы!.. Мы тогда и представления не имели, что для хождения в лавировку судно должно иметь под днищем плавник — выдвигной шверт или тяжелый фальшкиль. Плоскодонка наша никак не хотела быть яхтой. А весло в этом случае совершенно не желало служить рулем. Нас разворачивало бортом к ветру, таскало от берега к берегу, и несколько раз мы черпнули воды. Милая наша, ласковая Тура сделалась строптивой и не уступала ни пяди расстояния. Наоборот, течение отодвигало нас все дальше от дома.

Кончилось тем, что нас крепко трахнуло носом о плоты, на которых работали полуголые дядьки. Юрка сидел на носу и считался впередсмотрящим, но роль эта была сугубо формальной по причине его капитальной близорукости и умения задумываться в самые неподходящие моменты. Плотов наш Юрочка, конечно, не заметил, от удара вылетел на них и поехал, пересчитывая бревна суставами. Потом встал на четвереньки и, подслеповато мигая, стал громко характеризовать мои и Валеркины мореходные качества.

Нас в это время отнесло опять на середину. Мы видели, как мужики заботливо подняли и ощупали Юрку, отыскивали слетевшие очки и стали оживленно беседовать. Опасаясь нового удара о бревна, мы закричали нашему непутевому впередсмотрящему, что подходить не будем, пусть плывет к лодке сам.

Юрка пожал мужикам руки, укрепил на носу очки и ласточкой махнул в воду.

И тут же мы услышали тонкий отчаянный вопль:

— Стой! Стрелять буду!

На дощатой жиденькой вышке (на которую мы до сей поры не обращали внимания) метался тонкошей парень в зеленой фуражке и гимнастерке. Неумело пристраивал к плечу приклад винтовки.

Мы с Валерием заорали что-то неразборчивое. А мужики на плотках более понятно:

— Протри зенки, балда гнилая! Это же пацан!

Парень, видать, уразумел наконец, что с плотов ушел не зэк, а случайный мальчишка. Винтовку опустил, но завопил тоньше прежнего и замахал кулаком.

Мы вытащили Юрку. С перепугу набрались нахальства и прокричали часовому, на каком месте у него глаза и чем стреляет его ржавая берданка времен русско-турецкой войны. После этого сдернули полощущий парус, и я отчаянными рывками весла увел посудину к другому берегу, метров на сто выше по течению.

Там выбрались мы на замусоренный корой и щепками песок, чтобы отдышаться. У Юрки постукивали зубы. Он всегда немного заикался, а сейчас еле выговаривал каждое слово:

— К-кто ж-же их знал... П-подошли, г-говорят: «П-пацан,

ты откуда, с-с к-какой улицы?» П-п-привет-тливые т-такие. Я г-говорю: «С Г-герцена». А од-дин: «Я там р-рядом ж-жил, на У... У... рицкого...» Я п-подумал: «Н-неужели они т... т... тут к-круглосуточно в-вка-львают?.. В-все лето?»

— Ладно, п-потешились, и хватит, — сказал Валерий. То же с невольным заиканием. — Убираем этот д-дрин и начинаем грести. — Он стал выдергивать из гнезда мачту. Юрка начал помогать, но остановился и сумрачно вспомнил:

— Б-бабка б-была, кажется, п... права...

— В чем права? — буркнул Валерий.

— Ут... тром с-сказала: «Т-ты с-своей смертью не помрешь. П-повесят или п-пристрелят...»

У Юрки с его бабушкой отношения складывались непросто. Бабушка была верующая, читала религиозные книги, однако (по Юркиным словам) характеру ее не всегда было свойственно христианское смирение. По крайней мере, в общении с внуком. К Юрке она относилась с язвительной придиричивостью, порицая его за медлительность, рассеянность и недостаток рвения к домашним делам. А также за безграмотность. Кончила бабушка два или три класса церковно-приходской школы и помнила из всех правил синтаксиса только одно: перед словом «что» в предложении ставится запятая. Зато помнила твердо. Юрке это правило тоже, разумеется, было известно, однако на деле он применял его не всегда (по причине вышеупомянутой рассеянности). Бабушка, улучив момент, вытаскивала из его портфеля тетради и, обнаружив отсутствие знака препинания перед «что», поднимала обличительный шум...

Впрочем, в это утро внук и бабушка поспорили о чем-то другом (какие там тетради, если каникулы). Не помню, о чем именно. Знаю только, что Юрка стал детально объяснять любимой бабушке, что ее ждет в преисподней за неправильное отношение к внуку. Бабушка не перенесла спекулятивного использования библейской темы и огрела Юрия шлангом от стиральной машины.

То, что именно шлангом, почему-то особенно возмущало и оскорбляло Юрку. Судя по всему, удар каким-либо другим предметом домашнего обихода был бы менее болезнен для его самолюбия.

Отбросив шланг, бабушка и произнесла слова о том, что внук в силу своих порочных качеств обречен на насильственную смерть. Сейчас эти слова казались Юрке зловещим пророчеством.

— Ну, чего так переживать, — осторожно сказал я. — Все ведь обошлось, этот дурак не выстрелил.

— Но ведь мы еще не д-доплыли до д-дома, — с грустной задумчивостью отозвался Юрка.

Мы с Валерием тоже призадумались. Уложили жердь с парусом на дно лодки и по очереди принялись сосредоточенно грести против течения. Но судьба готовила нам новый удар: весло в моих руках подло хрустнуло и сломалось.

Если бы посредине древка сломалось, тогда еще ладно, можно было бы грести двумя половинками. Но лопасть отломилась у самой шейки. Таким образом, оказались мы с одним однолопастным веслом и нелепой дощечкой, порядком уже измотанные, в десяти километрах от дома, при встречном течении и ветре.

Ну что же, погребли, как могли. И все же двигались, хотя и понимали, что доберемся к месту не скоро.

А впереди ждало нас еще одно происшествие. Самое пако-
стное. Пиратское.

Плоты у берегов тянулись почти сплошь. То по левому берегу, то по правому. И работали на них не только заключенные, но и вполне свободные, жизнерадостные граждане СССР. Недалеко от пассажирской пристани веселая компания таких граждан, прервав трудовой процесс, развлекалась купанием. Несколько гогочущих мускулистых парней подплыли к нам и наперебой высказывались в том смысле, что на такой калоше мы попадем прямо в царство небесное.

Я деликатно возразил, что, может быть, такого финала и не будет, если пловцы станут держаться подальше. Они, однако, не вняли совету. А один поступил совсем подло...

Это был рыжий — веснушчатый и медноволосый — тип. Сразу оговорюсь, что его конопатость и рыжесть не имела в себе ни капельки той симпатичности, которая украшала девочку Полю и маму Олешка. Рожа у него была узколобая, разбойничья, хватки уголовные, гогот отвратительный. Он

осклабился и положил пятнистую лапу на корму нашего суденышка.

Этого было достаточно. Мы оказались в теплой желтоватой воде. Парни, радостно перекликаясь, вылезли на плоты, а мы плавали вокруг лодки и старались выловить имущество. Рюкзак с одеждой поймали, он прыгал на зыби, как надувной мешок. А три пары наших башмаков дружно ушли на дно.

Лодку мы умело и быстро отчерпали на плаву — было не привыкать. Забрались в нее. Были мы целы-невредимы, вещи все оказались на месте. Кроме обуви.

Эта потеря разозлила нас отчаянно. А еще больше — сам факт вероломного пиратского нападения. Наши души жаждали отмщения. Миновав участок плотов, мы выбрались на берег и пошли искать контору лесосплавщиков, чтобы потребовать возмещения морального ущерба и убытков.

Мы долго ходили среди всяких будок, эстакад, штабелей и заборов, но никакой конторы не нашли. Только потеряли еще около часа. Солнце уже заметно склонялось к далеким башням Троицкого монастыря. Напротив этого монастыря стоял дом наших знакомых, у которых мы оставляли лодку. И плыть до этого дома было еще ой-ей-ей сколько...

Добрались мы уже после заката. Знакомые не на шутку тревожились. Мы же думали о том, как тревожатся наши домашние.

А впереди ждало нас последнее испытание: путешествие босиком чуть не через весь город. Впрочем, Валерия и меня это не особенно волновало. Но Юрий говорил, что идти так совершенно неприлично. И зябко поджимал ноги. Его незагорелые интеллигентные ступни фосфорически белели в жиденьких июльских сумерках.

Но делать нечего, пошли, выбирая улицы побезлюднее. Было даже приятно идти по теплой пыли немощеных дорог. Пыль эта скоро припорошила Юркины ноги, и он малость утешился.

Я на ходу философски размышлял, какой груз предрассудков и условностей взваливает на наши плечи грядущая взрослость.

Казалось, еще совсем недавно мы бегали, не стеснясь

ободренных коленок и прилипших к майкам репьев, пускали из луков стрелы в нарисованных на заборах чертей, сотрясали азартными криками переулки при игре в сыщики-разбойники. Теперь уже так не поскачешь.

Конечно, мы еще многое можем. Например, лихо носить на велосипедах, гонять на пустырях футбольный мяч или, вот как сегодня, окунаться в «парусные приключения». Но возраст уже накладывает свои запреты на вольную жизнь. Не полезешь теперь с мальчишками на крышу запускать змея, не устроишь весной в лужах гонки сосновых корабликов, не станешь вечером на дворе поджигать самодельные дымовые шашки, чтобы очередной раз перепугать соседку Таисию Тимофеевну...

Да и в школе то же самое. При очередном объяснении с завучем Петром Юлиановичем уже несолидно шмыгать носом и говорить бесхитростно: «А чё я сделал?». Приходится тактично объяснять, что растущий интеллект периодически требует разрядки, каковая порой, становясь неуправляемой, принимает причудливые формы — вроде эксперимента с дымящимися сигаретами в зубах черепов гориллы и питекантропа, который (эксперимент то есть) и ввел в непредсказуемое состояние нашу уважаемую биологичку Алевтину Михайловну, о чем мы, естественно, искренне сокрушаемся...

— Да-а... — вздохнул я, пыля по обочине. — Многие мы уже потеряли и многое потеряем еще...

— Ну уж дудки! — откликнулся практичный Валерий. — С меня хватит башмаков...

Я грустно посмеялся. Старых башмаков было не жаль. Только бы у мамы не случилось там какого-нибудь сердечного приступа.

...Мама и старшая сестра ждали меня у калитки.

— Хорош, — сказала Людмила, глядя на меня, на босого. И поджала губы (скорее всего, чтобы не разреветься).

— Где тебя носило? — спросила мама и всхлипнула.

Ну и, как водится, охи-ахи, объяснения, упреки, а потом и смех сквозь слезы. А что было делать с оболтусом, выросшим под метр восемьдесят? Поставить в угол? Или, может быть, огреть шлангом от стиральной машины? Но у нас в ту пору машины еще не было...

После того приключения мы все трое к лодке, казалось бы, охладели. На следующий день мы даже поклялись «больше не связываться с этой чертовой посудиною». И держали клятву почти две недели...

Скоро наступила осень. Валерий, склонный к неожиданным увлечениям, вдруг решил, что нам надо заняться боксом. Никакой подходящей секции в округе не было, да и возраст наш был уже «староват» для новичков. Но Валерий бодро сообщил, что заниматься будем самостоятельно.

— Перчаток же нет, — опасливо напомнил Юрий.

— Сами сошьем, из паруса. Там бязь плотная, почти как кожа... А будут перчатки, тогда уж потешимся вволю...

Перчатки получились неплохие — Валерий был мастер на все руки. Однако боксеров из нас не вышло. На первой же тренировке Валерий чересчур усердно двинул Юрку по носу. Юрка надулся и отказался от дальнейших занятий. А вдвоем нам это дело показалось скучным.

На будущее лето нам было не до лодки: выпускные экзамены, вступительные экзамены... Так и получилось, что наша парусная плоскодонка и вечернее путешествие босиком по всей Тюмени сделались как бы последними воспоминаниями детства...

А в парусах я все-таки не разочаровался. Наглядное тому доказательство — отряд «Каравелла».

8

Конечно, всю эту историю я рассказал Олешку не так подробно, как пишу здесь. Делал упор на смешные моменты. И Олешек смеялся заливисто, от души — откидывался на спинку и болтал в воздухе вскинутыми ногами (одна по-прежнему в носке на левую сторону). Мадам во сне отзывалась на этот смех недовольным «ф-ф-ф».

Отсмеявшись, Олешек на минутку притих и вдруг спросил:

— А вы к вашему папе в Бобёрск... ой, в Бобр... бруйск тоже на самолете летали?

— Нет, это ведь было почти двадцать лет назад. Тогда самолеты были... так сказать, не в моде. Поездом добирался, с

пересадками... Потом уж, когда отец в Минске жил, случилось летать к нему.

Олешек смотрел серьезно, водил кончиком языка по пухлым губам. Вот-вот спросит: «А почему вы с папой жили так далеко друг от друга?» И придется сказать, что всякие бывают обстоятельства. Так, мол, получилось.

Он не спросил, деликатно опустил глаза. Потом поделился:

— А мы с мамой все время на самолете. Из Киева в Москву, а из нее — вот... Тоже к папе.

— А что папа делает на Кубе?

Оказалось, что папа — инженер. Живет уже целый год в городе Лас-Вильясе и помогает кубинцам строить сахарные заводы. За это время папа очень соскучился по маме и Олешку, и теперь они будут жить в Лас-Вильясе вместе. Там есть школа для советских ребят. «Для детей наших специалистов», — солидно сказал Олешек. Учатся эти дети отдельно от кубинских ребят, на своем русском языке, но играют все вместе. У этой общей компании есть собака. По-русски ее зовут Шарик, а по-кубински Чарик, потому что в испанском языке буква «ша» не выговаривается. А еще там есть великолепная автомобильная свалка, где мальчишки находят много интересных вещей.

Все это Олешкин папа написал сыну в письме, а мама, прочитав письмо, сказала, что надо ехать скорее. Потому что папа, судя по всему, отбил от рук и сам рассуждает как мальчишка. Не исключено, что вместе с ребятами лазает по свалкам...

— С таким папой не пропадешь, — сказал я.

— Ага, — сказал Олешек.

— Наверно, вы вдвоем будете гулять босиком по Кубе.

— Может быть... Жалко, что не по Африке.

— Разве Куба хуже Африки? Там тоже пальмы, бананы. Тропики.

— Не в пальмах дело, — вздохнул Олешек. — Просто про Африку я думал очень давно, с самых детских лет. Когда первый раз стихи услышал.

— Какие стихи?

— Ну, не знаете разве? Которые Корней Чуковский сочинил:

Вдоль по Африке гуляют,
Фиги-финики срывают.
Что за Африка!
Чудо-Африка!..

Итак, я оказался прав. В самом деле, увлечение Олешка не обошлось без Корнея Ивановича.

— Действительно, есть такие стихи, я их тоже в детстве любил... Но ведь можно и про Кубу придумать...

— Какие? — Он живо крутнулся в кресле, глаза заблестели.

— Ну, например, так...

Босиком прошелся я бы
От Гаваны до Сантьяго,
Если б только не ходил
Вслед за мною крокодил...

Выпалив эти моментально придуманные строчки, я съелся, сообразив, как они далеки от вершин поэзии.

Олешек отозвался снисходительно:

— Ничего... Но это ведь не знаменитые стихи. А те знаменитые, потому что их написал знаменитый писатель.

Во мне зашевелился восьмилетний Славка с улицы Герцена, и я отозвался тоном уязвленного второклассника:

— Да, я, конечно, не очень знаменитый, но в какой-то степени тоже писатель... И, между прочим, у меня есть письмо Корнея Чуковского, в котором он хвалит одну из моих первых книжек.

— Ну-у?... — осторожно выдохнул Олешек и слегка отодвинулся. И заново осмотрел меня своими золотисто-серыми глазами. — А можно посмотреть?

— Письмо? Но оно же дома, среди бумаг...

— А книжку?

— Той книжки у меня тоже нет, она вышла семь лет назад. А другую могу показать...

Я встал и потянул с багажной сетки портфель, вызвав сонное неудовольствие Мадам. Достал книжку «Валькины друзья и паруса». Она оказалась для этого случая особенно подходящей, потому что вначале там была моя фотография. Причем не официальная, не со строгой и надутой физиономией, как это часто случается, а хорошая такая, веселая: я стою растрепанный, в распахнутой куртке и опираюсь о ствол могуче-

го тополя. Это снял меня в шестьдесят восьмом году Саня Бабушкин, один из пятнадцатилетних капитанов «Каравеллы».

Посмотрев на фото, Олешек не мог не убедиться, что именно я написал эту книжку.

— Ух ты... Она про корабли, да?

— Про корабли. И про ребят, про таких, как ты... и каким был я когда-то... Подожди... — Я вынул авторучку. Она была упакована в специальный целлофановый пакетик, чтобы не потекла на высоте от смены давления. Я разорвал целлофан и написал на титульном листе: «Диме-Олешеку на память о том, как он гулял босиком по Африке. Желаю тебе так же весело и смело обойти весь земной шар и поменьше наступать на колючки». Расписался и поставил дату: «2 ноября 1972 г. Высоко над Атлантикой».

...Олешек унес книжку к себе, в свое кресло, и какое-то время они с мамой листали ее вдвоем. Потом мама выглянула из-за спинки, прижала руку к груди и наклонила голову, проявив тем самым сердечную благодарность. Я поклонился столь же церемонно, давая понять, что рад сделать приятное. И подумал: «А может, спросить Олешека, как зовут его маму? Вдруг... Полина?»

Но понял, что не решусь.

...А самолет все летел, летел в пустом безоблачном пространстве, над похожим на стиральную доску океаном... Летел ли? Может быть, повис неподвижно? Очень уж равномерное было движение, очень монотонный гул.

Стюардессы покормили нас обедом. И опять потянулись неторопливые сонные часы. Я успел написать черновик своего выступления для встречи-конференции с кубинскими писателями. Успел поругаться с проснувшейся Мадам, которая требовала, чтобы я отдал текст ей. Она, видите ли, обязана иметь у себя копии всех подготовленных речей. Я не отдал, заявив, что это не копия, а оригинал. Что же касается обязанностей Мадам, то это ее проблемы.

Мадам сказала, что никогда не подумала бы, что столь безответственных молодых членов Союза писателей могут посылать за границу в составе официальных делегаций. Причем не куда-нибудь, а в страну пламенной революции, где...

Она не договорила и крепко чихнула, как бы подтверждающая

свое негодование. И, словно в ответ на этот категорический чих, самолет ошутимо трянуло.

Мадам замерла, мигнула и... чихнула снова. И наш лайнер опять подпрыгнул, как на ухабе.

— Ф-фантастико, — не удержался я.

Мадам воткнула в меня негодующий взгляд, но тут же сморщилась и сотряслась от нового чиха. А «Ил» запрыгал, как водовозная бочка на бугристом спуске.

— Вот видите, — сказал я назидательно.

Тряска усиливалась. «Ил» начал то проваливаться в воздушные ямы, то резко взмывать. И все это сильнее, сильнее. Еще сильнее. И вдруг мы ощутили, как он резко идет вниз.

— Ай! Сломался, что ли? — раздался тонкий мужской голос.

Но надо заметить, что это было единственное проявление паники. В общем-то и взрослые, и ребяташки вели себя тихо. Самолет наконец перестал «сыпаться» вниз, но жестокая тряска не прекращалась.

— Что это? — сказала Мадам посеревшими губами.

— Боюсь, что Бермудский треугольник, — мстительно отозвался я. — По-моему, мы как раз где-то в этих пакостных местах.

— Фан... ай!.. — Это от нового сотрясения.

Любопытно, что я тогда не чувствовал никакой боязни. И сердце стучало в нормальном ритме — в отличие от того момента, когда ровно и спокойно летели над Римом.

Кстати, потом, уже дома, прикидывая этот маршрут на морской меркаторской карте Атлантики, я увидел, что мы и правда чиркнули по южной границе знаменитого треугольника, в котором не раз бесследно пропадали самолеты и корабли. Но наш «Ил» судьба пощадила. На переборках зажгли надписи: «Не курить. Пристегнуть привязные ремни», а бодрый голос бортпроводницы попросил не волноваться: «Самолет проходит район болтанки».

Проходили мы этот район примерно четверть часа. Постепенно тряска сошла на нет. «Ил» опять поднабрал высоту, и самолетная жизнь пошла своим чередом. Снова выбрались на ковровую дорожку малыши с красным мячом. Разноцветный Костя с двумя девочками перебрасывался бумажным голу-

бем. Наверно, не часто бумажные голуби летают на такой высоте...

Появился из-за кресла и Олешек. Глянул вопросительно: нет ли у меня настроения для новой беседы?

Я поманил его. Олешек с готовностью оказался рядом. (Барбудо по-прежнему отсутствовал, тряску он пережил в салоне первого класса.)

— Я в вашей книжке уже одиннадцать страниц прочитал. А потом как затрясло...

— Перепугался?

— Не-а... не очень. Меньше, чем мама. Я ей говорю: «Не бойся. У меня для безопасности одна вещь есть».

— Что за вещь?

— Ну, бывают такие, заколдованные. Для счастья. У них специальное название, только я забыл...

— Талисман?

— Да! Правильно!

— А что за талисман? Или это секрет?

— Вообще-то секрет. Но вам покажу. Это та штучка, на которую я там, в Африке, наступил. Она лежала кверху петелькой. Вот... — Олешек извернулся на сиденье, вывернул с подкладкой тесный боковой карман и протянул мне на ладони пуговицу.

Это была форменная пуговица. Вроде армейской, для шинели, но не желтая, а из тусклого белого металла. С пятиконечной звездой. Почти что совсем «наша», только звезда не с серпом и молотом, а сплетенная из пяти полосок. Такая, какие мы в детстве мастерили из дранок...

Ничего тут, конечно, не было удивительного. Я сразу понял, почему при беглом взгляде на марокканские мундиры пуговицы показались мне знакомыми. Только тогда я не разглядел как следует.

Сейчас я вспомнил, что такая переплетенная пятиконечная звезда — пентаграмма — эмблема Марокканского королевства. Она и на флаге Марокко — зеленая на красном поле. Потому и на пуговицах.

Наверно, эта пуговица оторвалась от формы рабатского летчика и упала в траву. И очень удачно подвернулась под босу ступню залетного мальчишки. И такая обычная, ничуть

не волшебная там, в Рабате, для Олешека стала талисманом, потому что связана с приключением.

Жаль, что мне не попала такая же Я позавидовал Олешечку. Но не очень. Главное, что я все-таки увидел ее и вспомнил наши звездочки-самолеты из лучинок. И было такое ощущение, что ко мне вдруг вернулась та звездочка, которая в далеком сорок шестом году застряла среди тополиной листвы.

Но если вернулась, то... не самое ли время спросить: «Олешек, как зовут твою маму?»

И опять я не спросил. Потому что понимал: шансов почти никаких. Пусть это останется тайной. В тайне всегда есть надежда. И у меня сохранится в памяти такая вот сказка: про девочку Полю и про вернувшуюся ко мне через много лет маленькую летучую звезду...

Олешек подышал на пуговицу и стал чистить ее подолом легкой парусиновой курточки. На белой ткани осталась темная полоска.

— Смотри, испачкался. Влетит от мамы.

— Ой... Ага, влетит. Ну ладно, теперь уж все равно...

Тогда я сказал внушительно:

— Не советую тебе тереть этот талисман. Вспомни арабские сказки про джиннов. Джинны появляются тогда, когда кто-нибудь трет лампу, кувшин или другой металлический предмет. А пуговица — она ведь тоже арабская. Вдруг вылезет великан в чалме...

— Ну и пусть! — возликовал Олешек.

— Но не в самолете же! И так хватило тряски!

— Ладно, дочищу на Кубе... Может, и правда вылезет джинн.

Мы посмеялись нашей выдумке. Олешек вдруг задумался. Поставил пятки на сиденье, стал смотреть вперед, а кулаки со спрятанной в них пуговицей держал перед собой, между колен. Мне вдруг представилось, что в руках у Олешека рычаг управления — как на планере или маленьком самолете.

...Через год я напишу сказочную повесть о маленьком Летчике для Особых Поручений. Летчик Антошка будет не совсем такой, как Олешек. Он... позадумчивее, что ли. Но я

знаю точно, что без этого олененка Димки (похожего на Бэмби) летчика Антошки не было бы на свете. Значит, они братья... Потом, в других моих книжках, появятся и веснушчатая девочка, и арабская пуговица, в которой обитает недовольный жизнью джинн. И еще многое, что я увидел и вспомнил в этом путешествии. Но о самом этом полете собрался я написать лишь через два десятка лет, когда он стал казаться не менее далеким, чем детство.

Олешек теперь уже вырос. Дай бог, чтобы все у него в жизни сложилось хорошо. Я надеюсь на это. Может быть, ему помог талисман, найденный во время прогулки «вдоль по Африке».

Не исключено, что теперь у Олешека подрастает свой такой Бэмби. Или Белоснежка. А может быть, уже двое или трое... Небось разглядывают иногда старый отцовский талисман и слушают рассказы, как папа путешествовал в детстве... Если, конечно, Олешек не потерял пуговицу еще в те давние юные годы на каком-нибудь из материков.

Ну, а если потерял — ничего страшного. Значит, просто пуговица израсходовала долю волшебства, отпущенную для этого мальчишки, и улеглась в траву ждать нового хозяина.

Когда-нибудь на нее наступит другой любитель гулять бо- сиком по планете. А как наступит — начнется другая сказка.

ВИТАНГО

1

Поет петух.

Вернее, не поет, а орет, стервец. Жизнерадостно так, словно где-то в рязанской деревне теплым летним утром.

Но я-то знаю, что сейчас не лето, а стьюое начало ноября. И дом наш — двухэтажный, восьмиквартирный — стоит не в деревне, а в городе Свердловске, на улице Прониной.

Правда, у города здесь самый край, улица тянется по склону Уктусских гор, вблизи от леса. Так что петухи в здешних дворах — не редкость. И самый подлый из них — соседский Степка: всегда норовит подобраться к кому-нибудь из пацанов и клонуть в ногу.

По утрам он «включается» в семь часов и неумоимо вопит до восьми. Возможно, кому-то это удобно: готовый будильник. Но я всей душой Степку ненавижу.

Я мстительно представляю продолговатое фаянсовое блюдо с гарниром из риса и зеленого горошка и мысленно посылаю этот художественный образ горлопану. Степка испуганно замолкает. Но лишь на полминуты. Вскоре заводится опять. Правда, орет уже тише, словно издалека...

Видимо, начало восьмого. Что же Павлушка-то, мой юный барабанщик, не поднимается? Не слышно шлепанья босых ног и материнских понуканий. Опоздает ведь первоклассник в школу. Или уже начались осенние каникулы? Так или иначе, все равно надо вставать. Скоро в передней забрякает звонок — значит, ко мне пришел за ключом от кают-компания вахтенный командир «Каравеллы».

В квартале от моего дома, в полуподвале длинной шестиэтажки — штаб ребячьего отряда, которым я команду уже больше десятка лет. Там, в низком, но просторном помещении (с боем отбитом у «общественности») — недостроенный корпус яхты «Том Сойер». А еще — барабаны, кинокамеры, спортивные шпаги и рапиры, декорации для фильма «Остров сокровищ» и множество другого имущества, необходимого в нашей кипучей жизни. И накрытый пестрым флагом Международного сигнального свода стол, на котором — вахтенный журнал.

Вахта в отряде — каждый день, с утра до вечера.

Сегодня понедельник (это я уже вспомнил), значит, на дежурство придет Сережка Фоменцов. Командир барабанщиков, ясная душа, любимец отряда. Вахта начинается в восемь, но он всегда прибегает раньше. Откроешь ему дверь, а он сияет навстречу, как солнышко.

Воспоминание о Сережкиной улыбке согревает душу. Еще не открывая глаз, я протягиваю руку к спинке стула, где висят брюки. Нельзя же, в самом деле, встречать вахтенного начальника, не надев штаны.

Брюк под рукой нет. И стула нет. Я наконец открываю глаза. Надо мной незнакомый, очень высокий потолок. Сквозь серый сумрак видно, что он из светлых пористых плит.

И до чего душно! Эти алкоголики в котельной опять пере-

жарили котел. Или котельная здесь ни при чем?.. Смутно помнится — вчера кто-то сказал: «Извините, у нас вышли из строя кондиционеры...»

А Степка все голосит. И ему помогают другие «степки». Но им уже не обмануть меня! Я вспоминаю все. И рывком сажусь на широченной гостиничной кровати.

— Ку-ка-ре-ку-у! — несется из-за громадного, во всю стену окна.

По-всякому представлялась мне встреча с Гаваной. Но то, что здесь меня разбудит пение петухов, я, конечно, подумать не мог.

Кстати, ни в этот день, ни потом я так и не видел там ни одного петуха и не знаю даже, какой они породы. Однако еще не раз по утрам гаванские «степки» и «петьки» будили меня, рождая в сердце воспоминания о родном пейзаже: мокрые от дождя деревянные дома, гребешок соснового леса и усыпанные палыми листьями мусорные кучи...

Я отодвинул стеклянную дверь и вышел на балкон. Кафельные плитки под ногами оказались прохладными. Начался рассвет, кое-где еще горели огоньки. Громадный город лежал в тумане, из тумана вставали купола, колокольни и высотные дома (довольно редкие, кстати). Это — справа и слева. А впереди вздымалось туманное пространство с одним-единственным, равномерно мигающим огоньком. Оттуда тянул ощутимый, прогоняющий духоту ветерок — с запахом соли и водорослей. Пространство было, без сомнения, Мексиканским заливом.

Итак — остров Куба. Гавана. Тропики. Боже ты мой, неужели правда? Или опять сон?

Нет, на этот раз явь. Я уже помню все, что было накануне.

Шереметьево, взлет на рассвете, посадка в Рабате, полсоток над Атлантикой, тряска в воздухе (Бермудский треугольник?), потом долгий и низкий полет вдоль всего острова. В наступающих сумерках видны были высокие прямые пальмы, их стволы светились, будто у берез. А посадка — уже в ночной темноте.

В Москве знакомые кубинцы предупреждали: «У нас хо-

лод. Градусов семнадцать-восемнадцать, бр-р... Зима!» При посадке же стюардесса объявила: в Гаване двадцать восемь по Цельсию.

А я — в шерстяной штурманской куртке и суконной фуражке с крабом (другой парадной одежды для заграницы у меня не нашлось).

Вышли — как в предбанник. Влажный воздух поднимался от бетона горячими волнами. Только что прошел дождь.

Потом таможня. Тщательно проверяют в чемоданах лишь одно — башмаки. Чистые ли? Говорят, боятся какой-то инфекции для скота. Рассеянный чиновник забывает ставить штампы на бирках багажа. Мы напоминаем. Он отмахивается: не обязательно, мол. Но мы хотим. Для нас это экзотика.

Вначале, как водится, накладка: деятели из советского посольства нас не встретили, опоздали. Ну и фиг с ними, не пропадем. Так даже интереснее. Сидим в комнате для ожидания. Гибкие в талиях стюарды разносят чашечки кофе.

Наша грузная переводчица, именуемая за глаза Мадам, заранее внушала нам: Куба страна бедная, все здесь отдано в жертву революции, поэтому не следует обременять жителей лишними расходами.

— И когда вам предложат кофе, — наставляла она, — следует сказать официанту: «Пара босотрос». То есть «для вас». Он выпьет эту порцию кофе сам и будет вам горячо благодарен.

Так она и сделала. Ласково-величественным жестом отодвинула от себя подносик с чашечками:

— Пара босотрос...

Стюард, однако, благодарности не изъявил и сперва вытаращил глаза, потом слегка пожал плечами. Ни я, ни мой рыжебородый приятель-журналист по прозвищу Барбудо, ни старый казахский драматург, нареченный нами Аксакалом, не рискнули повторить великодушный жест Мадам. Да и отчего бы не попробовать кофейку в аэропорту кубинской столицы? Тоже экзотика! А Фидель не обеднеет — на три-то чашечки...

Наконец появились представители советского посольства. Оправдываются: замотались, встречаем одну делегацию за другой, поскольку на Кубе начинаются Дни советской куль-

туры. Ну, ясно, советские порядки — они везде советские, даже в другом полушарии. Повеяло чем-то родным.

Зато кубинцы без всякой волокиты, забрав паспорта, выдали ключи от номеров в отеле. Отель, говорят, знаменитый — «Гавана Либре» (или, как тут произносят — «Абана Либре»). «Свободная Гавана», значит. Бывшая «Гавана Хилтон».

Повезли на маленьком автобусе. Вечерняя столица Кубы походила на ночной Севастополь или Сочи. Те же огни, те же южные запахи. На площади Революции притормозили, чтобы мы полюбовались колоссальным памятником Хосе Марти. Он был освещен прожектором: белая фигура сидящего «апостола революции» и уходящий в небо обелиск. Наверну — как на телевышке — красные огоньки.

А где-то в стороне слышен перебор гитары.

В гостинице три кубинских поэта шумно приветствовали нас и долго извинялись, что не встретили у самолета. У них сломалась машина. Судя по всему, революционная Куба уже многому научилась у «старшего брата».

Повели в ресторан ужинать. Есть не хотелось, только пить и спать. Но попытка продолжилась еще около часа. Гостеприимные гаванские литераторы (стараясь, видимо, загладить инцидент с машиной) потащили нас в какой-то бар, куда вход был по особым пропускам или по знакомству. В баре — небольшая сцена, где под музыку вскидывали ноги полуодетые девицы.

Кое-как добрался до номера, стащил свою штурманскую амуницию — и в сон. До петушиного крика...

Пока я вспоминаю, над Гаваной набирают силу краски. Туман становится голубоватым, в похожих на горы облаках рождается розовый, желтый и даже зеленоватый свет. Словно фантастическая горная цепь выросла над городом и морем.

Над облачными вершинами висит, совершенно запрокинувшись на спину и задрвав золотые рога, тонкий месяц. Недалеко от него — крупная переливчатая звезда. Наверно, Венера.

А под нижним облачным слоем растекается малиново-оранжевый жидкий огонь.

И наконец встает солнце. Пунцовый диск.

Я кидаюсь в номер и выскакиваю на балкон снова — с «Зенитом» и портативной кинокамерой. Первые кубинские кадры. Встающее над Гаваной утреннее светило.

А петухи все кричат...

Кондиционер по-прежнему не работает. Я распахиваю балконную дверь и окно. Потом суюсь в ванную. Ну, горячей воды, естественно, нет. Все как в родном Союзе. Впрочем, она и ни к чему. Даже из «холодного» крана течет тепловатая водица. Но все же душ малость освежает. Побриться бы еще... Бритва не работает, втыкай штепсель в розетку хоть так, хоть этак. Ну, в точности как в милой сердцу московской гостинице «Россия». Пойти спросить у здешней дежурной по этажу? Показать жестами — надо, мол, физиономию поскоблить. А если и дежурные здесь такие же, как в Москве?

С досады я еще раз всаживаю вилку в гнездо. Ж-ж-ж... Ура! Значит, просто барахлили контакты...

Бодрый и благоухающий лосьоном, я опять выхожу на балкон.

Солнце разогнало туман, залив сияет ультрамарином, в него врезается мыс, на нем желтая крепость с маяком. Ветер стал покрепче, это хорошо. Вдыхаю его всей грудью. Море, пестрота и белизна фантастических домов, зелень, праздник света!..

Мой номер на восемнадцатом этаже. Я вижу оранжевые и желтые прямоугольники плоских крыш. Далеко внизу, почти прямо подо мной — белая вилла в горах зелени. Наверно, школа. К ней сбегаются ребятишки. Я свинчиваю с кинокамеры телевизор, смотрю в него как в маленькую подзорную трубу.

Похоже на мой любимый Севастополь. Там по утрам сбегается к школам такая же смуглая ребятня в таких же голубых форменных рубашках. Только у них галстуки красные, а здесь — бело-синие. Мне это нравится. Белое и синее — цвета моря и парусов. Цвета приморских городов и южного неба...

Ох, а ведь про это надо записать, пока есть свободная минута. И про вчерашнее, и про то, что увидел сейчас.

Я вытаскиваю из чемодана тетрадь в белом картонном переплете.

...Эта тетрадь и теперь передо мной. Исписанная, потерянная, с выпадающими листами. С адресами гаванских знакомых — учителей, мальчишек (тогдашних мальчишек). С какими-то листовками, пригласительными билетами и квитанциями, вложенными между страниц. С засохшими листьями и стеблями травы, которые сорвал я на обочине шоссе где-то у городка Пинар-дель-Рио. С пожеланиями кубинских поэтов, которые писали в этой тетрадке прощальные слова, когда мы отмечали наш отъезд в старинном кабачке «Casa de los vinos»...

Я, случается, листаю эту тетрадь. Но не часто. Чаше листаю свою память. Она что-то отбросила напрочь, а что-то сохранила навсегда: лица, встречи, краски, картины. Случайные, казалось бы, эпизоды. Моментальные, но не забытые впечатления. Времени виднее, что оставлять человеку.

Сначала я думал, что эта тетрадка поможет мне написать книгу — сразу после возвращения, по горячим следам. За месяц жизни на Кубе материала набралось так много, что пиши в любом жанре. Хочешь — серию репортажей «Под солнцем Гаваны», хочешь — приключенческую повесть о кубинских ребятах времен революции...

Почти ничего я тогда не написал. Только несколько заметок для журнала «Пионер».

А тетрадь лежала, лежала... Вместе с пачкой фотоснимков и рулоном любительской киноплёнки...

И вот через двадцать с лишним лет, когда и Куба уже не та, и пообрывались знакомства и переписка, и давно выросли ребята, с которыми я подружился в Гаване, все чаще слышу я, как в городе на берегу Мексиканского залива кричат петухи. Правда слышу. На рассвете.

Казалось бы, какой смысл писать это сейчас?

Но, может быть, потому и тянет к карандашу и бумаге кубинская тема, что время тех встреч стало далеким. Почти таким же далеким, как детство, как студенческие годы. Времена эти переплетаются в памяти, вытягиваются в причудливую цепь событий и воспоминаний. Звенья этой цепи связаны по своим законам, неподвластным строгой хронологии. И тогда ярче, живее, интереснее встает перед глазами прошлая жизнь.

А она, эта жизнь, нужна ли кому-то, кроме меня? Возможно, что вовсе не нужна.

Но вдруг рассказ о прошлом разбудит отголоски памяти еще в чьей-то душе? Ведь мы все — рядом друг с другом на этой земле. Все мы — похожи...

Едва я кончаю запись в тетради, как трезвонит на гостиничной тумбочке телефон. О господи, кто мне может звонить здесь, на другом полушарии нашей матушки-Земли?

Оказывается, Мадам. Накануне мы с ней поругались (очень уж она изображала начальницу), но сейчас голос ее сладок, даже кокетлив:

— Буэнос диос, компаньеро Слава! Через десять минут мы собираемся на площадке у лифта и спускаемся в ресторан завтракать. Надеюсь, вы хорошо спали?

Я изысканно благодарю ее на смеси испанского со среднеуральским и натягиваю белую рубашку.

Ресторан — роскошен. Стулья — позолоченные. Но спинки у них страшно неудобные, выгнутые вперед, сидеть приходится, нагнувшись и выпятив зад. Какой садист придумал это орудие пытки?

Завтрак — бифштекс из рыбы, соки и целая груда какой-то кислой травы. Вкус и степень жесткости бифштекса таковы, что я вслух вспоминаю исполинскую рыбу-меч, которую в здешних водах поймал когда-то знаменитый хемингуэвский Старик. Мадам возмущенно округляет глаза. Куба — бедная страна, все отдавшая для революции! Поэтому всякие намеки на скудость здешнего меню нетактичны, аполитичны и безнравственны.

А что я такого сказал? Просто вспомнил Хемингуэя — у него здесь были любимые места.

Дабы не допустить нового политического промаха, я молча налегаю на траву. Большинство наших «компаньерос», попробовав ее, незаметно морщатся. Но я поливаю этот силос рыжим соусом и лопаю, как корова. У меня авитаминоз. Официант, потрясенный способностью русских поглощать немисверное количество хлеба, приносит одну корзину булочек за другой.

Мадам наставляет нас:

— В одиннадцать часов придут товарищи из «Унеака» — это Союз кубинских писателей и художников, — приведут к нам постоянного сопровождающего, и начнется культурная программа. А до этого часа можно отдохнуть или погулять. Но не советую отходить далеко от гостиницы. Мало ли что...

Это уж фиг вам, компаньера Мадам!

Мы с Барбудо перемигиваемся и спешим к выходу.

Город распахнулся нам навстречу, едва мы шагнули из отеля. Белый, шумный, дружелюбный. С запахами нагретых камней, асфальта, бензина и чего-то незнакомого — тропического. Наверно, так пахла здешняя зелень.

Сразу же — веселые голоса и смех. Это учительница-негритянка вела по тротуару вереницу школьной малышни в бело-синих галстучках. Ребятишки разом узнали в нас иностранцев, замахали руками, заулыбались. А кто-то и загримасничал, поглядывая на наши фотоаппараты: вдруг вздумаем снимать. Учительница тоже поулыбалась нам. А дольше всех сияла улыбкой и махала коричневой ладошкой курчавая черноглазая девчушка. Пока не свернула за угол.

Под ногами плиты с цветным антильским орнаментом. Над головами — белые этажи и верхушки пальм. И какие-то памятники на перекрестках и маленьких площадях. На одном — в виде белой колонны — сбита макушка.

Шли навстречу морщинистые черные старухи в соломенных шляпах и с сигарами в редкозубых ртах. Шагали солдаты — у каждого из открытой кобуры картинно торчала рукоять «кольта». Девицы в пестрых юбочках — самых что ни на есть «мини» — одаривали нас пунцовыми улыбками. Улыбки казались не менее жаркими, чем воздух Гаваны.

Впрочем, жару то и дело прогоняли порывы ветра. Прохладные, похожие на взмахи громадных влажных крыльев, радостно пахнущие морем.

Ветер летел от набережной, которая (мы уже знали) называлась Малекон. Массивный гранитный парапет отгораживал Гавану от Мексиканского залива. Залив сверкал синевой и пенистыми гребешками.

И мы с Барбудо поспешили туда — на встречу с тропическим морем.

Через парапет летели брызги прибоя. Внизу, под ограждением, лежали желтые громадные камни, а между ними — квадратные углубления: словно кто-то нарочно вырезал в скалах неглубокие бассейны. В этих каменных ваннах резвилась голая коричневая ребятня.

На парапете стоял парнишка-негр. Лет пятнадцати. В мятых серых штанах и куцей белой распашонке. Он занимался интересным и необычным (на первый взгляд) делом: запускал бумажного змея!

Ромбовидный белый змей поднялся уже высоко и мотал украшенным бантиками хвостом на уровне верхнего, двадцать там какого-то этажа нашей «Гаваны Либре».

Увидавши нас, парнишка улыбнулся толстыми губами — чуть смущенно. Может быть, решил, что мы подумаем: такой большой, а забавляется как дитя.

Но мы так не подумали. Просто обрадовались. И я вытащил из сумки маленькую, как портсигар, кинокамеру «Экран». Жестами спросил:

— Можно снять тебя и твоего змея?

Парнишка весело закивал. Я пожужжал «Экраном» и, гордый своими познаниями в испанском языке, сказал:

— Грасиас, мучачо! — То есть: «Спасибо, мальчик!»

Мучачо опять закивал и вопросительно произнес:

— Чинче...

Я замигал, разом осознав скудость своего словарного запаса. Виногато глянул на Барбудо:

— Чего это он?

— Вроде как значок просит на память, — неуверенно предположил мой бородатый спутник.

Значок нашелся. С красным флагом и крейсером «Аврора». Парнишка затанцевал от радости. И левой рукой (в правой была нитка) ловко прицепил «Аврору» на распашонку.

— Грасиас, компаньерос!

Мы закивали в ответ, потом я показал на змея и уверенно заявил:

— Битанго! Си?

Знаю, мол, что это за штука.

Но темнокожий хозяин змея смотрел непонимающе.

— Битанго? — повторил я уже без прежней самоуверенности.

Паренек виновато пожал плечами.

Вот тебе и на! Стало мне досадно и перед Барбудо неловко.

И это была, пожалуй, моя первая негативная эмоция на Кубе.

Или этот юный антилец бестолков, или я что-то напутал?

Но я напутать не мог! Я точно знал, что воздушный змей по-испански называется «bitango».

2

Слово «битанго» уносит мою память во времена университетской юности.

Пятидесятые годы, вторая половина...

Нас было трое друзей.

Сейчас, по-моему, романтика той студенческой жизни полностью канула в былое.

Мы обитали на частных квартирах. Сперва в приземистом частном доме с огородом, на улице Циолковского, у хозяйки «бабы Кати». А через год перебрались в дом поновее, к некоему «дядьке Сашке». Это был молчаливый прижимистый мужичок. Он не любил давать взаймы, но на вольности студенческого бытия смотрел философски. Не грозил, как баба Катя, пожаловаться на наше поведение в деканат. К тому же, как потом выяснилось, внутри он был не так прост и даже писал по ночам стихи. Кроме того, была у дядьки Сашки незамужняя дочь, по-доброму и бескорыстно благоволившая нам.

Иногда в соседних комнатах жили другие студенческие компании. Мы с ними держались по-приятельски, порой по праздникам устраивали общие застолья. Но внутри своего тройственного союза никого не допускали.

Союз наш — это студент филфака Виталий, мой коллега-журналист (только на курс младше) Леонид и я, грешный...

С Виталием сошлись мы сразу. Оказалось, что его мама — мир тесен! — в городе Ханты-Мансийске, в начальной школе, учит мою племянницу. И сам Виталий — из того же города. То есть мы земляки — оба из тюменских краев!

Ленька примкнул к нам попозже, но крепко.

Мы жили коммуной. Каждый месяц мы складывали в общую кассу наши стипендии, сообща решали, какие кому надо купить самые необходимые вещи — одному брюки, другому зубную щетку. Затем запасались в магазине тридцатью пачками с концентратом горохового супа — это гарантировало нам хотя бы раз в сутки тарелку горячей похлебки. Откладывали и деньги на хлеб.

На карманные расходы и на удовольствия шло то, что получали из дома или зарабатывали «творческим трудом» — заметками и репортажами в «Вечерке». Но и эти капиталы были, по сути дела, общие: постоянно делились мы друг с другом и не считали, что даем в долг. Чего там, свои люди!

Общими были у нас пепельница из синего стекла (хотя я не курил) и настольная лампа с зеленым фаянсовым абажуром. А также политическая карта мира, на которую мы наклеивали понравившиеся газетные заголовки и набранные крупным шрифтом изречения. В том числе непонятные. Например: «*Appia limonaria oppia spruta!*» До сих пор не знаю, что это такое.

Мы провели вместе немало вечеров у нашей зеленой лампы.

Конечно, была у каждого и своя жизнь: приятели на курсе, стенгазеты, литобъединения, спортсекции и все такое прочее. Были и сердечные романы со свиданиями и провожаниями по ночам — как у всех в такие годы.

Надо сказать, что у Виталия и у меня амурные дела не занимали много времени и носили характер вполне платонический. Ленечка же порой всерьез окунался в «сладкий мир любви». Случалось, исчезал на несколько дней. Тогда мы со вздохом говорили:

— Шевалье д'Эрбле ухлестнул за очередной герцогиней де Шеврез.

Конечно, когда дружат трое, от сравнения со знаменитыми мушкетерами не уйти. Правда, в нашем случае была нагрузка — ни я, ни Виталий не годились на роль бескомпромиссного и неустрашимого графа де ла Фер и уж никоим образом не походили на Портоса. Зато Ленька был истинный Арамис. Со своими тайнами, интригами на стороне и уклон-

чивой улыбкой под темным пушком на верхней губе. Впрочем, это никак не вредило нашей дружбе.

Связывало нас многое.

Сидело в нас постоянное опасение, что «столько лет уже прожили, а ничего путного до сих пор не написали!».

В творческих муках пребывали мы почти все время. Виталий сочинял фантастические рассказы и, по-моему, эссе об Александре Грине и Жюле Верне. Ленька, насколько помню, — новеллы в духе Эдгара По. Я тогда еще не совсем бросил стихи, но брался уже и за прозу. Именно в ту пору в нашей комнатухе, сидя на поленьях у горящей печки, я придумал и написал свой первый «морской» рассказ «Табакерка из бухты Порт-Джексон». Его вскоре, изрядно «построгав» и сократив название до вульгарной «Табакерки», напечатал «Уральский следопыт»...

Иногда мы ударялись в коллективное творчество. Сперва вместе пытались дописать мою повесть-сказку «Страна Си-ней Чайки», которую я начал еще после первого курса, во время осенней работы на целине. Затем придумывали похождения трех американских авантюристов в преисподней. Прямо скажем, социалистическим реализмом в тех вещах не пахло.

А еще была у нас общая музыка. В те годы как раз вошли в моду долгоиграющие пластинки. Леонид — великий знаток радиотехники — своими руками смастерил электропроигрыватель. И каждый вечер звучали у нас то рапсодии Листа и Первый концерт Чайковского в исполнении Вана Клиберна, то сонаты Бетховена, которые темпераментно играла Мария Гинзбург...

Нет, не чурались мы ни песенок Лолиты Торрес и Робертино Лоретти, ни модных «Ландышей» и «Мишки» с его утраченной улыбкой, ни лихого джаза Эдди Рознера. Но только листовские «Грезы любви» могли пробудить в нас высокую печаль и тягу к творчеству, только бетховенская Восьмая соната разжигала в душах стремление к активным действиям. Причем не всегда «творческим»...

Бывало, что после окончания сонаты Ленька брал гитару, начинал постукивать по ней пальцами и, отрешенно глядя поверх голов, со значительностью в голосе вопрошал:

— А что, братия, не предаться ли нам пьянству и разврату?

— Предаться! — Я быстро спускал с кровати ноги.

Виталий отрывался от очередного опуса советской (жиденькой в ту эпоху) фантастики, поправлял мизинцем очки и, слегка заикаясь от прихлынувшего энтузиазма, произносил:

— От-тчего же не предаться, если есть н-на то желание и необходимая финансовая б-база...

Необходимой базы чаще всего не было, но кое-что по карманам наскребали. И топали на ближнюю улицу Белинского, где в продуктовом магазине имелось «Фруктово-ягодное» или «Волжское» — самые дешевые напитки из тогдашнего алкогольного ассортимента.

Прихватив по бутылке на брата, мы спешили домой. И были уверены, что этого двенадцатиградусного пойла, по поллитра на нос, хватит нам до глубокой ночи.

Потом, часов в одиннадцать, выяснялось, что в бутылках пусто, а душа просит еще. Достать это «еще» можно было лишь в дежурном магазинчике у трамвайного депо на улице Фрунзе. Он работал до полуночи, а одно время даже до двух ночи.

Кому идти за четвертой бутылкой (по ночным глухим улицам, за десяток кварталов)?

Кидали жребий. Чаще всего выпадало Виталию. Тот, однако, завалившись на кровать, заявлял о нарушениях в процедуре жеребьевки. О больной ноге. О том, что «вообще почему всегда я да я?» И наконец соглашался идти, если только... мы пойдем с ним.

И мы шли. Не сразу, правда, а сперва изобличив вероломного злодея в беспринципности, отсутствии благородства, в чудовищной лени и заодно в обжорстве, ибо этот чревоугодник всегда сверх меры налегал на нехитрую нашу закуску.

Поход в ночную лавочку был овеян некоторой романтикой: сугробы, звезды, мерцающие трамвайные рельсы, безлюдность переулков, где погасли все огни... Лишь в трамвайном парке горели фонари да призывно светилось окошко вождельной торговой точки. (А если дело происходило осенью или холодной весной, то и черная слякоть вносила в наше путешествие элемент экзотики, тем более что дома ожидали нас уют зеленой лампы и тепло недавно истопленной печки.)

Внутри магазинчика стояла молчаливая очередь. В ней — немало коллег-студюзовцев из ближнего общежития. Тех, кому тоже «малость не хватило». По заведенному этикету все делали вид, что незнакомы друг с другом, если даже стояли в затылок однокурснику.

На всякий случай. Ибо существовала теоретическая опасность, что какой-нибудь гад стукнет в деканате, что «такой-то ночью покупал бутылку». Впрочем, не помню, чтобы кто-то стукнул на нас хоть раз.

Обратный путь был веселее. Снег звенел бодро, звезды сияли приветливо. Конечно! Ведь у нас было еще по несколько глотков, а времени впереди — вся ночь. Для болтовни и песен.

Настроение могла испортить лишь несколько царапающая мысль, что не готовы конспекты к семинару по истории КПСС или диамату. Ну да авось пронесет.

...Однако ночной поход — это еще не скоро! А пока мы выставляли на стол, рядом с милой лампой, посуду. Вытирали полотенцем алюминиевые вилки. Дочь дядьки Сашки оделяла нас вареной картошечкой и луком. Мы наливали по полстакана.

Таким образом, первая часть программы — «пьянство» — обретала реальные черты. «Разврат» же имелся в виду чисто идеологический. Это были наши пиратские песни.

Мы их сочиняли сами. Сделав глоток для вдохновения, Ленька снова брал гитару. Струны рокотали вступление. А потом:

Глухая ночь глядит в упор,
Как черный револьвер...

И мы подхватывали:

Трубят ночные ветры сбор,
Сзывая БВР!

БВР — так назывался наш союз. «Братство Веселого Роджера». Гимн этого братства мы сочинили на мотив песни о почтовом дилижансе из радиоспектакля «Клуб знаменитых капитанов». Оттуда же позаимствовали и кое-какие слова. Но большинство слов были наши собственные.

Пират, ты гол и одинок,
Тебя в грядущем ждет
Не в тихой спальне огонек —
Палач и эшафот! —

вдохновенно вопили мы.

Пусть плакать некому по нас —
Нас море отпоет!
Пусть близок, близок смертный час,
Но мы возьмем свое!..

По сути дела, мы были мальчишками — все еще с замашками школьников, с неостывшей страстью к игре и приключениям. Позади не было почти ничего, кроме детства, а впереди — вся жизнь. А смертный час, о котором голосили мы столь мужественно, по правде-то виделся нам лишь где-то за бесконечностью.

Флибустьерский азарт морских романов шипел и булькал в наших душах, как свежая газировка. И выплескивался в отнюдь не комсомольских песнях:

В детстве рождалась в нас странная мечта,
Ветер соленый к нам в гости прилетал.
Запахи моря приносил муссон,
С морем познакомил нас бродяга Стивенсон...

«Гимн БВР» был первой песней нашего Братства, затем появились другие.

Там за синей рекой — Аргентина
В перезвоне клинков и гитар, —

пели мы на мотив Сороковой симфонии Моцарта. А под собственные мелодии — «Влюбленного пирата», «Старого подкипера», «Корсарский вальс», «Бой в Наветренном проливе» и всякие другие.

Потом этим песням дали мы общее название — «Караибский цикл». Именно «Караибский». Так называлось тогда центральноамериканское море, где в прошлые времена всю резвились джентльмены удачи. Лишь через несколько лет вдруг стало именоваться оно не Караибским, а Карибским.

Злые языки утверждали, что Никита Сергеевич Хрущев однажды в какой-то речи о кубинских проблемах то ли огово-

рился, то ли просто проглотил в спешке вторую букву «а» в имени моря. Ну, и географы решили, что, если генсек говорит именно так, значит, оно и правильное.

А может быть, у географов появились и другие, более научные соображения, не знаю. Так или иначе, море сделалось Карибским, а цикл наших пиратских песен сохранил прежнее гордое название — Караибский.

Кое-что из него пели потом юные мореходы отряда «Каравелла». Но не всё. Не будешь ведь включать в пионерский репертуар такое, например:

Светит полная луна,
Денег нету ни хрена...

Эту безыдейную песенку я сочинил вечером, в начале ноября, когда в окно действительно светила луна. И что касается денег, ситуация была точно как в этой песне. Стипендию задержали, все запасы кончились. Настроение — под стать ситуации.

В трюме — хлеба и вина
Гольи шиш... —

меланхолично мурлыкал я, подбирая рифмы.

Потом придумалось так:

Отгони ленивый сон,
Заряди свой «смит-вессон»,
За добычей снаряжен
Бриг «Малыш»...

Ленька угрюмо сопел: он не мог даже подыграть мне — полностью вышла из строя гитара.

Виталий время от времени подавал реплики, что все это, мол, наказание судьбы за нашу вопиющую беспринципность. Дело в том, что недавно мы с Ленькой написали для «Вечерки» лихой фельетон о забегаловке со скоростным обслуживанием (стопка, бутерброд — проходи; стопка, бутерброд — проходи). Заведение это какая-то столовая поставила на улице Малышева, примерно там, где сейчас ворота Исторического сквера (прошу читателей не забывать, что речь идет о славном граде Свердловске — ныне Екатеринбурге). Мы — авторы фельетона — изливали язвительный гнев по поводу спаива-

ния населения. Фельетон был напечатан, «пьяную лавочку» переделали в молочную, нам выплатили гонорар, который мы тут же и пустили на две бутылки портвейна «Три семерки» (кстати, очень хорошего, сейчас такой — редкость). Вот этот наш поступок Виталий и характеризовал как беспринципность.

Ленька заметил, что, когда наш друг этот портвейн потреблял, речи о беспринципности почему-то не шло. На что этот тип резонно ответил:

— Потому и не шло, что потреблял.
Логика...

Абордажный наш налет
В наши души свет прольет, —

совсем бездарно плел я рифму за рифмой. И наконец умолк: что дальше-то?

...Свет в наши души пролила не воображаемая абордажная схватка, а дочь дядьки Сашки. Она заглянула в дверь и сообщила, что днем с почты принесли мне извещение на перевод. На сто рублей! Из Ханты-Мансийска.

О, с какой новой силой возлюбил я свою старшую сестрицу, которая решила порадовать брата-студента к Октябрьскому празднику!

А на хозяйкину дочку закричал:

— Что же ты раньше-то молчала! Почта уже закрыта!
— Открыта, успеете еще.

И мы успели. И на почту, и в магазин. Не за презренной пищей для нашего желудка, а за хлебом духовным, то есть за новой гитарой. Гитара, правда, стоила ровно сотню — опять не осталось ни копейки. Но мы, окрыленные, заскочили в общежитие к нашим девчонкам и заняли двадцать пять рублей. Хватило на бутылку портвейна, буханку и даже осталась пятерка.

И был «караибский вечер»! И была новая песня, к которой Ленька тут же подобрал мелодию. И первое ее исполнение мы посвятили моей сестре Людмиле, о чем я сообщил ей в письме (на которые вообще-то был небольшой охотник).

А на оставшуюся пятерку я следующим утром купил ис-

панско-русский словарь. В букинистической лавке на улице Восьмого марта. Потертый, маленький, в корочке из красного коленкора. Издание тридцать седьмого года. Того года, когда в Испании шла гражданская война.

Может, в то время словарь побывал у кого-то из наших, из русских, которые дрались там в рядах республиканцев. А может, листал его, заучивая незнакомые звучные слова, какой-нибудь отчаянный пацан, собравшийся удрать из дома, чтобы помочь защитникам Барселоны и Мадрида. Говорят, были в ту пору такие мальчишки...

Виталий и Ленька не осудили меня за непрактичную трату последних денег. Ведь испанский язык был и языком Латинской Америки. А эта земля волновала нас всех одинаково.

Не только легендами о флибустьерах Караибского моря волновала. Был у нас и более глубокий интерес. На самодельной неструганой полке стояло немало книг о том далеком мире. Артур Лундквист — «Вулканический континент», Аркадий Фидлер — «Зов Амазонки», Александр Гумбольдт — «В джунглях Южной Америки». И даже академические тома, где излагалась этнография индейских племен. Я всерьез думал, что когда-нибудь напишу роман о загадках затерянных в сельве древних городов. Ленька, по-моему, втайне мечтал удрать в те края и всласть попутешествовать по Ориноко и Укаяли (конечно, заводя амурные связи с пылкими креолками). Виталия же волновала связь исчезнувших цивилизаций с посланцами звезд...

Ну а кроме того — «вторая Испания»! Куба! Это отзывалось в каждой душе: «Шхуна «Гранма»... «Сантьяго»... «Сьерра-Маэстра»... «Патриа о муэрте»!

Еще сдержанно, хотя и с одобрением высказывались о легендарных бородачах газеты. Еще не было победы. Но мы эту победу ждали! Потому что там воевали наши братья по духу. Молодые! Бескорыстные! Отчаянные! Всё готовые отдать, чтобы «сладкое слово Свобода» стало явью.

Уж они-то, когда возьмут власть, не позволят, чтобы слово расхотелось с делом! Не дадут затравить писателя, если найдется у них свой Пастернак. Не станут клеймить и выгонять студентов, если кто-то обнаружит в их стихах «идеалистиче-

ские ноты!» Газеты не будут поливать помоями молодых поэтов, которые собирают вокруг себя тысячные толпы! Никто не посмеет загонять людей на праздничные демонстрации под угрозой лишения стипендии!.. Они покажут вам, зажавшимся кинодрамам всего мира, что такое настоящая революция!..

Кто же из нас тогда знал, чем это кончится?

Кому ведомо было, что любая революция — поначалу всегда гордая, искренняя, юная — в самой себе несет зародыш собственной гибели или перерождения?

Кто понимал, что рыцарь свободы хорош, когда он на боевом коне, на баррикаде или даже на эшафоте? А победивший революционер должен уйти или стать политиком. Политика же...

И чем самоотверженной сражался человек за счастье людей, тем крепче в нем уверенность, что теперь только он знает, как наделить страну этим счастьем сполна. А кто ему не верит — пожалеет...

Так хорошо все начиналось! Январь пятьдесят девятого, ликующие толпы в Гаване. Семнадцатилетние учителя, спешащие в горные деревни, чтобы научить грамоте больших и малых. Герои Плайя-Хирон...

А помните газетные снимки шестьдесят первого? Молодой Фидель и Гагарин! Рукопожатие, ослепительные улыбки. «Два героя, два майора!» — восхищались корреспонденты.

Он и правда был майором — герой тогдашней Кубы. Команданте — это и значит майор. Не было тогда еще там генеральских «команданте де дивизио», «команданте де бригада»...

Эх, если бы он мог навсегда остаться просто славным команданте! Нет, не судьба...

Прямо как у Киплинга:

Увы, по решенью коварных небес
Отмечен я жребием черным:
Я — вольный бродяга Диего Вальдес —
Зовусь адмиралом верховным...

Впрочем, все это будет после: сперва — сомнения, которые прогоняешь даже от себя. Потом — похожее на грустный вздох признание фактов. И наконец — горечь. Привычная уже.

Да, это будет, но уже в другой жизни. А пока Ленкина гитара сотрясалась от рваных аккордов яростного марша:

Сражайтесь, кубинцы!
Свобода родины пусть будет вам наградой!..

Нет, мы не были так наивны, чтобы пытаться бежать в Сьерра-Маэстра. Но все же, все же... И казалось, что гордый испанский язык пригодится...

Конечно, не было у нас ни времени, ни терпения, чтобы учить его всерьез. Но, как могли, учили. Например, отдельные слова, наугад.

— А скажите мне, уважаемые сеньоры, — вопрошал, лежа на кровати, Виталий, — что, по-вашему, означает слово «адормидера»?

— По-моему, это самка верблюда, — высказывал догадку Ленька.

— Сам ты... Это мак! А что такое «банана»?

— Провалиться мне, если не банан, — сумрачно откликнулся Ленька, огорченный предыдущим промахом.

— Умница! А что такое «битанго»?

Так я впервые услышал это слово. Оно прозвучало как название танца или цветка. Или имя заморского города. Если бы я знал его раньше, то назвал бы так столицу в своей «Стране Синей Чайки».

— Витька, что это? — Я на своей постели приподнялся на локте.

— Воздушный змей.

3

Это было как зазвучавшая струна.

Представьте, ведь могло за этим словом оказаться и что-нибудь скучное, ненужное, отталкивающее даже. А тут — воз-

душный змей! Одна из радостей моего (тогда еще недалекого) детства.

Когда я был восторженным и неумелым дошколенком, воздушные змеи часто парили над нашим кварталом.

Их запускали мальчишки постарше. С крыш. А мы, малыши, стоя внизу, готовы были бесконечно смотреть на это чудо. На волшебное действие, которое напрямую связывало человека с небом.

Запрокинув головы и приоткрыв рты, замирали мы на краю деревянного тротуара — я, Семка Левитин, Толька Петров. А через дорогу от нас, на невысоком доме, у печной трубы священнодействовали двое незнакомых ребят — решительных, самостоятельных, с силоватыми от курева голосами. Голоса эти были хорошо слышны, и мы ловили каждое слово:

— Чё, будем сматывать?

— Обождем еще.

— В столовку пора. А потом в магазин. Мамка сказала, если карточку на жиры сегодня не отоварю, ноги оборвет.

— Ну давай еще маленько...

А белый змей их стоял в синеве высоко-высоко. И чуть подрагивал хвостом.

— Наверно, выше самолета, — благоговейным шепотом произнес Семка.

— Не выше. До самолета ниток не хватит, — сказал рыжий спорщик Толька.

— Хватит, если много катушек, — сказал я.

— Вот как стукну!

— Обратнo отоваришься!

Семка вздохнул:

— Шас будут спускать. Жалко.

— Не будут, — заявил Толька.

— Они же говорят: в столовку надо...

Змей вздрогнул и потихоньку пошел вниз.

«Столовка», «карточки на жиры». Слова и быт военного времени. Всегда живущий в желудке, сосущий такой голод. И такой же постоянный, тоже сосущий страх за тех, кто на войне... Но лето! Но змеи в воздухе! Но детство!..

— Мамка клейстер сварит, я себе тоже змея сделаю, — заявил Рыжий. — И запущу с нашей крыши.

— Фиг у тебя получится, — рассеянно сказал я, наблюдая за снижением белого змея. — Как на крышу лезть придется, сразу обкакаешься.

Мы подрались, но только чуть-чуть, Семка распихал нас в разные стороны:

— Чё, силы девать некуда?

...А потом у меня появился собственный змей.

Его принес дядя Боря. Это было уже в сорок пятом, в августе.

Осень в те дни намекала о скором приходе. Стоял зябкий денек — без дождя, но серый и ветреный.

Дядя Боря позвал меня в свою комнатушку.

— Смотри, что я нашел. Валялся на газоне на Первомайской. Целенький.

Змей, склеенный из дранок и журнального листа, и правда был цел. Только без хвоста. Но разве долго надрать для хвоста мочалы? Из рогожи, которой обита в сенях дверь...

— Мама, смотри, что дядя Боря мне подарил!

— Что?.. А, хорошо. Только не кричи так.

— Дай мне нитки! Я буду запускать!

— Нитки? Подожди-ка... Нет уж, с этим змеем на улицу, пожалуйста, не суйся.

— Почему?! — обиженно взвыл я.

И дядя Боря удивился:

— Почему не поиграть с ним на дворе?

— Что малый, что старый... Посмотрите, что на этом змее!

Мы посмотрели. А что особенного? Напечатанные коричневой краской буквы, мелкий шрифт. Снимок — станция метро. И портрет чей-то. Чей? А, Кагановича. Одного из наших вождей, верного помощника товарища Сталина. Ну и что?

— Ну и что такого? — сказал дядя Боря.

— В лужу эта игрушка плюхнетя, а кто-нибудь спросит: «Это чей змей? Это чей сын? А, так это вы, гражданка, научили его вождей в грязи валять?»

Я хотя и малыш был, а кое-что про это уже слышал и понимал. Горестно глянул на дядюшку. Тот заворчал:

— Всегда так. Хочешь как лучше, а тебя по рукам...

— Лучше здесь по рукам, чем там по голове... — значительно сказала мама.

Я уже всхлипывал. Счастье было так близко, и вдруг...

Дядя Боря покряхтел.

— Ладно, пойдем, племянничек...

В своей комнатке дядя Боря осторожно оторвал от змея дранки. Нашел газетный лист — без всяких портретов. Попросил у мамы горсточку муки и на плитке сварил в консервной банке клейстер. И сделал нового змея! Крупнее первого!

Когда змей подсох, он гудел, если по нему щелкали пальцем, словно музыкальный инструмент, — тугой, легонький. Кроме того, дядюшка сделал на нем трещотку — бумажную полоску на нитке у переднего, выгнутого края.

Я тайком надергал из двери пук мочалы. Мама, повздыхав (нитки — вещь не дешевая), дала моток десятого номера.

— Только не вздумай лезть на крышу, пускай на дворе.

— Не полезу...

Я дразнил Рыжего за трусость, однако сам тоже не посмел бы забраться ни на сарай, ни на дом. Флигель наш хотя и одноэтажный, но если брякнешься — ой-ей...

Двор был пуст. Я побегал от калитки до заднего забора. Змей за мной взлетал на коротком поводке и радостно трещал. Но запустить его с земли в небо никак не получалось, не хватало внизу ветра. И тут, мне на счастье, вышел на крыльцо Лешка Шалимов.

Я остановился. Он подошел. Потрогал змея, сказал без привычной усмешки:

— Ух ты, хороший какой. Сам делал?

— Ага! То есть с дядей Борей. Он мне помогал...

Лешке бы уличить меня и похихикать, но он сказал опять серьезным тоном:

— А чего по двору-то бегаешь? Айда на крышу.

— А... Айда!

Конечно, мама не велела. Но не велела одному, а Лешка-то, он же большой и сильный! И смелый!

Приставная лестница вела к чердачному окну и дальше —

на край двускатной железной кровли. Лешка взял змея и полез впереди. Я — часто дыша — следом.

Перекладыны были прочные, однако ноги у меня дрожали. Это было первое в моей жизни восхождение на такую высоту.

А высота была — ого-го! Оказалось, что с крыши виден весь квартал. Соседние дворы и огороды. И цирк в ближнем сквере, и театр, и стройная красивая колокольня. Не та, что видна и с крыльца, над забором, а другая, на далекой улице Семакова.

И ветер какой! Ровный, плотный! Зазеваешься — и снимет тебя с крыши как пушинку.

Лешка, не оглядываясь, пошел к середине крыши — бух, бух по железу. Я, обмирая, двинулся частыми шажками за ним. Отчаянно вцепился в ляжки собственных штанов, потому что больше цепляться было не за что.

— Леш, подожди...

И в этот миг случилось то, о чем предупреждала мама. Мама — они ведь всегда правы.

Кто-то незадолго до того закинул на крышу недоеденный гнилой помидор. Я смотрел в спину Лешке, объедок не заметил и ступил на него. Бах, трах! «А-а-а!»

Скат был крутой. Шлепнувшись, я стремительно поехал на штанах к железному краю. Инстинкт заставил меня перевернуться на пузо, раскинуть руки и ноги, но это не помогло. Подошвы сандалий с маху продавили ржавую загнутую кромку водостока, я ухнул вниз, но в последний миг пальцы зацепились за тот же водосток.

— Лешка-а-а!

Я болтался над огородными грядами, что вплотную подступали к дому с восточной стороны — там был уже не наш двор, а соседей, Лазарчуков. Зашелся лаем сидевший на цепи свирепый Джек.

Сколько метров подо мною? Четыре, пять? Мне казалось — гибельная пропасть. Да и по правде можно было поломать ноги. До сих пор помню тот ужас.

Лешкины шаги прогремели по железу. Крепкие пальцы ухватили меня за кисть руки, за ляжку, за штаны, за ногу!.. Ух

и силач же он, Лешка! Вздернул меня наверх, словно пустой мешок из-под картошки. Рывком поставил на ноги.

— Перетрухал малость? Ничего, щас отдышишься.

Я всхлипывал и дрожал. Самым естественным делом было бы тут же слезть вниз, прореветься в каком-нибудь уголке, переварить в себе весь этот ужас, а потом пойти и признаться маме.

Но Лешка судил иначе. Не отпуская меня, он поднял с крыши нашего змея.

— Хорошо, что не унесло. Пошли повыше, оттуда не слетишь. — И потянул меня на самый гребень.

— Леш... Я...

— Пошли, пошли.

Мне — куда деваться? Вцепился в его широкий свитер.

На гребне Лешка расставил ноги: левый ботинок на одном скате, правый — на другом.

— Вставай так же.

— Я буду за тебя держаться...

— Держись. И меня держи. Не бойся. Если друг друга держим, тогда не опасно.

Я крепко ухватил его талию. Щекой прижался к плечу.

Конечно, я мешал Лешке управляться со змеем. Но Лешка меня не ругал. Понимал. И мне стало спокойнее. Лешка был такой уверенный, прочный, как скала.

Сейчас-то я понимаю, что никакая он был не скала, а тощий десятилетний пацаненок. Тонкошей, лопоухий, с конопушками на острых скулах. Однако в тот момент не было для меня человека надежнее, чем сосед и друг Лешка.

Возможно, он тоже побаивался. И, скорее всего, большого опыта в запуске змеев у него не было. Но все же он его запустил! И змей начал уходить в облачную, серую с синими проплешинами высоту.

И, наконец, катушка размоталась вся, а змей стал совсем маленьким. А трещотка, несмотря на такую дальность, была слышна отчетливо, громко! Над всеми окрестными улицами!

Я все еще зябко вздрагивал и обнимал Лешкину талию. Он сказал:

— А ты молодец. Как ловко зацепился за край, чтоб не слететь! Руки у тебя крепкие. Рыжий — тот бы сразу бултых.

— Леш... Ты никому не говори, что я ревел, ладно?

— А разве ты ревел? — удивился он.

Я благодарно вздохнул.

— Ты теперь вот что, держись за меня одной рукой, — деловито предложил Лешка. — А в другую возьми нитку. Хочешь?

— Ага...

Он дал мне в кулак катушку с привязанным концом нити. И я сразу ощутил, как живет в небе змей.

Жизнь его передавалась по нити, как по чуткой жилке. Дрожание, трепет, вибрация трещотки. Тяжелое колыхание хвоста. Иногда змей ходил из стороны в сторону. Тянул нитку с изрядной силой. Катушка шевелилась в кулаке, как пойманный лягушонок.

Я совсем отцепился от Лешки. Встал прочнее. Пальцами левой руки взял нить повыше катушки. Как струну. В ее дрожании и правда ощущалась струнная музыка.

— Держи крепче.

— Я крепко, Леш...

— Если снижаться начнет, сразу тяни на себя. Только плавно, а то оборвется.

— Ладно...

Змей, однако, не думал снижаться. Он держался в высоте уверенно, и ощущение связи с ним росло во мне и росло.

И было еще одно ощущение! Прочное и теплое. Я словно все еще чувствовал крепкие Лешкины пальцы на запястье. Как он схватил меня, как спас!

...Потом, когда я стал такой же, как Лешка, то уже не боялся забираться на высокие крыши. И научился мастерить и запускать змеев сам. Особенно я увлекся этим, когда переехал на улицу Грибоедова, в двухэтажный дом, где часть крыши была плоская и широкая, как палуба.

Однажды я запустил с этой крыши красивого белого змея, но ветер вдруг ослаб. Змей начал падать. Помня давний Лешкин урок, я плавными взмахами принялся выбирать нить. Но ветер снова рванул, и нить порвалась. Змей, дергаясь, как подбитая птица, резко пошел вниз и повис на проводах в квартале от нашего дома. Недалеко от деревянного частокола городской тюрьмы.

Я видел, как часовой на вышке подошел к перилам и внимательно стал смотреть на прилетевшего с неба гостя. На всякий случай я укрылся за печной трубой. Вдруг часовому стукнет в башку, что я подаю узникам сигнал для побега!..

4

Итак, парнишка-негр не знал слова «битанго».

Он уразумел наконец, что я интересуюсь названием змея, и просиял улыбкой:

— Комета!

Ну что же, тоже неплохо. Подходящее имя для хвостатого летуна.

Стоит ли, в конце концов, огорчаться из-за каких-то лингвистических разночтений!

А «комета» в небе была уже не одна! Еще несколько мальчишек, стоя на парапете, запускали змеев. Уж очень подходящий дул с залива ветер.

А потом... Потом оказалось, что бумажные змеи — это по-вальное увлечение гаванских пацанов. Когда начинает дуть такой вот ровный, но отнюдь не слабенький норд-вест, над крышами кубинской столицы поднимается множество бумажных летунов. Разной формы, хвостатых и бесхвостых, простеньких и сложной конструкции, из яркой бумаги и простых газет.

Так было и в тот день.

Официальные встречи и дела не заняли много времени, и после обеда мы с Барбудо снова улизнули из-под бдительного ока Мадам.

На замусоренных тротуарах сидели у порогов невозмутимые старики и старухи. Проносились ободранные (иногда лишь платформа да колеса) автомобили. Одно такое сооружение, зачихав мотором, застряло на краю дороги. Шофер начал копать в двигателе, тут же собралась толпа шумных советчиков. Завидев нас, они с готовностью приняли картинные позы: фотографируйте, мол, пожалуйста!

Две светлоголовые девчушки подошли несмело, им тоже хотелось сняться. Но засмутились, убежали. А потом осмеле-

ли, догнали нас да еще привели с собой третью — совсем малышку.

Смуглые веселые мальчишки подбегали стайками, громко, но не очень назойливо (скорее выполняя привычный ритуал) просили «чиклос». Мы уже знали, что это не значки, а жевательная резинка. Видимо, обычай сохранился со времени «американской колонизации». А у нас, высоко нравственных советских граждан, какие могли быть «чиклос»? В ту пору жевательная резинка нашей отечественной идеологией отвергалась как признак буржуазного растления. Мы отделялись от дружелюбной гаванской ребятни значками и копеечными монетами, но потом лишь виновато разводили руками. Разве напасешься на такую ораву!

Старая негритянка в немыслимо ярком платье вытащила из складок своего одеяния бутылку рома. Знаками дала понять, что готова обменять на какой-нибудь товар. Мы опять развели руками.

— О-де-ко-лоно, — хрипло сказала она.

Бутылку великолепного «Гавана клуб» за тройной одеколон? Знать заранее, прихватили бы!

Из открытых окон неслись радиоголоса. Смесь румбы и лозунгов. То и дело диктор с раскатистыми «р-р» сообщал, что «говорит Куба — первая свободная территория Америки» («прима территория либре де Америка») или что-то в этом роде...

А над всем этим шумом, жарой, весельем, ребячьими криками, тарахтением моторов — десятки змеев.

Они реяли в высоте над крышами, рвались с балконов, трепыхались над головами пробежавших мальчишек.

Они были повсюду — над набережной, над бастионами старинных желтых крепостей, над площадью с громадой древнего кафедрального собора, в котором похоронен был или сам Христофор Колумб, или его брат (до сих пор, по-моему, идут об этом споры).

На крыше четырехэтажного дома стоял мальчик в голубой рубашонке, которая трепыхалась как флаг. Он тоже готовился запустить змея. И зрители (маленькие и большие) азартно кричали снизу, чтобы он поспешил с этим делом: «компаньерос советикос» хотят посмотреть, как полетит «комета».

Мы, по правде говоря, не очень-то хотели. Боялись, что вместо змея полетит его хозяин. Причем не вверх. Но ничего плохого не случилось, змей взмыл, зрители возликовали.

Кстати говоря, забираться на крышу было ни к чему. Ветер продувал улицы насквозь, и многие ребята ухитрились запускать своих «комет» прямо с мостовой. Одна такая компания занималась этим делом на маленькой, окруженной пальмами площади. Три змея реяли над пальмовыми верхушками.

В сторонке от компании стоял мальчуган лет одиннадцати, тоже держал нить змея. Стоял, чуть изогнувшись, прислонившись острым плечом к пористым камням старинного бастиона. Тоненький, ровного кофейного цвета, но светловолосый. С крупными локонами и желто-карими глазами в пушистой оторочке ресниц. Этаким юный гранд, потомок испанских рыцарей-мореходов. Только был он не в шелке и бархате, а всего лишь в мятых серых шортиках. И босиком. Держался, однако, так, словно на нем плащ с вышитым фамильным гербом и перевязь со шпагой.

Когда мы подошли, он глянул спокойно, даже равнодушно. Потом все-таки чуть улыбнулся — без всякого намека на какую-нибудь просьбу. Да, от такого не услышишь — «чиклос». Он скорее сам чем-нибудь одарит. И он одарил!

Снисходительно, плавным жестом инфанта он протянул нам палочку с привязанной нитью: «Хотите поддержать? Я готов оказать вам, иностранцам, такую честь».

Я хотел. С благодарностью взял деревяшку и ощутил сильное, знакомое с детства натяжение и вибрацию живой нитки змея. Взглядом скользнул по этой нитке вверх. Змей был похож на белую бабочку.

— Битанго? — спросил я неуверенно.

— Марипоса, — сказал он без удивления, вполголоса.

Уже потом я узнал, что «марипоса» это и есть «бабочка». Еще одно здешнее название бумажного змея.

Ну что же, пусть марипоса... Я еще с полминуты благоговейно держал палочку с нитью и вернул владельцу. Потом все же взял на себя смелость преподнести ему значок — последний из тех, что были в карманах. Серебристую бляшку с четырехмачтовым барком «Крузенштерн». Хозяин «марипосы»

принял подарок с прежним достоинством. Сказал вполголоса:

— Грасиас, сеньор... — (Ишь ты, «сеньор», а не «компаньеро»).

Затем он прицепил «Крузенштерна» к шортикам и сосредоточил внимание на змее.

Нам осталось откланяться.

...Мы гуляли до сумерек. В них светились серебристые стволы высоченных королевских пальм. Фонари на старых улочках не горели. Свет падал только из окон и киосков. В киосках продавались бананы и советская манная крупа в пачках.

Мальчишки на подростковых велосипедах и самодельных самокатах проносились по освещенным пятачкам асфальта.

То и дело попадались навстречу парочки: девушки в мини и парни в ковбойках или солдатских куртках.

Старики все так же сидели у порогов, дымя сигарами. За их спинами, в глубине домов мерцали телевизоры.

И все было хорошо. Жаль только, думал я, что всю эту пестроту, все диковинки заморского города не видят ребята из моего отряда «Каравелла».

Это была вторая за день грустноватая мысль.

А первая — все та же: почему никому здесь не известно слово «битанго»? Может быть, его знают лишь в Испании, а в этой тропической стране другие обычаи и другие названия детских игр?

...Но потом я и в новых изданиях испанско-русских словарей этого слова не встречал. А что, если тогда, в тридцать седьмом, в словарь вкралась ошибка? Вдруг именно поэтому судьба распорядилась так, что не удался у меня рассказ с таким названием?

5

Я начал думать о рассказе «Битанго» еще в те дни, когда впервые узнал это слово. Оно тревожило меня, звучало в сознании, как удары маячного колокола: «Би-тан-го»... «Би-тан-го»... Я еще не придумал, какие события произойдут в расска-

зе. Знал только, что там обязательно будут мальчишки и воздушные змеи.

Мне верилось — получится хороший, ясный такой рассказ, не надо только спешить, пускай тема наберет силу и вырастет сама — неспешно и прочно.

Я носил в себе эту, неясную еще, тему несколько лет. «Битан-го...»

В ноябре шестьдесят второго случился знаменитый Карибский кризис (именно «Карибский» уже, а не «Караибский»). Я работал тогда в журнале «Уральский следопыт». Помню хмурые лица, приглушенные разговоры, натянутые нервы и постоянное ожидание последних известий. И противное ощущение беспомощности — как у муравья, который вдруг осознал, что муравейник его построен на бочке с порохом и кто-то возится у фитиля. А сделать с этим «кто-то», громадным и на всех нас плюющим, ничего нельзя. Затопчет он огонек на фитиле или дунет на него, а сам отбежит подальше и спрячет голову в канаве?..

И еще отстраненно-ироническое размышление. Что случится раньше: придет военкоматовская повестка или брякнется на благословенную столицу Урала американский термоядерный подарок? Если неизбежно то и другое, то пусть уж лучше сразу...

И совсем эгоистическое сожаление: «Черт возьми, так и не успела выйти книжка!» В те дни я как раз ждал свой первый сборник рассказов, его готовило Свердловское издательство.

Обошлось. Договорились Никита Сергеевич и Кеннеди. Пришлось, правда, убирать с Кубы ракеты, ну да фиг с ними. Зато книжка вышла вовремя — славная такая, на мелованной бумаге, с цветными картинками.

Получив сигнальный экземпляр, я притащил в нашу редакцию торт и шампанское. И мы обмыли этот мой сборничек «Рейс «Ориона», и я выслушал много поздравлений, напутствий и пожеланий. В том числе и такое: написать для «Следопыта» новый рассказ. И я на радостях пообещал:

— Напишу! Будет называться «Битанго»! С Кубой это связано.

— Давай, давай! — подзадорил меня редактор отдела прозы. — Актуальная тема.

Но я взялся не сразу. Никак не вытанцовывалось начало. Не было эффектного эпизода. И тянулась такая волынка до лета.

Однажды в июне ехал я на велосипеде с Верх-Исетского озера. И там, на окраине города, лихо свернул за угол, в заросший лопухами переулочек. И врезался в корыто с железной рухлядью.

Оказалось, что корыто волок на проволоке пацаненок лет десяти. Я — в одну сторону, велосипед — в другую, мальчишка — в третью. Ну, он-то просто с перепугу... А корыто осталось на месте.

Я, чертыхаясь, поднялся. Мальчишка испуганно смотрел от забора, из бурьянных кустов. Он бы, конечно, удрал, если бы не железный груз.

Он сказал с жалобной агрессивностью:

— А чего не глядите, когда сворачиваете!

— Ты целый?

— Ага... А вы?

— Вроде бы... Ох...

— А велик?

Я поднял машину, крутнул колеса.

— В норме...

Мальчишка вылез из бурьяна. Щуплый, поцарапанный. В перемазанной синей майке. Я спросил:

— Лом, что ли, собираете?

— Ага.

— Для школы? Вроде бы каникулы.

— Мы в летнем лагере. Вожатая говорит, что это железо на трактор для Кубы.

Надо же, какое совпадение!

— Ладно, трудись, — обрадованно сказал я. — Привет вожатой. Но имей в виду, велосипед на лом не отдам. Пешком до дома топтать далеко.

У него появилась наконец улыбка:

— Не надо. Мы и так целую кучу натаскали.

Я оседлал свою конягу и, морщась, надавил на педали.

А дома я приткнулся к жиденькому своему секретеру (письменного стола еще не имел) и начал писать с размаху. О столкновении. Только взрослым героем сделал не себя, а девушку

Лиду, инструкторшу городского аэроклуба. И усадил ее на мотоцикл.

«Мотор заглох. Мотоцикл лежал в канаве. Переднее колесо медленно поворачивалось, и по спицам тихонько ударяла головка облетевшего одуванчика... Все случилось так стремительно, что, когда Лида поднялась на ноги, мальчишка по-прежнему стоял не двигаясь на краю дороги. В широко открытых глазах его быстро выростал испуг...»

Так они и познакомились — юная летчица и мальчик Антон. Антошка, Тоник. Он был героем и других моих рассказов. В том числе и тех, что напечатаны в первой книжке.

Слегка выяснив отношения, они помирились. И Лида, узнав, что мальчишки собирают железо на трактор для Кубы, позвала Тоника к себе:

«— У нас в сарае всякого железного барахла много. Хотя расчистишь помещение. Зайдешь? Вон в тот дом с зеленой крышей».

...А над крышами парили пестрые воздушные змеи. Змеи-сигнальщики. Потому что сбор «кубинского» железа шел по всему городу, и с помощью змеев ребята сообщали друг другу, где нашлись новые залежи лома. Бежали вверх по ниткам разноцветные клочки бумаги — «телеграммы»... Веселая жизнь! Азарт, августовский ветер над тополями, ощущение полета! И радостное сознание, что ты помогаешь тому мальчишке в берете, с карабином на плече, снимок которого недавно видел в газете.

А у Антошки — особое счастье! Лида пригласила его прокатиться на двухместном самолете в соседний городок. Лучше уж взять с собой мальчишку, рассудила она, чем занудного и прилипчивого ухажера Митьку Сарапова, который ноет все время: «Лидушка, ну можно с тобой?» Теперь она скажет: «Видишь, место занято, я обещала мальчику».

Сначала были у Антона слезы: отец не хотел отпускать его. Ни за что! Подумать только, на хлипком самолетике, за двести верст, с какой-то девчонкой! Но потом поговорил с Лидой и...

«— Слушай, — сказал отец, — хватит валяться в траве и реветь. Был я у этой летчицы. В общем, так... Если свалишься с самолета, отвечать будешь сам».

А дальше — вот что.

«Ночь была тихой, но на следующий день с утра снова дул ветер. Трепетал в его струях длинный синий вымпел Клуба Веселых Ветров.

Тоник забрался на крышу и поднял «Битанго». В пальцах быстро скользила прочная капроновая нитка, из которой Римкин дед собирался вязать рыбацью сеть. Впрочем, у деда есть еще два мотка.

Когда змей ушел так высоко, что стал похож на серебряную бумажку от конфеты, Тоник закрепил катушку на железном пруте, торчавшем из крыши, и сел. Он не спешил. Пройдет еще полтора часа, прежде чем он опустит «Битанго» и помчится на аэродром. Туда, где ждет самолет!.. Рассказать бы кому-нибудь про свое счастье! Но Римка и Петька на пришкольном участке. Тимка уехал на рыбалку. Только маленький Клякса, скучая, бродит по двору.

— Лезь сюда! — крикнул Тоник.

Клякса задрал голову.

— К тебе? Мне не велят на крышу.

— Всего ты боишься, — сказал Тоник. — Нельзя, не велят... Ну, полезешь?

Клякса, пыхтя, вскарабкался по поленнице.

— Я сегодня в Калитино на самолете полечу, — сообщил Тоник.

— А мне школьную форму купили, — похвастал Клякса. — Только надевать не дают пока.

Тоник махнул рукой. С Кляксой говорить о самолете не стоило. Но Тоник не очень огорчился.

Он смотрел, как из-за туманной полосы далекого леса выплывали облака. Они шли над лугами и блестящими осколками озер, над синим изгибом реки и белыми домами пристанского поселка. Они были похожи на клубки желтой пушистой ваты.

Тоник прошептал свои давно придуманные стихи:

Облака, облака,
Вы лохматые бока,
Солнечные кручи,
Собирайтесь в тучи...

Но облака не стали собираться в тучи (да Тоник и не хотел этого). Они продолжали свой веселый летучий путь — в сторону Калитина, куда скоро полетит и Тоник.

— Вон еще змеек! — обрадовался Клякса.

Из-за вершин тополей поднимался желтый с тремя черными полосками змей.

— «Тигренок»! — крикнул Тоник.

«Тигренок» взлетал над своими крышами — значит, его все-таки отбили у «пиратов».

Надо было послать привет «Тигренку», и Тоник полез в карман за бумагой для «телеграммы».

Он нашупал смятый клочок. Это была записка водителя Вострецова. Только сейчас Тоник вспомнил о ней — вчерашно сунул в карман, даже не прочитав. До того ли было, когда слезы...

Федор Вострецов писал: «Битанго! Дело с железом надо доводить до точки. Завтра в двенадцать дайте четыре красных — общий сбор».

Записка была получена вчера. Значит, «завтра» — это сегодня. Значит, не будет общего сбора, потому что в одиннадцать Тоник опустит «Битанго» и убежит на аэродром. Сам виноват, Феденька. Не надо посылать записки с бестолковыми малышами.

Тоник встал и потянулся, словно хотел показать кому-то, что ничего не случилось. Ему не хотелось уже смотреть на облака.

— Клякса! — позвал Тоник. — У меня дома на шкафу красная бумага для сигналов. Принеси.

Он и сам не знал, зачем сделал это. Ведь все равно он опустит «Битанго» в одиннадцать.

— Может, Тимка вернется, — подумал Тоник вслух. Но было ясно, что никто не вернется до обеда. Только будут иногда забегать на двор разведчики — иногда совсем незнакомые мальчишки — и просить, чтобы Тоник просигналил об их находах.

С крыши был хорошо виден циферблат часов на перекрестке. Тоник решил подождать до четверти двенадцатого и, если никто не придет, опустить змея.

Один за другим поднялись над крышами «Кондор», «Ва-

силек» и еще несколько змеев. Завязалась между ними переписка. Только «Битанго» молчал. Тоник смотрел на далекие часы.

Наконец вернулся Клякса с красной бумагой.

— Владик, — сказал ему Тоник, — можешь послать четыре телеграммы в двенадцать часов? И посмотреть, чтобы не упал змей...

— Это когда — в двенадцать? — озабоченно спросил будущий первоклассник.

— Эх ты, Клякса!

Тот не обиделся. Протянув бумагу, поинтересовался:

— Тоник, у тебя там кто на картинке? Ну, дома, на стенке, где кровать? С винтовкой...

Тоник промолчал, хотя понял, что Клякса спрашивает про газетный снимок с маленьким кубинцем. Про снимок, который Тоник приклеил над своей кроватью. Приклеил намертво, не оторвать.

Стрелка подходила к нужной черте, и Тоник снял с прута катушку, убрал с нитки зажим. Он сразу почувствовал силу, с которой рвался в небо змей. Нитка, разматываясь, заскользила в пальцах Тоника. Катушка упала к ногам и, раскручиваясь, весело запрыгала в углублении между кровельной доской и печной трубой.

Чтобы снизить змея, нужно было перехватить нитку покрепче и поскорее начать выбирать ее. Но Тоник стоял неподвижно, и змей уходил все выше...

Когда катушка раскрутилась, Тоник привязал конец нитки к железному пруту. «Битанго» достиг рекордной высоты. Он поднялся, наверно, так высоко, как поднимется тот маленький двухместный самолет, что через двадцать минут уйдет с аэродрома. С пустым задним креслом в кабине...

Тоник устало сел и прислонился к шесту, на котором трепетал флажок. Не оглядываясь, он приказал Кляксе:

— Мало бумаги, принеси еще.

Клякса послушно пошел на край крыши и оттуда спросил, сочувственно заморгав:

— Тоник... А ты чего?..

— Ладонь порезал ниткой, — тихо сказал Тоник и зажал в зубах обшлаг зеленой рубашки».

Вот такой — не очень-то веселый, но с оттенком ребячьего героизма (как мне казалось) был у рассказа конец.

Я перечитал «Битанго» и отдал Льву Григорьевичу Румянцеву — он ведал в «Уральском следопыте» прозой.

Лев Григорьевич прочитал сразу.

— Ну что же, будем ставить в номер. Получилось у тебя.

А я... Я не знал: получилось ли?... И честно говоря, в глубине души чувствовал: не вышло.

Перечитывал снова и снова.

Казалось бы, все как надо. И ребята как ребята, я на них уже отточил перо в более ранних рассказах. И город, о котором я писал, был хороший, похожий на мою родную Тюмень — с теплыми от солнца крышами и шумящими на ветру тополями. И в намечающемся полете летчицы-инструктора с мальчишкой не было ничего неправдоподобного: я знаком был с досаафовскими спортсменами и знал, что в ту пору такие вещи случались.

И мальчишки по правде разыскивали старое железо, чтобы помочь Кубе. И вокруг меня на Уктусской окраине уже собиралась ребячья компания, похожая на ту, что в рассказе. Только называлась она не «Клуб Веселых Ветров», а «БВР» («Берег Веселых Робинзонов»). Это было начало отряда «Каварелла».

И был у меня верный друг и адъютант, соседский Алька, похожий на Антошку. Тоже готов был пожертвовать любой радостью, любым путешествием и полетом ради общей идеи, ради друзей...

Отчего же грызли меня сомнения?

Отчего было так: любую деталь рассказа возьми — все по правде, а прочитаешь подряд — и кажется мой «Битанго» искусственным, будто написанным по заказу...

Все вроде бы складывалось нормально: и напечатают, и похвалят... Но не тот это «Битанго», о котором я мечтал!

Может, просто начал понимать, что нельзя уже писать с теми интонациями, с тем, откровенно говоря, неглубоким копанием жизни, с какими писал рассказы для дипломной работы? Или зрела в душе (пока неосознанно) более серьезная тема, где идея «Битанго» была бы ярче и шире?..

Короче говоря, за день до сдачи в набор я забрал рассказ из редакционного портфеля.

Забрал и спрятал подальше. В такую глухую архивную папку, что потерял его на много лет.

А через год я взялся за большую повесть о мальчишках, всей душой преданных этой поднебесной игре — воздушным змеям. Об их дружбе, радостях и бедах.

Видимо, повесть получилась, ее «с колес» напечатал журнал «Пионер» и в том же году выпустило главное издательство для ребят — «Детская литература». И потом напечатали на многих языках и в разных странах. Даже в Японии.

Японская учительница прислала в подарок двух воздушных змеев — совсем не похожих на наши, шестигранных, пестрых, со свирепыми самурайскими физиономиями.

Я обрадовался, но запускать в небо японские подарки не стал: вдруг не сумею, упадут, поломаются... И теперь эти разноцветные летуны висят на ковре, под потолком. Внучка Даша сперва поглядывала на них с некоторой опаской, но теперь подросла и знает, что змеев подарила «тетя Танака»...

Таким образом, все вроде бы получилось хорошо. Та давняя повесть была для меня как прорыв какой-то, как глубокий вздох. Освобождение. А то ведь я так измучился с «Битанго», что казалось: больше никогда ничего путного не сумею написать. Но само слово «Битанго», змей с таким именем, промелькнули только по краешку этой повести. Как эхо прежней мечты. Я — человек суеверный — не старался вплести его в ткань книги насильно. И название повести выбрал другое — «Та сторона, где ветер». Его подсказала музыкальная фраза из Пятой симфонии Чайковского. Эта музыка очень помогала мне писать.

...А старый рассказ «Битанго» я разыскал в своем архиве недавно. Рукописный вариант. Строчки, написанные синими чернилами, пером школьной ручки-вставочки. Перечитал с тем чувством, с каким человек разглядывает себя на юношеской фотографии.

Ну что же, был рассказ не хуже других. Не спрячь я его, пошел бы он в одну книжку, в другую. И печатался бы, наверно, до недавних дней, когда всем стало ясно, что молодость

революционной Кубы давно прошла, а хорошая взрослость не наступила...

Нет, все же правильно, что спрятал. Кое-что из «Битанго» вошло в повесть, а в целом рассказа не жаль. Подумаешь! Мало, что ли, пустил я в печь других рассказов! И вешей покрупнее. Это лишь критики считают, что «автор очень плодovit и пишет одну повесть за другой».

Они не ведают, сколько исписанных страниц рвется в клочья. И пишешь — будто продираешься сквозь колючки. Как в детстве, когда мячик улетел на середину заросшего пустыря, а ты лезешь сквозь выросший выше головы, пыльный и жесткий репейник, а он рвет рубашку и сыплет за шиворот всякий сор, а ты еще и не знаешь, найдешь ли в конце концов злополучный мяч...

Да, одного только жаль — имени «Битанго».

Я иногда думал: как бы его все-таки не затерять? Если не удалось использовать для рассказа, может быть, назвать так одну из яхт? Мы с мальчишками из «Каравеллы» за прошедшие с той поры годы построили их два десятка.

Но для ребят это слово не было знакомым и близким. А объяснять и настаивать я стеснялся. Не очень-то приятно потрошить себя. И парусники сходили на воду под другими именами: то четверо знаменитых мушкетеров, то славные «Том Соьер» и «Гек Финн», то юный жюльверновский капитан «Дик Сэнд». А в начале восьмидесятых наступила эпоха «штурманов» — этот класс ребячьих швертботов мы сконструировали и построили тоже сами: «Азимут», «Румб», «Экватор», «Пеленг» и так далее... Некоторые ходят до сих пор...

А что же делать с «Битанго»? Только одно: назвать так повесть воспоминаний. Может быть, она получится еще менее удачной, чем старый рассказ. Но, по крайней мере, в ней я опишу все как было...

Ветер над Гаваной не стихал. Местные жители говорили, что он — предвестник урагана, одного из тех, что не редкость в это время года на Антильских островах. Но пока урагана не

было и ветер оставался умеренным ровным норд-вестом, который, слава Богу, делал терпимой тропическую жару.

И по-прежнему множество змеев реяло над Гаваной.

Я снимал «Зенитом» и кинокамерой мальчишек с их бумажными летунами, но никак не получалось, чтобы змей и его хозяин оказались в одном кадре: очень уж большое между ними было расстояние. Конечно, можно было повести объективом камеры по нитке от земли до неба и так показать: вот мальчик, а вот его змей. Но нить могла не проявиться на пленке, и получилось бы, что какое-то время в кадре пустота.

И наконец мне повезло!

Я шел по площади Революции. Той самой, где памятник Хосе Марти — с мраморной фигурой и громадным ребристым обелиском. Над вершиной обелиска весело трепыхался белый квадратик.

Это был змей не нашей конструкции, бесхвостый, с бантиками по углам. Зато мальчишка, что с ниткой в руке бежал по площади, — ну совершенно российского вида. Русоголовый, в джинсах и клетчатой рубашке той же расцветки, что у меня.

Сперва я навел камеру на пацана. Сниму его, потом поведу аппарат вверх, по памятнику. Теперь-то в кадре не будет пустоты. Объектив пересчитает звенья башни, а на самом верху покажет змея, радостно трепещущего в потоках воздуха.

Все будет по законам операторского искусства! Представитель юного поколения, затем устремленный ввысь памятник — образ революции, а над ним легкий змей — как символ радостного, крылатого детства. Хотя и чувствуется уже, что не все тут ладно с революцией, но мальчишки Гаваны без всякого притворства жизнерадостны и счастливы. А главное, какой ракурс! Ура!

Нет, не ура, а увы.

Я услышал предостерегающий крик. Почти бегом спешил ко мне мулат в военной форме. Махал коричневой ладонью: не снимай, мол!

— А почему нельзя?

Он подошел и, часто дыша, показал на многоэтажное здание. Решительно скрестил над головой руки. Все ясно: съемка запрещена, военный объект. То ли министерство ихней обороны, то ли еще что-то.

— Слушай, компаньеро, я не его! Я это... мучачо, монументе, «комета»...

— Но, но! — Он опять замахал руками. Нигде, мол, нельзя тут.

Что поделаешь! Я демонстративно засунул камеру в футляр, развел руки: вот, понял, не буду.

Часовой тут же закивал, заулыбался, убрал с груди за спину черный автомат. Тоже развел ладони, виновато так: мне не жалко, да такой закон.

Конечно, со своим уставом в чужой монастырь не полезешь. Другая страна, другие законы. Хотя другие ли?.. Скорее наоборот — с наших списанные. Попробуй, скажем, в Севастополе навести объектив на военный корабль или на штаб флота! Тут же рядышком окажется патруль. Хорошо, если просто засветят пленку. А то и в комендатуру потащат — не агент ли ты мирового империализма?

Размышляя так и сравнивая, углубился я в переулочек и вдруг услышал позади частый топот. Меня догонял мальчишка, тот самый, с площади. Змей трепыхался у его плеча. Мальчишка улыбался лукаво и просительно:

— Компаньеро... — И показал рукой на футляр с камерой, на себя.

Ну, понятно! Он уже готов был, что его снимут там, у памятника, и сорвалось! Обидно же! Смотрел нитку на катушку, змея за спину — и вдогонку. Очень уж они любят фотографироваться, гаванские пацанята. Понимают, что снимка не получат, но, видимо, радует их другое: кто-то увидит их в далекой стране, на другой половине планеты.

Улица была старая, тесная, никаких секретных объектов. Да и прохожих поблизости не видать.

— Буэно, мучачо. Становись.

Он сделался серьезным, прислонился плечом к стене. Кинокамерой снимать не стоило, я несколько раз щелкнул «Зенитом».

Мальчишка немного проводил меня, поглядывая сбоку и улыбаясь.

— Как тебя зовут? — спросил я по-испански.

— Эдуардо. — Он помахал рукой и убежал за угол. Змей прыгал у него за спиной.

Снимок этого мальчугана и сейчас передо мной. Только на нем Эдуардо выглядит темноволосым. На площади волосы его золотило солнце, а в тесноте улицы была тень.

Хорошая получилась фотография. Жаль только, что знакомство было коротким.

...Зато с другим Эдуардо я познакомился более основательно.

В отеле «Гавана Либре» был прекрасный бассейн.

По-испански «бассейн» — «писсина». Это, естественно, служило темой для зубоскальства. Но шутки шутками, а была «писсина» для нас большой отрадой.

Когда надоело бродить по Гаване, а никаких мероприятий в ближайшее время не предвиделось, можно было пройти в специальный лифт, и он через полминуты опускал тебя в маленький рай.

С трех сторон этот рай ограждали стеклянные стены отеля и низкорослые пальмы. С четвертой — декоративная изгородь, за которой лежала улица с бело-красной церковью ультрасовременной архитектуры — не то элеватор, не то Дом Советов, только не с гербом, а с большим черным крестом на фронтоне. Церковь эта отражалась в необъятных гостиничных стеклах.

Здесь, в этом мирке безветрия, солнца, тепла и голубой воды, охватывала каждого этакая ребячья беззаботность. Даже наш знакомый министр республиканского ранга (которого мы так и звали — Министр), выскакивая на край бассейна, радостно вопил:

— Писсина — си, трабаха — но! — что значило: «Бассейн — да, работа — нет!»

Можно было до одурения нырять и плавать над лазурным кафельным дном, а потом валяться под солнцем на теплых плитах или ловить кайф в шезлонге. Кайф усиливался при мысли, что уже конец ноября и дома, наверно, снег идет. Или мерзопакостный ледяной дождь.

Между шезлонгов и легких столиков ходили спокойные, даже слегка величественные официанты. У них можно было купить фужер знаменитого (говорят, любимого Хемингуэем)

коктейля «Дайкири» — смесь кубинского рома с молотым льдом. А если повезет, можно было получить «Дайкири» и бесплатно, по продовольственной гостевой карточке — это уж какой официант попадется. Часто попадались поклади-стые.

Заведовал «писсиной» инструктор-спасатель Рафаэль. Дядька лет тридцати, смуглый, курчавый, жизнерадостный. Был он общителен, знал немного по-русски и рассказывал про свою жизнь: как служил в армии, как женился, как закончил специальные курсы, чтобы вытаскивать нас, если будем «бульк-бульк». Иногда он показывал это на практике. Пихнет кого-нибудь в воду и тут же хитрым приемом доставляет на край бассейна. Пикнуть не успеешь.

В общем, держался Рафаэль по-приятельски, хотя, казалось бы, причин для обид на «компаньерос советикос» было немало. В первые же дни после приезда лихие юноши из Ленинградского балета сломали доску для ныряния. Короче говоря, дотанцевались. А доска, по словам Рафаэля, стояла бесценно еще с той поры, когда «Гавана Либре» была «Гаваной Хилтон». Один известный (очень известный) артист во время ночного веселья швырнул в «писсину» из окна верхнего этажа пустую бутылку, и рабочие, чистившие ранним утром водоем, заработали порезы.

Рафаэль показывал на верхние окна, сокрушенно покачивал головой, но меня и Барбудо похлопывал по плечам, давая понять, что ни в коем случае не считает нас виноватыми за шуточки земляка-лауреата.

Часто к Рафаэлю прибегал его сын Эдуардо, мальчик лет двенадцати. Тоже смуглый, белозубый, но светловолосый. Тоненький, гибкий. Слегка похожий на барабанщика Сережку Фоменцова из «Каравеллы». Прыгая в бассейн, он взлетал над водой как ласточка. Плавал как рыба.

Но он не только развлекался. Часто видели мы его с ведром и шваброй — был у папы Рафаэля помощник.

Рафаэль не скрывал любви к сыну. Обнимет, прижмет светлую голову к курчавой груди, вздохнет мальчишке волосы:

— Интеллигентэ...

Для русского слуха звучало это в адрес мальчишки странновато, а по-испански всего лишь — «умница».

По словам Рафаэля, мальчишка замечательно учился, пробовал сочинять стихи и участвовал в выставках юных художников. Конечно, Эдуардо любили и часто баловали сувенирами — значками, монетками, мелкими игрушками. Он не отказывался от подарков, но брал их смущенно. Шепотом говорил:

— Грасиас...

Отойдет в сторонку, возьмет сувенир в ладони, как птенца, и разглядывает.

Потом он стал живее, общительнее, даже болтать пробовал, как отец. Однажды я подарил Эдуардо серебристый значок из серии «Русские народные промыслы». С изображением прялки. Эдуардо обычным шепотом сказал свое «грасиас» и вопросительно поднял коричневые глаза: что, мол, на значке за штука?

Я не знал, как объяснить, скреб в затылке. Потом вспомнил слово «лана». По-испански — «шерсть».

— Лана, Эдуардо. Для пряжи... — И пальцами показал, как тетушки вертят веретено, свивают шерстяную нить.

Он мигнул. Потом закивал, засиял улыбкой. Тоже пошевелил пальцами, посмотрел почему-то в небо и убежал.

Не знаю, было ли это совпадением или Эдуардо понял мое объяснение как рассказ о нити, на которой запускают змея, но именно со змеем я увидел его на следующий день. Он сидел на скамейке у пальмы, в сторонке от воды, и привязывал к «комете» хвост. Хвост был не мочальный, как у наших российских змеев, а из растрепанной пальмовой веревки и с бантиками. А сам змей — знакомой мне конструкции — с дранками по краям и крест-накрест. Из тонкого желтого листа. Передняя дранка была выгнута пологой дугой. Нитка над ней — как тетива.

Я потрогал нитку — она тихонько зазвенела. Эдуардо улыбался и словно ждал чего-то.

— А трещотку будешь делать?

Он, конечно, не понял. Я помотал ладонью, языком изобразил треск. Эдуардо улыбался виновато: не могу, мол, сообразить, о чем вы.

Я жестом показал, что нужна бумага. Он из кармана просторных потрепанных джинсов достал свернутый листок и тут же (вот интеллигентэ!) — тубик с клеем. Я пошевелил пальцами: а ножницы?

Нашлись и ножницы — в складном ножичке с множеством предметов (наверно, тоже чей-то подарок).

Я вырезал из листка полумесяц — по форме изгиба на змее. Подогнул, приклеил к нитке-тетиве. Эдуардо смотрел, напряженно сдвинув брови, — видимо, это устройство было ему незнакомо.

Я приподнял змея, дунул на трещотку. Бумажный язык трепыхнулся, но слабо. К счастью, из-за изгороди, со стороны церкви, вдруг потянул ветерок. Я поднял змея повыше. И трещотка ожила! Разнесла над «писсиной» сухой треск. Эдуардо опять засверкал улыбкой, запрыгал, как счастливый дошколенок. Что-то часто заговорил, и речь эту я истолковал так: «мучачос» на Малеконе полопаются от зависти. Я хлопнул его по спине:

— Ну, беги, мучачо, на Малекон, запускай!

Мне почему-то было очень хорошо от мысли, что сделанная мной трещотка вплетет свой голос в шум веселого ветра над Гаваной.

Через пару дней в «Гаване Либре» был праздник — заканчивались Дни советской культуры. В большом зале на первом этаже состоялся заключительный концерт артистов разных жанров.

Украинский ансамбль с грохотом плясал гопака. Знаменитый артист пел на итальянском языке известную арию — с таким вдохновением, что я усомнился в слухах по поводу инцидента с бутылкой. Иллюзионист во фраке, испуганно тараща глаза, вынимал изо рта один за другим теннисные шарики.

Этот номер особенно восхитил Эдуардо. Он хлопал изо всех сил. А потом смущенно оглядывался на зрителей: не сочтут ли они его восторг неприличным? Смотрел он концерт не в зале (туда его вряд ли пустили бы), а от бассейна, сквозь стеклянную стену. Многие из советской делегации — тоже. Очень удобно: купайся, загорай и наслаждайся зрелищем. Сквозь громадные стекла видно и слышно было отлично.

Хотя Эдуардо был только зрителем снаружи, этот концерт

он явно считал и своим праздником. Поэтому пришел наряженный. Обычно ходил в мятых джинсах, в полинялой клетчатой рубашке, в старых кедах, а нынче явился в отглаженном белом костюмчике, в белых гольфах и блестящих полуботинках с белым рантом. Старательно расчесанный на косой пробор. Ну, этакое воспитанное дитя из аристократического семейства. Видимо, он стеснялся своего чересчур парадного вида, поэтому отводил глаза и не сразу подошел ко мне и Барбудо. Но после номера с шариками все же подошел.

— Салюд, Эдуардо!

— Зд-ра-стуй-те.

Я покопался в чахлам своем словарном запасе и составил краткую фразу:

— Ну, как летает твоя «комета»?

Эдуардо засиял и ответил еще более кратко. Вообще без слов. Показал большой палец. Наверно, этому жесту научил его тоже кто-то из наших.

Я поймал за локоть пробежавшего мимо нас московского студента — он тут был кем-то вроде стажера-переводчика.

— Толик, помоги объясниться. Скажи мальчику, что у меня есть книжка про ребят, которые в нашем сибирском городе запускают воздушных змеев. Так же, как здесь, в Гаване. Если эту книжку напечатают по-испански, я ему обязательно пришлю. Адрес я уже взял у папы Рафаэля.

Толик охотно перевел. Эдуардо удивленно глядел то на него, то на меня. Видимо, он только сейчас понял, что я — «эскритор русо», то есть русский писатель. До этого, по-моему, он принимал меня за инструктора по парусному делу.

Он поморгал, закивал, хотел сказать что-то, но подскочила юная ленинградская балерина, уже отплясавшая на концерте.

— Эдик! Какой ты сегодня красавец! Пошли танцевать! — Подхватила его, закружила.

За стеклами какой-то ансамбль играл аргентинское танго. Полузнакомая такая музыка.

Эдуардо заупрямился было, но, видимо, сообразил: неловко отказывать даме. Танцевать он, конечно, не умел, путался, виновато смеялся, но девушка легко водила его взад-вперед, то отодвигала, то притягивала к себе, ловко поворачивала и

сама откидывалась назад. Лыняные волосы ее разлетались по плечам.

— Хорошенькая, да? — услышал я азартный голос.

Это оказался рядом Андрюша, самый веселый и дурашливый танцор-ленинградец.

— Это наша Наташка... Злодейка! — Андрюша свирепо свел брови. — Променяла меня на здешнего кавалера! — Он бросился к танцующей паре, ухватил изменницу за талию, поднял над головой. — Я горю от ревности! Сейчас ты будешь персидской княжной! — И понес ее к воде.

— Андрюшка! Пусти! Ай, мама!

Помощь пришла не от мамы. Опешивший на секунду Эдуардо рванулся, догнал похитителя, весело заколотил по нему кулаками.

Андрюша отпустил жертву, развел руками:

— Кабальеро. Защитник прекрасной дамы!

Наташа показала Андрюше кулак и опять ухватила разгоряченного мальчишку...

...Когда-то, очень давно, пластинка тоже играла танго, и разгоревшаяся от веселья девушка вот так же подхватила меня, восьмилетнего пацаненка, и, смеясь, заставила танцевать с нею.

По-моему, это был июль сорок шестого. К сестре и ее мужу пришел гость — бывший одноклассник Людмилы, с которым они не виделись несколько лет. Лейтенант-фронтвик Саша.

Людмила, ожидая Сашу, слегка волновалась и спрашивала: помню ли я его? Я помнил — он бывал у нас в военные годы.

Для встречи Саши и других гостей готовилась немудреная закуска, кто-то принес патефон. Обычно такие мероприятия случаются по вечерам, но на сей раз ярко светило солнце. Настроение было праздничное, как Первого мая. Ради торжественного случая мне было велено надеть белую рубашку, отутюженные парусиновые брючки и даже белые носочки.

Саша пришел. Узнал меня, подбросил к потолку.

— Ух и вырос! Здравствуй, пионер!

Пионером я еще не был, но комплимент принял без возражений.

С Сашей пришли девушки, бывшие одноклассницы. За шумело, заиграло смехом веселье. Звякнули стаканы и вилки. А я радостно взялся за любимое дело: заводить патефон.

— Что вам поставить? Хотите танго из кинофильма «Петер»?

— Давай, дружище! — согласился Саша.

— Только надо говорить не танго, а танго, — поправила дотошная старшая сестрица.

— А почему там поют: «Танцуй танго, мне так легко»?

— Это раньше так было принято. А сейчас полагается иначе.

Иначе так иначе. Я опустил на край пластинки зашипевшую мембрану.

Девушке Вале не досталось кавалера. Она не огорчилась, потянула меня:

— Пойдем танцевать! Ты тут самый красивый!

— Валь, я не умею!

— Пойдем, пойдем!

...Помню, что на голубой кофточке у нее была брошка: забавный желтый утенок...

Сейчас мелодия была не та, но немного похожа. Потому что и здесь — танго.

«Тан-го»...

«Би-танго»...

Можно перевести, как «двойное танго». Здесь и там. Юная балерина Наташа и кубинский мальчик Эдуардо танцуют в Гаване — осень семьдесят второго года. Девушка Валя и мальчик Славка танцуют в Тюмени — лето сорок шестого... Как все переплетается и повторяется в мире... Белые битанго в небе колышут хвостами. Над пальмами. Над облетающими густым пухом сибирскими тополями...

...Патефонная музыка кончается. Я убираю блестящую мембрану.

— Славик, переверни! На другой стороне «Песенка Петера!»

— Ага! Только сперва заведу! — Я кручу тугую ручку, патефон и шаткий столик от этого качаются. Потом снимаю с

диска тяжелую пластинку, переворачиваю, хочу надеть на шпенек. Комната тесная, кто-то меня толкает в спину. Отверстие пластинки на шпенек не попадает. Хруст! И вдобавок я, качнувшись, давлю на край хрупкого диска.

— А-а-а! Что вы наделали!

От пластинки отвалился большой кусок. И поперек нее — щель.

Я — в рев. И от досады, и от страха, что влетит.

Нет, не влетает. Меня наперебой успокаивают, а Валя, нагнувшись, тепло шепчет в ухо:

— Не плачь. У меня дома есть еще одна такая же в точности. Даже новее.

— Правда? — всхлипываю я.

— Правда, правда!

От Вали пахнет сиренью. Наверно, духи такие.

Мне стыдно за слезы. Хлюпая носом и пряча мокрые глаза, я бормочу:

— Можно, тогда я эту себе возьму?

— Разбитую-то? — удивляется Валя. — Ну возьми, конечно. А зачем?

— Надо.

С пластинкой я выскальзываю на двор. После того, что случилось, оставаться в комнате и возиться с патефоном неловко.

В дальнем конце двора на поленнице сидят мальчишки. В ряд, как воробьи. Лешка Шалимов (он там самый главный), Вовчик Сазонов, Толька Рыжий, Амирка Рашидов, Витька Пятигарев с соседнего двора, именуемого Большой оградой, и Лешкин одноклассник Валька Сидор.

Они заняты увлекательным делом: из роготок расшибают аптечные пузырьки, расставленные на нижнем бруске забора. Пузырьки маленькие. Поэтому чаще всего сухие глиняные шарики бесполезно стучают о доски. Но иногда раздаются стеклянный звон и «ура».

Я подхожу, независимо помахивая пластинкой. На меня обращают внимание. В том числе и Толька.

— Во разнарядился! — восклицает мой вечный неприятель. — Будто в сметану обмакнутый.

— Заткнись, Рыжий. — Лешка делает вид, что хочет дать ему по загривку. — У них праздник, гости пришли.

Я, благодарно сопя, сажусь рядом с Лешкой — в белых штанах на пыльную сосновую кору. Наплевать. Лешка смотрит пронизательно. Вполголоса говорит:

— Чё ревел-то?

Иногда, чтобы избавиться от насмешек, честность — самое хорошее средство.

— Пластинку раскокал. Вот эту. Думал, попадет.

— Попало?

— Не-а.. Успел зареветь раньше.

Все смеются. Не обидно, с пониманием.

— А пластинку-то на фиг приволок? — подозрительно спрашивает Толька.

Я говорю не ему, а всем:

— А вот сейчас расшибем ее из рогаток. До конца.

Идея всем нравится. Меланхоличный Сидор лениво предлагает:

— Спорим, что в дырку попаду. Дробиной.

— Хитрый какой! — возмущается Амирка. — Проманешься и разобьешь, а другим ничего не останется!

С Амиркой все согласны. Конечно, Валька Сидор — стрелок известный, но ведь и в пузырек попадает не всегда, а в такое отверстие тем более...

Я вспоминаю, как был с отчимом на стрелковом стенде, где охотники-спортсмены лупили из ружей по летающим тарелочкам-мишеням.

— Давайте на лету! Кто-нибудь все равно попадет! Один бросает, а все — пли!

— Молодец, Славка! — Лешка хлопает меня по плечу, и я чуть не роняю пластинку.

— А кто бросать-то будет? — говорит Амирка, недовольно блестя черными глазами-щелками. — Я не буду. А то чуть что — сразу я.

— Кто принес, тот пусть и кидает, — заявляет ехидный Толька.

— Шиш! Я принес, да я еще и кидать должен?

— У тебя все равно рогатки нет!

Вообще-то рогатка у меня есть. Но она в кармане других, непарадных штанов. Бежать за ней неохота.

— Давайте считаться! А кто будет бросальщик, даст мне свою рогатку!

Справедливость моего решения всем по душе. Даже Рыжий не спорит.

Мы встаем в кружок. Амирка по очереди тыкает нас пальцем в грудь:

Ироплан, ироплан,
Посади меня в карман!
А в кармане пусто —
Выросла капуста!

«Капуста» выпадает на белобрысого рыхлого Витьку Пятигарева. Он со вздохом покоряется судьбе. Дает мне рогатку и твердый глиняный шарик.

— Не тяни только изо всех сил, а то порвешь.

Рогатка у него хорошая, большая, с резиной от противогазной маски.

— Не порву, не вздрагивай, — говорю я солидно. Вкладываю шарик в замшевую «кожанку». Расставляю ноги. Другие ребята тоже наготове. Витька отходит.

Он бросает пластинку хорошо — она ровно идет вверх. Замирает на миг в высшей точке полета. И тогда щелкают рогатки. И черный диск разлетается на куски! Но моя «пуля» — я видел это отлично — мелькнула аж в метре от пластинки.

— Ура-а! — вопят стрелки и пляшут в лебеде. — Я попал!

— Я тоже попал!

Мудрый Лешка оглядывает каждого. Усмехается:

— Все попали. Чего тут не попасть-то, в такую сковороду.

Ну, все так все. Значит, и я тоже. Может, мне просто показалось, что промазал. Или это был не мой шарик?..

— Вон в него бы попасть, — меланхолично говорит Валька Сидор. — Только никто не дострелит.

Лишь сейчас мы замечаем, что высоко над нами стоит в небе воздушный змей. Он кажется маленьким. Белый прямоугольник с полосками крест-накрест и длинным хвостом. Прямоугольник неподвижен, а хвост чуть вздрагивает.

Если присмотреться, можно разглядеть и светлую нить — она тянется куда-то к заборам и крышам соседнего квартала.

— А зачем в него попадать-то! — слегка испуганно говорит Вовчик Сазонов. — Это кто-то из наших запустил. Наверно, Сережа Палкин. Или Вовка Амосов.

— А если и не наши, — замечает Лешка Шалимов. — Кому мешают-то? Пусть летает, от него всем хорошо.

От этого белого «конвертика» в голубой высоте и правда всем нам хорошо. Будто мы и сами вот-вот взлетим. Раскинем руки — и вверх!

Змей вдруг вздрагивает и косо идет в сторону! Что такое? Неужели упадет? Мы замираем.

Но хозяин змея не дремлет. Быстро потянул нитку, выровнял полет. Мы вздыхаем с облегчением. И смотрим, запрокинув головы. Хорошо, что змей не упал! А то у меня даже сердце заколотилось!

Чтобы унять сердечные перебои, я начинаю неумело насвистывать сквозь выпавший зуб:

Танцуй танго,
Мне так легко...

Мне и правда легко среди этого лета, среди друзей-приятелей, под синевой с белым змеем. И все еще впереди. Многие радости и горести, детство, студенческие годы, первые рассказы, первая книжка, паруса, дороги... И Гавана, где оркестр сейчас тоже играет танго, а русская девушка и гаванский мальчуган, смеясь и дурачась, танцуют у самого края синей воды...

Андрюша из Ленинградского балета опять подходит ко мне.

— Ну что, скоро летим домой, да? — говорю я просто так, чтобы не молчать.

— Ага, — вздыхает он. — Лишь бы не трахнутьяся...

Честно говоря, он выражается даже более образно. Я, однако, его не осуждаю. Незадолго до отлета ленинградцев на Кубу в самолетной катастрофе погибла артистка их театра. В пустяковом рейсе Ленинград — Москва. Говорят, она очень спешила в столицу, не достала билета, муж уговорил летчиков и буквально в последнюю минуту втолкнул ее в самолет... Такая судьба.

Я вспоминаю и распластанный на берегу застывшего пруда громадный «Ту-104», совсем недалеко от нашего дома, в Свердловске. Это было, кажется, прошлой зимой. Самолет

едва успел взлететь над аэродромом, как у него отказали двигатели. Один, второй... Летчики ухитрились посадить лайнер на лед водоема, на краю города. Но по инерции громадную машину вынесло на берег. Говорят, погибли семеро...

Нет, с нами ничего не случилось, вернулись благополучно, хотя самолет больше часа кругами ходил над Москвой, не мог сесть из-за метели. Его мотало, он вставал на крыло, падал в бесконечную глубину, взмывал опять. За иллюминаторами свистел беспросветный мрак. Наконец приземлились. Смолкли моторы. Тишина, прочность, покой.

Не повезло другим. По-моему, месяца через два или три. В Гаване при посадке разбился советский лайнер. Писали, что при заходе на полосу зацепил высоковольтные провода.

Иногда мне снится, что я лечу в терпящем бедствие самолете. Почти нет страха, только досада от своей беспомощности. Летчики — те хоть что-то пытаются сделать: давят на педали, тянут на себя штурвал, жмут на кнопки, пытаются запустить замершие моторы. А участь пассажиров — падать и ждать...

За стеклами проносятся груды желтых облаков. Приближаясь, дыбом встает земля — почему-то сразу со всех сторон. И все это в полной тишине.

Но неужели и вправду ничего нельзя сделать?

Да можно же!

Если успеть, если не дать ослабнуть нитке. Потому что самолет — это же змей! И я не только в салоне лайнера. Я еще и на крыше, с нитью в руках!

Нет, не на крыше. На гранитном парапете набережной. Ветер с Мексиканского залива упруго толкает меня в спину, рвет волосы, воротник и короткие рукава. Брызги прибоя пропитали сзади одежду влагой и солью, капли щекочущие стекают за ворот и по ногам. А нить уходит далеко-далеко. Змей стоит выше небоскребов.

Нельзя, чтобы ослабла нить! Тяни ее на себя, когда на миг коварно стихает норд-вест!

Тяни, не зевай, а то грохнетя самолет!

Я вижу себя со стороны. Но я ли это?.. Светлоголовый загорелый мальчишка в растрепанной ветром, белой, как парус, одежке... Он стоит, расставив мокрые коричневые ноги, на скользком кубе из гранита — вскинул голову, закусил губу и живой нитью (скрученной из собственных нервов) старается выровнять полет змея...

Эдик, не зевай! Иначе белый битанго хрупким краем врубится в гущу тридцатизэтажных зданий!

...Ну, вот и все. Он сумел, удержал. Полет выровнялся, длинные крылья лайнера, что видны в иллюминаторы, скользят над землей горизонтально. Только, кажется, не хватило горючего, самолет не дотягивает до посадочной полосы, брюхом садится среди травянистого поля. Но садится мягко, без толчка.

Распахивается дверь. Я прыгаю в траву. Протягиваю назад руку.

— Выходи, прилетели!

Она прыгает рядом со мной. Девушка с льняными волосами. Юная ленинградская балерина? Летчица Лида из рассказа «Битанго»? Или моя сестра Людмила?..

На краю поля — город. Водонапорные башни — в точности как у тюменского вокзала. И колокольни как у наших церквей: розовая у Знаменской и белая у Спасской. А за ними встают белоснежные, с тысячами блестящих окон здания-утесы. А еще дальше стеной поднимается морская синева.

Да, это все-таки Гавана, хотя я раздвигаю не какие-то тропические травы, а обычные ромашки и овсяницу.

Впрочем, это не совсем Гавана. Это просто Город. Мой Город. Имя его — тайна.

Сестра берет меня за плечо.

— Где ты ухитрился так вымокнуть? И рубашка, и волосы. Вот мама тебе задаст!

Мама ничего не задаст. Она будет рада, что мы прилетели благополучно. Она давно ждет нас в старом деревянном доме на краю Города, у волнолома. Я шагаю, путаясь ногами в траве, и сестра идет рядом. Она не знает, что это я спас наш лайнер по имени «Битанго». И мама не узнает. Зачем им лишние страхи...

А книжку про мальчишек с воздушными змеями у меня и правда напечатали по-испански. Но только через шесть лет после того, как я побывал в Гаване.

И я не послал ее Эдуардо.

Не знал, куда. Рафаэль, отец Эдуардо, говорил, что живут они в старом квартале, который через год пойдет под снос. Выходит, адрес у них давно изменился. Да и сам Эдуардо изменился. Наверняка стал к тому времени стройным белокубым парнем, по которому сохнут гаванские девицы. Небось и забыл уже русских гостей, что в семьдесят втором году дарили ему значки на краю бассейна в гостинице «Гавана Либре»...

Прости, мальчик Эдуардо, что я невольно обманул тебя.

А сейчас ты, конечно, уже совсем взрослый, разменял четвертый десяток. Может быть, уже твои сыновья запускают бумажных летунов с гранитных парашютов Малекона. Если, конечно, этот обычай сохранился.

Я не знаю, сохранился ли. С той поры в Гаване больше не был. И вряд ли буду еще когда-нибудь. Остается вспоминать.

И я опять вижу стоящего на фоне моря и неба мальчишку с нитью в руках. Вижу словно издали и нечетко, сквозь струящийся, пахнувший солью и водорослями воздух.

Кажется, что художник мазнул тонкой кисточкой с белилами по громадному синему полотну...

Вместо эпилога

Не думал я, что у повести окажется такое послесловие. Но так уж получилось...

Это про моего друга Виталия Бугрова.

Редактор одного сибирского журнала очень просил меня написать воспоминания о Вите. Я сперва отказывался: тяжело было на душе. Но он снова просил, говорил, что он тоже Витин друг и что мы должны...

Ну, я взялся за карандаш...

Редактор рассказ мой очень хвалил... а печатать не стал. То ли журнал уже дышал на ладан, то ли еще что-то помешало... Три года спустя я нашел среди бумаг черновик воспоминаний. Перечитал, и мне показалось: это будто последние страницы повести «Битанго».

Вот они...

Может быть, здесь есть какие-то повторения, но менять я ничего не хочу. И не могу...

Летучие семена

Любые воспоминания неточны. Человеческая память субъективна, прихотливо отбирает из жизни что-то свое. Но, наверно, в таком «избранном» есть и зернышки истины.

Возможно, я ошибаюсь, но теперь мне кажется, что у Виталия никогда не было спокойных, пригодных для нормальной работы дней. По крайней мере, в редакции «Уральского следопыта», где он трудился почти три десятка лет.

В каком бы редакционном помещении ни работал Виталий — в обширной ли общей комнате, уставленной столами сотрудников, или в отдельном, похожем на клетушку кабинета, его всегда окружали (осаждали!) посетители. Молодые авторы, жаждавшие увидеть свои опусы на страницах «Следопыта». Неугомонные «фэны» — деятели клубов любителей фантастики — громкоголосые, с «нездешним» блеском в глазах и с ворохом неотложных проблем космического характера. Гости из разных городов — от Владивостока до Бреста. Шумные, искренне уверенные, что Виталий Иванович Бугров рожден на свет исключительно для общения с ними. Это я пишу без осуждения. Все мы немного (а порой много) эгоисты.

И был вечный гомон вокруг него — тихого, улыбчивого, ни разу в жизни не повысившего голос, ни одному человеку не отказавшего во внимании...

А если вдруг никого не оказывалось вокруг, тут же длинной междугородной трелью взрывался бесцеремонный телефон...

И этот неистребимый табачный дым...

В первой половине восьмидесятых редакция «Уральского следопыта» находилась в самом центре Свердловска, в старом особняке, на задах монумента Владимиру Ильичу. А мы с Виталием оба жили на улице Белинского, недалеко друг от друга, но от редакции на весьма значительном удалении. И постепенно сложился у нас обычай летних прогулок.

В конце рабочего дня я приходил к Виталию, «изымал» его из тесного круга «фэнов» или почти насильно отдирали от телефона, и мы шли домой. Пешком.

Так было несколько лет подряд. Даже когда я переехал ближе к центру, а редакция — наоборот...

Мы выходили к плотине на проспекте Ленина, шагали через Исторический сквер, пересекали улицу Малышева и у моста спускались к Исети.

Здесь был свой мир. Журчание воды, цветы высокого иванчая и осота, переплетение полузаросших тропинок, кривые заборы, старые тополя, зеленые дворики, домишки и облупленные особняки начала прошлого века.

Мы брели то утонувшими в лебеде береговыми переулками, то над самой водой, где из травы торчали гранитные ступени — остатки канувших в прошлое зданий и набережных. А миллионный город оставался где-то за гранью беззаботной летней тишины.

Трещали крыльями стрекозы. Перекликались на отмелях мальчишки-рыболовы.

Мы поддерживали друг друга на крутых спусках и беседовали о том о сем.

Только не о фантастике!

Еще в начале пути мы строго договаривались не касаться этой темы. Потому что сколько можно об одном и том же! Так и свихнуться недолго!

Теперь кажется, что во время наших прогулок всегда стоял август — славная пора, когда летнее тепло уже непрочно и особенно ласково, а в воздухе почти неподвижно висят летучие семена.

Тихое это солнце и журчание реки навевали на нас лирическое настроение. Видимо, и у меня, и у Виталия жила в душе ностальгия по рекам нашего детства. Конечно, Исеть — не судоходная Тура, рядом с которой я провел свои школьные годы. И тем более — не могучий Иртыш, на берегу которого вырос Виталий. Но все-таки река. Несмотря даже на ошутимый запах промышленных отходов и торчащие из воды автомобильные шины.

Итак, мы шли над Исетью и не говорили о фантастике.

Что, неужели нам не о чем больше побеседовать? Слава

богу, за тридцать лет нашей дружбы всяких тем для воспоминаний накопилось немало.

...Мы познакомились в бревенчатом доме на улице Циолковского, где хозяйка баба Катя сдавала комнаты студентам. Виталий поселился там раньше меня. Потом, с направлением из хозчасти, пришел и я — обалдевший от радости (ура, зачислили!) будущий первокурсник отделения журналистики.

В просторной комнате с незастеленными кроватями было пусто. За окном, на плоской крыше какого-то строения охотился за воробьями поджарый рыжий кот — совсем как мой, оставшийся дома, в Тюмени. Чтобы не затосковать по родному крову, я не стал смотреть на кота, опустил глаза. На подоконнике лежала потрепанная книга — «Защита 240». Я знал, что это фантастическая повесть, но не читал. И теперь начал листать...

... — Извините. Когда вы посмотрите, я должен буду взять эту книгу...

За открытым окном стоял молодой человек весьма интеллигентного вида. Худой, в широких парусиновых брюках и ярко-желтой соломенной шляпе с черной лентой. В ту пору у мужчин была повальная мода на такие шляпы.

Я со вздохом протянул «Защиту»:

— Жаль. Давно хотел прочитать...

— Вам нравится фантастика?

— Ну разумеется!..

Слово за слово, и оказалось, что мы почти земляки...

Нам обоим, покинувшим привычные родные места, как было не проникнуться земляческой симпатией друг к другу!

Но главное все же не это. Главное — то, что оба мы считали своим и близким вымышленный мир Жюль Верна и Уэллса, Беляева и Грина, Ефремова и Циолковского. (Был пятьдесят шестой год; Стругацких, Брэдбери, Толкиена и многих других славных имен тогда мы еще не знали.)

— Если вам... если тебе эта книжка интересна, я оставлю. Я до занятий собираюсь съездить домой и хотел прихватить ее с собой, чтобы занести в картотеку.

Уже тогда Виталий вел картотеку фантастических произведений. В ту пору это было не так сложно, как после: советская и переводная фантастика была не очень-то богата. Но

все же где-то на втором курсе Виталий, я и наш друг Леня отметили тысячную карточку в этой Витиной библиографии. Хорошо отметили, с весельем и песнями собственного сочинения, которыми богат был наш «тройственный союз».

— Вить, а сейчас у тебя небось уже тысяч двадцать карточек-то?

— Где-то около... Ну и немудрено! Вон сколько новых имен! Не успеваешь читать. Только в этом году уже...

— Витя! Мы же договорились!

— Ох... Но ты же сам начал про картотеку.

— Я — про молодость... Слушай, а знаешь, как пахнет здесь трава? Как на аэродроме в Белоруссии, где мы видели генерала. Помнишь?

— А... Да! В Молодечно...

В начале шестидесятых мы с Виталием были в гостях у моего старшего брата — собкора минской газеты — и много колесили по дорогам Западной Белоруссии. Без особой цели, ради «познания окружающей действительности». И однажды решили полететь из Молодечно в Минск, к моему отцу.

Аэродром в Молодечно был патриархальный, с коровами в густой траве и дощатым диспетчерским домиком.

В тени этого домика, прямо в траве, прислонившись к стене, сидел генерал в фуражке с околышем небесного цвета и такими же лампасами. Дождался рейса и читал книжку. Нам показалось удивительно забавным, что генерал-майор авиации, которому полагается летать на грозных военных машинах, сидит тут и скромно ждет мирный аэрофлотовский «курузник».

Я сперва даже вознамерился снять эту сценку карманной кинокамерой. Но не решился. Вдруг этот генерал — засекреченный, как какой-нибудь военный объект. Доказывай потом, что ты не шпион...

Впрочем, едва ли генерал обратил бы внимание на аппарат. Он был увлечен книгой.

— Это был Брэдбери, — охотно вспоминает Виталий.

— Да. По-моему, «Вино из одуванчиков»...

— Ну, какое же «Вино»? Оно тогда еще не было напечатано! Это был «Четыреста пятьдесят один градус...».

Я не спорю. Виталию виднее. К тому же мы опять «съехали на старые рельсы». Я «перевожу стрелку»:

— Кстати, о вине... Отчего бы нам слегка не нарушить указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом? То есть наоборот, неплохо бы поспособствовать ему, уничтожив некую толику противозаконного зелья?

Виталий тут же откликается. Перефразирует слова из любимого нами романа братьев Стругацких:

— Отчего бы и не поспособствовать, если у благородных донов есть на то желание и возможность...

Мы усаживаемся на плоском камне, окруженном репейниковой чашей. Грозный указ — в самом разгаре действия, но здесь, в зарослях, мы укрыты от вездесущей общественности и от бдительных стражей правопорядка. Таинственность обстановки привносит в наше действие веселый, почти мальчишечий азарт. Один из «благородных донов» (это я) достает из пиджачного кармана плоскую стеклянную фляжку с пятизвездным зельем.

Мы делаем по маленькому (правда же, по маленькому, ритуальному) глотку. Над нами летают коричневые бабочки. Ползет по лопуху красно-черный жук-пожарник. Сидеть бы так и сидеть, не спешить. Ну, мы и не спешим...

Витя разглядывает фляжку. На ней пестрая этикетка с пиратской рожей и надписью «Родная морская». Ну прямо иллюстрация к флибустьерским песням, которые мы сочиняли в студенческие годы:

Где Наветренный пролив,
Бродят наши корабли.
Горизонт окутал мрак,
В небе реет черный флаг...

Но у наклейки более позднее происхождение. Ее нарисовал наш друг Евгений Иванович Пинаев — человек с внешнестью отставного боцмана, душой поэта и биографией бродячего живописца и моряка-парусника, просоленного океанскими ветрами.

Однажды объявилось у Жени этакое хобби — склонность к рисованию винных этикеток. Ну а будучи писателем и художником, Евгений Иванович скоро пришел к мысли о необходимости единства формы и содержания. Поэтому, наклеив

этикетку ликера «Слезы Билли Бонса» на соответственно подобранную бутылку экзотической формы, он тут же начинал думать, чем данный сосуд наполнить.

Как истинно творческая натура, Женя сам придумывал рецепты подходящих напитков и, как говорится, внедрял оные в жизнь. Но здесь возникала одна трудность. Сам изобретатель не принимал спиртного. Поэтому он давал дегустировать свои напитки друзьям. Друзья поначалу откликались охотно, не ведая последствий... Сам я, помню, двое суток лежал после знакомства с коньяком «Одноногий дьявол».

А наливка «Родная морская» однажды на целых полчаса ввела в столбнячное состояние экипаж крейсерской яхты «Фиолент». Во время плавания. Хорошо, что творец упомянутого напитка — сам профессионал-парусник: трезвыми руками он самолично взялся за штурвал...

Но это — сюжет для отдельного рассказа.

Теперь же во фляжке из-под упомянутой выше адской жидкости булькает довольно безобидная продукция грузинского «Самтреста». Однако воспоминание о случае на яхте переносит наши мысли в Севастополь...

— Витя, помнишь, как на херсонесском пляже, под большим колоколом, к нам подбирались пацаны-разведчики? Они увидели нашу камеру для подводной съемки и решили, что мы диверсанты.

— Ну да, это сперва решили. А потом-то мы с ними познакомились.

Один из мальчишек нашел в гальке золотистую жестяную крышку от банки и пускал зайчиков. И сказал, что это у него гиперболоид.

— А ты читал про гиперболоид? — оживился Виталий.

Оказалось, что мальчишка читал и про инженера Гарина, и про Аэлиту, и про путешествие из пушки на Луну, и про плавание подлодки «Пионер» через два океана. И что он вообще ужасно любит книжки с золотистой узорчатой рамкой на переплете. И ничего, если этот переплет обтрепан, а позолота облезла. «Такие даже интереснее...»

Так повстречали мы на древнем берегу Херсонеса маленького единомышленника. И запомнили...

Я думал об этом похожем на коричневого кузнечика пацаненке с солнечным зайчиком в руках, когда писал грустную повесть-сказку «Дырчатая луна».

Виталий не прочитал эту повесть. Новенькую книжку с «Дырчатой луной» я подарил его внуку, когда пришел домой к Бугровым, чтобы отметить печальную дату — девятый день...

Не хочется писать о смерти. Тем более что ее, скорее всего, и нет. Когда у Виталия во сне остановилась изношенная от постоянной работы, от перегрузок сердечная мышца, душа его наконец свободно рванулась в дальние галактические края. В те миры, которые он в земной своей жизни учил нас чувствовать, описывать и постигать. Так мне хочется думать. На это я надеюсь. И на будущую встречу...

С такой мыслью легче жить. Но все же обидно, что все случилось так непредсказуемо. И рано. Столько надо было еще сделать, столько успеть. И ведь не старики же еще, хотя, конечно, и не юноши. Хотелось вместе дотянуть до начала нового тысячелетия, заглянуть: каким оно будет?

Впрочем, я думаю, сейчас Виталию известны такие тайны мироздания, о которых мы не можем и помыслить.

Он ушел к этим тайнам, а оболочку его приняла в себя родная планета Земля. И оказала своему сыну последнюю честь: когда насыпали глинистый холмик, вокруг над вековыми березами и соснами гремела гроза и свисали с туч сизые космы ливня, но ни одна капля не упала на собравшихся. А на цветы, покрывшие рыжую глину, сквозь разрыв в тучах светило влажное сверкающее солнце...

Дней за десять до этого печального дня мы с Виталием сидели у меня дома и обсуждали совместную статью, которую собирались писать для белорусского журнала. И говорили еще о многом.

— Витя, скоро ведь сорок лет, как познакомились...

— Да, бежит времечко.

— Слушай, а я наконец сочинил свои «мемуары» о нашем студенческом житье-бытье. Называются «Битанго». «Екатеринбургская неделя» обещает напечатать отрывок. Как раз про наши «караибские» вечера.

— Ты побереги для меня экземпляр...

Потом я пошел провожать Виталия до троллейбуса. Не хотелось расставаться. Может, чувствовал что-то? Да нет, ничего... Мы вместе доехали до остановки, где была пересадка. Там он из троллейбусной двери помахал рукой...

Потом через несколько дней был еще телефонный разговор:

— Когда займемся статьей, Витя?

— На той неделе... Не забудь про газету с «мемуарами»...

Газета с отрывками из повести «Битанго» вышла в пятницу, 24 июня девяносто четвертого года. С рассказом про наши песни об ураганах, абордажах и грозящем нам смертном часе — хотя по правде-то смертный час «виделся нам где-то за бесконечностью».

И у бесконечности бывает конец. Виталий не успел прочитать эту газету. Утром того дня он не проснулся. Бывают такие вот горькие совпадения.

...Конечно, я понимаю, что в моих записках мало существенного. Но о Виталии Ивановиче Бугрове — редакторе, библиографе, писателе, великом знатоке фантастики, о друге и наставнике молодых авторов, о человеке, сумевшем объединить множество тех, кто предан «звездной литературе», будет еще писать не раз.

А я — о Вите, с которым мы были рядом почти четыре десятка лет, целую жизнь. И поссорились всего два раза. Оба раза — из-за начинающих писателей-фантастов. Я говорил: надо печатать, а он — не надо. Были у него на то веские причины редакторского свойства. Там, где дело касалось литературы, мягкий интеллигентный Виталий Иванович был бескомпромиссен. Один раз я его все же убедил, второй — нет. Впрочем, это никак не отразилось на нашей дружбе. В конце концов, бывает, что и братья ссорятся. А Витя был как брат, это уж точно.

Но сколько же горького в этом «был». И пусто мне без Вити на этой планете.

И вот, чтобы утешить себя, я вспоминаю, как мы идем заросшими тропинками над Исетью. И висят над нами пушистые летучие семена...

**ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО
НА ГРАНИЦЕ ТЬМЫ**

Лунные истории

1

Многое в жизни из того, что я задумывал, не сбылось. Впрочем, так, наверное, у большинства людей... Очень многое не сбылось. Но какой смысл жаловаться на судьбу? Впервые, чаще всего сам был виноват, а во-вторых... кое-что все-таки исполнилось.

Прежде всего — о главном. С детства я мечтал писать книжки, и вот — пишу. Хорошо или плохо, не мне судить. Но раз их читают, значит, что-то получается...

С самых ранних лет я хотел, чтобы рядом со мной всегда был отряд влюбленных в море и паруса друзей-мальчишек — таких, для которых я и стал сочинять свои рассказы и повести. Как хотел, так и вышло. Больше тридцати лет я командовал отрядом юных моряков и мушкетеров. И не было у меня товарищей вернее, чем эти ребята.

Годы были беспокойные, суматошные, стремительные и часто тревожные. Но я об этом не жалею. Не жалею и о том, что в жизненной круговерти не нажил богатства. Да и не мечтал об этом.

Но вот чего мне хотелось со студенческих бездомных времен: чтобы когда-нибудь появилась у меня своя комната. Рабочий кабинет. И чтобы там было много интересных книг. В том числе и старинных, редких, в потрескавшейся коже тяжелых переплетов. Таких книг, где рассказывается о давних плаваниях к далеким берегам. А еще — чтобы в комнате этой висели картины с морем и парусами. И желтые от времени, пятнистые от соленых брызг морские карты. И чтобы тикали в тишине корабельные часы. И блестели бы тусклым металлом штурманские инструменты. И стояла бы крупная, мастерски сделанная модель парусного корабля!

Теперь такая комната у меня есть. И метровая модель голландского флейта «Арабелла» стоит на широком подоконнике. Кстати, флейт — это нечто среднее между старинным га-

лионом и фрегатом. Его построил мой хороший знакомый, Георгий Александрович Архипов. Он много лет был флотским офицером, а после отставки учил ребят мастерить модели...

Окно в моей комнате смотрит на запад с небольшим отклонением к югу. Выражаясь по-морскому, на вест-теньзюйд.

По вечерам, когда я лежу на диване (а я люблю лежать на диване и не боюсь в этом признаться), «Арабелла» целиком видна на фоне позднего неба.

Небо, в зависимости от погоды и календаря, бывает разным. Летом — светлое, с негаснущим закатом, осенью и весной — черное, с блестящими гвоздиками звезд и дрожащим огоньком Юпитера. Зимой — чаще всего тускло-серое, с холодной дымкой, в которой растворяется отражение снега и городских огней.

Иногда «Арабелла» белеет на фоне ночного сумрака или пасмурных туч. А порой флейт со всем своим кружевом рангоута и такелажа темнеет на розовых, просвеченных закатным солнцем облаках...

Больше всего мне нравится чистое небо весны и лета, в котором переливается Венера. Стеньги и реи, ванты и штаги «Арабеллы» чернеют особым «приключенческим» узором, в который, кажется, вплетены целые сюжеты Стивенсона и Конрада.

В такие моменты я мысленно отбрасываю переплет рамы — чтобы не мешал — и представляю, что корабль большой и настоящий. Будто он зашел в тихую бухту какого-то острова и отдыхает после штормового пути.

Мне вспоминаются стихи, которые я сочинял в десятом классе и записывал в тетрадку с нарисованным на синей бумажной обложке клипером:

Преодолев два океана,
Фрегат наш отдал якоря.
Над бухтою Араукана
Сгорает поздняя заря.
Вода блестит, как грань кристалла,
И тихо, как в ночной степи.
И вахта наша так устала,
Что вопреки уставу спит...

Вахта на «Арабелле», видимо, и вправду спит. И, пользуясь этим, пробирается на корабль незванный посетитель.

Он слишком хитер, чтобы двигаться по палубе. Он крадется по рангоуту и снастям. Сначала, появившись из-за отвесной скалы (кромки окна), он усаживается на левом ноке формарса-рея. Потом, путаясь в топенантах, перебирается на правый нок и оттуда по булинам, по наклонному грот-стень-штагу начинает ползти к салингу грот-мачты. Осторожно ползет, с остановками, чтобы перевести дыхание и оглянуться...

Это желтый тоненький месяц. Месяц-мальчишка. Он и ведет себя, как замирающий от любопытства третьеклассник. Начитался Жюль Верна и теперь проник на корабль, чтобы вдохнуть запах просмоленных тросов и продутой океанскими ветрами парусины.

Ему и боязно, и страсть как интересно. Только бы никто не заметил... Если сейчас закричат (как спящий на палубе матрос) или громко кашляют — ух как стрельнет он прочь! Спрячется за кромку утеса или вон за то волокнистое облачко. И будет долго сидеть там с колотящимся сердцем. А потом не выдержит, выглянет...

Но я не буду пугать любопытного месячка. И он это знает. Потому что, по правде говоря, все это игра. Мы заняты ей уже не первый раз. Ведь каждые четыре недели, в пору новолуния, маленький месяц появляется у меня в окне и мы встречаемся, как давние приятели. Потому что такие мы и есть.

Нам хорошо друг с другом...

Путь через чашу корабельных снастей занимает у месяца немало времени. Но вот наконец, посидев на кормовом флагштоке, месяц прыгает с клотика и повисает в пустоте (мне кажется даже, что при этом он дурашливо дрыгает невидимыми ножками).

Я выставляю перед собой растопыренную ладонь, и месяц присаживается сначала на мой мизинец, потом на безымянный палец и так далее. Я шевелю головой и рукой, месяц прыгает с пальца на палец и (чудится мне) тихонько переливчато смеется. Я кладу на левое поднятое колено правую ступ-

ню, чтобы месяц мог отдохнуть у меня на большом пальце ноги. И он отдыхает. Но потом соскальзывает и крадется вправо. Я ловлю его в колечко из пальцев. Месячок делает вид, что испугался, но потом с насмешливым хихиканьем ускользает опять.

И все ближе, ближе к правому краю окна...

Ничего не подделаешь. Мы притворяемся самостоятельными и свободными, а на самом деле живем в неуклонном подчинении космическим законам, которые двигают и время, и небесные тела, и людей.

— До завтра, малыш.

Вообще-то я знаю, что это совсем не малыш, а круглая ноздреватая громадная Луна. Однако есть у нее волшебная возможность — через каждые двадцать девять суток превращаться в ребятенка. Я отчаянно завидую: вот бы мне так! Ну, пусть не раз в четыре недели, а хотя бы раз в году! Пусть не на несколько дней, а на пару часов! Чтобы сбросить груз хворей и унылых взрослых забот, пробежаться по заросшим лютиками переулкам, по лебеде и белоцвету солнечных пустырей, с разбега бесстрашно окунуться в речную глубину и ощутить себя легким, вольным, н а с т о я щ и м.

Увы, я могу теперь делать это только в сказках, которые сочиняю для нынешних мальчишек и девчонок. Тоже неплохо, конечно. Иногда кажется, что и по правде стал десятилетним. Но все-таки, все-таки...

Месяц пропал за краем шторы. Завтра, послезавтра он будет появляться снова, а затем располнеет и станет светить уже в другой части неба.

Полная луна поднимается на востоке, из моего окна вечером ее не видать. Но бывает, что во второй половине ночи я просыпаюсь и вижу, как сквозь оснастку «Арабеллы» бьют голубоватые лучи. Вся комната ими освещена. Блестит позолота на корешках книг. Дрожат зайчики на медных кольцах компасов и подзорных труб. Сияет блик на лаке звездного глобуса. А на полу — растянувшийся отпечаток парусного корабля.

Я слышал от разных людей, что яркий лунный свет вызывает у них тревогу, чувство незащитности. И что он даже вреден для здоровья. Не знаю. У меня не так. Я люблю полную свежую луну. Мне кажется, что свет ее добрый, что есть в нем

радостное волшебство и даже особое, чуть осязаемое ласковое тепло.

Яркий пятнисто-белый шар выкатывается из-за кромки грот-марсея.

— Привет, красавица, — шепотом говорю я. Луна всю улыбається знакомым, совершенно человеческим лицом.

Когда мы познакомились, она сияла так же.

Мое первое воспоминание о луне уходит в ту пору детства, где сны, сказки и явь сплетены в один хрупкий узор. Опасно что-то трогать, разделять, выяснять — хитрый рисунок рассыплется и сотрется в памяти...

Мне было, видимо, около двух лет. Стояла зима (искрились на стеклах веточки мороза). Несмотря на это, мама, папа и я спали на полу. Позже я слышал объяснение, что старинная ковкая кровать родителей в ту пору требовала ремонта и пришлось класть матрасы прямо на пол. А моя плетеная люлька-коляска в ту пору стала мне мала, поэтому мама укладывала меня с собой.

То, что мы лежали именно на полу, помню отчетливо. Окно виднелось в непривычном ракурсе — высоко надо мной. В нем я различал на фоне зеленоватого, с бегучими облаками неба голые ветки тополя и верхнюю часть ворот со столбом, украшенным снеговой шапкой.

Все это я видел сквозь дрему. Дрема была необычная. В ней присутствовало ожидание неизбежного и неприятного события. Скоро здесь, в сумраке, появится сосед дядя Рича (Ричард Васильевич). Он придет, чтобы съесть меня.

Непонятно, откуда я это знал. Но знал точно. Кем-то было это назначено, предсказано, обусловлено с такой обязательностью, что не имело смысла сопротивляться, прятаться и хныкать. Не имело смысла даже бояться. Поэтому страха у меня не было, хотя я понимал, что после съедения перестану существовать. Никуда от этого не денешься. И я ждал дядю Ричу с той же зябкой покорностью, с какой обычно ждал вызванного на дом врача. Врач — это неизбежная тетенька в белом халате, которая будет тебя раздевать, ощупывать, прижимать к голому телу холодную твердую штуку с длинными ре-

зиновыми жгутами. И все это нехорошо, неловко, но спорить бесполезно. И реветь бесполезно...

Надо сказать, что сосед дядя Рича вовсе не был злодеем. Наоборот, это был добрейший человек. Правда, внешность у него была странноватая. Дядя Рича ходил на костылях, а сквозь потертый пиджак у него на спине выпирал острый горб. Болезнь ног и горб появились у него в детстве, когда он сильно разбился на катке. Несмотря на такую дяди-Ричину внешность, я его ничуть не боялся. И он ко мне относился прекрасно. Часто звал в гости, в свою комнату, где полно было всяких светящихся и гудящих штук. Дядя Рича работал на радиостанции, а дома ремонтировал и мастерил аппаратуру. В то военное время иметь приемники запрещалось, но у дяди Ричи было, видимо, особое разрешение. В комнате у него восхитительно пахло горелыми проводами и канифолью от паяльника. Правда, порою из таинственных аппаратов летели такие трескучие разряды, что я спешил улизнуть домой. И все же у дяди Ричи было интересно...

В том, что он должен меня съесть, дядя Рича был не виноват. Непонятная сила, которая предназначила мне такой конец, с той же властью определила дядю Ричу в людоеды. Это от него ничуть не зависело. Я на дядю Ричу не обижался и был даже доволен, что съест меня именно он. С незнакомым иметь дело было бы гораздо неприятнее.

Мама и папа, кажется, даже не догадывались о том, что скоро произойдет. Пошептались и уснули. И я притворился, что сплю. Может, спящего дядя Рича есть не станет? Но понимал, что надежда эта беспочвенна.

И вот дядя Рича бесшумно проскользнул в щель приоткрытой двери. На четвереньках. Словно тень громадного паука. Ох... все-таки немного страшно.

Он посопел, повздыхал, устраиваясь рядом со мной, прилаживаясь... И вот откусил у меня бок.

Было совсем не больно. Словно тело мое стало мягкой глиной и от этой глины отхватили кусок круглыми деревянными щипцами. Я хныкнул, но еле слышно, для порядка.

— Тихо, тихо... — прошептал дядя Рича и съел мое плечо. Вместе с рукой. Потом другое плечо. Ногу...

Я ощущал в себе нарастающую легкость и... нарастающий

страх. Потому что понял: ведь вот-вот он съест и мою голову. И тогда я перестану видеть, слышать, дышать... Перестану быть!

Не хочу я! С какой стати?! В конце концов, я не его, не дяди-Ричин, а мамин и папин! Почему они спят и не прогонят дядю Ричу? Это и не он вовсе, а незнакомое чудовище!

Я заколотил бы руками и ногами, но они были уже съедены. И оставалось только завопить во весь голос!

Но крика не получилось. Потому что не было уже груди, в которую набирают воздух. Я беззвучно открывал рот, и мама с папой не слышали меня.

Зато мой беззвучный крик, мой ужас услышала... луна!

Да-да, она услышала! Стремительно выскочила из бегучей тучи и засияла изо всех сил! С такой пронзительной яркостью, что дядя Рича (или не он, а чудовище?) моментально исчез. И у меня опять появилось тело. И я радостно задергал ногами-руками. Так, что мама сонно сказала:

— Не егози, спи, пожалуйста...

Я затих, но спать не стал. Я смотрел на луну. Она была высоко надо мной, и я видел ее потому, что лежал на полу. Навзничь. Я благодарно улыбался луне, а она смеялась. И я впервые тогда увидел, что лицо у нее — как у человека.

Лунные лучи высвечивали всю комнату — словно голубое солнце, и не осталось тут места ни для каких ночных страхов.

С этим ощущением тихого веселья и полной безопасности я и уснул.

С той поры в течение нескольких лет (пока мы жили в доме на улице Герцена) у меня в зимние вечера было любимое занятие: сидеть у окошка и смотреть на круглую луну.

Безоблачное небо при полнолунии было темно-зеленым, а луна казалась маленькой, как мячик, но удивительно яркой.

Я не только любовался луной. Я еще и... что? Играл? Нет, дело было серьезнее, чем игра. Этакое тихое колдовство с замиранием в душе. И с опасением, что поступаю я, кажется, не совсем честно. Ведь я втягивал луну в странные события, не спросив ее согласия. Но очень уж хотелось... Короче говоря, я переселял луну к себе домой.

Вот как это происходило. Я с минуту пристально смотрел на белый, сияющий в высоте шарик, потом быстро переводил взгляд в темный угол. Четкий (только уже не белый, а зеленый) отпечаток ночного светила оставался у меня в глазах и повисал на фоне бугристой потрескавшейся штукатурки. Это была все та же луна. Только висела она не в далеком небе, а здесь, в двух шагах от меня, и потому казалась величиной не с мячик, а с рыбью чешуйку.

Я не удивлялся такому превращению. Мне давно было известно, что вещи большие, но далекие кажутся маленькими, хотя, конечно, я не слышал таких выражений, как «оптический эффект» и «угловое зрение». Мало того, я в свои три-четыре года (а возможно, и позже) был уверен, что предмет, который удаляется от меня, делается меньше не только в моих глазах, но и на самом деле. А если приближается, то по правде растет. Например, кобыла Зорька, которая привозила в соседний магазин («хлебный распределитель», как тогда говорили) фанерный фургончик с буханками, была сперва размером с котенка — когда показывалась в конце квартала. А потом росла, росла. Это вырастание было, безусловно, результатом движения — по направлению ко мне. И на движение требовалось время...

А если далекий предмет перенести к себе вплотную мгновенно? Я догадывался, чувствовал, верил, что тогда он не успеет вырасти! Самолет, летящий под облаками, окажется размером с галку — таким, каким видится с земли. И его можно будет подержать в ладонях (что я и проделал потом в одной из своих сказок). Кобыла Зорька — живая, но крошечная — будет катать свою повозку по столу (хотя, конечно, жаль, что буханки уменьшатся тоже).

А белую башню-колокольню, которая виднелась над забором, я мог бы поставить на подоконник и выстроить вокруг нее город из кусочков кирпича, костяшек домино и кубиков...

Думаю, что это было детское, инстинктивное нащупывание каких-то космических закономерностей, вроде теории относительности. Возможно, между детскими фантазиями и парадоксами многомерных пространств существует что-то общее.

К сожалению, я не знал способа мгновенно перемещать предметы в пространстве (и не знаю до сих пор). Но мысленно-то я это делать мог!

Про мое воображение взрослые говорили:

— Оно у этого ребенка совершенно необузданное!

Порою сам я не мог отличить, где выдумка, а где правда. Впрочем, наверно, любой, кто помнит свое детство, может сказать про себя то же самое.

И я строил на подоконнике город с колокольной и перенесенными из дальних кварталов домиками. Распрягал на столе и кормил хлебными крошками ласковую губастую Зорьку. Выпускал из ладоней жужжащие, с тонкими крыльями и колесами-лапками самолетики.

Таким же образом я добыл себе замечательную игрушку — маленький, но настоящий мотоцикл.

Этот мотоцикл кто-то ненадолго оставил у нас на дворе, у калитки, и я взглядом перенес его на подоконник. И здесь он сделался размером с электрический уют, стоявший тут же.

Я взял этот мотоцикл — черный, лаковый, с блестящими никелированными выхлопными трубами, тугими рубчатыми шинами (каждая величиной с калач-сушку, которые мама иногда получала по каким-то дополнительным талонам). Был мотоцикл тяжелый, от него пахло эмалевой краской и резиной.

Я долго и радостно играл с ним на теплых от солнца половицах, а потом поставил на этажерку — рядом с ватным Дедом Морозом и темно-зеленым керамическим пограничником.

Никто из взрослых мотоцикл не замечал, но я-то видел его всегда. Все лето и осень. Только перед Новым годом мотоцикл исчез. Вместе с Дедом Морозом. Я подозревал, что сказочный дед укатил на мотоцикле в свой заснеженный лес готовить новогодний праздник...

Но я отвлекся. Я ведь начал рассказывать о крошечной луне, перенесенной с зимнего неба в комнату.

Я понимал, что вижу световой отпечаток, но в то же время всей душой верил — это настоящая луна. Та же самая, что в небе. Не такая же, а именно та самая.

Пока лунная чешуйка в глазах не потускнела, я «поселял» ее в каком-нибудь укромном уголке: в щели на штукатурке, в

углу с паутиной или за картиной, изображавшей двух охотничьих собак.

Устроив на жительство одну луну-малютку, я добывал с неба другую, третью, четвертую... И в конце концов оказалось, что много маленьких лун живет в тайных закутках нашей комнаты.

Да, их было не меньше двух десятков, и в то же время — я отчетливо осознавал это — они были одной лунной. Той самой, что светила в небе. Здесь, видимо, опять просыпалась в детском сознании догадка о диалектичности мира. О том, что один предмет может существовать в разных пространствах и во множестве всяких вариантов...

Поселившись в комнате, эти луны-чешуйки старались потом не попадаться мне на глаза, хитро прятались. Но я знал: стоит всем заснуть, как они выбираются на потолок и устраивают иллюминацию.

А днем они иногда шебуршали в щелях, за картиной и среди занавесок, будто всякие сверчки-тараканы. Перешептывались. И не только между собой, но и с другими жильцами укромных уголков. С усатым черным жуком, живущим за печкой (я его слегка боялся). С бумажным голубем, улетевшим на верхний выступ дымохода и прижившимся там. С заскочившими на карниз солнечными бликами. С рыжим пятном на штукатурке — оно было похоже на котенка, вылизывающего лапу. А чаще всего — с разноцветной буквой Э.

Об этой букве особая речь.

К трем годам я уже знал весь алфавит, и буква «Э» нравилась мне больше других. Своим характером нравилась. Была она почти что Е, но наоборот. И эта наоборотистость в ней ощущалась постоянно: в том, как она высовывает язык и поддразнивает всех: «Э-э-э...» Меня роднило с буквой «Э» то, что я так же дразнил иногда старших брата и сестру и соседа Лешку Шалимова — племянника дяди Ричи.

Та буква, которая жила у нас в доме, родилась на свет из стекла и солнечного луча.

На этажерке (рядом с пограничником) стояла прозрачная коробочка без крышки. Этакая безделушка. Углы и ножки у

нее были медные, а стенки из толстого стекла со скошенными краями. Эти скосы как бы образовывали грани кристалла. Я любил разглядывать сквозь коробочку все окружающее. Мир делался зыбким, разбивался на многослойные картинки, окруженные радужным ореолом. Сплошная сказка!..

Интересно было и ловить стеклянной коробочкой солнце. Сидишь на подоконнике и пускаешь по комнате зайчиков. Зайчики тоже получались разноцветные, радужные. Стайками носились вокруг лампочки, по застекленному портрету писателя Фурманова, по коврику с лебедями и балеринами, что висел над кроватью моей сестры Людмилы. Плясали на круглой печке, отпрыгивали от никелированного чайника и забытой на столе фаянсовой сахарницы.

Однажды среди этих зайчиков и появилась буква «Э». То же летучая, многоцветная, размером с мою ладонь. С острым трепещущим язычком. Я засмеялся, прыгнул с подоконника. Зайчики мигом пропали, буква «Э» тоже. Но не так быстро, как зайчики. Задержалась чуть-чуть, словно поджидала меня. Я подбежал к стене, но буква «Э» скользнула под коврик. А дальше... Дальше — то ли было это на самом деле, то ли почудилось — буква «Э» принялась, как бабочка, носиться по комнате, по кухне, по коридору. Я за ней — то со смехом, то с замиранием сердца. Она пряталась, я заглядывал в углы, за двери, под одежду на вешалке.

— Что ты носишься как угорелый! — возмущалась моя старшая сестра. Она любила меня, но считала своим долгом воспитывать.

— Я ищу!

— Что ищешь?

— Э-э!..

— Вот я скажу маме, что ты опять дразнишься!

— Да не дразнюсь я! Правда, Э-э!

— Давно не стоял в углу?

Вот и объясни что-нибудь им, большим!

Иногда, например, оказывалось, что наша главная комната, и проходная комнатка, где жил дядя Боря, и длинная кухня с русской печью — это станции метро. Я видел метро на картинках и был уверен, что оно все состоит из красивых, вытянутых в длину станций, которые переходят одна в другую.

И вот в такой «метровский» коридор превращалась внутренность нашего дома.

— Что тебя гоняет нелегкая туда-сюда? Не можешь посидеть на одном месте!

А я, конечно, не мог. Я был головной вагон подземного поезда и с пыхтением (чуф-чуф-чуф), с топотом и дерганьем локтями рысцой двигался взад-вперед — от стены с висячим зеркалом до двери, ведущей в холодные сени. И совершенно отчетливо видел над головой овальные светящиеся плафоны станции-туннеля.

А взрослые не видели...

Да, играть в такие игры было удобнее, когда все уходило на работу и в школу для старших, которая называлась «техникум». Оставшись один, я мог быть и поездом, и самолетом, и стальным непобедимым танком... И охотиться за буквой «Э»!

Эх, каким весельем и азартом брызгала эта игра! Буква «Э» летала, прыгала, плясала у меня под носом, удирали от погоны, потом опять крутилась у самых рук. Иногда мне удавалось накрыть ее ладонью, и я даже чувствовал кожей живое шекотанье. Но тут же буква «Э» ускользала и пряталась в недоступной щели.

...Потом игры стали реже. Но буква «Э» меня не забывала. Случалось, что усаживалась на потолке или косяке и часами наблюдала за мной: как играю, как читаю, как сижу у окошка и думаю про жизнь.

Потом эта радужная моя подружка исчезла неизвестно куда. Но помнил я ее лет до семи, до школы. Затем забыл. И вспомнил года через четыре — увидавши сказочный сон.

Это было начало то ли сорок девятого, то ли пятидесятого года. Я жил тогда на улице Нагорной. Улица была вполне деревенская, тянулась по краю глубокого лога, на дне которого журчала речка Тюменка. Стоял хрустящий, с запахом уютного печного дыма январь.

Отшумели уже новогодние утренники и домашние рождественские посиделки, закончились каникулы. Но праздник не ушел совсем. Кое-где в освещенных окнах по-прежнему видны были украшенные елки. Взрослые поговаривали, что

неплохо было бы отметить и старый Новый год. А за ним вскоре — Крещение. «Святки-то ишло не кончились», — говорила тетя Тася, хозяйка дома, где мы снимали две комнаты. Она, тетя Тася, знала и чтит все церковные праздники и соблюдала все приметы. Перед Рождеством, когда, как известно еще из Гоголя, носится по улицам нечистая сила, тетя Тася чертила угольком на карнизах окна крестики — чтобы никакие бесы, ведьмы и прочие обитатели преисподней не просочились в дом и не испортили праздник. Мама, я и даже отчим с увлечением ей помогали.

О том, что Святки еще не кончились, вспомнил однажды и Шурка Куншер, мой тогдашний приятель. Это был сын адвоката, с которым дружил отчим. Однажды отчим взял меня к Куншерам в гости, там я и подружился с Шуркой и его двоюродным братом Вадимом. Вадим был на год старше меня, очень рассудительный. Шурка — на год меня младше, вполне интеллигентное дитя, но в то же время — этакий веснушчатый бесенок. Он-то и предложил мне и Вадиму однажды вечером пойти по домам «славить». Или, выражаясь по-гоголевски, колядовать.

В те времена городская окраина Затюменка во многом жила еще старыми деревенскими обычаями, тридцать три года революционной власти не смогли искоренить их совсем. И в моей душе традиции Рождества, Вербного воскресенья и Пасхи вполне уживались с героическим сознанием юного барабанщика. Так что никаких идеологических сомнений у меня не возникло. Я только сказал:

— Вроде бы уже не время, Рождество-то прошло.

Но Шурка почти что словами тети Таси возразил:

— Святки еще не кончились. Значит, имеем право.

То, что соблюдение православных обычаев Шурке Куншеру вроде бы не к лицу, не пришло в голову никому — ни самому инициатору этого дела, ни мне с Вадимом.

— Идем! — решил Вадим.

Я малость колебался — из-за своей стеснительности, — но и отступить было неловко.

Шурка облачился в какой-то овчинный малахай и глубокий черный колпак с прорезьями для глаз. Вадим надел картонную маску зайца и поверх пальто разношенный отцов-

ский свитер. Я пошел без всякого маскарада, потому что здесь, на Ямской, в десяти кварталах от моего дома, едва ли могли встретиться знакомые.

Вадим взял с собой балалайку. Играть он не умел, только отбивал на струнах ритм, когда мы исполняли свой единственный концертный номер. К старым обрядам этот номер отношения не имел. Мы вдохновенно голосили:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед!..

В трех домах нас встретили вполне доброжелательно. С пониманием, так сказать. В четвертом мы, как выразился Вадим, «накололись».

Хозяин был вроде ничего, добродушный такой дядька в залатанной гимнастерке. Но вместе с ним оказалась тетка с оч-чень строгим характером. Худосочная, носатая, похожая на вредную бухгалтершу в конторе отчима.

Нет, она не ругала нас, узнав о цели визита. Но сперва попыталась выяснить наши фамилии, а потом принялась объяснять, какой непоправимый вред наносят религиозные праздники делу социалистического строительства и успешному завершению послевоенной пятилетки. Время от времени она прерывала лекцию и задумчиво обращалась к хозяину:

— Интересно, чьи это все-таки дети? Ну, мальчик без маски — он не здешний. А у этих двоих голоса, по-моему, знакомые...

— А хрен их знает, — доброжелательно отзывался дядька в гимнастерке. — Пацаны, а «Каховку» вы петь умеете?

Нам, однако, было не до «Каховки». Рвануть бы! Но не хватало решимости. Вернее, общей договоренности, чтобы враз. Мы топтались на кухне и что-то мямлили.

— А родители знают о таком вашем развлечении?

— Не, мы сами, — пробубнил я.

— Вы должны чистосердечно рассказать им про все. И обещать, что больше так поступать не станете.

Мы закивали — так, мол, и сделаем — и спиной вперед выкатились из дома.

На улице Шурик выдохнул:

— Это жена Андрея Мироновича, папиного знакомого. Какая холера занесла ее сюда? Она живет на улице Семакова.

— Думаешь, не узнала тебя? — спросил я.

— Шиш ей!

— Пора заканчивать гастроли, — решил Вадим. — И так вон чего насобирали...

В трех предыдущих домах нас одарили двумя пригоршнями карамели, кульком печенья и куском свежего рыбного пирога.

Сейчас мы топали по скрипучей, синей от сумерек улице, сосали карамель и зажевывали пирогом с нельмой. Настроение опять круто пошло вверх. Через пять минут мы уже хохотали, вспоминая носатую «лекторшу». Вадим балалайкой сшибал с веток рябин густую изморозь, балалайка весело гудела.

В конце улицы светился розовый закат, а над ним висел рогатый месяц.

— Домой пора, — вздохнул я.

— Ну, пока...

Но ощущения, что день закончен, у меня не было. Сейчас приду домой, схвачу санки и побегу кататься в лог. Там на склонах много знакомых мальчишек и девчонок. В том числе и Ленка из соседнего дома, у которой всегда выбиваются из-под шапки бело-золотистые волосы. Я ее звал «Цаца-Ляга». Это не обидное прозвище. Скорее наоборот: сокращенное от «Царевна-Лягушка»...

Так все и было в тот вечер! Я катался, пока штаны не покрылись на коленках ледяной коркой. А месяц поднялся высоко над крышами и светил очень ярко. Когда я шел домой и волок за собой санки, окошки светились, как на рождественских открытках, которые в сорок пятом году присылал мне из Германии отец. И сугробы мерцали под светом месяца. И пахло дымом из труб. А дома ждал ужин: восхитительная вареная картошка — горячая, но с ледяной приправой из тертого мороженого молока.

А еще ждала книжка из серии «Библиотека приключений», с потершейся позолотой рамки на переплете — «Затерянный мир»...

А когда я наконец уснул на своем широком сундуке, укрытый поверх одеяла маминым старым пальто, мне и приснился

тот сон. Я снова видел нашу улицу Нагорную, но она была не такая. Более сказочно светились окошки. Более празднично искрились крыши и сугробы. Посреди дороги была сделана гора, ребята съезжали с нее на санях и долго мчались по накатанным колеям — в дальний конец улицы. А там, в зеленом небе, низко над печными трубами с дымом, похожим на кошачьи хвосты, как раз и горел тот волшебный месяц.

Такой, какого наяву никогда не бывает.

Во-первых, он был громадный. В сто или в тыщу раз больше обычного. Во-вторых, он был живой!

Нет-нет, ни пухлогубого рта, ни хитрого глаза под нависшей бровью у этого месяца не было. Но острый кончик нижнего рога у него шевелился. Месяц словно поддразнивал нас — не обидно, а для веселья.

А еще был у месяца нос. Не привычный нос-валенок с разлапистой ноздрей, а... что-то необычное. Нос был похож на большущую рукоятку от деревянной толкушки, которой растирают картофельное пюре. Такой же длинный, с набалдашником, с точеными ободками. Он торчал точно посередине золотой лунной дуги. И все вместе это было как буква «Э»!

Я не очень удивился, но ужасно обрадовался! Сразу вспомнил и узнал подружку своего дошкольного детства. Буква перестала быть радужной, сделалась желтосветящейся, несказанно выросла, но все равно это была она!

С ощущением вновь обретенной сказки я и катался с горы в течение всего длинного сна.

Да и сон ли это был? Может быть, просто продолжение того славного январского вечера? Может быть, и в самом деле есть где-то мир с такой вот ласково заснеженной улицей, над которой светит яркий месяц — громадина с золоченым носом-рукояткой?

По правде говоря, я знаю, что есть...

2

Я уже упоминал, что в памяти о раннем детстве действительность перемешана со сказками. Явь — с удивительными снами. Порой сны эти помнятся ярче реальных событий и

будней. И теперь я думаю иногда: «А может, это и в самом деле было?»

Может, и правда я однажды гладил поверхность Луны руками? (Здесь я пишу «Луна» с большой буквы, потому что речь идет не просто о светиле, а как бы о космическом объекте.)

Луна в тот момент представляла плоский, стоящий вертикально круг высотой с двухэтажный дом. Круг этот располагался в темном пустом (но не страшном) пространстве. Сделан он был, судя по всему, из пергаментной бумаги, натянутой на громадный обруч. У нижней кромки обруча торчал балкончик. Узкий, с перильцами из металлических трубок — словно на пароходе, который я видел в кино.

Вот на этом балкончике я и очутился. И твердо знал, что я — рядом с самой настоящей Луной, хотя она и оказалась немногим не такой, как виделась снизу, из нашего окна.

Я ласково и осторожно, с ощущением сбывшейся сказки, касался Луны ладонью. Сухая слабо натянутая бумага прогибалась и похрустывала. Круг Луны излучал фосфорические лучи. То ли его просвечивали насквозь невидимые лампы, то ли он светился сам по себе.

Свечение это напоминало об экране в таинственной мгле кинозала. Конечно, о черно-белом (про цветное кино я тогда даже не слышал). Только сероватые тени лунного диска были неподвижны. А в его свете была чуть ощутимая снисходительная доброта.

Я не знал, как оказался здесь, на высоте. И нимало не тревожился о том, как попаду домой. Единственным чувством было, пожалуй, спокойное счастье — от того, что мечта исполнилась: я на Луне. Балкончик — он ведь тоже часть Луны. И не было никакого сомнения, что все это — на самом деле. Потому что вполне по-настоящему лицо мне согревало не сильное (как от протопленной накануне печи) тепло лунного излучения. А трубчатое железо перил холодило ладони. А при случайном взгляде на ноги я видел, как искрятся пряхки моих новеньких сандалий...

И в то же время это была, конечно, сказка. Сказка фосфорического света...

Фосфорический свет с той поры всегда завораживал меня.

Даже в самой малой дозе. Примагничивал и словно приближал к лунному чуду. Помню, как старший брат подарил мне черный жестяной циферблат. Сказал, что от самолетных часов.

— С истребителя! — Он думал, что именно эта военная деталь взволнует мое воображение. Однако меня взволновали выпуклые белые числа. Они светились в темноте! Я вставал на колени перед кроватью, накидывал на голову и плечи мамину телогрейку и замирал, глядя на зеленовато горящие цифры. Они таинственно расплывались в душном, пахнущем старой ватой пространстве. Пространство это постепенно расширялось, цифры уносились в подлунную даль.

С точки зрения взрослых, мое занятие было пустяковым развлечением. А для меня — таинством, уходом в неземной мир.

Этот мир то и дело напоминал о себе: то наяву — заглянувшим в окно месяцем, то во сне — очередным сказочным событием, где мне снова околдовывал душу фосфорический свет.

Один такой сон я видел много раз. Он стал частью моего детского бытия. Это были лунные женщины.

Представьте себе полутемную комнату, а за окном — зеленоватое лунное небо (ставни почему-то не закрыты). Самой луны не видеть, но чувствуется: она где-то рядом. И не просто так висит в небе, а задумала какое-то действие.

И вот, подтверждая мое предчувствие, появляются в окне светящиеся фигуры. Плоские. Они будто вырезаны из той бумаги, которую трогал я на лунном круге. Это женщины в длинных платьях и остро торчащих платках. С коромыслами на плечах. Женщины мерно, друг за дружкой идут через темный двор. Светящиеся ведра качаются в такт шагам. Тяжело качаются — явно не пустые. Идут женщины долго, вереница длинная. Такой вот бесшумный, полный какого-то тайного смысла фильм. Я и не пытаюсь разгадать этот смысл. Просто смотрю. Понимаю, что т а к н а д о. Луне надо. Это часть ей одной ведомого волшебства...

Часто видел я и другой сон — разноцветный и праздничный. Будто сижу вечером на подоконнике, а в небе — что-то невообразимое. В сказочной тишине висит там желтая луна, громадная, словно круглый стол... Но не она сейчас главная.

Главные — звезды. Они сильно приблизились к земле, и видно, что это большие неровные камни. Формы у них никакой, но как они светятся! Голубые, сиреневые, пунцовые, розовые, зеленые — всех расцветок и оттенков! Окруженные мягким золотистым ореолом, переливчатые, с огненными змейками на изломанных гранях.

Я сижу замерев, растворяюсь в этом тихом пиршестве света и красок.

Жаль только, что ночная сказка быстро кончается. Настает утро, двор освещается солнцем (ранним, рыжеватым), а луна и звезды гаснут. Но не исчезают! Они остаются на прежних местах, только теперь это камни, похожие на обожженную глину. А луна — такой же красно-глиняный выпуклый круг (потом я узнал, что этот цвет называется «терракота»).

Я смотрю на остывшие звезды и луну с ощущением потери и с пониманием, что ничего уже тут не сделаешь: утро не установишь, ночь не вернешь. Одна только надежда: может быть, следующей ночью волшебное горение светил повторится. А эти комки запекшейся красной глины, этот потрескавшийся кирпичный шар мне скучны и ненужны...

И все же остывшая терракотовая Луна один раз притянула меня: я на ней побывал. Сам не знаю, почему...

Мне приснилось, что я лежу навзничь среди громадного ровного, покрытого красноватым песком пространства. На первый взгляд могло показаться, что здесь земная пустыня. Но я точно знал — это Луна. Тем более что в пустыне жарко, а тут свежо, зябко даже. Надо мной густо-синее небо (потом я узнал, что такого над Луной не бывает, но подумал: «Это смотри над какой. Над моей бывает»).

В небе подымается надо мной пустое здание из желтого кирпича. Сколько этажей — не помню, но оно гораздо выше самого высокого в Тюмени дома, четырехэтажного горсовета на улице Республики (кстати, такого же песочно-желтого).

Плоский, без украшений, дом этот совершенно пуст. Я знаю это. И вся Луна пуста. Никого, кроме меня, на всем громадном небесном теле. Как я сюда попал, зачем лежу вот так, мне неизвестно. Нет во мне ни страха, ни волнения, ни любопытства. Есть только спокойное понимание: я на Луне; надо мной — небо; передо мной — большой дом... И лишь

глубоко, на самом доньшке сознания прячется догадка, что в том желтом здании — какая-то тайна. Очень большая и очень древняя.

Сон, казалось бы, без всякой радости, даже слегка зловещий, но я до сих пор вспоминаю его по-хорошему. Он тоже частичка моего детства — не менее важная, чем реальные события тех дней. И чем я старше, тем больше растет уверенность: я и в самом деле лежал когда-то на терракотовой планете и смотрел на высокое многооконное строение, желтеющее в густой синеве. Помню, что его ярко освещало солнце, но стекла не блестели. Возможно, их не было совсем...

...В самые ранние годы я знал от старших, что Луна — это громадный шар, почти такой же необъятный, как Земля (и, может быть, там тоже есть люди). И вполне верил в это — особенно когда Луна казалась большущей и выпуклой. Но такое мое знание до поры оставалось чисто теоретическим. Наряду с ним существовали и другие. Луна — это золотой мячик, прыгающий среди быстрых облаков и окрашивающий зимнее небо в зеленый цвет. Это, как вы помните, и плоский светящийся круг с балкончиком. Это и крошечные чешуйки, прячущиеся в щелях и паутинных углах... Кроме того, не всегда луна была круглой. Иногда она становилась рогатым месяцем — тем, что робко желтел над черными крышами в закатном небе, и тем глазастым и носатым, что был на картинках про Конька-Горбунка и про Руслана. И тем позолоченным картонным, что висел среди пахучих елочных веток в сказочный новогодний вечер... И все они были настоящие! Да!

Меня ничуть не удивляло, что луна может проявлять себя в разных видах и лицах, причем иногда — в нескольких одновременно. И когда я, четырехлетний, вырезал тупыми ножницами из клетчатого тетрадного листка кривой полумесяц (чтобы подвесить к потолку на нитке), я был уверен, что творю настоящую Луну. Кстати, месяц мне нравился больше, чем круглая луна. Он был привычнее, ближе по характеру, понятнее. Ну прямо как приятель из соседнего дома. Этаким озорной мальчишка. И в то же время — волшебный. Ведь в каждой сказке он обязательно подмигивал с неба своим хитрым глазом...

Больше всех сказок мне нравилась та, что про старика, который выдал своих дочерей за Солнце, за Ветер и за Месяц. Ее рассказывал мне дядя Боря.

Про своего дядюшку, маминого брата Бориса Петровича, писал я уже не раз. Он для меня остался навсегда не просто родным и любимым человеком, а частью самой моей жизни, моего детства.

Он умер в день весеннего равноденствия, 22 марта, в семьдесят девятом году. Умер неожиданно, словно бы случайно. Занемог, отправился в больницу, там оказалась нужна пустяковая операция. Прошла она благополучно. Но на следующий день дядя Боря уснул на больничной койке и не проснулся.

За двое суток до смерти, ничего не предвидя и радуясь весне, он в своем дневнике написал нехитрые стихи. В них говорилось, что через несколько дней часы переводятся на летнее время. Это была его последняя запись.

А вообще записей у него множество. Последние десять лет дядя Боря страдал почти полной глухотой. Слуховым аппаратом он не пользовался — от этой электроники у него болела голова. С окружающими говорить ему было трудно. И дядя Боря завел себе собеседника, который был терпелив, необидчив и понятлив. Дневник.

Дядя Боря писал дневник в стихах. Поскольку до последнего дня дядюшка мой не научился радоваться жизни, каждая мелочь зажигала в нем огонек вдохновения: и удачно купленные (после двухчасового стояния в очереди) апельсины, и солнечный блеск в сосульках, и теплый дождик, и занимательная статья в газете. Много стихов о хоккеистах, футболистах и фигуристах, ибо дядя Боря был истовым болельщиком. Не обойден вниманием и ни один космический запуск с семьдесят седьмого по восемьдесят восьмой год.

Вечный труженик, был дядюшка патриотом родной Вятской земли, а также Сибири, где проработал не один десяток лет. И города Тюмени, в котором прожил полвека. А диссидентом он не был и посему добросовестно отмечал в своих поэтических тетрадах все праздники красноречивой эпо-

хи — от Дня Парижской коммуны до Дня Конституции... А среди рифмованных календарных заметок — вдруг пронзительные и чистые воспоминания о голодном, но солнечном детстве полудеревенского-полугородского мальчишки в начале двадцатого века. О друзьях, о родных, которых давно нет. О том, как подростком он вдвоем с приятелем сбежал в Москву и прожил там две недели, впервые познав радости и печали столичной самостоятельной жизни. О войне, о трудармии, служба в которой кончилась чудовишной дистрофией — еле выжил... Это все, конечно, не только в стихах, но и прозой...

Когда дяди Бори не стало, один молодой журналист написал для «Тюменского комсомольца» некролог. Дядя Боря любил эту газету, ибо всегда был юн душой. «Он не был знаменитым человеком, но его доброта и интеллигентность сделали бы честь любому из сильных мира сего», — писал автор некролога.

Некролог набрали и заверстали, но в последний момент редактор выкинул его из номера. Счел, что Борис Петрович Печёнкин — слишком мелкая фигура. Ведь и в самом деле — должности плановика и сметчика, на которых мой дядюшка с довоенных времен трудился в строительных организациях Тюмени, были далеко не номенклатурными. Ну что ж...

О том, что дядя Боря умер, я узнал в Москве — был там в командировке. На похороны не успел. Приехал на могилу только летом, когда сквозь сухой песок осевшего холмика торчали редкие травинки. На недалеком Червишевском тракте тяжело гудели дизеля...

Тетя Надя, вдова дяди Бори, отдала мне все дневники. В «Спорттоварах», что были неподалеку, пришлось купить специальный рюкзак. Я погрузил в него три десятка рукописных томов, сшитых из общих тетрадей.

Уезжал я поздно. Когда шел на вокзал, над крышами висела круглая луна. Ее пересекали полосы прозрачных облаков. Луна была желтая и спокойная. Она светила так же, как и в древние времена и как будет светить в те времена, когда не останется памяти о нас. Что ей была моя печаль, что ей мой глухой дядюшка, скончавшийся к тому же на восемьдесят втором году жизни, без всяких трагедий, легко и спокойно —

дай бог так каждому. Но рюкзак мне казался тяжелым (да и был таким), словно я нес за спиной всю дяди-Борину жизнь.

... Может быть, на той Дороге, на которую мы все уходим в конце концов и где надеемся найти и встретить тех, кого любили, я пойду с таким же рюкзаком. И однажды на обочине, под вечным тополем, увижу опять дощатый приземистый дом, где в тесной комнате с круглой печкой навсегда поселился дядя Боря. Стены комнаты оклеены цирковыми афишами, стучат ходики с подвешенными к гире для пушей тяжести плоскогубцами, в голландской печи с приоткрытой дверцей гудит огонь — так, что в гитаре на стене рождается легкое эхо. Дядя Боря — еще совсем не старый, почти без морщин — чистит над закопченным чугуном картошку. Он явно меня ждал — поглядывает без удивления и хитровато, в точности как в те субботние вечера, когда я мальчишкой приходил к нему в гости и просился остаться ночевать...

А в комнате знакомо пахнет вымытым полом и березовыми дровами. Комната почти такая же, как в моем детстве. И так же смотрит в окошко рогатый месяц. Ему-то, в отличие от равнодушной желтой луны, есть дело и до дяди Бори, и до меня. Ведь именно о нем — хитроумном улыбочивом и носатом Месяце — рассказывал дядя Боря сказку.

... В этой сказке меня мало волновал старик, его дочери и два их мужа — Солнце и Ветер. Но Месяц!.. Я словно наяву видел, как он повис над приземистой банькой, в которой парится старик, вытянул длинную-длинную фосфорическую руку и сунул палец в приоткрытую дверь.

И тесный сумрак, в котором кряхтел и возился дед, наполнился зеленоватым неземным светом.

И вот в голове у меня, пятилетнего, созрел план: сотворить сказку самому и удивить дядю Борю!

Для выполнения плана требовались три момента: светящийся палец, отсутствие лишних людей в квартире и темнота в жилище дядюшки.

Я уже упоминал, что жил дядя Боря в проходной камерке между общей кухней и нашими двумя комнатами. В ту пору он вернулся из госпиталя, куда его, еле живого, направили из трудармии. Был дядя Боря очень худ и слаб. Часами лежал на железной крытой потертым коричневым одеялом койке (от одеяла всегда пахло табаком).

Через дяди-Борину каютку днем и ночью ходило множество народа: и наше семейство, и разные квартиранты, которые часто снимали у нас одну из комнат. И приятели брата, и многочисленные поклонники сестрицы... Дядю Борю старались не беспокоить: если он спал, ступали на цыпочках, свет не включали. В свою очередь, дядюшка ни на кого не обижался, к жизненным неудобствам относился философски. Лишь на одно досадовал: дверь в нашу комнату (где то и дело шум и яркий свет) часто отходила от косяка. Ее закроют, а она, подождав, с ехидным скрипом вновь отъезжает, оставляя широкую щель.

То и дело вставать и прикрывать зловредную дверь ослабшему дядюшке было трудно. И он придумал простой выход: привязал к дверной ручке веревку. Едва раздавался скрип шарниров, дядя Боря — дёрг! — и все в порядке.

По вечерам дядя Боря обычно лежал без света. Так что одно из условий моей сказки было обеспечено.

Темнело рано, мама, брат с сестрой и квартиранты возвращались домой, когда за окнами стояла ночь. Поэтому помехи со стороны взрослых я не боялся.

А что касается светящегося пальца, я решил пожертвовать для этого дела «истребительским» циферблатом. Тупым ножиком соскоблил с чисел на бумажку фосфорическую краску, левый указательный палец натер липкой вареной картофелиной и собрал на него весь добытый порошок. С замиранием в душе выключил электричество. Палец неярко, но заметно выступил из тьмы... Ура!

Я снова включил лампу, повертел перед ней палец, чтобы краска вобрала в себя побольше света. Затем опять шелкнул выключателем. Наступивший мрак был вполне сказочным, даже страшноватым. В нем что-то таинственно потрескивало.

Ну и хорошо, так даже интереснее!

В камерке дяди Бори было темно, слышалось похрапывание. Это ничего! Дядюшка спит чутко. Я постучу о косяк, а потом громко продекламирую Пушкина:

Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок... —

и суну в щель палец. Спросонок дядя Боря удивится еще больше.

Я осторожно приоткрыл скрипучую дверь.

— Месяц, месяц, мой дру... ай! Ай-я-я-а-а!

Дядюшка, услышав сквозь сон дверной скрип, машинально дернул веревку.

...К счастью, дернул не очень сильно, и ревел я недолго. Но первые полминуты выл от души. Перепуганный дядя Боря, как в лучшие дни молодости, резво слетел с кровати, схватил меня в охапку:

— Что с тобой?!

— Па-алец!.. Прижа-а-ал!..

— Ох ты, горе мое! Надо холодной водой.

— Не на-адо! Свет смоеется!

— Какой еще свет?

Когда все выяснилось, дядя Боря в утешение мне начал горячо восхищаться моей выдумкой:

— А ведь и в самом деле светится! Ну точно как месяц! Если бы я не дернул, а сперва посмотрел, обязательно решил бы, что лунный палец торчит...

Потом он все же уговорил меня сделать холодный компресс. И краска, конечно, смылась.

— Ничего, — успокоил дядя Боря. — Палец у тебя и так будто лампочка. Вон какой распухший, розовый. — Убедившись, что сустав у меня цел и большой беды нет, он опять обрел привычную склонность к юмору.

Я, почуяв насмешку, надулся. Но дядя Боря усадил меня на кровать и начал рассказывать, какой забавный и совершенно живой месяц показывали в фильме «Веселые ребята».

— Появилась надпись: «Прошел месяц», и по экрану шагает месяц собственной персоной. Улыбается, ручками машет, колпачком покачивает. А потом: «Прошло много месяцев» — и тут они уже вдвоем с круглой луной. Идут под ручку...

Так я впервые услышал про знаменитую кинокомедию. Дядя Боря, увлекшись, рассказывал мне про нашествие колхозного стада на павильон «Черный лебедь», про приключения бывшего пастуха Кости в концертном зале и про восхитительную драку на репетиции ансамбля «Дружба». Я хотел, забыв про ноющую боль в пальце, а настоящий золотой месяц глядел в морозное окошко и веселился вместе с нами...

А где-то через неделю «Веселые ребята» в очередной раз появились на экране кинотеатра «Темп», и мы с дядей Борей пошли на дневной сеанс. И хохотали вместе с остальными зрителями весь фильм напролет. А в месяц, лихо маршировавший по экрану, я просто влюбился. Он был в точности тот самый, из моих сказок! И песенка его — бодрая и в то же время чуточку грустная — запомнилась навсегда:

Проходят минуты
Среди забот и дел,
Бегут-бегут, бегут-бегут —
И месяц пролетел.

...И месяц пролетел. И еще один. И у нас в комнате, которая по старинке называлась «спальня», поселились новые жильцы-квартиранты. Дядя Сережа — капитан-танкист из какой-то резервной части, его жена (не помню, как звали) и шестилетняя дочка Люда.

3

Эта страничка детства связана у меня с «ночной» мелодией. Нет, уже не с песенкой месяца, а с другой:

Темная ночь...
Только пули свистят по степи...

В ту пору как раз вышел фильм «Два бойца», и песня про темную ночь стала буквально частью тогдашней жизни. И девочка Люда тоже напевала все время:

...Только ветер свистит в проводах,
Тускло звезды мерцают...

Хорошая была девочка (в отличие от своей скандальной мамы-капитанши). Иногда она поддевала меня напоминанием, что старше на целый год, но делала это без большого ехидства и не часто. В основном жили мы мирно, играли дружно.

Эту худенькую, рыжеватую, стриженную под мальчишка подружку мне, наверно, сама судьба послала.

Как бы я жил один дома в ту холодную, бесконечно длинную зиму?

Дядя Боря или спал, или уходил куда-то. Остальных взрос-

лых дома не было с утра до вечера. Сосед Лешка Шалимов — полдня в школе, а полдня — на улице с друзьями. Я слышал сквозь двойные стекла их веселые вопли... А меня гулять не пускали.

Дело в том, что от долгого холода (не хватало дров), от скудного пайка и от всякого неюта военного времени появилась у меня болезнь с неизвестным мне раньше названием «ревматизм». От ревматизма этого болело все внутри, но самое главное — распухали ноги и руки. При ходьбе боль тупо толкала меня в пятки, словно в них засели деревянные шарики, валенки с трудом налезали на распухшие ступни. А хуже всего было с руками. Пальцы раздувались так, что натянутая кожа делалась темно-розовой и блестящей. Словно каждый палец мне старательно придавили дверью — и не так, как дядя Боря, а изо всех сил.

Я помнил дяди-Борины слова о лампочке и, укрывшись с головой, всерьез пытался рассмотреть: не светятся ли мои распухшие пальцы? Нет, не светились. Зато Лешка Шалимов, бывало, приводил с улицы приятелей специально, чтобы показать мои руки. Я демонстрировал их охотно. Мальчишки смотрели с уважительным сочувствием и покачивали головами. А Вовчик Сазонов сказал:

— Ты совсем как военнораненый. Может даже гангрена случиться.

Вечером я с гордостью передал это рассуждение про «гангрену» маме и Людмиле. А они почему-то рассердились. Сестра заявила, что незачем пускать с улицы в дом всяких хулиганов. Хотя всем было известно, что Вовчик никакой не хулиган, а самый воспитанный мальчик в квартале, юный скрипач и сын известного хирурга, начальника госпиталя. Того самого, который помог устроить в больницу моего брата Сережу.

Сережа работал на оборонном химическом заводе, «глотнул там какой-то дряни» (противогаз оказался дырявый), слег со всякими воспалениями-осложнениями, а потом и с параличом ног. Его — с незнакомым исхудавшим лицом, закутанного в одеяло — увезли в больницу на санках. Мама и сестра плакали. Я не плакал и гордился: Сережа был почти

что раненый. Ведь он пострадал, когда делал начинку для снарядов, чтобы бить фашистов.

Вернулся Сережа месяца через два или три — вылечили его. А меня ревматизм не оставлял до пятого класса. В сильные холода просыпалась в ступнях знакомая боль, а пальцы каждую зиму и весну обязательно припухали. Не так сильно, как раньше, но заметно.

Помню такой случай. В марте сорок восьмого мы в комнате у моего приятеля Вовки Покрасова играли в подкидного дурака — ребята и взрослые, вперемежку. И там была тетя Сима Петрова, мать рыжего Тольки. Шел во время игры разговор «про жизнь». Про то, что после недавней отмены хлебных карточек стало наконец-то полегче: хлеба теперь сколько хочешь, да и продукты кой-какие появились в магазинах. Я солидно вставил фразу, что «теперь, конечно, жить можно, а то ведь страх вспомнить, как столько лет брюхо сводило от голода». И добавил:

— Еще в том году все ходили отошавшие.

Тетя Сима глянула неприязненно:

— Уж не ты ли у нас был отошавший? Новый-то папаша твой, поди, каждый день literные пайки получал, большой начальник. Вон у тебя, у отошавшего, пальцы-то какие пухлые.

Все неловко примолкли: знали, отчего у меня такие пальцы. Знали и то, что мой отчим Артур Сергеевич никакой не начальник, а мелкий служащий в конторе охотничьего общества. Зарплата у него была что-то около восьмисот рублей — по тем временам совсем чахлая. На эту зарплату да еще на триста рублей, которые для меня присылал из Белоруссии отец, мы и жили.

Я тете Симе ничего не ответил. Молча выложил на стол два туза, два короля и даму и, столь победно окончив игру, ушел в комнату дяди Бори. Он слышал через дверь весь разговор и сказал мне:

— Плюнь на нее. Она ни про кого в жизни хорошего слова не сказала, такая уж натура.

И я плюнул. Мысленно, конечно. И даже не стал ссориться с Толькой: он-то не виноват, что у него такая мамаша...

Но я сильно забежал вперед. Ведь начал-то рассказывать о себе о пятилетнем.

Пальцы в ту пору у меня болели ровной ноющей болью, и я к ней притерпелся. Научился даже ловко держать ложку и карандаш, хотя суставы были «негнучие». В общем, жил... Но скучно было взаперти. И вот появилась Люда!

Конечно, лучше бы мальчишка... Можно было бы устраивать военные развлечения: сооружать из стульев танки и самолеты, развертывать партизанские бои и громко орать фронтовые песни:

Бей, винтовка,
Метко-ловко
Без пощады по врагу!..

Или:

«Так-так-так!» — говорит пулеметчик,
«Так-так-так!» — говорит пулемет!..

Но Люду ратные подвиги не увлекали. Она не хотела быть ни санитаркой, ни даже командиром батареи. Мягко, но настойчиво втянула она меня в старую как мир игру под названием «Дом».

На широких подоконниках устраивали мы «квартиру». Из кубиков и дощечек мастерили мебель. Застилали игрушечные постели пестрыми лоскутками. Расставляли по самодельным столикам «посуду» — цветные кусочки разбитых чашек и тарелок. Из «настоящего» кукольного хозяйства была у нас только жестяная печка-плита. («Не вздумайте ее разжигать!» — каждое утро предупреждали нас взрослые. Мы и «не вздумывали».)

Когда «квартира» была готова, в нее въезжали жильцы. С Людиной стороны — целлулоидный пупсик Малыш, тряпичный щенок Жучка, две крохотные куколочки Тома и Зина и фаянсовый лягушонок Ляга. С моей — сделанный из папье-маше пионер Ваня, кукла Катя (мама сшила ее из старого чулка), тряпичный заяц, которого так и звали — Заяц (но ни в коем случае не Зайка), и маленький мраморный кролик. Вообще-то кролик принадлежал Людмиле, но я присвоил его.

У сестры же я конфисковал еще одну очень полезную для игры вещь: зеркальце в деревянной овальной рамке и с вы-

движным ящичком внизу. Очень похожее на трюмо, только в сто раз меньше.

Все жильцы кукольной квартиры жили полнокровной жизнью: ели, спали, ходили в детский сад, в школу и на работу, купались в консервных банках, иногда ссорились, после мирились и дружно играли. Тех, кто не слушался, Люда ставила в угол, а иногда и шлепала. Она была довольно строгая мама. Я за виноватых заступался.

— Если будешь им во всем потакать, знаешь, кем они вырастут? — грозно спрашивала Люда. Совсем как ее мать дядю Сережу.

Этому налаженному быту не грозили ни фашисты, ни бандиты из шайки «Черная кошка», ни домоуправша по фамилии Устюжанина (которая то и дело приходила к жильцам выяснить что-то насчет бумажек под названием «жировки»). Наш игрушечный дом надежно охранял бессменный часовой. Это был сделанный из керамики и покрытый темно-зеленой краской боец-пограничник. Ростом мне до колена. В твердом тулупе до пят, незыблемый и несокрушимый, как памятник. Руками в могучих рукавицах он опирался о винтовочный ствол и, повернув налево голову, строго смотрел из-под козырька звездной буденновки.

Этого красноармейца купили в те дни, когда я родился. Он вполне соответствовал официальным вкусам и настроениям того времени — эпохи суконных шишкастых шлемов и песни «Если завтра война, если завтра в поход». (Какие еще были признаки и символы у тех давних лет, я узнал, конечно, много позже.) Впрочем, не было мне дела до символов. Просто случилось так, что Пограничник стал моей первой игрушкой. Даже более ранней, чем Заяц.

И вот теперь Пограничник охранял наш с Людой дом. Днем и ночью.

А дни и ночи сменялись в нашей игре часто, не то что наяву.

— Дети, пора в детский сад! Дети, пора ужинать и спать!

Чтобы отличить ночь от светлого времени суток, мы ставили на подоконник ящичек, который так и назывался — «Ночь». Это был кузов игрушечного грузовичка. В нем лежала волокнистая темно-серая вата. Среди волокон, как среди

ночных облаков, блестел вырезанный из фольги полумесяц. И были рассыпаны по вате «звезды» — из той же фольги скаланные шарики.

Темная ночь...
Тускло звезды мерцают...

Фольгу для звезд и месяца дала Люда. Ее отец получил однажды шоколад в своем офицерском пайке (Люда и меня угостила коричневой восхитительно сладкой долькой). А вату для ночных облаков добывал я — вытаскивал ее через дырку, прожженную в старой телогрейке, которая висела на крючке у двери. В этой одежде ходили в сарай за дровами, на помойку и по всяким другим надобностям. Была она тощая, поэтому вату я вытаскивал осторожно, мелкими порциями.

Однажды мне показалось, что «ночные облака» в дощатом кузовке чересчур слежались и потеряли должный вид. Поэтому отправился на охоту. На сей раз не повезло — за преступным дерганьем ваты застала меня старшая сестрица.

— Вы только посмотрите на него! Скоро всей семье не в чем будет на двор выйти, а он последнюю одежду терзает! — Людмила в ту пору была склонна к излишнему драматизму, поскольку давно не получала писем с фронта от любезного сердцу одноклассника Юры.

Я на всякий случай ударился в рев — безотказное средство обороны.

— Он еще и гудит как паровоз! Вот подожди, придет мама!..

В наружную дверь постучали. Но эта была не мама. Пришел... папа!

Он пришел с вокзала.

Наверно, взрослые знали, что отец должен приехать в отпуск. Но я никакого ожидания не помню. Помню другое: появление отца в тот момент показалось мне чудом из чудес. Он словно специально явился избавить меня от нагоняя!

...Это был не первый приезд отца из армии. Весной сорок второго он закончил командирские курсы в Сарапуле, и его отпустили на пару суток домой — перед отправкой на фронт. Я, хотя и кроха был, кое-что помню. Отец появился в шинели

рядового красноармейца и в пилотке с зеленой звездочкой. Жесткая покоробленная шинель пахла мокрым сукном. Гимнастерка была слишком широка. Хлопчатобумажные галифе походили на два мешка, а ноги ниже колен казались чересчур тонкими. Отец носил тяжелые ботинки и обмотки из широких брезентовых лент.

С этими обмотками по утрам была морока. Запомнилось, как папа сидит на кровати и, что-то шепча, закручивает вокруг ноги грубый черный бинт, который вырывается из пальцев. Я стою рядом, на краю постели, грудью лег на отцовское плечо и трогаю пальцем эмалевый «кубик» на отложном воротнике гимнастерки.

Этот одинокий красный квадратик на зеленой, «полевой» петлице был знаком отличия младшего лейтенанта. Впрочем, отец уточнил потом, что он даже не младший лейтенант, а «интендант какого-то там низшего ранга. Так сказать, тыловая служба».

А для какой еще военной профессии был годен сорокалетний учитель, не державший до той поры в руках никакого оружия (разве что луки и стрелы, которые мастерил в детстве)? Сугубо мирный человек, чей главный интерес в жизни составляли проблемы славянских языков, он был известен среди школьников и студентов тем, что никогда не повышал голоса. Самым страшным его ругательством было польское выражение «пся крэв», доставшееся ему от предков из Речи Посполитой. Да и эту «собачью кровь» он выговаривал лишь в критические минуты и виноватым полусшепотом.

«Тыловая служба» отца оказалась очень близкой от передовой. Иногда так близко, что и не разберешь: где тыл, а где фронт. Уже после войны, в минуты откровенности, отец признавался, что несколько раз «только рука Господня» спасала его от гибели. Но говорил об этом он редко. Чаще же военную свою жизнь вспоминал он довольно иронически. В том числе и встречу с маршалом Рокоссовским.

Маршал инспектировал хозяйственные службы, а отец в тот момент усмотрел у своих подчиненных какой-то неполадок. И выдал в сердцах привычное «пся крэв». Маршал живо обернулся:

— Поляк?

Отцу куда деваться? Подтвердил, что «так точно, товарищ маршал, поляк», хотя это было правдой лишь наполовину. Поляк-маршал обрадованно заговорил на родном языке, и полуполяк-интендант довольно бойко отвечал ему.

— И побеседовали мы вполне светски, — усмехался отец. — А через некоторое время вдруг указ: наградить лейтенанта Крапивина Петра Федоровича орденом Красной Звезды. (Интендантские звания тогда, видимо, уже отменили.)

— Явно порадел командующий единокровному тыловику, — вздыхал отец, рассказывая впоследствии эту историю.

Но я уже знал, что между беседой с маршалом и указом было немало «переделок», в которые попадал отец. В том числе и прорыв из окружения со штабом танковой бригады.

— Ну да, было однажды, — признавался отец. — Я даже пострелял тогда из своего «ТТ». В ту сторону, где, по мнению командования, находился противник. Теоретически не исключено, что моя пуля зацепила какого-нибудь фрица...

В тот, во второй раз отец приехал в отпуск после госпиталя. Он попал туда после жестокой контузии, которая приравнивалась к ранению, о чем и свидетельствовала красная ленточка на отцовской гимнастерке.

Теперь мой папа выглядел вполне по-офицерски: в кожаных сапогах, в ладной шинели с командирским ремнем и с лейтенантскими погонами (правда, к моему огорчению, зелеными, а не золотыми и даже не серебряными). Жаль только, не было пистолета.

— Забрали, когда в госпиталь попал, — объяснил мне папа. — А я перед поездкой не стал просить обратно. Зачем он в тылу? Вдруг потеряю — голову снимут.

Зато привез он большую кирзовую сумку со всяким добром. Сумка была похожа на ту, в которой почтальонка Тоня носила письма и газеты. Но брат Сергей, сведущий в военных делах, объяснил, что это ранец немецкого сапера. Трофейный.

Из ранца отец вытащил немецкую офицерскую шинель — голубоватого сукна и с алюминиевыми пуговицами (вроде тех, какие в восьмидесятых годах пришивали к мальчишечьей

школьной форме). В пальто, сшитом из этой шинели, сестра ходила потом несколько послевоенных лет...

Потом появились на столе две буханки белого хлеба, колбаса, консервы, кулек с конфетами-помадками и несколько вафельных полотенец для маминого хозяйства. А мне достался шоколад «Спорт». На глянцевого обертке был напечатан лыжник-солдат с красными погонами, бегущий среди заснеженных елок. (Красные погоны были нарисованы ради красоты, по уставу в полевых условиях полагались зеленые — так мне объяснил Сережа.)

Под оберткой оказалась, конечно, фольга. Значит, будут новые звезды...

Сколько дней пробыл отец дома и чем занимался, я забыл. Помню только, что однажды он сел со мной рядышком и стал спрашивать, учусь ли я читать.

Что значит «учусь»? Я схватил с этажерки «Сказки» Пушкина и начал — строфу за строфой...

— Э, да ты небось наизусть шпаришь, — догадался папа. — А ну-ка почитай это вот, — и взял со стола газету.

С газетной заметкой было посложнее. Но все же я довольно бодро прочитал сообщение Совинформбюро: сколько при очередном наступлении Красной Армии сбито фашистских самолетов, сожжено танков, захвачено трофеев, взято в плен немецких солдат... По-моему, папа остался доволен.

А грустный вечер отцовского отъезда я запомнил хорошо. Мама, сестра и брат ушли провожать папу на вокзал. Хворый дядя Боря затих в своей каморке. Люду мать за что-то отругала и не выпускала из комнаты.

Лампочка под потолком светила вполне накала (или мне так казалось?). На стуле у окна стоял забытый трофейный ранец. Пустой. Я стал шарить в нем: не найдется ли за подкладкой выпавшая из кулька конфетка (такое однажды уже случилось). От ранца сильно пахло кирзовыми сапогами, конфетки в нем не нашлось, но я нащупал бумажную ленточку. Она оказалась черно-красно-белой, и на ней был напечатан длиннокрылый орел с вывернутой шеей и свастикой в лапах. Я скомкал фашистскую ленту. Вытер ладони о свитер и шагнул к окну.

В кукольной квартире был беспорядок, мы с Людой давно уже здесь не играли. Я прибрался, уложил кукол и зверят. Выдвинул на середину ящичек, в котором была «ночь». Серебристый месяц зарылся в вату, а звезды поблескивали.

От замороженного окна дуло, по стеклу скребся ветер.

Темная ночь...
Только пули свистят по степи...

Детское мое сердце чувало: там, куда уехал папа, тоже пули свистят по степи. А когда окончится война, неизвестно...

Что, если почтальонка Тоня однажды в своей кирзовой сумке принесет не отцовское письмо, а...

Вон уже скольким ребятам, что живут по соседству, принесли такие бумажки. Только Петрову, Галке Лагуновой, Сережке Котову...

Я мотнул головой. Я не хотел, чтобы звезды мерцали тускло. Тряхнул кузов грузовичка. Вытащил из ватных волокон и разгладил месяц — при нем стало веселее. Ладонкой стер пыль с Пограничника и попрочнее поставил его на краю подоконника. Чтобы охранял наш дом, нашу судьбу от всякого зла!

Тихо было. Только ветер царапал ледяные узоры да звенела в лампочке накаленная нить. Тряпичный заяц по имени Заяц понимающе смотрел на меня нарисованными глазами из-за края лоскутного одеяла.

...Куда потом подевался Заяц, я не знаю. Надеюсь, что он, как знаменитый олимпийский Миша, «возвратился в свой сказочный лес». А керамический Пограничник по-прежнему живет у меня. Все такой же строгий и бессонный, стоит он на полке электрокамина. А у его ног притулился другой друг детства — маленький мраморный кролик. Иногда я беру кролика в ладони, и кажется, что в каменном тельце бьется живое сердечко.

А посреди полки — зеркальце, которое когда-то украшало нашу с Людой квартиру на подоконнике. Это старинная вещь. Она была старинной даже во времена моего детства. Зеркальце в тридцатые годы подарила моей сестре — тогда еще маленькой девочке Миле — соседка, мать Лешки Шалимова. А у

Шалимовых оно было с «бабушкиных времен». Когда-то оно с другим таким же зеркальцем на пару стояло на дамском письменном столике, который назывался «бювар»...

Справа от зеркальца — еще один старинный предмет: в рамке из карельской березы плотная коричневая фотография. На ней — худой мужчина в старомодном сюртуке и строгая женщина в платье со стоячим воротничком. На коленях у женщины — годовалое дитя в кружевном платьице. Это мой папа...

Женщина — моя бабушка, Текла Войцеховна, до конца гордившаяся своим шляхетским происхождением. Мужчина — дед, адвокат Федор Амвросиевич. Я о нем ничего не знаю. Да и отец знал о нем немного. Дед умер от чахотки, когда сынку Петеньке было всего полтора года. Наверно, уже тогда, в фотомастерской польского города Пултуска, дед знал о близком конце. Иначе зачем бы сделал на обороте снимка надпись: «Моему дорогому сыну Пет-ё на добрую память отъ папы. Ф. А. Крапивинъ»?..

Памяти почти не осталось. По крайней мере, у меня. Осталась лишь эта фотография. Лицо у деда грустное, он похож на Чехова, только без пенсне... Жаль, что он умер за тридцать три года до того, как появился на свет его внук Славка...

Может быть, на той вечной и бесконечной Дороге я встречу и с ним? В оклеенной темными обоями комнате деревянного вильнюсского дома, где в открытые высокие окна сквозь тенистую сирень смотрит с не замутненного еще войнами и революциями неба чистая луна. И от нее поблескивает в сумраке узорная труба граммофона...

А сейчас луна заглядывает в мое окно и отражается в старинном зеркальце. Я думаю иногда: сколько же всего отражалось в этом зеркале за сотню лет! Сколько событий и лиц!..

Потом лунный свет падает на снимок. И платьице годовалого мальчика Петеньки белеет, словно севшая на картон бабочка-капустница...

Может быть, люди на фотографии на какой-то миг оживают от лунного света? Оживает кусочек далекого 1905 года?

...Почему-то моя память об отце часто переплетается с воспоминаниями о всяких лунных историях...

Одно из таких воспоминаний — луна, похожая на оторванное ухо.

...Отца демобилизовали в начале сорок шестого года. Он приехал в Тюмень в феврале, когда уже начинало по-весеннему синеть небо.

Что-то не клеилось в нашей послевоенной семейной жизни, это понимал даже я, первоклассник. У мамы появился знакомый, Артур Сергеевич, который потом стал моим отчимом. Для отца это, конечно, не было секретом. Тем не менее он уговаривал маму и меня ехать с ним в белорусский город Гродно. Говорил, что тянут его родные места, память о детстве. Потом стало ясно, что не только память детства его туда тянула: была там и другая жена. Не представляю, как бы сложилась жизнь, если бы мы и вправду уехали. Но однажды Артур Сергеевич явился к нам домой, и они с отцом решительно, по-мужски выяснили все обстоятельства. После этого, конечно, ни о каком отъезде речь не шла.

Мама была мне гораздо ближе, чем отец. Во время родительских споров я всегда был на маминой стороне. Но и отца я любил. И даже в те нелегкие дни была у меня радость от того, что папа уцелел на войне и что — вот он, рядом.

Такой радостью был и фильм «Золотой ключик», на который мы пошли однажды с папой.

Возвращались поздно, уже стемнело.

По дороге мне вспоминалась хорошая, хотя и грустная песенка папы Карло:

Ключом золотым отпирают
Заветную дверцу в стене.
Но где отыскать этот ключик,
Никто не рассказывал мне...

Я молчал, папа молчал.

Когда мы пришли на наш просторный двор, с крыльца сбежала соседская девочка Тамара Лазарчук. Она явно пришла к Лешке Шалимову, у них была «любовь».

Тамара сказала на бегу:

— Здравствуйте, Петр Федорович.

— Здравствуй, девочка...

Я подумал с гордостью: «Папы так давно не было дома, а его все равно помнят...» И еще подумал: «А скоро он уедет в свое Гродно...»

Защипало в глазах, я вскинул лицо, чтобы удержать слезинки. Над крышей висела тускло-желтая луна. Это был не месяц, но и не полный лик, а так, полнота на две трети. И мне вдруг показалось, что луна похожа на оторванное ухо великана!

Да-да! Именно так! На громадное невымытое ухо!

Это открытие настолько ошеломило меня, что слезинки тут же высохли и забылись. Я сказал папе:

— Оторванное ухо!

— Что, сынок? — рассеянно отозвался он.

Я не стал повторять, папе было явно не до меня. Однако про себя я повторил это много раз. Даже хихикнул внутри.

Так и запомнился тот миг. Моя рука в теплой ладони отца, под ногами скрипит снежок, от крыльца тянется черная тень. Томкины шаги стихают за калиткой, а в зеленом небе — оторванное ухо великана.

Эту «литературную находку» я запомнил навсегда. И однажды использовал ее в студенческие годы, когда писал очерк для университетской газеты. Про целину.

...Здесь память уносит меня почти на двенадцать лет вперед, в хакасскую степь.

Было это в пятьдесят седьмом году. В начале осени я, как и все студенты, вкалывал на сельхозработках. Нас тогда отправили на целину, в Красноярский край. По комсомольским путевкам. Считалось, что мы добровольцы, хотя я не помню, чтобы кто-то спрашивал нашего согласия. Впрочем, никто из нас не спорил. Во-первых, себе дороже. Во-вторых, целина так целина, посмотрим новые места...

Места были интересные. Насколько я помню, километрах в ста от Абакана. Районный центр назывался Москва, а ближнее село — Бородино. Эти исторические названия служили, естественно, темой для всяческого зубоскальства: мол, судьба нашей студенческой братии будет такой же, как у армии Бонапарта.

Впрочем, у полевого стана, куда я попал, название было не историческое, а вполне местное, хакасское — Карасук. Это был ток для зерна — два длинных навеса над утрамбованными площадками и тесная мазанка под плоской, поросшей бурьяном крышей. В мазанке — жилое помещение с нарами и кухня с печкой-плитой.

Стояло неподалеку и еще одно строение — покосившаяся дощатая будочка — сами понимаете, для чего. Двери у будочки не было. Поэтому, когда ты устраивался в ней поразмышлять о будущем, то должен был напевать или насвистывать — место, мол, занято. Эти частые музыкальные упражнения поддерживали в нас положительное мировосприятие — бодрое и лирическое.

Такому ощущению способствовал и пейзаж. Кругом лежала волнистая степь с торчащими камнями — возможно, это были древние идолы. По крайней мере, стояли камни не просто так — они огораживали невысокие курганы. Прямоугольники этих курганов там и тут зеленели среди спелых хлебов, распахивать их было запрещено.

Вдали поднимались невысокие горы — отроги Саян. Одна гора — длинная, с частыми камнями на округлой вершине — была похожа на припавшего к земле динозавра с гребнем на спине. Про себя я именовал эту гору «Хребет Большого Ящера», но предлагать такое название для обиходного пользования не решался, чтобы не быть уличенным в излишнем пристрастии к экзотике.

Пятьдесят седьмой год был отмечен какой-то особой солнечной и магнитной активностью. По крайней мере, этим объяснялись довольно яркие северные сияния, которые по ночам вставали над горами. Местные жители говорили, что в прежние времена такого не было и что все это не к добру.

А однажды мы видели комету. Небольшую, но с ясно различимым задраным к зениту хвостом. Она висела среди густых звезд, когда мы большой, но притихшей от усталости компанией возвращались в Карасук с верховьев Енисея. Река была километрах в двадцати от нашего стана. Мы, выпросив у начальства выходной день, ушли туда утром, а обратно двигались уже во тьме. И заплутали в ночной степи. Комета придавала всему происходящему зловещий оттенок. Сияние то

взмахивало крыльями, то гасло, и тогда тьма начинала казаться совсем уж космической...

К счастью, знакомый пастух и его сынишка, ночевавшие с отарой неподалеку от Карасука, на крыше мазанки зажгли керосиновую лампу. На этот уютный, родной такой маячок мы и вышли...

В степи и на склонах гор цвели в ту пору, в августе, удивительные ромашки — не белые и не желтые, какие привык я видеть в родных краях, а синие и лиловые. Чудеса! Незнакомый край, Хакасия...

До Бородина было не меньше десятка километров. У горизонта белела мазанка такого же, как у нас, полевого стана (в нем обитала соседняя студенческая бригада). А ближе — никакого жилья. По вечерам на окружающий мир опускалась такая тишина, что в ней чудилось что-то инопланетное. Казалось, стоит перейти через ближайший взгорок — и увидишь в распадке приземлившийся в синие ромашки освещенный закатом марсианский корабль...

На полевом стане Карасук нас оказалось десять человек. Восемь студентов-химиков: двое парней и шесть девчонок, а с ними два второкурсника с факультета журналистики. Михаил Папин и я.

Почему так случилось, почему Михаил и я оказались оторваны от родной братии журфака — дело темное. До сих пор я подозреваю тут недостойные происки одного нашего активиста (ныне весьма почтенного литератора). Скорее всего, Папин не устраивал этого славного лидера и его сторонников как «излишне сознательный товарищ». Действительно, Миша был чересчур положительный, старше всех нас, член партии и так далее... А меня, судя по всему, расценивали как личность, склонную более к мечтаниям и литературным упражнениям, нежели к полевым работам. Ну и «сплавили».

Кстати, потом я об этом не жалел. С химиками я и Миша зажали душа в душу.

Спали мы в одном помещении: справа от двери были девчоночьи нары, слева — наши, «мужские». Их разделял узкий

проход — от двери до оконца. Из одеял были сделаны на нарах занавески...

Сейчас вспоминаю и думаю: вот ведь удивительное было время. Совсем иные нравы. С одной стороны — шестеро симпатичных девчонок, с другой — четверо здоровых ребят, и — ничего т а к о г о. Никаких попыток нарушить суверенность девичьей территории. По-моему, даже и мыслей всерьез об этом не было. Самое большее, что допускалось, это кое-какие шуточки. По тогдашним меркам — с «намекками», а по нынешним понятиям — совершенно детсадовские.

Соблюдая нормы нравственности, девицы завешивали свой альков плотно. У нас же было для этой цели всего два куцых одеяла, между ними оставалась широкая щель.

Нас выручил совхозный парторг. Он развозил по отдаленным бригадам наглядную агитацию и привез нам плакат. Это была обтянутая кумачом деревянная рама — шириной полметра и высотой метра полтора. На кумаче белыми был начертан призыв по-коммунистически отнестись к уборке урожая. Это сооружение парторг укрепил на стене мазанки. Но едва он укатил на своем пропыленном «газике», как Миша, Валерка, Шурик и я втащили плакат внутрь и приладили над нарами, заслонив «межоделяльную» брешь. Красота!

Однако приехавший с очередной проверкой парторг усмотрел в такой «красоте» неуважение к партийной и советской пропаганде и демонстративно водрузил лозунг на прежнее место.

С тех пор так и повелось: мы закрывали плакатом дыру, а представитель партийной власти приезжал и упорно возвращал его на стену. Молча и сокрушенно. Впрочем, иногда вздыхал:

— Чему вас в ваших университетах учат?

Это был в общем неплохой дядька. Этаким персонаж из «колхозного» фильма — с озабоченным лицом и выгоревшими на солнце брезентовыми сапогами. В парусиновом пиджаке, пыльных галифе и мятой фетровой шляпе. Убежденный, что занят важным делом.

Мы ему пытались доказать, что читать призыв и проникаться его боевой сущностью можно и в помещении, где плакат, помимо воспитательного назначения, выполняет еще и

важную бытовую функцию, удваивая тем свою пользу. Но парторг, укоризненно покачивая шляпой, снова тащил раму с кумачом наружу, где, кроме нас, лозунг могли читать лишь любопытные суслики и безразличная к общественной жизни кобыла Галка.

Об этой Галке особая речь.

В первые дни нашей степной жизни Галку привел на стан совхозный бригадир Василий Васильич.

— Вообще-то она, можно сказать, уже списанная, — сообщил Васильич. — Дохлого здоровья и ленивого нрава, так что после уборочной кампании пойдет на колбасу. Ну а пока пушай потрудится на студентов.

Лошадь была нужна, чтобы ездить за письмами и продуктами в Бородино, возить воду от родника и дрова из окрестностей, где был кустарниковый сухостой.

Миша, правда, выразил опасение, что на такой дохлятине далеко не уедешь. Но выбора не было. Мы — городские жители — скоро обрели сноровку в обращении с этой медлительной животиной. Научились запрягать, стреноживать, кормить и поить.

Досады на обиженную жизнью Галку мы не чувствовали. Наоборот, жалели ее. Ведь несчастная кобыла доживала последние недели. Сочувствуя бедняге, мы ее баловали, кормили «от пуза», тем более что овса и пшеницы на току хватало, а неподалеку стояли стога. И... случилось чудо. От ласки, сытой еды и беззаботной жизни Галка окрепла и помолодела. Через месяц стала гладкой, упитанной и бодрой. И Васильич, однажды с удивлением оглядев кобылу как незнакомую, вынес резолюцию, что «мясокомбинат ее теперь хрен дождется, пускай эта гужевая единица еще поработает на советское сельское хозяйство, чтоб его...».

Отъезжая Галка вновь ощутила вкус к жизни. Выпрашивала сахар, весело брыкалась, когда ее запрягали, и дурашливо фыркала на щенка Родьку, который приходил к нам в гости от пастухов. А если она ленилась теперь, то не от равнодушия ко всему на свете, а по свойству характера.

Этот характер она показала мне однажды, когда мы с нею остались в степи вдвоем.

В тот раз все парни кинули жребий — кому ехать в Боро-

дино. Выпало мне. Гордясь умением, запряг я Галку, постелил в телегу побольше соломы и приготовился к приятной поездке.

Сперва все шло хорошо. Галка шагала с нормальной для коняги скоростью. Но где-то на полпути стала изображать утомление. То еле бредет, то совсем встанет.

— Нет, ты не мустанговой породы, не царица прерий, — укорил я ее. — Гляди, достукаешься опять до путевки в колбасный цех.

Галка и ухом не повела. То есть нет, ухом как раз повела, но конечностями шевелить перестала вовсе. Этак я опоздаю во все конторы, а домой и к ночи не вернусь!

— Будешь ты двигаться, Росинантова теща?!

«Не-а», — мотнула она головой.

Вожжи были короткие, я не мог дотянуться их концом до кобыльего зада. Дорога шла среди выращенной на силос незрелой кукурузы. Я соскочил с телеги, вырвал длинный стебель, выразительно помахивая им, пошел к Галке. Она покосилась и... рысью дернула вперед. От меня!

— Стой, волчья съть! — Я кинулся следом. Галка, видя в моей руке карающий кукурузный бич, наддала ходу. Я тоже. Она еще...

Я проклял белый свет и остановился. Тогда и хитрая животина встала. И ехидно косилась на меня. Я двинулся к ней. Она — в галоп.

— Ну, подожди, четвероногое. Поймаю, будет тебе...

Галка мотнула хвостом: «Сперва поймай».

— Откормили тебя на мою голову!

Я сделал еще несколько попыток догнать эту мерзавку и наконец сообразил: бросил кукурузный стебель. Поднял руки:

— Смотри, скотина, я безоружный.

И Галка снисходительно дождалась меня. Но после этого опять побрела в ритме похоронной клячи.

Я вытащил из петель брючный ремень, прицелился и от души вытянул кожаным концом по лоснящемуся крупу.

Вот тут-то Галка показала, на что она способна! Пустилась так, что я едва не вылетел из телеги. И до самого Бородина не сбавляла крупной рыси. Мой въезд на сельские улицы был

похож на сцену из фильма про тачанку времен Гражданской войны...

Я привязал Галку у почты, забрал там пачку писем и газет. Потом завернул в сельмаг и завел с продавщицей Мариной деликатный разговор насчет того самого товара. Сперва Марина клялась, что «ничего такого нет, потому что во время уборки запрещено, а про студентов упреждали особо».

— Ну, Мариночка! У Валерки же день рождения. Ты же всегда такая добрая...

— Ох, будет мне из-за вас... На, смотри, только вот такое. Мужики ругают, говорят, что шибко сладкое... — И дала мне четыре бутылки мандаринового ликера.

Этот ликер мы в тот же вечер выдули в честь Валеркиных именин. Девчонки почти не пили, и на каждого из нас, парней, пришлось почти по бутылке объемом ноль семьдесят пять. Сладкая цитрусовая жидкость, несмотря на крепкие градусы, пилась легко. В полночь приехал на мотоцикле бригадир Васильич, у него была четвертинка, и он братски поделился этим запасом. Последние капли уложили нас наповал.

А утром я впервые в жизни познал, какое бывает у человека состояние, если он пил «без царя в голове». И три моих собутельника тоже постигли всю меру страданий. В том числе и сознательный Папин.

Ой-ей-ей! Ай-яй-яй! Как плыла и качалась под нами земля, как просилось наружу все нутро, как бухала и взрывалась адской болью распухшая голова!

Хорошо еще, что с ночи накатил проливной дождь. Ни одна машина не могла добраться до нас по скользким дорогам — ни зерно привезти на ток, ни забрать нашу компанию на турнепсовое поле. Мы, раздетые по пояс, выбирались из мазанки, упирались ладонями в стену и подставляли спины и головы под спасительные струи.

Девочки подавали из дверей язвительные реплики, а Галка иронически поглядывала на нас из-под навеса, не забывая опускать морду в торбу с овсом...

Ну ладно, а при чем тут луна? — может спросить дотошный читатель. Уж если ты, уважаемый автор, взялся развивать «лунную тематику», то не уходи в сторону.

Я стараюсь не уходить, но воспоминания часто отвлекают то на одно, то на другое.

А луна здесь при том, что в ту пору она после долгого нолуния набрала наконец силу и — круглая, белая, удивительно большая — сияла над хакасской степью с необыкновенной, прямо космической силой.

Она смотрела с зеленого неба в наше квадратное, с переплетом крест-накрест, оконце. Чтобы полюбоваться ею, девчонки и мы откидывали одеяльные занавеси.

В такие ночи тянет на мистические разговоры. А посреди пустой степи, где много таинственных курганов, — особенно.

Про курганы ходили среди местных жителей всякие легенды: о мертвецах, кладах и бродячих духах. Была в их числе легенда про белого коня. Шурик слышал ее от какой-то бородинской старухи и однажды лунной ночью пересказал нам.

Речь шла о том, как в древние времена хоронили какого-то князя и по обычаю хотели закопать на его могиле коня, но жеребец вырвался и ускакал в степь. Вот с тех пор в полнолуние он и является людям. Кому явится — тот уже не жилец на этом свете.

Девчонки повизгивали, притворяясь испуганными. Валерка деловито спросил:

— А этот конь, он дух или по-прежнему пребывает во плоти?

— Не знаю, — сказал Шурик. — Какая разница?

— Для нас никакой, а вот для Галки... Если во плоти, то явится он к ней в такую вот ночь, и совхозное поголовье может пополниться жеребеночком.

Девочка Таня, самая строгая из всех «химичек», сказала, что Валерка циник. Всегда испортит поэтический настрой. Тот возразил, что белый жеребеночек — сплошная поэзия.

— Подойдет ласковый, глянет в окошко: дайте корочку хлебца, девочки...

— А-а-а! — хором завопили девицы. Потому что в этот миг посеребренная луной конская морда и правда показалась в окне.

Хотите — верьте, хотите — нет, но за окном на самом деле стоял белый конь. Причем не жеребеночек, а вполне взрос-

лый. Когда мы, четверо парней в трусах и майках, выскочили под холодное лунное небо древней степи, белый как лебедь призрак встретил нас дружелюбным пофыркиванием. Убедившись, что от призрака вполне по-земному пахнет конским потом, погладили мы его жесткие бока, потрепали гриву. Затем отвели пришельца под навес и привязали рядом с Галкой. Та отнеслась к данному факту положительно, ей чужды были мистические настроения.

Мы вернулись в мазанку и сообщили, что конь пришел не просто так. Он якобы признался нам, что по приказу своего помершего хозяина ищет среди приезжих девиц красавицу, чтобы унести ее в потусторонний мир, в супруги древнему князю.

Девчонки опять начали повизгивать.

— А вы-то чего волнуетесь? — спросил «циник» Валерка. — Вам же объяснили: нужна красавица.

Наши комсомольские подруги швырнули в нас подушками. Плакат с патриотическим призывом полетел на пол, лишив нас единственного приютия. Мы покаянно заорали, что сдаемся, но, конечно, спать уже никому не хотелось. Отдавая дань лунной степной экзотике, мы спели «Караван».

Исполняется эта песня так. Хор сдержанно и ритмично повторяет:

Джим-бам-бала-бала,
Джим-бам-бала-бала...

А солист тонким голосом муэдзина выводит на восточный мотив:

Шел один верблюд, ай-вай-вай...
Шел один верблюд, ай-вай-вай...
Шел весь караван...

Далее речь идет о втором верблюде, о третьем и так далее, до бесконечности.

Солистом был Шурик. Помимо слов о караване, он, импровизируя, вставлял всяческую абракадабру на манер арабских заклинаний. Мы порой сбивались с ритма и от смеха валялись на соломенные тюфяки...

Я спохватился, что, вспоминая о целине, совсем не пишу о работе. Читатель может подумать, что мы там в основном валяли дурака. А на самом деле вкалывали мы крепко. И на обработке зерна, и на полях с кормами, и на закладке силоса. Там я, кстати, единственный раз в жизни ездил верхом: управлял сонной кобылой (вроде нашей Галки), которая копытами трамбовала силос в траншее. Это брюхатое животное с наброшенным на спину ватником вместо седла ничуть не походило на скакуна, но я чувствовал себя героем прерий...

Больше всего работы было с хлебом.

В первые дни на ток привезли веялки, зернопульт и несколько машин соломы. Этой соломой следовало заново застелить крыши двух навесов. На помощь приехала бригада моих однокурсников-журналистов с соседнего полевого стана.

«Кровельная» работа оказалась труднее, чем думалось, но наконец рыжий Боря Тимохин, этой работой под жарким августовским солнцем явно тяготившийся, заявил, что обе крыши в полном порядке.

— Даже тропический ливень не пробьет!

Здравомыслящий и склонный к лидерству мой тезка Слава (будущий известный литератор) возразил, что нам ответственно дело и закончить его должны мы достойно.

— И нечего про ливень трепаться, когда еще дыры в крыше.

— Дыры? Да я на этом навесе могу лезгинку сплясать!

— Не надо, Боря, — внушительно сказал Слава. Но легкомысленный Тимохин высоко (совсем «по-танцевальному») подпрыгнул и... пропал: тонкое тело нашего сокурсника вмиг прошило чахлый слой соломы.

Секунду были мы в оторопи. А после, мешая друг другу, кинулись вниз по приставной лестнице. И с ужасом гадали про себя: что же увидим? Бренные останки или покалеченного, но живого Бореньку?

Мы не увидели ничего. Под навесом было пусто. Мистика да и только! С новой оторопелостью уставились мы друг на друга. И лишь тогда услышали деликатный такой, нерешительный стон. Он шел сверху.

Боря висел, вцепившись в перекладину под кровлей. И качал тощими, вылезшими из мятых штанов ногами.

От Бориных башмаков до утрамбованной площадки было

метров пять. Не мало, но и не смертельно. Мы встали в круг и с азвительностью принялись обсуждать создавшуюся ситуацию.

— Ловите меня, сукины дети! — голосил Боря. Но мы сочли, что ловить столь тяжелое и костлявое туловище — значит нарушать технику безопасности. Безответственный Тимохин нашел то, что искал, и жесткая посадка должна была стать закономерной расплатой за самомнение.

Аида Прыгунова, занимавшаяся в парашютной секции, стала подробно объяснять Бореньке, как ему следует сгруппироваться и поджать ноги в момент приземления.

— Главное, не стукнись копчиком...

— Боюсь-а-а! — вопил Боря. Кажется, всерьез.

На Борино счастье, раздался гул мотора, и под навес лихо вкатил самосвал с овсом. Он затормозил и вывалил кучу шелковистого золотого зерна прямо под Борю. И Тимохин облегченно разжал пальцы.

С минуту он с отрешенным видом сидел в овсе и смотрел вверх. Мы посмотрели туда же. На месте Бориного провала голубела лохматая дыра. В нее глядела луна. На дневном небе она казалась бледной, однако была хорошо различима. По моему, она, как и мы, смеялась над Борей.

Можно заподозрить, что здесь я луну приплел ради пушей литературности. Но она правда была! Смотрела сквозь пробоину. Если бы я придумывал, то уж заодно написал бы, что луна сейчас была похожа на оторванное ухо. Но нет, это была аккуратная лунная половинка...

А самосвал оказался первой ласточкой грядущего урожая. Вскоре на нас хлынул настоящий хлебный поток: овес и пшеница. Веялки буквально захлебывались, зернопульт, швыряя в воздух струю зерна, выл, как доисторический зверь. Мы вкалывали с утра до вечера, махая железными совками-плицами, похожими на разрезанные пополам длинные ведра. Четыре такта: замах, качок вперед — и плица врезается в зерно; опять замах — с полным совком — и бросок. Зерно летит в пасть веялки или на транспортер зернопульта. Вентиляторы веялок с шумом выметают мякину. А зернопульт швыряет зерно на дальний край тока, и шелуха сама застревает в воздухе. И липнет к потным лицам и голым спинам. Взмах — зерно из гру-

ды, взмах — бросок... И ночью, во сне, это бесконечное четырехтактное качание мотает, мотает тебя. А утром гудят руки и стонет спина, но надо вставать. Без дураков, без халтуры. Потому что это — настоящая работа, настоящий хлеб, который всегда нужен людям. Независимо от политической обстановки, комсомольских собраний и лозунгов, которые вешает на мазанку добросовестный совхозный парторг.

Впрочем, он не только о лозунгах заботился.

Однажды мы позволили себе слабость: решили поваляться на нарах после обеда, который сварила нам чудесная повараха, второкурсница химфака Ася. Мы умяли похлебку и кашу, а потом с четверть часа переваривали обед в горизонтальном положении. Пока не услышали, как взвыл зернопульт... Гурьбой высыпали мы из мазанки.

На току дружно махали плицами шофер грузовика, наш славный парторг, приехавший на этом же грузовике, и молодой лейтенант-милиционер. Это был здешний участковый — завернул к нам, объезжая на мотоцикле вверенные ему обширные территории.

Никто не упрекнул нас ни словечком. «Понимаем, умялись ребята...» И это оказалось действенной всяких лозунгов: мы похватили плицы. Ведь если не успеешь освободить ток от привезенного зерна — застрянут на подходе следующие машины. Вот тебе и вся пропаганда-агитация.

Машины ни разу не задержались из-за нас. И Бородинский совхоз из весьма средненьких выбрался чуть ли не в передовые. Недаром директор, осетин по национальности, при прощании сердечно сказал:

— Дорогие товарищи! Мы вас с огромной радостью встречали, а теперь с огромной радостью провожаем...

Последние слова можно было истолковать по-всякому, но мы простили симпатичному директору некоторые нелады с русской стилистикой. Он был искренне благодарен нам, и мы дружно аплодировали в просторном сельском клубе.

Уезжали мы из Хакасии победителями. С приличным заработком, с золотисто-зелеными значками «Целина 1957», с тяжелыми бархатными знаменами, завоеванными в трудовых соревнованиях. Знамена эти были развешаны по вагону и выполняли двойную функцию: во-первых, как торжественное

украшение, во-вторых, как портьеры, за которыми укрывались на верхних полках девицы, когда им надо было переодеться...

Заикаясь от тряски, голосили патефоны, купленные в сельмагах перед дорогой. А громкое радио то и дело сообщало, над какими городами пролетает только что запущенный первый в мире искусственный спутник Земли. И спутник весело сигнализировал из космоса: бип-бип-бип...

Да, ехали домой мы совсем не так, как в Хакасию. Туда-то, на работу, нас везли в эшелоне, как новобранцев. И кормили в солдатских столовых на железнодорожных воинских площадках. Эшелон подолгу стоял на глухих разъездах. Студенческая братия выпрыгивала из теплушек и разбредалась по окрестностям. На посадку сзывали пионерским горном, но никто не торопился.

Бывало, глянешь вдоль товарняка, а в воздухе — словно горсти гороха. Так густо летали перед вагонами волейбольные мячи.

Потом наконец:

— Давай по вагонам! А то придется по шпалам...

И дурашливая дорожная песня:

Москва, Калуга, Лос-Анжелос
Объединились в большой колхоз...

Но я слишком рано подошел к концу. Мало рассказал о главном. О таинственной сказочности, которая порою чудилась в тех местах. Об особом настроении, когда ждешь чего-то необычного. Ведь недаром в редкие свободные часы ухитрялся я там писать свою первую фантастическую повесть «Страна Синей чайки». Я писал ее и в мазанке при керосиновой лампе, и среди травы, когда забредал в глухой распадок, и даже в тряском кузове грузовика. Это были неровные строчки в красной толстой тетрадке, которую в начале того лета подарил мне дядя Боря.

Повесть я так и не закончил. Но она осталась со мной как частичка тогдашней беспокойной степной жизни. И с той поры я вот уже четвертый десяток лет пишу только в общих тетрадках. Карандашом или шариковой ручкой. Сочинять за пишущей машинкой я так и не научился. Не говоря уж о всяких

компьютерах-принтерах и прочей современной электронике. Мне всегда казалось, что живое слово должна переносить на бумагу живая рука. Труд литератора, по-моему, это как труд скульптора, где без чуткой руки не обойтись. Конечно, не все с этим согласятся. Ну и ладно.

Я снова возвращаюсь в хакасскую степь.

Да, запомнилась не только работа. Запомнилась радость от того, что мы — молодые, неунывающие, уверенные в своих силах, в своем будущем.

Как мы танцевали по ночам на утрамбованном току, когда с него срезано зерно!

Не все ночи были лунные, иногда опускалась крошечная тьма. И подружившийся с нами шофер Миша включал фары своего трехтонного раздолбанного «ЗИСа». Дребезжал, извергая мелодию, жестяной крошечный патефончик — мы купили его в складчину в сельской лавке.

По-моему, это было заключительное произведение механического граммафонного искусства. Последняя модель. В ту пору уже входили в быт электропроигрыватели. А эти маленькие, размером не больше учебника политэкономии, ящички со складной мембраной, миниатюрным диском и ручкой для завода были выпущены к тогдашнему фестивалю молодежи и студентов в Москве. Наверно, для того, чтобы означенная молодежь могла прямо на улицах крутить пластинки с песнями о борьбе за мир.

Не знаю, так ли было в столице, а мы крутили. Правда, не марш борцов с атомной бомбой и не «Гимн демократической молодежи», а единственную у нас пластинку с популярными мелодиями. На одной стороне была какая-то полька, а на другой легкомысленная песенка про любовь. Я запомнил две первые строчки:

На работу, работу, наверное,
Ты идешь, на меня не глядишь...

Или что-то в этом роде.

Мы заводили то польку, то песенку и плясали в свете фар. Наверно, издали это было похоже на слетевшихся к свету комаров.

Кстати, пружина вскоре лопнула, не выдержав интенсив-

ной эксплуатации. Но мы наловчились вертеть диск с пластинкой пальцем. По очереди. С нужной скоростью. Правда, порой скорость сбивалась, и тогда певица басыла, как Шаляпин, а полька переходила в траурный марш, но виновный тут же спохватывался: шаляпинское пение взлетало мальчишечьим дискантом, а похоронная мелодия взрывалась карнаваль-ной пляской.

...Кстати, совсем недавно, в конце девяносто третьего года, я увидел в антикварном магазине такой патефончик-лилипуд. Знакомый, с фестивальным значком на жестяной коричневой крышке. И не выдержал — выскреб карманы в память о молодости (стоила машинка не меньше, чем приличный современный электрофон).

Вертеть пластинку пальцем не пришлось, пружинный двигатель оказался в исправности. И металлическая коробочка с неожиданной громкостью выбросила в пространство старую песенку:

Когда идешь ты на свиданье,
То выбирай короче путь...

Теперь я на этой милой сердцу игрушке кручу иногда пластинки своей студенческой юности. Хотя есть у меня и нормальная стереоустановка. Впрочем, есть и большой патефон того времени, когда я был дошкольником, а папа приезжал с войны в отпуск. Но для этого патефона, как и для нынешнего «стерео», — свои пластинки.

...Танцы на ночном току не могли продолжаться подолгу: Миша берег аккумуляторы.

— Как сядут — никуда завтра не уедем.

Он был славный паренек, этот Миша, почти наш ровесник — только что вернулся из армии. Он лихо катал нас на своем драндулете с дощатым кузовом. От Бородина до Карасука дорога шла по взгорьям, и мы, стоя в кузове, колотили в крышу кабины и вопили:

— Миша! Сделай невесомость!

Машина на полной скорости взлетала на очередной взгорок и ухала вниз. На миг мы теряли опору — повисали над кузовом в натуральной, «обмирательной» невесомости. Жаль, что лишь на миг.

- Миша, еще!
- Тачка рассыплется!
- Ну и черт с ней! — хохотали мы.

Однажды мы возвращались из села на стан уже в темноте. Я, Миша Папин, Шурик и Валерка. Лихие парни степей, «карасукины дети».

- Миша, давай!

«ЗИС» вылетел из-за бугра, завис на секунду в пустоте, а перед нами открылась ширь ночной осенней степи.

Степь была в огнях. Там и тут, от горизонта до горизонта шли комбайны — самоходные и на буксире у тракторов, с грузовиками у бункеров. На каждом агрегате — не меньше десятка лучистых белых огней. А кое-где мерцали рубиновые стоп-сигналы. И все это двигалось, гудело, стрекотало. Жило...

«Ночной блуждающий город», — написал я потом (сейчас понимаю, что излишне красиво).

А над этим блуждающим городом висела невозмутимая, большая, желто-розовая луна. Полная на две трети. Впрочем, невозмутимость ее была напускной. На самом деле луна с любопытством прислушивалась к земному гулу. Вот тут-то я и вспомнил «оторванное ухо» великана...

Потом в своем студенческом очерке о романтике целинного бытия написал я так:

«...А над этой россыпью огней, над степью, живущей бессонной трудовой жизнью, висела крупная, спокойная, похожая на оторванное ухо луна».

Очерк на кафедре журналистики понравился и был напечатан в многотиражке «Уральский университет». Но редактор, многоуважаемый и многоопытный Зиновий Абрамович Янтовский, не одобрил «оторванное ухо».

— Оно вносит диссонанс в общую романтическую картину.

Я пытался спорить: мол, ироническая деталь нужна для противовеса излишнему пафосу. Но Зиновий Абрамович был неумолим и «ухо» вычеркнул.

В утешение себе я потом вставил этот «лунный образ» в две или три своих повести. А лет через двадцать после университета на каком-то творческом семинаре в Союзе писателей напомнил Зиновию Абрамовичу о нашем давнем споре.

— Ну, если бы я знал тогда, что имею дело с будущим прозаиком всесоюзного масштаба, — сказал он, — разве бы поднялась у меня рука...

Это меня утешило. Несмотря на иронические искорки в глазах моего старого наставника.

...Но, боже мой, куда может занести автора цепь воспоминаний, если он не придерживается заранее выстроенного сюжета! Ведь начал-то я главу с вечера на тюменском дворе, когда возвращался с отцом из кино. И когда похожая на оторванное ухо луна светила над нашим домом номер пятьдесят девять на улице Герцена. И когда у меня, несмотря на эту луну и недавно увиденный фильм, не исчезало грустное предчувствие.

Я знал, что папа скоро уедет.

И он уехал.

И в следующий раз я увидел его только через два года.

5

В ту пору мы с мамой, отчимом и маленьким братишкой жили уже на улице Нагорной, на краю лога.

В нынешнее время лог засажен тополями, а тогда склоны его были голыми. И эти склоны, и крутые берега Туры недалеко от впадения Тюменки были раем для любителей лыж. Особенно те склоны и обрывы, где сходились два больших деревянных моста через лог и через Туру. Куда ни глянь, всюду лыжники: мальчишки, солдаты местного гарнизона, спортсмены в разноцветных свитерах.

А на расчищенном льду Туры со скрежетом и стуком гоняли клюшками плетеные мячики ужасно ловкие хоккеисты.

Как сейчас вижу этот олимпийский праздник — в морозной дымке, под оранжевым закатом, среди нависших снежных круч, над которыми темнеют купола и башни Троицкого монастыря.

Можно было с косогора стремительно съехать на лед, к застывшим, укутанным в снег катерам. А можно было забраться аж до краеведческого музея и неторопливо катить на лыжах-коротышках сперва по улице Республики, потом свернуть в пролом изгороди к берегу и ехать до моста, а там, сделав ви-

раж у насыпи, выехать на спуск, ведущий к самой реке. Общай путь получался, наверно, с полкилометра...

Однажды я после долгих лыжных приключений оттаивал и сушил у печки обледенелые штаны и ватник. И тут пришел дядя Боря. Вполголоса и почему-то виновато сказал маме:

— Лёля, Петя приехал.

Мама странно выпрямилась, опустила руки. Потом выговорила отчужденно:

— Ну и что?

— Славика хочет увидеть.

Началась суета, меня нарядили, как на школьный утренник. А сам я в тот момент никаких особых чувств не испытывал. Кроме радостной догадки, что по причине отцовского приезда можно будет прогулять пару школьных дней.

Отец остановился у дяди Бори — они всегда были большими приятелями. Но вскоре перебрался в гостиницу «Заря» — в проходной каморке было тесно и неловко. Однако он каждый день приходил к дяде Боре, чтобы увидеться со мной. Я с Нагорной приезжал туда на автобусе утром, а домой возвращался совсем поздно. А иногда оставался у дяди Бори ночевать — чтобы не тащиться через полгорода в темноте и холоде.

Мы с папой ходили в кино и в музей, гуляли по улицам, обедали в столовой рядом со старинным рестораном «Сибирь». Папа расспрашивал меня о школьных делах, о книжках, которые читаю, о друзьях-приятелях. Об отчине и о моем маленьком брате он деликатно вопросов не задавал. Иногда рассказывал о детстве в Вильнюсе и о том, как он со своей мамой эвакуировался потом в Вятку — началась Первая мировая война. В Вятке еще до революции он и познакомился с девочкой Лелей — это была моя будущая мама. А еще он хвалил мои стихи, которые я сочинил в честь недавнего тридцатилетия Октябрьской революции.

Но мне казалось, что при этом отец смотрит на меня из какого-то далёка, слегка отрешенно. Словно хочет что-то вспомнить. Может быть, то время, когда он приезжал к нам не в добротном штатском пальто, а в лейтенантской шинели? Тогда было тревожно, и все же... хорошо. Лучше, чем сейчас.

— Папа, а помнишь, у меня был тряпичный заяц?

— Н-нет... Нет, сыночка, не помню. А что, хороший был зайчик?

— Ну... для меня хороший... Он однажды сидел на подоконнике и примерз к стеклу. А я разревелся, жалко стало...

— А где он теперь?

— Не знаю. Не помню...

Отец не все дни напролет был со мною. Иногда надолго уходил по всяким своим делам: в институт, где работал до войны, в библиотеку. А еще — в суд. Там готовилось к слушанию бракоразводное дело. Об этом даже объявление появилось в «Тюменской правде». Такое тогда было правило: хочешь разводиться — давай извещение в газете. Отец хотел. В прошлый раз они с мамой оформить развод не успели, и вот теперь он приехал специально.

Когда отец уходил куда-то без меня, я не спешил от дяди Бори домой. Здесь, на улице Герцена, все было привычное, родное: и двор с громадным тополем, и давно знакомые мальчишки, и соседи Шалимовы за дяди-Бориной стенкой.

А в комнатах, где раньше жили мы с мамой, сестрой Милей и братом Сережей, поселилось теперь шумное семейство Покрасовых. Среди них был Вовка, мой ровесник. Тихий такой, покладистый парнишка. Мы с ним подружились.

По вечерам Вовка и я вели разговоры, сидя у горящей печки, или играли в «воздушный бой». Отец подарил мне большую коробку с картой, фишками и латунными самолетиками. Увлекательная была игра.

Но гораздо больше нравился мне другой отцовский подарок: красно-синий мяч в шелковой сетке.

Раньше никогда у меня не было громадного разноцветного мяча. Я лишь мечтал о таком, когда видел у кого-нибудь из ребят. Но и те мячи, которые я видел, были не совсем такие. Тяжелые, с толстой резиновой оболочкой. А этот оказался легонький, чувствовалось, что резина его тонкая, как у волейбольной камеры. Мяч звенел, ударяясь о стены и мебель. Красная половина его была чуть больше синей, раздутая такая — даже трещинки на краске. Но эта неровность делала мяч еще больше симпатичным. Он был живой и веселый. В нем для меня как бы сосредоточилась радость тех дней.

Мы с Вовкой часто перекидывались мячом через весь дом —

от наружной кухонной двери через дяди-Борину комнатку и жилище Покрасовых. Но никто из взрослых — ни дядя Боря, ни его частые гости (студент Володя Шалимов с гитарой и приятелями), ни многочисленные Вовкины тетушки и сестры, ни отец его — отставной капитан третьего ранга Михаил Мартыныч (часто бывавший навеселе) — ни разу не прикрикнули на нас. Мы с Вовкой и взрослые жили, конечно, в одном пространстве, но в то же время как бы в разных измерениях, и никто не мешал друг другу. Даже если мяч задевал и раскачивал лампочку, на это почти не обращали внимания.

Я так полюбил этот мяч, что, уходя к себе на Нагорную, всегда брал его с собой. А потом нес обратно к дяде Боре.

Наконец состоялся суд. Меня на заседание не взяли. И «делить» меня на суде родители не стали, хотя отец хотел, чтобы я поехал к нему. Судья — пожилая женщина — мудро посоветовала:

— Не надо сейчас дергать мальчика. Пусть пока все будет как есть. А подрастет — сам выберет.

На том и порешили.

Требовать с отца алименты мама не стала. Он и без того обещал помогать мне. И посылал деньги до той поры, пока я сам от них не отказался, защитив университетский диплом...

Через день после суда отец собрался в обратную дорогу.

Мне было не то чтобы грустно, а как-то смутно на душе. Мама гладила мне рубашку, чтобы я на прощание предстал перед отцом в приличном виде. Я, дожидаясь, когда отпустят меня на улицу Герцена, рассеянно кидал в стену мячом.

Мяч неунывающе звенел.

— Не стучи, Леську разбудишь, — сказала мама.

— Ага... — И я кинул мяч последний раз. Он ударился о косяк, отскочил в угол к табурету. И грохнул!

Потом оказалось, что из ножки табурета торчал острый кончик гвоздя, чуть заметный.

Взрыв был такой, что Леська проснулся и заревел.

Но что был младенческий плач братишки по сравнению с моими слезами!

Сначала я заплакал негромко. Присел на корточки, и сле-

зы закапали на резиновую красно-синюю тряпицу со сморщенной, шелушащейся краской. Но при первых словах мамы, которая спешила утешить меня, рыдания рванулись не удержимо.

Мама сначала просто стояла надо мной, потом подняла, усадила рядом с собой на кровать, прижала.

— Ну, успокойся, маленький...

Но горе сотрясало меня. И мама поняла, конечно, что дело не только в гибели мяча. Это были слезы от несправедливости жизни, от неласковой судьбы, которая разорвала семью. Слезы об отце, которого я, оказывается, очень люблю и с которым сегодня вечером расстанусь неизвестно насколько...

Пришедший с работы на обед отчим сумрачно успокаивал за фанерной перегородкой Леську. Когда я наконец притих, мама сказала:

— Ну, если хочешь, ты ведь можешь поехать с папой. Еще не поздно...

На миг заманчивость новой жизни и радость, что не надо расставаться с отцом, позвали меня в дорогу.

— Ладно, — всхлипнул я...

Разумеется, я не уехал. Через полчаса тоска поулеглась, а расставание с мамой показалось страшнее всех несчастий. Я успокоился, умылся и вырезал из лопнувшего мяча узкие полоски. Две себе и две Вовке — для рогаток.

Вечером я и дядя Боря проводили отца на вокзал. Отец поцеловал меня. Чуть проступившая к вечеру щетина знакомо кольнула мне лицо.

Поезд ушел. Было холодно. Вскрикивали и шипели паровозы. Освещенный станционными прожекторами пар светился, как низкие фантастические облака. Большой пунцовый полумесяц среди этих облаков был похож на край двухцветного мяча, если тот повернуть к себе одной третью красного бока. Когда он, конечно, был цел...

— Домой пойдешь? — спросил дядя Боря. — Или ко мне?

— К тебе.

...И это стало как бы возвращением в старый дом, где прошло мое детство. С той поры, где бы я ни жил, я всегда оста-

вался мальчишкой с улицы Герцена. И в душе остаюсь им сейчас...

Конечно, не мог я там проводить все время — ведь была школа, были всякие домашние дела на Нагорной. Но в субботу после уроков я обязательно отправлялся к дяде Боре и домой возвращался лишь в воскресенье вечером.

Ночевал я на тощей подстилке из старых телогреек, которые дядя Боря стелил на колченогий стол. Укрывался дядюшкиным потертым пальто. А иногда мы с Вовкой спали у них в комнате, прямо на полу, на вытертой шкуре белого медведя, которую отставной моряк Михаил Мартыныч привез после войны откуда-то с Севера. Нравы тогда были простые, о комфорте никто не заботился, и Покрасовых не удивляло, почему у них то и дело пасется чужой мальчишка.

А когда пришло лето, я почти что совсем перебрался «на родину». Наша компания — Вовка, Амир Рашидов, Толька Петров, Володька Пятериков и еще разные ребята из ближних домов — никогда не скучала. Часто с нами объединялись и мальчишки постарше — Лешка Шалимов и его друзья. Занятий хватало: то футбол в сквере у цирка, то купание в Туре, под обрывами, то городки и «штандер», то партизанская «войнушка», то «сыщики-разбойники»....

Игры иногда заканчивались лишь к полуночи. Все окрестные улицы, скверы и дворы были наши — бегай, кричи, прячься, сражайся на палках, гоняй старый футбольный мяч. Летние ночи — они даже и не ночи были, а так, негаснувшие вечера. И луна, встававшая над тюменскими улицами, поэтому никогда не могла набрать полную яркость. Висела надутая и дымчато-розовая.

Мы с Вовкой соглашались, что луна очень похожа на мяч, которым играли мы зимой (Вовка о нем тоже вспоминал с любовью и сожалением). Если, конечно, мяч этот повернут к нам полностью красным боком...

Но иногда мы смотрели на луну более серьезно.

Один раз наша компания, утомленная бегом и шумными играми, забралась на крышу двухэтажного сарая. Мы лежали животами на теплом железе крутого ската, и снисходило на нас умиротворение.

Город утихал, только где-то звенела гитара да из близкого

цирка доносился приглушенный оркестровый марш. Небо стало сиреневым. В него из-за купола цирка выкатился пятнистый розовый шар. На сей раз — удивительно большой. Уже не вздумал ли он приблизиться к Земле вплотную и устроить столкновение?

Мы поглядывали на луну с уважением и опаской. Теперь она совсем не похожа была на мяч.

— Сразу видно, что небесное тело, — почтительно сказал Вовка Покрасов.

6

О небесных телах мне было известно с самых ранних лет. Еще до того, как я научился складывать буквы в слоги, я знал, что Солнце — огромный огненный шар, в тыщу раз больше Земли, которая тоже шар.

— И Луна — шар. Почти такая же планета, как Земля, только чуть поменьше. То есть не совсем планета, но... в общем, это неважно, — объясняла мне сестра.

Говорила она очень ласково, словно опасалась, что меня ужаснут космические масштабы.

Но меня эти масштабы не пугали. Так же, как не пугал и тот факт, что глубоко под нами, на той стороне Земли, люди ходят вниз головой. Чего тут бояться? Ходят же мухи по потолку и не падают.

Но, принимая на веру космическую картину устройства мира, я воспринимал ее отрешенно. Ну да, ну ясно, что Луна — большущий шар. Недаром же я во сне (или не во сне?) побывал на ее поверхности. И понятно, что пятна, которые делают лунное лицо человеческим, на самом деле — горы и равнины. Но это лишь одно из проявлений лунной природы. А было и множество других проявлений. Сказочных, но не менее настоящих, чем научные. Была по правде и круглолицая живая Луна из книжки про медведя, объевшегося медом, и хитрый носатый полумесяц, и луны-чешуйки, и месяц-кораблик из песенки. Все это без противоречий укладывалось в моем сознании. Все бывает, все правда!

И лишь на шестом году жизни «космическая механика» околдовала меня сильнее, чем сказки.

Это случилось, когда брат Сережа «в натуре» объяснил мне, как оно все происходит — с помощью лампы и двух глиняных шариков на нитках.

Всё он мне показал! И как Земля ходит вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли. И как день сменяется ночью. Открылась мне наконец и самая главная тайна: отчего Луна кажется то круглой, как сковорода, то рогатым полумесяцем.

Все оказалось так просто!

Но эта простота ничуть не принизила величия и таинственности космоса. Наоборот! Я оказался как бы внутри тайны, сделался посвященным. Нитки подрагивали в пальцах брата, шарики тихо вращались, керосиновая лампа (специально зажженная для опыта) чуть потрескивала. Сережа тихо дышал рядом со мной. Мне казалось, что это дышит сама Вселенная.

— ...А теперь смотри, как получается солнечное затмение.

Брат не просто так затеял урок астрономии. Вскоре и правда ожидалось затмение Солнца. Насколько я помню, это грядущее событие волновало всех жителей нашего двора — и ребят, и взрослых. О нем говорили не меньше, чем о фронтовых сводках и якобы обещанном повышении хлебной нормы.

И вот оно наступило. Был безоблачный летний день. Все обитатели квартала, кто был не на работе, вышли из своих дворов, встали у калиток. Почему-то казалось, что наблюдать затмение на улице вместе с соседями интереснее и удобнее. Словно совершалось какое-то общее ритуальное действие.

Смотрели на Солнце сквозь закопченные на свечках стекла. Начальный срок затмения был известен до минуты, но все уже задолго до того разглядывали наше милое дневное светило. И я разглядывал.

Солнце сквозь черную, как густая ночь, пелену проступало желтым кружком. Похожим на новый пятак. Было страшновато и очень интересно. Рядом оказались Лешка Шалимов и Вовчик Сазонов.

— Славик, ты неправильно держишь стекло, — доброжелательно сказал Лешка. — Надо закопченной стороной к себе, иначе в стекле глаз отражается, мешает глядеть.

Это он правильно заметил. Отражение глаза и правда слег-

ка мешало. Я послушно перевернул большой черный кусок стекла.

— Держи ближе, лучше будет видно, — и Лешка придвинул стекло вплотную к моему носу.

— Началось, началось... — зашелестело по улице.

Что началось? Где? Я вгляделся изо всех сил. И увидел, что солнечный диск снизу и сбоку словно кто-то надкусил. И черный полукруг «укуса» медленно вырастал.

И вот тогда-то я отчетливо понял, поверил, почувствовал, что в самом деле там, в ужасной дали между Солнцем и Землей, движется громадный черный шар Луны!

Страх и восторг сотрясли меня крупным ознобом. Я впервые в жизни видел черную луну.

Да, было в этом что-то и зловещее, и очень привлекательное. Но привлекательного больше. Скоро я убедил себя, что ничего страшного не случится, Луна спокойненько пройдет мимо Солнца и на Землю вернется обычная жизнь — с ее очередями за хлебом, сводками Совинформбюро и криками тети Симы из окна: «Анатолий! А ну марш домой, нечистая сила!»

И хотелось теперь, чтобы это небесное представление не кончалось подольше. Мне казалось даже, что я на каком-то балконе посреди черного вселенского пространства и кто-то громадный медленно двигает передо мной на нитях космические шары...

Затмение было неполным. Солнце превратилось в тонкий желтый полумесяц (ну, почти как лунный), затем полумесяц этот стал расти, и скоро вернулся на землю прежний сияющий день.

Зрители расходились, как после киносеанса. Мальчишки подходили ко мне, почему-то хихикали и переглядывались. Только дома я понял причину их веселья. Сестра сказала:

— Господи, что с твоим носом?

— Что?

— В зеркало посмотри!

Я посмотрел. На конце носа был пяточок сажи. Такой же густо-черный, как Луна, недавно закрывавшая Солнце. И краешек чистой кожи сиял рядом с этой чернотой золотистым полумесяцем.

Сразу стала понятной недавняя Лешкина «заботливость»!

Но я на соседа Лешку решил не обижаться. Вымыть нос — долгое ли дело? А сегодня вечером я зайду к Лешке в гости, и мы вдвоем посмеемся над этой шуткой. Потому что Лешка — он в общем-то вовсе не вредный. Порой поддразнивает, но иногда и заступает за меня, если кто-нибудь пристанет на улице. И дарит интересные вещи: то старинный пятак, то кораблик из сосновой коры, то самодельную жестяную медаль, на которой гвоздем выцарапано: «За отвагу».

Дома у Шалимовых очень интересно. На стенах карты и картинки с кораблями, на подоконниках рассыпанный конструктор, на тумбочке граммофон с широченной трубой. И везде электрические приборы, с которыми возится дядя Рича. И полный шкаф интересных книг...

В тот вечер — одно к одному — я у Лешки вновь столкнулся с Луной и космосом. Увидел валяющуюся на кровати книжку. Жюль Верн, «Из пушки на Луну». Схватил, начал листать.

Читать эту «взрослую» книгу было мне еще трудно, однако уже тогда я знал: такие вот книжки с узорчатой золоченой рамкой и надписью «Библиотека приключений» — самые интересные на свете. И, конечно, я их когда-нибудь прочту. А пока я разглядывал рисунки и читал подписи. А Лешка (довольный, что я не злюсь на фокус с закопченным стеклом) рассказывал мне, о чем в книжке речь.

Я взволновался:

— И что? Снаряд попал прямо на Луну?

— Не попал. Облетел вокруг нее, и они вернулись на Землю.

— Не разбились?

— Не-а. Плюхнулись в океан, и ни фига им не сделалось.

— Жалко, что на Луну не попали.

— Ну, ничего. Война кончится, и люди по правде на Луну полетят.

— В снаряде?

— Нет, в специальном лунолете. Вроде дирижабля. Только он не газом накачан, а заряжен ракетами. Они одна за другой взрываются и толкают лунолет в безвоздушном пространстве. Вот, смотри. — Лешка протянул мне журнал, на обложке ко-

торого был изображен похожий на серебристый огурец корабль с желтыми иллюминаторами. Вокруг горели звезды, а в верхнем углу обложки светил лунный шар, усыпанный кольцевыми кратерами.

— Сперва ученые полетят, а потом каждый сможет, кто захочет, — разъяснил Лешка. — На экскурсию.

— На... что?

— Ну, как в музей, чтобы поглядеть.

— И мы сможем полететь?

— А чего ж. Если билеты будут не шибко дорогие.

— Леш... — вдруг выговорил я. — Знаешь что? А я уже был на Луне.

— Ты? Во сне?

— Конечно, — снисходительно сказал я. — А ты думал, что по правде?

Лешка мигнул и... не стал ехидничать. Спросил серьезно:

— Ну и как там?

Я вздохнул:

— Никак. Я мало чего разглядел. Кругом песок такой, будто порошок из кирпича. Наверно, поэтому Луна кажется иногда красной.

...Вот и сейчас, когда мы с Вовкой Покрасовым лежали рядышком на крыше, Луна была кирпичного цвета. Может, из-за своего песка, а может, потому, что так освещало ее пунцовое закатное солнце. Пятна на ней выступали очень отчетливо. Мне вдруг показалось, что они напоминают присевшего на задние лапы зайца.

Может быть, тряпичный заяц, который когда-то жил у меня, улетел однажды на Луну?

«Папа, помнишь, у меня был тряпичный заяц?..»

Нет, все-таки мысли в самом деле могут передаваться от человека к человеку. Вовка вдруг спросил вполголоса:

— Слав, а отец пишет?

— Пишет... Иногда.

— Зовет?

— Ну... Иногда.

— Поедешь?

— Ну... Когда-нибудь...

К отцу в Белоруссию приехал я лишь после восьмого класса, в пятьдесят третьем году. Отец звал меня перебраться к нему на жительство совсем, но я выговорил условие — поживу у него летом, осмотрюсь, «как и что», и тогда уж решу окончательно.

Это было мое первое путешествие на поезде. И вообще первая дальняя дорога. До той поры я не выбирался из Тюмени дальше окрестных сел — на охоту с отчимом или в пионерский лагерь у деревни Падерино.

И вдруг — за тридевять земель, один!

Впрочем, до Казани у меня оказался хороший попутчик — мой одноклассник Юрка Елисеев. Он по каким-то семейным обстоятельствам год прожил в Тюмени, а теперь возвращался к родителям в Ульяновск.

В классе мы с Юркой общались мало, он водился с ребятами постарше и был опытнее меня во многих житейских вопросах. Но, встретившись в поезде, мы обрадовались друг другу. Тем более что оказались в одном купе.

В том же купе ехали на работу в Белгород две подружки — выпускницы тюменского пединститута. Держались они со мной и Юркой по-свойски, угощали всякой домашней снедью, разрешили называть себя на «ты» и лишь иногда с деланой строгостью поджимали губы:

— Молодые люди! Не забывайте все-таки, что мы учительницы! — Это если мы слишком резвились и в шуточках своих «выходили из рамок».

В ту пору пассажирский поезд от Тюмени до матушки-столицы пилил аж трое суток. Мама тревожилась, отпуская меня. Недавно была объявлена знаменитая «бериевская» амнистия, и ходили слухи, что железные дороги наводнены выпущенными на свободу урками и рецидивистами.

— Не выходите из вагона, не отпирайте дверь купе посторонним!

— Ладно, ладно, мам...

Вопреки опасениям путешествие протекало гладко и мирно. Ни одного уголовника мы так и не увидели. Старомодный, досками обшитый зеленый вагон трясся на стыках и пе-

реваливался с боку на бок. Двери, в том числе и наружные, в нем не запирались. Мы с Юркой целыми часами сидели в тамбуре, свесив наружу ноги (знала бы мама!). Ни проводники, ни пассажиры не обращали на это никакого внимания.

Встречный воздух тербил наши потрепанные штанины, мимо проплывали поросшие мышинным горохом и ромашками косогоры. Надвигались и уходили назад пахнувшие мятой сумрачные леса. Белоголовые ребятишки на солнечных лужайках и дощатых платформах серьезно и старательно махали нам ладошками. А мы — им. Иногда мы швыряли недоеденные помидоры в пробегавшие мимо столбы и, случилось, попадали. В общем, веселились.

Но не только веселились. Вели и серьезные разговоры. Жизнь-то, она только начиналась и всяких тем для обсуждения подбрасывала немало.

Говорил больше Юрка. Мягко, ненавязчиво, с таким чуть приклатненным юморком. Он был не прочь поведать о своих похождениях с приятелями и об успехах у юных представительниц женского пола. Впрочем, если смотреть с нынешних позиций, рассказы были весьма невинны. Я слушал с должной долей дружеского участия, кивал со сдержанным достоинством: понятно, мол, да, знакомая ситуация. А вагон: трюх-трюх, стук-стук. Так и достукали до Казани. Помолчали на теплом вечернем перроне, сдержанно трягнули друг другу руки, и Юрка исчез в сумерках.

И я враз, с острой тоской понял, что для меня он исчез навсегда.

Сядет Юрка на пароход, доплывет до своего Ульяновска и останется там на долгие годы. И едва ли когда-нибудь жизнь сведет нас...

Была в моей тоске не только печаль по Юрке, а еще и горечь вообще. Потому что впервые так безоговорочно открылась передо мной грустная истина: бывают в жизни расставания навеки. Сегодня случилось первое, а сколько их будет впереди!

До полуночи я стоял в тряском коридоре, прижимаясь лицом к стеклу. За окном пролетали темные деревья, сливались в сплошной мрак. Лишь редко-редко мелькали во мраке огонь-

ки. Будто светляки. Это почему-то приносило утешение. Но небольшое, лишь на миг.

На другой день был я молчалив и сумрачен — к большой тревоге моих участливых спутниц Кати и Лены. Я не поддерживал их разговоров, на вопросы отзывался вялыми пустыми словами. Потому что какой смысл продолжать знакомство, если и с этими славными девушками завтра я тоже расстанусь навсегда?

Лишь вечером печаль оставила меня. Ее прогнала неожиданная сказка.

Сказка словно тонким пером с тушью была нарисована впереди на горизонте, на фоне высокого рыжего и алого заката. Причудливые крыши, башни, кружевные деревья, купола и колокольни. Это открылся перед нами древний Муром.

Я аж дышать перестал при виде такого чуда.

А над чудом, у верхней границы заката висел неяркий желтый месяц. Тот же самый, какой я тысячу раз видел над крышами и тополями милой моему сердцу Тюмени. Он, мой дружок, словно нарочно поспешил сюда, чтобы шепнуть: «Ты не один».

И все это — панорама былинного города, размах заката и родной, как братишка, месяц — разом сняло с моей души тяжесть. Я тихо возликовал, вспомнив о радостях, которые меня ждали. Столько нового впереди! Москва, Белоруссия... И встреча с отцом, которого я не видел пять лет! И много других встреч и событий! А через месяц-полтора я вернусь домой. Это была тоже радость, от которой заранее теплела душа. Я уже знал, что не останусь в новых краях, окажись там хоть настоящий рай. Да и не может быть рая там, где нет мамы, маленького брата Леськи, дяди Бори, приятелей с улицы Герцена, белой колокольни над церковью-библиотекой и заросших обрывов над Турой...

А еще в Тюмени оставался Гошка Кимранов. Мой одноклассник и самый верный, самый надежный друг. С ним сошлись мы полгода назад и с той поры не мыслили жизни друг без друга. Он, как и я, писал стихи, был без ума от Гоголя и Джека Лондона и мечтал о морских путях-дорогах. Мы друг перед другом распахивали души.

Куда же я без Гошки-то?

Да, путешествия хороши еще и тем, что из них возвращаются в свой дом и к своим друзьям...

Утром на Казанском вокзале меня встретил отец. Три дня мы прожили в Москве, а потом уехали в Бобруйск: в ту пору отец преподавал там в пединституте.

Бобруйск показался мне во многом похожим на Тюмень. Те же деревянные одноэтажные улицы и зеленые дворы. Такая же, как у нас, водная станция с вышкой, открытым бассейном и лодочными причалами. Совсем такой же, как над Турой, скрипучий мост через Березину. Правда, сама Березина была помельче нашей Туры. По ней не ходили пароходы, и местные мальчишки говорили, что в жаркое время реку можно даже перейти вброд, если знать место. Впрочем, сам я не пытался.

Самое непривычное — это был для меня говор бобруйских жителей — с таким акцентом еврейского местечка. Отец над этим акцентом посмеивался, но я, человек со стороны, замечал даже в его правильной «филологической» речи здешние интонации. А уж о его жене Елизавете Дмитриевне (то есть моей мачехе) и о моей сводной шестилетней сестренке Тане и говорить нечего: они были совершенно местные обитатели.

Кстати, мачеха встретила меня ласково, но со скрытой настороженностью. Эта настороженность исчезла, когда стало ясно, что я ни за какие коврижки не соглашусь остаться здесь дольше, чем до сентября.

— Нет-нет, мне совсем здесь неплохо, но...

В ответ мачеха с деланным огорчением разводила руками.

Сестра Танька часто досаждала мне излишней липучестью и требованиями играть с ней в ее девчоночьи игры. Поэтому я при любой возможности старался улизнуть из дома.

Бродил по городу.

Не было в Бобруйске старинных церквей и похожего на кремль монастыря, зато стояла недалеко от берега красная кирпичная крепость с полукруглыми бастиянами. Лишь потом я узнал, что построена она не так давно, в начале прошлого века, и знаменита тем, что в ней сидели после восста-

ния некоторые декабристы. А в то время мне казалось, что крепость — это бывший средневековый замок польских магнатов и что в подземельях (которые там, безусловно, есть) можно отыскать рыцарские доспехи. Более поздняя история — недавняя война с немцами и даже тот факт, что неподалеку от этих мест когда-то едва не попал в плен к казакам Наполеон, — мое тогдашнее романтическое воображение не волновала.

Я — босой, нестриженный, в мятых хлопчатобумажных штанах с «пузырями» на коленях и в полинялой ковбойке, этакий неухоженный пацан начала пятидесятых годов — часто ходил мимо крепости на песчаный берег Березины купаться и загорать. Ходил один. Мальчишек-приятелей в Бобруйске я не нашел.

Отец жил в одноэтажном доме, где было три или четыре квартиры. Дом стоял в глубине двора, засеянного оранжевыми настурциями (их едковатый запах помню до сих пор). В том же дворе был еще один дом, и в нем обитали два мальчика моих лет — Фимка и Боря.

Белобрысый, костлявый и быстроглазый Фимка оказался личностью вредной и агрессивной. В первые же дни, во время пустяшной перекидки волейбольным мячиком на дворе, он из-за какой-то мелочи придрался ко мне и нагло предложил «стыкнуться». Деваться было некуда. Но ни опытом драк, ни нахрапистостью я не отличался и в этом поединке, прямо скажем, оказался не на высоте. Фимка же после этого ходил голем и при встречах цедил:

— Гуляй до папиного крыльца, сибиряк, бо опять натряхаю пыль с ушей...

— Не натряхай, смотри, себе чего в штаны, — говорил я, но рядом не задерживался. А потом утешал себя, что все это глупо и что в таком возрасте смешно выяснять отношения с помощью кулаков. Не пятиклассники же!

К счастью, скоро Фимка уехал в пионерский лагерь.

А Боря был скучный и тихий мальчик, то и дело окликаемый со двора своей мамой:

— Боря, иди уже домой, почитай лучше книжку или помоги маме вынимать косточки з вишен!

И Боря шел. О подземелье в крепости, о плавании на лод-

ке по Березине или даже о простом купании с ним и речь заводить не стоило.

С отцом я виделся главным образом по вечерам. Днем он уходил в институт, где шли приемные экзамены, или сидел над своей диссертацией, а к концу дня уставал. Полсотни лет уже было все-таки, да и здоровье так себе.

О всяких важных вещах: о прошлой жизни, о семейных делах, о моих планах на будущее, о политике и о любимых книгах — мы много разговаривали в первые дни после встречи, еще в Москве. А теперь... Вроде все уже сказано-пересказано, чего воду в ступе толочь? А о пустяках болтать не получалось.

Я ощущал в глубине души скованность, сумрачную неловкость. И отец об этом, кажется, догадывался.

Была у меня и обида, оставившая след.

Это случилось в Москве.

Мы жили в общежитии белорусского полпредства, в комнате на четырех человек. Одним из соседей оказался круглый рослый дядька с холеным лицом и седоватым ежиком. Этакий чин из какого-то республиканского треста. Даже странно было, что столь сановная фигура проживает в скромном общежитии, а не в гостиничном номере.

Уезжал из Москвы этот «чин» раньше нас. Упаковывая пузатый желтый чемодан, радовался, что сумел купить редкую цветную фотопленку. Показывал нам, хвастался, довольно вертел в пальцах, прежде чем уложил в чемоданную утробу. Потом спохватился, что надо еще купить в дорогу колбасу, и ушел.

Ушел и отец — на какой-то расположенный неподалеку книжный склад, где можно было раздобыть новую книгу о новгородских берестяных грамотах.

Я остался один, лежал на кровати, читал в свежем «Огоньке», как храбрые северокорейские воины громят американских агрессоров.

«Чин» явился. С ним пришел и другой наш сосед — скромный, запыленный какой-то мужичок, председатель колхоза из-под Гомеля. «Чин» стал заталкивать в чемодан колбасу. И вдруг:

— А где же пленка? А? — И оглянулся.

Председатель ничего не понял. Я продолжал читать «Ого-

нек». Какое мне дело до забот этого бюрократа? Я его с первого взгляда невзлюбил.

Он подошел, двумя пальцами отодвинул от моего лица журнал.

— Ты не видел мою фото пленку?

— Вы же положили ее в чемодан.

— Ну да, ну да. А теперь ее там нет.

— А я-то при чем?

— Но ты же в и д е л, как я ее туда положил!

— Ну и что? — Я сел на кровати.

— Может быть, ты и потом в и д е л, куда она девалась? Ты поищи.

— Вы что! Думаете, это я ее взял?!

— Я ничего не думаю. Но ты п о и щ и.

— Да зачем она мне! — Я почувствовал, какой у меня тонкий, невольно виноватый голос. — У меня и аппарата нет! Я вообще этим делом не занимаюсь.

— Но все-таки п о и щ и!

— Идите вы знаете куда! — рявкнул я, собрав силы.

— А я вот за ухо!

— Только попробуйте!

— Может, мне в милицию пойти?

— Идите хоть в... — Я сдержался все-таки. Председатель сидел на своей кровати и сочувственно смотрел на меня очень синими глазами, окруженными сеткой морщинок. «Чин» повернулся ко мне обширным задом, начал остервенело убирать с кровати постель, чтобы сдать кастелянше. Рванул из-под чемодана одеяло... Зеленая коробочка скатилась на половицы.

— Да вот твоя пленка, — выдохнул председатель. — Сам небось мимо чемодана сунул.

— Не знаю, не знаю... Главное, что нашлась. — Он обрадованно схватил пленку.

— Другой бы извинился, — сказал я сановному заду.

— За что? — Он даже не обернулся. — За то, что она в кровати нашлась?

— Может, вы думаете, что я стащил, а потом подбросил? — осенило меня.

— Не знаю, не знаю...

Я понял, что сейчас разрежусь, как первоклассник. И что-бы не случилось такого позора, сказал:

— Шкура буржуйская!

Одними губами сказал. Но, кажется, он услышал. Оглянулся, налился помидорной краской... Тут как раз вошел отец.

— Папа! Этот вот... гражданин заявил, будто я украл у него фото пленку! И будто потом подбросил!

— Да ничего такого! Помилуйте! Просто просил мальчика помочь поискать!

— А кто говорил: в милицию?!

Если бы отец хоть что-то сказал «чину»!.. Пусть хоть как-то отругал его своим интеллигентным тенорком!.. Но он только растерянно посмотрел на всех по очереди, пожал плечами. И... протянул мне книгу:

— Смотри, какую редкость я раздобыл.

А потом... потом он как ни в чем не бывало попрощался с «чином», когда тот отправился на вокзал.

— Зачем ты ему руку-то подал? — возмутился я, когда мы остались вдвоем (председатель тихо ушел).

— Ну а как же? Есть правила вежливости...

— Он же гад!

— Ну как ты смеешь так говорить про взрослого!

— Сразу видно, что ты учитель, — горько сказал я.

— И... что здесь плохого? — Отец как-то обмяк.

— То, что любой учитель считает: всякий взрослый всегда прав, а школьник — никогда.

— Ну уж, не преувеличивай, — не совсем натурально засмеялся отец. — Вставай-ка. Мы ведь хотели пойти в Третьяковскую галерею...

Вот и все. Ну и ладно! Это бы я простил и забыл. Но... Уже после, прокручивая в памяти тот случай, я вдруг понял: отец думал, что я и в п р а в д у мог стащить, а потом подбросить пленку. По крайней мере, полностью такой возможности он не исключал. И потому в искренность моей обиды поверил не до конца.

А в самом деле, что он знал про своего почти незнакомого сына?

Последний раз перед этой встречей он видел меня лоп-

ухим третьеклассником, да и то недолго, почти мельком. А сейчас приехал тощий подросток с колочим нравом, с привычкой обо всем судить ершисто и по-своему. Кто он, этот четырнадцатилетний лохматый мальчишка? Что у него на уме? Какие привычки, какие желания? Не слишком ли мало интеллигентности, не слишком ли заметны уличные замашки? А это самомнение и самоуверенность высказываний о незыблемых истинах! Лев Толстой, видите ли, скучный писатель! «Вечера на хуторе» Гоголя в сто раз интереснее, чем «Война и мир». А еще лучше — Марк Твен и Джек Лондон! А из русских писателей самый хороший — Паустовский!.. Как это не классик? Классичнее всех!

И это сын преподавателя русской словесности!

...Трещинка от той московской обиды зажила далеко не сразу. Уже потом она заросла, когда я стал взрослым и мы с отцом сделались гораздо ближе. А там, в Бобруйске, я часто был одинок.

Время я проводил то на пляже, то на водной станции, где брал по отцовскому паспорту лодку, то просто на незнакомых улицах. В кино ходил, бродил по рынку (здесь, как и на тюменском базаре, пахло овощами, сеном и конским навозом). Лишь к загадочной крепости подступиться не мог: вокруг проволочка. «Забароненная зона»...

Так прошло недели три. По вечерам я крутил ручку настройки отцовского приемника «Балтика». Мир жил бурно и тревожно. Американские агрессоры и их приспешники строили козни против социалистического лагеря. Был разоблачен, лишен всех наград и званий и арестован коварный злодей, английский шпион Лаврентий Берия. Северная Корея наращивала успехи в войне с подлыми захватчиками. Об этом вещали станции на всех радиоволнах. Но я мечтал поймать местную станцию далекой Тюмени. Услышать хоть что-то о родном городе. Хотя бы знакомые названия улиц и кинотеатров. Узнать, какая там погода... Но ни разу не удалось. Я не знал, на какой частоте выходит в эфир тюменский радиоузел...

А потом я забыл о приемнике. Перестал скучать. Потому что появился человек, в котором я почувствовал близкую душу.

В соседней квартире жил коллега отца, профессор пединститута. С женой и двумя дочками. Старшей было шестнадцать лет. Этакая выпускница средней школы, мнящая себя взрослой особой. Ко мне она относилась с полнейшим безразличием и лишь рассеянно здоровалась при встречах. Младшую я до поры до времени не видел, она гостила где-то у родственников. А потом она появилась — девочка Маша. На сестру свою совершенно не похожая.

Мы познакомились утром на дворе — удивительно легко, без всякой заминки. Она сидела на крыльце и шурилась на солнце. Я неожиданно для себя сказал ей как давней знакомой:

— Здравствуй.

Она улыбнулась. Без удивления.

— Здравствуй.

— Ты Маша, да?

— Да. А ты сын Петра Федоровича?

Я кивнул.

Маша поудобнее села на ступеньке, натянула на облупленные коленки пестренький ситцевый подол, призналась доверчиво:

— Я так рада, что наконец приехала. Ужасно соскучилась по дому.

Во мне вмиг проснулась ответная доверчивость:

— Я тоже соскучился. По своему... — И сел рядом.

Мы помолчали — понимающе, без неловкости.

Ей было около тринадцати лет, но она еще не успела превратиться в нескладного девчоночьего подростка. По виду будто пятиклассница. Курносая, светлоглазая, с большим редкозубым ртом. Никакого намека на красоту. Вот только волосы... Почти белые, но с отливом золотистого овса, пушистые и легкие. Остриженные чуть повыше плеч, они разлетались при каждом движении. Бывало, сидим рядышком, а летучие паутинки щекочут мне ухо...

С той поры многое переменилось для меня в городе Бобруйске. Дни я большей частью по-прежнему проводил одиноко и bestолково, но с утра уже меня грела мысль о вечере. Когда мы с Машей сядем на крыльце или скамейке (подальше от взрослых, которые тоже выбирались на двор подышать прохладой) и начнем свои разговоры.

Была Маша девочка добрая, со сдержанно-ласковым характером, и, главное, всегда меня понимала. И слушать умела — доверчиво и внимательно. И разговор поддерживала так, что тек он не стеснительно и с интересом для нас обоих. Впрочем, больше говорил я. Душа моя оттаивала от недавней неприкаянности. Я рассказывал о Тюмени, о друзьях-приятелях, о пароходах на Туре, о старинных склепах со скелетами, которые мы нашли под разрушенной церковью на речном обрыве, о злобредной классной руководительнице Таисии Владимовне, видевшей во мне лютого врага (впрочем, взаимно), о друге Гошке... Показывал коллекцию старинных монет, которую привез с собой.

А потом я наконец прочитал Маше и кое-какие свои стихи из заветной тетради. В стихах ничего не было о любви (разве что про любовь к природе, к родным местам и парусным кораблям, которых я никогда не видел). Но тем не менее в самом этом поступке, в чтении стихов девочке с пушистыми волосами, было что-то вроде тайного признания...

В общем, старая как мир сцена: мальчик и девочка в сумерках сидят рядышком в уединении и полупшепотом ведут долгую беседу. Сильно пахнет настурциями. Светится за кустами желтое окно. А над крышей висит розоватый запрокинувшийся полумесяц.

Глядя на эту светлую половинку луны, я вспоминал, что со времени моего приезда прошло уже больше четырех недель. Скоро и домой...

Однажды в кинотеатре, что стоял в конце улицы Советской, недалеко от спуска к Березине, я посмотрел старый фильм с Игорем Ильинским — «Праздник святого Йоргена». И вечером рассказал об этой уморительной комедии Маше. Она с готовностью смеялась, когда я изображал калеку-жулика на костылях («Моя бедная мама уронила меня с двенадцатого этажа!»), а потом вздохнула:

- Жалко, что я не видела.
- Дак это кино и завтра будет! Пойдем!
- Ты ведь уже смотрел.
- Его сколько хочешь посмотреть можно!

Это была правда. Но была и другая правда: главное, что вдвоем! И эту мою правду Маша, конечно, учуяла.

Собираясь в кино, она принарядилась. Надела клетчатую, взрослого фасона юбку, новенькие тугие чулки, лаковые туфельки и шелковую белую кофточку. Волосы перехватила желтой лентой.

Я почистил пыльные свои полуботинки, надел чистую ковбойку и даже попытался выгладить потрепанные брюки.

День выдался пасмурный, зябкий, оба мы ежились без курток, но храбро уверяли друг друга, что ничуть не холодно.

Впрочем, в кинотеатре и правда было тепло. Даже душно-вато. Но когда мы отхохотали положенные полтора часа и вышли наружу, озноб нас тряхнул с новой силой.

— Ой... Славик, поедем на автобусе, а то заоченеем!

— У меня ни копейки.

— У меня есть мелочь. Бежим!

И мы помчались к остановке.

Не повезло. Когда перебежали улицу, Маша твердой своей туфлей зацепилась за торчащий из мостовой булыжник. Бряк на четвереньки! И сразу — слезинки на ресницах!

Я ухватил ее под мышки.

— Вставай. Сильно стукнулась?

— Не знаю. Наверно... — Теперь она стояла согнувшись и держась за колено.

— Ну-ка, убери руки.

Она отпустила колено, выпрямилась. Губы дрожали. Чулок оказался порван, рубчатая материя намокла, в разрыве виднелось красное и блестящее.

— Промыть надо, — сказал я.

Она виновато вздохнула:

— Ага...

К счастью, поблизости была колонка, а в кармане у меня лежал чистый, нетронутый платок. Я помог Маше сесть на валявшийся у запертого киоска ящик, сбегал до колонки, вернулся с мокрым платком. Маша все с той же виноватой улыбкой сидела, вытянув пораненную ногу.

— Отцепи чулок, — сказал я деловито и сумрачно. За хмуростью прятал я страх, что Маша догадается о моей внутренней дрожи. Потому что двигали мною не только медицинские причины, но и защекотавшее вдруг душу тайное чувство. Этакое сладкое и стыдливое замирание.

Нет, она, кажется, не догадалась. Послушно подобрала кромку клетчатой юбки, отстегнула от чулка блестящий зажим розовой резинки и, морщась, потянула чулок вниз. Я — все с тем же скрытым замиранием, но плотно — взял ее ногу снизу, под коленкой. Ладонью ощутил две тонкие птичьи косточки и дрожащую под кожей жилку. В этой хрупкости, в этом дрожании мне почудились и доверчивость, и боль, и надежда, что я эту боль успокою. У меня даже дыхание сбилось. Я кашлянул и сипло сказал:

— Потерпи, это быстро...

Выжал воду на колено, смыл кровь.

— Ну, вот. Не бойся, ты не глубоко рассадил. Сильно болит?

— Не... Только я крови испугалась. А ты не боишься крови?

— Вот еще! Я в прошлом году в лагере санинструктором был. Знаешь, сколько навидался всякого!

Я говорил правду. В начале смены вожатый Костя взвалил на меня эту должность, когда прежняя «лекарша», Томка Румянцева, натурально грохнулась в обморок при виде чьей-то разрезанной стеклом пятки. Я сперва упирался, знал, что будет дразнить: «Санитарка — звать Тамарка». Но Костя сказал:

— Мужик ты или тоже нервная барышня? Полевая медицина — дело суровое.

Дело, однако, оказалось не суровым. Серьезными травмами занималась лагерный врач Капитолина Павловна, а моими пациентами была в основном гвалтливая малышня с шишками на лбу и пустяковыми ссадинами. Я мазал повизгивающих октябрят зеленкой, не различая мальчишек и девчонок, и не испытывал ничего, кроме слегка брезгливой жалости.

Зато сейчас я мучился от нежности и преступного (как мне казалось) желанья подольше ощущать биение теплой тоненькой жилки. Но это — в душе. А снаружи я по-прежнему оставался деловитым санинструктором. Выпрямился, оглянулся, усмотрел у ближнего забора подорожники (в точности, как у нас в Тюмени). Сорвал, протер влажным платком лист, приложил к Машину колену. Потом сам натянул и пристегнул чулок. Маша тихо ойкнула.

— Что? Больно?

— Не... Пальцы мокрые... — шепнула она. У меня, кажется, атели уши.

— Ничего, — бормотнул я. — Не простудишься. Вставай... Идти можешь?

— Конечно. Уже не болит... почти.

И мы благополучно добрались до остановки и поехали домой на автобусе. И болтали опять про кино и про всякие другие дела как ни в чем не бывало. И, конечно, Маша не знала, что меня томит желание: пусть бы она в скором времени разбила при мне и вторую коленку. Я понимал, что желание это подлое: ведь ей будет больно!.. Но пусть только чуть-чуть... Лишь бы все повторилось вновь... Отныне я всегда буду носить в кармане чистый платок...

Дальше этого мои греховные помыслы не шли. Во всем, что касалось женского пола, был я тогда сущее дитя. И в жизни, и в мечтах. Правда, рассуждения Юрки Елисеева в вагоне слушал я с бывалым видом, но это было сплошное лицемерие. Лишь весною следующего года стал я видеть иногда сны, которые стыдливо называл про себя «пляжными». Сюжеты этих снов нередко выходили за рамки чисто пляжной тематики. Причем так выходили, что я просыпался с колотящимся сердцем, с бусинками пота на лбу и горле и со страхом, что кто-нибудь может подсмотреть и подслушать мои запретные видения. Однако девицы, являвшиеся в этих снах, всегда были старше меня, а Машу я не видел ни разу. В памяти она осталась как одна из последних страничек моего детства — светлых, не замутненных проблемами и чувствами приближающейся взрослости...

Кстати, как я вспомнил потом, была Маша похожа на мою давнюю-давнюю привязанность — четвероклассницу Ленку, которая когда-то жила на улице Нагорной и которую я звал Цаца-Ляга...

Расстался я с Машей легко. С печалью, конечно, однако без горечи. Как говорится, печаль моя была светла. Не то, что при прощании с Юркой Елисеевым в Казани. Во-первых, я надеялся, что расстаемся мы не навсегда — приеду следующим летом. Во-вторых, в глубине души я понимал: бывают в

жизни моменты, которые не надо продлевать. Лучше просто сохранить их в памяти на всю жизнь.

Мы, конечно, обменялись адресами, но так ни разу и не написали друг другу. Видимо, по причине чисто ребячьей лени. В редких письмах отцу я передавал «соседской Маше» приветы, но скоро отец переехал в Минск, и я в Бобруйске больше не был никогда. Где-то ты теперь, девочка Маша с пушистыми волосами и нерешительной редкозубой улыбкой?

Впрочем, и тощий пацан Славка, где он?

...Отец на поезде проводил меня до Минска и там как эстафету передал знакомому доценту по фамилии Левкович. Тот собирался в Москву и обещал посадить меня на тюменский поезд. В Минске пришлось задержаться на сутки, и ночь я провел у Левковичей.

Отец вечером уехал, мне в чужом доме взгрустнулось, и Левкович, чтобы развлечь меня, показал двенадцатикратный большущий бинокль. В сумерках я сидел у раскрытого окна, разглядывал смутно различимые дома, светящиеся окна, пробегающие машины и силуэт старинного костела, что стоит недалеко от вокзала.

Вот тут-то и выкатилась в небо круглая, в полном своем объеме и сиянии луна.

И я навел на нее бинокль.

Странно, что в прежние времена не приходило мне в голову посмотреть на луну в бинокль.

В давние годы, когда мы жили на Смоленской, у отчима был монокуляр (точнее, половинка полевого бинокля). Забравшись на невысокую крышу, я разглядывал в него окрестные дворы и огороды. Ну прямо капитан на корабельном мостике. Засиживался на теплом тесовом скате иногда до вечера. Но на месяц, повисавший над закатом, или на выпуклый диск, розовевший в сиреневых сумерках, не навел объектив ни разу. И я, и все знакомые ребята были почему-то уверены, что земные бинокли до небесных тел «не достают». Для астрономии годятся только специальные телескопы! Эта наивная убежденность на несколько лет задержала мое более близкое знакомство с луной. Точнее, с Луной, с космическим объектом.

Теперь же я от нечего делать навел бинокль на знакомый лунный лик... и отшатнулся!

Громадный желтый шар, весь в оспинах и шрамах, стремительно накатил на меня из тьмы.

И первая мысль была: «Вот это да! Показать бы Маше!» И даже почудилось, что рядом — теплое дыхание и пушистые волосы, щекочущие мне ухо. Я не стал прогонять это ощущение. И так, будто вдвоем с Машей, разглядывал ноздреватый лунный глобус, повисший над нами в жутковатой невесомости.

Были прекрасно видны горные цепи, темные равнины, а главное — кольцевые кратеры всевозможных размеров. Ими испещрена была вся освещенная солнцем неземная поверхность. Я попытался сосчитать их, но где там!

Особенно нравилось мне (умиляло даже) крошечное ровное колечко в самом низу лунного шара. Словно аккуратное гнездо для оси — если какой-нибудь космический великан и вправду вздумает превратить Луну в исполинский глобус...

Наконец утомленная моим любопытством Луна спряталась за деревьями, а я улегся на скрипучий диван — с ощущением, что в жизни моей случилось что-то важное. Может быть, даже перелом какой-то.

...Дальнейшее путешествие запомнилось мне плохо. Совершенно забыл своих попутчиков. Зато опять же прекрасно помню тугой мяч луны, который скакал по верхушкам елок, стараясь не отстать от поезда. Я смотрел на него, лежа на нижней полке тряского плацкартного вагона. Небо в окне было зеленым, елки — черными, мяч — золотым.

Я думал о том, что дома, в Тюмени, еще застану пору полнолуния. У соседа-охотника дяди Миши попрошу бинокль, и мы с Гошкой будем разглядывать лунные кратеры. И я буду рассказывать Гошке про все, что случилось со мной за эти полтора месяца. И про Машу. Между друзьями какие секреты!

Так все и случилось. Но теперь я вспоминаю об этом без радости, потому что наша с Гошкой дружба оказалась короткой. Наверно, была она чересчур бурной и даже сентиментальной. Вся израсходовалась на внешнюю «горячность», а запаса прочности не накопила.

И осенью Гошка меня предал...

Все случилось из-за «Таисьюшки» — нашей классной руководительницы. У меня и в восьмом классе с ней мира не было, а в девятом началась сушая война.

Таисия Вадимовна была особа с острым ромбовидным лицом, круглыми птичьими глазами, пронзительным голосом и без всякого тормоза в своем истеричном характере. К тому же отличалась она изрядной дремучестью. Рассказывая про «Войну и мир», заявляла, что царь Александр боялся Кутузова, который мог якобы поднять народное восстание против крепостничества. Декламируя «Онегина», вместо «дэнди» говорила «данду» (помните: «Как dandy лондонский одет...»).

Класс наш, изучавший немецкий язык и английского не нюхавший, послушно повторял это «данду». Я же, знавший «Онегина» с самой юной поры, так и не решился поправить нашу наставницу, за что казню себя до сих пор.

Впрочем, боялся я не учительского гнева, а того, что одноклассники опять сочтут меня «шибко грамотным». По другим же вопросам я с нашей милой Таисией Вадимовной многократно схватывался не на жизнь, а на смерть. Мы с ней то и дело «лаялись», как было тогда принято говорить.

Чаще всего стычки случались из-за ее безудержного хамства. Если Таисьюшка начинала кого-нибудь ругать, то доходила до визга и не искала вежливых выражений. И почти каждую свою яростную филиппику заканчивала любимой фразой:

— Не нравится в школе — документы в зубы и мосты мостить!

Я педагогического хамства не терпел с первого класса и потому не раз высказывал нашей классной, что «мосты мостить» должны не школьники, а учителя, которые умеют лишь орать и лупить указкой по столу. А если она в мой адрес начинала сыпать совсем уж «непарламентские» слова, уходил из класса, хлопнув дверью.

Когда-то должно это было кончиться. И вот однажды Таисия Вадимовна в запале стала давать устную характеристику не только мне, но заодно маме и отчиму, который, по ее словам, был «непросыхающий пьяница». Я очередной раз грохнул дверью и пошел к завучу.

Запахло крупной разборкой, педсоветом и скандальным

классным собранием. На поддержку класса я не очень рассчитывал, ребята откровенно «припухали» перед грозной наставницей. Но Гошка-то, безусловно, должен был защитить меня! И перед лицом школьного начальства подтвердить, не дрогнув, как Таисьюшка поносила всю мою родню. И незадолго до собрания сказал я об этом Гошке — так, между прочим, потому что в общем-то не сомневался в друге.

Случилось это, как помнится, в раздевалке школьного спортзала, мы там задержались вдвоем. Гошка вдруг отвел глаза.

— Ну, вообще-то да... Только, понимаешь, я точно не помню, как она говорила такое... Орала что-то, я не разобрал...

— Гошка! — выдохнул я. — Да ты что!

— Ну, я правда не помню.

Я опустил руки. Плевать на Таисьюшку, плевать на все эти скандалы, но ведь рушилось самое святое — та мужская дружба, которую я в своем понимании возводил на нерушимый постамент рыцарства.

— Гошка! Но ты же сам возмущался! Ты же...

— Ну да. Когда ты рассказывал... Но я в самом деле не слышал. Или забыл...

— Подлец! — сказал я с шекспировским драматизмом. И закатил бывшему другу оплеуху.

Гошка был сильнее и мог бы без большого труда излупить меня до крови. Но он только дернулся и бормотнул опять:

— Ну, если я не помню...

И ушел из раздевалки.

Вмиг стало мне тошно и стыдно за свою пошлую театральность. Кинуться следом? Но... Ведь все равно он предал.

И я стоял, ужасаясь непрочности земного мира. Как стремительно погубило все: и уверенность в «дружбе до гроба», и стихи, которые читали друг другу; и тайны, о которых говорили горячим шепотом, когда ночевали у Гошки на деревенском сеновале; и мечты о книге, которую собирались писать вместе; и... А на земле все шло почему-то по-прежнему... Привычно и равнодушно дребезжал в коридоре звонок.

Я даже не запомнил, как прошло классное собрание. Было мне все равно. Впрочем, знаю, что Таисия Вадимовна схлопотала от директора выговор, а меня сочли виноватым лишь в

«некоторой несдержанности». Но в наших отношениях с классной руководительницей это ничего не изменило.

Кончилось тем, что я свалился с несколькими болезнями подряд, которые завершились воспалением легких и большой палатой. Болел я, надо сказать, хотя и долго, но без всяких там тяжелых приступов. И радовался, что можно не ходить в осточертевшую школу.

Из больницы я вышел весной. В школе пропустил часть второй и всю третью четверть. Поэтому с легким сердцем объявил дома, что все равно теперь класс не догоню и лучше опять стану заниматься в девятом с нового учебного года.

И до сих пор не жалею о таком решении. Все стало в сентябре по-иному, словно пришел в другую школу. Нашлись и новые друзья, и учительница по литературе была теперь прекрасная — не в пример Таисьюшке с ее «данду». И после первых же сочинений был я возведен в «литературные лидеры». А с классной руководительницей Надеждой Герасимовной мы остались друзьями до сих пор, хотя уже сорок лет прошло.

И в том новом классе стал я забывать Гошку.

Он, правда, несколько раз приходил ко мне, пытался помириться. И я не таил на него зла. Даже понимал его кое в чем. Жил он без отца, с матерью, которая работала уборщицей, с несколькими малолетними братьями. Надо было ему во что бы то ни стало кончить школу, а склока с учительским начальством могла очень повредить ему на экзаменах. Был он в житейском плане умудреннее, чем я. Может, потому и не ответил на оплеуху. Или просто пожалел меня. И я даже виноватость чувствовал за ту «сцену из рыцарских времен» в раздевалке.

Но как бы то ни было, а сцена эта положила между нами рубеж, и преступить его я не мог. И простить Гошку до конца не мог.

До сих пор иногда грустно, хотя, казалось бы, дела давно минувших дней.

Впрочем, так ли уж да в н о минувших? Луна, по крайней мере, светит в точности, как в те вечера...

Но не хочется мне кончать эту повесть рассказом о грустных событиях. И я возвращаюсь в детство, в тот год, когда мне было двенадцать лет. В один обыкновенный январский день.

Закончились зимние каникулы. Все праздники миновали, а впереди еще не меньше двух месяцев сплошной учебы. То есть бесконечность. К тому же сломались лыжи, теперь не покатаешься. На новые лыжи денег, конечно, нет. Те, что прислал отец, ушли на продукты. Мама по-прежнему не работает, сидит с Леськой, которого не берут в детский сад. И отчиму зарплату повышать не собираются. Кроме того, он приносит ее не всю, зарплату эту. Всегда у него то «заём», то «подходный налог». А сам каждый вечер приходит поддатый, придирается к маме и ко мне...

В такой вот унылости начинался у меня тот январский день. Пасмурный, не холодный, но какой-то промозглый.

Учились мы, шестиклассники, во вторую смену, с двух часов. Год назад наше семейство переехало на улицу Грибоедова, и меня записали в школу номер двадцать пять. Ничего школа. И ребят в ней оказалось много знакомых (потому что улица Герцена неподалеку), и многие учителя знали по прежней работе моего отца. Помнили и Сергея с Людмилой — отличников.

Я, в отличие от старших брата и сестры, отличником не был. Наоборот. В прошлом году схлопотал даже переэкзаменовку по математике. И сейчас у меня с математикой были крупные нелады. Шагая в школу, я размышлял, что, если Мария Дмитриевна сегодня вызовет, «пара» неминуема. А вызовет наверняка — в этой четверти она меня еще не спрашивала.

С улицы Грибоедова я свернул на Смоленскую. Снег был серый, небо серое, настроение — само собой. И вот тогда-то в этой серости мелькнул золотой проблеск.

У забора в сугробе торчала выброшенная елка. Сухая, наполовину осыпавшаяся, с тусклыми серебристыми нитками порванной мишуры. А среди веток — словно солнечный зайчик.

Я пригляделся. Нет, не солнечный, а лунный! Там висела забытая елочная игрушка — позолоченный картонный месяц. Носатый, глазастый, улыбчивый. Давний знакомый, герой моих сказок.

Он был ростом с мизинец.

Я сдернул варежку, полез сквозь сухие иголки и спас месяц от одиночества. Положил его на ладонь. От него словно тепло пошло. По руке, по мне по всему. И жизнь стала светлее. Появилось настроение, похожее на тихую улыбку.

Я осторожно надел варежку.

Но маленький месяц недолго жил в моей варежке. На углу Смоленской и Первомайской, у деревянной начальной школы (номер, кажется, двадцать шесть), я увидел понурого пацаненка. Класа из второго или третьего. В лопоухой шапке, в большом (наверное, от старшего брата) пальто, с потрепанным портфелем на веревочке через плечо. В разлапистых подшитых валенках. Этакий Филиппок. Он потерянно топтался у закрытой школьной калитки.

Мне показалось, что лицо у мальчишки замурзанное и с полосками от слез. Неприятности, видать...

Я глянул мельком и хотел пройти мимо. Потому что мало ли у кого в школьной жизни неприятности. Что тут поделаешь? Но на миг мы с мальчишкой встретились глазами. И у него в зрачках мелькнуло что-то такое... Ну, вроде как несмелая просьба о сочувствии.

Я остановился. Снисходительно, с высоты своих шести классов спросил:

— Опоздал, что ли?

Он ковырнул валенком затоптанный снег. Засопел и глаза — вниз.

— Не пускают?

— Ага...

Был в ту пору в школах такой идиотский обычай: если опоздаешь, тебя не впускают в школу до следующей перемены. А потом, естественно, волокут к завучу. В начальных школах вторая смена начиналась раньше, чем у нас, и здесь, в двадцать шестой, уже шли уроки. Несчастный «Филиппок» не успел к звонку и вот...

Но ведь он же малыш еще! А на улице... Ну, мороза, конечно, нет, но и не лето. Пойти бы мне, забарабанить в дверь: «Какое вы имеете право держать на холоде человека!»

Нет, на такую шумную акцию протеста я тогда не был способен. Это потом уже меня — взрослого — обвиняли в попытках развала советской педагогической системы, когда я засту-

пался за ребят перед школьным начальством. А в шестом классе я еще не «набрался такой наглости». Я сделал другое. Вынул позолоченный месяц, сдернул с мальчишки дырявую рукавичку. Вложил свою находку в его влажную ладошку. Шепнул:

— Держи. Он принесет тебе удачу.

Мальчишка глянул из-под шапки, мигнул. Сжал кулачок. А я пошел, жалея уже об этом секундном и даже непонятном для себя самом движении души. Зачем отдал месячонка? Ведь он был явно м о й! Судьба послала его мне из давней сказки. На счастье. А я отдал его первому встречному. Теперь уж точно не миновать беды...

Сзади послышались шлепающие шаги, частое дыхание. Это «Филиппок» догнал меня, взял за рукав. Глянул снизу вверх из-под нахлобученной шапки. Рожица неумытая, а глаза блестящие. Он сказал шепотом, но внятно:

— Большое спасибо.

Это — явно вопреки уличной мальчишечьей этике. Такая вежливость была совершенно не в ходу. Мальчишке следовало (если даже он и был благодарен) молча посопеть, пожать плечами, а возможно, и буркнуть вслед:

— Чокнутый, наверно...

А он — вот как!

— На здоровье, — промямлил я растерянно. И лишь тогда вспомнил, что я — старший. — Ладно, катись в школу. А то и на второй урок опоздаешь.

— Ага! — Он опять блеснул глазами, весело и хитровато. И большущими своими валенками зашлепал к школьной калитке.

А я двинулся к своей школе, и не было больше сомнения и дурацких предчувствий. Наоборот, казалось теперь, что мой подарок — добрая жертва судьбе. Может быть, картонный месяц и правда принесет удачу — и малышу, и мне.

И правильно казалось!

Во-первых, день стал ярче, облака рассеялись, глянуло в классные комнаты солнце.

Во-вторых, Мария Дмитриевна никого не спрашивала, а

дала нам самостоятельную работу, которую ухитрилась про-верить у всех тут же, в конце урока. Работа оказалась легкая, и я получил четверку с минусом (минус — за помарки).

В-третьих, на русском языке раздали тетради со вчераш-ним диктантом, и оказалось, что у меня пятерка.

А самое главное — объявили, что «немец» — наш грозный Вильгельм Яковлевич Цвиккер — заболел и шестого урока не будет. Значит, их нынче всего четыре!

Потому что пятый — рисование, а это вовсе даже и не урок, а сплошная радость!

В учителе рисования Александре Павловиче Митинском души не чаяли все поколения школьников. Даже довоенные. Мне об этом рассказывали Сергей и Людмила.

Полный, высокий, лысоватый, с круглым добродушным лицом, он казался нам воплощением радости. И всепроще-ния. Не помню, чтобы он кому-то поставил двойку, повысил голос или выставил из класса развеселившееся сверх меры чадо. А надо сказать, на уроках Александра Павловича мы не блистали дисциплиной. Были там постоянный смех и бол-товня.

Впрочем, и рисовали охотно. Умел Александр Павлович даже скучное срисовывание кувшинов и гипсовых фигур по-дать как дело весьма азартное. А еще больше нравилось нам, когда он предлагал:

— Сегодня рисуйте что хотите, развивайте воображение.

Мои рисунки Александр Павлович весьма одобрял — осо-бенно фрегаты и бриги с полными парусами и хитрой пута-ницей такелажа...

Шуточки наши, подчас весьма вольные, сносил с несокру-шимым терпением, разговаривал как с равными и, случалось, на переменах угощал помидорами из собственного огорода.

Был Александр Павлович Митинский известным в Тюме-ни художником, устраивал свои выставки. А на уроках не раз, посмеиваясь, говорил:

— Вот выберу время, возьмусь за большое полотно. Напи-шу портрет девочки-отличницы на фоне цветущих яблонь. Будет называться «Весна нашей жизни». Отвезу в Москву. Тогда уж точно заработаю Сталинскую премию.

— Зачем девочку рисовать! — возмущались мы. — Лучше пацана! Вы же в мужской школе работаете!

— Ха! Пацана! Да кто же мне даст премию за таких пира-тов! Посмотрите на себя!

— Не-е! Мы хорошие!

Александр Павлович не спорил: конечно, хорошие. Но для премии этого мало. Требованиям, которые предлагает живо-писным полотнам метод социалистического реализма, мы все равно не соответствуем.

— Знаете, что такое социалистический реализм?

— Не-е! Мы еще не проходили!

— Это когда мальчик, умытый, причесанный, с пятероч-ным дневником под мышкой, смотрит в светлую даль. А вы куда смотрите?

— На вас, Александр Палыч!

— Ну, это ничего, это тоже можно. Но лучше смотрите на вазу. Вы ведь ее рисуете, а не меня.

В тот день, о котором я пишу, Александр Павлович снова разрешил нам рисовать что душа пожелает (еще одна удача!), а сам начал показывать свои акварели. Главным образом пей-зажи.

— ...А вот это я написал совсем недавно. Недалеко от до-ма, на Ямской улице. Зимний вечер, новолуние. Видели ко-гда-нибудь такой месяц?

Над заснеженными крышами еще не совсем растаял закат. А высоко в сиреновом небе висел пепельный круг, опоясан-ный тонким и очень ярким полумесяцем.

Конечно, мы такое видели! По крайней мере, я видел! Не раз! Серый, слегка проступающий в морозном небе диск — это темная Луна. А месяц — ее вызолоченный солнцем край!

И опять коснулась меня зимняя лунная сказка — пахну-щая сугробами и волшебством.

...А потом было продолжение сказки наяву. Когда я шел домой, вечернее, уже угасшее небо совсем очистилось от об-лаков. Кусался морозец, загорались звезды, и светил над чер-ным кружевом тополей т о т с а м ы й месяц — опоясавший пепельно-серую круглую луну. И стало мне так хорошо, что

даже домой идти расхотелось. Шагать бы так и шагать по черной улице, пока впереди не увидишь какое-нибудь чудо...

Чуда я не увидел, но под скрип валенок легко, словно сами собой, сложились стихи:

Словно лук волшебный,
Тонок и упруг,
Опоясал месяц
Темный лунный круг...

Сперва были эти четыре строчки. А уж после, в феврале, когда я опять увидел такой месяц, придумалось окончание:

Под усталым снегом
Спит еще земля,
Но весны начало
Чуют тополя.

Потому что и в самом деле угадывалось в воздухе дыхание близкого марта.

...Летом девяносто первого года я с младшим сыном Алешкой на несколько дней приехал в Тюмень — повидать друзей, побродить по знакомым местам.

Однажды мы оказались на берегу Андреевского озера, в гостях у морского скаутского отряда. Ребята попросили в соседнем яхт-клубе большую яхту типа «солинг» — для нашей прогулки по озеру. С нами пошли на яхте молодой начальник парусной базы Юра и его жена Марина.

Алешка — человек в парусном деле опытный, яхтенный рулевой — завладел румпелем, а мы втроем болтали о том о сем, вспоминали общих знакомых.

— Вы в какой школе учились? — спросила Марина.

— В разных. А начиная с пятого класса — в двадцать пятой, на Первомайской.

— Тогда вы, может быть, знали учителя рисования Митинского!

— Александра Павловича? Да боже ж ты мой! Кто же его не знал? У него и мой брат с сестрой учились! И с отцом моим они были приятели!

— А я — его внучка.

Ну что тут скажешь! В самом деле, тесен мир.

Александра Павловича давно уже не было в живых. Мы

вздохнули, вспомнив замечательного учителя и замечательного деда. Я рассказал, как в пятьдесят шестом году, перед самым окончанием школы, я помогал Александру Павловичу развешивать в областном музее работы для выставки. Вернее, мы втроем помогали — я и мои друзья Валерка и Юрий...

— Особенно много у Александра Павловича было миниатюр. Он их называл открытками. Яркие такие, глаза разбегались.

Внучка Марина задумчиво кивала. Громко журчала кильватерная струя. Ветер подналег на парус, и Алешка от руля напомнил нам, матросам, что надо не зевать, а откренивать яхту...

...Осенью от Марины и Юры пришло письмо. В нем оказались две «открытки» — акварельные миниатюры Александра Павловича Митинского. Одна — совсем давняя, двадцать четвертого года. На ней сказочный русский городок. Вторая написана в пятьдесят шестом. Зимнее село Ивлево... Я их застеклил в одной общей рамке и повесил рядом с камином, где стоят глиняный Пограничник, мраморный кролик, старинное зеркальце и фотографии отца с его родителями.

На акварели с заснеженным селом Ивлевом уютно светятся окошки. Очень хочется написать, что над крышами висит знакомый месяц. Но правда есть правда: месяца там нет. Видимо, еще не взошел.

...Зато натуральный месяц — вот он, опять появился в окне. Я смотрю на него, лежа на диване. За стеклами угасает закат, и месячок — тонкий, недавно родившийся — опять крадется от мачты к мачте стоящего на подоконнике фрегата. По повадкам — ну, в точности как рыжий котенок Макс, который прокрадывается в дверь и опасается, что его могут шугануть из комнаты.

Но я не прогоняю ни Макса, ни тем более лунного мальчонку. Я придвигаю месяц взглядом и сажаю на ладонь. И вдруг ощущаю тяжесть лунного яблока, которое почти все еще в тени, но все равно тут, внутри месяца.

Конечно, я знаю, что Луна — не у меня в ладони, а в черной глубине Вселенной. Громадное космическое тело. Из-

вестно мне и то, что она уже отснята спутниками со всех сторон и что по ней не раз ходили люди.

Ну и пусть. От этого Луна не стала менее волшебной и менее таинственной. Подумаешь, несколько прогулок! Матушку-Землю мы топчем не один миллион лет, а все еще не разгадали многих ее тайн. Тем более — спутница нашей Земли. Она пока еще сплошная тайна. И что бы там ни говорили астрономы и физики — нет атмосферы, безжизненная поверхность, — я уверен, что когда-нибудь люди отыщут на лунной пыли следы неземных существ — селенитов. А может быть, где-то на лунной равнине кирпичного цвета стоит и многоэтажный пустой дом из желтых кирпичей. Тот, перед которым я лежал однажды на холодном песке. Интересно все-таки: кто его построил и что там внутри?..

Но дело даже не в селенитах и не в космонавтах. Просто Луна остается добрым светилом моего детства. Таким же, как в давние сороковые годы. И мальчишка-месяц — по-прежнему мой приятель, участник ребячьих игр. Вот так. Уж этого-то никто у меня не отберет.

А давай-ка мы посмотрим друг на друга поближе!

Я поднимаюсь с дивана. Беру раздвижную подзорную трубу — медную, тяжелую, девятнадцатого века. Высовываю ее в открытую форточку. Оптика старая, от ярких предметов отбрасывает радужные блики. Вот и вокруг увеличенного в тридцать раз месяца — ореол. И все же месяц виден прекрасно. Выпуклый край у него очень четкий, в крошечных зубчиках горных вершин. Розоватая щека — в оспинах и веснушках. Внутренний край размыт. Это лунное утро, граница света и тьмы.

У самой этой границы, еще в тени, я вижу крошечное золотое кольцо.

Понятно, что это такое. Горизонтальные солнечные лучи еще не достигли темной равнины, однако уже высветили гребень кольцевого лунного кратера.

Кратер громаден. Там, на Луне, его горные зубцы горят необъятной солнечной короной.

А с Земли корона эта кажется светлым колечком.

Как волшебный перстенок.

Надень его на мизинец, поверни против часовой стрелки,

и опять окажешься в том мире, где на немощной улице — теплая бархатистая пыль, где в кинотеатре «Темп» идет трофейный фильм «Королевские пираты», а на круглых тумбах висят цирковые афиши с извещением о матче-реванше французской борьбы между известными силачами с громкими именами — Хаджи-Мурат и Франк Гуд.

Конечно, в мире этом — не только радости. В нем полно тревог, несчастий и забот. И все-таки он светел, потому что молод. Впереди у него еще много долгих лет. А значит — и много надежд.

Лешка Шалимов, сидя на завалинке, надувает велосипедным насосом латаный-перелатанный футбольный мяч. Дядя Боря вышел покурить на крыльцо. А в открытом окне патефон играет знакомое танго из фильма «Петер» со знаменитой актрисой Франческа Галь...

1992—1994 гг.

Литературно-художественное издание

Крапивин Владислав Петрович
ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО НА ГРАНИЦЕ ТЬМЫ

Издано в авторской редакции
Ответственный редактор *В. Мельник*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Е. Кумшавва*
Корректор *З. Харитонова*

СОДЕРЖАНИЕ

ШЕСТАЯ БАСТИОННАЯ. Рассказы и повести	
Сентябрьское утро	7
Алька	21
Бастионы и форты	28
Стрела от детского арбалета	54
Остров Привидения.	69
Путешествие по старым тетрадам	90
Далеко-далеко от моря...	105
Вечерние игры	117
Мокрые цветы	141
Сандалик, или Путь к Девятому бастиону. <i>Повесть</i>	168
Заяц Митька. <i>Сентиментальная повесть обо всем немногоу.</i>	261
ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО НА ГРАНИЦЕ ТЬМЫ. Повести	
«Пошел все наверх!», или Жертва эрудиции	323
Клад на Смоленской улице	363
Мой друг Форик, или Опаляющая страсть киноискусства.	422
Босиком по Африке	488
Битанго	544
Золотое колечко на границе тьмы	608

В оформлении переплета использована иллюстрация
художника *В. Савватеева*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52.
Во Львове: Торговое Представительство ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.

Информация по канцтоварам: www.eksmo-kanц.ru e-mail: kanц@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Центральный магазин — Москва, Суваревская пл., 12. Тел. 937-85-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.

Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Подписано в печать 05.07.2006.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Бумага тип. Усл. пѐч. л. 36,96.
Тираж 5000 экз. Заказ 1176.

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс (4822) 44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru